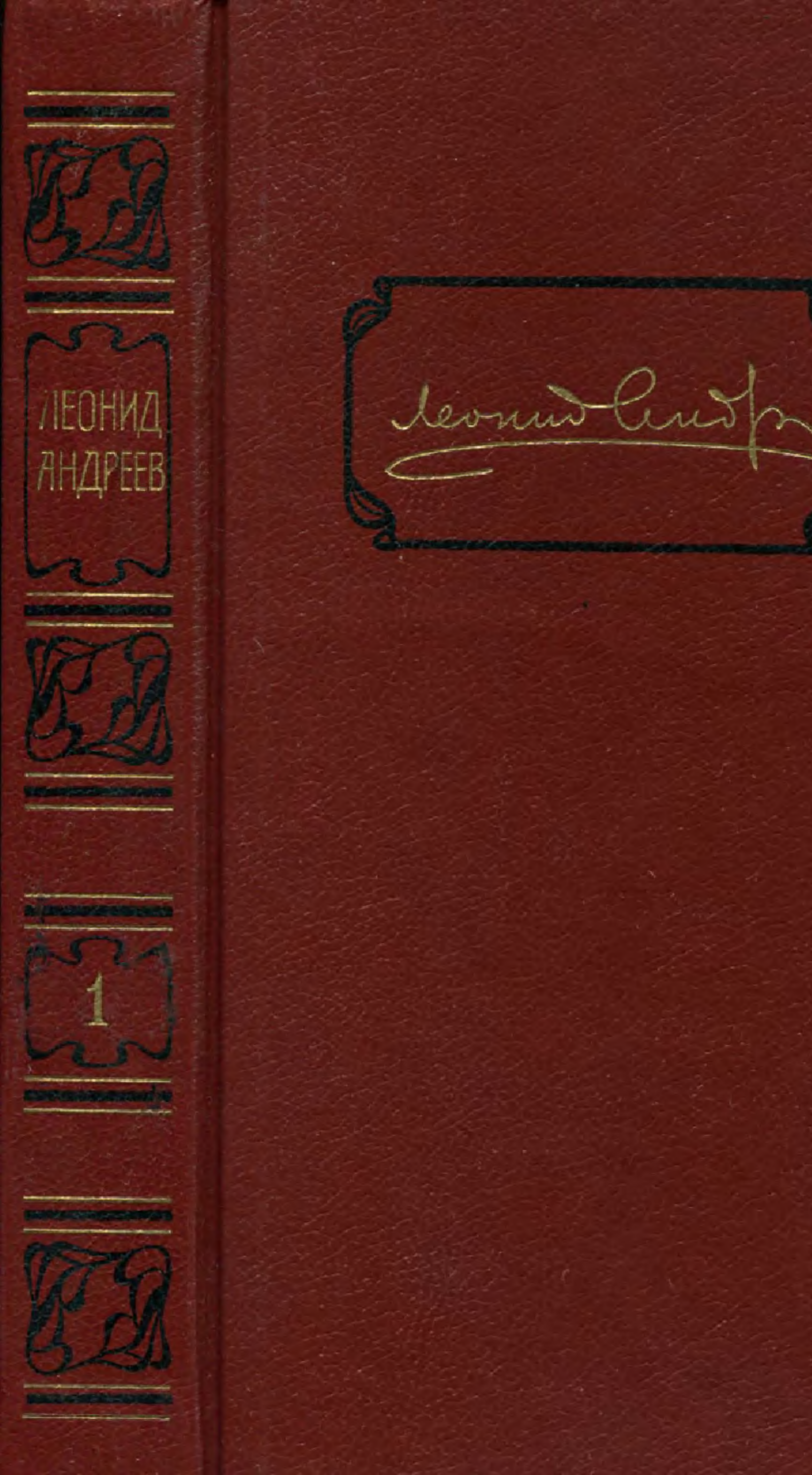

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
1

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Собрание сочинений в шести томах

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Собрание сочинений в шести томах

Москва

·ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА·
1990

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Собрание сочинений · Том первый

РАССКАЗЫ
1898–1903

Москва

·ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА·
1990

ББК 84Р1
А65

Вступительная статья
А. В. БОГДАНОВА

Составление и подготовка текста
В. А АЛЕКСАНДРОВА и В. Н. ЧУВАКОВА

Комментарии
В. Н. ЧУВАКОВА

Оформление художника
Г. КОТЛЯРОВОЙ

А $\frac{4702010101-138}{028(01)-90}$ Подписное

ISBN 5-280-00977-6 (Т. 1)
ISBN 5-280-00978-4

МЕЖДУ СТЕНОЙ И БЕЗДНОЙ

Леонид Андреев и его творчество

«...Я, гоняющийся за миражами, отрицающий жизнь и неспособный к покою...»

Л. Андреев

12 сентября 1919 года в Финляндии, в деревне Нейвола, в возрасте 48 лет умер знаменитый русский писатель Леонид Андреев. Совсем близкая — рукой подать — Россия, всего несколько лет назад следившая за каждым шагом этого человека, самого последнего его шага как будто и не заметила. Граница, обозначившая в 1918 году независимость Финляндии, оказалась почти непроницаемой, и долго еще в прессе сменяли друг друга подтверждения и опровержения печальной вести.

Тем не менее были организованы две публичные церемонии прощания [1] — благодаря усилиям М. Горького, особенно остро переживавшего смерть этого большого художника, с которым его лично связывала многолетняя и непростая история дружбы и вражды. Ему же мы обязаны и «Книгой о Леониде Андрееве» (Пг.— Берлин, 1922), собравшей воспоминания самого Горького, Чуковского, Блока, Белого, Чулкова, Зайцева, Телешова и Замятина. Этот документ литературной жизни стал теперь библиографической редкостью,— как и сборник памяти Леонида Андреева «Реквием», выпущенный в 1930 году сыном писателя Даниилом и В. Е. Беклемишевой. Судьба же андреевского литературного наследия оказалась более чем незавидной. Нельзя сказать, что Андреев сразу после революции стал «запрещенным» писателем, да

[1] Первый вечер памяти Л. Андреева состоялся 15 ноября 1919 г. в Петрограде, в помещении Тенишевского училища; второй, на котором Горький выступил со своими воспоминаниями об Андрееве,— в Московской консерватории 18 февраля 1920 г.

таких писателей, пожалуй, и не было до известного «исторического перелома». Но в стране, нелегко усваивавшей новый революционный порядок, в стране, вполне конкретно ориентированной сначала на выживание, а затем на социалистическое обновление, творчество «вне времени и пространства», творчество, по определению самого писателя, «в политическом смысле никакого значения не имеющее» [1], было как-то не совсем уместно. Андреева еще кое-где переиздавали, кое-где ставили его пьесы (появилась даже инсценировка последнего, незаконченного произведения Андреева —«Дневник Сатаны»), но былая слава «властителя дум» казалась уже фантастическим преданием. В 1930 году вышел последний сборник рассказов Л. Андреева, а потом — долгие годы умолчания.

Столь же скорым стало забвение и в противоположном русском лагере — в эмиграции. Вадим Леонидович Андреев, проведший всю жизнь за границей, вспоминал: «...Большинство лучших вещей отца этого (последнего.— *А. Б.*) периода было напечатано уже только после его смерти в эмигрантской печати и не заслужило ни одного, буквально ни одного отзыва. Вообще в эмиграции Андреева не любили». «Если о нем иногда и писали,— добавляет В. Андреев,— то всегда иронически или высокомерно-презрительно, «в стиле мережковско-гиппиусовском и обязательно поминали о том, что Андреев был горьким пьяницей» [2].

Второе «открытие» творчества Леонида Андреева, как части всей предреволюционной литературы, произошло в нашей стране в 1956 году, с выходом сборника «Рассказов». Открытие это продолжается уже больше тридцати лет, но и нынешнее шеститомное собрание сочинений — лишь этап постижения этого замечательного писателя.

* * *

Леонид Андреев родился 9 (21) августа 1871 года в г. Орле на 2-й Пушкарной улице. Его отец, Николай Иванович, и мать, Анастасия Николаевна, тогда только-только выбрались из нищеты: землемер-таксатор Андреев получил место в банке, приобрел дом и начал обзаводиться хозяйством. Николай Иванович был заметной фигурой: «пушкари, проломленные головы», уважали его за необыкновенную физическую силу и чувство справедливости, не изменявшее ему даже в знаменитых его пьяных проделках и регу-

---

[1] Литературное наследство, т. 72. Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. М., 1965, с. 518. В дальнейшем указания на это издание даются с обозначением *ЛН* и страницы.

[2] Андреев Вадим. Детство. М., 1963, с. 124.

лярных драках. Леонид Андреев потом объяснял твердость своего характера (как и тягу к алкоголю) наследственностью со стороны отца, тогда как свои творческие способности целиком относил к материнской линии. Анастасия Николаевна, урожденная Пацковская, хотя и происходила, как полагают, из обрусевшего и обедневшего польского дворянского рода, была женщиной простой и малообразованной. Основным же достоинством ее была беззаветная любовь к детям, и особенно к первенцу Ленуше; и еще у нее была страсть к выдумкам: в рассказах ее отделить быль от небылицы не мог никто.

Уже в гимназии Андреев открыл в себе дар слова: списывая задачки у друзей, он взамен писал за них сочинения, с увлечением варьируя манеры. Склонность к стилизации проявилась потом и в литературных опытах, когда, разбирая произведения известных писателей, он старался подделываться «под Чехова», «под Гаршина», «под Толстого» [1]. Но в гимназические годы Андреев о писательстве не помышлял и всерьез занимался только... рисованием. Однако в Орле никаких возможностей учиться живописи не было, и не раз потом сокрушался уже известный писатель о неразвитом своем таланте художника,— таланте, то и дело заставлявшем его бросать перо и браться за кисть или карандаш.

Помимо рисования, орловской природы и уличных боев, жизнь Андреева-гимназиста заполняли книги. Увиденные на окрестных улицах персонажи пока еще даже не задуманных рассказов — Баргамот и Гараська, Сазонка и Сениста («Гостинец»), Сашка («Ангелочек») и другие — жили в сознании будущего писателя вместе с героями Диккенса, Жюля Верна, Майна Рида...

«Моментом сознательного отношения к книге» Андреев называет «тот, когда впервые прочел Писарева, а вскоре за тем «В чем моя вера?» Толстого... Вгрызался в Гартмана и Шопенгауэра и в то же время наизусть (иначе нельзя было) вызубрил полкниги «Учение о пище» Молешотта» [2].

Надо полагать, что именно серьезное чтение подтолкнуло Андреева к сочинительству, а «Мир как воля и представление» Шопенгауэра долгие годы оставалась одной из любимейших его книг и оказала заметное влияние на его творчество. В возрасте семнадцати лет Андреев сделал в своем дневнике знаменательную запись, известную в пересказе В. В. Брусянина. Будущий беллетрист обещал себе, что «своими писаниями разрушит и мораль и установившиеся человеческие отношения, разрушит любовь и религию и за-

---

[1] См.: Булгаков В. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1957, с. 201.

[2] Андреев Леонид. Автобиографические материалы.— Русская литература XX века. 1890—1910. Т. 2, кн. VI. М., 1915, с. 243.

кончит свою жизнь всеразрушением» [1]. Поразительно, что, не написав еще ни строки, Леонид Андреев уже как будто видел себя скандально известным автором «Бездны» и «В тумане», предугадывал бунт о. Василия Фивейского и Саввы...

В старших классах гимназии начались бесчисленные любовные увлечения Андреева. Впрочем, слово «увлечение» не дает представления о той роковой силе, которую он с юности и до самого последнего дня ощущал в себе и вокруг себя. Любовь, как и смерть, он чувствовал тонко и остро, до болезненности. Три покушения на самоубийство, черные провалы запойного пьянства,— такой ценой платило не выдерживавшее страшного напряжения сознание за муки, причиняемые неразделенной любовью. «Как для одних необходимы слова, как для других необходим труд или борьба, так для меня необходима любовь,— записывал Л. Андреев в своем дневнике.— Как воздух, как еда, как сон — любовь составляет необходимое условие моего человеческого существования» [2].

В 1891 году Андреев заканчивает гимназию и поступает на юридический факультет Петербургского университета. Глубокая душевная травма (измена любимой женщины) заставляет его бросить учебу. Лишь в 1893 году он восстанавливается — но уже в Московском университете. При этом он, согласно правилам, обязуется «не принимать участия ни в каких сообществах, как, например, землячествах и тому подобных, а равно не вступать даже в дозволенные законом общества, без разрешения на то в каждом отдельном случае ближайшего начальства» [3]. Впрочем, склонности к политической активности Андреев и не проявлял; отношения же с орловским землячеством поддерживал: вместе с другими «стариками», приходившими на общие конспиративные собрания, высмеивал «реформистов», изучавших и пропагандировавших Маркса. «Золотое времяпрепровождение», которое противопоставляли политическому самообразованию орловские «старики», с фотографическим сходством описано самим Андреевым в пьесах «Дни нашей жизни» и «Gaudeamus» («Старый студент»),— персонажи и события этих произведений почти не домысливались автором. Чтение же, в частности, философское, еще больше удаляло Андреева от злобы дня. Целые ночи, по свидетельству П. Н. Андреева, брата будущего писателя, просиживал Леонид над сочинениями Ницше, смерть которого в 1900 году он воспринял почти как личную утрату. «Рассказ о Сергее Петровиче» Андреева — за-

---

[1] Брусянин В. В. Леонид Андреев. Жизнь и творчество. М., 1912, с. 55.

[2] Андреев П. Н. Воспоминания о Леониде Андрееве.— Литературная мысль. Альманах III. Л., 1925, с. 171.

[3] Фатов Н. Н. Молодые годы Леонида Андреева. М., 1924, с. 82.

мечательный синтез его собственного опыта миропостижения «по Ницше» и живых впечатлений от «золотого времяпрепровождения», часто маскировавшего глубочайшее отчаяние.

Летом 1894 года, на каникулах в Орле, начинается самая тяжелая и продолжительная из пережитых Андреевым сердечных драм. «22 июля 1894 года — это второй день моего рождения»,— записал он в своем дневнике; но взаимность была недолгой. Его возлюбленная отвечает отказом на предложение Андреева выйти за него замуж,— и вновь он пытается покончить с собой.

Брат Леонида Андреева вспоминает: «Я был мальчишка, но и тогда понимал, чувствовал, какое большое горе, какую большую тоску несет он в себе» [1]. В этой тоске, наложившейся на каждодневные заботы о переехавших из Орла в Москву братьях и сестрах, проходят два последних года студенческой жизни Леонида Андреева.

* * *

В мае 1897 года Л. Андреев неожиданно успешно сдал государственные экзамены в университете; и, хотя диплом его оказался лишь второй степени и давал звание не «кандидата», а «действительного студента», этого было вполне достаточно для начала адвокатской карьеры.

«Соприкосновение с печатным станком» [2] состояло поначалу в том, что Андреев поставлял в «Отдел справок» газеты «Русское слово» копеечные материалы в несколько строк: «Палата бояр Романовых открыта по таким-то дням...» [3] Но вскоре его перо потребовалось в «Московском вестнике» для написания очерков «Из залы суда», и спустя несколько дней после предложения о сотрудничестве Андреев принес в редакцию свой первый судебный отчет. «Он был написан хорошим литературным языком, очень живо... Не было никакого шаблонного вступления о том, что тогда-то происходило заседание, а прямо начинался обвинительный акт, изложенный в виде рассказа» [4],— вспоминал сотрудник «Московского вестника».

С 6 ноября 1897 года Л. Андреев активно печатается уже в двух московских газетах: в первом же номере «Курьера» поме-

---

[1] Андреев П. Н. Указ. соч., с. 172.

[2] Первые «серьезные попытки проникнуть в литературу» Андреев предпринял еще в 1892 г.: в журнале «Звезда» (№ 16, 19 апреля за подписью Л. П.) напечатан его рассказ «В холоде и золоте», а в 1895 г. в «Орловском вестнике» появляются его заметка «Студенческий концерт» и рассказы «Он, она и водка», «Загадка» и «Чудак».

[3] См.: Измайлов А. Литературный Олимп. М., 1911, с. 244.

[4] Волжанин О. Л. Н. Андреев на заре литературной деятельности.— Вестник литературы, 1920, № 3(15), с. 4.

щен очередной его репортаж. Помимо публиковавшихся анонимно судебных отчетов Андреев вскоре начинает печатать в «Курьере» фельетоны, которые подписывает «James Lynch» и «Л.— ев» и рассказы. В «Московском вестнике», довольно быстро закрывшемся «вследствие финансового худосочия» [1], Андреев публикует рождественский очерк «Что видела галка» и оставляет (так целиком никогда и не напечатанную) сказку «Оро».

Сказка эта, воспроизведенная «в кратком изложении» О. Волжаниным, чрезвычайно любопытна: она очень напоминает одно из лучших произведений зрелого Андреева —«Иуду Искариота». В сущности, это его эмбрион,— с некоторыми «рудиментарными» особенностями, но уже определившийся в своих основных свойствах и обнаруживший направленность авторской идеи. Изгнанного Иеговой демона Оро, даже внешне похожего на Иуду («угрюмого, худого, чудовищно-безобразного»), Андреев противопоставляет всему божественному мироустройству, а образом Лейо, «полного неземной прелести», не оставляющего своего проклятого Богом товарища и в изгнании, он намечает некоторые черты светлого облика Иисуса. Мотивы «надзвездного» бунта, изображенного в сказке, неопределенны,— но понятно уже, что, направленный в небо, он берет начало в чем-то «человеческом, слишком человеческом»...

«Проклятые» вопросы с самого начала завладели художественной мыслью Андреева. И она не умещалась в близких, тесных для писателя границах бытовых тем,— хотя вне их еще терялась в отвлеченностях, порождая фигуры космического масштаба, *не умеющие* пока воплотиться в живые, узнаваемые индивидуальности. Оро был слишком схематичен и мог жить только в «сказке», однако ему предстояло стать доктором Керженцевым («Мысль»), Саввой, Иудой, Анатэмой... Школа художественного мастерства, которой требовали будущие, собственно «андреевские» образы, началась с овладения более доступными, более традиционными темами.

«Баргамот и Гараська»— рассказ, написанный Андреевым весной 1898 года по просьбе редакции «Курьера» специально для пасхального номера газеты, был первым шагом молодого помощника присяжного поверенного к литературной славе. Рассказ заметил Горький, и его вмешательство в судьбу начинающего беллетриста оказалось решающим. 14 апреля 1899 года он просит Андреева «немедленно» выслать «хороший рассказ» В. С. Миролюбову, редактору и издателю «Журнала для всех», и уже в сентябре в этом популярном петербургском журнале появляется «Петька на даче». Еще раньше в «Нижегородском листке» печата-

---

[1] Волжанин О., с. 5.

ется «Памятник»; завязываются отношения Андреева с журналом «Жизнь»— его произведения попадают в самый широкий, демократический круг российского чтения.

В 1900 году Андреев в последний раз выступает в качестве защитника и, несмотря на успех [1] и советы всерьез заняться адвокатской практикой, делает окончательный выбор в пользу литературы. По рекомендации того же Горького Л. Андреев становится участником знаменитых литературных «Сред», знакомится с Буниным, Вересаевым, Телешовым, Чириковым, Куприным и другими писателями-реалистами, собиравшимися для чтения и обсуждения только что написанных произведений. Творческое общение, дружеская и в то же время строгая критика, да и просто теплота и понимание,— все это было крайне необходимо Андрееву.

В 1901 году издательство «Знание» напечатало первый сборник его рассказов. Победа пришла сразу: только с сентября 1901-го по октябрь 1902 года сборник переиздавался четырежды; за это время он принес автору шеститысячный гонорар, громкую славу и — главное — безоговорочно высокую оценку критики. Среди многочисленных откликов в прессе особо выделялась хвалебная статья Н. К. Михайловского [2], общепризнанный авторитет которого служил для читателей гарантией писательского таланта и профессионализма. Основа литературной карьеры была заложена.

Итак, о чем же писал тогда Андреев?— О том немногом, что показала ему жизнь в Орле, Петербурге и Москве, о людях и событиях, объективно не поднимающихся выше и не опускающихся ниже усредненной рутины и скучной повседневности. И во всем этом надо было *увидеть* что-то скрытое от других глаз, сказать о привычном особенными, «странными» словами, чтобы заставить читателя заговорить о себе — в ответ.

Сюжеты Андреев почти не выдумывал — он просто умел их выделить из происходящего вокруг. Растаявший ангелочек, чиновник по прозвищу Сусли-Мысли у своего окна, ницшеанец Сергей Петрович, загадочное самоубийство дочери священника («Молчание»), купец Кошеверов и дьякон Сперанский («Жили-были»),— все это было «на самом деле». Но мог ли говорить в действительности подсмотренный Андреевым «маленький человек» о том, «какая это странная и ужасная вещь жизнь, в которой так много всего неожиданного и непонятного»? Едва ли, например, герою рассказа «У окна», оберегавшему свой убогий душевный покой даже от книг, могло прийти в голову самоуничижи-

---

[1] См.: Андреев П. Н. Указ. соч., с. 193.

[2] Михайловский Н. К. Об одном неосновательном мнении. Рассказы Леонида Андреева. Страх смерти и страх жизни.— Русское богатство, 1901, № 11, с. 58—74.

тельно-ницшеанское: «Писк один несется от растоптанных, да никто и слышать его не желает. Туда им и дорога!» Однако именно такого рода «тяжелая, мучительная работа» («Ангелочек») происходила в головах самых заурядных людей под испытующим взглядом Л. Андреева. Смутное сознание царящей в мире несправедливости закрадывалось и в детскую душу («Алеша-дурачок»), вызывая в воображении кошмарные образы —«проявления одной загадочной и безумно-злой силы, желающей погубить человека» («Валя»).

Были среди ранних рассказов и такие, в которых Андреев-фельетонист, Андреев-репортер предстает начинающим, но добросовестным учеником «натуральной школы», преемником традиций гоголевской «Шинели» и «Очерков бурсы» Помяловского («Молодежь», «Памятник»). Писатель и позднее будет возвращаться к своим гимназическим и студенческим впечатлениям («Дни нашей жизни», «Gaudeamus», «Младость»), что поклонникам «заклятого таланта» покажется изменой истинно «андреевскому». Но дело не в изменах и не в пресловутой «противоречивости»: традиционализм вовсе не отвергался «властителем дум» нового поколения, он присутствовал в художественном сознании Андреева как один из его необходимых, фундаментальных слоев. Произведения, подобные «Дням нашей жизни», давались ему легко («работа как отдых») [1], но в их необходимости, в общечеловеческой, нравственной значимости привычных бытовых коллизий писатель не сомневался. Впрочем, читатели нашли уже в первом его сборнике те самые «кошмары жизни», которые хотя и зарождались в среде Башмачкиных, но проникали в каждую душу, не признавая социальных перегородок. Страх за судьбу маленького человека, жалость к нему перерастали в страх за себя: уродливое общественное устройство лишь скрывало истинную первопричину зла. Оно, по Андрееву, в самой природе, наделившей несчастнейшее свое создание разумом — но достаточным только для того, чтобы осознать свою конечность, свою беззащитность и ненужность. Многие критики впоследствии писали, что «маленькое темное облако на светлом будущем г. Андреева как художника», которое, по наблюдению Н. К. Михайловского, представлял собой рассказ «Ложь», превратилось потом в огромную ужасную тучу. Но противопоставлять «Ложь» другим рассказам первого сборника едва ли правомерно; просто то, что было тонко и умело сказано живыми образами Кошеверова и Сперанского («Жили-были»), Масленникова («Большой шлем»), Веры («Молчание»),— в нем прорвалось безудержной авторской риторикой.

---

[1] Андреев Андрей. Из воспоминаний о Л. Андрееве.— Красная новь, 1926, № 9, с. 212.

Второе издание рассказов (1902), дополненное, в частности, «Стеной», «Набатом», «Бездной» и «Смехом», подтвердило, что настоящий Андреев у ж е сформировался. «Стену», плохо понятую читателями, автор растолковал сам. «Стена — это все то, что стоит на пути к новой, совершенной и счастливой жизни. Это, как у нас в России и почти везде на Западе, политический и социальный гнет; это несовершенство человеческой природы с ее болезнями, животными инстинктами, злобою, жадностью и пр.; это вопросы о цели и смысле бытия, о Боге, о жизни и смерти —«проклятые вопросы» [1].

Образы стены и бездны станут ключевыми во всем творчестве Андреева: их символика выразительно и точно передает суть мировоззрения писателя. Волевое устремление — принцип существования личности — пресекается жизнью повсюду. Бесчеловечность, уродующая и индивидуальные и социальные отношения людей, обусловлена законами мироустройства, чуждыми их логике; абсурдность и непостижимость смерти — высочайшая из стен, возведенных природой в человеческом сознании. Гуманность, любовь, справедливость — естественные, казалось бы, основополагающие понятия — не имеют никакой объективной основы и легко отбрасываются.

Звериное, первобытное начало, единственно соответствующее мировому хаосу, прячется в каждом человеке и, как полагает Андреев, не так уж глубоко. В рассказах «Бездна» и «В тумане», вызвавших целую бурю в прессе, писатель показал, что бессознательное, лишь снаружи прикрытое рассудочными императивами, этическими нормами, убеждениями и принципами, таит в себе грозные силы, не поддающиеся контролю. Это бездна, населенная чудовищами насилия и разврата; как и стена абсурда, она давит на хрупкое человеческое сознание,— только не снаружи, а изнутри: «Непостижимый ужас был в этом немом и грозном натиске,— ужас и страшная сила, будто весь чуждый, непонятный и злой мир безмолвно и бешено ломился в тонкие двери» («В тумане»).

Своеобразную проверку этих дверей на прочность Андреев предпринял в рассказе «Мысль». Его герой, доктор Керженцев, оружием логики (и совсем не прибегая к идее Бога) уничтожил в себе «страх и трепет» и даже подчинил себе чудовище из бездны, провозгласив карамазовское «все позволено». Но Керженцев переоценил мощь своего оружия, и его тщательно продуманное и блестяще исполненное преступление (убийство друга, мужа отвергнувшей его женщины) окончилось для него полным крахом; симуляция сумасшествия, разыгранная, казалось бы, безукориз-

---

[1] Письмо Л. Андреева к А. М. Питалевой.— Звезда, 1925, № 2, с. 258.

ненно, сама сыграла с сознанием Керженцева страшную шутку. Мысль, еще вчера послушная, вдруг изменила ему, обернувшись кошмарной догадкой: «Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший». Могучая воля Керженцева потеряла свою единственную надежную опору — мысль, темное начало взяло верх, и именно это, а не страх расплаты, не угрызения совести проломило тонкую дверь, отделяющую рассудок от страшной бездны бессознательного. Превосходство над «людишками», объятыми «вечным страхом перед жизнью и смертью», оказалось мнимым.

Так первый из андреевских претендентов в сверхчеловеки оказывается жертвой открытой писателем бездны. «...Я брошен в пустоту бесконечного пространства,— пишет Керженцев.— ...Зловещее одиночество, когда самого себя я составляю лишь ничтожную частицу, когда в самом себе я окружен и задушен угрюмо молчащими, таинственными врагами».

Теперь, благодаря письмам, дневникам и воспоминаниям, известны и конкретные источники умонастроений Андреева, побуждавших его фантазию к проведению столь мрачных метафизических и психопатологических опытов. «Безумное одиночество» Керженцева было его собственным состоянием, начавшимся после драматической развязки упомянутого его романа и продолжавшимся вплоть до женитьбы в 1902 году. Андреев старался не затрагивать эту тему, слишком болезненную для него,— но так или иначе она присутствует во многих его произведениях того периода. Татьяна Николаевна («Мысль»), «красивая женщина» («Друг»), героини «Смеха» и «Лжи» воплощали лично пережитое и мучительное.

Любовь к Александре Михайловне Велигорской, с которой Андреев познакомился еще в 1896 году, постепенно вытеснила эти образы из сознания, почти задавленного ими. В феврале 1902 года, за несколько дней до свадьбы, Андреев подарил невесте первый сборник своих рассказов. То, что там было приписано лично для нее, впервые привел в своей книге об отце Вадим Андреев:

«Пустынею и кабаком была моя жизнь, и был я одинок, и в самом себе не имел я друга. Были дни, светлые и пустые, как чужой праздник, и были ночи, темные, жуткие, и по ночам я думал о жизни и смерти, и боялся жизни и смерти, и не знал, чего больше хотел — жизни или смерти. Безгранично велик был мир, и я был один — больное тоскующее сердце, мутящийся ум и злая, бессильная воля.

И приходили ко мне призраки. Бесшумно вползала и уползала черная змея, среди белых стен качала головой и дразнила жалом; нелепые, чудовищные рожи, страшные и смешные, склонялись над моим изголовьем, беззвучно смеялись чему-то и тянулись ко мне

губами, большими, красными, как кровь. А людей не было; они спали и не приходили, и темная ночь неподвижно стояла надо мною.

И я сжимался от ужаса жизни, одинокий среди ночи и людей, и в самом себе не имея друга. Печальна была моя жизнь, и страшно мне было жить.

Я всегда любил солнце, но свет его страшен для одиноких, как свет фонаря над бездною. Чем ярче фонарь, тем глубже пропасть, и ужасно было мое одиночество перед ярким солнцем. И не давало оно мне радости — это любимое мною и беспощадное солнце.

Уже близка была моя смерть. И я знаю, знаю всем дрожащим от воспоминаний телом, что та рука, которая водит сейчас пером, была бы в могиле — если бы не пришла твоя любовь, которой я так долго ждал, о которой так много, много мечтал и так горько плакал в своем безысходном одиночестве.

Бессилен и нищ мой язык. Я знаю много слов, какими говорят о горе, страхе и одиночестве, но еще не научился я говорить языком великой любви и великого счастья. Ничтожны и жалки все в мире слова перед тем неизмеримо великим, радостным и человеческим, что разбудила в моем сердце твоя чистая любовь, жалеющий и любящий голос из иного светлого мира, куда вечно стремилась его душа,— и разве он погибает теперь? Разве не распахнуты настежь двери его темницы, где томилось его сердце, истерзанное и поруганное, опозоренное людьми и им самим? Разве не друг я теперь самому себе? Разве я одинок? И разве не радостью светит теперь для меня то солнце, которое раньше только жгло меня?

Жемчужинка моя. Ты часто видела мои слезы — слезы любви, благодарности и счастья, и что могут прибавить к ним бедные и мертвые слова?

Ты одна из всех людей знаешь мое сердце, ты одна заглянула в глубину его — и когда люди сомневались и сомневался я сам, ты поверила в меня. Чистая помыслами, ясная неиспорченной душой, ты жизнь и веру вдохнула в меня, моя стыдливая, гордая девочка, и нет у меня горя, когда твоя милая рука касается моей глупой головы фантазера.

Жизнь впереди, и жизнь страшная и непонятная вещь. Быть может, ее неумолимая и грозная сила раздавит нас и наше счастье — но, и умирая, я скажу одно: я видел счастье, я видел человека, я жил!

Сегодня день твоего рождения — и я дарю тебе единственное мое богатство — эту книжку. Прими ее со всем моим страданием и тоскою, что заключены в ней, прими мою душу. Без тебя не было бы лучших в книге рассказов — разве ты не та девушка, ко-

торая приходила ко мне в клинику [1] и давала мне силы на работу?

Родная моя и единая на всю жизнь! Целую твою ручку с безграничной любовью и уважением, как невесте и сестре, и крепко жму ее, как товарищу и другу.

Твой навсегда

Леонид Андреев.

4 февраля 1902 г.»

...Позже, другими чернилами и почерком, менее ровным и менее четким, в самом конце страницы, отец приписал:

«В посмертном издании моих сочинений это должно быть напечатано при первом томе. 28 ноября 1916 г. Леонид Андреев» [2].

* * *

С каждым годом, даже с каждым новым произведением этого писателя все более заметной, все более вызывающей становилась его обособленность от всех существовавших тогда литературных течений. Он продолжал читать свои рассказы на собраниях «Среды», выказывая не просто терпимость, а искреннее уважение ко всем критическим замечаниям «знаньевцев». Но эти самые чтения и выявляли степень отрыва Андреева от прочного традиционализма Бунина, Вересаева, Горького... «Для меня всегда было загадкою, почему Андреев примкнул к «Среде», а не к зародившемуся в то время кружку модернистов (Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Мережковский, Гиппиус и пр.),— писал потом в своих воспоминаниях В. Вересаев.— Думаю, в большой степени тут играли роль, с одной стороны, близкие личные отношения Андреева с представителями литературного реализма, особенно с Горьким, с другой стороны — московская пассивность Андреева, заставлявшая его принимать жизнь так, как она сложилась» [3].

Надо полагать, что Вересаев был отчасти прав. Но лишь отчасти — потому что примкнуть к символистам Андрееву мешала отнюдь не «московская пассивность». Ему просто нечего было делать с ними. «Как ни разнятся мои взгляды со взглядами Вересаева и других, у нас есть один общий пункт, отказаться от которого значит на всей нашей деятельности поставить крест. Это — царство человека должно быть на земле. Отсюда призывы к Богу нам враждебны» [4],— так объяснял Андреев свое творческое credo.

[1] «Нервы его к этому времени были расшатаны так, что 25 января 1901 г. он принужден был лечь в клинику по нервным болезням при Московском университете, где и пролежал весь февраль месяц. Там он и пишет свой рассказ «Жили-были».— Андреев П. Н. Указ. соч., с. 194—195.

[2] Андреев Вадим. Детство, с. 156—159.

[3] Вересаев В. В. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3. М., 1985, с. 386.

[4] Литературный архив. Вып. 5. М.— Л., 1960, с. 106.

Между тем и сам писатель стал явственно ощущать пустоту вокруг себя. «Кто я?— спросит он позднее.— Для благороднорожденных декадентов — презренный реалист; для наследственных реалистов — подозрительный символист» [1]. Растерянность Андреева была понятна: многих писателей реалистического направления — Чехова, Гаршина, Толстого, Достоевского — он высоко ценил как своих учителей; но он остро чувствовал и свою оторванность от литературных традиций XIX века. Новая эпоха — эпоха отчаяния и надежд — диктовала новое содержание его творчеству и требовала для этого содержания новых форм. Но не социальные потрясения были основным источником той тревоги, того «безумия и ужаса», которые наполняли андреевские произведения. Квинтэссенция умонастроений Андреева — это трагедия одинокой личности, которую утрата веры в Бога — величайшая утрата этой эпохи — поставила перед лицом Абсурда. Подобные переживания были знакомы многим. Вот что писал, например, А. Блок: «Пока мы рассуждаем о цельности и благополучии, о бесконечном прогрессе,— оказалось, что высверлены аккуратные трещины между человеком и природой, между отдельными людьми и, наконец, в каждом человеке разлучены душа и тело, разум и воля» [2].

И каждый человек и каждый художник по-своему разрешал это противоречие. Одни рассчитывали на очистительную силу революции, способной придать жизни новый смысл, воспитать новую, совершенную личность,— их признанным лидером был М. Горький; другие возвращались к идее Бога, пытались восстановить (хотя бы за пределами реального) утерянное единство мира и человека,— так поступали символисты. И то и другое было для Андреева бегством от «проклятых» вопросов. Социальные преобразования не отменят смерти, не разрушат Стену, стоящую на пути разума и воли. Трансцендентная же истина, завораживавшая символистов, притягивавшая их к себе как спасительный свет маяка, по убеждению Андреева,— выдумка, фальшивка. «Ядро культурных россиян,— писал он,— совершенно чуждо всей этой схоластически-мистической свистопляске и якобы религиозным исканиям — этой эластичной замазке, которою они замазывают все щели в окнах — чтобы с улицы не дуло» [3]. Небеса для Андреева всегда оставались пустыми, загадку бытия он искал в самой жизни, сталкивающей безначальную Мировую волю с взыскующим ее смысла человеческим разумом.

Громко и внушительно прозвучал голос богооставленного человека, обращенный к этим пустым и безмолвным небесам,

[1] *ЛН*, с. 351.
[2] Блок А. А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М.— Л., 1962, с. 351.
[3] Литературный архив. Вып. 5. М.— Л., 1960, с. 109.

в «Жизни Василия Фивейского» (1903), одном из лучших андреевских произведений. Древний сюжет Книги Иова переосмысливается в этой повести в духе новейшего, индивидуалистического бунтарства. Не смирение перед незаслуженным страданием, а наоборот — чудовищная гордыня дает отцу Василию силы пережить преследовавшие его несчастья: смерть сына, рождение другого сына — идиота, пьянство жены и ее страшную гибель в пожаре... Каждая служба в церкви, как и вся жизнь, представляется ему казнью, «где палачами являются все: и бесстрастное небо, и оторопелый, бессмысленно хохочущий народ, и собственная беспощадная мысль». О. Василий неимоверным усилием воли отбрасывает (как ему кажется) даже свою возмущенную гордость, когда не с вызовом, как в первый раз, а «с восторгом беспредельной униженности, изгоняя из речи своей самое слово «я», говорит: «Верую!» Он как бы принимает правила игры, предложенной ему Богом, и вступает с ним в своего рода соглашение, в котором пытается навязать абсурдному миру простую человеческую логику, объясняющую каждое новое испытание так: «Он избран».

Читателя Андреев не обманывает, как не обманывается сам: серая зимняя ночь, заглядывая в окно, где видит о. Василия и его сына-идиота, говорит: «Их двое»— двое безумных. И только самого отца Василия оставляет автор в неведении до самого конца: тот продолжает грезить «дивными грезами светлого, как солнце, безумия» и не понимает ужасного смысла «странно-пустого» хохота идиота. Автор позволяет о. Василию подняться на самую вершину страдания и самоотречения, откуда ему открывается «непостижимый мир чудесного, мир любви, мир кроткой жалости и прекрасной жертвы»,— чтобы оттуда сбросить его, как и других своих героев, в бездну. Она разверзлась в тот момент, когда о. Василий решился потребовать у Бога подтверждения своей избранности — воскрешения нелепо погибшего прихожанина. Чуда не происходит; вместо воскресшего о. Василию видится в гробу дико хохочущий идиот, и — «падает все».

В этой повести впервые со времени «Оро» Леонид Андреев сумел дать живой, психологически убедительный образ богоборца. Трагедия его «гордого смирения»— самообмана, «заряженного» бунтом,— это трагедия измученного «проклятыми» вопросами человеческого разума перед лицом абсурда. Герой Андреева ищет смысла в бессмысленном; его «прыжок в Бога» оказывается падением в пропасть. Но гордость о. Василия не сломлена: даже мертвый, «в своей позе сохранил он стремительность бега», и это очень существенно для писателя, что подтвердят последующие его произведения.

«Жизнь Василия Фивейского» была высоко оценена критикой. Но среди символистов, пожалуй, один только Блок воспринял повесть как нечто свое, близкое,— как «потрясение». Другие же, находя в ней — к своему удовлетворению — признаки отхода Андреева от реализма, строго судили его за половинчатость, за «грубое материалистическое мировоззрение», которое лишает большое дарование писателя «истинного полета» (Брюсов).

Разгадать загадку «сфинкса российской интеллигенции» [1], дать вразумительное толкование необычному «строю души» этого художника пытались многие. Довольно близко подошел к объяснению феномена Леонида Андреева Вяч. Иванов. Он писал: «Если для символиста «все преходящее есть только подобие», а для атеиста «непреходящего» вовсе нет, то соединение символизма с атеизмом обрекает личность на вынужденное уединение среди бесконечно зияющих вокруг нее провалов в ужас небытия» [2]. Оставалось только понять, что же это за «символизм», способный соединяться с атеизмом...

Сейчас нам уже более или менее ясно, что Андреев первым из русских писателей пошел, ориентируясь на Достоевского (поначалу, может быть, неосознанно), по тому пути, которым позднее пойдут художники-экзистенциалисты, прежде всего Камю и Сартр (в начале XX века в этом направлении уже двигались М. де Унамуно и Л. Пиранделло). И для них и для Андреева главной и самой суровой правдой было одиночество человека («животного, знающего о том, что оно должно умереть») перед небом и другими людьми,— одиночество, на которое каждый обречен с момента своего рождения. Горькому, не перестававшему ждать обращения могучего таланта своего друга к проблемам социальным, Андреев говорил с раздражением: «Это, брат, трусость,— закрыть книгу, не дочитав ее до конца! Ведь в книге — твой обвинительный акт, в ней ты отрицаешься — понимаешь? Тебя отрицают со всем, что в тебе есть — с гуманизмом, социализмом, эстетикой, любовью,— все это — чепуха по книге?» [3] Но в отличие от того же Сартра, который невозмутимо и торжественно принимал это метафизическое одиночество как высшую ценность, как истинную свободу,— Андреев «огорчался, скорбел и плакал: ему было жалко человека» [4]. Он не мог относиться к безнадежности трезво и сдержанно, хотя очень этого хотел: «Хорошо я пишу лишь тогда, когда

---

[1] Брусянин В. В. Леонид Андреев. Жизнь и творчество, с. 115.

[2] Иванов Вяч. Андрей Белый. «Пепел».— Критическое обозрение, 1909, № 2, с. 45.

[3] *ЛН*, 374.

[4] Чулков Г. Предисловие к кн. Письма Леонида Андреева. Л., 1924, с. 47.

совершенно спокойно рассказываю о неспокойных вещах, и не лезу сам на стену, а заставляю стену лезть на читателя» [1].

Повесть «Красный смех» (1904), написанная в разгар русско-японской войны, оказалась самой заметной из подобных его творческих «неудач»; как и некоторые драматические произведения Андреева («Жизнь человека», «Царь Голод»), она впоследствии дала повод причислить этого писателя к экспрессионистам, которые приблизительно в то же время заявили о себе в Германии. Но в данном случае сходство было только стилевое; «вопли нужды», возведенные немецкими художниками в ранг эстетической программы, для Андреева не были самоцелью. Он был глубже них,— он просто не находил обычных слов, когда писал о том, что «земля сошла с ума»: похожая на голову, «с которой содрали кожу», с мозгом, красным «как кровавая каша», она кричит и смеется; «это красный смех».

Казалось бы, Андреев в этой повести насквозь актуален и социален, метафизика оставлена. Но и в злободневном он находит какое-то четвертое измерение, «неэвклидову геометрию»,— вагоны с сумасшедшими, доставляемые с фронта, говорят ему, что происходящее там не подвластно человеческому рассудку. Гаршин, сам видевший войну, сдержанно, с чувством меры описал свои «Четыре дня»; Вересаев, побывавший под Мукденом, назвал Андреева «большим художником-неврастеником», упустившим из виду «самую страшную и самую спасительную особенность человека — способность *ко всему привыкать*» [2]. Но Андреев был как раз из неспособных привыкать к тому, что «пушка стреляет», а «тело продырявливается»; его живое чувство жизни восставало против мысли, приспосабливающейся к каждодневному абсурду, и порождало небывалую по своему эмоциональному напору «экспрессию трагически разбухающей души».

Между тем наступил 1905 год. «...Сейчас ясно одно: Россия вступила на революционный путь,— писал Андреев В. Вересаеву.— ...Несколько баррикад, бывших в СПб. 9 января, к весне или лету превратятся в тысячу баррикад... Вы поверите: ни одной мысли в голове не осталось, кроме революции, революции, революции» [3]. Андреев стал читать книги по истории французской революции, пытаясь угадать ход событий и их судьбу. Полная, широкая картина народного восстания и ниспровержения тирании, которую он задумал, требовала проникновения в смысл истории, постижения общественной психологии. Но писатель был далек от историко-материалистического истолкования побудительных сил

---

[1] *ЛН*, 212.
[2] Вересаев В. В. Указ. соч., с. 384.
[3] Там же, с. 393.

народных выступлений. В рассказе «Губернатор» (1905) он показал, что движениями народной души управляют не классовые или какие-либо еще интересы, а нечто внешнее, человеческой воле неподвластное. Чувство, толкавшее жителей города к мести губернатору, расстрелявшему рабочих, было «само по себе неисследимая тьма, оно царило торжественно и грозно, и тщетно пытались люди осветить его свечами своего разума». «Бог отмщения» — таким было первоначальное название рассказа, но «мистика» здесь все та же, «андреевская». И «взмах белого платка, выстрелы, кровь», и неуклюжее, нелепое убийство самого губернатора — все эти события изображаются Леонидом Андреевым как спектакль, в котором все участники исполняют кем-то придуманные роли. «Поиски автора» этого представления наводят губернатора на мысль о некоем судье, облеченном «огромными и грозными полномочиями». Губернатор не чувствует раскаяния, но принимает «этого неведомого судью» спокойно и просто, как встречают хорошего и старого знакомого. Услышанный им довод «народ желает» казался неопровержимым, но ничего не объяснял, так как сам «народ» говорил о неизбежном убийстве губернатора либо равнодушно, как о деле, его «не касающемся, как о солнечном затмении» на другой стороне земли, либо как о «факте случившемся, в котором никакие взгляды ничего изменить не могут».

В таком осмыслении социальных антагонизмов определенно читается шопенгауэровская идея о «мировой воле», захватившая Андреева своей цельностью и смелостью. Берущая начало за пределами умопостигаемого (по Андрееву — за Стеной) воля у Шопенгауэра —«самая сердцевина, самое зерно́ всего частного, как и целого; она проявляется в каждой слепо действующей силе природы, но она же проявляется и в обдуманной деятельности человека: великое различие между первой и последней касается только степени проявления, но не сущности того, что проявляется» [1]. Человек не в состоянии постичь конечного смысла этого вечного движения, увидеть цель этого всеобщего порыва, поскольку его маленькая воля — лишь ничтожная часть большой, мировой. «Возможно, что я Шопенгауэра понял не совсем верно, скорее применительно к собственным желаниям — но он заставил много и хорошо поработать головой и многое сделал более ясным,— писал Андреев Горькому в августе 1904 года.—...Консисторская моралишка «мне отмщение и — аз воздам» с этой точки зрения приобретает новый, огромный смысл, отнюдь не теологический» [2]. Но «стремительный поток», увлекающий человека наравне

---

[1] Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1900, с. 115.
[2] *ЛН,* 218—219.

с камнем и растением, обычно встречал у Андреева и противника — бунтующую личность. Ее нет в «Губернаторе», как нет ее и в повести «Так было» (1905): оба произведения посвящены процессам глобальным, сущностным.

Андреев читал «Так было» участникам «Среды» накануне московского вооруженного восстания в декабре 1905 года, и всех их поразил общий настрой этой повести, всепроникающий дух мрачной обреченности. Мучительные раздумья над судьбами французской революции, размышления об изначально-человеческой природе рабства и тирании вызывали у писателя безрадостные предчувствия. Разумеется, не было бы этих тяжелых мыслей, если бы исход долгожданной схватки с монархией был Андрееву безразличен. «Меня... очень трогает, очень волнует, очень радует героическая, великолепная борьба за русскую свободу. Быть может, все дело не в мысли, а в чувстве? Последнее время я как-то особенно горячо люблю Россию — именно Россию...» [1] — писал он Вересаеву в 1904 году.

Столкновение «чувства» и «мысли»— обычная у Андреева коллизия. Искренне сопереживая борцам, поддерживая их (в начале 1905 года он даже отсидел две недели в тюрьме за предоставление своей квартиры членам ЦК РСДРП), истинное свободолюбие этот писатель находил только в отдельной личности. Но личность, возомнившая себя способной переделать мир, обречена («Савва»), история же народов подчинена монотонному ритму маятника: «так было — так будет».

Здесь нельзя не упомянуть замечательной андреевской миниатюры о революции —«Из рассказа, который никогда не будет окончен». Это произведение написано уже в разгар реакции, в 1907 году, и похоже на светлое воспоминание о радостных днях чудесного весеннего перерождения, когда и «народ потерял привычку повиноваться». «...Те, кто спит сейчас тяжелым сном серой жизни и умирает не проснувшись,— те не поверят мне,— говорит герой рассказа,— в те дни не было времени. Солнце всходило и заходило, и стрелка двигалась по кругу, а времени не было». Одноглазый часовщик, персонаж повести «Так было», тоже вспоминает, как «однажды, когда он был еще молод, часы испортились и остановились на целых двое суток». И ему было страшно: «как будто все время сразу начало падать куда-то...» Как раз такой момент и воспроизвел Андреев в своем небольшом рассказе, причем взглянул на него глазами не напуганного часовщика, а человека, впервые увидевшего в этот момент настоящую жизнь, воскрешенного непривычной свободой. Это был короткий период счастья,

---

[1] Вересаев В. В. Указ. соч., с. 392.

описанный в «Так было» на одной лишь странице: «Только глядели друг на друга, только ласкали друг друга осторожными прикосновениями рук... И никого не повесили».

Эти рассказы выявляют позицию самого Андреева: он не метался вместе с толпой обывателей от восторгов к поношениям, и он не подпевал своему часовщику «так было — так будет»: он стоял рядом с двумя своими безымянными персонажами на мосту и смотрел, как «со стороны, противоположной закату... подымалось что-то огромное, бесформенное, слепое», а по реке уплывали трупы принесенных злой стихии жертв. В громких криках «Свобода!» он слышал скептическое: «Так было...», но он знал, что и вечный маятник не застрахован от поломки, хотя бы и кратковременной. Поэтому и писал он «Так было» в разгар революции, а «Из рассказа...»— маленький, но яркий фрагмент — появился в годы расстрелов и погромов.

Революционная тематика принесла Андрееву первые удачи и на поприще драматургии. Замысел пьесы «К звездам» (1905) появился у него после знакомства с известной в то время книгой Г. Клейна «Астрономические вечера». Ученого, «живущего жизнью всей вселенной, среди нищенски серой обыденщины» [1], Андреев первоначально намеревался сделать жертвой дикой фанатичной толпы и, отталкиваясь от этой социальной коллизии, обратиться «к звездам», к вечным, «проклятым» вопросам. Но, во многом стараниями Горького, он значительно усиливает злободневное звучание пьесы и «поющим звездам» астронома противопоставляет революционный гимн «солнцу — рабочему земли».

Горького и самого увлекла эта тема, и одновременно с Андреевым он написал своих «Детей солнца»— пьесу, в которой антагонизм «народ — интеллигенция» разрешается явно не в пользу последней. Хотя именно вмешательству Горького Андреев был обязан многими из самых патетических сцен и монологов, целиком его концепции он принять не мог. Своего астронома, далекого от классовой борьбы и приемлющего лишь тернии научного подвижничества, он не унизил ни единой репликой — и каким-то чудом преодолел заложенное в основу конфликта противоречие, примирив сражающихся на баррикадах с уходящими к звездам. «Мне нравятся друзья господина Терновского»,— говорит революционер Трейч, когда астроном рассказывает о самых близких ему людях, один из которых умер полтораста лет назад, а другой должен родиться через семьсот шестьдесят лет, чтобы проверить наблюдения ученого.

Не выбросил Андреев (вопреки настояниям Горького) и эпизода с безумной нищей старухой, неизвестно каким образом по-

---

[1] *ЛН*, с. 28.

явившейся в заоблачной обсерватории: ему обязательно и здесь нужен был персонаж, концентрирующий идею абсурда, безумия того, что происходит на несчастной земле — голода и убийств в соседстве с мещанским самодовольством,— то есть всего того, что преодолевают — каждый по-своему — Трейч и Терновский. Это преодоление требует большого мужества, и многие не выдерживают (Николай, Лунц). Однако жизненная энергия, удвоившаяся при встрече астронома с революционером, способна излечивать самые отчаявшиеся души. Петя, пришедший в себя после дикой сцены со старухой, говорит отцу: «Раз ночью я проснулся и увидел тебя: ты смотрел на звезды... И вот тогда я что-то понял... Мне теперь так хочется жить — отчего это? Ведь я по-прежнему не понимаю, зачем жизнь, зачем старость и смерть?— а мне все равно». Их всех увлекает одна и та же сила — та самая, которую Андрееву открыл Шопенгауэр и о которой тот с восторгом писал Горькому: «Какая красота в этом стремительном потоке... все рвется вперед, разрушая, созидая и снова разрушая. Вперед!» [1]

В следующей своей пьесе, «Савва» (1906), Андреев задался целью противопоставить человека этой могучей стихии, столкнуть индивидуальную волю, подчиненную мысли о несовершенстве мира, с Волей, этим миром управляющей.

Савва — человек, который «однажды родился» и увидел жизнь, а затем подсчитал, «сколько на одну галерею острогов приходится, и решил: надо уничтожить все». В Савве обычно находят тип анархиста, но это не так: Андреев сознательно ставит своего героя вне всяких политических платформ,— его программа гораздо радикальнее всех реально существующих, и он презирает террористов за их узость и мелкомасштабность. В нем очевидны амбиции претендента в сверхчеловеки, он напрочь отвергает гуманизм, вовсе не задумывается о «замученном ребенке» и других моральных преградах. Это Керженцев, раздобывший немного взрывчатого вещества — для начала — и мечтающий о «голом человеке на голой земле». Ignis sanat [2] (огонь исцеляет) — путь к созданию новой цивилизации из самых сильных и смелых.

Как и все андреевские бунтари, Савва терпит крах, но торжествует не гуманизм (здоровые молодые силы жизни олицетворяет послушник Вася, который в финальной сцене — расправы толпы над Саввой — в ужасе убегает в лес), торжествует «неизбывная человеческая глупость». Имея таких незаурядных, убежденных в своей правде союзников, как Липа и Царь Ирод, эта стихия легко, одним движением уничтожает протестанта, обращая

---

[1] *ЛН*, 218.
[2] Подзаголовок пьесы.

его неудавшийся замысел (он хотел взорвать чудотворную икону) себе же во благо: ненавистная Савве вера народа в чудо только укрепилась.

Отношение автора к своему герою неоднозначно. «Конечно, я не Савва,— писал Андреев брату Павлу,— но мои симпатии к нему настолько очевидны, что платить я за него буду и чувствую — жестоко. Едва ли поймет кто и истинный смысл вещи: как последнюю крайнюю ярость против гнусностей жизни» [1]. То, что Андреев против сожжения картинных галерей и книг, не требует доказательств (впрочем, таковые представляет пьеса «Царь Голод», в которой программа «оголения земли» реализуется гораздо успешнее, чем в «Савве»). Но он действительно не находил иного пути улучшения человечества,— то есть он не находил *никакого* пути. Андреев не раз говорил, что его любимый персонаж в пьесе — Тюха. Этот спившийся от ужасов жизни человек видит в Савве только самую «смешную» из сводящих его с ума «рож»: они — выражение всеобщего абсурда. В финале, глядя на труп своего брата, Тюха (который «никогда не смеется») разражается бешеным хохотом, напоминающим нам и гоготанье идиота из «Жизни Василия Фивейского», и смех одноглазого часовщика из «Так было», и «Красный смех», и, наконец,— дикое взвизгивание старух в «Жизни Человека». Это ответ, который андреевские «бездны» дают на притязания одинокой бунтующей личности.

Путь от Терновского к Савве очень важен для понимания основной антиномии андреевского мировоззрения; это постоянная (и замкнутая) траектория движения художественной мысли писателя. Гармония мира, приемлемая для отвлеченного от «безумия и ужаса» бренной жизни трансцендентного осмысления, и абсолютная его абсурдность с точки зрения отдельной, самоценной человеческой личности,— это те два полюса, которые создают постоянное идейно-эмоциональное напряжение всего его творчества. «Океан» и «Анатэма», «Полет» и «Мои записки», «Собачий вальс» и «Тот, кто получает пощечины»— вот вехи, которые Андреев, не прекращавший своих «поисков утраченного смысла», будет расставлять, устремляясь то к одному из них, то к другому...

«Жизнь Человека» (1906) Андреев задумал как «широкий синтез», как схему движения личности от гармонии к трагедии, как универсальную модель человеческой судьбы. Но такой замысел было невозможно реализовать в формах традиционной реалистической драматургии, которыми Андреев пользовался в первых двух пьесах. С точки зрения формотворчества «Жизнь Человека» и интересна прежде всего.

---

[1] Неопубликованное письмо Л. Н. Андреева к П. Н. Андрееву от 8 марта 1906 г.— Личный архив В. Л. Андреевой.

Задача драматурга (и постановщика) состояла в следующем: «Если в Чехове и даже в Метерлинке сцена должна дать *жизнь*, то здесь — в этом *представлении* сцена должна дать только *отражение* жизни. Ни на одну минуту зритель не должен забывать, что он находится в театре и перед ним актеры, изображающие то-то и то-то» [1]. Отвлеченная рассудочность «картин», в которых «и горе и радость должны быть только представлены» [2], предполагала в зрителе не сопереживание, *а со-размышление* — то, к чему впоследствии будет стремиться Бертольд Брехт.

Нетрудно, однако, заметить, что принцип «схематизации» не выдерживается в «Жизни Человека» с жесткой последовательностью. Андреев объяснял это тем, что «если выкинуть драму совсем, то, по непривычке к такого рода *нарисованным* представлениям, публика попросту начнет чихать и кашлять». Зрителя Андреев чувствовал очень хорошо и в этом пошел ему на уступки, или, по его же словам, «смалодушничал»: «оставил драматические местечки (например, молитва Отца, которую, в сущности, следовало сделать холоднее и отвлеченнее)» [3]. В результате таких отступлений, которые были по душе актерам, привыкшим к «характерным» ролям, задуманный эффект пропадал, что, впрочем, не вредило успеху. «На представлении «Жизни Человека»... волновались и плакали многие»,— свидетельствует В. Беклемишева [4]. Особая экспрессивная окраска, делавшая «андреевский» стиль легко узнаваемым, завораживающий ритм, эмоциональный напор эпитетов и метафор — все это, конечно, было и здесь: «И вы, пришедшие сюда для забавы, вы, обреченные смерти, смотрите и слушайте: вот далеким и призрачным эхом пройдет перед вами, с ее скорбями и радостями, быстротечная жизнь Человека». Андреев пытался в схематизированном виде изобразить то, к чему сам не мог остаться безучастным; бунт его героя против загадочного Некто в сером — это продолжение бунта прокаженного против Стены, о. Василия против Бога, в конечном счете — бунта самого Леонида Андреева против абсурдности существования.

Многие критики видели в его приверженности однажды освоенным темам игру на публику; Д. С. Мережковский сравнивал избалованный талант Л. Андреева с ребенком, которого насмерть заласкала обезьяна [5]. Но все это было неверно: узко очерченный

---

[1] Письма Л. Андреева к К. С. Станиславскому и В. И. Немировичу-Данченко.— Ученые записки Тартуского гос. университета, вып. 119, 1962, с. 383.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева. М., 1930, с. 243.

[5] См.: Мережковский Д. С. В обезьяньих лапах. О Леониде Андрееве.— Русская мысль, 1908, № 1.

круг тем (при разнообразии сюжетов) был определен «строем души» этого художника, и недаром «Жизнь Человека» исследователи любят проецировать на судьбу самого Леонида Андреева.

О своих мучительных поисках устойчивой истины Андреев писал В. Вересаеву: «Кто я? До каких неведомых и страшных границ дойдет мое отрицание? Вечное «нет»— сменится ли оно хоть каким-нибудь «да»? И правда ли, что «бунтом жить нельзя»? Не знаю. Не знаю. Но бывает скверно. Смысл, смысл жизни, где он? Бога я не прийму, пока не одурею, да и скучно — вертеться, чтобы снова вернуться на то же место. Человек? Конечно, и красиво, и гордо, и внушительно,— но конец где? Стремление ради стремления — так ведь это верхом можно поездить для верховой езды, а искать, страдать для искания и страдания, без надежды на ответ, на завершение, нелепо. А ответа нет,— всякий ответ — ложь. Остается бунтовать — пока бунтуется, да пить чай с абрикосовым вареньем» [1].

«Жизнь Человека» Леонид Андреев посвятил памяти своей жены. Александра Михайловна умерла в Берлине 28 ноября 1906 года от послеродовой горячки. Всего несколько слов посвящения говорят очень много о том, что значила в жизни Андреева эта женщина. Вот как описывает Андреев В. В. Вересаеву свою жизнь на Капри, куда он уехал в декабре 1906 года: «...Для меня и до сих пор вопрос — переживу я смерть Шуры или нет,— конечно, не в смысле самоубийства, а глубже. Есть связи, которых нельзя уничтожить без непоправимого ущерба для души» [2].

Первое, что написал Андреев на Капри,— повесть «Иуда Искариот», замысел которой он вынашивал уже давно. «Нечто по психологии, этике и практике предательства» [3] — это, конечно, далеко не полное определение содержания повести. Как мы помним, в образе Иуды возродился уродливый демон-богоборец Оро, один из первых персонажей андреевского творчества. Но Иуда намного сложнее Оро. Он стремится не вниз, а вверх, вслед за Христом; при этом он ненавидит и презирает мир и людей не меньше Саввы. И если уж выстраивать героев Андреева в генеалогические цепочки, то прямым предшественником Иуды следует назвать Царя Ирода («Савва»), приблизившего себя к Христу муками самоистязания, вечной и страшной епитимьей в наказание за убийство собственного сына.

Но Иуда сложнее и Ирода. Он не просто хочет быть первым после Христа, чтобы упиваться горем своего предательства. Он хочет встать по крайней мере *рядом* с Христом, положив ему под ноги

---

[1] Вересаев В. В. Указ. соч., с. 391—392.
[2] Там же, с. 398.
[3] *ЛН*, 523.

недостойный его мир. «Он, брат, дерзкий и умный человек, Иуда,— говорил Андреев Горькому.— ...Знаешь — если б Иуда был убежден, что в лице Христа пред ним сам Иегова,— он все-таки предал бы его. Убить Бога, унизить его позорной смертью,— это, брат, не пустячок!»[1] Образ Иуды парадоксален и внушает противоречивые чувства: это одновременно циничный самовлюбленный интриган и гордый, смелый борец с «неизбывной человеческой глупостью»; гнусный предатель лучшего из людей и единственный среди всех учеников искренне и самоотверженно его любящий.

Закономерен вопрос: чем обусловлен выбор Иуды в качестве борца с земным (а в перспективе и с небесным) устройством? Ведь не желанием автора оправдать предательство? М. Волошин писал в своей рецензии: «Для искусства нет ничего более благодарного и ответственного, чем евангельские темы... Только имея под собой твердую основу во всенародном мифе, художник может достичь передачи тончайших оттенков своего чувства и своей мысли»[2]. Волошину показалось неделикатным и даже грубым внедрение андреевского «я» в «законченные кристаллы евангельского рассказа»[3], но в этой прямоте и бесцеремонности — весь Андреев. Он смело перекраивает двухтысячелетние образы, чтобы с ними перекроить сознание читателя, заставить его пережить открытую автором бессмыслицу и возмутиться ею. Ведь она не только в небе,— но и в людях, легко предающих своих кумиров, кричащих «Распни!» так же громко, как и «Осанна!». Она — в их извечной несвободе, хотя и избавляющей от непосильного бремени выбора,— но тем самым лишающей их истинно человеческого, превращающей их в камни, в песчинки.

Несвобода внутренняя (тема бездны), борьба тьмы и света в душе человека исследуется Андреевым в пьесе «Черные маски», также начатой на Капри. На первый взгляд она мистически-загадочна, но ее смысл отыскивается в самом тексте, а именно — в песне, которую исполняют по приказу герцога Лоренцо: «Моя душа — заколдованный замок». И званые, но не узнаваемые хозяином замка гости и незваные Черные маски — это обитатели его души, всего подсознательного и бессознательного в ней.

Подсознательное, по Андрееву,— это «полуосвещенная комната, отделяющая сознание от мрака бессознательного, где хранятся неисчислимые сокровища накопленного человечеством опыта». «И те образы, что создает талант,— объяснял писатель своему брату Андрею,— суть реальные опыты прошлого: реальные

---

[1] *ЛН*, 396.
[2] Волошин М. Некто в сером.— Русь, 1907, № 157, 19 июня, с. 2.
[3] Там же.

переживания всей суммы жизней, вошедших частями в основу души — бессознательное. И если внезапно осветить область бессознательного, то вскроется вся тайна человеческой жизни, весь мир!» Андрею Андрееву вспомнились в связи с этим и слова брата, сказанные им по поводу «Черных масок»: «Я был герцогом Лоренцо... не я, а мой прадед, мой давний предок, посеявший свой жизненный опыт во тьме моего бессознательного» [1]. Появление же нежданных «гостей» в душе самого Лоренцо Андреев мотивирует потрясшим герцога известием о том, что родился он от постыдной связи своей матери с конюхом.

Хорошо продуманная «загадочность» пьесы обеспечивается и ее композицией: исходный пункт, завязка сюжета, обнаруживается только во второй картине, объясняющей причину помешательства Лоренцо (в башне своего замка, в библиотеке, он находит документ, подтверждающий, что он «сын грязного конюха»). Это — точка, в которой происходит раздвоение сознания героя, и в ней же двойники — Лоренцо, знающий о своем позоре, «вассал Сатаны», и Лоренцо — рыцарь Святого Духа, сын крестоносца,— встречаются в смертельном поединке. Соответственно двоится и сюжет: кошмарный маскарад предстает перед зрителем как порождение фантазии сначала одного Лоренцо, затем — другого. Победа огня — сознания — над пришедшими из тьмы бессознательного всепожирающими Черными масками дорого дается герою — ценой утраты (еще в ходе «маскарада») любимой жены, донны Франчески, а потом и жизни.

Борьба тьмы и света, но уже на уровне социальном, становится темой еще одного произведения, начатого Андреевым на Капри. Сюжет «Тьмы» (1907) — это несколько видоизмененная история, действительно случившаяся с эсером-террористом П. Н. Рутенбергом, однажды скрывавшимся от полиции в публичном доме. Столкновение проститутки, представляющей весь темный и задавленный жизнью народ, и революционера, просветленного идеей служения этому народу, осмысливается Андреевым как философско-этический поединок, в котором герой терпит поражение. Он не в силах противостоять, казалось бы, логически очень уязвимому аргументу: «стыдно быть хорошим», и, отказываясь от своих прежних убеждений, пьет с обитательницами дома терпимости за то, «чтобы все огни погасли». Написанный в период политических репрессий, этот рассказ был расценен в революционном лагере как пособничество реакции, как мародерство «в ночь после битвы»; [2]

---

[1] Андреев Андрей. Из воспоминаний о Л. Андрееве, с. 221.

[2] См.: Воровский В. В. В ночь после битвы.— В его кн.: Литературная критика. М., 1971; Луначарский А. В. Тьма.— Собр. соч. в 8-ми томах, т. I. М., 1963.

в отношениях Андреева с Горьким образовалась глубокая трещина...

Субъективного желания автора услужить реакции тут не было и быть не могло, и герой «Тьмы»— вовсе не злая сатира на революционера, а честная попытка разрешения насущных социально-нравственных проблем. Авторскую «правду», идейную концепцию «Тьмы» следовало искать (как и в других андреевских произведениях с актуализированным сюжетом) глубже внешне-скандальной коллизии развенчания «лучшего из лучших» перед продажной женщиной и грубым, опустившимся приставом.

«Хороший» в понимании Андреева — это верный самому себе, честный перед самим собой, и потому «правда» пристава, «старого взяточника и пьяницы», «правда» проститутки, «в душу которой были уже заброшены семена подвига», и «правда» террориста, вновь открытая им, встречаются равноправно, и суд общества с этой точки зрения не имеет значения. Дело не в том, что герой «Тьмы» не типичен как революционер, и не в том, что для революционера отказываться от своих высоких идеалов безнравственно, и не в том, что погасить огни и всем лезть в темноту — дурной социальный рецепт. Откровение Алексея, бездна, которая предстала перед ним и в которую он смело шагнул,— это торжество его собственной природы, победа его бессознательного «первоначала» над «книжной чуждой мудростью». Всерьез никто, конечно, не мог поверить, что Андреев зовет всех во тьму невежества, разврата и преступлений, но было непонятно, почему он сам уклонился от оценки «возмутительного» поступка своего героя. Вероятно, потому, что для Андреева было не столь важно, что этот герой революционер. Но стоило ли в таком случае тревожить столь животрепещущий, годный скорее для памфлета сюжет, столь злободневную тему? Ведь, в самом деле, трудно в этом контексте понять, что террорист, возвращающийся «к какому-то первоначалу своему»,— тот же «вневременной» герцог Лоренцо, что предмет авторского познания, несмотря на разительное отличие предметов изображения, да и самой художественной формы, в «Тьме» и в «Черных масках» — один и тот же.

* * *

В 1908 году Андреев вторично женился: его венчание с Анной Ильиничной Денисевич (по первому мужу Карницкой) состоялось 20 апреля в Ялте. Вскоре было закончено строительство его дома на Черной речке (Ваммельсуу) в Финляндии, и новое семейство

прочно там обосновалось [1]. Драматург Ф. Н. Фальковский, сосед и добрый знакомый Андреевых, в своих воспоминаниях пишет: «Клочок земли на финской скале стал миром Леонида Андреева, его родиной, его очагом; сюда он собрал свою многочисленную семью, свои любимые вещи, свою библиотеку и из этой добровольной тюрьмы он очень неохотно, только по необходимости, выбирался на несколько дней по делам своих пьес в Петербург или Москву... Где бы он ни находился, он рвался обратно, в *свой* дом, роскошно, уютно обставленный, с сотнями любимых мелочей, из которых каждая невидимой нитью тянулась к его мозгу и сердцу...» [2]

Устроенный быт вносит размеренность и в работу Андреева: дни и вечера посвящаются гостям и домочадцам, ночи — творчеству. Он теперь почти не пишет от руки; мастер живого рассказа, он, расхаживая по своему огромному кабинету, целыми абзацами, целыми картинами диктует рождающиеся тут же произведения, и машинка Анны Ильиничны едва поспевает за ним.

В это время в творчестве Андреева наряду с устоявшимися темами и найденными формами намечается и своеобразный возврат к некогда заброшенному бытописательству: попеременно появляются совершенно непохожие по своей художественной манере пьесы —«Царь Голод»— и «Дни нашей жизни» (1908), «Анатэма»— и «Gaudeamus» (1909), «Океан» (1911) — и «Екатерина Ивановна» (1912)... Чем это объяснить? В. Беклемишева вспоминает: «Андреев в минуты откровенности признавался, что пишет реалистические пьесы для широкой публики, которой чужды и непонятны его трагедии... Но для того, чтобы написать эти пьесы, нужно было самому волноваться теми темами, которые в них затрагивались, и мне было непонятно, что волнует в них Леонида Андреева и чем они близки ему» [3]. Действительно, в «Днях нашей жизни» нет трагизма «Черных масок», но нетрудно все же догадаться, что «повседневность» студенческого быта была для Андреева особой «повседневностью»: в ней сложился он сам как человек и как художник; к тому же писателем все сильнее овладевала уверенность, что и быт может очень много дать для разрешения «проклятых» вопросов. В искусстве Андреев искал и ценил не форму как таковую, а ее соответствие замыслу, вне зависимости от

---

[1] У Андреева было двое сыновей от первого брака. Старший, Вадим (1902—1976), жил с отцом, а в гимназические годы в Петербурге (у профессора М. А. Рейснера) и в Москве, в семье Добровых, родственников А. М. Велигорской, где постоянно воспитывался и второй сын Андреева, Даниил (1906—1959). Дети от второго брака — Савва (1909—1970), Вера (1911—1986) и Валентин (1913—1988) жили постоянно с отцом на Черной речке, вплоть до его смерти.

[2] *ЛН*, 594.

[3] Реквием, с. 239.

ее «прописки» в том или ином литературном течении. «И когда символизм потребует от меня, чтобы я даже сморкался символически, я пошлю его к черту; и когда реализм будет требовать от меня, чтобы даже *сны мои* строились по рецепту купринских рассказов — я откажусь от реализма»,— писал он А. В. Амфитеатрову [1].

Замечательным примером обращения Андреева к формам реалистического повествования является «Рассказ о семи повешенных» (1908). Снова испытующий взгляд художника останавливается на фигуре террориста, и снова он отыскивает в ней не политически или идеологически значимое, а общечеловечески ценное. Автор отказывается и от прямого, публицистически заостренного протеста против смертной казни: мастерски обрисованные образы, тонкая и меткая характерология сделали этот протест гораздо более сильным, чем самый громкий лозунг. За темой казней, столь актуальной в годы реакции, стояла другая, родственная ей, но уже сугубо «андреевская» тема: человек перед лицом объявленной и неизбежной смерти.

Но достоверное воспроизведение переживаний того или иного человека перед безумием и непостижимостью смертной казни тоже не было здесь самоцелью. Автор, исследуя психологию своих персонажей, пытался найти — и прежде всего для самого себя — способ *преодоления* страха смерти. И именно революционеры, люди, идейно убежденные, люди сознательного выбора, показали ему возможный выход.

Удивительно правдоподобно, просто, но со свойственной ему экспрессивностью стиля передает Андреев внезапный приступ ужаса у министра, доведенного до дурноты коротким докладом о готовившемся на него покушении; уверенно, со знанием дела дает он портреты Янсона — тупого, неразвитого существа, и разудалого Цыганка, сделавшего смерть своим промыслом. Портрет, пейзаж, звуковые и зрительные впечатления, речевые интонации — все это соединяется автором в яркие, выпуклые, физически ощутимые образы живых людей, каждый из которых по-своему осваивает дикую мысль о назначенной ему казни. Василий Каширин — единственный из террористов, не справившийся с собой: готовый взорвать себя вместе с министром, он теперь сломлен тем, что «уже не может выбрать свободно: жизнь или смерть, как все люди, а его непременно и неизбежно умертвят». Таня Ковальчук — воплощенная материнская самоотверженность, чуждая всякой рефлексии. Муся — это тот самый тип влюбленного в свою героическую судьбу борца, который Андреев использовал в рассказе «Тьма». Фанатично преданная своему делу, она и не замеча-

[1] *ЛН*, 541.

ет, что смыслом ее существования становится не светлое будущее, а собственное бессмертие в прекрасном подвиге. С большой симпатией нарисован автором Сергей Головин: розовощекий и широкоплечий, он представляет собой вопиющую антитезу смерти, и, действительно, усилием воли он подавляет пришедший к нему после приговора незнакомый, «чуждый страх». Вернер — характер самый сложный и спорный. «Гордая и безграничная свобода» его напоминает о Керженцеве, о Савве... Но здесь, перед лицом смерти, она вдруг сменяется «нежной и страстной жалостью» к людям, еще совсем недавно вызывавшим только презрение. Автор никак не мотивирует этой перемены: высокомерного «сверхчеловека» делает сострадательным и любвеобильным... близкая смерть. Характерно, что никто из террористов не думает перед казнью об оставленном ими деле, как будто эта казнь и была целью их опасной работы. Но в этом — весь Андреев, в любом социальном явлении отыскивающий его метафизический смысл.

Не теряет для писателя своей художественной значимости и «обнаженная» метафизика, воплощаемая в схематизированные модели мира и человеческого существования в нем. За первой из таких моделей —«Жизнью Человека»— последовала вторая — «Царь Голод». Эту пьесу Андреев закончил в начале 1908 года и предполагал в дальнейшем написать в той же манере драмы «Война», «Революция» и «Бог, дьявол и человек». Однако план этот реализован не был, и целостной картины мироздания, в которую соединились бы все «представления», не получилось.

В «Царе Голоде» Андреев, отвлекшись от судьбы отдельной личности, вышел на новый уровень обобщений и обратился к абстракциям социальным (классы и классовая борьба) и надсоциальным (извечные и неподвластные людям силы природы — Время, Смерть, Голод). «Он вполне мог бы назвать эту пьесу «Жизнь Общества»,— удачно заметил английский исследователь Дж. Вудворд [1]. Новый тематический уровень помог Андрееву избавиться и от «драматических местечек», к которым он прибегал в жизни человека, и добиться, таким образом, совершенства избранной для такого рода «представлений» формы.

Понять смысл пьесы вновь помогает любимая книга Леонида Андреева —«Мир как воля и представление» Шопенгауэра. В Царе Голоде персонифицируется не что иное, как мировая воля, движущая всем живым в природе. В этой пьесе мы не найдем эстетического идеала Леонида Андреева — здесь нет Человека, нет свободной личности; общество же — это вечная жертва Времени, Голода и Смерти. Значит ли это, что истинный протест может быть,

---

[1] Woodward James B. Leonid Andreyev. A Study. Oxford, 1969, p. 165.

по Андрееву, только индивидуальным, а *коллективный* невозможен? Но не такой ли именно протест предполагался в качестве темы для пьесы «Революция»? Здесь возможны разные догадки, ясно же одно: человечество, по убеждению писателя,— негодный материал для претворения мировой воли: общество извращает ее законы, личность — отвергает их.

К личности как таковой Андреев вновь обращается в повести «Мои записки» (1908). Это произведение, в котором напряженная философская полемика, поэтически восходящая к Достоевскому и Вольтеру [1], ведется от лица антигероя — узника, приговоренного к пожизненному заключению за ужасное в своей жестокости преступление. Замечательно стилизованное, слово персонажа способно обмануть читателя, сбить его с толку, но эту игру в «правду» и «ложь» автор затевает неспроста. Игра очень серьезна, и ставка в ней — опять же человеческая жизнь, ищущая в сознании героя свой смысл. Читатель вынужден сам разбираться (включая в игру и *свое* сознание, а, стало быть, и *свою* жизнь), убийца ли автор записок; прав ли он теперь, когда открыл «формулу железной решетки», утверждающую целесообразность несвободы, или раньше, когда, в первые годы заключения, страдал и бился головой о стену; за кого сам Андреев — за него или за художника К., покончившего с собой в тюрьме? Ведь писатель не приводит своего героя к внутренней коллизии (как, например, Керженцева),— напротив, финал — добровольное его заточение — становится апофеозом его идеи.

В «Моих записках» Андреев блестяще продемонстрировал, как напряжением воли и ухищрением ума человек, оказавшийся лицом к лицу с Некто в сером, может приучить себя к мысли о его законности, даже о его величии и красоте. «Формула железной решетки»— это любая «система успокоения» [2], которой слабый человеческий разум отгораживается от неразрешимых и гнетущих загадок бытия. Самому Андрееву, безусловно, ближе художник К.,

---

[1] См.: Силард Л. Некоторые проблемы жанра философской повести.— Studia Slavica Hungaricae, XX, 1974, fasc. 3—4.

[2] Это выражение Н. Бердяев использовал для характеристики толстовства: «Толстовская религия и философия есть отрицание трагического опыта, пережитого самим Толстым, спасение в обыденности от провалов, от ужасов всего проблематического. Какое несоответствие между грандиозностью исканий и той системой успокоения, к которой они привели» (Бердяев Н. Sub specie aeternitatis. СПб., 1907, с. 254—255). Восторженное преклонение почитателей перед «Учителем» — героем «Моих записок» может быть намеком на Толстого, но это, конечно, *символ*, подразумевающий *множество* конкретных интерпретаций. См., например, одну из них в статье Л. Силард «Великий инквизитор» Л. Андреева, или «душегрейка новейшего уныния» (Studia Slavica Hung., XX, 1974, f. 3—4). Теория «железной решетки» трактуется здесь как пародия на богостроительство Горького и Луначарского.

единственно возможным способом — самоубийством — нарушающий незыблемый закон тюремной «справедливости», обожествленный героем «Записок».

На 1906—1908 годы приходится пик популярности Леонида Андреева. В это время окончательно определилась содержательная направленность его творчества, проблематика его произведений, которую теперь мы с уверенностью определили бы как «экзистенциальную». Главным предметом поисков писателя сделалась художественная форма, способная адекватно отразить и выразить новое для русской литературы содержание. В драме «Анатэма» (1909), продолжившей тему богоборчества, Андреев попытался осуществить синтез «схематизма»— художественного принципа «Жизни Человека» и «Царя Голода»— и психологизма. Однако ажиотаж, поднявшийся вокруг этой пьесы, был вызван, главным образом, возмущением в богословских кругах, увидевших в «Анатэме» слишком произвольную интерпретацию Евангелия. С художественной же точки зрения новый андреевский опыт оказался не столь заметным и скорее неудачным. Андрей Белый писал: «Впечатление «Анатэма» производит, но только тогда, когда видишь пьесу на сцене. Бесподобен г. Качалов: он создал образ, который и не снился Андрееву... Если бы разыграть Кантову «Критику чистого разума», облечь основоположения рассудка в сюртуки, кафтаны и лапсердаки, право, получилось бы нечто еще более «странное», чем «Анатэма» [1].

Следующая драма Андреева, «Океан» (1910), уже изначально несценична. Большие по объему, содержательно насыщенные авторские ремарки, привносящие мерный, завораживающий ритм, яркие средства словесной выразительности превращают эту «пьесу для чтения» в подобие романтической поэмы. Ее герой — ницшеанский «сверхчеловек», предстающий в образе безжалостного пирата, скитающегося в морских пространствах в поисках Солнца, своего стихийного первоначала. Идейно-эмоциональная организация этого произведения такова, что позволяет заподозрить автора в симпатии к индивидуалистическому имморализму, в восторженной идеализации «воли к власти», противостоящей здесь — как Океан суше — филистерству земной «правды» с ее христианскими догмами. Но тут легко ошибиться и не заметить трагедии: как Океан и суша неразделимы в своем противоречии, так и душа Хаггарта, героя драмы, обитающая где-то на самой кромке моря, разорвана надвое музыкой церковного органа и глухими вздохами волн.

Стремление к разрушению привычных форм объясняет и «нероманность» первого андреевского романа —«Сашка Жегулев»

---

[1] Белый А. Арабески. Книга статей. М., 1911, с. 500.

(1910). Большой эпический жанр, со своими сложившимися канонами, не подчинился замыслу писателя, стремившегося к «компромиссу между реализмом и символизмом». Андреев был не единственным, кто взялся за реорганизацию привычных повествовательных структур (роман А. Белого «Петербург», начатый еще в 1907 г.,— самое заметное из явлений этого ряда), но его реформа не удалась. Под покровом лирической эмоциональности, привнесенной автором в созданный им художественный мир, скрывался жесткий каркас отвлеченных идей, «розданных» персонажам и разыгранных ими по ролям. «Алгебраизация», подменившая символизацию, не совмещалась ни с реалистической традицией, ни с жанровой спецификой романа.

«Поиски жанра» вновь вернули Андреева к драматургии. В двух «Письмах о театре» (1912, 1914) он изложил свое понимание перспектив драматического искусства. «Действие и зрелище» потеряли, по его мнению, свою значимость для художника, желающего воплотить на сцене образ «современной души, души утонченной и сложной, пронизанной светом мысли, творящей ценности новых переживаний, отыскавшей неведомые древним источники нового и глубочайшего трагизма» [1]. Желанием Андреева было, не отвлекаясь от конфликтов внешне будничных, повседневных, открывать в них — следуя за Чеховым — важнейшие, основополагающие категории человеческого существования. Так он создает пьесы «Екатерина Ивановна», «Профессор Сторицын» (1912), на этих же принципах он строит свою инсценировку «Мысли» (1914). «В мире стало больше одним живым человеком — Антоном Игнатьевичем Керженцевым. И это я считаю величайшим своим успехом» [2],— писал Андреев после премьеры «Мысли» в МХТ исполнителю главной роли Л. М. Леонидову.

Этот период исканий (и участившихся творческих неудач) обозначил начало заката славы Леонида Андреева. Все чаще он узнавал о провале своих спектаклей; не щадили его и критики; М. Горький, раньше поддерживавший все начинания Андреева, не оценил его драматургических новаций. Гнетущая атмосфера непонимания, которую Андреев ощущал вокруг себя все явственнее, еще сильнее сгустилась с началом мировой войны. В прошлом активный пацифист, он вдруг стал не менее активным «оборонцем». «Для меня смысл настоящей войны необыкновенно велик и значителен свыше всякой меры,— писал Андреев Шмелеву.— Это борьба демократии всего мира с цезаризмом и деспотией, представителем каковой является Германия... Разгром Германии будет разгромом всей европейской реакции и началом целого цик-

---

[1] Андреев Л. Н. Полн. собр. соч. СПб., 1913, т. VIII, с. 311.
[2] Реквием, с. 83.

ла европейских революций. Отсюда и то необыкновенное и многих смущающее явление, что антимилитаристы и пацифисты, Эрве и Кропоткин, стоят *за войну* до самого конца. Отсюда и я, автор «Красного смеха» (как-никак!) также стою за войну» [1].

Вера в благость этой войны была в действительности самовнушением, «системой успокоения»,— и первым случаем в жизни писателя, когда он сознательно принял определенную идеологическую «программу», примкнул к «партии». Помимо публицистики («В сей грозный час», «Гибель» и др.), Андреев пишет на военную тему ряд художественных произведений: пьесу «Король, закон и свобода» (1914), рассказ «Ночной разговор» (1915), повесть «Иго войны» (1916). Все они были в той или иной степени неудачны: политическая тенденция и злободневность, которые никогда не выпячивались в андреевском творчестве, обнаружились здесь слишком явно.

Позже, в 1918 году, Андреев объяснял себе (в дневнике) это приятие войны, «т. е. переведение ее из плана общечеловеческого в область «отечества»... простым инстинктом самосохранения: иначе война оставалась бы для меня только «красным смехом» и я неизбежно должен был бы в скором времени лишиться рассудка... Но это лишь наполовину спасало меня, не давая сразу погрузиться во тьму безначалия... Я поймал Дьявола, проглотив его, но он жив — и во мне» [2].

Поэтому, одновременно с «военно-патриотическими» и как бы совершенно независимо от них, создавались в эти годы и собственно «андреевские» произведения. Пьесами «Самсон в оковах», «Тот, кто получает пощечины» (1915), «Собачий вальс», «Милые призраки» (1916) пополнился репертуар «театра панпсихэ».

«Собачий вальс» был особенно дорог Леониду Андрееву. «Ведь это моя *молитва*, это я сам, это я навсегда такой и не другой» [3],— писал он Немировичу-Данченко. Подзаголовок пьесы —«Поэма одиночества»; ее житейская фабула (измена любимой женщины, разочарование в жизни и самоубийство) — нехитрая событийная канва, на которой «панпсихическая» поэтика создает выразительный образ неизбывного отчаяния, страшный в своей простоте. «Боже мой, я ничего не знаю, я ничего не помню, я никого не люблю»,— вот *молитва* Генриха Тилле, героя пьесы. Но ему даже не к кому обратиться с этой молитвой («зачем я говорю: Боже мой?»). Жизнь абсурдна, и реквием, который он играет себе перед тем, как застрелиться,— нелепый собачий вальс. Вся горечь, вся тоска и неприкаянность, которую Андреев пытался преодолеть

---

[1] *ЛН*, 547.

[2] Андреев Л. Н. Из дневника.— Русский сборник. Париж, 1920, с. 151—152.

[3] *ЛН*, 544.

в пьесе «Тот, кто получает пощечины» и рассказе «Полет» (1914), выплеснулась в этой поэме звуками всем знакомой детской мелодии: зрелому мастеру уже не нужно было нагромождать ужасов «Стены», чтобы передать читателю свое одиночество и безысходность.

«Оборонческая» активность, спасавшая Андреева в годы войны от «ужасов всего проблематического», привела его в редакцию вновь созданной газеты «Русская воля». Он буквально хватается за предложение возглавить в ней отделы беллетристики, критики и театра,— несмотря на дурную репутацию нового печатного органа, организованного депутатом IV Государственной думы, затем министром внутренних дел А. Д. Протопоповым. Февральская революция, открывшая России путь к возрождению, стала для Андреева настоящим «праздником души». «...Веселый и возбужденный, он казался помолодевшим на несколько лет» [1],— вспоминает Вадим Андреев.

Но возбуждение это продолжалось недолго. «Огромное, темное — российское стадо — и несколько мерзавцев, честолюбцев, делателей карьеры» [2],— такой стала представляться писателю действительность к осени 1917 года. Постепенно наступило разочарование в журналистской и издательской работе. «Газета и политика убивают искусство, и я особенно почувствовал это по «Русской воле», когда за целый год я не написал ни одной беллетристической вещи; больше того — и сейчас ничего писать не хочу и не могу» [3],— читаем в письме Андреева к А. А. Измайлову от 25 марта 1918 года.

Накануне Октябрьской революции «Русская воля» была продана, и Андреев вернулся из Петрограда на Черную речку, вскоре ставшую частью независимой Финляндии. Наступил последний, самый тяжелый период в жизни писателя. Из России перестали поступать гонорары от проданных книг и театральных постановок; не было ни средств к существованию, ни сил для творчества. «Дневник Сатаны», начатый отцом этой весною (1918 г.— *А. Б.*), не удавался: написав несколько десятков страниц, отец к нему охладел»,— свидетельствует В. Андреев.— В эти дни он писал только личный дневник, не предназначавшийся для печати, где слова, мучительные, несправедливые и жестокие, перемежались лирическими отступлениями, говорившими о глубоком его одиночестве» [4].

«Дневник Сатаны», к сожалению, так и остался незавершенным, хотя это, несомненно, одно из лучших произведений Леонида

---

[1] Андреев Вадим. Детство, с. 174.
[2] Андреев Л. Письма.— Русский современник, 1924, № 4, с. 153.
[3] *ЛН*, 457.
[4] Андреев Вадим. Детство, с. 223.

Андреева. Стиль его стал гораздо строже, сдержаннее, но и ярче,— свободное, уверенное владение словом, подчиненным выверенной, выстраданной мысли. Этот роман воспринимается как итог художественных поисков писателя, в нем переплелись все важнейшие темы его творчества: абсурдность мира и порождаемый ею беспредельный нигилизм; ложь как способ существования человека и человечества; красота живой природы и спасительная сила любви — и их ненадежность, непрочность; раздвоенность человеческого сознания, колеблющегося между бездной тысячелетних инстинктов и стеной непознаваемого. Здесь же Андреев трезво и самокритично оценил свое увлечение войной, хотя и вывел ее побудительные причины за пределы политики и экономики,— представив ее как страшный опыт самоуничтожения, подготовленный слепой верой людей в чудо, умело использованной «сверхчеловеками» наподобие Фомы Магнуса. Писатель как бы извне, глазами посланца «невыразимого»— Сатаны, смотрит на мир, одновременно и прекрасный и отвратительный, и его свежие впечатления превращают привычное и даже скучное в настоящее открытие, увлекательное и волнующее.

Трагедия последнего года жизни Леонида Андреева была трагедией его полной изоляции от России и его невыносимой любви к ней. 19 мая 1918 года он записал в своем дневнике: «Вчера вечером нахлынула на меня тоска, та самая жестокая и страшная тоска, с которой я борюсь, как с самой смертью. Повод — газета, причина — гибель России и революции, а с нею и гибель всей жизни» [1]. Снова он бросился в политику, оказался в чуждой, враждебной ему среде банкиров и помещиков и с ними был вынужден делить свою боль, свою утрату. «Это была первая смерть Леонида Андреева»,— пишет в своих воспоминаниях Ф. Н. Фальковский [2]. Призыв к гражданам союзных держав спасти Россию («S.O.S.», февраль 1919 г.), затем поиски контактов с «Северо-западным правительством» Юденича — все эти шаги отчаяния приближали конец; все чаще случались сердечные приступы. 12 сентября 1919 года в деревне Нейвола, куда семья писателя перебралась из-за близости фронта, Андреев умер от кровоизлияния в мозг. Вот свидетельство Ф. Н. Фальковского: «Я рылся в книгах, когда вдруг увидел перед собой Леонида Николаевича в пальто, с биноклем в руках. Он дрожал.

— Что с вами?

— Был на башне. Туманно. Искал Кронштадт и не нашел. Не нашел...

На другой день он умер.

---

[1] Русский сборник, с. 163.
[2] *ЛН*, 595.

На руках своей семьи, без графов и банкиров, в глубокой нищете. За все время его пребывания в Финляндии — мне это доподлинно известно — рука его не коснулась ни одной копейки из того обагренного братской кровью золота, которое сыпалось в карманы всех тех, кто примазывался к белому движению.

После его смерти во всем доме нашлось восемь финских марок» [1].

Той зимой Андреев собирался ехать в Америку с лекциями...

* * *

«...Какой художник погиб в этом человеке! — говорил М. Горький еще при жизни Леонида Андреева.—...Все эти «бездны» и «стены»— плохо переваренный Достоевский с его склонностью блуждать по тупикам и лабиринтам. А русская литература не прощает оторванности от быта. Не принимаются на нашем черноземе столь экзотические цветы. Всему есть историческое возмездие. Вот увидите: не мудрый, но честный писатель Куприн переживет громкую славу Андреева, и мало кто об этом пожалеет...» [2] Предсказание Горького читается сегодня как свершившийся приговор: не только честный реалист Куприн, но и честный символист Брюсов, и многие другие современники Андреева пережили громкую его славу. Почему так случилось? Действительно ли заслужили андреевские «экзотические цветы» столь сурового «исторического возмездия»? И так ли отличается наш нынешний «чернозем» от тех орловских, московских и финских почв, на которых эти цветы впервые распустились? Теперь нам, уже немного знакомым с творческой биографией Леонида Андреева, легче найти правильный ответ. Может быть, они просто ждали весны?

Алексей Богданов

---

[1] *ЛН*, 596—597.
[2] *ЛН*, 593—594.

РАССКАЗЫ
1898-1903

БАРГАМОТ И ГАРАСЬКА

Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Бергамотова, в своей официальной части именовавшегося «городовой бляха № 20», а в неофициальной попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь по отношению к месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «пушкари — проломленные головы», давая Ивану Акиндиновичу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности «Баргамот», скорее, напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительной, для пушкарей же — наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц — он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городовых, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом

мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и безусловно господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное,— Баргамот обладал непомерной силищей, сила же на Пушкарной улице была все. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивавшие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их «за клин». Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.

Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с не меньшим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался,— могла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой — вертеть им, при всей его грузности, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины.

Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресение, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только

к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов: хотелось тоже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднимались в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так, только тюри пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда еще!

— Тьфу!— плюнул Баргамот, сделав цигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до «разговленья».

Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных, с бесконечным количеством сборок сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с неособенной любовью посматривал на своих «крестников», смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчи тут как неприкаянный.

«Стой тут из-за вас, пьяниц!»— резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул — сосало под ложечкой.

Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный, переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи; яйца. Он, не торопясь, со всеми похристосуется. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-то разинет он рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник!

«Потешный мальчик!»— ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.

Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотанье. «Кого это несет нелегкая?»— подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам с своей собственной пьяной особой,— его только недоставало! Где он поспел до свету наклюкаться, составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со средины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гараська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до средины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия.

— Фонарь. Тпру!— кратко констатировал Гараська совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гараська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок.

— Стой, дурашка, куда ты?!— бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность.— Вот, вот!..— Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в задумчивость.

Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь,— в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке — и все это выходит у него по-благородному,

а Гараська все исподтишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить, без всякой причины, здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют,— толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли.

Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах,— от Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый,— было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворовывает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик.

На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения.

Гараське удалось наконец расстаться со столбом, когда он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.

— Наше вам! Баргамоту Баргамотычу!.. Как ваше драгоценное здоровье?— Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.

— Куда идешь?— мрачно прогудел Баргамот.

— Наша дорога прямая...

— Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправлю.

— Не можете.

Гараська хотел сделать жест, выражающий удальство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевок.

— А вот в участке поговоришь! Марш!— Мощная длань Баргамота устремилась к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути добродетели.

Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собою легонькую шкуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчужкой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом:

— А скажи, господин городовой, какой нынче у нас день?

— Уж молчал бы!— презрительно ответил Баргамот.— До свету нализался.

— А у Михаила-архангела звонили?

— Звонили. Тебе-то что?

— Христос, значит, воскрес?

— Ну, воскрес.

— Так позвольте...— Гараська, ведший этот разговор вполоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом.

Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот; Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз,— потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике.

Гараська воет! Баргамот изумился. «Новую шутку, должно быть, выдумал»,— решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без слов, по-собачьи.

— Что ты, очумел, что ли?— ткнул его ногой Баргамот.

Воет. Баргамот в раздумье.

— Да чего тебя расхватывает?

— Яи-ч-ко...

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.

— Я... по-благородному... похристосоваться... яичко, а ты...— бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. И плачет.

Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось, и как это ему, Баргамоту, было жаль.

— Экая оказия,— мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный.

— Похристосоваться хотел... Тоже душа живая,— бормотал городовой, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его.— А я, тово... в участок! Ишь ты!

Тяжело крякнув и стукнув своей «селедкой» по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.

— Ну...— смущенно гудел он.— Может, оно не разбилось?

— Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!

— А ты чего же?

— Чего?— передразнил Гараська.— К нему по-благородному, а он в... в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!

Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гараськи; всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то, в самых отдаленных недрах его дюжего тела, что-то назойливо сверлило и мучило.

— Да разве вас можно не бить?— спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.

— Да ты, чучело огородное, пойми...

Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько прояснившем мозгу вырисовывалась целая перс-

пектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:

— Пойдем ко мне разговляться.

— Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!

— Пойдем, говорю!

Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел — и куда же?— не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще... разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль — навострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городовых, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.

— Верно говорите, Иван Акиндиныч, нельзя нас не бить,— поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!

— Да нет, не то я говорю...— мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный язык...

Пришли наконец домой,— и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары,— но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать.

Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убранным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська.

— Иван Акиндиныч, а что же ты Ванятке-то... сюрпризец?— спрашивает Марья.

— Не надо, потом...— отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы,— но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.

— Кушайте, кушайте,— потчует Марья.— Герасим... как звать вас по батюшке?

— Андреич.

— Кушайте, Герасим Андреич.

Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Детишки, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянною и жалкою миной смотрит на жену.

— Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте,— успокаивает та беспокойного гостя.

— По отчеству... Как родился, никто по отчеству... не называл...

АЛЕША-ДУРАЧОК

ОЧЕРК

(Посвящается Э. В. Готье)

Впервые увидел я Алешу при таких обстоятельствах.

Был холодный ноябрьский день. Сильный северный ветер быстро гнал по небу низкие тучи, гудел в голых вершинах обнаженных деревьев, срывая оттуда последние желтые скрюченные листья, своим печальным видом напоминавшие дачников, которые никак не могут расстаться с летом и только под влиянием крайней необходимости покидают насиженное место. Тот же суровый и настойчивый ветер подгонял и меня, настолько увеличив мою нормальную способность к передвижению, что путь от гимназии до дому, проходимый мною обыкновенно минут в тридцать, на этот раз сократился по меньшей мере минут на пять. Полагаю, впрочем, что один ветер едва ли достиг бы таких блестящих результатов, если бы не оказали ему содействие мои родители, наградившие меня тем, что в данную минуту свободно можно было назвать парусом, но что при рождении было наименовано гимназическим теплым пальто, сшитым «на рост». По толкованию изобретателей этой адской машины выходило так, что когда года через четыре мне станет пят-

надцать лет, то эта вещь будет как раз мне впору. Нельзя сказать, чтобы это было большим утешением, особенно если принять во внимание необыкновенную тяжесть этой вещи и длину ее пол, которые мне приходилось каждый раз с усилием разбрасывать ногами. Если добавить к этому величайшую, с широчайшими полями, ватную гимназическую фуражку, имевшую очевидную и злобную тенденцию навек сокрыть от меня свет Божий и похоронить мою бедную голову в своих теплых и мягких недрах, чему единственно препятствовали мои уши, да обширнейший ранец, вплотную набитый толстейшими книжками — и все в переплетах,— то, без всякого риска солгать, меня можно было уподобить путешественнику в Альпийских горах, придавленному обвалом и, кроме того, поставленному в грустную необходимость весь этот обвал тащить на себе. При этих условиях требовать от меня жизнерадостного настроения было бы нелепостью.

Дом наш находился на окраине города О. по Пушкарной улице. Энергично борясь с судьбою, я успел приблизиться к нему и уже взялся за ручку калитки, чтобы через двор пройти к себе, когда из-под козырька фуражки заметил чьи-то грязные ноги, попиравшие чистые каменные ступени парадного крыльца. Сдвинув, насколько было то возможно, фуражку на затылок, я критическим взглядом окинул обладателя грязных ног. При первом поверхностном обзоре я успел заметить, что он одет более чем по-летнему. Коротенький и узкий нанковый пиджак туго обтягивал тело, выше кисти оставляя открытыми большие грязные руки, синевато-багровые от холода. Тот же оттенок носили и другие части тела незнакомца, выглядывавшие из прорванных нанковых брюк, далеко не достигавших нижних конечностей, обутых в опорки. Единственное, что в костюме незнакомца пробудило во мне некоторое чувство зависти, была маленькая-премаленькая засаленная фуражка, еле прикрывавшая стриженую голову.

— Послушай, чего тебе надо?— спросил я с деловитой суровостью барчонка, выполняющего ответственные функции хозяина и домовладельца.

Незнакомец молчал и смотрел на меня. Я тоже молчал и смотрел на него. Поразило меня при этом что-то особенное в выражении его глаз и рта. Лицо у него было совсем моложавое, болезненно-полное и на щеках еле покрытое негустым желтоватым пушком. Носик маленький, красный от холода. Небольшие серые тусклые глаза смотрели на меня в упор, не мигая. В них совсем не было мысли, но от-

куда-то из глубины поднималась тихая молчаливая мольба, полная несказанной тоски и муки; жалкая, просящая улыбка как бы застыла на его лице.

— Послушай же! Чего тебе надо?— вторично спросил я, но уже со значительно меньшей суровостью. Но незнакомец и на этот раз не удостоил меня ответа. Слегка сгорбившийся, беспомощно, как плети, опустивший руки по бокам, он смотрел на меня тем же взглядом, и лишь губы его стали шевелиться, как будто то, что нужно было ему сказать, находилось на самом кончике языка, но никак не могло соскочить оттуда.

— Ну?— подсобил я ему.

— Копеечку...— послышался тихий, точно откуда-то издали долетевший ответ.

— А ты звонил?

— Не-ет.

— Какой же ты глупый! Кто ж тебе даст, если ты не звонил.

Незнакомец молчал.

— А как тебя зовут?

— А-леша... Дурачок.

Эта необычная рекомендация не показалась мне странной, ибо я давно уже решил, что у незнакомца не все дома, и мне было жаль его. Особенно смущало меня проглядывавшее сквозь прорехи голое, синеватое тело.

— Тебе холодно?

— Хо-лодно.

С быстротой нерассуждающего детства я составил чудный план помощи Алеше, имевший целью не только спасти его от холода, но обеспечить его будущность по меньшей мере на несколько десятков лет. Схватив Алешу за рукав, я энергично потащил его окольным путем в сад, более чем когда-либо негодуя на излишнюю предусмотрительность родителей, воплотившуюся в этом проклятом пальто «на рост». В саду я усадил Алешу на скамейку, с возможной поспешностью отправился домой и, не раздеваясь, потребовал от матери «как можно больше денег». Та изумилась, но ввиду того, что я имел честь состоять первенцем и баловнем дома, а так же и потому, что у ней не было мелочи, дала мне рубль, строго приказав принести мне сдачи. Как же, дожидайся!

— На, Алеша. Тут много денег. Смотри, не потеряй.

Для верности я сам зажал в его руку драгоценную бумажку. Но все-таки меня грызло сомнение, хотелось самому проводить до его дома, но, боясь отца, я удовлетворился

тем, что долго из калитки наблюдал за уходящим дурачком. И походка-то у него была странная. Поднимет одну ногу и, качнувшись всем телом вперед, тихо-тихо поставит ее наземь носком внутрь. Потом другую. Меня так и тянуло побежать и толкнуть его сзади. От нетерпения я даже начал топать.

Говорят, что павлины горды, но это могут говорить лишь те, кто не видал меня в этот достопамятный день. Но радость от сознания сделанного добра была, пожалуй, еще выше гордости и страдала лишь одним недостатком: не была разделена. Впрочем, этот недостаток легко было исправить: у меня был поверенный. В этой почетной должности состоял наш дворник Василий, молодой, веселый и плутоватый парень, бывший, как я впоследствии убедился, далеко не бескорыстным другом, так как всякий прилив дружеской откровенности с моей стороны окупался обыкновенно десятком папирос из отцовского ящика. На этот раз, однако, я был обманут. Мой трогательный рассказ о бедном Алеше и рубле вызвал в Василье неистощимое и обидное для моего самолюбия веселье. Даже тезка Василия — мерин Васька (приютом нашей дружбы служила конюшня) — оглянулся и фыркнул, до того выразительно и громко грохотал Василий! Выждав окончания этой неприличной веселости, я в вежливых выражениях попросил разъяснить мне причину смеха. Боже, какое разочарование! Оказалось, что Алеша живет у известной всей Пушкарной Акулины, которая посылает его собирать копеечки, и, если копеечек набирается достаточно, совершается на них пьянство и дебош. И следовательно, мой рубль...

— Поди-кась, сейчас посмотри! Вот небось задувают... И вас похваливают!..

Представление о весьма вероятных, но мало лестных похвалах, которыми должна была осыпать меня Акулина, погрузило Василия в целый океан смеха, вынырнув из которого, он выразил прямое намерение идти к кухарке, у которой он тоже состоял поверенным, и посвятить ее в мою тайну.

Однако я воспротивился этому и путем красноречия, а главным образом, обещания поставлять папиросы в таком количестве, что осуществление этого обещания грозило отцу неминуемым банкротством, убедил Василия предпринять вместе со мной небольшую рекогносцировку во владения Акулины.

Жилище Акулины носило название «кадетского корпу-

са». Что хотели сказать этим пушкари, давшие это прозвище, для меня положительная тайна. Быть может, покосившаяся набок крыша, весьма отдаленно напоминавшая надетую набекрень фуражку, что, как известно, составляет отличие военного звания, дала повод к этому названию,— но кто разберется в тайниках народного духа? Под этой крышей, несколько схожей со швейцарским шале, благодаря обилию набросанных камней и кирпичей, долженствовавших удерживать на месте дрянную настилку, находились четыре стены. Четыре — это очень важная подробность, так как половину лета изба имела всего три стены. Дело в том, что господин Треплов, супруг Акулины, по профессии более алкоголик, чем штукатур, вознамерился основательно ремонтировать свой за́мок, с каковой целью поочередно вынимал каждую стенку и вставлял хворостиновую. Но так как различные сложные обязанности, связанные с его профессиями, не позволяли ему отдавать много времени этому занятию, то домишко по целым неделям стоял без одной какой-нибудь стены. Особенно интересный вид представлял собой «кадетский корпус», когда была вынута стенка на улицу, и прохожие имели полную возможность наблюдать за течением семейной жизни гг. Трепловых, причем, несомненно, наибольшее количество избранной публики привлекал тот драматический момент, когда Акулина била и укладывала спать своего мужа. В то время я был глубоко убежден, что нет на свете более носатой, более высокой, более сильной, более страшной и громогласной женщины, чем Акулина. Когда по каким-либо обстоятельствам мне нужно было представить себе ведьму, я совершенно удовлетворялся представлением Акулины, останавливаясь перед одним лишь вопросом: каково же должно быть помело, на котором она летает? Поэтому, подходя к корпусу, я сильно трусил и крепко держал Василия за руку.

Отложив и снова заложив дверь, ибо она относилась к категории тех дверей, которые Митрофанушка называл «прилагательными», и петель не имела,— куда-то опустившись, поднявшись и снова опустившись, мы очутились внутри лачуги. Свет слабо проникал в запыленные и заклеенные бумагой оконца, и мне в первую минуту показалось, что в избе масса народу. Присмотревшись, я убедился, однако, что там было всего трое. Спиной к нам сидела Акулина, а на лавке вокруг стола восседали опухшая девица и молодой человек неопределенных занятий и звания. Возле молодого человека лежала гармоника, но, думается мне, единственно для контенансу, так как между верхней

и нижней половиной этого инструмента произошел видимый и едва ли поправимый разрыв. На грязном столе стояла бутылка водки, валялся раскрошенный хлеб и виднелись остатки селедки, обычно именуемой пушкарями «кобылой». Алеши не было видно.

— А, Мелит Николаевич!— дружелюбно приветствовала меня Акулина, получавшая от моей матери кое-какое тряпье.— Садитесь, гостьми будете. От маменьки будете?

— Нет, я так... от себя... Василий,— шепнул я ментору,— спроси, где Алеша.

— Вам Лешку нужно?— услыхала Акулина.— А на что это он вам?

— Барчук дал ему целковый,— сурово вмешался Василий,— и хочет спросить, куда он его потребил.

— Вот он, Леша. Спрашивайте сами,— грубо отрезала Акулина.

Молодой человек неопределенного звания усмехнулся и подморгнул мне на вино.

В темном углу за печкой на каком-то обрубке сидел Алеша. Обрубок был низок, и колена Алеши подходили к его подбородку. Длинные руки бессильно лежали на коленях. Я наклонился к Алеше, и снова встретил молящий, полный тоски взгляд, и увидел ту же жалкую, просящую улыбку.

— Алеша, где же деньги? Деньги, которые я тебе дал? Ну, бумажку...

Алеша пошевелил губами и бесстрастно произнес:

— Она взяла.

— Акулина?

— Да-а.

— А это что у тебя?— заметил я, что одна щека Алеши багрово-красная и под глазами царапина.

— Побила.

Бросив руку Василия, я стал против Акулины и, задыхаясь от охватившего меня гнева, спросил:

— Это он... правду говорит?

— Ну и взяла.

— Как же вы смели?!

— А так и смела. Что же, я его даром буду кормить? Тоже небось жрет, как прорва.

— И вы били его?

Молодой человек, с видимо возраставшим интересом наблюдавший за этой сценой, не выдержал и, размахивая руками, смеясь и захлебываясь в словах, начал с непонятным восторгом представлять, как била Алешу Акулина.

— У тебя, грит, что это в кулаке зажато? А Лешка стоит, как пень, и кулака не разжимает. Акулина-то как хватит...

Но я перебил его и, обращаясь к Акулине, прокричал высоким, у меня самого в ушах отдавшимся голосом:

— Вы, Акулина, подлая женщина! Вы... мерзкая женщина! Я папе скажу, он к губернатору поедет!.. Он...— Но дальше слов у меня не хватило.

— Тише, Мелит Николаевич, не петушись, не побоялись...

Я топнул ногой, хотел кричать что-то, но Василий схватил меня за руку и быстро потащил к дверям. Последнее, что донеслось до меня из хаты, был возглас молодого человека:

— На чаек бы с вас!— Но потом:— Эх, барин, чай пьет, а пузо холодное!..

— Но ведь она била его, Василий, била!— кричал я, жмуря изо всех сил глаза и обеими руками дергая Василия за поддевку.— Ведь била!

— Ну, нечего, нечего, не плачь. Ему дело привычное...

— Да как привычное! Ведь она сильная, ты не знаешь. Ему больно было...

Василий отвел меня в наш приют дружбы и долго успокаивал, рассказывая разные небылицы про ум мерина Васьки, обещаясь наказать Акулину и прося не забыть принести папирос. Понемногу я пришел в себя и решился отправиться в дом, но, уходя, спросил:

— А что это значит: барин чай пьет, а пузо холодное?

— Да так,— дурак говорит, плюньте.

Но я не удовлетворился этим и до́лго размышлял, ощупывая живот: «Это и правда, чай я пью горячий, а живот у меня холодный?»

Но эти не лишенные глубокомыслия размышления были нарушены жесточайшим нагоняем, которым наградил меня отец, узнавший всю эту историю с рублем.

Дня через два я снова увидел Алешу стоявшим у нашего крыльца в той же позе тоскливой безропотности и глубокой, животной покорности судьбе. Длинные большие руки бессильно висели вдоль хи́лого, понурившегося тела, та же жалкая, просящая улыбка застыла на его губах. Смущенный, потому что мне строго-настрого приказано было бросить эту «затею» с Алешей, я быстро сбегал в кухню, принес большой кусок хлеба и, торопливо сунув в руку Алеши, ласково попросил его уходить.

— Ступай, Алеша, голубчик, ступай. Папа не велел ничего тебе давать.

Вероятно, слово «ступай» было знакомо Алеше лучше всяких других, потому что он тотчас же сошел с крыльца и снова тихой, странной походкой отправился домой. И опять я долго смотрел ему вслед, но на этот раз мне уже не хотелось торопить его, и смутное сознание царящей в мире несправедливости закрадывалось в душу.

С того дня я влюбился в Алешу. Нельзя дать другого названия тому чувству страстной нежности, какая охватывала меня при представлении его лица, улыбки. В классе на уроках, дома на постели я все думал о нем, и мое детское сердце, еще не уставшее любить и страдать, сжималось от горячей жалости. Приходилось мне еще несколько раз видеть Алешу, стоящим и безмолвно, терпеливо дожидающим у чьих-нибудь дверей. Скованный строгим приказом, я только издали провожал Алешу любовным взглядом. С Василием я о нем уже не говорил, так как вместо прежних шуток Василий резко заметил мне, что таких Алеш много и про всех не наплачешься.

Недели через две-три начались морозы, и река стала. С толпой ребятишек, составлявших мою обычную свиту, я отправился на лед кататься. День был воскресный, погожий, и на берегу толкалось порядочно пьяного, гулящего люда. Кое-где поскрипывала гармоника, невдалеке начиналась драка,— уже вторая по счету. Но мы, ребята, ничего этого не слышали и не видели, до самозабвения увлеченные своим занятием. Лед, чистый и гладкий, как зеркало, был еще совсем тонок, так что брошенный на него камень прыгал со звонким, постепенно стихающим гулом. Местами лед даже гнулся под ногами, и, когда кто-нибудь из нас, задрав ноги кверху, с размаху стукался затылком, на льду образовывалась звезда, в значительной степени утешавшая автора ее в понесенной неприятности. Иной малорослый любитель сильных ощущений, а может быть, пытливый ум, желавший исследовать явления в их сущности, пробивал лед каблуком и глубокомысленно смотрел, как из образовавшегося отверстия била ключом вода и потихоньку подтекала ему под ноги. Благодаря предусмотрительности родителей, сшивших мне пальто «на рост», я был автором наибольшего количества звезд, рассеянных по льду, и тем более было лестно для моего самолюбия, что после каждого акта творчества я надолго впадал в изнеможение, пытаясь выпутаться из пальто. Находясь в одном из этих состояний, я увидел на берегу Алешу и бросился со всех ног к нему, в радостном

возбуждении забыв о приказе. Но пока, падая и подымаясь, я добирался до него, произошло нечто неожиданное. Алеша стоял на берегу у самого льда, как раз над тем местом, которое именовалось у нас омутом, когда один из ребят, зачем-то выскочивший на берег и вздумавший подшутить, разогнался и изо всех сил *бушкнул* Алешу в спину. Наклонясь и вытянув руки вперед, Алеша вылетел на лед, проехал сажени две на раскоряченных ногах и упал навзничь. Были ли в этом месте ключи, или лед был тоньше, чем в других местах, или он просто не мог сдержать тяжести взрослого человека, только Алеша провалился. Дальнейшее свершилось с такой быстротой, что я не успел еще закрыть широко разинутого рта, когда молодой человек, тот, что был у Акулины, поспешно сбросил с себя самого поддевку и пиджак и, со словами: «Берегись, душа, ожгу!»— бросился в воду. Через несколько минут, окруженный народом, Алеша стоял уже на берегу — все тот же, с теми же бессильно опущенными руками и жалкой улыбкой. Только струившаяся с него вода да дрожание всего тела показывали, что он только сейчас принял холодную ванну и, быть может, избежал смерти, так как провалился он на глубоком месте. Молодого человека его товарищи увели в кабак, причем, уходя, он не преминул попросить у меня на чаек, а Алеша стоял, окруженный соболезнующей и дающей различные советы толпой,— откуда-то уже поспели появиться и бабы,— дрожал и синел все больше и больше. Взволнованный, решительный, я протеснился сквозь толпу, взял Алешу за руку, заявил голосом, не терпящим возражений:

— Пойдем, Алеша, к нам, там тебе и чистое платье дадут и обсушиться.

Крики в толпе: «Ай да барчук, молодец!»— ничуть не увеличили моей решимости. Твердо, поскольку позволяли то полы пальто, шагал я, ведя Алешу, а за нами следовала толпа, составляя, в общем, весьма торжественное и внушительное шествие. Некоторые бабы пытались проникнуть к нам и во двор, но, встретив сильную оппозицию со стороны Василия, в порядке отступили.

Кухарка Дарья, молодая, красивая баба-солдатка, встретила нас целым скандалом, но, тронутая моими усиленными просьбами, к которым присоединил свой авторитетный голос и Василий, смягчилась, только сочла необходимым доложить о казусе моей матери. Та разрешила на несколько часов приютить Алешу и дала даже кое-каких харбаров ему переодеться. Боже, до чего ликовал я! Я решительно терялся, не зная, чем бы выразить свою любовь

бедному Алеше, бесстрастно сидевшему на лавке. Я то гладил ему руки, неподвижно лежавшие на коленях, то просил Дарью дать ему еще поесть, хотел даже почитать ему сказку вслух, но, сообразив, что едва ли он что-нибудь поймет, остановился на другой, более практической мысли. Отозвав Василия в сторону, я таинственно спросил:

— Василий, а если дать ему папиросу, он будет курить?

— Ну вот еще! Куда ему с тупым носом да рябину клевать — рябина ягода не-жная!..

При последних словах Василий почему-то подмигнул Дарье, а та засмеялась и назвала его «лешим».

Я продолжал вертеться около Алеши и только что хотел предложить ему еще что-то, когда в кухню вошел отец, только что вернувшийся домой. Василий, собиравшийся зачем-то обнять Дарью, отскочил от нее и вытянулся. Дарья бросилась к печке, а я обмер. Только Алеша остался неподвижен и бесстрастен.

— Что это еще?! Убрать его,— сурово произнес отец.

— Папочка!..

— Я говорил, чтобы этого не было. Василий, отведи его.

Василий шагнул к неподвижному Алеше, но я остановил его, бросился к отцу, схватил за руку и заговорил, захлебываясь в слезах, целуя эту суровую, но родную руку:

— Папочка, родной, милый... позволь ему остаться... он бедный, он дурачок... Его Акулина бьет. Папочка, дорогой мой, не гони его — а то я умру. Папочка, не гони. Папочка, не гони!

Мои слезы уже начали переходить в истерику. Расчувствовавшаяся Дарья, утирая фартуком глаза, осмелилась присоединиться к моей просьбе.

— Ничего, барин, пускай останется, он нам не помешает...

Отец, не отвечая, хмуро смотрел на Алешу. Как бы под влиянием этого мрачного взгляда Алеша устремил на отца свои полные молчаливой мольбы глаза, и губы его зашевелились:

— Я дурачок... Алеша...

— Папочка!..

— Пускай останется. Но это в последний раз!— сказал отец, тихо-тихо погладив меня по поднятому к нему лицу, и вышел.

На другой день Алеша исчез, и с тех пор я его не видал и не знаю, где он. Может, замерз под забором, а может быть, и сейчас стоит где-нибудь у парадных дверей и ждет.

ЗАЩИТА

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДНЯ

По коридору суда прохаживался высокий, худощавый блондин, одетый во фраке. Звали его Андреем Павловичем Колосовым, и он третий уже год состоял в звании помощника присяжного поверенного. Перед каждым крупным делом Андрей Павлович сильно волновался, но на этот раз его дурное состояние переходило границы обычного. Причин на то было много. Главнейшей из них были больные нервы. Последний год они прямо-таки отказывались служить, и водяные души, принимаемые Колосовым, помогали очень мало. Нужно было бросить курить, но он не мог решиться на это, так сильна была привычка. И теперь ему захотелось покурить, хотя во рту у него уже образовался тот неприятный осадок, который так знаком всем курящим запоем. Колосов отправился в докторскую комнату, оказавшуюся свободной, лег на клеенчатый диван и закурил. Ох, как он устал! Целую неделю не вылезает он из фрака. Да какое неделю! То у мировых судей, то в съезде, вчера целый день до девяти часов вечера промаялся в окружном суде по пустейшему гражданскому делу. Товарищи завидуют, что он так много зарабатывает, ставят примером неутомимости, а куда все это идет? Три тысячи рублей в год, которые он с таким трудом выколачивает, плывут между пальцами. Жизнь все дорожает, дети требуют на себя все больше и больше. Долги растут. Послезавтра срок за квартиру, нужно платить пятьдесят рублей, а у него в наличности всего десять. Опять выворачиваться, значит. Жена...

При воспоминании о долгах и жене Колосов поморщился и вздохнул.

— Послушай, куда ты запропастился? Я тебя искал-искал!— влетел в комнату товарищ Колосова по сегодняшней защите, Померанцев, тоже помощник присяжного поверенного, успевший приобрести репутацию талантливого криминалиста.

Красивый брюнет, подвижной, говорливый и жизнерадостный, но несколько шумный и надоедливый, Померанцев был редким баловнем судьбы. Дома, в богатой семье, его боготворили, счастье сопутствовало ему во всех делах,— как по рельсам катился он к славе и деньгам.

— Нам нужно условиться относительно защиты,— быстро говорил Померанцев.

— Отвяжись, Бога ради, потом,— ответил вздрогнувший Колосов.

— Да как же потом?

Колосов устало махнул рукой, и Померанцев, передернув плечами, торопливо вышел.

Дело, по которому выступали Колосов и Померанцев, было по фабуле несложно. На одной из окраин Москвы, там, где кабак сменяет закусочную, чайную и снова сменяется кабаком и где ютятся подонки столичного населения, произошло убийство. Какой-то заезжий молодец, по видимости приказчик или прасол, кутил ночь в сопровождении двух оборванцев и гулящей девки «Таньки-Белоручки», показывал кошель с деньгами, а на другое утро был найден на огородах задушенным и ограбленным. Через неделю Танька и оборванцы были задержаны и сознались в убийстве. Колосов должен был защищать Таньку-Белоручку. В тюрьме, куда он отправился на свидание с обвиняемой, его встретило нечто неожиданное. Танька, или Таня, как он начал называть ее, была молоденькая, хорошенькая девушка с гладко зачесанными русыми волосами, скромная и пугливая. Одиночное ли заключение смыло с ее лица грязь позорного ремесла, или жестокие душевные страдания одухотворили его, но ни в чем не было видно того презренного и жалкого создания, о каких привык слышать Андрей Павлович. Только голос, несколько охрипший и грубый, говорил о ночах разврата и пьянства.

После первого же свидания Колосов понял, что Танька ни душой, ни телом не повинна в убийстве. Страх погубил ее. Страх существа, находящегося внизу общественной лестницы и придавленного всеми, кто находится выше. Всякий был сильнее Тани и всякий обижал ее, был ли то ее любовник, драчливый и жестокий, или городовой, сияющий всеми своими значками и бляхами и одним своим юпитеровским видом приводивший в панический ужас обладательницу желтого билета. Из страстной и порывистой речи Тани, когда ее глаза горели и худенькое тело вздрагивало от накопившейся ненависти к гонителям, Колосов увидел, что Таня способна и на самозащиту. Так защищается заспанный зверек, запрокинувшийся на спину и яростно скалящий зубы на поднятую руку, но в самой этой напускной ярости более ужаса и смертельной тоски, чем в самом отчаянном вопле. Со слезами и сомнением в том, что кто-нибудь может поверить ее словам, Таня рассказывала, как произошло

убийство. Когда все они вышли из последнего кабака и проходили пустырем, Иван Горошкин, ее любовник, и Василий Хоботьев накинулись на незнакомца и стали душить его.

— Испугалась я, барин, до смерти. Закричала на них: «Что вы, душегубы, делаете?» Ванька на меня только цыкнул, а тот уж хрипеть начинает. Бросилась к ним, а Ванька, злодей, как ударит меня ногой по животу. «Молчи, говорит, а то тебе то же будет!» Пустилась я от них бежать по огородам, сама не знаю, как у Марфушки до постели довалилась... Платок, как бежала, потеряла...

На другой день Таня упрекнула Ивана в содеянном, но тот двумя ударами кулака убедил ее в непреложности совершившего факта, а через полтора часа Таня пела песни, плакала и пила водку, купленную на награбленные деньги.

Колосов еще раза два был у Тани, и после каждого посещения предстоящая защита казалась ему все труднее. Ну, чтò он скажет на суде? Ведь надо рассказать все, что есть горького и несправедливого на свете, рассказать о вечной, неумолкающей борьбе за жизнь, о стонах побежденных и победителей, одной грудой валяющихся на кровавом поле... Но разве об этих стонах можно рассказать тому, кто сам их не слышал и не слышит?

Вчера ночью (днем он был занят) Андрей Павлович готовился к защите. Сперва работа не клеилась, но после нескольких стаканов крепкого чаю и десятка папирос разбросанные мысли стали складываться в систему. Все более возбуждаясь, взвинчивая себя удачными выражениями, красивыми фразами, Колосов наконец составил горячую, убедительную речь, прежде всех убедившую его самого. На минуту в нем исчез страх, который как бы передался ему от Тани, и он лег спать, уверенный в себе и победе. Но бессонница сделала свое дело. Сегодня у него голова тяжела и пуста. Отдельные фразы из речи, которые он набросал на бумаге, кажутся искусственными и слишком громкими. Вся надежда на то, что нервы приподнимутся, и в нужную минуту он овладеет собой.

Он сегодня уже виделся с Таней и был неприятно поражен той одеревенелостью, которая сквозила в ее голосе.

— Смотрите же, Таня, вы передавайте все так, как и мне говорили. Хорошо?

— Хорошо,— ответила покорно Таня, но в этой покорности звучал тот одному ему понятный страх, которым было проникнуто все ее существо.

Дело началось.

Когда отворилась дверь, ведущая из коридора за решетку, за которой помещаются подсудимые, и они начали входить один за другим, публика, наскучившая ожиданием, всколыхнулась. Звякнули шпоры жандармов, блеснули их обнаженные тесаки, и зрители поняли, что драма начинается. Пронесшийся по залу шорох и шепот показали, что происходит обмен впечатлений. Ординарная наружность Ивана Горошкина и Хоботьева вызвала нелестные замечания, зато Таня понравилась — настоящая героиня драмы.

После обычного допроса подсудимых об их имени и звании Таня, на вопрос председателя об ее занятии, ответила:

— Проститутка!

И это слово, брошенное в середину расфранченных чистых женщин, сытых и довольных мужчин, прозвучало, как похоронный колокол, как грозный упрек умершего всем живым. Но ничья не опустилась голова, ничьи не потупились глаза. Еще более жадным любопытством засветились они — подсудимая так хорошо ведет свою роль.

Первым начал объяснения Горошкин, представлявший собою смуглого, довольно красивого мужчину с самодовольными манерами признанного сутенера. Говорил он не торопясь, выбирая выражения и имея такой вид, как будто он хорошо сознает свое превосходство над окружающими и стесняется особенно ярко обнаруживать его. По его словам выходило, что все трое имели одинаковую долю в совершении убийства. Он держал неизвестного за руки, Танька набросила ему петлю на шею, а Хоботьев душил. Хоботьев, во всех отношениях безличный субъект, повторил ту же историю, расходясь с Горошкиным лишь в неважных подробностях относительно дележа денег. Спокойный перед ожидающей его каторгой, он не мог примириться с тем, что Ивану досталась львиная доля награбленного. Наступила очередь Тани.

Колосов со страхом ожидал ее слов, и после первых звуков ломающегося голоса понял, что дело плохо. Куда-то исчезла та искренность и простота, которые так подкупали его и были, в сущности, единственным оружием Тани. Путаясь в ненужных подробностях и отступлениях, оскорбляя слух вульгарностью и резкостью выражений, Таня слишком заметно старалась оправдаться и сваливать вину на других,

и чем больше старалась, тем худшее производила впечатление. «Лучше совсем бы уж молчала!»— со злобой на Таню подумал Колосов, мучительно улавливая каждую неверную нотку. Он не глядел на присяжных и публику, но всем телом чувствовал, что растут неприязнь и недоверие.

— Если вы не виновны в убийстве, то почему же вы сознались в нем в полиции и у следователя?— спросил председатель.

Таня замялась и потом ответила, что в полиции ее били. В этом ответе чувствовалась прямая и «наглая» ложь. Да и действительно Таня ничего не говорила об этом своему защитнику. Но чем иным, кроме битья, могла она объяснить всем этим важным господам свой страх перед приставом, который на нее только глазом повел, а ей Бог знает что почудилось! Разве этот барин с золотыми пуговицами поймет, что можно бояться даже одних только светлых пуговиц? На этот раз не только барин, но и Колосов не понял Тани. Сжав со злостью зубы, он уткнулся в пюпитр, чтобы не видеть недоверчивых улыбок.

— А следователь вас тоже бил?— с легкой иронией продолжал председатель.

В задних рядах публики пронесся подленький смешок.

Таня молчала.

— А не судились ли вы за кражу портмоне у пьяного? Мировой судья приговорил вас к двум месяцам тюремного заключения?

Таня молчала. К чему она будет говорить? Жаль только, что она рассердила Андрея Павловича, не сумевши как следует рассказать.

Начался бесконечный допрос свидетелей. Перед все более туманившимися глазами Колосова проходили вежливые, многоречивые и благообразные содержатели кабаков, заспанные и как будто чем-нибудь оглушенные прислуживающие. Одни загромождали свою речь тысячью мелких подробностей, и их нельзя было заставить замолчать; из других приходилось вытягивать каждое слово. Появился свидетель — симпатичный, чисто одетый мальчик, худенький и застенчивый. После нескольких одобрительных слов председатель спросил, что делали Белоручка и другие, когда заходили к его бабушке в хату.

— Калтошку чистили,— ответил мальчик и, взглянув исподлобья на председателя, улыбнулся.

Улыбнулся суд, улыбнулись присяжные, улыбнулась и тихо плакавшая Таня, и слезинки блеснули на ее глазах. Колосов заметил эту любовную улыбку матери, похоронив-

шей своего ребенка, и подумал: «Ради одной этой улыбки нужно оправдать ее». Часы шли за часами, и Андрей Павлович чувствовал себя все хуже и хуже. Перед утомленными глазами его протягивались блестящие нити; слух с трудом воспринимал звуки; смысл речей терялся для него, и раз он вызвал уже замечание председателя по поводу вторично предложенного одного и того же вопроса. Апатия и скука затягивали его. Он пытался расшевелить себя, в перерывах курил до головокружения, выпил рюмку коньяку, но минутное возбуждение сменялось полным упадком энергии. «Боже, что̀ со мной?» — приходила минутами мысль, и где-то ощущался страх, а по спине поднимался холодок. Померанцев, смелый, бойкий, настойчивый, вел следствие прекрасно: выматывал душу из свидетелей, вступал в ожесточенные схватки с председателем и прокурором и вызывал в публике одобрительные отзывы.

Речи начались только в одиннадцатом часу вечера Прокурор, пожилой сутуловатый человек, с умным, но мало выразительным лицом, с тихой, спокойной и красивой речью, был грозен и неумолим, как сама логика,— эта логика, лживее которой нет ничего на свете, когда ею меряют человеческую душу. Оставаясь на почве фактов, и только фактов, без трескучих фраз и деланных эффектов, прокурор петлю за петлей нанизывал на сеть, опутавшую Таню. Бесстрастно, эпически начертав картину среды, в которой жили преступники, он приступил к описанию самого злодеяния.

Колосову, нервно перебиравшему холодными руками свои заметки, казалось, что с каждым словом обвинителя в зале тухнет лампочка и становится темнее. Он чувствовал сзади себя притихшую Таню; ее глаза расширяются при каждом слове, которое, как тяжелый молот, гвоздит ее голову. Впервые со всей ужасающей ясностью и подавляющей силой Колосов понял, какая безмерно тяжелая лежит на нем ответственность. Сердце замирало у него, руки тряслись, а грозный голос твердил: «Ты убийца! ты убийца!..» Колосов боялся оглянуться назад: вдруг он встретит глаза Тани и прочтет в них мольбу о спасении и слепую веру в него? Зачем он в тюрьме успокаивал ее и говорил о возможности оправдания?..

...Все более чернеет грозная туча обвинения, нависшая над головой Тани. С тем же жестоким спокойствием прокурор говорит о позорном прошлом «Таньки-Белоручки», запятнавшей свои белые ручки в неповинной крови. Вспоми-

нает о краже, добавляя, что, быть может, она была уже не первой...

В притихшей зале не хватает воздуха. Колосов задыхается. Он закрывает глаза и, как преступник перед казнью, видит в глубокой дали солнце, зеленые луга, голубое чистое небо. Как тихо и спокойно сейчас у него дома! Дети спят в своих кроватках. Хорошо бы пойти к ним. Стать на колена и припасть головой, ища защиты, к их чистенькому тельцу. Бежать от этого ужаса! Бежать!.. Бежать? Но ведь у нее тоже был ребенок? Только в одном крике, продолжительном, отчаянном, диком, мог выразить Колосов свое чувство. О, если бы у него был язык богов! Какая громовая, безумная речь пронеслась бы над этой толпой! Растворились бы жестокие сердца, рыдания огласили бы залу, свечи потухли бы от ужаса, и сами стены содрогнулись бы от жалости и горя! Как тяжело быть человеком, только человеком!..

Прокурор кончил свою речь. После минутного перерыва, наполненного кашлем, сморканием и шумом передвигаемых ног, начал говорить Померанцев. Его плавная, красивая речь льется, как ручеек. Здоровый, мягко вибрирующий голос как бы рассеевает тьму. Вот послышался легкий смех — Померанцев вскользь бросил остроту по адресу прокурора. Колосов смотрит на полное, красивое лицо товарища, следит за его округленными жестами и вздыхает: «Хорошо тебе; не знаешь ты горя и не понимаешь его!..» Когда наконец Колосов начал говорить, он не узнал своего голоса: глухой, надтреснутый, неприятный ему самому. Присяжные, сперва насторожившиеся, после первых фраз начали двигаться, смотреть на часы, позевывать. Фразы деланные, неестественные идут одна за другой, наводя скуку на утомленных судей. Шаблонное, опротивевшее повторение сотен речей, слышанных ими. Председатель перестает следить за речью и о чем-то перешептывается с членом суда. «Хотя бы кончить поскорее!»— думает Колосов.

Присяжные заседатели отправились в совещательную комнату. Как мучительно тянутся эти полчаса! Колосов старается избегать товарищей и разговоров, но один, молодой, веселый, толстый и не понимающий, что можно говорить и чего нельзя, настигает его:

— Что это вы, батенька, так плохо нынче? А мы нарочно пришли вас послушать.

Колосов любезно улыбается, бормочет что-то, но тот, увидев Померанцева, устремляется к нему, издалека крича:

— Здорово, Сергей Васильевич! Здорово!

Вот и звонок. Болтавшая, гулявшая и курившая публика толпой валит в залу, толкаясь в дверях. Из совещательной комнаты выходят гуськом присяжные заседатели, и зала замирает в ожидании. Рты полураскрыты, глаза с жадным любопытством устремлены на бумагу, которую спокойно берет председатель от старшины присяжных, равнодушно прочитывает и подписывает. Колосов стоит в дверях и смотрит, не отрываясь, на бледный профиль Тани.

Старшина читает, с трудом разбирая нечеткий почерк:

— Виновна ли крестьянка Московской губернии, Бронницкого уезда, Татьяна Никанорова Палашова, двадцати одного года, в том, что в ночь с восьмого на девятое декабря... с целью воспользоваться имуществом... в сообществе с другими лицами... удушила...

— Да, виновна.

Показалось ли это Колосову, или Таня действительно покачнулась? Или покачнулся он сам?

Нужно ждать еще полчаса, пока суд вынесет приговор. Андрей Павлович не в состоянии оставаться среди этой оживленной толпы и уходит в дальние, пустынные и слабо освещенные коридоры. Медленно ходит он взад и вперед, и шаги его гулко раздаются под сводами. Вот со стороны залы слышится топот ног, шум, голоса — все кончилось. Колосов поспешно идет вразрез толпе, слышит громкие, как бы ликующие возгласы: «Десять лет каторги!»... и останавливается у дверей, из которых выходят преступники. Когда Таня проходит мимо него, он берет ее безжизненно опущенную руку, наклоняется и говорит:

— Таня! Прости меня!

Таня поднимает на него тусклые без выражения глаза и молча проходит дальше.

Колосов и Померанцев живут по соседству и поэтому ехали домой на одном извозчике. Дорогой Померанцев очень много говорил о сегодняшнем деле, жалел Таню и радовался снисхождению, которое дано Хоботьеву. Колосов отвечал односложно и неохотно. Дома Колосов, не торопясь, разделся, спросил, спит ли жена, и, проходя мимо детской, машинально взялся за ручку двери, чтобы, по обыкновению, зайти поцеловать детей, но раздумал и прошел прямо к себе в спальню.

ИЗ ЖИЗНИ ШТАБС-КАПИТАНА КАБЛУКОВА

Через запушенные инеем и покрытые алмазными елками стекла окон проникали утренние лучи зимнего солнца и наполняли холодным, но радостным светом две большие, высокие и голые комнаты, составлявшие вместе с кухней жилище штабс-капитана Николая Ивановича Каблукова и его денщика Кукушкина. Видимо, за ночь мороз окрепчал, потому что на подоконниках у углов рам образовались ледяные наросты, и при дыхании поднимался пар в холодном воздухе, за ночь очистившемся от запаха табака.

— Кукушкин,— хриплым баритоном крикнул Николай Иванович, прихлебывая из стакана горячий, крепкий чай. Стакан был вставлен в серебряный, почерневший в узорах подстаканник, вместе с серебряной ложечкой составлявший весь ассортимент имевшихся у капитана драгоценных вещей.— Кукушкин!

Слегка зацепившись в дверях, вошел денщик, за несообразность, по выражению фельдфебеля, уволенный от строевой службы. Маленькая голова его с большими лопастными ушами уныло торчала на длинном и худом туловище, охотно принимавшем всякое положение, кроме требуемого.

— Экий ты, братец, михрютка,— кротко упрекнул капитан.— Нужно идти сразу, когда зовут.

— Так точно,— угрюмо пробурчал Кукушкин и скосил глаза.

— Экий ты дурак, братец. И чего ты морду-то воротишь? Пьян был?

— Нам не на что пить.

Не желая портить настроения, Николай Иванович молча пожал плечами и велел подать водки и закуски и затопить печку.

— Это что?— показал капитан на чайную чашку с пестрым рисунком, очевидно, собственность Кукушкина, которую он подал вместе с графином водки и сардинами.— Рюмка?— капитан повел глазами на землю.

— Так точно.

— Ну, и дурак. Возьми у хозяйки.

Пока денщик, сидя на корточках, возился у печки и, обжигаясь, подтапливал березовой корой сырые, на концах покрытые снегом дрова, Николай Иванович всесторонне обдумал свои планы на завтрашний вечер. Наступающий праздник требовал от него чего-нибудь праздничного, и завтра, в сочельник, капитан решил устроить у себя пирушку, по количеству напитков, очевидно, не предназначен-

ную для женского пола. Да женский пол давно уже не входил в расчеты капитана, так как полковых дам, с которыми ему приходилось резаться в стуколку, он за женщин не считал, а с другими сталкиваться не приходилось. Капитан составил реестрик вин и закусок и с некоторым чувством удовольствия передал его денщику, который вместо ожидаемого одобрения отвечал, как попугай, «так точно» и «слушаю», но чем больше он «слушал», тем рассеяннее и мрачнее становилось выражение его глаз; капитан сказал бы, что в них просвечивает даже ирония, если бы не знал доподлинно, что Кукушкин глуп и к иронии не способен. Покупок было рублей на десять, но у капитана имелась только двадцатипятирублевая бумажка, которую он и передал денщику. Не теряя все еще надежды оживить Кукушкина и вызвать в нем более активное отношение к действительности, Николай Иванович поднес ему чашку водки, мотивируя свое предложение ссылкой на мороз. Кукушкин, перекрестившись, выпил водку, но не крякнул, и не сплюнул, и не поблагодарил, как то следовало по его установившимся привычкам, но лишь обтер губы с таким ожесточением, как будто ему хотелось уничтожить и след своей позорной уступчивости. Через несколько минут с силой хлопнула кухонная дверь.

«Что за муха его укусила?— подумал капитан.— Был малый как малый, а теперь прямо ошалелый какой-то. Третьего дня сгрубил. Хозяйка жалуется. Ну да черт с ним. Буду лучше думать о том, как хорошо и весело пройдет завтра вечер».

Выпив еще две рюмки водки, погуляв по комнате, заглянув в замерзшее окно, с подоконников которого уже начала стекать вода, Николай Иванович взял маленький ящичек и присел на нем у бурчавшей и шипевшей печки. В открытую дверку на него пахнуло жаром. Шипение стихло, и желтые языки пламени, лениво нагибаясь, облизывали обуглившиеся поленья.

Прошло двадцать лет с тех пор, как Николай Иванович таким же образом, на ящике, сидел у печки. Тогда он только еще попал в этот мерзкий городишко и в эту несчастливую дивизию, где офицеры так живучи и движение вперед так медленно. Тогда у него не было лысины и этого красного, обрюзглого лица. Другим языком говорил тогда этот огонь, таким приятным жаром обдающий лицо. Тот язык был менее понятен, чем настоящий; глупый и смешной то был язык. Он говорил об академии, куда поедет учиться Николай Иванович; он тихо и загадочно шептал о какой-то

красивой и хорошей девушке, которая его полюбит; он рисовал живые картины веселого шумного бала, на котором стройный офицер с затянутой талией ловко отбивает такт мазурки и ведет остроумную и интересную беседу. Танцы... Какая смешная вещь танцы!

Николай Иванович оглядел свой округлившийся живот и, вообразив себя танцующим и беседующим с барышней, улыбнулся.

— А разве теперь не хорошо? Ей-Богу, хорошо!— возразил кому-то капитан и в доказательство, что ему хорошо, выпил еще рюмку водки, но к печке присаживаться не стал. Ходить по комнате оказалось разумнее. Мысли пришли обычные, спокойные, ленивые — о том, что жид Абрамка поручику Ильину лакированные сапоги испортил; о том, сколько он будет получать денег, когда будет ротным командиром, и что казначей хороший человек, даром что поляк.

Последние годы Николаю Ивановичу усиленно приходилось доказывать, что ему живется хорошо, так, как нужно жить. Но доказательства принимались туго, пока капитан не обзавелся могучим союзником — графином. Когда с утра он выпивал две-три рюмки водки, все становилось ясным, понятным и простым. Не поражала своим убожеством грязная, пустая комната; не замечалось и того, что сам он стал нечистоплотен и ленив: по неделям не меняет белья, ленится чистить ногти, а когда и замечалось, то тут же опровергалось резонным соображением: «Ведь мне за барышнями не ухаживать!» Легче было и дело делать спустя рукава; не так обидно казалось и то, что он в пятьдесят лет штабс-капитан, тогда как иные товарищи его по выпуску уже полковники, а то и генералы. Переставало грызть бесплодное сожаление о том, что он четверть века убил на бессмысленную шагистику, в мелкой погоне за завтрашним днем растерял по дороге по частям свою душу. Легкий, приятный туман волновался перед Николаем Ивановичем, застилая от глаз все, что не есть четвертая рота Хоронского резервного батальона с ее жидом Абрамкой, преферансом по маленькой, приказами по полку и другими злободневными интересами.

Но было раза два в году, что союзник капитана обращался в его злейшего врага. С мучительной яркостью и болью перед ним вставало сознание ужасной бессмысленности его жизни,— и тогда Николай Иванович пил запоем по две недели, в одном белье просиживая дома с одутвшейся багровой физиономией. С пьяными слезами он жа-

ловался товарищам, что его загубили, а когда товарищи покидали одичавшего, полубезумного от алкогольного яда человека, он ставил к притолоке денщика и, с последними попытками сохранить свое достоинство, суровым голосом рассказывал ему, что он, капитан, человек хороший, только не понятый. Когда и денщик уходил от сумасшедшего «его благородия», его благородие, положив голову на стол, плакал один, не зная, о чем он плачет, но тем горше, тем искреннее и больнее. По миновании запоя, капитан, совестившийся вспомнить и говорить о нем, не мог все же отделаться от ряда смутных, тяжелых воспоминаний. Одним из них, наименее тяжелым, было воспоминание о том, что Кукушкин в чем-то помогал и сочувствовал капитану. Был ли он крепче на ногах других денщиков и долее в состоянии был впитывать в себя капитанские излияния (летевшие на него иногда со стаканом и другою вещью, подвернувшейся Николаю Ивановичу под руку) или в чем-нибудь ином проявлял свое заботливое к нему отношение, капитан в точности уяснить себе не мог, но чувствовал к Кукушкину благодарность. Ради нее он до сих пор не прогонял Кукушкина и мирился с его официально признанной глупостью и совершенно отрицательным значением в капитанском хозяйстве: чего Кукушкин не мог разбить, то он портил другим, более или менее остроумным способом. Капитанские приказания он толковал так превратно, что даже другие денщики смеялись.

Выпив еще рюмочку, Николай Иванович отправился пройтись по знакомым, передав ключ и заботы о квартире хозяйке, жившей через сени. Вернулся капитан поздно вечером, но Кукушкина еще не было. Прошла ночь, а за нею следующий день,— Кукушкина все не было.

Заложив капитанский реестрик за обшлаг рукава, Кукушкин вышел и, охваченный крепким морозным воздухом, невольно ускорил свой гусиный шаг, за который удалили его из роты. На морозе особенно чувствовалась теплота выпитой водки, но это не улучшило его настроения. Послав значительное количество чертей толкнувшей его бабе, в свою очередь с некоторым уважением сообщившей ему, что она такого длинного дьявола еще не видала, Кукушкин демонстративно прошел перед самым носом разогнавшейся извозчичьей клячи, на укоризненное замечание возницы бросив ему вслед:

— Эка носят тут вас черти, гужеедов!

Все дальнейшее, встречавшееся Кукушкину на пути, вызывало в нем протест и едкие замечания. Чем благообразнее, сытнее и по-праздничному радостно-озабоченнее была встречавшаяся физиономия, тем с большею ненавистью смотрел он на нее. «Разлопался, жирный пес»,— приветствовал он мысленно купца, сидевшего в широких санях и принимавшего от мальчика кульки и кулечки. «Мало еще: ишь чрево-то разъел». Соображение о том, что капитан послал его на другой край города, как будто тут не было хороших магазинов, повергло Кукушкина в состояние полного человеконенавистничества. «С жиру-то бесится,— у Мотыкина селедок купи, слышишь?»— передразнил он капитана и с отвращением плюнул.

— А вот ежели я в кабак зайду?— спросил Кукушкин кого-то, не дававшего ему покоя, и, презрительно ткнув ногой захватанную дверь трактирного заведения, скрылся за нею.

— Вот и зашел, и выпил!— торжествующе подтвердил он, выходя из трактира и выпустив струю вонючего воздуха. Как бы вызывая на бой весь мир, Кукушкин гордо огляделся и, увидев офицера, моментально вытянулся и отдал ему честь.

С крутой горы Кукушкину надо было спуститься на мост. По ту сторону реки, за рядом дымовых труб города, выпускавших густые, белые и прямые столбы дыма, виднелось далекое белое поле, сверкавшее на солнце. Несмотря на даль, видна была дорога и на ней длинный, неподвижный обоз. Направо синеватой дымкой поднимался лес. При виде чистого снежного поля бурный и горький протест с новой силой прилил к беспокойной голове Кукушкина. «А ты тут сиди!»— со злобой, не то с отчаянием подумал он.

Недели три тому назад Кукушкин встретился на базаре с одним земляком, который, рассказав все новости деревни Собакиной, погрузил его в заколдованный мир деревенских интересов — заколдованный, потому что и родился, и жил Кукушкин, и взят был из деревни — все по щучьему веленью. Интересы эти были денщиком слегка призабыты, но даже легкое напоминание о них заставило ходуном ходить мужицкую кровь, звавшую Кукушкина к тяжелому мускульному труду — к земле и сохе. Рассказал ему земляк и о том, что у него, Кукушкина, родилась дочка, но что молодайка больна и ребенка кормят соской. Далее оказалось, что отец Кукушкина без работника, с одним братом Иваном не может сладить с хозяйством и совсем ослабел; хлеба не-

дохват, и к Рождеству придется занимать у Ильи Иваныча, ежели Илья Иваныч даст. «И слезно просят любезного сына Петрушу прислать денег, потому смерть приходит». Кукушкин послал с земляком целковый, но впал в отчаяние. Перед возбужденным воображением его носилась яркая картина горькой домашней нужды, и чем ближе к празднику, тем ярче и нуднее становилась она. Непривычный к рассуждениям мозг денщика тяжело шевелился, сосредоточивая все свои силы на уразумении факта, заключавшегося в простом сопоставлении: «Дома без рук и без хлеба сидят, а я у Мотыкина селедок голландских покупаю».

И теперь Кукушкин созерцал во всей наготе этот факт и, не умея рассуждать, отплевывался и всем своим существом бесплодно протестовал — к собственному удивлению и даже к некоторому огорчению, потому что это состояние казалось ему неприятным и напущенным на него извне, со стороны. В первое время он помышлял о бегстве, но бегство было так глупо, что Кукушкин целых два дня после своих помыслов с особенной иронией относился к капитану и до срока потребовал у своего коллеги, денщика Тютькина, уплаты занятого двугривенного, а когда тот, по соображениям формального свойства, не отдал, обругал его деревенщиной и подлецом.

Кукушкин подходил к магазину, когда вместе с воспоминанием о деньгах что-то изнутри с силой толкнуло его, и сам собою, как дергач из травы, выскочил вопрос:

— А ежели я украду?

«С нами крестная сила!— испугался Кукушкин и перекрестился.— Во всем роду воров не было, а я украду. Да расказнить его мало за это. И что человек подумает»,— неискренне улыбнулся Кукушкин и ускорил шаги. Но четвертная бумажка шевелилась в кармане, а изнутри что-то толкало — и вытолкнуло ответ:

— Скажу, что потерял.

«С нами крестная сила!»— еще раз воскликнул Кукушкин и с испугом бросился в первые попавшиеся двери. То были двери трактирного заведения.

Разгневанный и обеспокоенный, Николай Иванович оповестил собиравшихся к нему офицеров, что денщик его с деньгами пропал, и, вернувшись домой, нашел пропавшего денщика в кухне. Кукушкин сидел на лавке и, покачиваясь и клюя носом, усердно ваксил капитанский сапог.

— Ты где это, мерзавец, пропадал? Пьян?

— Ни-к-как нет, вашбродь.

— Как стелька... Да как же это ты смел напиться? а?

— На свои пил, не на ваши.

— Что? Грубиянить? А покупка где, а деньги где?

— Потерял. Вот как перед Истинным...

Капитан всплеснул руками и безмолвно устремил на денщика свои заплывшие глазки. Если капитан в этот момент напоминал собою Наполеона, то Кукушкин был океаном, бестрепетно сносившим взгляд владыки мира. Осоловелые глаза денщика, с кротким спокойствием безвинно обиженного человека, были устремлены на Николая Ивановича.

— Украл? Говори!

— Что ж, судите. Может, и украл. Человека всегда обидеть можно.— Кукушкин заплакал.

Капитан, чувствуя, что гнев душит его, сквозь зубы прошипел:

— Спать ложись, скотина. З-завтра в полк.

— Воля ваша, но только я занапрасно гибну.

— М-молчать! Молчать, я говорю!

Топнув ногою, капитан вышел из кухни, а Кукушкин попытался снова приняться за сапог, но, не приняв в расчет силы инерции, последовал за движением щетки и повалился на лавку.

Гнев капитана достиг высшего напряжения и, вылившись в бессвязных восклицаниях, вскоре утонул в нескольких рюмках водки и сменился чувством жестокой обиды. «Праздника — и того не дадут как следует встретить»,— сокрушался капитан, пробегая взглядом по светлой картине несостоявшегося веселья, и она как будто потускнела. «Но я докажу, что было бы хорошо!»— воскликнул капитан и начал доказывать. Но странное дело: чем усиленнее капитан доказывал, чем чаще вливал он в себя аргумент из графина, тем сомнительнее становилась истина.

«Запой!»— с ужасом подумал Николай Иванович, но сейчас же ужас этот сменился радостью,— радостью человека, который бросается в пропасть, чтобы избавиться от головокружения. Как бы порвав сковывавшие их цепи, перед капитаном понеслись образы, мрачные, тяжелые и томительно-грустные. Образ милой девушки, долженствовавшей составить счастье капитана, всплыл перед ним чистый, пленительный. «Голубушка!»— с нежностью сложил толстые губы Николай Иванович. А за ним поплыли, поплыли другие. Капитан сидел на берегу этой реки, уносившей в бездну его надежды и мечты о человеческом счастье, и все

грустнее и жальче становилось ему себя. Водка убывала в графине, претворяясь в чувства, которые ей редко суждено будить в душе человеческой: чувства жалости, любви и раскаяния. Никому он, капитан, не нужен; ничья не просветлеет душа при виде его расплывшейся, пьяной и грязной физиономии. Не обовьются вокруг его толстой, апоплексической шеи мягкие детские ручки, не прижмется нежная щека к его колючему подбородку. У других хоть собака есть, которую они любят и которая любит их. По странному сцеплению мыслей капитану вспомнился Кукушкин. За что Кукушкин будет любить его? Кукушкин... а что такое, собственно, этот Кукушкин?

Грузно поднявшись со стула, капитан взял лампу и отправился в кухню. Денщик спал, запрокинув голову. В левой руке он еще держал сапог, правая, тяжелая, свесилась с лавки. Лицо было бледно и болезненно. Капитан первый раз видел, как спит Кукушкин, и он показался ему другим человеком. Впервые он заметил на этом молодом, безусом лице морщинки, и это лицо с морщинками, с одной несколько приподнятой бровью, казалось капитану незнакомым, но более близким, чем то, которое он видел ежедневно, потому что было лицом человека. Впечатление было настолько ново и странно, что Николай Иванович на цыпочках вышел из кухни и с недоумевающим видом огляделся вокруг: ему показалось, что и комната не та.

Прошло полчаса. По комнатам пронесся зычный зов:

— Кукушкин!

Но в сиплом голосе звучали новые, незнакомые ноты.

Кукушкин зашевелился и после нового крика, осторожно стукая каблуками, вошел в комнату. Потупив голову, он стал у порога и замер. И на этого жалкого человека капитан мог сердиться!

— Кукушкин!

Пальцы денщика слегка зашевелились и снова оцепенели.

— Украл деньги?

— Украл... не... не...

Голос Кукушкина дрогнул, и пальцы зашевелились быстрее. Капитан молчал.

— Значит, теперь судить тебя будем?

— Ваше благородие... Не дайте погибнуть...

Капитан быстро вскочил и, подойдя к Кукушкину, взял его за плечи.

— Дурак ты, дурак. Да разве же я и вправду? Эх ты!— Капитан дернул Кукушкина и, повернувшись, подошел к окошку, точно в эту темную рождественскую ночь можно

было хоть что-нибудь увидеть на улице. Но капитан увидел и, поднеся руку к лицу, смахнул что-то, что мешало видеть яснее.

— Ваше благородие...

В голосе денщика слышалось то самое, что так удачно смахнул капитан. Жирная спина капитана была неподвижна.

— Ну что?— глухо донеслось от окна.

— Ваше благородие... Накажите меня.

— Будет, будет глупости говорить.

Николай Иванович обернулся, и Кукушкин, с размаха бросившись на колени, хотел обнять его ноги. С выражением растерянности, страдания и умиления на оплывшем красном лице капитан приподнял его, неловко поцеловал в стоявшие дыбом волосы и, отрывая руку от его губ, шутливо и сконфуженно отпихнул от себя.

— Пошел, пошел!.. Что я, поп, что ли? Налей-ка водки в графинчик! Живо! Одна нога там, а другая здесь.

О ужас! Толстопузый графин, десять лет служивший капитану верой и правдой, подхваченный ловкой рукой денщика, взлетел в воздух, показал свое пустое дно, некоторое время повертелся около руки и, окончательно решившись, упал и разлетелся на куски.

— Ничего, брат. Тащи четверть!

...Длинна и темна рождественская ночь. Давно уже спит крещеный мир. Только в окнах капитанского домика еще светится огонек, бросая желтоватый отблеск на снег...

— Так ты говоришь, деньги домой отослал?

— Так точно, вашебродь. Я вам, вашебродь, зараб...

— Но, но! Что за глупости?

Капитан пыхнул папироской и, глубже усевшись в разодранное кресло, блаженно закрыл глаза. Кукушкин сидел на кончике стула и, полуоткрыв рот, ловил каждое движение капитана.

— Так, ты думаешь, они рады?

— Помилуйте, вашебродь, да это я, уж это...

— Да, да.

...Длинна и темна зимняя ночь, но и она уступает перед силою всепобеждающего света... Белеет восток...

В капитанском домике укладываются спать. Кукушкин стягивает с капитана сапоги и, увлекаемый усердием, тащит с кровати и капитана. Капитан упирается и побеждает усердие денщика. Нежно прижимая к себе сапоги, конфузливо смотрящие на свет продырявленной подошвой, Кукушкин на цыпочках выходит.

— Постой... Так ты говоришь, дочь?
— Так точно, вашбродь. Авдотья.
— Ну, иди, иди.
Удивительно, что горькие мысли, предзнаменовавшие начало запоя, на этот раз солгали; ни на следующий, ни на другие дни запой не являлся.

ЧТО ВИДЕЛА ГАЛКА

ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКИХ МОТИВОВ

Над бесконечной снежною равниною, тяжело взмывая усталыми крыльями, летела галка.

Над нею уходило вверх зеленовато-бледное небо, с одной стороны сливавшееся в дымчатой мгле с землею. С другой стороны, той, где только что зашло солнце, замирали последние отблески заката, галке был еще виден багряно-красный, матовый шар опускавшегося солнца, но внизу уже густел мрак зимней, долгой ночи. Куда только хватал глаз,— серело поле, окованное крепким, жгучим морозом. Неподвижная тишина резкого воздуха слабо нарушалась, гоня холодные волны взмахами усталых крыльев, несших галку к одному, только ей видимому лесу, где она решила сегодня переночевать. Зажглись уже звезды, и ночной мрак окутал холодным саваном замерзшую землю, когда галка достигла уже густого леса, смутно черневшего на белой поляне. Слышно было вверху, как от мороза потрескивали деревья, распластавшие свои ветви, отягченные сыпучим, мелким снегом. Захрустели сучки под осторожною ногою какого-то лесного зверя, выходившего на добычу. Из темной дали донеслись до галки унылые, жуткие звуки волчьего воя, протяжного, дикого. Крутым поворотом галка изменила направление полета, напрягая последние силы, понеслась туда, где, она чувствовала, находится проезжая дорога.

Она любила человеческое общество, и лесная глушь была ей неприятна.

Вот и дорога. Ее можно узнать по темным, душистым кучкам лошадиного помета, которым галка не преминула бы воспользоваться, если бы ей не хотелось так сильно спать. Невдалеке чернелись перила моста над глубоким, но теперь невидимым оврагом. Галке овраг этот был знаком по тому горькому разочарованию, которое он ей доставил. Не более как год тому назад, в эту же самую пору, ей удалось выклевать глаза, поразительно вкусные глаза, у какого-то

молодого черноусого молодца. Несмотря на холод, он, догола раздетый, спокойно лежал на крепком, подмерзшем снегу. Из разбитой головы еще сочилась густая, красная кровь. Только слегка шевельнувшийся мизинец показал галке, что она несвоевременно принялась за работу и клюет зрячие глаза,— но подобные пустяки не могли смутить птицу, привыкшую к человеческому обществу. На другой день она, пригласив несколько знакомых галок, вернулась, чтобы поосновательнее перекусить, и каково же было негодование ее и ее подруг, когда, вместо подмерзшего трупа, они нашли только темное пятно крови да массу волчьих следов. Эти господа не постеснялись разорвать на части галкину собственность, а какой-то запоздавший неудачник пытался, по-видимому, есть даже снег, пропитанный кровью. Только в бурной и крикливой манифестации могла галка выразить свою обиду и дать некоторое духовное удовлетворение пустому желудку.

Выбрав дерево поудобнее, галка комфортабельно уселась на тонкой ветке, согнувшейся под ее тяжестью и осыпавшей мелкий, сухой снег. Каркнув, чтобы прочистить застуженное горло, и сжавшись в комок, так, что галкин приятель, мороз, только руками развел, не видя возможности хоть где-нибудь найти незащищенное место, она сладко закрыла сперва один, а потом другой черный глаз и тотчас же заснула.

Много ли, мало ли прошло времени, галка, по отсутствию часов, установить не могла, но факт тот, что она проснулась, совсем еще не выспавшись, и потому недовольная. Разбудило ее ощущение человеческой близости. Около моста серели две закутанные фигуры. Любопытная, как все женщины, галка перелетела на ближайшее дерево и услыхала разговор.

— Ну кого в эту ночь понесет нелегкая?— сказал сквозь зубы один, тот, что повыше, выпуская тучу пара сквозь заиндевевшие усы и бороду.— Ну и морозище!

— Погодим полчасика,— ответил другой, похлопывая руками.

Сгорбившись, обе закутанные фигуры скрылись под мостом. Галке так же легко заснуть, как и проснуться. Разочарованная, она заснула, когда какой-то звук снова разбудил ее. За поворотом дороги слышался скрип полозьев по твердому снегу накатанной дороги. Показались небольшие сани. Пузатая малорослая лошаденка бойко перебирала озябшими ногами. На козлах, понурившись, сидел человек; в санях виднелось что-то темное, тоже вроде человека...

— Стой!

На дорогу быстро выскочили те две фигуры, что сидели, спрятавшись, под мостом. Заинтересованная галка, тихонько каркнув про себя от удовольствия, обратилась в слух. Лошаденка остановилась. Кучер что-то сказал человеку, сидевшему в санях, и тот привстал. Воротник шубы скрывал его лицо и голову. Один из первых знакомых галки взял лошадь под уздцы, а другой, тот, что был повыше ростом, крикнул: «Стой!» И подошел к саням. В опущенной руке он держал что-то тяжелое.

— Здоровье вашей милости!— грубо сказал он.— Нутека, вылезайте из саночек — приехали!

— Душегуб, разбойник,— глухо донеслось из-за воротника шубы:— Что хочешь ты делать?

— А там увидишь.

— Слышь, милый человек, не тронь,— сказал сидевший на облучке.— Пра, не стоит.

— Молчи, пока жив!— прикрикнул высокий, сурово метнув черными глазами.— Вон из саней!

— Слышь, милый человек...

Высокий взмахнул чем-то бывшим в руке и блеснувшим при слабом мерцании звезд. Тот кубарем слетел с облучка и, видя, что поднятый топор не опускается, прошептал про себя: «Ишь какой сердитый, тетка твоя малина!» Сидевший в санях тоже вылез и, нагнувшись, развертывал что-то стоявшее на сидении. Взяв затем развернутый предмет в руку и держа его перед собою, он медленно направился к высокому, с нетерпением ожидавшему окончания сборов.

Никогда галке ни прежде, ни после не приходилось так удивляться! Как будто перед каким-то призраком, высокий начал отступать перед шедшим на него длинноволосым человеком. Допятился он до товарища, который, увидев то, что держал перед собою длинноволосый человек и что блестело от невидимо откуда исходившего света, отпустил лошадь и также начал отступать. Так двигались они: длинноволосый и перед ним два разбойника. Вот один из них нерешительно поднял руку, снял шапку; другой быстрым движением скинул свою. Длинноволосый остановился, остановились и они.

Сидевший раньше на облучке поднял топор и сказал:

— Говорил тебе, не тронь. Видишь, попа везу. Эх ты, ворона!

Галка оскорбленно каркнула, но ни ее, ни говорившего не слыхали те, что стояли друг перед другом.

— Ныне Христос родился, а что вы делаете, душегубы, разбойники!— произнес тихий, старческий голос.

Молчание.

— Я, недостойный служитель Бога, святые дары везу к умирающему. И вы будете умирать, к кому вы на суд пойдете?

Молчание, только хрустнула ветка под шевельнувшейся галкой.

— Любить друг друга заповедал Христос, а что вы делаете? Христианскую кровь проливаете, души свои губите. Убиенные войдут в царствие небесное, а вы?

Колена высокого подогнулись, и он упал ниц. Быстро последовал за ним и товарищ. Так лежали они в снегу, не чувствуя, как коченеют их пальцы, а над ними звучал тихий, старческий голос:

— Не мне поклонитесь, а Ему милосердному, который меня послал к вам навстречу. Он, человеколюбец, простил душегубца и татя.

— Батя, прости,— прошептал высокий.

— Прости, батя, не будем, ей-Богу, больше не будем,— присоединился второй, поднимая голову.

Священник молча повернулся и пошел к саням.

Галка не хотела признаваться самой себе, что она лично заинтересована в исходе дела. Неодобрительно каркая, она думала, что стоит лишь на страже интересов сословия. Действительно, хорошо будет житься галкам, если люди будут деликатничать друг с другом! Иронически встопорщив перья, галка сделала вид, что не смотрит на дорогу, но тотчас же обошла закон и скосила глаза на нарушителей междуживотного права.

— Говорил, милый человек, не тронь. Эх! Скидывай-ка пояс!

Высокий послушно развязал пояс и подал работнику, который медленно и толково прикрутил ему руки к лопаткам.

— Ну-ка ты! Чего слюни-то распустил? Давай пояс,— обратился он к другому.

— Ну, ну!— слабо запротестовал тот, косясь на священника, но развязал пояс и подал.

— Отпусти их, Степан,— сказал священник.

— Как это можно, отец Иван. Меня попадья заругает.

— Отпусти. Не людям дадут ответ, а Богу.

Степан неохотно развязал высокого, дал слегка по шее его товарищу и сел на облучок.

— А с топором-то, милый человек, простись,— проговорил он, трогая лошадь.

Вскоре и сани и седоки скрылись в ночной мгле, откуда донеслось:

— Говорил, не тронь. Эх...

Изумленная до последней степени и возмущенная галка, перегнув голову набок, с любопытством смотрела на оставшихся, в неясной надежде, что дело еще может поправиться. Высокий стоял молча и потупив глаза. Товарищ тронул его руку.

— Пойдем!

Высокий молча двинулся вперед, а за ним поспешно зашагал товарищ. Вскоре и эти скрылись в темноте, и галка, столь любящая человеческое общество, осталась одна. Впрочем, на этот раз человеческое общество ей совсем не понравилось.

МОЛОДЕЖЬ

Ученик восьмого класса Шарыгин дал пощечину своему товарищу Аврамову и чувствовал себя правым и оттого радостным и гордым. Аврамов получил пощечину и был в отчаянии, смягчавшемся лишь сознанием, что он, как и многие другие в жизни, пострадал за правду.

Дело было так. На классной стене с начала учебного года висело в черной рамке расписание уроков. Его не замечали до тех пор, пока Селедка, как звали надзирателя, подойдя однажды к стене, не обратил внимания класса на то, что лист с расписанием исчез и рамка пуста. Очевидно, это была ребяческая шалость, на которую солидная часть класса, обладавшая растительностью на лицах и убеждениями, отвечала добродушно-снисходительной улыбкой,— той улыбкой, которая появлялась у них, когда Окуньков ни с того ни с сего становился на руки, поднимал ноги и в таком виде обходил комнату. Хотя все считали себя взрослыми, но никто не был уверен, что в следующую минуту и ему не вздумается прогуляться на руках. Селедка, кипятившийся из-за таких пустяков, как исчезнувшее расписание, вызывал к себе юмористическое отношение. Был вставлен новый лист,— но на другой день рамка была опять пуста. Это становилось уже глупым, и потому, когда Селедка в безмолвном гневе растопырил длинные руки перед стенкой, к нему обратились с серьезным предположением, что рас-

писание стащили, вероятно, первоклассники. На третий день в раме вместо расписания был вставлен лист, на котором выделялся тщательно оттушеванный кукиш. На предложение сознаться, класс, не менее начальства удивленный появлением рисунка, ответил недоумевающим молчанием. Было произведено следствие, но оно не привело ни к чему: хотя в классе художников было мало, но кукиш умели рисовать все. Последним созерцал рисунок сторож Семен, вынимавший его из рамки; и тому показалось что-то оскорбительное в кукише, относившемся как будто прямо к нему, к Семену. Будучи по природе толст, добр и глуп, Семен впервые стал на сторону начальства и посоветовал классу сознаться, но был послан к черту. Наступил четвертый день — и еще более изящный, крупный и насмешливый кукиш снова пятнал стену.

Речь инспектора у класса успеха не имела. Горячий и вспыльчивый чех, говорить он начинал спокойно, но после двух фраз наливался кровью и, как ошпаренный, принимался выкрикивать фальцетом бранные слова:

— Мальчишки!.. Молёкососы!..

Директор произнес суховатую, но убедительную речь. Он разъяснил притихшим ученикам бесцельность подобной детской шалости, которая, однако, перешла уже границы. Шарыгин, в критические минуты говоривший от имени класса с начальством, встал и ответил директору:

— Мы все вполне согласны с вами, Михаил Иванович, и уже толковали об этом. Но только никто среди нас этого не делал, и все удивлены.

Директор недоверчиво пожал плечами и сказал, что если виновные сознаются, они наказанию подвергнуты не будут. В противном случае он, директор, поставит за эту четверть «тройку» из поведения всему классу и, что важнее всего, не освободит от платы за право учения всех тех, кто в первое полугодие был освобожден. Ученики должны знать, что он свое слово держать умеет.

— Но если же никто не хочет сознаться!

Михаил Иванович заметил, что в этом случае класс должен найти виновного. Это не будет нарушением товарищеских отношений, так как, не желая сознаться из упорства или ложного самолюбия, виновный подводит других под очень строгое наказание и eo ipso [1] сам исторгает себя из товарищеской среды.

---

[1] вследствие этого *(лат.)*.

Директор ушел, и класс занялся бурным обсуждением вопроса, в котором начальством была открыта новая сторона. Из-за того, что какой-то осел, устроивший всю эту дурацкую шутку, не хочет сказать двух слов, несколько бедняков должны вылететь из гимназии! На большой перемене директор был вызван из кабинета Шарыгиным и двумя другими воспитанниками. Директор вышел в коридор с папиросой в зубах; у него был важный посетитель, и он торопился. Шарыгин от имени класса заявил, что виновных они точно указать не могут, но подозревают троих: Аврамова, Валича и Основского. Класс полагает, что этим заявлением он снимает наказание с остальных.

Быстро, но внимательно взглянув на Шарыгина, Михаил Иванович похвалил его и сказал, что о заявлении класса он подумает. Похвала директора была приятна Шарыгину, хотя раньше он гордился тем, что начальство считает его вредным для класса элементом.

Когда Шарыгин подходил к классу, навстречу ему выбежал Рождественский. Во время дебатов он суетился и кричал больше всех и всем надоедал.

— А Аврамов тебя подлецом назвал!— с поспешностью сообщил он, радуясь продолжению суматохи и беспорядков.

Аврамов стоял, прислонившись к печке, бледный, как сама печь, и презрительно, поверх голов, смотрел в сторону.

— Аврамов! Ты назвал меня подлецом?

— Назвал.

— Прошу тебя извиниться.

Аврамов молчал. Класс с напряженным вниманием следил за происходящим.

— Ну?

Тут вошел батюшка (был его урок), и все неохотно разошлись по местам. Минуты тянулись страшно медленно. Как будто время не хотело двигаться с места, предвидя то нехорошее, что должно сейчас произойти. Шарыгин, сидевший на последней парте, раскрыл перед собою какой-то роман и делал вид, что читает, но изредка смотрел вперед, с новым для него чувством любопытства рассматривая согнутую спину и опущенную над книгой голову Аврамова. Волосы у Аврамова были черные, прямые, и пальцы руки, на которую он опирался, резко белели. Думает ли он сейчас, что через несколько минут на его щеку обрушится удар, от которого щеке будет больно и она покраснеет? Какая это боль: резкая, жгучая или тупая? Сердце у Шарыгина начинает тяжело и медленно колотиться, и ему смертельно хочется, чтобы ничего этого не было: ни класса, ни Аврамова,

ни необходимости ударить его. Но он должен ударить. Он чувствует себя правым. Товарищи перестанут уважать его, если он оставит незаслуженное оскорбление безнаказанным. Шарыгин перебирает все речи, свои и чужие, которые сегодня говорились в классе, и ему все яснее становится, как незаслуженно, несправедливо Аврамов оскорбил его. Чувство злобы к этой черной голове и белым пальцам поднимается и растет. Шарыгину немного страшно, потому что Аврамов — сильный и, конечно, ответит ударом, но он должен ударить, и ударит. Резкий, продолжительный звонок по коридорам. Батюшка медленно идет к двери. За ним, разминая усталые члены, идут ученики, когда нервный, до странности громкий голос Шарыгина останавливает их:

— Господа! Одну минуту!

Некоторые из господ, забывшие, что было на перемене, оборачиваются и с удивлением смотрят на Шарыгина. Что это у него такая дикая физиономия? Шарыгин подходит к Аврамову.

— Так ты не хочешь извиниться?

Ах, да!.. Неприятная дрожь пробегает по спинам, и лица бледнеют. Всем хочется отвернуться, но никто не имеет сил сделать этого, и все, моргая учащенно глазами, смотрят на безмолвную группу, думая лишь о том, чтобы это поскорее кончилось. «Философу» Мартову хочется толкнуть Аврамова, чтобы он извинился. Наклоняясь вперед, Мартов глазами старается выжать необходимый ответ.

— Нет,— отвечает Аврамов.— Ты...

Шарыгин не сознает, как он поднимает руку и бьет, и не чувствует силы удара. Он видит только, как пошатнулся Аврамов. Подняв левую руку для защиты лица, Шарыгин бросает взгляд в сторону и замечает курносое и обыкновенно смешное, а теперь побелевшее и страдальческое лицо философа Мартова. «А он-то чего?»— думает Шарыгин. Его возвращает к сознанию действительности прерывающийся голос, в котором слышится и кроткий упрек и жгучее страдание. Белые пальцы поднятых рук скрывают лицо и не дают понять, что говорит Аврамов.

— Бог... тебя Бог...

Шарыгин презрительно передергивает плечами и отходит, засунув руки в карманы.

Солнце ослепительно сияло, когда Шарыгин возвращался домой. На плохо очищенных тротуарах провинциального городка стояли лужи растопленного снега, отражая в себе фонарные столбы и под ними голубую бездну безоблачного неба. Весна быстро приближалась, и острый, све-

жий воздух, пахнущий талым снегом и далеким полем, очищал легкие от классной пыли. Каким темным и душным казался этот класс! Душным и тяжелым сном казалось и то, что час тому назад произошло в классе и что не могло бы и произойти здесь, где так радостно сияет солнце и задорно-весело чирикают воробьи, ополоумевшие от весеннего воздуха. Но мысль невольно возвращалась назад, и чувство брезгливой жалости к Аврамову омрачало светлое настроение Шарыгина. Можно ли быть таким трусом, как этот несчастный Аврамов! Не он один, а и весь класс увлекался грандиозно величавым учением о непротивлении злу, но применять это учение в жизни может лишь дряблая натура, неспособная к протесту. Всеми силами отстаивай каждую свою мысль, свое правое дело. Зубами, ногтями борись за него. Быть же битым и молчать сумеет и мерзавец.

Шарыгин чувствует, что у него, как у нового Ильи Муромца, сила переливается по всему телу. Так и бросился бы врукопашную с этим, пока еще смутно сознаваемым злом, и бился бы с ним, стиснув зубы и сжав кулаки, бился бы до последнего издыхания. Ах, поскорее бы кончить эту гимназию! А пока... пока только особенно твердая поступь да более обыкновенного выдвинутая вперед грудь показывали, что это идет человек, победоносно отстоявший свое право на звание честного человека.

Солнце, так много видевшее на своем веку, с любовной лаской согревало молодую голову, над которой, неведомо для нее, уже висело первое серьезное горе.

Оно началось в тот же вечер.

Первый, кому Шарыгин рассказал о происшедшем случае, была Александра Николаевна, гимназистка восьмого класса, которую он любил и считал умной и «развитой». Впрочем, умной она казалась ему, пока соглашалась и не спорила. Споря, она так легко расставалась с логикой, становилась так пристрастна и нелепо упряма, что Шарыгин начинал удивляться, та ли это женщина, при поддержке которой он намеревался «бороться с рутиной жизни». Другим она нравилась именно во время спора, но Шарыгин не понимал их вкуса. Кроме того, она обладала неприятной способностью подмечать то, что желательно было бы не обнаруживать.

— Напрасно ты гордишься,— ответила Александра Николаевна.— Ты поступил подло.

Он гордится! Что за нелепость! Он просто исполнил свой долг честного, именно честного человека. Думая, что Александра Николаевна не поняла, он вновь подробно

остановился на тех фактах, которые неопровержимо устанавливали его правоту в этой «неприятной» истории. Весь класс уговаривал Аврамова и других сознаться, выставляя на вид, что иначе из-за глупой шутки понесут наказание неповинные. «Тройка» поведения — ерунда, но в классе есть двое учащихся на казенный счет, которые должны будут уйти из гимназии. Отсюда Шурочка должна видеть, что он лично, человек состоятельный, в деле не заинтересован.

— Пустяки. Директор просто врал, как иезуит, а вы ему поверили, как дураки. И шутка вовсе не так глупа. Этот кукиш мне очень нравится,— решила безапелляционно Шурочка, не подозревая, какой она делает скачок в сторону с строго логического пути, по которому шествовал Шарыгин.

Выразив нетерпение и едва за кончик хвоста успев схватить ускользавшую мысль, он начал развивать дальнейшие положения. Весь класс решил сообщить...

— То есть донести,— поправила Шурочка.

...Сообщить, что подозревает таких-то. Понимает ли Шурочка, что решил именно класс, а он был уполномоченным, передававшим решение класса?

Оказалось, что Шурочка этого не понимает. Шурочка полагает, что уполномоченный должен передавать только хорошие решения, а не дурные.

Это уже был такой скачок в сторону, что Шарыгин не успел схватить ускользнувшую мысль и казался вовлеченным в дебри ненужного спора о правах и обязанностях уполномоченных. Спор был бы бесконечным, если бы Шарыгин не воспользовался приемом почтенного противника и, махнув рукой, не перескочил на ту мысль, которая была нужна ему. Раз он был простым выполнителем воли класса, почему именно он подлец, а не Потанин и не весь класс?

— Да и все подлецы,— решила, не задумываясь, Александра Николаевна.

Шарыгин сердито рассмеялся.

— Ну, а почему же он именно меня назвал подлецом?

— Вероятно, ты больше всех настаивал, чтобы идти к директору. Во всяком случае, это фискальство, гадость!

Логика полетела к черту. Шарыгин потерял под собою почву и беспорядочно начал выдвигать те и другие орудия, повторяясь, путаясь, злясь на себя, на Шурочку, на мир, создающий Шурочек. И он объяснял и доказывал до тех пор, пока сам не перестал понимать, кто он, что он и чего ему нужно.

— Да это не спор, а какой-то танец диких!— с отчаянием воскликнул он.

Шурочка рассмеялась и спросила:

— А каков он собой — этот Аврамов?

— Прикажете познакомить?

— Это глупо — сердиться из-за пустяков.

— Пустяки! Назвать человека подлецом и говорить: «Пустяки!»

Шарыгин сердито отдернул свою руку и с ненавистью взглянул на раскрасневшееся на морозе хорошенькое личико. Как приличествует гимназисту и гимназистке, они виделись на улице тайно от родителей, хотя никто не мешал им видеться явно.

— Ну, будет, будет! Вашу руку, маркиз Поза!— Шурочка взяла руку Шарыгина, согнула ее кренделем и, вложив свою ручку, тронулась в путь. Шарыгин подергал руку, но ее держали крепко. Пришлось подчиниться. Так вот всегда бывает с этими женщинами!

Вернувшись домой, Шарыгин пошел к отцу в кабинет и, закурив папироску, рассказал ему, подробно останавливаясь на мотивах, всю историю. К его удивлению, и отец заметил, что здесь припахивает фискальством. Страдая от непонимания, Петр повторил свои доводы, стараясь обосновать их теоретически. Он говорил, что когда один предает всех, это дурно, но когда все предают одного, это означает торжество принципа большинства.

— Так-то оно так, а все-таки как-то... Да ты не волнуйся. Все это пустяки, а вы завтра же помиритесь с этим, как его...

И этот говорит: пустяки!

Как они все не могут понять, что это не пустяки, что он страдает, что он готов убить себя, так ему больно. Но он не поддастся им! Он еще докажет им, как глубоко все они ошибаются. За ним стоит еще весь класс! Шарыгин ложится спать, останавливаясь на тех мыслях, которые он еще не успел сказать и скажет завтра. Что-то мучительное, однако, сосет его сердце. «Но разве поступать честно всегда приятно!— успокаивает он себя.— Есть честность ума и честность инстинкта, вот как у папы и у... этой женщины. Конечно, неприятно, когда идешь против инстинкта, но разве инстинкт не лжет?» Придумано было красиво, и Петр на минуту успокоился, но, вспомнив, как его похвалил сегодня директор, почувствовал, что лицо его и шею охватило жаром. Краска стыда залила его щеки. Бессознательным дви-

жением Шарыгин натянул на голову одеяло, как будто в этой пустой и темной комнате кто-нибудь мог видеть его.

Прошло три дня. Начальство не сочло почему-то нужным придавать значение коллективному заявлению класса, и «заподозренные» беззаботно разгуливали по коридору. По безмолвному соглашению класс ни словом не вспоминал о происшедшей истории и с особенной предупредительностью относился к Аврамову. Посторонний наблюдатель едва ли бы заметил, что в классе что-то случилось. Но Шарыгин чувствовал это. Двое заподозренных, охотно говорившие со всеми своими обвинителями, не замечали Шарыгина и не отвечали на его попытки вступить в примирительную беседу. Остальные с виду держались по-прежнему, но одна мелочь глубоко кольнула Шарыгина. Прежде, каждую почти перемену, на Камчатке, где сидел Шарыгин, собиралась кучка товарищей и вступала в споры самого разнообразного содержания, начиная Писаревым и кончая теориями мироздания. Теперь же никто не приходил, и Шарыгин, любивший говорить и слушать себя и видеть, как внимательно слушают его другие, остался один. Философ Мартов с выражением какой-то глупой боязни сторонился от него, точно драка составляла постоянное свойство шарыгинского характера. Однажды Шарыгин поймал на себе взгляд преданного ему Преображенского, и в этом взгляде сквозило не восхищение, к которому он привык, а, противно сказать... сожаление.

«Мерзавцы!»— думал Шарыгин, включая в это понятие весь класс и всех, кто находился за ним. Ему было нестерпимо больно и обидно, что в предательстве виноваты все, а наказание несет он один.

— За что, мерзавцы?— со злостью спрашивал Шарыгин, чувствуя, что даже Преображенский, который больше всего суетился и кричал в пользу доноса, теперь презирает его, Шарыгин вызывающе смотрел на товарищей, говорил резкости, толкал заподозренных, не вызывая отпора и лишь возбуждая недоумение, так как большинство и сами не замечали, как они переменились к нему. Однажды он громко заговорил о том, что странно, почему директор до сих пор не принимает никаких мер, но все разошлись, притворяясь, что не слышат, а Преображенский, которого он прижал к стенке, согласился с ним, но имел такой жалкий вид, что Шарыгин отпустил его.

— Экие все дряни!— крикнул он, но ответа не получил. Шарыгину хотелось, чтобы кто-нибудь поговорил с ним,

убедил его, что он неправ, даже побил его, но только не молчал.

Учителя, казалось Шарыгину, тоже косились на него. Бочкин, преподаватель истории, резкий и независимый господин, потешавший класс своими шуточками, а директора в совете доводивший до чертиков, сказал:

— Доносиками заниматься вздумали? О будущие граждане российские!

Он обращался ко всему классу, но Шарыгин подумал, что это относится к нему одному. Обычный «кол», третий по счету, украсивший в этот день клетку журнала против фамилии Шарыгина, не сопровождался шутливыми замечаниями, показывавшими, что, хотя Бочкин и ставит единицу за незнание урока, все же считает его развитым и знающим.

— До сажени много еще осталось?— спросил Шарыгин, но Бочкин не ответил.

«Скотина!»— подумал Шарыгин, и ему захотелось заплакать. Дома тоже было не лучше. На свидания к Шурочке он не ходил, и та прислала уже записочку (с двумя орфографическими ошибками), справляясь об его здоровье и настроении. «Милый!»— хорош «милый»,— подумал Шарыгин и, выбрав на диване местечко поудобнее, поплакал, удивляясь, как это он, умный малый,— а до сих пор не знал, что плакать составляет такое удовольствие. Это было в субботу. В воскресенье Шарыгин, против обыкновения, никуда не пошел и весь день посвятил странным занятиям, которые окончательно могли бы дискредитировать его в глазах класса и всех серьезных людей. Он шалил. Первый раз в жизни сестренка его испытала завидное наслаждение кататься верхом на мужчине, и, надо полагать, впоследствии, когда она вышла замуж, муж ее не раз проклинал легкомысленного братца. Почтенному старому коту, необыкновенно жирному и важному, Петр привязал на хвост бумажку. Он хотел доставить удовольствие все той же сестренке, но смеялся сам гораздо больше нее.

В понедельник на второй перемене Шарыгин после звонка попросил всех остаться в классе и взошел на кафедру.

— Господа!— начал он дрогнувшим голосом и смотря на Аврамова.— Товарищи, черт вас возьми, а не господа. Слушайте. Аврамов оскорбил меня названием подлеца...

Аврамов, покраснев, смотрел вниз.

— ...И он был неправ. Да, неправ. Он должен был сказать: «Все вы подлецы!» А так как он этого не сказал, то

я говорю: все мы были подлецами! Предателями, негодяями...

Глаза Шарыгина попали в восторженно раскрытый рот философа Мартова.

— ...И скотами. Один за всех, все за одного! Вот как нужно жить, братцы. А что я... я... ударил Аврамова, то я такой... такой...

Красноречивый оратор всхлипнул и, сбежав с кафедры, устремился к дверям, но чьи-то руки, бесчисленное множество рук, схватили его и закружили.

— Задушили! Пустите, черти! Опять к директору пойду.

На большой перемене многие искали Шарыгина, но он куда-то пропал. Когда класс был отперт и восьмиклассники гурьбой, выжимая друг из друга масло, ворвались в него, их пораженным глазам представилось чудное произведение искусства. На классной доске было нарисовано расписание с заключенным в него кукишом, а перед ним в недоумевающих позах инспектор и директор, а за ними сторож Семен. Нос директора художник не мог вместить на доске и окончил мелом на стене. Внизу была подпись: «И. И. (услужливо): не огорчайтесь, И. М., этот кукиш мне. Директор (благосклонно): благодарю вас, И. И.!— Сторож Семен (глубокомысленно): а я так полагаю, что вам обоим».

— Сотри, сотри!— раздались голоса, но Шарыгин не подпускал никого к доске. Да и поздно было. Селедка уже видела рисунок. Никогда она так быстро не бегала, даже когда приезжал попечитель и она метала икру. Вошел директор, а за ним на цыпочках Иван Иванович.

— Кто?— лаконически спросил директор, оценив художественность исполнения и широту замысла артиста.

— Я,— отвечал Шарыгин.

— Ты? Хорошо. Ты будешь исключен.

Но директора смягчили. Наказание было ограничено четырехдневным арестом. Когда в следующее воскресенье замок щелкнул в двери и Шарыгин остался в классе один, он впервые почувствовал, что «грязь прошлого» совершенно смыта с него. Часа через два, когда он уже начал скучать, у стеклянной двери показалось чье-то дружески мигавшее лицо. То был философ Мартов. За ним последовал Преображенский. И целый день одна дружеская физиономия сменяла другую, и все они мигали, кричали в замочную скважину и дружески скалились. Под дверь была просунута записка, кратко возвещавшая: «Не робей!» Ночью, когда Шарыгин собирался укладываться спать на принесенной постели, внезапно дзинькнул замок. Аврамов, Мартов и еще

пара друзей осторожно вошли в класс, издали показывая хлеб, длинную колбасу, такую длинную, как нарисованный нос у директора, и horribile dictu [1]... полбутылки водки.

Друзья разошлись поздно ночью. Наибольшее удовольствие от импровизированного банкета получил сторож Семен. Он любил выпить,— большая часть полбутылки пришлась на его долю. Он не прочь был посмеяться, если кто-нибудь с положительным юмористическим талантом изображал Ивана Ивановича, который неоднократно грозился его выгнать за потачки гимназистам,— Мартов же за изображение инспектора давно стяжал заслуженные лавры. Наконец распространенное мнение о том, будто бы Семен глуп, было по меньшей мере опрометчиво. Десять лет прислуживая при опытах в физическом кабинете, Семен обогатил свой ум изрядным количеством непонятных слов, дававших ему возможность с честью поддерживать всякий умственный разговор. И так как в горячем разговоре гимназистов постоянно попадались непонятные слова, напоминавшие Семену дорогую физику, как-то: прогресс, человечность, идеалы, он всей душой устремлялся за своими приятелями туда, где, по их уверению, эти слова постоянно раздаются с высоты кафедры, живут и дышат — в далекий, желанный и загадочный университет.

Проводив посетителей, Семен возвращался по темному коридору. Колеблющийся огонь свечи трепетным светом озарял красное, усатое лицо, вырисовывая на стенке чудовищную движущуюся тень. Смутная грусть и сожаление наполняли глупую голову Семена.

— Ах, кабы и сторожам можно было оканчивать гимназию и переходить в университет!

В САБУРОВЕ

Село Сабурово стоит на высоком нагорном берегу Десны, господствуя над бесконечной гладью лугов, лишь на далеком горизонте оттеняемых узкой полоской синеватого леса.

Лет 12 тому назад пришел в Сабурово мужик Пармен Еремеев Костылин. Никто на селе не знал, откуда он явился, да и не интересовался этим вопросом. Пармен был не из тех людей, с которыми приятно повести душевный разговор

---

[1] страшно сказать *(лат.)*.

о жизни, сидя где-нибудь у залитой сивухой и засиженной мухами кабацкой стойки или валяясь на сене. Причиной тому была частью отвратительная внешность Пармена, частью его замкнутый, необщительный характер. Мужик он был рослый, здоровый, и, глядя на него сзади, всякий чувствовал расположение к этой крепко сколоченной фигуре, с слегка неуверенными движениями и нерешительной походкой. Но другое являлось чувство, когда человек вглядывался в его лицо. Страшная болезнь, известная в народе под именем волчанки, изъела это лицо, как заправский жестокий зверь. Она уничтожила нос, оставив на его месте дыру, скрываемую Парменом под чистой белой тряпочкой; припухшие красноватые веки были совсем почти лишены ресниц и тяжело повисли над серыми глазами, придавая лицу выражение странной сонливости; щеки и подбородок были изборождены шрамами и рубцами, красными и блестящими, как будто произведшие их раны только что зажили. Ни бороды, ни усов не росло на этом убогом лице; на их месте сиротливо торчали тонкие, бесцветные волосики: так после лесного пожара, уничтожившего молодой березняк и осинник, на бугроватой земле одиноко возвышаются обуглившиеся деревца. Много есть на свете безносых людей, которые и поют, и пляшут, и компанию водят, настолько примирившись с отсутствием носа, что и другим начинает казаться: да этому лицу носа совсем и не нужно. Не таков был Пармен. Точно чувствуя себя виноватым в своем безобразии, этот дюжий мужик боялся людей и хоронился от них, а когда обстоятельства принуждали его к беседе, то говорил угрюмо и кратко. И хотя он мухи от роду не обидел, его не то чтобы побаивались, а считали способным на всякие поступки, на которые не решится другой, по пословице: «Бог шельму метит».

Появился Пармен впервые в качестве работника у Федота Гнедых, мужика хворого и слабосильного. Работал Пармен много и не покладая рук, но как-то беззвучно и невидно, точно его и нет. Через три года Федот умер. Пелагея, жена его, поголосила, сколько полагается, над покойником, выветрила избу от мертвого духа и продолжала жить, как и раньше, то есть разрываясь на три части, по количеству детей. Старшему, Гришке, было всего 11 лет, а Санька, весьма требовательная и воинственная девица, еще не была отнята от груди. Подождав немного, Пармен попросил вдову отпустить его.

— Платить тебе нечем, какой я тебе работник,— заявил он коротко и резко.

Пелагея знала, что за золотые руки у Пармена, и в эту минуту он показался ей чуть ли не красавцем.

— Что я одна-то с ребятами поделаю,— заплакала она.— Не оставь ты меня, Еремеич, с малыми сиротами, будь им заместо отца... А я тебя по гроб твоей жизни не оставлю.

Пармен остался. Если раньше он работал за двоих, то теперь стал работать за десятерых, все так же тихо и безмолвно: одному ему был известен способ, посредством которого он ухитрялся делать невидимою свою рослую фигуру. Даже с Пелагеей, с которой он спал на месте покойного Федота, он был неразговорчив, и только Санька умела вызывать его на разговор и даже на шутку. Эта юная особа, только что усвоившая первые начала пешего хождения и лишь в важных случаях, когда требовалась особенная быстрота, передвигавшаяся на четвереньках, была совершенно чужда чувству красоты. Отсутствие носа у дяди Пармена не только ее не шокировало, как взрослых, но, впадая в крайность, она находила нос излишним придатком. Не говоря уже о том, что он являлся обыкновенно первой жертвой при ее многочисленных падениях,— у матери ее, Пелагеи, существовала очень дурная привычка: завернув подол платья, хватать им Саньку за нос и немилосердно дергать. Хорошо еще, что нос был маленький, а с большим Саньке совсем бы и не управиться. Сидя у Пармена на коленях, Санька гладила пальцами блестящие края раны и, придерживая другой рукой для вящей ясности свою замазанную сопатку, наводила справки о том, какого приблизительно размера был дядин нос и куда он девался.

— Собака откусила,— шутил Пармен.

— Жучка?— спрашивала Санька, тараща глаза.

— Она самая.

Всесторонне обсудив это сообщение, Санька находила в нем несомненные признаки клеветы: Жучка не такая собака, чтобы откусить нос, Барбос — тот мог, но Жучка никогда. И Санька с ужасом смотрела на соседнего лохматого Барбоса, воображая, как хрустит у него на зубах дядин нос, и с визгом ковыляла к матери, когда Барбоска, пес в действительности вежливый и обходительный, выражал намерение лизнуть ее в лицо.

Постепенно Пармен привык к своему положению и значительно изменился нравом. Смеяться стал; раз, проезжая лесом, хотел запеть, но, видно, и горло было у него испорчено: звук получился такой, как будто ворона закаркала, а не мужик запел. Начал Пармен пользоваться и привиле-

гией счастливых людей: вызывать к себе хорошее отношение. Его меньше чурались, и если продолжали звать «Безносым», то не ради насмешки или из злобы, а просто в отметку действительного факта. Была бы довольна и Пелагея, если бы ее взгляд давно не заметил на этом чистом небе облачка, грозившего превратиться в тучу. Дело было в Гришке. Смуглый, как цыганенок, красивый мальчуган чувствовал непобедимое нерасположение к Пармену. Говорливый со всеми, с Парменом он держался дичком и проницательным взглядом не по годам развитого ребенка провожал Пармена, когда тот укладывался на печи спать бок о бок с Пелагеей. В этом взгляде была и ревность и пренебрежение к «Безносому», занимающему место отца. Но еще больше, чем к матери, ревновал его Гришка к хозяйству, к дому, безотчетно возмущаясь тем, что какой-то чужак, пришелец, распоряжается, как своим, всем этим добром, идущим от деда, а то и от прадеда.

— Воистину господь послал нам Пармена Еремеича,— издалека заводила разговор Пелагея, искоса поглядывая на Гришку.

Обыкновенно тот молча уходил, но когда и он и брат Митька подросли настолько, что сами могли управиться с хозяйством, он начал возражать матери.

— Прожили бы и одни,— бурчал он.— Эка невидаль. Думает,— безносый, так всякое ему и уважение. Держи карман шире.

— Чистый ты, Гришка, змееныш,— говорила Пелагея.

Пармен, в противоположность былой мнительности, ставший доверчивым даже до легкомысленности, ничего этого не замечал. Раз Григорий, уже семнадцатилетний здоровый малый, пришел домой особенно злой.

— Послушала бы, что люди-то говорят,— сказал он матери.— «У тебя, говорят, заместо отца Безносый». Ребята засмеяли, проходу не дают. Пожил, пора и честь знать.

Чуть ли не каждый день Григорий стал возвращаться к разговору на тему «пора и честь знать». Пелагея возражала, но с каждым разом все слабее. Ей самой начинало казаться странным хозяйничанье Пармена. «И чего он тут всамделе?— думала она, глядя на чужую, отвратительную физиономию Пармена, который, ничего не подозревая, с топориком охаживал кругом плетня.— Ишь колотит, кабудь и вправду мужик». Митька, парень болезненный и ко

всему равнодушный, делал вид, что не замечает озлобления брата.

Было это осенним вечером, в воскресенье. Пармен, благодушествуя, сидел в избе за чаепитием. Тряпочку, которой обвязывался его нос, дома из экономии он снимал, и теперь лицо его, покрытое красными рубцами, лоснилось от пота и было неприятнее обыкновенного. Потягивая из блюдечка жиденький чай, отдающий запахом распаренного веника, Пармен думал о Саньке, где-то гулявшей с девчонками, удивлялся этому невероятному мужику, Пармену, который пьет сейчас такой вкусный чай и так незаслуженно счастлив, размышлял о том, с чего он начнет завтрашний рабочий день... Вошел Григорий, хмельной и решительный. «Эк подгулял парнюга,— усмехнулся Пармен.— Пущай: это он силу в себе чувствует». Не снимая шапки, Григорий остановился перед Парменом. На губах его блуждала пьяная усмешка.

— Проклаждаетесь? Чаи, значит, распиваете. Так. А на какие-такие капиталы?

Пармен, продолжая улыбаться, хотел что-то сказать, но Григорий прервал его:

— А ежели скажем так: вот Бог, а вот и порог. Пожалте, как ваше здоровье?

В глазах Пармена мелькнул испуг, хотя губы все еще продолжали кривиться в улыбку. Григорий, пошатываясь, подошел к Пармену вплотную, вырвал блюдце и выплеснул чай.

— Довольно-таки покуражились. Достаточно. Прямо так скажем: пора и честь знать. А нам безносых не надоть. Пож-жалте! Пофорсили — и будет. А вот, ежели угодно... раз!— Григорий сорвал с крюка армяк Пармена и бросил его на пол.— Два!— За шапкой последовал пояс, потом сапоги, которые Григорий с трудом достал из-под лавки.— Три! Четыре!— Пармен, раскрыв рот, смотрел на парня. Пальцы, в которых он держал блюдце, так и остались растопыренными и дрожали. Вдруг он смутился, из бледноты ударился в краску и засуетился, собирая разбросанные вещи.

— Ты что же это, пьяница, делаешь?— заголосила Пелагея, которой стало жаль Пармена.

— А вы, маинька, не суйтесь. Ваше дело бабье, а ежели желаете, то вот... Семь!— Григорий выказал намерение сбросить еще что-то, но пошатнулся и плюхнулся на лавку.

— Что ж это, ничего,— бормотал Пармен:— это правильно. Волчанка съела. Я уйду.

— Да плюнь ты на него, непутевого,— причитала Пелагея.— Ишь буркалы-то налил. Головушка моя горькая, доля ты моя бесталанная!

— Восемь!— считал Григорий, опуская голову на грудь и засыпая.— Двенадцать!..

Через несколько дней Пармен ушел. Григорий во все эти дни избегал всякого с ним разговора; Пелагея тоже не удерживала и только твердила: «Голова моя горькая»; Митька делал вид, что ничего не замечает. Только Санька заревела белугой, узнав, что дядя Безносый уходит.

— А с кем я у поле поеду!— вопияла она, энергично вцепившись в Парменов полушубок.

В эту ночь, первую, проведенную без Пармена, она долго хныкала, вспоминая свою горькую участь. Побитая матерью, она наконец заснула, но часто вскрикивала спросонья и стонала.

Пармену удалось пристроиться сторожем в Шаблыкинском лесу, начинавшемся почти у самого села. Долгую зиму Пармен слушал по ночам волчий протяженный вой, пока не подошла весна, принесшая с собой жизнь для всей природы. Пробудилась жизнь и в окаменелом Пармене. Проваливаясь по колена в мягкий снег, под которым стояла чистая, прозрачная вода, Пармен пошел в гости к Пелагее, но был встречен недружелюбно. Так и ушел он смущенный и потерянный. Но с тех пор по ночам часто бродил он вокруг темной хаты.

Страстная неделя кончалась. Вечером в субботу Пармен отправился в церковь, захватив с собой кулич, спеченный ему одной бабой с села. От сторожки до Сабурова было версты две, сперва лесом, потом полем, покрытым оврагами и водомоинами. Когда Пармен вышел из дому, темень была такая, что хоть глаз выколи. Звезд и тех не видать было, хотя небо было безоблачно. Воздух стоял теплый, слегка сыроватый от испарений, поднимавшихся с оттаявшей, но не просохшей еще земли. Отовсюду окрест доносился тихий и ровный звук журчащей по межам воды. Разом на Пармена пахнуло свежестью и легким холодком: то потянуло ветром из глубокого оврага, еще наполовину полного снегом. На дне его, между отвесных стен, чуть слышно бурлила вешняя вода. Из беспросветно-черной дали доносился неясный гул и треск, то усиливаясь, то затихая,— это сталкивались, налезали друг на друга и ломались льдины на широко разлившейся Десне. Гул становился все яснее и громче, по мере того, как Пармен приближался к высокому нагорному берегу, по которому пролегала проезжая до-

рога. Вот уже ухо различает отдельные звуки: слышно, как бегут одна за другой веселые, бойкие струйки и вертятся, образуя водовороты; слышится, как разогнавшаяся большая льдина врезывается с треском в землю, выплескивая с собой волну. Берег круто заворачивает и открывает вид на церковь. Верх ее теряется в темном небе, но внизу ярко горят освещенные окна и дрожащими, колеблющимися пятнами отражаются на темной, движущейся поверхности многоводной реки, на много верст затопившей луговую сторону.

Церковь была полна. Тоненькие восковые свечи горели тусклым, желтоватым огоньком в душном, спертом воздухе, полном запаха овчины. Сквозь неопределенный шуршащий звук, издаваемый толпой, прорывался страстный молитвенный шепот. Пармен стал в притворе, куда чуть слышно доходил протяжный голос священника. Звучало радостное пение:

«Христос воскресе из мертвых»...

Сгрудившаяся в притворе толпа всколыхнулась и сжалась еще более, давая дорогу причту. Прошел в светлых ризах священник; за ним, толкаясь и торопясь, беспорядочно двигались хоругвеносцы и молящиеся. Выбравшись из церкви, они быстро, почти бегом троекратно обошли ее. Радостно возбужденное, но нестройное пение то затихало, когда они скрывались за церковью, то снова вырывалось на простор. Надтреснутый колокол звонил с отчаянным весельем, и его медные, дрожащие звуки неслись, трепеща, в темную даль, через широкую, разлившуюся реку. Внезапно звон затих, и густое, дрожащее гуденье, замирая, позволяло слышать, как шумит река. Утомленное ухо ловило звук далекого благовеста.

— Это в Измалкове звонют,— сказал один из мужиков, прислушиваясь.— Ишь как по воде-то доносит. По всей-то теперь земле звон идет...

И устремленным в темную даль глазам мужика представились бесконечные поля, широкие разлившиеся реки, и опять поля, и одинокие светящиеся церкви... И над всем этим, сотрясая теплый воздух, стоит радостный звон.

— Эх,— вздохнул мужик полной грудью.— Простору-то, простору-то и-и...

Пармен пошел домой еще до окончания церковной службы. В сторожке было холодно и пусто. Пармен разложил на столе кулич, яйца и хотел разговляться, но кусок не

шел в горло. Поколебавшись, он снова оделся и пошел в село.

В Сабурове улицы были пустынны и темны, но во всех окнах светился огонь, придавая селу вид необычного скрытого оживления. Хлопнула калитка. Пармен не успел перейти на другую сторону и был остановлен толстым мужиком. Это был Митрофан, поповский работник. Растопырив руки и покачиваясь, он запел:

А-ах, прости-прощай, ты кра-са-вица,
Красота ль твоя мне не нра-а-витца...

Пармен молчал, а подгулявший Митрофан перешел в серьезный тон:

— Христос воскресе, Пармен Еремеевич.

— Воистину воскресе, Митрофан Панкратьич.

Мужики сняли шапки и троекратно поцеловались. Митрофан надвинул шапку на затылок, вытер рукавом толстые губы и дружески заметил:

— Вишь ты, и рот-то у тебя какой липкий! А я, брат, того — выпил. Поп поднес. На, говорит, Митрофан, выпей от трудов праведных. Я и выпил. Отчего не выпить? Пойду к Титу и у Тита выпью, а поутру у Макарки выпью...

Митрофан наморщил брови, вычисляя, где еще и сколько ему придется выпить за эту неделю. Видимо, результат был утешительный: чело его разгладилось, и шапка как-то сама собой съехала на затылок. Простившись, Митрофан тронулся дальше.

Жучка заметалась и залаяла, когда Пармен подошел к хате Гнедых, но, увидав своего, завертелась волчком и в знак покорности и извинения легла на спину. Пармен погладил ее и осторожно вошел в калитку; он не хотел, чтобы с улицы заметили его.

Сквозь вымытые к празднику стекла оконца отчетливо видна была часть избы. Прямо против Пармена сидела за столом Санька и с надувшимися, как барабан, щеками с трудом что-то пережевывала. Глаза ее слипались, но зубы неутомимо работали. Рядом сидела Пелагея. Ее худощавый и острый профиль с слегка втянутыми губами был полон праздничной торжественности. Других Пармену видно не было. Вероятно, было сказано что-нибудь очень веселое, потому что Пелагея засмеялась, а Санька подавилась, и мать несколько раз стукнула ее по горбу. Пармен пристально смотрел в одну точку, не замечая, как была покончена еда и Пелагея начала убирать стол. Привел его в себя

звук открывающейся двери. Захваченный врасплох, Пармен отскочил в угол сарая и притаился, стараясь не дышать. На крыльцо вышел Григорий, посмотрел на посветлевшее небо, по которому зажглись запоздавшие звезды, почесался и продолжительно зевнул, оттолкнув от себя Жучку, заявившую о своем желании приласкаться. Оскорбленная собака направилась к Пармену и начала тереться около него.

— Цыц! Назад!— крикнул Григорий, но Жучка не шла.— Аль там кто есть? Мить, ты?

Пармен молчал, прижимаясь к стене. Григорий подошел и увидел сгорбившуюся фигуру.

— Кто это? Чего тебе тут надо? Тебе говорят!

Пармен обернулся. Григорий узнал его и, насупившись, хотел поворотить от него в избу, но вдруг у него в голове мелькнула мысль о поджоге, тотчас же перешедшая в уверенность.

— Ты чего же здесь прячешься ночью? а?

Пармен молчал.

— А, так ты вот как!— схватил его Григорий за ворот и закричал:— Митька! Митька! Не, брат, не уйдешь.

Но Пармен и не думал уходить. Оцепенев, он бессмысленно смотрел на побледневшее от злости лицо Григория, потом на Митьку, который по настойчивому требованию брата стал шарить в его карманах, вытащив оттуда какую-то веревочку и коробок фосфорных спичек.

— А, поджигатель!— заорал Григорий.— Вот он твой благодетель-то, гляди!— крикнул он матери, с испугом смотревшей на эту сцену, и, рванув, стукнул Пармена головой о стену.

Санька, глаза которой хотели, казалось, выскочить из своих впадин, легонько охнула.

— Да что ты!— заговорил наконец Пармен.— Нешто я могу. Опамятовайся, Бог с тобой.

— Еще поговори, гунявый!

— Так, значит, пришел, вот тебе крест. Не чужие ведь. Заместо отца был. Грех тебе, Гриша.

Гнев Григория начал было отходить, но последние слова снова разбудили его. Тряся Пармена за ворот, он грозил сейчас же отправить его в волостное правление и требовал, чтобы ему подали шапку и одежду.

Митрий лениво вступился:

— Пусти его, Григорий! Пущай идет.

— Головушка моя горькая!— запричитала Пелагея, скрываясь в избу и таща за собой Саньку, но та снова выскочила: у нее были свои мысли по поводу происходящего.

— Ну, так и быть, в последний раз,— отпустил Григорий ворот Парменова полушубка.— Только попомни мое слово: ежели еще раз увижу, безо всякого разговора колом огрею! Ну, чего стал! Иди, коли говорят!

Пармен поднял упавшую шапку и хотел что-то сказать, но трясущиеся губы не повиновались. Раза два открывался его рот, обнаруживая черные сгнившие зубы, но только одно слово вылетело оттуда:

— Про... щайте.

Сгорбившись, как будто на его вороте все еще лежала тяжелая рука Григория, шагал Пармен по улицам. Огоньки всюду погасли, и на селе царила тишина,— только один какой-то неудовлетворенный пес меланхолически завывал, восходя до самых высоких, чистых нот и спускаясь оттуда до легкого повизгивания. До солнца было еще далеко, но ночной мрак начал уже рассеиваться и сменился сероватым полусветом. Внезапно сзади Пармена послышался частый, дробный топот босых ног. Детский задыхающийся голос кричал, вытягивая последние слова:

— Дядя Без-но-сай! Дядя Безно-сай!..

Пармен обернулся. С развевающейся вокруг ног юбчонкой бежала к нему Санька; кричать она была уже не в силах и только раскрывала рот.

Рядом с Санькой бежала вприпрыжку куцая Жучка. Подлетев к Пармену, Санька с разгону протянула к нему руку и из последнего запаса воздуха отрывисто шепнула:

— На.

— Что ты, Сашута?— наклонился к ней удивленный Пармен, не видя, что Жучка, перевернувшись на спину, также старается привлечь на себя его внимание! Санька широко раскрыла рот и набрала воздуха для целой речи, но с первым же словом выпустила его:

— Тебе.

— Куда ты бежишь-то, стрекоза?— недоумевал все более Пармен.

— Дядя Безносый, пирог,— разрешилась наконец Санька, из благоразумной предосторожности не останавливаясь на знаках препинания.

Ее ручонка с трудом охватывала большой кусок пирога, порядком уже замусоленный. Присутствуя при объяснении Григория с Пармeном, Санька без труда сообразила, что дядя Безносый приходил не поджигать, а разговляться, потому что живет он один и есть ему нечего. Раньше ему есть мамка давала, а теперь кто даст?

— Ешь,— протягивала Санька пирог. Как все особы ее возраста, она любила видеть немедленное осуществление своих планов.— Чего же ты не ешь?

Пармен, сжимая руками худенькие плечи, смотрел, не отрываясь, на ее пухлые щеки и вздернутый носик, не изменивший своим привычкам и где-то запачканный.

«Вот чудак-то; есть не хочет,— думала с недоверием Жучка, косясь на пирог и легонько подрягивая задней ногой:— а я бы съела».

— Ну, ешь,— просила Санька.

Вместо ожидаемого ответа Пармен подхватил ее на руки и прижал лохматую головенку к своей рубцеватой, шершавой щеке. Саньке было тепло и хорошо, пока что-то мокрое не поползло по ее шее. Отдернув голову, она увидела, что дядя Безносый, этот страшно высокий и сильный дядя Безносый,— плачет.

— Чего ты? Не плачь,— прошептала Санька.— Не плачь,— сурово продолжала она, не получая ответа.— А то и я зареву.

Пармен знал, что значит, когда Санька ревет,— значило это разбудить всю деревню,— и прошептал, целуя большие влажные глаза:

— Ничего, Сашута, ничего, девочка. Так это я, пройдет. Не забыла, вспомнила.— И снова слезы быстро закапали из глаз Пармена.— Обидели меня, Сашута. Да что ты, голубка?

Закрыв один глаз рукой, в которой находился пирог, Санька выразительно скривила рот и загудела:

— У-у... Гришка... Злю-ка-а!

— Ну, что ты, Сашута,— упрашивал ее Пармен.

— Разбо-й-ник,— продолжала непримиримая девица.

Со двора Гнедых послышался зов: «Саньк-а-а-а!»

— Не пойду-у,— гудела Санька, несколько понизив тон.

Услышав голос Пелагеи, Пармен поспешно спустил Саньку наземь и, суетливо крестя ее, шептал:

— Иди с Богом, девочка моя милая, иди, а то матка осерчает.

— Пуща-ай, не бою-у-сь.

— Иди, милая, иди.

Нагнув голову, как бычок, готовый бодаться, Санька нерешительно тронулась с места, но, спохватившись, что миссия ее еще не окончена, вернулась, отдала пирог — и легче пуха полетела к дому. Бросив прощальный взгляд на пирог, неохотно заковыляла за ней Жучка. В следующую минуту со двора Гнедых послышался сердитый крик Пелагеи.

Было почти светло, когда Пармен вышел на берег и сел на бугре, покрытом желтой прошлогодней травой, среди которой там и здесь проглядывали зеленые иглы новой. Внизу плескалась река. Воды за ночь прибыло, и вся река как будто приблизилась. С верховьев шел густой белый лед. Он двигался плавно, неслышно, как по маслу. Точно не он шел, а вся река.

Небо из серого стало белым, потом поголубело, а Пармен все сидел. И тосковал глубоко.

У ОКНА

Андрей Николаевич снял с подоконника горшок с засохшей геранью и стал смотреть на улицу. Всю ночь и утро сеял частый осенний дождь, и деревянные домики, насквозь промокшие, стояли серыми и печальными. Одинокие деревья гнулись от ветра, и их почерневшие листья то льнули друг к другу, шепча и жалуясь, то, разметавшись в разные стороны, тоскливо трепетали и бились на тонких ветвях. Наискось, в потемневшем кривом домике отвязалась ставня и с тупым упорством захлопывала половинку окна, таща за собой мокрую веревку, и снова со стуком ударялась о гнилые бревна. И остававшаяся открытой другая половинка, со стоявшей на ней бутылкой желтого масла и сапожной колодкой, смотрела на улицу хмуро и недовольно, как человек с больным и подвязанным глазом.

За дощатой перегородкой, отделявшей комнатку Андрея Николаевича от хозяйского помещения, послышался голос, глухо и неторопливо бурчавший:

— Дело вот в чем — две копейки потерял.

— Да брось ты их, Федор Иванович,— умолял женский голос.

— Не могу.

Под тяжелыми шагами заскрипели половицы, и стукнула упавшая табуретка. Хозяин Андрея Николаевича, пекарь, когда бывал пьян, постоянно терял что-нибудь и не успокаивался, пока не находил. Чаще всего он терял какие-то две копейки, и Андрей Николаевич сомневался, были ли они когда-нибудь в действительности. Жена давала ему свои две копейки, говоря, что это потерянные, но Федор Иванович не верил, и приходилось перерывать всю комнату.

Вздохнув при мысли о глупости человеческой, Андрей Николаевич снова обратился к улице. Прямо против окна,

на противоположной стороне, высился красивый барский дом. Деревянная вычурная резьба покрывала будто кружевом весь фасад, начинаясь от высокого темно-красного фундамента и доходя до конька железной крыши, с стоящим на ней таким же вычурным шпилем. Даже в эту погоду, когда кругом все стояло безжизненным и грустным, зеркальные стекла дома сияли, и тропические растения, отчетливо видные, казались молодыми, свежими и радостными, точно для них никогда не умирала весна и сами они обладали тайной вечнозеленой жизни. Андрей Николаевич любил смотреть на этот дом и воображал, как живут там. Смеющиеся красивые люди неслышно скользят по паркетным полам, тонут ногой в пушистых коврах и свободно раскидываются на мягкой мебели, принимающей форму тела. За зелеными цветами не видно улицы с ее грязью, и все там так красиво, уютно и чисто.

В пять или шесть часов приезжает обыкновенно со службы сам владелец богатого дома, красивый, высокий брюнет, с энергичным выражением лица и белыми зубами, делающими его улыбку яркой и самоуверенно-веселой. С ним часто приезжает какой-нибудь гость. Быстрыми и твердыми шагами всходят они на каменные ступени крыльца и, смеясь, скрываются за дубовой дверью, а толстый и сердитый кучер делает крутой поворот и въезжает на мощеный двор, в отдаленном конце которого видны капитальные службы и за ними высокие деревья старого сада. И Андрей Николаевич представляет себе, как теперь встречает их молодая хозяйка, как они садятся за стол, украшенный зеленеющим хрусталем и всем, чего Андрей Николаевич никогда не видал, едят и смеются. Однажды он встретил обладателя белых зубов, когда тот ехал по улице, разбрасывая резиновыми шинами мелкий щебень. Андрей Николаевич поклонился, и он весело и любезно ответил, но лицо его не выразило ни малейшего удивления по поводу того, что ему кланяется какой-то желтоватый и худой господин в фуражке с бархатным околышем и кокардой, и он не задумался о причине этого. Но причины не знал и сам Андрей Николаевич.

— Вот в чем дело,— говорил за перегородкой хозяин, раздумчиво и вразумительно,— это не те две копейки. Те две копейки щербатые.

— Господи, да когда же ты приберешь меня?

Андрей Николаевич сидел у окна, смотрел и слушал. Он хотел бы, чтобы вечно был праздник и он мог смотреть, как живут другие, и не испытывать того страха, который идет

вместе с жизнью. Время застывало для него в эти минуты, и его зияющая, прозрачная бездна оставалась недвижимой. Так могли пронестись года, и ни одного чувства, ни одной мысли не прибавилось бы в омертвевшей душе.

Вот распахнулись ворота богатого дома, выехал кучер и остановился у крыльца, расправляя на руках вожжи. «Это барыня сейчас поедет»,— подумал Андрей Николаевич. В дверях показалась молодая, нарядно одетая женщина и с нею сын, семилетний пузырь, с лицом таким же смуглым, как у отца, и с выражением сурового спокойствия и достоинства. Заложив руки в карманы длинного драпового пальто, маленький человечек благосклонно смотрел на вороного жеребца, горячо и нетерпеливо перебиравшего тонкими ногами, и с тем же видом величавого покоя и всеобъемлющей снисходительности, не вынимая рук из карманов, позволил горничной поднять себя и посадить в пролетку. Этого мальчика Андрей Николаевич назвал про себя «вашим превосходительством» и искренно недоумевал, неужели такие дети, как он, с врожденными погонами на плечах, родятся тем же простым способом, как и другие дети? И, когда обе женщины рассмеялись на маленького генерала, с задумчивым удивлением посмотревшего на их непонятную веселость, худенький чиновник, притаившийся у своего окна, невольно и с почтением улыбнулся. Лошадь рванула с места и ровной, крупной рысью понесла подпрыгивающий экипаж. Спрятав под передник красные руки, горничная повертелась на крыльце, сделала гримасу и скрылась за дверью. Снова опустела и затихла мокрая улица, и только отвязавшаяся ставня хлопала с таким безнадежным видом, точно просила, чтобы кто-нибудь вышел и привязал ее. Но покривившийся домик точно вымер. Раз только за его окном мелькнуло бледное женское лицо, но и оно не было похоже на лицо живого человека.

Андрей Николаевич никогда не завидовал этим людям и не хотел бы иметь столько денег, как они. Давно уже, целых шесть лет, он следил за красивым домом и так сжился с ним, что сгори дом — он не знал бы, что ему делать. Он изучил все привычки его обитателей, и, когда в прошлом году, весной, пришли плотники и маляры и стали работать, Андрей Николаевич все свое свободное время проводил у окна и сильно тревожился. Ему казалось, что неуклюжие маляры, тонкими голосками поющие какие-то глупые песенки, обязательно испортят дом. И хотя он вовсе не был испорчен и еще ярче засиял, обмытый и помолодевший, Андрею Николаевичу было жаль старого дома, в котором он

знал всякую трещину. Там, где откос крыши сходился со стенами, в треугольничке находилось место, которое он особенно любил за его уютность, и ему сделалось особенно тяжело, когда плотники оторвали старую резьбу, и уютный уголок, обнаженный, сверкающий белым тесом от свежих ран, выступил на свет, и вся улица могла смотреть на него. И только раз или два Андрею Николаевичу приходила мысль о том, что и он мог бы быть человеком, который умеет зарабатывать много денег, и у него тогда был бы дом с сияющими стеклами и красивая жена. И от этого предположения ему становилось страшно. Теперь он тихо сидел в своей комнатке, и стены и потолок, до которого легко достать рукой, обнимали его и защищали от жизни и людей. Никто не придет к нему, и не заговорит с ним, и не будет требовать от него ответа. Никто не знает и не думает о нем, и он так спокоен, как будто он лежит на илистом дне глубокого моря, и тяжелая, темно-зеленая масса воды отделяет его от поверхности с ее бурями. И вдруг бы у него богатство и власть, и он точно стоит на широкой равнине, на виду у всех. Все смотрят на него, говорят о нем и трогают его. Он должен говорить с людьми, которые непрестанно приходят к нему, и сам он ходит в дома с высокими потолками и множеством окон, несущих яркий, белый свет. И, ничем не защищенный, стоит он посредине, словно на площади, по которой он так не любит ходить. Он обязан думать о деньгах, о том, чтобы они не пропали и их было больше, о жене, о фабрике и о множестве странных вещей. У него есть подчиненные, и необходимо давать приказания, а если они не послушаются и станут спорить, то кричать и топать ногами. Надо быть страшным для других и сильным, очень сильным,— и при этой мысли Андрей Николаевич чувствует, что все тело его, руки, ноги становятся мягкими, точно из них вынуты все мускулы и кости. Это чувство является у него всякий раз, когда ему приходится делать что-нибудь свое, непривычное и неприказанное.

В своей канцелярии он чувствует себя хорошо. Стол его, все один и тот же за пятнадцать лет,— крытый клеенкой стол притиснут в самый угол, и, когда проходит советник, он не видит Андрея Николаевича за другими чиновниками. Все же в эти минуты ему жутко, и лишь после того, как советник пройдет и согнутые спины распрямятся, словно колосья ржи после промчавшегося ветра, Андрей Николаевич сознает себя в полной безопасности. И только помощник секретаря, который берет у него переписанные бумаги и дает новые, знает, что существует на свете очень исполни-

тельный и скромный чиновник, пишущий «д» с большим росчерком и «р», похожее на скрипичный знак, и что зовут его Андреем Николаевичем, товарищи дразнят его Сусли-Мысли, а фамилия известна одному казначею. В свою очередь чиновник этот знает, что он будет делать завтра и всю жизнь и ничто новое и страшное не встретится на пути. Пять лет тому назад его назначили старшим чиновником — и что это за страшные были дни!

Надвинулась туча, и в комнатке Андрея Николаевича потемнело. Он смотрел в окно, как ветер пригибает к крыше ракиту, бессильную в своем трепетном сопротивлении, и старался думать о том, переломится ли дерево, или нет, и чувствуются ли ветер этот и туча в богатом доме. Но размышления шли вяло, и картина жизни в богатом доме оставалась тусклой. В созданной Андреем Николаевичем крепости, где он отсиживался от жизни, есть слабое место, и только он один знает ту потаенную калиточку, откуда неожиданно появляются неприятели. Он безопасен от вторжения людей, но до сих пор он ничего не мог поделать с мыслями. И они приходят, раздвигают стены, снимают потолок и бросают Андрея Николаевича под хмурое небо, на середину той бесконечной, открытой отовсюду площади, где он является как бы центром мироздания и где ему так нехорошо и жутко. Вот сейчас, когда он только что обрадовался неслышному движению времени, незаметно подкрались враги, и он уже не в силах бороться с ними. Стен уже нет, и нет его комнаты. Он опять стоит перед советником, чувствует, как обмякли его ноги и руки, и, словно привороженный, смотрит на сияющий блик его лысины. Так медленно проползает секунда, две. Подошвы совсем прилипли к полу, и сдвинуть Андрея Николаевича не могла бы дюжина лошадей.

— Ну, что еще?— замечает его советник, уже отдавший все необходимые приказания.

Голос его гремит, как труба на Страшном суде, и ноги Андрея Николаевича сейчас же сдвигаются, но не идут к двери, где спасение, а танцуют на одном месте. Язык, однако, еще не отклеился, и оторвать его можно только щипцами.

— Н-ну?— протянула труба.

— А... если Агапов к двум часам не перепишет?

— Да...— задумался начальник.— Ну, дайте тогда на дом. Что еще? Ясно?

— Ясно,— отвечает Андрей Николаевич в тон вопросу, резко и отрывисто. Он плохо понимает, что ему говорят, потому что новый и страшный вопрос возникает в его мозгу.

— Так... чего же вам еще?— рычит труба.

— А... если у него есть другая спешная работа?

Это была правда. У Агапова могла быть другая спешная работа, и советник об этом не подумал. Снова, с неудовольствием оторвавшись от бумаги, он обратил на Андрея Николаевича нетерпеливый взгляд и ничего не мог придумать.

— Ну, дайте кому-нибудь еще.

— А если...

— Что-с?— рванул советник. Глаза его стали огромные и круглые, как кегельные шары.

Андрей Николаевич обомлел от страха.

— Нет, нет, не то,— скороговоркой проговорил он и из невольного подражания закричал на начальника так же громко, как и тот на него,— похоже было на разговор людей, разделенных широким оврагом.— Я вам говорю, если мы на сегодняшнюю почту опоздаем, тогда что?

Остальное представляется Андрею Николаевичу в виде одного звука: ф-фа! Через неделю советник говорил секретарю:

— Откуда вы достали этого господина, который по горло заряжен всякими «если»? Все, что он предполагает, может случиться, хотя мне это и в голову не приходило. Но ведь и дом этот может провалиться!— вдруг рассердился он.— Ведь может?

— Казенной постройки,— пошутил секретарь и серьезно добавил:— Никак не полагал: он такой исполнительный...

— Дерзкий еще такой, кричит. Уберите его на старое место.

И Андрея Николаевича убрали, а у него целую еще неделю руки и ноги были мягкими, как у дешевой куклы, набитой отрубями.

На улице послышались гнусавые и резкие звуки гармоники. По противоположной стороне шли четверо пьяных, одетых в длиннополые сюртуки, высокие узкие сапоги и картузы, у которых поля были острые как ножи. Все четверо были молоды и шли с совершенно серьезными и даже печальными лицами. Один, высоко держа гармонику, наигрывал однообразный трескучий мотив, от которого в глазах желтело. Когда уличные ребятишки, подражая взрослым, играли в пьяных и, вместо гармоник, держали в руках чурки, они изображали этот мотив так:

— Ган-на-нидар, ган-на-нидар — ган-на-нидар, най-на.

Против красивого дома на мостовой было единственное, сравнительно сухое место на всей улице, и один из пьяных выделился вперед и стал плясать, пристукивая каблуками и изгибаясь всем телом. Лицо его, молодое, дерзкое, с небольшими светлыми усиками, осталось таким же серьезным и даже печальным, как будто давным-давно ему наскучило быть пьяным и плясать на грязной мостовой под этот трескучий, невеселый мотив. Остальные смотрели на него так же равнодушно и вяло, не выражая ни одобрения, ни порицания, и чем-то беспросветно-тоскливым веяло от этого странного веселья под хмурым осенним небом среди серых покосившихся домишек.

«Ванька Гусаренок!— подумал Андрей Николаевич.— Пляшет — значит, будет сегодня жену бить».

Когда пьяные прошли, уныло-задорные звуки гармоники стихли, из покосившегося домика с хлопающей ставней вышла женщина, жена Гусаренка, и остановилась на крылечке, глядя вслед за прошедшими. На ней была красная ситцевая блуза, запачканная сажей и лоснившаяся на том месте, где округло выступала молодая, почти девическая грудь. Ветер трепал грязное платье и обвивал его вокруг ног, обрисовывая их контуры, и вся она, с босых маленьких ножек до гордо повернутой головки, походила на античную статую, жестокой волей судьбы брошенную в грязь провинциального захолустья. Правильное, красивое лицо с крутым подбородком было бледно, и синие круги увеличивали и без того большие черные глаза. В них странно сочетались гнев и боязнь, тоска и презрение. Долго еще стояла на крылечке Наташа и так пристально смотрела вслед мужу, идущему из одного кабака в другой, точно всей своей силой воли хотела вернуть его обратно. Рука, которой она держалась за косяк двери, замерла; волосы от ветра шевелились на голове, а давно отвязавшаяся ставня упорно продолжала хлопать, с каждым разом повторяя: нет, нет, нет.

«Вот баба-то!— ужаснулся Андрей Николаевич, когда Наташа ушла, не бросив взгляда на окно, за которым он прятался.— И слава Богу, что я на ней не женился».

Андрей Николаевич даже рассмеялся от удовольствия, но оно было непродолжительно. Еще не разгладились морщинки, образовавшиеся от смеха, как в потаенную калиточку ворвались враги. Образ Наташи, еще не сошедший с сетчатки его глаза, вырос перед ним яркий и живой, а рядом выступила другая картинка, без всякого предупреждения, внезапно. Стены раздвинулись и исчезли, на него пах-

нуло полем и запахом скошенного сена. Над черным краем земли неподвижно висел багрово-красный диск луны, и все кругом было так загадочно, тихо и странно.

«Господи,— сказал Андрей Николаевич с мольбой,— разве мало того, что это было когда-то, нужно еще, чтобы оно постоянно являлось. Мне совсем этого не нужно, я не хочу этого».

Желтыми от табака пальцами он оторвал кусок толстой папиросной бумаги, похожей на оберточную, достал из жестянки щепотку мелкого табаку и свернул папироску, склеивая концы бумаги языком. За перегородкой, задыхаясь и сопя, храпел Федор Иванович. Обессиленный водкой и поисками двух копеек, он заснул и проснется только вечером, когда стемнеет. Воздух изнутри с силой поднимался к горлу спящего, бурлил, ища себе выхода, и с легким шипением выходил наружу, отравляя комнату запахом перегорелой водки. Проснувшись, Федор Иванович будет долго и мучительно кашлять выворачивающим все внутренности кашлем, выпьет квасу и потом водки, и снова начнутся мучения его жены. Так бывало каждый праздник. Андрею Николаевичу стало досадно на этого толстого, рыхлого человека, который всю неделю томится от жара у раскаленной печи, а в праздник задыхается от водки.

Он обратился к улице. Из-за разорванных туч выглянуло на миг солнце и скупым, желтым светом озарило мокрую и печальную улицу. Только противоположный дом стоял все таким же гордым и веселым, и окна его сияли. Но Андрей Николаевич не видел его. Он видел то, что было когда-то и что так упорно продолжало являться назло всем стенам и запорам.

Наташа никогда не была веселой, даже и в то время, когда она была еще девушкой, красивой и свободной, и любви ее добивались многие. При первой встрече с ней Андрей Николаевич испытал неприятное чувство стеснения и робости. Он с тревогой следил за ее резкими и неожиданными движениями, и ему казалось, что сейчас Наташа скажет или сделает что-нибудь такое, от чего всем присутствующим на вечеринке станет совестно. Вместе с другими девушками она пела песни, но не старалась кричать вместе с ними как можно выше и громче, а шла в одиночку с своим низким и несколько грубоватым контральто и как будто пела для одной себя. Когда Гусаренок, также бывший на этой вечеринке и, по обыкновению, несколько пьяный, игриво обнял ее за талию, она грубо оттолкнула его и, покраснев, сказала что-то, от чего его светлые усики запрыгали и глаза

стали жесткими и вызывающими. С дерзким смехом, не оборачиваясь, он показал пальцем на Андрея Николаевича,— Наташа молча повернула голову, и ее черные глаза устремились на него, не то спрашивая, не то приказывая сделать что-то сейчас, немедленно. И он хотел отвести от них свои глаза и не мог и испытывал то же состояние безволия, порабощения, как и в ту минуту, когда он глядел, не отрываясь, на блестящую лысину начальника. Лица Наташи видно не было, и только ее глаза, страшно большие и страшно черные, сверкали перед ним, как черные алмазы. И, все продолжая смотреть на него, Наташа поднялась с места, быстрой, уверенной походкой прошла комнату и села с ним рядом так просто и свободно, точно он звал ее, и заговорила, как старая знакомая.

— Мы вам попомним это, Наталья Антоновна,— сказал, проходя, Гусаренок.

На Андрея Николаевича он не взглянул, но в его вздрагивающих усиках чувствовалась угроза.

— Счастливо оставаться, век не расставаться,— проговорил Гусаренок, не получая от Наташи ответа, и вышел, залихватски заломив картуз.

Через секунду под окнами послышалась гармоника и высокий приятный тенор:

Она, моя милая,
Сердце мое вынула,
Сердце мое вынула,
В окно с сором кинула...

— Он вас побьет, вы берегитесь,— сказала Наташа.

— Не смеет, я чиновник,— возразил Андрей Николаевич и действительно нисколько не боялся. На него точно просветление какое нашло. Он не только отвечал на вопросы Наташи, но говорил и сам, и даже спрашивал ее, и не удивлялся, что говорит так складно и хорошо, как будто всю жизнь только этим делом и занимается. И, думая и говоря, он в то же время с особенной отчетливостью видел все окружающее: и грязный пол, усыпанный шелухой от подсолнухов, и хихикающих девушек, и небольшую прихотливую морщинку на низком лбу Наташи.

Но, как только Наташа отошла от него, им овладело чувство величайшего страха, что она снова подойдет и снова заговорит. И Гусаренка он стал бояться и долго находился в нерешимости, что ему делать: идти ли домой, чтобы спастись от Наташи, или оставаться здесь, пока Гусаренка не заберут в участок, о чем известно будет по свисткам.

Весь следующий день Андрей Николаевич томился страхом, что придет Наташа, и ноги его несколько раз обмякали при воспоминании о том, как он, Андрей Николаевич, был отчаянно смел вчера. Но, когда за перегородкой, у хозяйки, он услыхал низкий голос Наташи, он, подхваченный неведомой силой, сорвался с места и развязно вошел в комнату. Так во время сражения впереди батальона бежит молоденький солдатик, размахивает руками и кричит «ура!»... Подумаешь, что это самый храбрый из всех, а у него холодный пот льет по бледному лицу и сердце разрывается от ужаса. Но, едва Андрею Николаевичу метнулись в глаза два черных алмаза, страх тотчас пропал, и стало легко и спокойно.

Промчалось невидных два месяца, и вышло так, что Наташа и Андрей Николаевич любят друг друга. Это видно было из того, что он целовал Наташу и в щеки и в эти черные страшные глаза, щекотавшие губы своими ресницами. При этом Наташа подтверждала существование любви, говоря:

— Не нужно целовать в глаза,— примета нехорошая.

— Какая же такая примета?— смеялся Андрей Николаевич и чувствовал, насколько он, человек образованный, прошедший два класса реального училища, выше этой темной девушки, верящей во всякие приметы.

— Такая. Разлюбите меня, вот что.

Раз есть возможность разлюбить — значит, любовь существует. Но откуда же она взялась? И куда она девалась на то время, когда Андрей Николаевич не видел Наташи? Тогда девушка эта казалась ему совершенно чуждой и далекой от него, и в поцелуи ее так же трудно верилось, как если бы он стал думать о поцелуях той богатой барыни, что живет напротив. В самом слове «Наташа» звучало для него что-то странное, чужое, точно он до сих пор не слыхал этого имени и не встречал подобного сочетания звуков. Наташа... Он ничего не знал о Наташе и о ее прошлой жизни, о которой она не любила говорить.

— Жила, как и люди живут,— говорила она.— Вы лучше о себе расскажите.

Эта просьба всегда затрудняла Андрея Николаевича, потому что рассказывать было не о чем. Ему тридцать четыре года, а в памяти от этих лет нет ничего, так, серенький туман какой-то, да та особенная жуть, которая охватывает человека в тумане, когда перед самыми глазами стоит серая, непроницаемая стена. Был у него отец, маленький рыженький чиновник в больших калошах и с огромным сверт-

ком бумаг под мышкой; была мать, худая, длинная и рано умершая вместе со вторым ребенком. Потом, с шестнадцати лет, Андрей Николаевич стал также чиновником и ходил вместе с отцом на службу, и под мышкой у него был также большой сверток бумаг, а на ногах старые отцовские калоши. Отец умер от холеры, и он стал ходить на службу один. В молодости он очень любил играть на бильярде, играл на гитаре и ухаживал за барышнями. Пытался он тогда переменить свою участь, бросить казенную службу, но как-то все не удавалось. Раз уже ему обещали хорошее место, да пришел кто-то другой и сел на это место, так он ни при чем и остался. Да, может быть, это и к лучшему было, потому что тот, похититель, и года не просидел на своем месте, а он вот до сих пор — ничего, служит.

— И только?— спрашивала с недоверием Наташа.

— И только. Чего же еще?

— А я не так думала. Я думала, у вас другая жизнь, не так, как у нас. Книжки читаете и все говорите так тихо, благородно, и все о хорошем, чувствительном.

— Читал я и книжки, да что в них толку? Все выдумка одна.

— А божественное?

— Кто же теперь читает божественное? Купцы одни, как нахапают побольше, так божественное читают. А у нас и без того грехов мало.

— И не скучно вам так-то, все одному да одному?

— Чего же скучать? Сыт, одет, обут, у начальства на хорошем счету. Секретарь прямо говорит: примерный вы, говорит, чиновник, Андрей Николаевич. Кто губернатору доклады переписывает,— я небось!

— Да вам же скучно без людей?

— Да что в них, в людях? Свара одна да неприятности. Не так скажешь, не так сядешь. Один-то я сам себе господин, а с ними надо... А то пьянство, картеж, да еще начальству донесут, а я люблю, чтобы все было тихо, скромно. Тоже ведь не кто-нибудь я, а коллежский регистратор — вон какая птица, тебе и не выговорить. Другие вон и благодарность принимают, а я не могу. Еще попадешься грешным делом.

Но Наташа не удовлетворялась. Она хотела знать, как живут у них, у чиновников, жены, дочери и дети. Пьют ли мужья водку, а если пьют, то что делают пьяные и не бьют ли жен, и что делают последние, когда мужья бывают на службе. И по мере того как Андрей Николаевич рассказывал, лицо Наташи застывало, и только прихотливая мор-

щинка на низком лбу двигалась с выражением упорной мысли и тяжелого недоумения.

— Прощайте,— тихо говорила Наташа и уходила. А он, поцеловав ее холодную, неподвижную щеку, думал: «Чего ей надо? Только тоску на людей нагоняет».

Раз летом они долго сидели в хозяйском саду и потом вышли на берег. Солнце зашло в облаках, и только узкая багрово-красная полоска горела на горизонте, обещая назавтра ветер. Вода была неподвижна, и им сверху казалось, что они смотрят не в реку, а в небо. На том берегу на много верст тянулись бакши, и соломенный шалаш сторожа чуть белел на земле, казавшейся черной от контраста с светлым небом. Недалеко от шалаша горел костер, и пламя его поднималось вверх прямым и тонким лезвием, как от восковой свечи. Со стороны садов пахло лежалыми яблоками и свежескошенным сеном. На улице ударил в колотушку сторож, вышедший на ночное дежурство, и галки, облепившие высокие ракиты, зашумели листьями и подняли долгий, несмолкающий крик. И снова настала тишина.

— В каком ухе звенит?— спросила Наташа и наклонила голову, боясь потерять этот тоненький, звенящий голосок.

— В левом,— невнимательно ответил Андрей Николаевич и не угадал. Но он и не старался об этом,— тихий вечер расположил его к такой же тихой грусти и размышлениям о жизни. Следя прищуренными глазами за костром, он ощупью достал портсигар и закурил, и дым легкими колечками поднимался и таял в воздухе, полном прозрачной мглы. Не торопясь, прерывая себя долгими минутами молчания, Андрей Николаевич стал говорить о том, какая это и странная и ужасная вещь жизнь, в которой так много всего неожиданного и непонятного. Живут люди и умирают и не знают нынче о том, что завтра умрут. Шел чиновник в погребок за пивом, а на него сзади карета наехала и задавила, и вместо пива к ожидавшим приятелям принесли еще не остывший труп. Получил чиновник награду, пошла его жена Бога благодарить, а в церкви деньги у нее и вытащили. И куда ни сунься, всё люди грубые, шумные, смелые, так и прут вперед и все побольше захватить хотят. Жестокосердные, неумолимые, они идут напролом со свистом и гоготом и топчут других, слабых людей. Писк один несется от растоптанных, да никто и слышать его не желает. Туда им и дорога!

В голосе Андрея Николаевича звучал ужас, и весь он казался таким маленьким и придавленным. Спина согну-

лась, выставив острые лопатки, тонкие, худые пальцы, не знающие грубого труда, бессильно лежали на коленях. Точно все груды бумаг, переписанных на своем веку и им и его отцом, легли на него и давили своей многопудовой тяжестью.

— Так вот всю жизнь и проживешь,— сказал он после долгой паузы, продолжая какую-то свою мысль.

— Вы бы... ушли куда-нибудь.

— Куда идти-то?

Наташа помолчала и вдруг обхватила рукой шею Андрея Николаевича и прижала его головой к своей груди.

— Голубчик ты мой!

Первый раз говорила она Андрею Николаевичу «ты». При порывистом движении Наташи, фуражка с бархатным околышем свалилась с головы и теперь катилась вниз, подскакивая на неровностях обрыва. Твердая рука Наташи крепко прижимала голову Андрея Николаевича к упругой груди, и ему было тепло и ничего не страшно, только до боли жаль себя. Он хотел сказать что-нибудь сильное, хорошее и такое жалостливое, чтобы Наташа заплакала, но таких слов не находилось на его языке, и он молчал. Согнутой шее становилось больно от неудобного положения, и Андрей Николаевич попытался высвободить свою голову, но твердая рука только сильнее прижала ее к горячей груди. Вдыхая запах молодого, здорового тела, он скосил глаза и из-под руки Наташи увидел очистившееся и потемневшее небо со слабо мерцавшими звездами. Немного ниже, там, где черный край земли сливался с смутно-черным небом, неподвижно висел красный диск луны, казавшийся близким и страшным. Безмолвный, угрюмый, он не издавал лучей и висел над землей, как исполинская угроза каким-то близким, но неведомым бедствием. В немом ужасе застыли река, и болтливый тростник, и черная даль. Костер на том берегу давно уже потух, и ни один звук не нарушал грозной тишины.

Наташа вздрогнула и выпустила голову Андрея Николаевича.

— Ну, пойдемте.

Охваченный свежим воздухом, он поднялся и, сделав шаг к Наташе, приготовился сказать ей то важное и значительное, для чего у него не находилось слов.

— Наташа...— начал он нерешительно, приподняв брови и выпятив губы.

Гладко прилизанная голова его была на этот раз всклокочена, и редкие желтые волосики стояли, как у дикобраза.

— Ну?

— Наташа...— повторил он, забыв, что хотел сказать.— Наташа, дело вот в чем...

— Две копейки потеряли? Какой вы смешной!— И Наташа рассмеялась. Смеялась она неприятно, каким-то чужим и неестественным голосом.

Андрей Николаевич обиделся и молча достал фуражку, а дорогой домой выговаривал Наташе за ее смех и упрекал за неуменье держаться в приличном обществе.

Андрей Николаевич сидел у окна и настойчиво смотрел на улицу, но она была все так же безлюдна и хмура, и в покосившемся домике продолжала ударять о стену отвязавшаяся ставня, точно загоняя гвозди в чей-то свежий гроб. «Привязать не может!»— подумал Андрей Николаевич с гневом на Наташу и, взглянув на часы, убедился, что ему время обедать и даже прошло уже лишних пять минут. После обеда он лег отдохнуть, но сон долго не приходил, и вообще праздник был испорчен. А за перегородкой, точно назло, храпел Федор Иванович, и воздух бурлил в его горле и с шипением выходил наружу.

После вечера на берегу, на другой же день, начался разлад и был так же мало понятен, как и начало любви. У Андрея Николаевича давно уже явилась неприятная догадка и к этому времени перешла в уверенность: Наташа хочет выйти замуж, и именно за чиновника. Она женщина неграмотная, говорит: «теперича», «поемши»; она по ремеслу папиросница, и часто, когда она делает папиросы на дому, ей приходится терпеть наглые любезности и заигрывания. И вот она ищет мужа с положением, образованного, который мог бы быть ей покровителем и защитником, а таких на всей улице только один и есть — он, Андрей Николаевич Николаев. Как женщина умная и хитрая, она скрывает свои планы и делает вид, что любит бескорыстно. А так как до сих пор эта тактика ни к чему не привела и Андрей Николаевич оставался тверд, как гранит, Наташа начала прибегать к другому средству, которым опытного человека, в молодости ухаживавшего за барышнями, никак не проведешь: делает вид, что ни на грош не любит Андрея Николаевича, и нарочно расхваливает Гусаренка за его силу и молодечество. А этого Гусаренка на днях вели в участок; рубашка его была разорвана сверху донизу, и по белому, как мел, лицу текла красная струйка крови. Сзади бежали и улюлюкали мальчишки, а один из городовых, такой же бледный, как и Гусаренок, методически ударял его кулаком, и белая голова откачивалась. И такого-то она может полюбить!

Для Андрея Николаевича начались страшные терзания и появились вопросы, от которых он обмякал по нескольку раз в день. Когда он смотрел на Наташу и прикасался к ней, ему хотелось жениться, и эта женитьба казалась легкой, но в остальное время мысль о браке нагоняла страх. Он был человеком, который заболевает от перемены квартиры, а тут являлось столько нового, что он мог умереть. Идти к священнику, искать ша́феров, которые могут не явиться и тогда за ними надо ехать, а с извозчиком торговаться; потом идти или ехать в церковь, которая может быть заперта, а сторож потерял ключ, и народ смеется. А там нужно искать новую квартиру и переходить в нее, и все пойдет поновому. И обо всем необходимо думать, заботиться, говорить. А если дети пойдут? И притом, не дай Бог, двоешки, и все девочки, которым нужно приданое. А если новая квартира будет сырая и угарная? И Андрей Николаевич отчаянным жестом ворошил волосы и готов был завтра же сказать Наташе все, если бы не боязнь, что она убьет себя или пожалуется дикарю Гусаренку, и тот изувечит Андрея Николаевича или просто посмотрит на него так, что хуже всякого увечья. Люди, которые женятся, начали казаться Андрею Николаевичу героями, и он с уважением смотрел на Федора Ивановича и хозяйку, которые сумели жениться и остались живы. Раз даже он написал Наташе:

«Милостивая государыня,

Наталья Антониевна!

Сим письмом от 22 августа текущего года имею честь поставить вас, милостивая государыня, в известность о том, что по слабости здоровья, изможденного трудами и бдением на пользу престола и отечества, будучи чиновником тринадцатого класса и похоронив родителей, папеньку Николая Андреевича и маменьку Дарью Прохоровну, во блаженном успении вечный покой...»

Но так как Наташа была неграмотна, то он письма не послал, но несколько раз перебелял его для себя и прибавлял новые пункты. По счастью, никаких объяснений не понадобилось: Наташа перехитрила самое себя. Сперва не позволила себя целовать — Андрей Николаевич ни гугу. Потом раза два не пришла на свидание. Андрею Николаевичу было обидно, но он даже и виду не показал, а держался развязно, с достоинством, и только слегка дал ей понять о неприличии ее поведения. Потом совсем перестала ходить, и однажды хозяйка принесла радостную весть, что Наташа выходит замуж за Гусаренка.

— Этакого гуся выбрала!— негодовала хозяйка и сочувственно смотрела на Андрея Николаевича, думая: «Вишь, гордец какой: нарочно веселость из себя изображает». А чиновники, глупые люди, смотрели на него в этот день с изумлением; думали, что он женится, поздравляли его и говорили:

— Ай да Сусли-Мысли, какую штуку выкинул!

А он именно не женился!

На Красной горке была Наташина свадьба. Это был второй радостный день, когда Андрей Николаевич сидел, по обыкновению, у окна и видел, как трясется от топота пляшущих покосившийся домик, и слушал доносившийся оттуда веселый гомон и визг гармоники. Подумать только, что он мог быть центром этого буйного сборища! И с особенной радостью он услыхал, уже поздно ночью, как в покосившемся домике зазвенели разбиваемые стекла, понеслись дикие крики и визгливые женские вопли. Мимо его окна, громко топоча ногами, пробежал кто-то, и вслед за этим послышались звуки борьбы, тяжелое дыхание и падение тела.

— Стой, не уйдешь!— хрипел с натугой голос, чередуясь со шлепкими ударами по чему-то мягкому и мокрому. И чуть ли голос этот не принадлежал герою торжества — Гусаренку.

— Караул!

Точно проснувшись, испуганно затрещала колотушка сторожа, и ей завторил журчащий свисток городового Баргамота. Словно эхом ответили ему вдали другие свистки.

«Вот так первая ночь новобрачного — в участке»,— с злорадством усмехнулся Андрей Николаевич, не торопясь, с ленивым комфортом повернулся в своей одинокой и свободной кровати на другой бок и заключил так:

«Вы там себе деритесь, а я — засну!»

И это «засну», ехидное, шипящее, вырвалось из его груди, как крик победного торжества, и было последним гвоздем, который вбил он в крышку своего гроба. Улица продолжала шуметь, и Андрей Николаевич накрыл голову подушкой. Стало тихо, как в могиле.

На следующий день Андрей Николаевич узнал причину ссоры на свадьбе Наташи: Сергей Козюля, когда напился пьян, сказал, что Наташа имела любовника — Андрея Николаевича, который получил с нее, что нужно, и потом бросил ее. За эти слова Гусаренок побил Козюлю и других вступившихся за него, потом был побит сам и действительно ночевал в участке. Узнав все это, Андрей Николаевич

обрадовался, что его, в какой бы то ни было форме, но вспомнили и что Наташа будет теперь знать, как отказываться от любящего человека ради одного женского вероломства; к этому времени совсем как-то забылось, что не Наташа, а он, главным образом, хотел разрыва.

Андрей Николаевич ворочался на кровати и думал:

«Как нехорошо это устроено, что не может человек думать о том, о чем он хочет, а приходят к нему мысли ненужные, глупые и весьма досадные. Прошло четыре года с того вечера, как я сидел с Наташей на берегу, а я об этом вечере думаю, и мне неприятно, и особенно неприятно оттого, что я вполне явственно вижу красную луну. При чем здесь эта луна? А если бы я стал думать о том, сколько «барин» получает денег в год, потом в час и минуту, мне стало бы хорошо, и я бы заснул, но я не могу».

Но вскоре веки начали тяжелеть, и красная луна внезапно превратилась в красную рожу швейцара Егора. «В каком ухе звенит?»— спрашивает он, наклоняясь и нагло таращa выпуклые глаза. Андрей Николаевич хотел дать ему гривенник, но деньги не находились, и это доставляло особенное удовольствие Гусаренку, который сидел тут же, заложив ногу за ногу, и играл на гармонике. «Ты, Егор, подожди, мы лучше зарежем его, как поросенка»,— сказал он и вытащил из кармана большой, блестящий и острый, как бритва, нож. Андрей Николаевич бросился бежать. Ему нужно было пробежать все комнаты правления, и этих комнат было ужасно много, и все они были пусты, так как чиновники ушли и все столы вынесли. Хотя Андрею Николаевичу бежать было легко и ноги его скользили по полу, но он задыхался. А сзади, за несколько комнат, гнался, не отставая, Гусаренок, и шаги его, ровные, тяжелые, гулко отдавались под сводами. Внезапно пол под Андреем Николаевичем провалился, и он летел, все приближаясь к своей постели, и наконец проснулся на ней. Сердце билось сильно и неровно.

В комнатке было темно, и только неясно желтел четвероугольник окна, в которое падал свет от фонаря, стоявшего у богатого дома. На хозяйской половине также горел огонь, так как от узенькой щели в перегородке на пол ложилась светлая полоса, опоясывая кончик стоптанной туфли. Успокоившись от страшного сна, Андрей Николаевич услыхал за стеной тихий шепот и узнал голос хозяйки. В нем сквозило сострадание и боязнь, что ее услышит тот, о ком она говорила, хотя он был отделен от нее расстоянием улицы и толстыми стенами.

— Ах, кровопивец, ах, аспид!— шептала хозяйка.— Ушла бы ты от него совсем, ну его к ляду!

Наташа ответила, и ее низкий голос звучал громко и размеренно, и слабое трепетание в нем не было замечено ни хозяйкой, ни притихшим за перегородкой жильцом.

— Куда уйти-то?

«Ага, нашла коса на камень!— подумал Андрей Николаевич, вспоминая свой сон.— Он тебе спуску не даст, не то, что я».

— И вправду, куда идти?— с готовностью согласилась хозяйка.— Вот и мой тоже. Пропасти нет на эту водку.

Хозяйка оборвала речь, и в жутко молчащую комнату с двумя бледными женщинами как будто вползло что-то бесформенное, чудовищное и страшное, и повеяло безумием и смертью. И это страшное была водка, господствующая над бедными людьми, и не видно было границ ее ужасной власти.

— Отравлю его,— сказала Наташа так же громко и размеренно.

— Что ты, что ты!— забормотала хозяйка.— Не для себя терпишь, а для ребенка,— его-то куда денешь? Ты оставайся ночевать у нас, я тебе в кухне постелю, а то мой опять будет колобродить. А к глазу, на вот, ты пятак приложи — ишь ведь как изуродовал, разбойник... Постой, кажись, жилец проснулся...

— Это кикимора-то?— спросила Наташа громко, точно желая, чтоб ее слышали за перегородкой.

— И впрямь кикимора,— шепотом согласилась хозяйка.— Пойду самовар ставить и тебе в чайнике заварю. Ах, разбойник, что наделал-то!

«То Сусли-Мысли, то кикимора,— вот дурачье-то,— рассердился Андрей Николаевич.— Вот как пожалуюсь Федору Ивановичу, он тебе покажет кикимору. Дура полосатая!»

Он подошел к окну и открыл половинку. В комнату ворвался теплый ветер, пахнущий сыростью и гниющими листьями, и зашелестел бумагой на столе. Слышно стало, как скрипит дерево о железную крышу и шуршит мокрая зелень. К богатому дому подъезжали один за другим экипажи, и из них выходили мужчины в цилиндрах и дамы в широких ротондах и с белыми платками на головах. Подбирая шумящее платье, они входили на крыльцо. Массивная дверь широко распахивалась и выпускала на улицу столб белого света, зажигавшего блески на металлических частях экипажа и упряжи. Дом стоял безмолвный и тем-

ный, но чудилось, как сквозь тяжелые ставни, закрывающие высокие окна, сияют зеркальные стекла и вечно живые цветы радуются свету, движению и жизни. Несколько экипажей остались ждать господ, и кучера, раскормленные, важные, с презрением смотрели с высоты своих козел на темные покосившиеся домишки.

Напившись чаю и четким красивым почерком переписав казенную бумагу, Андрей Николаевич начал готовиться к новому сну, для чего перестлал постель и взбил подушки. За перегородкой Федор Иванович бурчал сокрушенно и раздумчиво:

— Дело вот в чем: двух копеек я так-таки и не разыскал.

— О, господи!..

Нужно было закрыть ставню, и Андрей Николаевич прошел на улицу. Экипажи еще стояли, и кучера грузными и сонными массами темнели на козлах. В большом доме глухо рокотали ритмические звуки рояля и минутами стихали, относимые порывом ветра. И этот же ветер приносил на крыльях своих новые звуки, явственно слышные, когда переставало скрипеть дерево. То были печальные и странные мелодические звуки, и не руками живых людей вызывались они в эту черную ночь. Легкие, как само дуновение ветра, они то нежно молили, и плакали, и умолкали с жалобным стоном, то, гневно ропчущие, поднимались к небу с угрозой и гневом. Словно чья-то страдающая душа молила о спасении и жизни и гневно роптала.

«Противная штука!»— рассердился Андрей Николаевич. В одном этом отношении он не разделял вкусов владельца большого дома, и, когда тот поставил на крышу арфу и ветер начал играть свои печальные песни, он никак не мог понять,— зачем нужны эти песни человеку с белыми зубами и яркой улыбкой?

«Ужасно противная штука!— повторил Андрей Николаевич и, понизив голос, добавил:— Чего только полиция смотрит».

С чувством человека, спасающегося от погони, он с силой захлопнул за собой дверь кухни и увидел Наташу, неподвижно сидевшую на широкой лавке, в ногах у своего сынишки, который по самое горло был укутан рваной шубкой, и только его большие и черные, как и у матери, глаза с беспокойством таращились на нее. Голова ее была опущена, и сквозь располосованную красную кофту белела высокая грудь, но Наташа точно не чувствовала стыда и не за-

крывала ее, хотя глаза ее были обращены прямо на вошедшего.

— Сколько лет, сколько зим!— проговорил Андрей Николаевич, бегая глазами по комнате и совершенно размякнув, точно из него вынули все мускулы и кости.— Как поживаете?

Наташа молчала и смотрела на него.

— Я ничего, слава Богу.

Наташа молчала. Андрей Николаевич хотел передать поклон супругу, к чему его обязывало чувство вежливости, но сейчас это было неудобно. Наташа, очевидно, нуждалась в утешении, и потому он сказал:

— Какой у вас хорошенький мальчик. Ваня, кажется? Иван Иванович, значит. У нас тоже есть чиновник, которого зовут Иван Иванович. И вообще, знаете ли, милые ссорятся, только тешатся, а перемелется, все мука будет.

Наташа молчала, а мальчик, смотря с недоверием на неловкую фигуру чиновника, затянул ноющим голосом:

— Мамка-а, боюсь.

— Убирайтесь вон!— сказала Андрею Николаевичу Наташа и, когда он быстро прошмыгнул, подбирая полы халата, добавила вслед:— Тоже лезет, кикимора!

«Почему именно кикимора?— размышлял Андрей Николаевич, располагаясь спать и опуская огонь в лампе.— Этакое глупое слово,— ничего не обозначает. И как непостоянны женщины: то милый, неоцененный, а то — кикимора! Да, с норовом баба, недаром учит ее Гусаренок. Спокойной ночи, маркиза Прю-Фрю».

Так развеселял он себя и иронически кривил бескровные губы. Но, лишь только мигнула в последний раз лампа и комната окунулась в густой мрак, невидимой силой раздвинуло стены, сорвало потолок и бросило Андрея Николаевича в чистое поле. Огненные, искрящиеся круги прорезывали темноту; светлые, веселые огоньки вспыхивали и плясали, и всюду, то далеко, то совсем надвигаясь на него, показывались и бледное лицо Гусаренка с красной полоской крови, и страшный диск месяца, и лицо Наташи, прежде милое лицо. Жалость к себе и обида охватили Андрея Николаевича.

«Как нехорошо все это устроено,— стонал он.— Не нужно мне Наташи, ну ее к черту, эту Наташу! Так и знайте — к черту!»

Энергичным жестом Андрей Николаевич надвинул на голову толстую подушку и почти сразу успокоился. И образы и звуки исчезли, и стало тихо, как в могиле.

С улицы проникал слабый свет фонаря. Экипажи еще стояли, и сонные кучера с презрением смотрели с высоты своих козел на низкие покосившиеся домишки и лениво зевали, двигая бородами. Непривязанная ставня продолжала хлопать, и в минуты, когда переставало скрипеть дерево, неслись жалобные звуки и роптали, и плакали, и молили о жизни.

8 июня 1899 г.

ВАЛЯ

Валя сидел и читал. Книга была очень большая, только наполовину меньше самого Вали, с очень черными и крупными строками и картинками во всю страницу. Чтобы видеть верхнюю строку, Валя должен был протягивать свою голову чуть ли не через весь стол, подниматься на стуле на колени и пухлым коротеньким пальцем придерживать буквы, которые очень легко терялись среди других похожих букв, и найти их потом стоило большого труда. Благодаря этим побочным обстоятельствам, не предусмотренным издателями, чтение подвигалось с солидною медленностью, несмотря на захватывающий интерес книги. В ней рассказывалось, как один очень сильный мальчик, которого звали Бовою, схватывал других мальчиков за ноги и за руки, и они от этого отрывались. Это было и страшно и смешно, и потому в пыхтении Вали, которым сопровождалось его путешествие по книге, слышалась нотка приятного страха и ожидания, что дальше будет еще интереснее. Но Вале неожиданно помешали читать: вошла мама с какою-то другою женщиной.

— Вот он!— сказала мама, глаза у которой краснели от слез, видимо недавних, так как в руках она мяла белый кружевной платок.

— Валечка, милый!— вскрикнула женщина и, обняв его голову, стала целовать лицо и глаза, крепко прижимая к ним свои худые, твердые губы. Она не так ласкала, как мама: у той поцелуи были мягкие, тающие, а эта точно присасывалась. Валя, хмурясь, молча принимал колючие ласки. Он был недоволен, что прервали его интересное чтение, и ему совсем не нравилась эта незнакомая женщина, высокая, с костлявыми пальцами, на которых не было ни одного кольца. И пахло от нее очень дурно: какою-то сыростью

и гнилью, тогда как от мамы всегда шел свежий запах духов. Наконец женщина оставила Валю в покое и, пока он вытирал губы, осмотрела его тем быстрым взглядом, который словно фотографирует человека. Его коротенький нос, но уже с признаками будущей горбинки, густые, недетские брови над черными глазами и общий вид строгой серьезности что-то напомнили ей, и она заплакала. И плакала она не так, как мама: лицо оставалось неподвижным, и только слезы быстро-быстро капали одна за другою — не успевала скатиться одна, как уже догоняла другая. Так же внезапно перестав плакать, как и начала, она спросила:

— Валечка, ты не знаешь меня?

— Нет.

— Я приходила к тебе. Два раза приходила. Помнишь?

Может быть, она и приходила, может быть, и два раза приходила,— но откуда Валя будет знать это? Да и не все ли равно, приходила эта незнакомая женщина или нет? Она только мешает читать со своими вопросами.

— Я твоя мама, Валя!— сказала женщина.

Валя с удивлением оглянулся на свою маму, но ее в комнате уже не было.

— Разве две мамы бывают?— спросил он.— Какие ты глупости говоришь!

Женщина засмеялась, но этот смех не понравился Вале: видно было, что женщина совсем не хочет смеяться и делает это так, нарочно, чтобы обмануть. Некоторое время оба молчали.

— Ты уже умеешь читать? Вот умница!

Валя молчал.

— А какую ты книгу читаешь?

— Про Бову-королевича,— сообщил Валя с серьезным достоинством и с очевидным чувством уважения к большой книге.

— Ах, это, должно быть, очень интересно! Расскажи мне, пожалуйста,— заискивающе улыбнулась женщина.

И снова что-то неестественное, фальшивое прозвучало в этом голосе, который старался быть мягким и круглым, как голос мамы, но оставался колючим и острым. Та же фальшь сквозила и в движениях женщины: она передвинулась на стуле и даже протянула вперед шею, точно приготовилась к долгому и внимательному слушанию: а когда Валя неохотно приступил к рассказу, она тотчас же ушла в себя и потемнела, как потайной фонарь, в котором внезапно задвинули крышку. Валя чувствовал обиду за себя

и за Бову, но, желая быть вежливым, наскоро проговорил конец сказки и добавил:

— Все.

— Ну, прощай, мой голубчик, мой дорогой!— сказала странная женщина и снова стала прижимать губы к Валиному лицу.— Скоро я опять приду. Ты будешь рад?

— Да, приходи, пожалуйста,— вежливо попросил Валя и, чтобы она скорее ушла, прибавил:— Я буду очень рад.

Посетительница ушла, но только что Валя успел разыскать в книге слово, на котором он остановился, как появилась мама, посмотрела на него и тоже стала плакать. О чем плакала женщина, было еще понятно: она, вероятно, жалела, что она такая неприятная и скучная,— но чего ради плакать маме?

— Послушай,— задумчиво сказал Валя,— как надоела мне эта женщина! Она говорит, что она моя мама. Разве бывают две мамы у одного мальчика?

— Нет, деточка, не бывает. Но она говорит правду: она твоя мама.

— А кто же ты?

— Я твоя тетя.

Это явилось неожиданным открытием, но Валя отнесся к нему с непоколебимым равнодушием: тетя так тетя — не все ли равно? Для него слово не имело такого значения, как для взрослых. Но бывшая мама не понимала этого и начала объяснять, почему так вышло, что она была мамой, а стала тетей. Давно, давно, когда Валя был совсем маленький...

— Какой маленький? Такой?— Валя поднял руку на четверть аршина от стола.

— Нет, меньше.

— Как киска?— радостно изумился Валя. Рот его полуоткрылся, брови поднялись кверху. Он намекал на беленького котенка, которого ему недавно подарили и который был так мал, что всеми четырьмя лапами помещался на блюдце.

— Да.

Валя счастливо рассмеялся, но тотчас же принял свой обычный суровый вид и со снисходительностью взрослого человека, вспоминающего ошибки молодости, заметил:

— Какой я был смешной!

Так вот, когда он был маленький и смешной, как киска, его принесла эта женщина и отдала, как киску, навсегда. А теперь, когда он стал такой большой и умный, она хочет взять его к себе.

— Ты хочешь к ней?— спросила бывшая мама и покраснела от радости, когда Валя решительно и строго произнес:

— Нет, она мне не нравится!— и снова принялся за книгу.

Валя считал инцидент исчерпанным, но ошибся. Эта странная женщина с лицом, таким безжизненным, словно из него выпили всю кровь, неизвестно откуда появившаяся и так же бесследно пропавшая, всколыхнула тихий дом и наполнила его глухой тревогою. Тетя-мама часто плакала и все спрашивала Валю, хочет ли он уйти от нее; дядя-папа ворчал, гладил свою лысину, отчего белые волоски на ней поднимались торчком, и, когда мамы не было в комнате, также расспрашивал Валю, не хочет ли он к той женщине. Однажды вечером, когда Валя уже лежал в кроватке, но еще не спал, дядя и тетя говорили о нем и о женщине. Дядя говорил сердитым басом, от которого незаметно дрожали хрустальные подвески в люстре и сверкали то синими, то красными огоньками.

— Ты, Настасья Филипповна, говоришь глупости. Мы не имеем права отдавать ребенка, для него самого не имеем права. Неизвестно еще, на какие средства живет эта особа с тех пор, как ее бросил этот... ну, да, черт его возьми, ты понимаешь, о ком я говорю? Даю голову на отсечение, что ребенок погибнет у нее.

— Она любит его, Гриша.

— А мы его не любим? Странно ты рассуждаешь, Настасья Филипповна,— похоже, что сама ты хочешь отделаться от ребенка...

— Как тебе не грешно!

— Ну, ну, уже обиделась. Ты обсуди этот вопрос хладнокровно, не горячась. Какая-нибудь кукушка, вертихвостка, наплодит ребят и с легким сердцем подбрасывает к вам. А потом пожалуйте: давайте мне моего ребенка, так как меня любовник бросил и я скучаю. На концерты да на театры у меня денег нету, так мне игрушку давайте! Нет-с, сударыня, мы еще поспорим!

— Ты не справедлив к ней, Гриша. Ведь ты знаешь, какая она больная, одинокая...

— Ты, Настасья Филипповна, и святого из терпения выведешь, ей-Богу! Ребенка-то ты забываешь? Тебе все равно, сделают ли из него честного человека или прохвоста? А я голову свою даю на отсечение, что из него сделают прохвоста, ракалью, вора и... прохвоста!

— Гриша!

— Христом-Богом прошу: не раздражай ты меня! И откуда у тебя эта дьявольская способность перечить? «Она такая одино-о-кая»,— а мы не одиноки? Бессердечная ты женщина, Настасья Филипповна, и черт дернул меня на тебе жениться! Тебе палача в мужья надо!

Бессердечная женщина заплакала, и муж попросил у нее прощения, объяснив, что только набитый дурак может обращать внимание на слова такого неисправимого осла, как он. Понемногу она успокоилась и спросила:

— А что говорит Талонский?

Григорий Аристархович снова вспылил.

— И откуда ты взяла, что он умный человек? Говорит, все будет зависеть от того, как суд посмотрит... Экая новость, подумаешь, без него и не знаем, что все зависит от того, как суд посмотрит. Конечно, ему что,— потявкал-потявкал, да и к сторонке. Нет, если бы на то моя воля, я бы всех этих пустобрехов...

Тут Настасья Филипповна закрыла дверь из столовой, и конца разговора Валя не слыхал. Но долго еще он лежал с открытыми глазами и все старался понять, что это за женщина, которая хочет взять его и погубить.

На следующий день он с утра ожидал, когда тетя спросит его, не хочет ли он к маме; но тетя не спросила. Не спросил и дядя. Вместо того оба они смотрели на Валю так, точно он очень сильно болен и скоро должен умереть, ласкали его и привозили большие книги с раскрашенными картинками. Женщина более не приходила; но Вале стало казаться, что она караулит его около дверей, и, как только он станет переходить порог, она схватит его и унесет в какую-то черную, страшную даль, где извиваются и дышат огнем злые чудовища. По вечерам, когда Григорий Аристархович занимался в кабинете, а Настасья Филипповна что-нибудь вязала или раскладывала пасьянс, Валя читал свои книги, в которых строки стали чаще и меньше. В комнате было тихо-тихо, только шелестели переворачиваемые листы да изредка доносился из кабинета басистый кашель дяди и сухое щелканье на счетах. Лампа с синим колпаком бросала яркий свет на пеструю бархатную скатерть стола, но углы высокой комнаты были полны тихого, таинственного мрака. Там стояли большие цветы с причудливыми листьями и корнями, вылезающими наружу и похожими на дерущихся змей, и чудилось, что между ними шевелится что-то большое, темное. Валя читал. Перед его расширенными глазами проходили страшные, красивые и печальные образы, вызывавшие жалость и любовь, но ча-

ще всего страх. Валя жалел бедную русалочку, которая так любила красивого принца, что пожертвовала для него и сестрами, и глубоким, спокойным океаном; а принц не знал про эту любовь, потому что русалка была немая, и женился на веселой принцессе; и был праздник, на корабле играла музыка, и окна его были освещены, когда русалочка бросилась в темные волны, чтобы умереть. Бедная, милая русалочка, такая тихая, печальная и кроткая. Но чаще являлись перед Валей злые, ужасные люди-чудовища. В темную ночь они летели куда-то на своих колючих крыльях, и воздух свистел над их головой, и глаза их горели, как красные угли. А там их окружали другие такие же чудовища, и тут творилось что-то таинственное, страшное. Острый, как нож, смех; продолжительные, жалобные вопли; кривые полеты, как у летучей мыши; странная, дикая пляска при багровом свете факелов, кутающих свои кривые огненные языки в красных облаках дыма; человеческая кровь и мертвые белые головы с черными бородами... Все это были проявления одной загадочной и безумно злой силы, желающей погубить человека, гневные и таинственные призраки. Они наполняли воздух, прятались между цветами, шептали о чем-то и указывали костлявыми пальцами на Валю; они выглядывали на него из дверей темной комнаты, хихикали и ждали, когда он ляжет спать, чтобы безмолвно реять над его головою; они засматривали из сада в черные окна и жалобно плакали вместе с ветром.

И все это злое, страшное принимало образ той женщины, которая приходила за Валей. Много людей являлось в дом Григория Аристарховича и уходило, и Валя не помнил их лиц, но это лицо жило в его памяти. Оно было такое длинное, худое, желтое, как у мертвой головы, и улыбалось хитрою, притворною улыбкою, от которой прорезывались две глубокие морщины по сторонам рта. Когда эта женщина возьмет Валю, он умрет.

— Слушай,— сказал раз Валя своей тете, отрываясь от книги.— Слушай,— повторил он с своей обычной серьезной основательностью и взглядом, смотревшим прямо в глаза тому, с кем он говорил,— я тебя буду называть мамой, а не тетей. Ты говоришь глупости, что та женщина — мама. Ты мама, а она нет.

— Почему?— вспыхнула Настасья Филипповна, как девочка, которую похвалили.

Но вместе с радостью в ее голосе слышался страх за Валю. Он стал такой странный, боязливый; боялся спать один, как прежде; по ночам бредил и плакал.

— Так. Я не могу этого рассказать. Ты лучше спроси у папы. Он тоже папа, а не дядя,— решительно ответил мальчик.

— Нет, Валечка, это правда: она твоя мама.

Валя подумал и ответил тоном Григория Аристарховича:

— Удивляюсь, откуда у тебя эта способность перечить!

Настасья Филипповна рассмеялась, но, ложась спать, долго говорила с мужем, который бунчал, как турецкий барабан, ругал пустобрехов и кукушек и потом вместе с женою ходил смотреть, как спит Валя. Они долго и молча всматривались в лицо спящего мальчика. Пламя свечи колыхалось в трясущейся руке Григория Аристарховича и придавало фантастическую, мертвую игру лицу ребенка, такому же белому, как те подушки, на которых оно покоилось. Казалось, что из темных впадин под бровями на них глядят черные глаза, прямые и строгие, требуют ответа и грозят бедою и неведомым горем, а губы кривятся в странную, ироническую усмешку. Точно на эту детскую голову легло смутное отражение тех злых и таинственных призраков-чудовищ, которые безмолвно реяли над нею.

— Валя!— испуганно шепнула Настасья Филипповна.

Мальчик глубоко вздохнул, но не пошевелился, словно окованный сном смерти.

— Валя! Валя!— к голосу Настасьи Филипповны присоединился густой и дрожащий голос мужа.

Валя открыл глаза, отененные густыми ресницами, моргнул от света и вскочил на колени, бледный и испуганный. Его обнаженные худые ручонки жемчужным ожерельем легли вокруг красной и полной шеи Настасьи Филипповны; пряча голову на ее груди, крепко жмуря глаза, точно боясь, что они откроются сами, помимо его воли, он шептал:

— Боюсь, мама, боюсь! Не уходи!

Это была плохая ночь. Когда Валя заснул, с Григорием Аристарховичем сделался припадок астмы. Он задыхался, и толстая, белая грудь судорожно поднималась и опускалась под ледяными компрессами. Только к утру он успокоился, и измученная Настасья Филипповна заснула с мыслью, что муж ее не переживет потери ребенка.

После семейного совета, на котором решено было, что Вале следует меньше читать и чаще видеться с другими детьми, к нему начали привозить мальчиков и девочек. Но Валя сразу не полюбил этих глупых детей, шумных, крикливых, неприличных. Они ломали цветы, рвали книги, прыгали по стульям и дрались, точно выпущенные из клетки маленькие обезьянки; а он, серьезный и задумчивый, смот-

рел на них с неприятным изумлением, шел к Настасье Филипповне и говорил:

— Как они мне надоели! Я лучше посижу около тебя.

А по вечерам он снова читал, и, когда Григорий Аристархович, бурча об этой чертовщине, от которой не дают опомниться ребятам, пытался ласково взять у него книгу, Валя молча, но решительно прижимал ее к себе. Импровизированный педагог смущенно отступал и сердито упрекал жену:

— Это называется воспитание! Нет, Настасья Филипповна, я вижу, тебе впору с котятами возиться, а не ребят воспитывать. До чего распустила, не можешь даже книги от мальчика взять. Нечего говорить, хороша наставница.

Однажды утром, когда Валя сидел с Настасьей Филипповной за завтраком, в столовую ворвался Григорий Аристархович. Шляпа его съехала на затылок, лицо было потно; еще из дверей он радостно закричал:

— Отказал! Суд отказал!

Брильянты в ушах Настасьи Филипповны засверкали, и ножик звякнул о тарелку.

— Ты правду говоришь?— спросила она, задыхаясь.

Григорий Аристархович сделал серьезное лицо, чтобы видно было, что он говорит правду, но сейчас же забыл о своем намерении, и лицо его покрылось целой сетью веселых морщинок. Потом снова спохватился, что ему недостает солидности, с которою сообщают такие крупные новости, нахмурился, подвинул к столу стул, положил на него шляпу и, видя, что место кем-то уже занято, взял другой стул. Усевшись, он строго посмотрел на Настасью Филипповну, потом на Валю, подмигнул Вале на жену и только после этого торжественного введения заявил:

— Я всегда говорил, что Талонский умница, которого на козе не объедешь. Нет, Настасья Филипповна, не объедешь, лучше и не пробуй.

— Следовательно, правда?

— Вечно ты с сомнениями. Сказано: в иске Акимовой отказать. Ловко, брат,— обратился он к Вале и добавил строго официальным тоном, ударяя на букву «о»:— И возложить на нее судебные и за ведение дела издержки.

— Эта женщина не возьмет меня?

— Дудки, брат! Ах, забыл: я тебе книг привез!

Григорий Аристархович бросился в переднюю, но его остановил крик Настасьи Филипповны: Валя в обмороке откинул побледневшую голову на спинку стула.

Наступило счастливое время. Словно выздоровел тяжелый больной, находившийся где-то в этом доме, и всем стало дышаться легко и свободно. Валя покончил свои сношения с чертовщиной, и когда к нему наезжали маленькие обезьянки, он был среди них самый изобретательный. Но и в фантастические игры он вносил свою обычную серьезность и основательность, и, когда шла игра в индейцы, он считал необходимым раздеться почти донага и с ног до головы измазаться краскою. Ввиду делового характера, приданного игре, Григорий Аристархович счел для себя возможным принять в ней посильное участие. В качестве медведя он проявил лишь посредственные способности, но зато пользовался большим и вполне заслуженным успехом в роли индейского слона. И когда Валя, молчаливый и строгий, как истый сын богини Кали, сидел у отца на плечах и постукивал молоточком по его розовой лысине, он действительно напоминал собою маленького восточного князька, деспотически царящего над людьми и животными.

Талонский пробовал намекать Григорию Аристарховичу о судебной палате, которая может не согласиться с решением суда, но тот не мог понять, как трое судей могут не согласиться с тем, что решили трое таких же судей, когда законы одни и там и здесь. Когда же адвокат настаивал, Григорий Аристархович начинал сердиться и в качестве неопровержимого довода выдвигал самого же Талонского:

— Ведь вы же будете и в палате? Так о чем толковать,— не понимаю. Настасья Филипповна, хотя бы ты усовестила его.

Талонский улыбался, а Настасья Филипповна мягко выговаривала ему за его напрасные сомнения. Говорили иногда и о той женщине, на которую возложили судебные издержки, и всякий раз прилагали к ней эпитет «бедная». С тех пор как эта женщина лишилась власти взять Валю к себе, она потеряла в его глазах ореол таинственного страха, который, словно мгла, окутывал ее и искажал черты худого лица, и Валя стал думать о ней, как и о других людях. Он слыхал частое повторение того, что она несчастна, и не мог понять почему; но это бледное лицо, из которого выпили всю кровь, становилось проще, естественнее и ближе. «Бедная женщина», как ее называли, стала интересовать его, и, вспоминая других бедных женщин, о которых ему приходилось читать, он испытывал чувство жалости и робкой нежности. Ему представлялось, что она должна сидеть одна в какой-нибудь темной комнате, бояться и все плакать,

все плакать, как плакала она тогда. Напрасно он тогда так плохо рассказал ей про Бову-королевича.

...Оказалось, что трое судей могут не согласиться с тем, что решили трое таких же судей: палата отменила решение окружного суда, и ребенок был присужден его матери по крови. Сенат оставил кассационную жалобу без последствий.

Когда эта женщина пришла, чтобы взять Валю, Григория Аристарховича не было дома; он находился у Талонского и лежал в его спальне, и только его розовая лысина выделялась из белого моря подушек. Настасья Филипповна не вышла из своей комнаты, и горничная вывела оттуда Валю уже одетым для пути. На нем было меховое пальтецо и высокие калоши, в которых он с трудом передвигал ноги. Из-под барашковой шапочки выглядывало бледное лицо с прямым и серьезным взглядом. Под мышкою Валя держал книгу, в которой рассказывалось о бедной русалочке.

Высокая, костлявая женщина прижала его лицо к драповому подержанному пальто и всхлипнула.

— Как ты вырос, Валечка! Тебя не узнаешь,— пробовала она шутить; но Валя молча поправил сбившуюся шапочку и, вопреки своему обычаю, смотрел не в глаза той, которая отныне становилась его матерью, а на ее рот. Он был большой, но с красивыми мелкими зубами; две морщинки по сторонам оставались на своем месте, где их видел Валя и раньше, только стали глубже.

— Ты не сердишься на меня?— спросила мама, но Валя, не отвечая на вопрос, сказал:

— Ну, пойдем.

— Валечка!— донесся жалобный крик из комнаты Настасьи Филипповны. Она показалась на пороге с глазами, опухшими от слез, и, всплеснув руками, бросилась к мальчику, встала на колени и замерла, положив голову на его плечо,— только дрожали и переливались бриллианты в ее ушах.

— Пойдем, Валя,— сурово сказала высокая женщина, беря его за руку.— Нам не место среди людей, которые подвергли твою мать такой пытке... такой пытке!

В ее сухом голосе звучала ненависть, и ей хотелось ударить ногою стоявшую на коленях женщину.

— У, бессердечные! Рады отнять последнего ребенка!..— произнесла она злым шепотом и рванула Валю за руку:— Идем! Не будь, как твой отец, который бросил меня.

— Бе-ре-гите его!— сказала Настасья Филипповна.

Извозчичьи сани мягко стукали по ухабам и бесшумно уносили Валю от тихого дома с его чудными цветами, таинственным миром сказок, безбрежным и глубоким, как море, и темным окном, в стекла которого ласково царапались ветви деревьев. Скоро дом потерялся в массе других домов, похожих друг на друга, как буквы, и навсегда исчез для Вали. Ему казалось, что они плывут по реке, берега которой составляют светящиеся линии фонарей, таких близких друг к другу, словно бусы на одной нитке, но, когда они подъезжали ближе, бусы рассыпались, образуя большие темные промежутки, сзади сливаясь в такую же светящуюся линию. И тогда Валя думал, что они неподвижно стоят на одном месте; и все начинало становиться для него сказкою: и сам он, и высокая женщина, прижимавшая его к себе костлявою рукою, и все кругом.

У него замерзла рука, в которой он держал книгу, но он не хотел просить мать, чтобы она взяла ее.

В маленькой комнате, куда привезли Валю, было грязно и жарко. В углу, против большой кровати, стояла под пологом маленькая кроватка, такая, в каких Валя давно уже не спал.

— Замерз! Ну, погоди, сейчас будем чай пить. Ишь руки-то какие красные! Вот ты и с мамой. Ты рад?— спрашивала мать все с тою же насильственною, нехорошею улыбкою человека, которого всю жизнь принуждали смеяться под палочными ударами.

Валя, пугаясь своей прямоты, нерешительно ответил:

— Нет.

— Нет? А я тебе игрушек купила. Вот, посмотри, на окне.

Валя подошел к окну и начал рассматривать игрушки. Это были жалкие картонные лошадки на прямых, толстых ногах, петрушка в красном колпаке с носатой, глупо ухмыляющейся физиономией и тонкие оловянные солдатики, поднявшие одну ногу и навеки замершие в этой позе. Валя давно уже не играл в игрушки и не любил их, но из вежливости он не показал этого матери.

— Да, хорошие игрушки.

Но она заметила взгляд, который бросил Валя на окно, и сказала с тою же неприятною, заискивающей улыбкой:

— Я не знала, голубчик, что ты любишь. И я уже давно купила эти игрушки.

Валя молчал, не зная, что ответить.

— Ведь я одна, Валечка, одна во всем мире, мне не с кем посоветоваться. Я думала, что они тебе понравятся.

Валя молчал. Внезапно лицо женщины растянулось, слезы быстро-быстро закапали одна за другой, и, точно потеряв под собою землю, она рухнула на кровать, жалобно скрипнувшую под ее телом. Из-под платья выставилась нога в большом башмаке с порыжевшей резинкой и длинными ушками. Прижимая руку к груди, другой сжимая виски, женщина смотрела куда-то сквозь стену своими бледными, выцветшими глазами и шептала:

— Не понравились!.. Не понравились!..

Валя решительно подошел к кровати, положил свою красную ручку на большую, костлявую голову матери и сказал с тою серьезною основательностью, которая отличала все речи этого человека:

— Не плачь, мама! Я буду очень любить тебя. В игрушки играть мне не хочется, но я буду очень любить тебя. Хочешь, я прочту тебе о бедной русалочке?..

14 сентября 1899 г.

ДРУГ

Когда поздней ночью он звонил у своих дверей, первым звуком после колокольчика был звонкий собачий лай, в котором слышались и боязнь чужого и радость, что это идет свой. Потом доносилось шлепанье калош и скрип снимаемого крючка.

Он входил и раздевался в темноте, чувствуя недалеко от себя молчаливую женскую фигуру. А колена его ласково царапали когти собаки, и горячий язык лизал застывшую руку.

— Ну, что?— спрашивал заспанный голос тоном официального участия.

— Ничего. Устал,— коротко отвечал Владимир Михайлович и шел в свою комнату.

За ним, стуча когтями по вощеному полу, шла собака и вспрыгивала на кровать. Когда свет зажженной лампы наполнял комнату, взор Владимира Михайловича встречал упорный взгляд черных глаз собаки. Они говорили: приди же, приласкай меня. И, чтобы сделать это желание более понятным, собака вытягивала передние лапы, клала на них боком голову, а зад ее потешно поднимался, и хвост вертелся, как ручка у шарманки.

— Друг ты мой единственный!— говорил Владимир Михайлович и гладил черную блестящую шерсть. Точно от

полноты чувства, собака опрокидывалась на спину, скалила белые зубы и легонько ворчала, радостная и возбужденная. А он вздыхал, ласкал ее и думал, что нет больше на свете никого, кто любил бы его.

Если Владимир Михайлович возвращался рано и не уставал от работы, он садился писать, и тогда собака укладывалась комочком где-нибудь на стуле возле него, изредка открывала один черный глаз и спросонья виляла хвостом. И когда, взволнованный процессом творчества, измученный муками своих героев, задыхающийся от наплыва мыслей и образов, он ходил по комнате и курил папиросу за папиросой, она следила за ним беспокойным взглядом и сильнее виляла хвостом.

— Будем мы с тобой знамениты, Васюк?— спрашивал он собаку, и та утвердительно махала хвостом.

— Будем тогда печенку есть, ладно?

«Ладно»,— отвечала собака и сладко потягивалась: она любила печенку.

У Владимира Михайловича часто собирались гости. Тогда его тетка, с которой он жил, добывала у соседей посуду, поила чаем, ставя самовар за самоваром, ходила покупать водку и колбасу и тяжело вздыхала, доставая со дна кармана засаленный рубль. В накуренной комнате звучали громкие голоса. Спорили, смеялись, говорили смешные и острые вещи, жаловались на свою судьбу и завидовали друг другу; советовали Владимиру Михайловичу бросить литературу и заняться другим, более выгодным делом. Одни говорили, что ему нужно лечиться, другие чокались с ним рюмками и говорили о вреде водки для его здоровья. Он такой больной, постоянно нервничающий. Оттого у него припадки тоски, оттого он ищет в жизни невозможного. Все говорили с ним на «ты», и в голосе их звучало участье, и они дружески звали его с собой ехать за город продолжать попойку. И когда он, веселый, кричащий больше всех и беспричинно смеющийся, уезжал, его провожали две пары глаз: серые глаза тетки, сердитые и упрекающие, и черные, беспокойно ласковые глаза собаки.

Он не помнил, что он делал, когда пил и когда к утру возвращался домой, выпачканный в грязи и мелу и потерявший шляпу. Передавали ему, что во время попойки он оскорблял друзей, а дома обижал тетку, которая плакала и говорила, что не выдержит такой жизни и удавится, и мучил собаку за то, что она не идет к нему ласкаться. Когда же она, испуганная и дрожащая, скалила зубы, то бил ее ремнем. Наступал следующий день; все уже кончали свою

дневную работу, а он просыпался, больной и страдающий. Сердце неровно колотилось в груди и замирало, наполняя его страхом близкой смерти, руки дрожали. За стеной, в кухне, стучала тетка, и звук ее шагов разносился по пустой и холодной квартире. Она не заговаривала с Владимиром Михайловичем и молча подавала ему воду, суровая, непрощающая. И он молчал, смотрел на потолок в одно давно им замеченное пятнышко и думал, что он сжигает свою жизнь, и никогда у него не будет ни славы, ни счастья. Он сознавал себя ничтожным, и слабым, и одиноким до ужаса. Бесконечный мир кишел движущимися людьми, и не было ни одного человека, который пришел бы к нему и разделил его муки, безумно-горделивые помыслы о славе и убийственное сознание ничтожества. Дрожащей, ошибающейся рукой он хватался за холодный лоб и сжимал веки, но, как ни крепко он их сжимал, слеза просачивалась и скользила по щеке, еще сохранившей запах продажных поцелуев. А когда он опускал руку, она падала на другой лоб, шерстистый и гладкий, и затуманенный слезой взгляд встречал черные, ласковые глаза собаки, и ухо ловило ее тихие вздохи. И он шептал, тронутый, утешенный:

— Друг, друг мой единственный!..

Когда он выздоравливал, к нему приходили друзья и мягко упрекали его, давали советы и говорили о вреде водки. А те из друзей, кого он оскорбил пьяный, переставали кланяться ему. Они понимали, что он не хотел им зла, но они не желали натыкаться на неприятность. Так, в борьбе с самим собой, неизвестностью и одиночеством, протекали угарные, чадные ночи и строго карающие светлые дни. И часто в пустой квартире гулко отдавались шаги тетки, и на кровати слышался шепот, похожий на вздох:

— Друг, друг мой единственный!..

И наконец она пришла, эта неуловимая слава, пришла, нежданная-негаданная, и наполнила светом и жизнью пустую квартиру. Шаги тетки тонули в топоте дружеских ног, призрак одиночества исчез, и замолк тихий шепот. Исчезла и водка, этот зловещий спутник одиноких, и Владимир Михайлович более не оскорблял ни тетки, ни друзей. Радовалась и собака. Еще звончее стал ее лай при поздних встречах, когда он, ее единственный друг, приходил добрый, веселый, смеющийся, и она сама научилась смеяться; верхняя губа ее приподнималась, обнажая белые зубы, и потешными складками морщился нос. Веселая, шаловливая, она начинала играть, хватала его вещи и делала вид, что хочет унести их, а когда он протягивал руки, чтобы поймать

ее, подпускала его на шаг и снова убегала, и черные глаза ее искрились лукавством. Иногда он показывал собаке на тетку и кричал: «куси», и собака с притворным гневом набрасывалась на нее, тормошила ее юбку и, задыхаясь, косилась черным лукавым глазом на друга. Тонкие губы тетки кривились в суровую улыбку, она гладила заигравшуюся собаку по блестящей голове и говорила:

— Умная собака, только вот супу не любит.

А по ночам, когда Владимир Михайлович работал и только дребезжание стекол от уличной езды нарушало тишину, собака чутко дремала возле него и пробуждалась при малейшем его движении.

— Что, брат, печенки хочешь?— спрашивал он.

— Хочу,— утвердительно вилял хвостом Васюк.

— Ну, погоди, куплю. Что, хочешь, чтобы приласкал? Некогда, брат, некогда. Спи.

Каждую ночь спрашивал он собаку о печенке, но постоянно забывал купить ее, так как голова его была полна планами новых творений и мыслями о женщине, которую он полюбил. Раз только вспомнил он о печенке; это было вечером, и он проходил мимо мясной лавки, а под руку с ним шла красивая женщина и плотно прижимала свой локоть к его локтю. Он шутливо рассказал ей о своей собаке, хвалил ее ум и понятливость. Немного рисуясь, он передал о том, что были ужасные, тяжелые минуты, когда он считал собаку единственным своим другом, и, шутя, рассказал о своем обещании купить другу печенки, когда будет счастлив... Он плотнее прижал к себе руку девушки.

— Художник!— смеясь, воскликнула она.— Вы даже камни заставите говорить; а я очень не люблю собак: от них так легко заразиться.

Владимир Михайлович согласился, что от собаки легко можно заразиться, и промолчал о том, что он иногда целовал блестящую черную морду.

Однажды днем Васюк играл больше обыкновенного, а вечером, когда Владимир Михайлович пришел домой, не явился встречать его, и тетка сказала, что собака больна. Владимир Михайлович встревожился и пошел в кухню, где на тоненькой подстилке лежала собака. Нос ее был сухой и горячий, и глаза помутнели. Она пошевелила хвостом и печально посмотрела на друга.

— Что, мальчик, болен? Бедный ты мой!

Хвост слабо шевельнулся, и черные глаза стали влажными.

— Ну, лежи, лежи.

«Надо бы к ветеринару отвезти, а мне завтра некогда. Ну, да так пройдет»,— думал Владимир Михайлович и забыл о собаке, мечтая о том счастье, какое может дать ему красивая девушка. Весь следующий день его не было дома, а когда он вернулся, рука его долго шарила, ища звонка, а найдя, долго недоумевала, что делать с этой деревяшкой.

— Ах да, нужно же позвонить,— засмеялся он и запел:— отворите!

Одиноко звякнул колокольчик, зашлепали калоши, и скрипнул снимаемый крючок. Напевая, Владимир Михайлович прошел в комнату, долго ходил, прежде чем догадался, что ему нужно зажечь лампу, потом разделся, но еще долго держал в руках снятый сапог и смотрел на него так, как будто это была красивая девушка, которая сегодня сказала так просто и сердечно: да, я люблю вас. И, улегшись, он все продолжал видеть ее живое лицо, пока рядом с ним не встала черная, блестящая морда собаки, и острой болью кольнул в сердце вопрос: а где же Васюк? Стало совестно, что он забыл больную собаку, но не особенно: ведь не раз Васюк бывал болен, и ничего же. А завтра можно пригласить ветеринара. Но, во всяком случае, не нужно думать о собаке и о своей неблагодарности — это ничему не помогает и уменьшает счастье.

С утра собаке стало худо. Ее мучила рвота, и, воспитанная в правилах строгого приличия, она тяжело поднималась с подстилки и шла на двор, шатаясь, как пьяная. Ее маленькое черное тело лоснилось, как всегда, но голова была бессильно опущена, и посеревшие глаза смотрели печально и удивленно. Сперва Владимир Михайлович сам вместе с теткой раскрывал собаке рот с пожелтевшими деснами и вливал лекарство, но она так мучилась, так страдала, что ему стало тяжело смотреть на нее, и он оставил ее на попечение тетки. Когда же из-за стены доходил до него слабый, беспомощный стон, он закрывал уши руками и удивлялся, до чего он любил эту бедную собаку.

Вечером он ушел. Когда перед тем он заглянул в кухню, тетка стояла на коленях и гладила сухой рукой шелковистую, горячую голову. Вытянув ноги, как палки, собака лежала тяжелой и неподвижной, и, только наклонившись к самой ее морде, можно было услышать тихие и частые стоны. Глаза ее, совсем посеревшие, устремились на вошедшего, и, когда он осторожно провел по лбу, стоны сделались явственнее и жалобнее.

— Что, брат, плохо дело? Ну, погоди, выздоровеешь, печенки куплю.

— Суп есть заставлю,— шутливо пригрозила тетка.

Собака закрыла глаза, и Владимир Михайлович, ободренный шуткой, торопливо ушел и на улице нанял извозчика, так как боялся опоздать на свидание с Натальей Лаврентьевной.

В эту осеннюю ночь так свеж и чист был воздух, так много звезд сверкало на темном небе. Они падали, оставляя огнистый след, и вспыхивали, и голубым светом озаряли красивое женское лицо, и отражались в темных глазах — точно светляк появлялся на дне черного глубокого колодца. И жадные губы беззвучно целовали и глаза эти, и свежие, как воздух ночи, уста, и холодную щеку. Ликующие, дрожащие любовью голоса, сплетаясь, шептали о радости и жизни.

Подъезжая к дому, Владимир Михайлович вспомнил о собаке, и грудь его заныла от темного предчувствия. Когда тетка отворила дверь, он спросил:

— Ну, что Васюк?

— Околел. Через час после твоего ухода.

Околевшую собаку уже вынесли и выбросили куда-то, и подстилка была убрана. Но Владимир Михайлович и не хотел видеть трупа: это было бы слишком тяжелое зрелище. Когда он улегся спать и в пустой квартире замолкли все звуки, он заплакал, сдерживая себя. Безмолвно кривились его губы, и слезы набухали под закрытыми веками и быстро скатывались на грудь. Ему было стыдно, что он целовал женщину в тот миг, когда здесь, на полу, одиноко умирал тот, кто был его другом. И он боялся, что подумает тетка о нем, серьезном человеке, услышав, что он плачет о собаке.

С тех пор прошло много времени. Слава ушла от Владимира Михайловича так же, как и пришла — загадочная и жестокая. Он обманул надежды, которые возлагали на него, и все были злы на этот обман и выместили его негодующими речами и холодными насмешками. А потом, точно крышка гроба, опустилось на него мертвое, тяжелое забвение.

Женщина покинула его: она также считала себя обманутой.

Проходили угарные, чадные ночи и беспощадно карающие белые дни, и часто, чаще, чем прежде, гулко раздавались в пустой квартире шаги тетки, а он лежал на своей кровати, смотрел в знакомое пятнышко на потолке и шептал:

— Друг, друг мой единственный...

И бессильно падала на пустое место дрожащая рука.

ПЕТЬКА НА ДАЧЕ

Осип Абрамович, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простынку, заткнул ее пальцами за ворот и крикнул отрывисто и резко:

— Мальчик, воды!

Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физиономию с тою обостренною внимательностью и интересом, какие являются только в парикмахерской, замечал, что у него на подбородке прибавился еще один угорь, и с неудовольствием отводил глаза, попадавшие прямо на худую, маленькую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась к подзеркальнику и ставила жестянку с горячей водой. Когда он поднимал глаза выше, то видел отражение парикмахера, странное и как будто косое, и подмечал быстрый и грозный взгляд, который тот бросал вниз на чью-то голову, и безмолвное движение его губ от неслышного, но выразительного шепота. Если его брил не сам хозяин Осип Абрамович, а кто-нибудь из подмастерьев, Прокопий или Михайла, то шепот становился громким и принимал форму неопределенной угрозы:

— Вот погоди!

Это значило, что мальчик недостаточно быстро подал воду и его ждет наказание. «Так их и следует»,— думал посетитель, кривя голову набок и созерцая у самого своего носа большую потную руку, у которой три пальца были оттопырены, а два другие, липкие и пахучие, нежно прикасались к щеке и подбородку, пока туповатая бритва с неприятным скрипом снимала мыльную пену и жесткую щетину бороды.

В этой парикмахерской, пропитанной скучным запахом дешевых духов, полной надоедливых мух и грязи, посетитель был нетребовательный: швейцары, приказчики, иногда мелкие служащие или рабочие, часто аляповато-красивые, но подозрительные молодцы, с румяными щеками, тоненькими усиками и наглыми маслянистыми глазками. Невдалеке находился квартал, заполненный домами дешевого разврата. Они господствовали над этою местностью и придавали ей особый характер чего-то грязного, беспорядочного и тревожного.

Мальчик, на которого чаще всего кричали, назывался Петькой и был самым маленьким из всех служащих в заведении. Другой мальчик, Николка, насчитывал от роду тремя годами больше и скоро должен был перейти в подмастерья. Уже и теперь, когда в парикмахерскую заглядывал посети-

тель попроще, а подмастерья, в отсутствие хозяина, ленились работать, они посылали Николку стричь и смеялись, что ему приходится подниматься на цыпочки, чтобы видеть волосатый затылок дюжего дворника. Иногда посетитель обижался за испорченные волосы и поднимал крик, тогда и подмастерья кричали на Николку, но не всерьез, а только для удовольствия окорначенного простака. Но такие случаи бывали редко, и Николка важничал и держался, как большой: курил папиросы, сплевывал через зубы, ругался скверными словами и даже хвастался Петьке, что пил водку, но, вероятно, врал. Вместе с подмастерьями он бегал на соседнюю улицу посмотреть на крупную драку, и когда возвращался оттуда, счастливый и смеющийся, Осип Абрамович давал ему две пощечины: по одной на каждую щеку.

Петьке было десять лет; он не курил, не пил водки и не ругался, хотя знал очень много скверных слов, и во всех этих отношениях завидовал товарищу. Когда не было посетителей и Прокопий, проводивший где-то бессонные ночи и днем спотыкавшийся от желания спать, приваливался в темном углу за перегородкой, а Михайла читал «Московский листок» и среди описания краж и грабежей искал знакомого имени кого-нибудь из обычных посетителей,— Петька и Николка беседовали. Последний всегда становился добрее, оставаясь вдвоем, и объяснял «мальчику», что значит стричь под польку, бобриком или с пробором.

Иногда они садились на окно, рядом с восковым бюстом женщины, у которой были розовые щеки, стеклянные удивленные глаза и редкие прямые ресницы,— и смотрели на бульвар, где жизнь начиналась с раннего утра. Деревья бульвара, серые от пыли, неподвижно млели под горячим, безжалостным солнцем и давали такую же серую, неохлаждающую тень. На всех скамейках сидели мужчины и женщины, грязно и странно одетые, без платков и шапок, как будто они тут и жили и у них не было другого дома. Были лица равнодушные, злые или распущенные, но на всех на них лежала печать крайнего утомления и пренебрежения к окружающему. Часто чья-нибудь лохматая голова бессильно клонилась на плечо, и тело невольно искало простора для сна, как у третьеклассного пассажира, проехавшего тысячи верст без отдыха, но лечь было негде. По дорожкам расхаживал с палкой ярко-синий сторож и смотрел, чтобы кто-нибудь не развалился на скамейке или не бросился на траву, порыжевшую от солнца, но такую мягкую, такую прохладную. Женщины, всегда одетые более чисто, даже с намеком на моду, были все как будто на одно лицо и од-

ного возраста, хотя иногда попадались совсем старые или молоденькие, почти дети. Все они говорили хриплыми, резкими голосами, бранились, обнимали мужчин так просто, как будто были на бульваре совсем одни, иногда тут же пили водку и закусывали. Случалось, пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину; она падала, поднималась и снова падала; но никто не вступался за нее. Зубы весело скалились, лица становились осмысленнее и живее, около дерущихся собиралась толпа; но когда приближался ярко-синий сторож, все лениво разбредались по своим местам. И только побитая женщина плакала и бессмысленно ругалась; ее растрепанные волосы волочились по песку, а полуобнаженное тело, грязное и желтое при дневном свете, цинично и жалко выставлялось наружу. Ее усаживали на дно извозчичьей пролетки и везли, и свесившаяся голова ее болталась, как у мертвой.

Николка знал по именам многих женщин и мужчин, рассказывал о них Петьке грязные истории и смеялся, скаля острые зубы. А Петька изумлялся тому, какой он умный и бесстрашный, и думал, что когда-нибудь и он будет такой же. Но пока ему хотелось бы куда-нибудь в другое место... Очень хотелось бы.

Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похоже один на другой, как два родные брата. И зимою и летом он видел все те же зеркала, из которых одно было с трещиной, а другое было кривое и потешное. На запятнанной стене висела одна и та же картина, изображавшая двух голых женщин на берегу моря, и только их розовые тела становились все пестрее от мушиных следов, да увеличивалась черная копоть над тем местом, где зимою чуть ли не весь день горела керосиновая лампа-молния. И утром, и вечером, и весь божий день над Петькой висел один и тот же отрывистый крик: «Мальчик, воды»,— и он все подавал ее, все подавал. Праздников не было. По воскресеньям, когда улицу переставали освещать окна магазинов и лавок, парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовую яркий сноп света, и прохожий видел маленькую, худую фигурку, сгорбившуюся в углу на своем стуле, и погруженную не то в думы, не то в тяжелую дремоту. Петька спал много, но ему почему-то все хотелось спать, и часто казалось, что все вокруг него не правда, а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слыхал резкого крика: «Мальчик, воды»,— и все худел, а на стриженой голове у него пошли нехорошие струпья. Даже нетребовательные посетители с брезгливостью смотрели на этого ху-

денького, веснушчатого мальчика, у которого глаза всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные-прегрязные руки и шея. Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика.

Петька не знал, скучно ему или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он ничего не мог сказать, где оно и какое оно. Когда его навещала мать, кухарка Надежда, он лениво ел принесенные сласти, не жаловался и только просил взять его отсюда. Но затем он забывал о своей просьбе, равнодушно прощался с матерью и не спрашивал, когда она придет опять. А Надежда с горем думала, что у нее один сын — и тот дурачок.

Много ли, мало ли жил Петька таким образом, он не знал. Но вот однажды в обед приехала мать, поговорила с Осипом Абрамовичем и сказала, что его, Петьку, отпускают на дачу, в Царицыно, где живут ее господа. Сперва Петька не понял, потом лицо его покрылось тонкими морщинками от тихого смеха, и он начал торопить Надежду. Той нужно было, ради пристойности, поговорить с Осипом Абрамовичем о здоровье его жены, а Петька тихонько толкал ее к двери и дергал за руку. Он не знал, что такое дача, но полагал, что она есть то самое место, куда он так стремился. И он эгоистично позабыл о Николке, который, заложив руки в карманы, стоял тут же и старался с обычною дерзостью смотреть на Надежду. Но в глазах его вместо дерзости светилась глубокая тоска: у него совсем не было матери, и он в этот момент был бы не прочь даже от такой, как эта толстая Надежда. Дело в том, что и он никогда не был на даче.

Вокзал с его разноголосою сутолокою, грохотом приходящих поездов, свистками паровозов, то густыми и сердитыми, как голос Осипа Абрамовича, то визгливыми и тоненькими, как голос его больной жены, торопливыми пассажирами, которые все идут и идут, точно им и конца нету,— впервые предстал перед оторопелыми глазами Петьки и наполнил его чувством возбужденности и нетерпения. Вместе с матерью он боялся опоздать, хотя до отхода дачного поезда оставалось добрых полчаса; а когда они сели в вагон и поехали, Петька прилип к окну, и только стриженая голова его вертелась на тонкой шее, как на металлическом стержне.

Он родился и вырос в городе, в поле был первый раз в своей жизни, и все здесь для него было поразительно ново и странно: и то, что можно видеть так далеко, что лес ка-

жется травкой, и небо, бывшее в этом новом мире удивительно ясным и широким, точно с крыши смотришь. Петька видел его с своей стороны, а когда оборачивался к матери, это же небо голубело в противоположном окне, и по нем плыли, как ангелочки, беленькие радостные облачка. Петька то вертелся у своего окна, то перебегал на другую сторону вагона, с доверчивостью кладя плохо отмытую ручонку на плечи и колени незнакомых пассажиров, отвечавших ему улыбками. Но какой-то господин, читавший газету и все время зевавший, то ли от чрезмерной усталости, то ли от скуки, раза два неприязненно покосился на мальчика, и Надежда поспешила извиниться:

— Впервой по чугунке едет — интересуется...

— Угу!— пробурчал господин и уткнулся в газету.

Надежде очень хотелось рассказать ему, что Петька уже три года живет у парикмахера и тот обещал поставить его на ноги, и это будет очень хорошо, потому что женщина она одинокая и слабая и другой поддержки, на случай болезни или старости, у нее нет. Но лицо у господина было злое, и Надежда только подумала все это про себя.

Направо от пути раскинулась кочковатая равнина, темно-зеленая от постоянной сырости, и на краю ее были брошены серенькие домики, похожие на игрушечные, а на высокой зеленой горе, внизу которой блистала серебристая полоска, стояла такая же игрушечная белая церковь. Когда поезд со звонким металлическим лязгом, внезапно усилившимся, взлетел на мост и точно повис в воздухе над зеркальною гладью реки, Петька даже вздрогнул от испуга и неожиданности и отшатнулся от окна, но сейчас же вернулся к нему, боясь потерять малейшую подробность пути. Глаза Петькины давно уже перестали казаться сонными, и морщинки пропали. Как будто по этому лицу кто-нибудь провел горячим утюгом, разгладил морщинки и сделал его белым и блестящим.

В первые два дня Петькина пребывания на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него и сверху и снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. В противоположность дикарям минувших веков, терявшимся при переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхваченный из каменных объятий городских громад, чувствовал себя слабым и беспомощным перед лицом природы. Все здесь было для него живым, чувствующим и имеющим волю. Он боялся леса, который покойно шумел над его головой и был темный, задумчивый и такой страшный в своей бесконечности; полянки, светлые, зеленые, веселые, точно

поющие всеми своими яркими цветами, он любил и хотел бы приласкать их, как сестер, а темно-синее небо звало его к себе и смеялось, как мать. Петька волновался, вздрагивал и бледнел, улыбался чему-то и степенно, как старик, гулял по опушке и лесистому берегу пруда. Тут он, утомленный, задыхающийся, разваливался на густой сыроватой траве и утопал в ней; только его маленький веснушчатый носик поднимался над зеленой поверхностью. В первые дни он часто возвращался к матери, терся возле нее, и, когда барин спрашивал его, хорошо ли на даче,— конфузливо улыбался и отвечал:

— Хорошо!..

И потом снова шел к грозному лесу и тихой воде и будто допрашивал их о чем-то.

Но прошло еще два дня, и Петька вступил в полное соглашение с природой. Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. У гимназиста Мити лицо было смугло-желтым, как вагон второго класса, волосы на макушке стояли торчком и были совсем белые — так выжгло их солнце. Он ловил в пруде рыбу, когда Петька увидал его, бесцеремонно вступил с ним в беседу и удивительно скоро сошелся. Он дал Петьке подержать одну удочку и потом повел его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти в воду, но когда вошел, то не хотел вылезать из нее и делал вид, что плавает: поднимал нос и брови кверху, захлебывался и бил по воде руками, поднимая брызги. В эти минуты он был очень похож на щенка, впервые попавшего в воду. Когда Петька оделся, то был синий от холода, как мертвец, и, разговаривая, ляскал зубами. По предложению того же Мити, неистощимого на выдумки, они исследовали развалины дворца; лазали на заросшую деревьями крышу и бродили среди разрушенных стен громадного здания. Там было очень хорошо: всюду навалены груды камней, на которые с трудом можно взобраться, и промеж них растет молодая рябина и березки, тишина стоит мертвая, и чудится, что вот-вот выскочит кто-нибудь из-за угла или в растрескавшейся амбразуре окна покажется страшная-престрашная рожа. Постепенно Петька почувствовал себя на даче как дома и совсем забыл, что на свете существует Осип Абрамович и парикмахерская. —

— Смотри-ка, растолстел как! Чистый купец! — радовалась Надежда, сама толстая и красная от кухонного жара, как медный самовар. Она приписывала это тому, что много его кормит. Но Петька ел совсем мало, не потому, чтобы ему не хотелось есть, а некогда было возиться: если бы можно

было не жевать, глотать сразу, а то нужно жевать, а в промежутки болтать ногами, так как Надежда ест дьявольски медленно, обгладывает кости, утирается передником и разговаривает о пустяках. А у него дела было по горло: нужно пять раз выкупаться, вырезать в орешнике удочку, накопать червей,— на все это требуется время. Теперь Петька бегал босой, и это в тысячу раз приятнее, чем в сапогах с толстыми подошвами: шершавая земля так ласково то жжет, то холодит ногу. Свою подержанную гимназическую куртку, в которой он казался солидным мастером парикмахерского цеха, он также снял и изумительно помолодел. Надевал он ее только вечерами, когда ходил на плотину смотреть, как катаются на лодках господа: нарядные, веселые, они со смехом садятся в качающуюся лодку, и та медленно рассекает зеркальную воду, а отраженные деревья колеблются, точно по ним пробежал ветерок.

В исходе недели барин привез из города письмо, адресованное «куфарке Надежде», и, когда прочел его адресату, адресат заплакал и размазал по всему лицу сажу, которая была на переднике. По отрывочным словам, сопровождавшим эту операцию, можно было понять, что речь идет о Петьке. Это было уже ввечеру. Петька на заднем дворе играл сам с собою в «классики» и надувал щеки, потому что так прыгать было значительно легче. Гимназист Митя научил этому глупому, но интересному занятию, и теперь Петька, как истый спортсмен, совершенствовался в одиночку. Вышел барин и, положив руку на плечо, сказал:

— Что, брат, ехать надо!

Петька конфузливо улыбался и молчал.

«Вот чудак-то!»— подумал барин.

— Ехать, братец, надо.

Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами подтвердила:

— Надобно ехать, сынок!

— Куда?— удивился Петька.

Про город он забыл, а другое место, куда ему всегда хотелось уйти,— уже найдено.

— К хозяину Осипу Абрамовичу.

Петька продолжал не понимать, хотя дело было ясно как божий день. Но во рту у него пересохло, и язык двигался с трудом, когда он спросил:

— А как же завтра рыбу ловить? Удочка — вот она...

— Что же поделаешь!.. Требует. Прокопий, говорит, заболел, в больницу свезли. Народу, говорит, нету. Ты не

плачь: гляди, опять отпустит,— он добрый, Осип Абрамович.

Но Петька и не думал плакать и все не понимал. С одной стороны был факт — удочка, с другой призрак — Осип Абрамович. Но постепенно мысли Петькины стали проясняться, и произошло странное перемещение: фактом стал Осип Абрамович, а удочка, еще не успевшая высохнуть, превратилась в призрак. И тогда Петька удивил мать, расстроил барыню и барина и удивился бы сам, если бы был способен к самоанализу: он не просто заплакал, как плачут городские дети, худые и истощенные,— он закричал громче самого горластого мужика и начал кататься по земле, как те пьяные женщины на бульваре. Худая ручонка его сжималась в кулак и била по руке матери, по земле, по чем попало, чувствуя боль от острых камешков и песчинок, но как будто стараясь еще усилить ее.

Своевременно Петька успокоился, и барин говорил барыне, которая стояла перед зеркалом и вкалывала в волосы белую розу:

— Вот видишь, перестал,— детское горе непродолжительно.

— Но мне все-таки очень жаль этого бедного мальчика.

— Правда, они живут в ужасных условиях, но есть люди, которым живется и хуже. Ты готова?

И они пошли в сад Дипмана, где в этот вечер были назначены танцы и уже играла военная музыка.

На другой день, с семичасовым утренним поездом, Петька уже ехал в Москву. Опять перед ним мелькали зеленые поля, седые от ночной росы, но только убегали не в ту сторону, что раньше, а в противоположную. Подержанная гимназическая курточка облекала его худенькое тело, из-за ворота ее выставлялся кончик белого бумажного воротничка. Петька не вертелся и почти не смотрел в окно, а сидел такой тихонький и скромный, и ручонки его были благонравно сложены на коленях. Глаза были сонливы и апатичны, тонкие морщинки, как у старого человека, ютились около глаз и под носом. Вот замелькали у окна столбы и стропила платформы, и поезд остановился.

Толкаясь среди торопившихся пассажиров, они вышли на грохочущую улицу, и большой жадный город равнодушно поглотил свою маленькую жертву.

— Ты удочку спрячь!— сказал Петька, когда мать довела его до порога парикмахерской.

— Спрячу, сынок, спрячу! Может, еще приедешь.

И снова в грязной и душной парикмахерской звучало отрывистое: «Мальчик, воды», и посетитель видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука, и слышал неопределенно угрожающий шепот: «Вот погоди!» Это значило, что сонливый мальчик разлил воду или перепутал приказания. А по ночам, в том месте, где спали рядом Николка и Петька, звенел и волновался тихий голосок, и рассказывал о даче, и говорил о том, чего не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал. В наступавшем молчании слышалось неровное дыхание детских грудей, и другой голос, не по-детски грубый и энергичный, произносил:

— Вот черти! Чтоб им повылазило!

— Кто черти?

— Да так... Все.

Мимо проезжал обоз и своим мощным громыханием заглушал голоса мальчиков и тот отдаленный жалобный крик, который уже давно доносился с бульвара: там пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину.

Сентябрь 1899 г.

БОЛЬШОЙ ШЛЕМ

Они играли в винт три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам; воскресенье было очень удобно для игры, но его пришлось оставить на долю всяким случайностям: приходу посторонних, театру, и поэтому оно считалось самым скучным днем в неделе. Впрочем, летом, на даче, они играли и в воскресенье. Размещались они так: толстый и горячий Масленников играл с Яковом Ивановичем, а Евпраксия Васильевна со своим мрачным братом, Прокопием Васильевичем. Такое распределение установилось давно, лет шесть тому назад, и настояла на нем Евпраксия Васильевна. Дело в том, что для нее и ее брата не представляло никакого интереса играть отдельно, друг против друга, так как в этом случае выигрыш одного был проигрыш для другой, и в окончательном результате они не выигрывали и не проигрывали. И хотя в денежном отношении игра была ничтожная и Евпраксия Васильевна и ее брат в деньгах не нуждались, но она не могла понять удовольствия игры для игры и радовалась, когда выигрывала. Выигранные деньги она откладывала отдельно, в копилку, и они казались ей гораздо важнее и дороже, чем те крупные кредитки, которые

приходилось ей платить за дорогую квартиру и выдавать на хозяйство. Для игры собирались у Прокопия Васильевича, так как во всей обширной квартире жили только они вдвоем с сестрой,— существовал еще большой белый кот, но он всегда спал на кресле,— и в комнатах царила необходимая для занятий тишина. Брат Евпраксии Васильевны был вдов: он потерял жену на второй год после свадьбы и целых два месяца после того провел в лечебнице для душевнобольных; сама она была незамужняя, хотя когда-то имела роман со студентом. Никто не знал, да и она, кажется, позабыла, почему ей не пришлось выйти замуж за своего студента, но каждый год, когда появлялось обычное воззвание о помощи нуждающимся студентам, она посылала в комитет аккуратно сложенную сторублевую бумажку «от неизвестной». По возрасту она была самой молодой из игроков: ей было сорок три года.

Вначале, когда создалось распределение на пары, им особенно был недоволен старший из игроков, Масленников. Он возмущался, что ему постоянно придется иметь дело с Яковом Ивановичем, то есть, другими словами, бросить мечту о большом бескозырном шлеме. И вообще они с партнером совершенно не подходили друг к другу. Яков Иванович был маленький, сухонький старичок, зиму и лето ходивший в наваченном сюртуке и брюках, молчаливый и строгий. Являлся он всегда ровно в восемь часов, ни минутой раньше или позже, и сейчас же брал мелок сухими пальцами, на одном из которых свободно ходил большой брильянтовый перстень. Но самым ужасным для Масленникова в его партнере было то, что он никогда не играл больше четырех, даже тогда, когда на руках у него имелась большая и верная игра. Однажды случилось, что, как начал Яков Иванович ходить с двойки, так и отходил до самого туза, взяв все тринадцать взяток. Масленников с гневом бросил свои карты на стол, а седенький старичок спокойно собрал их и записал за игру, сколько следует при четырех.

— Но почему же вы не играли большого шлема?— вскрикнул Николай Дмитриевич (так звали Масленникова).

— Я никогда не играю больше четырех,— сухо ответил старичок и наставительно заметил:— Никогда нельзя знать, что может случиться.

Так и не мог убедить его Николай Дмитриевич. Сам он всегда рисковал и, так как карта ему не шла, постоянно проигрывал, но не отчаивался и думал, что ему удастся отыграться в следующий раз. Постепенно они свыклись со своим положением и не мешали друг другу: Николай Дмит-

риевич рисковал, а старик спокойно записывал проигрыш и назначал игру в четырех.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Дряхлый мир покорно нес тяжелое ярмо бесконечного существования и то краснел от крови, то обливался слезами, оглашая свой путь в пространстве стонами больных, голодных и обиженных. Слабые отголоски этой тревожной и чуждой жизни приносил с собой Николай Дмитриевич. Он иногда запаздывал и входил в то время, когда все уже сидели за разложенным столом и карты розовым веером выделялись на его зеленой поверхности.

Николай Дмитриевич, краснощекий, пахнущий свежим воздухом, поспешно занимал свое место против Якова Ивановича, извинялся и говорил:

— Как много гуляющих на бульваре. Так и идут, так и идут...

Евпраксия Васильевна считала себя обязанной, как хозяйка, не замечать странностей своих гостей. Поэтому она отвечала одна, в то время как старичок молча и строго приготовлял мелок, а брат ее распоряжался насчет чаю.

— Да, вероятно,— погода хорошая. Но не начать ли нам?

И они начинали. Высокая комната, уничтожавшая звук своей мягкой мебелью и портьерами, становилась совсем глухой. Горничная неслышно двигалась по пушистому ковру, разнося стаканы с крепким чаем, и только шуршали ее накрахмаленные юбки, скрипел мелок и вздыхал Николай Дмитриевич, поставивший большой ремиз. Для него наливался жиденький чай и ставился особый столик, так как он любил пить с блюдца и непременно с тянучками.

Зимой Николай Дмитриевич сообщал, что днем морозу было десять градусов, а теперь уже дошло до двадцати, а летом говорил:

— Сейчас целая компания в лес пошла. С корзинками.

Евпраксия Васильевна вежливо смотрела на небо — летом они играли на террасе — и, хотя небо было чистое и верхушки сосен золотели, замечала:

— Не было бы дождя.

А старичок Яков Иванович строго раскладывал карты и, вынимая червонную двойку, думал, что Николай Дмитриевич легкомысленный и неисправимый человек. Одно время Масленников сильно обеспокоил своих партнеров. Каждый раз, приходя, он начинал говорить одну или две фразы о Дрейфусе. Делая печальную физиономию, он сообщал:

— А плохи дела нашего Дрейфуса.

Или, наоборот, смеялся и радостно говорил, что несправедливый приговор, вероятно, будет отменен. Потом он стал приносить газеты и прочитывал из них некоторые места все о том же Дрейфусе.

— Читали уже,— сухо говорил Яков Иванович, но партнер не слушал его и прочитывал, что казалось ему интересным и важным. Однажды он таким образом довел остальных до спора и чуть ли не до ссоры, так как Евпраксия Васильевна не хотела признавать законного порядка судопроизводства и требовала, чтобы Дрейфуса освободили немедленно, а Яков Иванович и ее брат настаивали на том, что сперва необходимо соблюсти некоторые формальности и потом уже освободить. Первым опомнился Яков Иванович и сказал, указывая на стол:

— Но не пора ли?

И они сели играть, и потом, сколько ни говорил Николай Дмитриевич о Дрейфусе, ему отвечали молчанием.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Иногда случались события, но больше смешного характера. На брата Евпраксии Васильевны временами как будто что-то находило, он не помнил, что говорили о своих картах партнеры, и при верных пяти оставался без одной. Тогда Николай Дмитриевич громко смеялся и преувеличивал значение проигрыша, а старичок улыбался и говорил:

— Играли бы четыре — и были бы при своих.

Особенное волнение проявлялось у всех игроков, когда назначала большую игру Евпраксия Васильевна. Она краснела, терялась, не зная, какую класть ей карту, и с мольбою смотрела на молчаливого брата, а другие двое партнеров с рыцарским сочувствием к ее женственности и беспомощности ободряли ее снисходительными улыбками и терпеливо ожидали. В общем, однако, к игре относились серьезно и вдумчиво. Карты давно уже потеряли в их глазах значение бездушной материи, и каждая масть, а в масти каждая карта в отдельности, была строго индивидуальна и жила своей обособленной жизнью. Масти были любимые и нелюбимые, счастливые и несчастливые. Карты комбинировались бесконечно разнообразно, и разнообразие это не поддавалось ни анализу, ни правилам, но было в то же время закономерно. И в закономерности этой заключалась жизнь карт, особая от жизни игравших в них людей. Люди хотели и добивались от них своего, а карты делали свое, как будто они имели свою волю, свои вкусы, симпатии и капризы. Черви особенно часто приходили к Якову Ивановичу, а

у Евпраксии Васильевны руки постоянно полны бывали пик, хотя она их очень не любила. Случалось, что карты капризничали, и Яков Иванович не знал, куда деваться от пик, а Евпраксия Васильевна радовалась червям, назначала большие игры и ремизилась. И тогда карты как будто смеялись. К Николаю Дмитриевичу ходили одинаково все масти, и ни одна не оставалась надолго, и все карты имели такой вид, как постояльцы в гостинице, которые приезжают и уезжают, равнодушные к тому месту, где им пришлось провести несколько дней. Иногда несколько вечеров подряд к нему ходили одни двойки и тройки и имели при этом дерзкий и насмешливый вид. Николай Дмитриевич был уверен, что он оттого не может сыграть большого шлема, что карты знают о его желании и нарочно не идут к нему, чтобы позлить. И он притворялся, что ему совершенно безразлично, какая игра у него будет, и старался подольше не раскрывать прикупа. Очень редко удавалось ему таким образом обмануть карты; обыкновенно они догадывались, и, когда он раскрывал прикуп, оттуда смеялись три шестерки и хмуро улыбался пиковый король, которого они затащили для компании.

Меньше всех проникала в таинственную суть карт Евпраксия Васильевна; старичок Яков Иванович давно выработал строго философский взгляд и не удивлялся и не огорчался, имея верное оружие против судьбы в своих четырех. Один Николай Дмитриевич никак не мог примириться с прихотливым правом карт, их насмешливостью и непостоянством. Ложась спать, он думал о том, как он сыграет большой шлем в бескозырях, и это представлялось таким простым и возможным: вот приходит один туз, за ним король, потом опять туз. Но когда, полный надежды, он садился играть, проклятые шестерки опять скалили свои широкие белые зубы. В этом чувствовалось что-то роковое и злобное. И постепенно большой шлем в бескозырях стал самым сильным желанием и даже мечтой Николая Дмитриевича.

Произошли и другие события вне карточной игры. У Евпраксии Васильевны умер от старости большой белый кот и, с разрешения домовладельца, был похоронен в саду под липой. Затем Николай Дмитриевич исчез однажды на целых две недели, и его партнеры не знали, что думать и что делать, так как винт втроем ломал все установившиеся привычки и казался скучным. Сами карты точно сознавали это и сочетались в непривычных формах. Когда Николай Дмитриевич явился, розовые щеки, которые так резко от-

делялись от седых пушистых волос, посерели, и весь он стал меньше и ниже ростом. Он сообщил, что его старший сын за что-то арестован и отправлен в Петербург. Все удивились, так как не знали, что у Масленникова есть сын; может быть, он когда-нибудь и говорил, но все позабыли об этом. Вскоре после этого он еще один раз не явился, и, как нарочно, в субботу, когда игра продолжалась дольше обыкновенного, и все опять с удивлением узнали, что он давно страдает грудной жабой и что в субботу у него был сильный припадок болезни. Но потом все опять установилось, и игра стала даже серьезнее и интереснее, так как Николай Дмитриевич меньше развлекался посторонними разговорами. Только шуршали крахмальные юбки горничной да неслышно скользили из рук игроков атласные карты и жили своей таинственной и молчаливой жизнью, особой от жизни игравших в них людей. К Николаю Дмитриевичу они были попрежнему равнодушны и иногда зло-насмешливы, и в этом чувствовалось что-то роковое, фатальное.

Но в четверг, 26 ноября, в картах произошла странная перемена. Как только началась игра, к Николаю Дмитриевичу пришла большая коронка, и он сыграл, и даже не пять, как назначил, а маленький шлем, так как у Якова Ивановича оказался лишний туз, которого он не хотел показать. Потом опять на некоторое время появились шестерки, но скоро исчезли, и стали приходить полные масти, и приходили они с соблюдением строгой очереди, точно всем им хотелось посмотреть, как будет радоваться Николай Дмитриевич. Он назначал игру за игрой, и все удивлялись, даже спокойный Яков Иванович. Волнение Николая Дмитриевича, у которого пухлые пальцы с ямочками на сгибах потели и роняли карты, передалось и другим игрокам.

— Ну и везет вам сегодня,— мрачно сказал брат Евпраксии Васильевны, сильнее всего боявшийся слишком большого счастья, за которым идет такое же большое горе. Евпраксии Васильевне было приятно, что наконец-то к Николаю Дмитриевичу пришли хорошие карты, и она на слова брата три раза сплюнула в сторону, чтобы предупредить несчастье.

— Тьфу, тьфу, тьфу! Ничего особенного нет. Идут карты и идут, и дай Бог, чтобы побольше шли.

Карты на минуту словно задумались в нерешимости, мелькнуло несколько двоек со смущенным видом — и снова с усиленной быстротой стали являться тузы, короли и дамы. Николай Дмитриевич не поспевал собирать карты и назначать игру и два раза уже засдался, так что пришлось пере-

сдать. И все игры удавались, хотя Яков Иванович упорно умалчивал о своих тузах: удивление его сменилось недоверием ко внезапной перемене счастья, и он еще раз повторил неизменное решение — не играть больше четырех. Николай Дмитриевич сердился на него, краснел и задыхался. Он уже не обдумывал своих ходов и смело назначал высокую игру, уверенный, что в прикупе он найдет, что нужно.

Когда после сдачи карт мрачным Прокопием Васильевичем Масленников раскрыл свои карты, сердце его заколотилось и сразу упало, а в глазах стало так темно, что он покачнулся — у него было на руках двенадцать взяток: трефы и черви от туза до десятки и бубновый туз с королем. Если он купит пикового туза, у него будет большой бескозырный шлем.

— Два без козыря,— начал он, с трудом справляясь с голосом.

— Три пики,— ответила Евпраксия Васильевна, которая была также сильно взволнована: у нее находились почти все пики, начиная от короля.

— Четыре черви,— сухо отозвался Яков Иванович.

Николай Дмитриевич сразу повысил игру на малый шлем, но разгоряченная Евпраксия Васильевна не хотела уступать и, хотя видела, что не сыграет, назначила большой в пиках. Николай Дмитриевич задумался на секунду и с некоторой торжественностью, за которой скрывался страх, медленно произнес:

— Большой шлем в бескозырях!

Николай Дмитриевич играет большой шлем в бескозырях! Все были поражены, и брат хозяйки даже крякнул:

— Ого!

Николай Дмитриевич протянул руку за прикупом, но покачнулся и повалил свечку. Евпраксия Васильевна подхватила ее, а Николай Дмитриевич секунду сидел неподвижно и прямо, положив карты на стол, а потом взмахнул руками и медленно стал валиться на левую сторону. Падая, он свалил столик, на котором стояло блюдечко с налитым чаем, и придавил своим телом его хрустнувшую ножку.

Когда приехал доктор, он нашел, что Николай Дмитриевич умер от паралича сердца, и в утешение живым сказал несколько слов о безболезненности такой смерти. Покойника положили на турецкий диван в той же комнате, где играли, и он, покрытый простыней, казался громадным и страшным. Одна нога, обращенная носком внутрь, осталась непокрытой и казалась чужой, взятой от другого человека; на подошве сапога, черной и совершенно новой на вы-

емке, прилипла бумажка от тянучки. Карточный стол еще не был убран, и на нем валялись беспорядочно разбросанные, рубашкой вниз, карты партнеров и в порядке лежали карты Николая Дмитриевича, тоненькой колодкой, как он их положил.

Яков Иванович мелкими и неуверенными шагами ходил по комнате, стараясь не глядеть на покойника и не сходить с ковра на натертый паркет, где высокие каблуки его издавали дробный и резкий стук. Пройдя несколько раз мимо стола, он остановился и осторожно взял карты Николая Дмитриевича, рассмотрел их и, сложив такой же кучкой, тихо положил на место. Потом он посмотрел прикуп: там был пиковый туз, тот самый, которого не хватало Николаю Дмитриевичу для большого шлема. Пройдясь еще несколько раз, Яков Иванович вышел в соседнюю комнату, плотнее застегнул наваченный сюртук и заплакал, потому что ему было жаль покойного. Закрыв глаза, он старался представить себе лицо Николая Дмитриевича, каким оно было при его жизни, когда он выигрывал и смеялся. Особенно жаль было вспомнить легкомыслие Николая Дмитриевича и то, как ему хотелось выиграть большой бескозырный шлем. Проходил в памяти весь сегодняшний вечер, начиная с пяти бубен, которые сыграл покойный, и кончая этим беспрерывным наплывом хороших карт, в котором чувствовалось что-то страшное. И вот Николай Дмитриевич умер — умер, когда мог наконец сыграть большой шлем.

Но одно соображение, ужасное в своей простоте, потрясло худенькое тело Якова Ивановича и заставило его вскочить с кресла. Оглядываясь по сторонам, как будто мысль не сама пришла к нему, а кто-то шепнул ее на ухо, Яков Иванович громко сказал:

— Но ведь никогда он не узнает, что в прикупе был туз и что на руках у него был верный большой шлем. Никогда!

И Якову Ивановичу показалось, что он до сих пор не понимал, что такое смерть. Но теперь он понял, и то, что он ясно увидел, было до такой степени бессмысленно, ужасно и непоправимо. Никогда не узнает! Если Яков Иванович станет кричать об этом над самым его ухом, будет плакать и показывать карты, Николай Дмитриевич не услышит и никогда не узнает, потому что нет на свете никакого Николая Дмитриевича. Еще одно бы только движение, одна секунда чего-то, что есть жизнь,— и Николай Дмитриевич увидел бы туза и узнал, что у него есть большой шлем,

а теперь все кончилось и он не знает и никогда не узнает.

— Ни-ко-гда,— медленно, по слогам, произнес Яков Иванович, чтобы убедиться, что такое слово существует и имеет смысл.

Такое слово существовало и имело смысл, но он был до того чудовищен и горек, что Яков Иванович снова упал в кресло и беспомощно заплакал от жалости к тому, кто никогда не узнает, и от жалости к себе, ко всем, так как то же страшно и бессмысленно жестокое будет и с ним и со всеми. Он плакал — и играл за Николая Дмитриевича его картами, и брал взятки одна за другой, пока не собралось их тринадцать, и думал, как много пришлось бы записать, и что никогда Николай Дмитриевич этого не узнает. Это был первый и последний раз, когда Яков Иванович отступил от своих четырех и сыграл во имя дружбы большой бескозырный шлем.

— Вы здесь, Яков Иванович? — сказала вошедшая Евпраксия Васильевна, опустилась на рядом стоящий стул и заплакала.— Как ужасно, как ужасно!

Оба они не смотрели друг на друга и молча плакали, чувствуя, что в соседней комнате, на диване, лежит мертвец, холодный, тяжелый и немой.

— Вы послали сказать?— спросил Яков Иванович, громко и истово сморкаясь.

— Да, брат поехал с Аннушкой. Но как они разыщут его квартиру — ведь мы адреса не знаем.

— А разве он не на той же квартире, что в прошлом году?— рассеянно спросил Яков Иванович.

— Нет, переменил. Аннушка говорит, что он нанимал извозчика куда-то на Новинский бульвар.

— Найдут через полицию,— успокоил старичок.— У него ведь, кажется, есть жена?

Евпраксия Васильевна задумчиво смотрела на Якова Ивановича и не отвечала. Ему показалось, что в ее глазах видна та же мысль, что пришла и ему в голову. Он еще раз высморкался, спрятал платок в карман наваченного сюртука и сказал, вопросительно поднимая брови над покрасневшими глазами:

— А где же мы возьмем теперь четвертого?

Но Евпраксия Васильевна не слыхала его, занятая соображениями хозяйственного характера. Помолчав, она спросила:

— А вы, Яков Иванович, все на той же квартире?

АНГЕЛОЧЕК

I

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина била скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок»,— и ответ: «Не попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами, и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый, немигающий огонек. Мороз усилился, и, когда Сашка проходил в светлом круге, который образо-

вался от зажженного фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

— Где полуночничаешь, щенок?— крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

— Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыханье отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

— Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила,— прошептал он.

— Врешь?— спросил с недоверием Сашка.

— Ей-Богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.

— Врешь?— все больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.

— Ну-ка подвинься, расселся!— сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил:— А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я к ним пойду. «Испорченный мальчик»,— протянул Сашка в нос.— Сами хороши, антипы толсторожие.

— Ах, Сашка, Сашка!— поежился от холода отец.— Не сносить тебе головы.

— А ты-то сносил?— грубо возразил Сашка.— Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но, когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость

и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съежившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.

Через час мать говорила Сашке:

— А я тебе говорю, что ты пойдешь!— И при каждом слове Феоктиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

— А я тебе говорю, что не пойду,— хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

— Изобью я тебя, ох, как изобью!— кричала мать.

— Что же, избей!

Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замерзнет, чем пойдет к Свечниковым; поэтому она прибегла к авторитету мужа.

— А еще отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

— Правда, Сашка, ступай, что ломаешься?— отозвался тот с лежанки.— Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина еще рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он еще служил в земской статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его, пьяного, поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и все, что связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

— Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь,— продолжал отец.

Он хитрил,— Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось что-ни-

будь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

— Ну, ладно!— буркнул он.— Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

II

Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивленные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

— Ты неблагодалный мальчик?— спросил он Сашку.— Мне мисс сказала. А я холосой.

— Уж на что же лучше!— ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.

— Хочешь лузье? На!— протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

— Злой... Злой мальчик.

В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

— Вот этот,— сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину.— Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает,

что жалкий отец его любил ее, а она вышла за другого, и, хотя это случилось после того как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

— Дурная кровь,— вздохнула Софья Дмитриевна.— Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

— Не хочу,— коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».

— Что же, братец, в пастухи хочешь?— спросил господин.

— Нет, не в пастухи,— обиделся Сашка.

— Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет.

— Мне все равно,— ответил он, подумав,— хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.

— Я хочу и в ремесленное,— скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

— Но едва ли вакансия найдется,— сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и приглаживая поднявшиеся на затылке волосики.— Впрочем, мы еще посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери, и чей-то голос сказал:

— Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом

и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален,— что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, и больше, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

— Милый... милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно

далек и непохож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.

— Милый... милый!— шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка — важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало.

— Тетя, а тетя,— сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда.— Те... Тетечка.

Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.

— Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье?— удивилась седая дама.— Это невежливо.

— Те... тетечка. Дай мне одну штуку с елки,— ангелочка.

— Нельзя,— равнодушно ответила хозяйка.— Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

— Я раскаиваюсь. Я буду учиться,— отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

— И хорошо сделаешь, мой друг,— ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

— Дай ангелочка.

— Да нельзя же!— говорила хозяйка.— Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и, когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на ее черное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его

класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

— Да ты с ума сошел!— воскликнула седая дама и оглянулась: по счастью, в кабинете никого не было.— Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо потребовал:

— Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на ее губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:

— Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда,— поучительно добавила седая дама,— не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом.

«Толкуй там»,— думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.

— Красивая вещь,— сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки.— Кто это повесил ее сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с нею делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил,— солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

— Ну, нá уж, нá,— с неудовольствием сказала она.— Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

— А-ах!— вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

— А-ах!— пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка,— и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

— Я домой пойду,— глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе.— К отцу.

III

Мать спала, обессилев от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

— Хорош?— спрашивал шепотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрогиваться.

— Да, в нем есть что-то особенное,— шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

— Ты погляди,— продолжал отец,— он сейчас полетит.

— Видел уже,— торжествующе ответил Сашка.— Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!

Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша наставительно шептал:

— Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее — бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка,— все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была его душа, и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то

в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознаваемым движением положил руку на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.

— Это она дала тебе?— прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.

— А то кто же? Конечно, она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.

— Сашка, ты видишь когда-нибудь сны?— задумчиво спросил отец.

— Нет,— сознался Сашка.— А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

— А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как наяву...

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, сковырнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

— Ах, Саша, Саша!— всхлипывал отец.— Зачем все это?

— Ну, что еще?— сурово прошептал Сашка.— Совсем, ну совсем как маленький.

— Не буду... не буду,— с жалкой улыбкой извинился отец.— Что уж... зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи... держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба — и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся

и лег на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.

— Что же ты не раздеваешься?— спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя наброшенное на ноги пальто.

— Не к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, точно пошел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.

11—16 ноября 1899 г.

НА РЕКЕ

Алексей Степанович, машинист при Буковской мельнице, среди ночи проснулся, не то уже выспавшись, так как накануне он завалился спать с восьми часов, не то от ровного шума дождя по железной крыше, от которого он отвык за семь зимних месяцев. Рамы в окнах уже были выставлены, и звук приносился густой и отчетливый, точно над железом крыши опрокинули мешок с горохом, и сквозь этот шум едва пробивалось мягкое и задумчивое бульканье. Алексей Степанович засветил огонь и, накинув пальто, выглянул наружу. Было так темно, что в первую минуту он не мог рассмотреть ракиты, которая стояла как раз у входа.

Грохот дождя на крыше стал глуше, но бульканье усиливалось; и Алексей Степанович понял, что капли дождя попадают в воду, и удивился, откуда она взялась у его домика, стоявшего на бугорке. Постепенно тьма начала двигаться перед глазами и сбираться в черные пятна, похожие на провалы в темно-сером полотне. Вот темною полосою вытянулась ракита; за нею черным пятном встал барак, в котором находится потухший паровик; дальше, как туча с причудливыми краями, расплывался высокий четырехэтажный корпус мельницы. Одно окно, под крышей, слабо светилось, и прямо под ним, в самом низу, смутно колебалось и двигалось на одном месте светлое пятно.

«Ого, куда подошла!»— подумал про воду Алексей Степанович с тем приятно-жутким чувством, с каким люди встречают проявление грозной силы природы. Набросив пальто на голову, он обошел по ледяному, еще не стаявшему пласту вокруг своего домика и заглянул за угол, туда, где находилась река, а за нею, на противоположном берегу, раскидывались последние домишки Стрелецкой слободы. Но теперь не видно было ничего, точно мир кончался в двух шагах от Алексея Степановича, а дальше был бездонный провал, и там не слышалось ни звука и не виднелось ни огонька, ни светлого пятна. Дождь шлепал где-то вблизи, а из черной пропасти подувало легким ветерком, несло свежестью и тиной и неуловимым запахом льда, воды и навоза. Алексею Степановичу почудился крик; он долго вслушивался и даже снял пальто с головы, но только дождь нарушал зловещую тишину, обнявшую реку. Очевидно, он ошибся.

И снова то неприятное, что не оставляло Алексея Степановича всю Страстную неделю, завозилось в его душе и отняло у ночи ее жуткую прелесть. Он обругал дождь, скользкий ледяной пласт, свою маленькую одинокую комнатку, мельника Никиту, храпевшего в кухне, и повалился на кровать, опротивевшую за шесть дней непрерывного леханья, от которого кости ломило больше, чем от работы. Противно было все, чтó в нем и чтó вокруг него. Шесть дней он не умывался и не причесывал волос; Никита всегда вносил на сапогах грязь; в окна глядело серое, тусклое небо, и все это создавало ощущение чего-то нечистого, беспорядочного. И такими же нечистыми казались и мысли. В начале поста стрельцы избили его за ильманинскую Дашу, и он две недели пролежал в больнице и поссорился из-за этого с управляющим, а когда выписался и с револьвером в кармане прошелся по слободе, Даша отвернулась, а про-

клятые ребята прыгали вокруг на одной ножке и пели: «Баринок, а баринок, зачем корявую утку съел?» Он грозно смотрел на встречных, ожидая косого взгляда, чтобы завязать драку, но все потупляли глаза, а за спиной чей-то угрюмый голос пробурчал:

— Попрыгай, попрыгай! Авось допрыгаешься!

Разбойники эти стрельцы: стоят за своих девок горой и никого со стороны не подпускают: в третьем году у одного телеграфиста гитару на кусочки разломали, а самого чуть струной не удавили. И всем Алексей Степанович чужой. Мельники за спиной смеются и дразнят баринком; настоящие господа сторонятся и никогда руки не подают. И Алексей Степанович то винил людей и жалел себя, то думал о своем характере, гордом и неуступчивом, и думал, что все горе его жизни проистекает от него самого. Но было одинаково тяжело и то и другое и вызывало одинаковое чувство тошноты и скуки, которую хотелось сбросить с себя, как тесное, неудобное и грязное платье. Крепкие мышцы и здоровое тело требовали труда и движения, а он лежал, как колода, и чем больше лежал, тем противнее становился самому себе. Приходили такие мысли, что если бы кто-нибудь взял его за шиворот и выбросил на двор, он сделал бы для него доброе дело. Долго ворочался и вздыхал Алексей Степанович и заснул только тогда, когда окно, до тех пор не отделявшееся от черных стен, стало определяться в виде синего четырехугольника.

— Степаныч! Алексей Степаныч!— будил его Никита, белый от мучной пыли, въевшейся в лицо и полушубок.— Буде спать-то! Невесту проспишь.

У Никиты было круглое, безусое лицо, и он всегда смеялся и со всеми держался наравне: с Алексеем Степановичем, самим Буковым и девками, которых он соблазнял шутками, кумачною рубахою и подсолнухами. Даже суровые стрельцы и те любили его и дрались с ним как с равным, а не били его гуртом.

— Глянь-ка, что вода-те делает!— продолжал Никита.— Страсти!

Полный темными впечатлениями ночи, Алексей Степанович неохотно повернулся от стены — и был ослеплен ярким светом, наполнявшим комнату. В окно падал золотой столб солнечного света, и в нем весело поблескивал пыхтевший самовар, а снаружи неслись бодрые звуки голосов и отчаянно-звонкое щебетанье воробьев. Никита, подававший самовар, открыл окно, и оттуда несло ароматным теп-

лом, ласкавшим горло и щекотавшим в носу. Первый раз за неделю выглянуло солнышко, и все радовалось ему.

— Ловко!— крикнул Алексей Степанович и босиком подбежал к окну, выходившему на реку. То, что он мельком увидел, было так ново, интересно и весело, что он поспешно бросился натягивать брюки и высокие сапоги, у колен стягивавшиеся ремешками. Пока он одевался, Никита стал под солнечные лучи, поднял лицо кверху и сладко зажмурил глаза. Постепенно лицо его стало дергаться, и брови взлезли на лоб; еще раз со свистом он втянул носом воздух — и чихнул так громко и звучно, что на секунду не слышно стало воробьев.

— Вот, брат, история,— сказал он, приводя нос в порядок и моргая глазами,— с утра нынче чкаю. Как поднимешь морду в упор солнца, так и чкнешь.

Алексей Степанович выскочил в дверь, чуть не стукнувшись головой о низкую притолоку — и остановился: перед самыми его ногами стояла вода, уже окружившая ракиту, и по ней тихо плыли и кружились грязные соломинки на̀воза, смытого со двора. В заводи было тихо, и ракита уходила вверх и вниз, и отражение ее со смягченными нежными красками было красиво и воздушно. Снаружи еще сильнее чувствовалось сладостное тепло, и свет лился не только от солнца, но от всего синего яркого неба, а воробьи кричали как пьяные. И на фоне их немолчного крика остальные звуки выделялись, веселые и мелодичные. По двору, между тремя образовавшимися островами: мельницей, бараком и домиком Алексея Степановича, скользили две большие и неуклюжие лодки, и мельники, белые от муки, со смехом и шутками вылавливали поднятый водою тес. Желтые доски спокойно лежали на воде и, увлекаемые незаметным течением, поворачивались концами к реке. Ручеек, начинавшийся от стены домика, проточил себе ход в ледяном наросте и тихонько вливался в воду, журча мягко и скромно.

— Чисто в крепости,— весело сказал Никита.— Теперь, брат, шабаш; коли не приеду за тобой с лодкой, тут тебе и пропадать!

Лодка была тут же, привязанная к болту от ставни. Алексей Степанович и Никита переправились на мельницу и вышли на галерейку, висевшую над рекой на высоте третьего этажа. Там уже собрался народ, рабочие и управительская семья, и женщины ахали и боялись подойти к перилам. Сухо поздоровавшись с управляющим, толстым

и рыжим мужчиною, Алексей Степанович стал смотреть на реку.

— Тридцать годов, бают старики, такой воды не было,— говорил пожилой мельник.— Беда народу-то.

— К утру спадет,— авторитетно ответил управляющий.— Это вода не полая, дождевая. Снег-то уже весь потаял.

— Народу-то, я говорю, беда,— продолжал мельник, смотря из-под ладони на катившуюся реку.— Для-ради праздника-то.

Действительно, вода все так изменила, что Алексей Степанович долго не узнавал знакомой местности. Неделю тому назад виднелись еще столбы от рухнувшей плотины, а теперь на ее месте так ровно и гладко, словно тут человек никогда и не пытался поставить преграду вольной стихии. Противоположного берега не было совсем. Вода вливалась в улицы и переулки слободы, от которой оставались одни крыши, словно самые дома ушли под землю. Между ними ползало две-три лодки, и стоял такой крик, какой бывает на ночных пожарах. Направо от слободы, по течению, берег подымался горой, и на нем сверкали стеклами и белыми стенами городские постройки и виднелась темная полоса столпившегося на берегу народа. Как второе маленькое солнце, горел соборный крест. Налево, в версте, висел высоко над водою железнодорожный мост, и по нем тихо полз белый клубочек дыма. Внизу, около самой насыпи, торчали из воды голые верхушки деревьев и одиноко чернела крыша.

Звонкие голоса мельников, ловивших доски, сияние неба и солнца, разноголосый крик на той стороне, казавшийся также веселым под этим чистым небом, белый клубочек дыма — все это создавало живую и радостную картину и наполняло душу бодростью и желанием деятельности, такой же живой и веселой.

— Надоть бы лодку подать,— сказал пожилой мельник, протягивая руку к затонувшей слободе.

— Вот управимся, ужо дадим,— ответил управляющий.

Вошел рабочий с лицом радостным и испуганным, как у человека, который принес свежую и страшную новость, и еще издалека крикнул:

— Братцы, а воды-то прибывает!

И хотя это было действительно страшно для тех домишек, от которых уже оставались одни крыши, всем стало еще радостнее, и только пожилой мельник сердито оборвал:

— Буде врать-то!

— Ей-Богу! Я на палке зарубку поставил. Покрыла!

Все посмотрели на воду так, точно они видели ее в первый раз и только теперь узнали, какой у нее коварный и грозный нрав, и все разом заговорили. Пожилой мельник тыкал пальцем по направлению слободы, управляющий соображал и перебирал на животе цепочку часов, а женщины требовали, чтобы их успокоили и сказали, что вода не пойдет к управительскому дому и службам, стоявшим высоко на горке. Алексей Степанович еще раз окинул взглядом реку и отправился к себе. Самовар потух, и солнце уже отошло от окна, и только кусок белой скатерти резал глаза и бросал отсвет на стену. Но скоро потух и он, и сразу стало скучно и темно, как и вчера ночью. Алексей Степанович лег на кровать и попробовал читать самоучитель французского языка, но чтение не шло. Крики на дворе стихли. Раза два входил Никита и сообщал, что одну лодку уже послали к стрельцам и что вода, кажется, подымается. Потом он подал постный невкусный обед.

— Смотри, тебя тут не замочило бы,— сказал он, глядя, как машинист лениво полоскал ложку в холодных щах.— К порогу подошла.

Алексей Степанович молчал.

— Разговляться к управителю пойдешь?— спрашивал Никита.

— Пошел ты с ним к черту!

Никита рассмеялся.

— Ну вот, рассердился! Чудак! А я, брат, сейчас тоже поеду. Вторую лодку даем. У кузнеца Баранка хата развалилась, чуть не утопли все.

Баранок был один из тех, которые избили машиниста.

— Поедем, брат, что слюни пускаешь!— продолжал Никита.— Я тебе там такую покажу... у-ах!

Когда вторая лодка, с Никитой на руле, уже отчаливала, Алексей Степанович высунулся из окна и крикнул:

— Погоди! Я с вами!

Когда он входил в лодку, ему было неловко: все знали, что стрельцы избили его и теперь должны были смеяться, что он едет к ним на помощь. Но мельники были ласковы и смотрели на его участие как на дело самое простое и естественное, и никто даже и не вспомнил о драке, которая не имела и не могла иметь отношения к тому, что происходило сейчас. И когда они поплыли на середину реки и мельница стала казаться маленькой и низенькой, словно опустившейся в яму, Алексей Степанович забыл о неловкости и весь ушел в борьбу, от которой становилось легко и бодро. Лодку кружило и гнало вниз, и весла скрипели

в уключинах; о борт стукнула маленькая льдинка и, перевернувшись вокруг себя, обошла лодку.

— Хорошо, что лед-то прошел,— сказал Никита, чувствовавший себя барином и склонный к беседе.

— Н-да,— ответил один из гребцов,— а то форменно бы счистило.

— Степаныч! А отчего я теперь не чкаю? Морду подымаешь, а не чкаешь... Ну, веселее, веселее, ребята! Налягай! Раз!..

В залитых улицах слободы вода стояла спокойная и глубокая, и только местами лениво кружились щепки и доски поломанных заборов. Первые к реке чердаки были уже пусты и безмолвно глядели своими оконцами; но дальше, на Холодной улице, где никто не ожидал воды и не принял никаких мер, господствовала суматоха и слышались визгливые женские голоса и плач детей. Несколько лодок, подававших помощь, не успевали принимать и перевозить на сушу всех желающих, и спасатели не на живот, а на смерть ругались все с теми же бабами, совавшими в лодку всякую рухлядь. Дети вертелись под ногами, высовывались, рискуя свалиться в воду, из отверстий разломанных крыш, перекликались друг с другом, орали, когда их била нетерпеливая рука, и, как мешки с мукой, шлепались в поданную лодку. Там они сидели, не шевелясь, и таращили глаза, полные восторга: для них, привыкших с детства к реке, вся эта история казалась неожиданным развлечением. Из щели одного чердака торчала над водой удочка с подвязанной ниткой. Самого рыбака видно не было, но, судя по удивительному хладнокровию и настойчивости, он не мог принадлежать к старшему поколению стрельцов.

Алексей Степанович причалил к первому чердаку, откуда настойчиво звала лодку чья-то голая женская рука, и с этой минуты уже ни о чем не думал. Он погружался во тьму чердаков, где натыкался на балки и ударялся головой о стропила, и снова на миг выглядывал на свет, нагруженный всяким тряпьем, и эти тряпки казались ему такими же ценными, как и самим бабам. Вокруг него кричали, голосили, спорили и ругались; перед глазами мелькали бородатые и безбородые лица, все знакомые и приветливые: теперь он уже не мог бы разобрать, кто бил его когда-то и кто не бил. Шею его охватывали детские грязные ручки, и к плечу прижималось то испуганное личико девочки, то восторженное и замазанное лицо мальчугана. Раз в его руку попала кукла — картонная, с поломанным черепом, откуда лилась вода, когда куклу брали за ноги; какой-то сердитый и упря-

мый мальчуган сперва заставил его положить в лодку ящик с бабками, а потом уже согласился сесть и сам. И когда, с нагруженной по край лодкой, он пробирался по узким переулкам, а то и прямо через сады, поверх затопленных заборов, и гибкие ветви деревьев с разбухшими почками царапали его лицо, ему чудилось, что весь мир состоит из спокойной, ласковой воды, яркого, горячего солнца, живых и бодрых криков и приветливых лиц. Он болтал с ребятами, успокаивал, утешал, распоряжался, и голос его самому ему представлялся полным и звонким, и временами думалось, что праздник, большой и светлый, уже наступил и никогда не кончится. Случилось, что его лодка проходила мимо большого каменного дома, в котором все окна второго этажа были открыты, и у них толпились женщины. Среди них машинист узнал Дашу и с улыбкой поклонился, и она так же с улыбкой ответила и что-то крикнула. Он не разобрал слов, но по голосу понял, что это были какие-нибудь хорошие и ласковые слова.

Чердак сменялся чердаком, и, так как все они были одинаково темны и убоги и похожи один на другой, Алексей Степанович перестал различать их и думал, что он возится все в одном. И только потому, что путь до суши становился все короче, солнце стало светить не так ярко и они чаще попадали в холодную тень, он понимал, что время идет к вечеру и работа, радостная и веселая, кончается. Промокший, голодный, он жалел об этом и боялся потерять то, что кружило теперь его голову, как вино, и озаряло душу смеющимся светом. До сих пор он не знал, что он любит людей и солнце, и не понимал, почему они так изменились в его глазах и почему хочется ему и смеяться и плакать, глядя в испуганное лицо девочки или подставляя зажмуренные глаза солнечному лучу, желтому и теплому. Точно он впервые открыл искусство и наслаждение дыхания, и то, что входило в его грудь, было и свет, и тепло, и завтрашний праздник; и хотелось не думать, а только дышать — дышать без конца.

Когда они возвращались на мельницу, солнце заходило за мостом, почти не видном теперь в этом пылающем костре, и только высокая насыпь бросала длинную синюю тень. Небо ушло ввысь, и между ним и водою было так много воздуха, простора и мягкого тепла, и так далеко был город и затопленные берега, точно весь мир раздвинулся вширь и ввысь, и не хотелось входить в низенькие комнаты, где давят потолки. Мельники говорили о том, что было, и смеялись над Никитой; который свалился в воду и теперь сидел

мрачный и синий от холода и думал о бабе, которую он обнял в темноте чердака и которая дала ему по шее. Шутил и Алексей Степанович, и мельники не удивлялись, что мрачный и гордый баринок стал простым и обходительным.

— Дома!— сказал мельник, когда лодка шарахнулась боком о ракиту и стукнулась о порог домика.

Но и в комнатке Алексея Степановича, когда засветился в ней яркий огонек и запел начищенный к празднику самовар, стало весело и уютно. Алексей Степанович, возбужденный и разговорчивый, посадил с собою Никиту, но тот мрачно выдул пять стаканов чаю и, несмотря на уговоры, отправился вздремнуть до заутрени: его разморило свежим воздухом и работой.

— Ложись и ты,— посоветовал он машинисту.— Разбегался, чисто жеребенок. К управителю-то пойдешь?

— Пойду.

— То-то.

Алексей Степанович лег на постель, заложив руки за голову, но через несколько минут вскочил. Его снова тянуло на простор, и снова хотелось пережить весь этот дивный день с самого его начала — с той минуты, когда блеснуло солнце в глаза, отуманенные видениями ночи и тоски.

Стояла уже ночь, теплая, тихая, торжественная, полная звучной тишины, когда Алексей Степанович вышел на галерейку. Хлюпала вода, покачивая лодки, и звезды дрожали на ее зыбкой поверхности. Еще шире, еще полнее стал мир, и не виделось конца воде, уходившей в прозрачную тьму. Слобода скрылась совсем, и только далекий город мерцал и повторялся в реке огоньками, такими живыми и теплыми, так не похожими на безжизненное сияние звезд. Еле слышный, донесся грохот экипажа по мостовой и сразу смолк, точно экипаж остановился или свернул за угол; но долго еще ухо ловило его отголоски. Налево, там, где находился невидимый теперь мост, горел зеленый огонек, похожий на низко опустившуюся звезду. Алексей Степанович оперся на перила и долго смотрел на город, где он чувствовал живых людей, предпраздничную веселую работу и сутолоку. Совсем ясно представлялись ему прибранные уютные комнаты, в которых пахнет сыростью от вымытых полов, белые кисейные занавески, красные и зеленые лампадки перед сияющими образами и сдержанный, веселый говор людей, одевающихся в свое лучшее платье,— все то, что видел он в детстве.

И снова, как и вчера ночью, ему послышался крик о помощи.

Алексей Степанович впился глазами в темноту, глядел и слушал так внимательно и напряженно, что в ушах зашумела кровь, но крик не повторялся.

«Опять почудилось»,— подумал Алексей Степанович, как вдруг там, где зеленел железнодорожный фонарь, внизу, мелькнул слабый и робкий огонек и тотчас погас. И машинист вспомнил ту одинокую черную крышу, которую он заметил еще утром, и свою мысль о безвыходности заключенных под этой крышей,— мысль, мелькнувшую тогда же утром, но забытую днем.

Никита спросонок послал Алексея Степановича к черту, и он решил ехать один в душегубке. Он был уверен, что людей уже нет в затонувшем домике; но в крике о помощи, почудившемся или бывшем в действительности, звучала такая беспомощность и тоска, что он не в силах был ослушаться призыва. Грести пришлось против течения, и Алексей Степанович в несколько минут покрылся потом.

На середине реки его понесло вниз, но он с усилием выправился и отдохнул в залитой слободской улице, куда загнало его течением. Теперь чердаки были сумрачно-молчаливы и черны и казались немного страшными, как крышки больших гробов, так же как и черная река, полная скрытой жизнью, таинственным шепотом и силой. Она словно боролась с Алексеем Степановичем, вырывала весла и угрожающе весело журчала у носа лодки. Пробираясь вдоль берега через затопленные призрачные сады, вздрагивая от прикосновения холодных ветвей, скрюченных и цепких, как пальцы утопленника, и отталкиваясь от черных крыш, Алексей Степанович выплыл за окраину, где вода разливалась широким, тускло блистающим озером. Он греб наугад к насыпи, которая черным горбом стала отделяться от темного неба. Нагибаясь вперед, равномерно поднимая и опуская весла, Алексей Степанович закрывал глаза, и тогда казалось, что весь мир остался где-то далеко назади и он плывет давно, уже целые года, плывет в черную бесконечность, где все ново и не похоже на оставленное позади. Так шли минуты, и, когда он поднял голову, насыпь стояла перед ним, высокая и строгая, а ближе серела одинокая крыша, немая и таинственная. Под нею чуялось присутствие живых людей, и то, что они молчали, когда кругом была вода и ночь, навеяло на Алексея Степановича неопределенный страх и тревогу. Он подогнал лодку вплотную и остановился у маленького без перил, балкона, совсем теперь лежавшего на воде. Низенькая кривая дверь вела внутрь, и весь дом казался старым, покосившимся и покрытым заплатами, как

нищий, и было удивительно, как совсем не повалила его сильная и буйная вода.

— Есть тут кто?— крикнул Алексей Степанович, и звук его голоса отскочил от крыши и, замирая, понесся по реке. Внутри чердака послышались невнятные, хрипящие звуки, как будто кого-нибудь душили. Привязав поспешно лодку, Алексей Степанович вскочил на балкончик и в дверях чуть не столкнулся с женщиной, шедшей ему навстречу.

— Это вы кричали?— мягко спросил Алексей Степанович, обрадованный видом живого существа, и вошел на чердак без приглашения, привыкнув, чтобы везде его встречали, как спасителя.

— Да, я,— так же мягко и виновато ответила женщина и пошла за ним в угол, где стоял стол и на нем маленькая иконка, перед которой теплилась тоненькая восковая свечка. Алексей Степанович мельком оглядел чердак, другой конец которого утопал в темноте, и остановил удивленный взгляд на столе. Он был покрыт чистою скатертью, и на нем лежали рядом два темно-бурых яйца и маленькая покупная и, видимо, черствая булка.

— Что это?— спросил он, вглядываясь в лицо женщины, молодое, но бледное лицо, улыбавшееся пугливой и искательной улыбкой, от которой еще печальнее становилось выражение больших и добрых глаз. Ему казалось непонятным и странным — эта одинокая женщина и приготовления к встрече праздника тут, среди воды и ночи.

— Р-разговляться,— ответил снизу грубый голос, точно раскатывающий букву *р*. Алексей Степанович испуганно опустил глаза и у стенки, где крыша сходилась с потолком, увидел темную массу лежащего и чем-то прикрытого человека. Он нагнулся еще ниже, и то, что он увидел, поразило его страхом и отвращением. Действительно, это было страшное лицо. Крупное, опухшее и посиневшее, с седой колючей щетиной на подбородке и щеках, оно походило на лицо утопленника, пробывшего несколько дней в воде; полуприподнятые тяжелые веки, под которыми серел тусклый и неподвижный зрачок, и тяжелый запах делали этого живого мертвеца отвратительным. Грудь лежащего приподнялась, и из нее снова посыпались глухие, рыкающие звуки, а губы почти не шевелились, точно говорил не он, а кто-то другой внутри него.

— Титуляр-рный советник Данков... Приятно познакомиться.

Он набрал воздуху и прибавил:

— Только ненадолго. Умир-р-аю!.. Очень глупо.

Алексей Степанович молчал и смотрел на женщину. Та, продолжая улыбаться, сказала:

— Присядьте, пожалуйста. Извините, что обеспокоила вас. Уж очень им худо стало, я и испугалась.

Говорила она голосом ровным и без выражения. И, кончив, она присела на полу, около старика, охватила колени руками и снизу вверх, не отрываясь, смотрела на машиниста. И то, чего не передал голос, досказали глаза. В них было и доверие, и страх, и радость, что она видит живого, здорового человека.

— А вы разве нас не знаете?— спросила она.

— Потому и пр-р-иехал, что не знает,— ответил Данков.— Он не дур-р-ак. Позвольте р-ре-комендоваться... Пансион содер-р-жал. Вр-роде отца был, а они меня кормили. И дом этот мой. А теперь все разбежались. Как кр-рысы.

В глухом голосе звучала странная ирония.

— А она дур-ра. Осталась.

— Куда же бы я пошла?— неопределенно ответила женщина.

— Молчи, когда умные говорят. Дурра...— бурчал старик.— А ты тоже прохвост?— внезапно перешел он на ты.— Что это я тебя не помню?

Алексей Степанович молчал. Он вспомнил теперь, что вскользь приходилось ему слышать в слободе о Данкове и его девушках, от которых сторонились самые небрезгливые — так были они грязны, оборванны и дешевы.

— Тоже пр-рохвост,— утвердительно ответил Данков, и на лице его выразилось страшное подобие улыбки.— Все пр-рохвосты. А она дурра. Оставили умирать, как собаку. Ступай вон! Слышишь?

Алексей Степанович неловко улыбнулся и посмотрел на женщину. Она не сводила с него глаз, словно боялась на миг потерять его.

— Как вас зовут?— спросил машинист, ласково глядя на «дурру».

— Оля. А вас?

— Алексей Степанович. Нужно вас перевезти. Разве тут можно?

— Вчера как трабабахнет льдина...— бурчал старик.— Шальная.

— Нет уже, не к чему,—ответила девушка.— Им тронуться нельзя. Скоро помрут.

— Корень моего бедствия в том, что хвост я опустил. Живи так, чтобы хвост кольцом. Понял? А она дурра. Я ее бил. Она врет, что я помрру.

Алексей Степанович несколько привык к рыкающему голосу, и теперь, когда лица старика не было видно, он казался только жалким и вовсе не страшным.

— И долго вы тут так?— спросил он Олю.

— Четыре дня. Со вторника. Уж очень они плохи. Вот перед вами совсем я испугалась.— Оля наклонилась к старику.— Иван Данилыч, спите?

Старик молчал. Оля улыбнулась и прошептала:

— Заснул. Он все время засыпает. Вы не верьте, что он меня бил. Это он перед чужими хвастает.

На минуту Оля умолкла и продолжала, видимо радуясь звуку своего голоса и возможности поговорить:

— Разве так когда ударят. Пьяные. С горя. А то они ничего, у них медаль есть.

— Какая медаль?

— За службу. Они служили раньше. А теперь тоскуют. Все плачут, умирать не хочется. А то разные страшные слова говорят. О черте.

— И ничего вы тут... одна-то?— с участием спрашивал Алексей Степанович.

— Днем ничего, а ночью стра-а-шно,— протянула девушка.— Особливо вчерась. Дождь, к нам протекло, и свечу затушило. А они кричат: умир-раю. Потом песни пели и ругались. Не так, не по-нашему, а благородно ругались, как господа.

Внезапно домик затрясся от грохота и лязга взошедшего на мост поезда, и за гулом его Алексей Степанович не слыхал, что говорит Оля. Постепенно лязганье стихло, и далекий свисток пронесся над водой.

— Ольга!— заговорил Данков, не открывая глаз.— Ты не уходи! А он ушел? Пр-рохвост.

Оля шепнула Алексею Степановичу и ответила, что ушел.

— Р-руку...— Данков с трудом выговаривал слова.— Р-руку положи. Дур-ра, не туда. На губы.

Оля положила руку и тотчас же отдернула ее.

— Ну что это вы, Иван Данилович! Опять за глупости.

— Не пр-ривыкла. А я, когда молодой был, всегда у бар-рышень р-ручки целовал. Душистые. Молодец я был. Дур-рак был.

Оля молчала, наклонившись над опухшей, безобразной головой. Алексей Степанович видел, как она поднесла

к глазам конец платка, и тихонько на носках вышел на балкончик. Там он прислонил голову к столбу, и, когда посмотрел на реку, все дрожало, и звезды дробились и сверкали, как большие бледно-синие круги. Ночь потемнела, и от безмолвной реки несло холодом.

Отсюда берегов не было видно, и если смотреть к городу, то казалось, что воде нет конца. Только по двум-трем точно висевшим в воздухе огонькам можно было догадаться, что в той стороне живет и волнуется многолюдный город.

Внезапно на верхушке горы, там, где должна была находиться соборная колокольня, блеснул яркий белый свет, и тьму прорезал столб электрического света, узкий в начале и широкий к концу, а куда он упал, там заблестели влажные крыши и засверкали штукатуренные стены. И в ту же, казалось, секунду и река, и темная ночь, и синее небо вздрогнули и загудели, и трудно было понять, откуда выходил этот густой, дрожащий от полноты, могучий и бодрый звук. И только когда присоединились к нему мягкие, идущие волной звуки с ближайшей колокольни, Алексей Степанович понял, что начался пасхальный благовест, и показалось ему похоже на то, словно пробудилась сотня великанов и заговорила, сдерживая в медной груди своей мощный голос. Он все расширялся и рос, и скоро все тихие звуки ночи утонули в его властном и радостном призыве. Со всех концов темного горизонта лились медные голоса, одни важные, старые и задумчиво-серьезные, другие молоденькие, звонкие, веселые, и сплетались между собою в разноцветную гирлянду и, как ручьи, вливались в мощную глубину соборного колокола.

Алексей Степанович снял шапку и перекрестился. И когда он обернулся, то увидел, что рядом стоит Оля и на бледном лице ее горит отблеск далекого белого света. Одной рукой она держалась за столб, другая придерживала на шее легкий платок.

Вот на колокольне Василия Великого вспыхнул пожаром красный бенгальский огонь и багровым заревом лег на черную реку. И во всех концах горизонта начали зажигаться красные и голубые огни, и еще темнее стала великая ночь. А звуки все лились. Они падали с неба и поднимались со дна реки, бились, как испуганные голуби, о высокую черную насыпь и летели ввысь, свободные, легкие, торжествующие. И Алексею Степановичу чудилось, что душа его такой же звук, и было страшно, что не выдержит тело ее свободного полета.

Руки его коснулась другая, горячая рука, и ухо различило тихий, боязливый и радостный шепот:

— Правда, что который человек на Пасху умирает, тот прямо на небо идет?

— Не знаю... Да, правда,— так же тихо ответил он.

Звуки все лились, и радость их становилась бурной, ликующей. Точно медные груди разрывались от радости и теплых слез.

На маленьком балкончике смутно темнели две человеческие фигуры, и ночь и вода окружали их. В досках пола ощущалось легкое, едва уловимое содрогание, и казалось, что весь старый и грешный домишко трясется от скрытых слез и заглушенных рыданий.

21—24 февраля 1900 г.

ПРАЗДНИК

I

С половины Великого поста Качерин почувствовал, что в мир надвигается что-то крупное, светлое и немного страшное в своей торжественности. И хотя оно называлось старым словом «праздник» и для всех других было просто и понятно, Качерину оно казалось новым и загадочным,— таким новым, как сознание своего существования. Последний год Качерину казалось, что он только что появился на свет, и все удивляло и интересовало его, а то, что было раньше и называлось детством, представлялось смешным, веселым и к нему не относящимся. И он помнил момент, когда началась его жизнь. Он сидел в своем классе на уроке и скучал, когда внезапно с удивительной ясностью ему представилось, что вот этот, который сидит на третьей парте, подпер голову рукой и скучает, есть он, Николай Николаевич Качерин, а вот эти — тот, что бормочет с кафедры, и другие, рассевшиеся по партам,— совсем иные люди и иной мир. Представление это было ярко, сильно и мгновенно, и потом Качерин уже не мог вызвать его, хотя часто делал к тому попытки: садился в ту же позу и подпирал голову рукой. Но зато все стало новым и полным загадочности: товарищи, отец и мать, книги и он сам.

Качерин был учеником седьмого класса гимназии, и одни из знакомых, старые, называли его просто «Коля», а все новые звали Николаем Николаевичем. Он был невы-

сокого роста, тоненький и хрупкий, с очень нежным цветом лица и вежливой тихой речью. Усики у него только что стали пробиваться и темной пушистой дорожкой проходили над свежими и красными губами. Родители Качерина были очень богатые люди и имели на одной из главных улиц города свой дом, при котором находился большой, в две десятины сад, громадные сараи и конюшни и даже колодец, из которого вся почти улица брала для себя воду.

У Качерина было много приятелей и один друг, Меркулов, которого он любил горячо и нежно и каждую неделю отсылал ему по большому, мелко исписанному письму. Меркулов был старше его двумя годами и с осени находился в юнкерском училище, откуда приезжал только на большие праздники. Имелись у Качерина и враги, по крайней мере, один враг — реалист, с которым он однажды подрался еще маленький, и с тех пор косился при встрече и одно время даже носил в кармане кастет. Была у него и возлюбленная — молодая, красивая и веселая горничная, однажды овладевшая им. В гимназии, дома и у знакомых все считали его очень счастливым юношей, но сам он находил себя глубоко несчастным. И причиной несчастья было то, что он сознавал себя порочным и лживым, а жизнь свою никому и ни на что не нужной. И много неразрешимых вопросов приходило ему в голову и выталкивало оттуда латынь и математику: нужно ли ему жить и зачем? Как сделать, чтобы быть довольным собой и чтобы все любили его? За последнюю учебную четверть он получил две двойки, и это грозило ему оставлением в классе на другой год. И то, что он так плохо учился и скрывал это от родителей, которые с своей стороны добродушно хвалили его, делало его окончательно негодным в его глазах. А если бы еще все, хвалившие его, знали, где он бывает с товарищами и что он делает там!

И надвигавшееся на мир что-то крупное, светлое и немного страшное, называвшееся старым именем «праздник», как будто несло с собой и ответ. И Качерин думал, что не может быть печальным этот ответ, и что обязательно явится некто и скажет, как нужно жить и для чего нужно жить. Будет ли это Меркулов, который приедет к Святой, или кто-нибудь другой, а может быть, даже и не кто-нибудь, а что-нибудь — Качерин не знал, но он ждал.

И праздник наступил.

II

Праздничное и новое началось с первых дней Страстной недели, но Качерин не сразу почувствовал его. Он ходил в гимназическую церковь, видел там товарищей и учителей, и все это было будничное и старое. Надзиратель, носивший странное название «Глиста», поймал его, когда он курил, и хотел жаловаться инспектору. Все было скучно и серо, и все лица казались тусклыми, и на них не было видно того, что замечалось раньше,— того же ожидания какой-то необычайной радости, как у него. Быть может, на всех влияла дурная погода: на Вербное воскресенье шел снег, а потом три дня стояли холод и слякоть, и нельзя было открыть ни одного окна. Но все же в воздухе носилось что-то раздражающее. На улицах экипажей и людей стало больше, чем всегда, и двигались они быстрее и говорили громче, и все обязательно толковали не о текущем дне, а о том, что они будут делать тогда, на праздниках. Настоящее точно провалилось куда-то, и люди думали об одном будущем.

И когда в пятницу появилось солнце и сразу нагрело и подсушило землю, надвигающийся праздник овладел всем живущим, и Качерин почувствовал его во всем. Но это все было только ожиданием, и раздражало и мучило. Качерин пошел в конюшню,— там кучер и дворник мыли экипажи и чистили лошадей, и были злы и неразговорчивы. Он несколько раз заглядывал на кухню — там происходило что-то необыкновенное. И всегда в будни Качерины ели очень много и хорошо, но теперь все готовили и готовили, и ни до чего из приготовляемого нельзя было касаться, так как оно предназначалось для праздника. И мать и отец уезжали на старенькой пролетке и привозили все новые кульки, и опять уезжали, и по всему дому разносили раздражающий, необычайный запах ванили, свежего теста и яиц. Всюду перед иконами горели лампадки, и нянька ругалась с маленькими детьми и не пускала их в залу и гостиную, где полы были начищены и уже все убрано. Завтрака совсем не было, а обед подали такой плохой, как будто есть теперь совсем было не нужно. Горничная Даша столкнулась с Качериным в буфетной, когда там никого не было, и хотя поцеловала его, но быстро и небрежно. Волосы у нее были не причесаны, и от голых рук шел тот же раздражающий запах ванили.

— Выйди в сад,— сказал Кочерин.

— И ни-ни-ни!— замотала головой Даша.— Вот!— растопырила она руки, показывая, сколько у нее дела.

Качерин вышел в сад, и сад показался ему полным того же страстного ожидания. Около террасы дорожки были уже вычищены и посыпаны желтым песком, но дальше, в глубине сада, было сыро и запущено, как это бывает после зимы. На дорожках лежал, прилипая к земле, прошлогодний лист, темный и промоченный насквозь; в углах у заборов белел нездоровый снег, и из-под него сочились струйки воды, чистой и прозрачной, как слеза. Местами темно-зелеными пучками сидела молодая крапива, и недалеко от нее выглядывал на свет остренький стебелек травы, одинокий и пугливый. Нагретые солнцем скамейки жгли руку, а весь неподвижный воздух казался до густоты насыщенным солнечным теплом, ароматом земли и невидимой молодой зелени. Радостно и тихо было в саду, и отчетливо доносилось с улицы скрипение ворота, поднимающего из колодца бадью. Но Качерин не мог наслаждаться этим покоем, и ему казалось, что сейчас и нельзя делать этого, а нужно ждать того, что называется «праздником». И он переходил от одной скамейки к другой, присаживался ненадолго и снова шел. Так он обошел весь сад, чего-то ожидая и ища, опять побыл в конюшнях и несколько раз выглянул на улицу, точно праздник должен был прийти именно оттуда. И до поздней ночи он ходил по дому и по двору и всем мешал, и всех молча спрашивал: скоро ли, наконец, придет он, ваш праздник?

В субботу днем мать сказала ему:

— Приехал твой Меркулов, сейчас видели его на Московской. Обещал вечером прийти.

Качерин вспыхнул и улыбнулся.

— И я рада,— ответила на его улыбку мать.— Скучать и мешаться не будешь.

Все кругом стало теперь ясно и понятно для Качерина, и он терпеливо стал ожидать, зная, кого он теперь ждет: Меркулова. Он думал о том, что он будет рассказывать своему другу, и ему чудилось, что одного простого рассказа достаточно для того, чтобы распутать и разрешить узел, в который завязалась его жизнь и который минуту назад представлялся неразрешимым. И он сделал приготовления для приема Меркулова: добыл через Дашу бутылку красного вина и две рюмки и все это поставил на окне в своей комнате. В эту минуту он забыл, что одним из пороков, внушавших ему отвращение к себе, была приобретенная в этом году привычка к вину.

Наступал вечер, и большой дом начал успокаиваться. Реже хлопала дверь из кухни, и умолкли в детской ворчли-

вые звуки нянькиных нотаций и звонкие голоса детей. Качерин прошелся по чистым и торжественно-молчаливым комнатам, сумеречно освещенным вздрагивающим огнем лампад. Белые кисейные занавеси у окон также, казалось, вздрагивали, и было все немного и страшно и весело, полно тихого и светлого ожидания,— так, как и должно быть в такой большой и хороший праздник.

Сейчас придет Меркулов. Что-нибудь задержало его.

Тихо было на дворе и в саду, куда прошелся Качерин. В конюшне громко стукнула копытом лошадь, и он вздрогнул от этого звука и подумал: сейчас придет Меркулов. У раскрытых дверей сарая горел фонарь, и кучер Евмен мазал чем-то свои сапоги.

— Скоро и к утрени, а?— ласково спросил он, узнав барчука в смутно темневшей тоненькой фигурке, и добродушно подмигнул:— А Дашку с куличами уже услали!

Он знал о любви Качерина к Даше, как знали это и все в доме, кроме родителей, и покровительствовал ей.

Почему же не идет Меркулов?

Еще раз Качерин прошелся по всем местам, где он уже был в этот вечер, и, стыдясь самого себя, отправился к калитке. Он был уверен, что, когда откроет ее и выглянет на улицу, увидит подходящего Меркулова и услышит его милый голос: «Здравствуй, Коля!» Осторожно, медленно Качерин открыл скрипнувшую калитку, выглянул, потом вышел на улицу и сел на холодные ступени каменного крыльца. Безлюдно и тихо было на улице. Издалека послышался звук экипажа, и Качерин приподнялся. Ближе. Всеми своими железными частями забренчала разбитая пролетка, и уже по одному звуку он догадался, что это возвращался один, без седока, запоздавший извозчик. Слышно стало, как ухают колеса в промытых водой колдобинах дороги и расплескивается под копытами жидкая грязь — и вновь настала глубокая тишина апрельской темной ночи. Долго еще сидел Качерин и много раз обманывался, думая, что вот наконец идет Меркулов.

Не пришел Меркулов.

Словами не мог определить Качерин того чувства, которое охватило его, когда он, нахолодавшийся, вернулся в свою чистую и светлую комнату. Он задыхался от гнева, тоски и слез, комком собравшихся в горле. Он мысленно произносил упреки, которые он сделал бы теперь, если бы пришел Меркулов, но они не складывались в фразы и переходили в дикий и неосмысленный крик:

— Подлец! Подлец!

Разве стоит после этого жить? Полгода не видались они; полгода днем и ночью думал он о той минуте, когда увидит своего друга и все расскажет ему: как тяжело и мучительно жить, когда нет смысла в жизни, когда нет души кругом, с которой можно было бы поделиться своим горем. Полгода не виделись — и он не мог прийти и остался с другими пошлыми людьми, которые интересны ему, дороги и милы! И Качерину кажется, что все страстное ожидание, которое так долго томило его, которое он видел начертанным на всех лицах и вещах, относилось к одному Меркулову. Один он, и только он, нес с собой ответ на все мучительные вопросы и обещал свет и радость и успокоение. О, если бы он пришел!

Подлец!

Качерин ставит на стол бутылку с красным вином и две рюмки и с искаженной усмешкой смотрит на них. Из той рюмки должен был пить он. Усмехаясь и качая головой, Качерин наливает обе рюмки, берет свою, чокается и пьет.

— За... твое здоровье!— говорит он вслух и не замечает этого.

Смотри же ты, оставшийся с пошлыми людьми, как гибнет твой друг, который так любит тебя. Смотри, как в одиночку, перед тенью бывшего, напивается он и падает все ниже и ниже. Стоит ли жить, когда так ничтожны и подлы люди? Стоит ли думать о себе, о своем достоинстве и жизни, когда ложь и обман царят над миром? Пусть гибнет все!

Уже целых две рюмки выпил Качерин и не почувствовал хмеля. Он ходил по комнате, садился и вновь ходил, и хватался руками за грудь и голову. Ему чудилось, что сейчас в них разорвется что-то и кровь потечет из глаз, вместо бесцветных слез. И то проклинал он, то молил, то о мести думал, то о смерти, и уверен был, что никто на свете не терпел таких мучений, как он, и ни к кому не была так безжалостна жизнь и люди. И когда он вспоминал о светлых минутах ожидания и о том, как долго и терпеливо он ждал, ему хотелось нанести себе самое тяжелое и позорное оскорбление.

В дверях комнаты послышался стук.

— Коля, а ты разве в церковь не пойдешь?— спросил голос матери.

Качерин поспешно схватил бутылку с вином и рюмки и на цыпочках отнес их к окну. Потом, усиленно стуча ногами, подошел к двери и открыл ее.

— А Меркулов-то твой не пришел,— сказала мать, оглядывая комнату.— Я думала, ты с ним сидишь.

— Вероятно, задержал кто-нибудь,— отвечал Качерин равнодушно и беззаботно.

— Должно быть. У него так много знакомых. А мы с отцом уезжаем.

Мать еще раз оглядела комнату, и Качерину показалось, что она особенно долго смотрела на занавеси окна, за которыми стояла бутылка, и вышла.

Качерин чувствовал, что в жизни для него все уже кончилось и теперь безразлично, останется ли он дома или пойдет в церковь. И ему захотелось пойти, чтобы увидеть, как веселы и счастливы все люди и как несчастлив только он один. Он нарочно будет смеяться и шутить, и никто не догадается, что этот юноша, такой молодой, такой хороший и веселый, думает о смерти и только одной ее жаждет. В зеркало взглянули на него большие глаза с темными кругами и бледное, страдальческое лицо. Качерин нахмурил брови, потом горько улыбнулся и подумал, что он сейчас рисуется.

— И пусть рисуюсь. Ведь я негодяй,— с усмешкой передернул он плечами.

Совсем близок был праздник, большой и загадочный, и Качерин снова ощутил замирающее чувство ожидания, когда вышел из дому. Отовсюду в церковь шли люди, и топот бесчисленных ног отдавался в тихой улице, и казалось, что умерли все остальные звуки. Медленно и грузно шмурыгали ногами старухи, и приостанавливались, и вздыхали; частым, мелким топотом отдавалась походка детей, и твердо и ровно стучали по камням ноги взрослых. И необыкновенная поспешность чувствовалась в стремительном движении толпы вперед, к чему-то неизвестному, но радостному. Даже разговоров слышно не было, точно люди боялись потерять хоть одну минуту и опоздать, и Качерин невольно ускорил шаги, и чем больше обгонял других, тем сильнее торопился.

Но вот и гимназия. В большой зале, в которой гимназисты гуляли во время перемен и свободных уроков, рядами стояли куличи, и около каждого была зажженная свеча. Отсюда не было слышно церковной службы, но прислуга, стоявшая у куличей, крестилась. По коридорам двигалась густая и пестрая толпа гимназистов в мундирах и барышень в белых и цветных платьях, и так странно было видеть этих чужих, веселых, болтливых людей в коридорах, где раньше было все так строго и чинно, и ходили учителя во фраках и с журналами. И все гулявшие смеялись и говорили, и на всех лицах сияла радость — по-видимому, праздник для

них уже наступил. Как будто уже случилось что-то необыкновенно радостное, или оно происходит сейчас, и люди присматриваются. Высокая плотина, за которой люди копили для себя веселье, оставаясь в ожидании его в обмелевшем русле жизни, казалось, дала уже трещины и с минуты на минуту готовилась рухнуть. Качерин чувствовал, как все выше и выше поднимаются вокруг него волны светлой радости, и люди захлебываются в них. Он прислушивался к разговорам; он вглядывался в лица и допрашивал смеющиеся глаза — и было во всех них что-то новое, незнакомое и чуждое. Старые знакомые пошлости звучали странным весельем и даже как будто бы умом. Люди встречались, улыбались, говорили: «здравствуйте», и оно звучало как поцелуй. При теплом сиянии свечей, лившемся и сверху, и снизу, и с боков, разглаживались морщины на лицах, и они становились неузнаваемыми, и в глазах блестел новый огонек: то ли отблеск свечей, то ли внутреннего света. Все выше и выше поднимались волны бурного и громкого веселья и смыкались над головой Качерина, но ни одна капля его не входила в его грудь и не освежала пересохшие от жажды уста. И как тогда, в классе, на миг блеснуло сознание одиночества и как молнией осветило черную пропасть, отделявшую его, этого уныло блуждающего по коридорам человека, от всего мира и от людей.

— Праздник... Как страшно это — праздник,— шептал Качерин, сторонясь от толкавших его веселых, довольных людей, которые так ласково глядели на него и так далеко были от него своими душами. И с ужасом, который так легко сообщался его уму, Качерин с поразительной ясностью представился самому себе в виде какого-то отверженца, Каина, на котором лежит печать проклятия. Весь мир живых людей и неживых предметов говорил на одном веселом, звучном языке. Качерин один не понимал этого языка и мучился от дикого сознания одиночества.

И Качерин ушел из сверкающего огнями здания гимназии, ища покой в темных улицах. Но, куда ни шел он, везде встречали его сияющие церкви, и около них шумно толпился народ, а в стекла окон он видел молодые и старые лица без морщин, и головы, медленно склонявшиеся после крестного знамения. Ни звука не доносилось из-за толстых стекол, и эта немая вереница светлых лиц, трепетавших под наплывом одного и того же глубокого блаженного чувства единения между собой и Богом, наводила страх на молодого отверженца. Так переходил он от одной церкви к другой, и всюду заглядывал в окна и видел одни и те же мерно

склонявшиеся головы и беззвучно шепчущие губы. И все страшнее и страшнее становилось Качерину. Ему чудилось, что это все одна и та же церковь с одними и теми же людьми вырастает у него перед глазами и загораживает дорогу, и гремит всеми своими горящими окнами, всеми своими колоколами, грозными, могучими:

— Проклятый! Проклятый!

И когда Качерин вспоминал свое недавнее горе от неприхода и измены Меркулова, он понимал, как оно ничтожно и слабо перед этим страхом одиночества и заброшенности, охватившим его душу. И еще более загадочным и страшным становился праздник, который он наконец видел всюду и которого не чувствовал и не понимал. Смолк грозно-веселый говор колоколов, с самых отдаленных концов темного города посылавших ему проклятие и насмешку, и Качерин совершенно машинально за толпой мещан полез на какую-то колокольню. Непроглядный мрак охватил его на переходах крутых и узеньких лестниц. Впереди скрипели ступени под тяжелыми шагами идущих, и Качерин, одной рукой держась за скользкие перила, другую протягивал вперед и думал, как глухо здесь и таинственно и непохоже на то́, что недалеко внизу молится тысячная толпа и поют священники и певчие.

Но вот голову его охватило нежным холодком весенней ночи, и возле себя он увидел медные, молчаливо отдыхавшие чудовища, а внизу крыши домов, плоские, как будто лежащие на мостовой. На железных откосах горели плошки, и пламя от фитилей сгибалось от неслышного, только ими ощутимого ветерка. И куда ни хватал взор, всюду он видел такие же мирно молчащие колокольни и огоньки плошек, взобравшихся так высоко, как звезды. И здесь был праздник, но другой, чем внизу — кроткий, торжественный и нежный, как ласка весеннего воздуха. Он не мучил Качерина, не дразнил его своим ярким блеском и шумным весельем, а входил в его грудь, ласковый и тихий, и что-то теплое переливалось в сердце. И когда Качерин прикоснулся рукой к холодному краю колокола, голос которого таким страшным и жестоким казался снизу, он звенел тихо и немного грустно. Точно и его медную грудь утомили бурные звуки громкого ликования.

Задумчивый и смягченный, Качерин спустился с колокольни и вошел внутрь церкви, которая стала близкой ему и дорогой, так как одна она из всех церквей так дружески и хорошо встретила его. Вероятно, то был бедный приход, или все хорошо одетые, богатые люди стояли ближе к ал-

тарю и к Богу, как думали они, только в тесной толпе молящихся не было раздражающей пестроты и яркости праздничных одежд, и лишь на лицах их светлый праздник, такой же кроткий и тихий, как и наверху. Пробираясь осторожно к стене, Качерин увидел девушку его лет, в коричневом форменном платье гимназистки, и остановился немного сзади нее. Она долго не замечала его пристального взгляда, но потом обернулась и кивнула головой, так как они были знакомы, и улыбнулась ласково и приветливо. Ни смущения, ни любопытства не прочел он во взоре ее ясных глаз, и улыбка ее была так проста, доверчива и мила, как мило и просто было все ее молодое, красивое лицо. Доверчивость и простота читались в медленном поднятии густых ресниц, в прозрачной и чистой краске щек, а особенно говорили о них, казалось Качерину, простенькие и наивно-милые колечки темных волос, поднимавшихся от белой шеи. И как будто так и нужно было случиться, как оно случилось: чтобы он пришел сюда и стал здесь возле нее, и иначе не могло быть. Кто-то вздохнул сзади Качерина глубоко и продолжительно, чей-то молитвенный шепот проникал в его ухо, а он смотрел на золоченый иконостас, задернутый синими клубами дыма и тускло сверкавший, и на милые колечки волос, и на белую нежную руку, неподвижно державшую свечу, и не понимал, что такое жгучее поднимается в нем. Чья-то рука осторожно коснулась его плеча и протянулась вперед с беленькой свечкой, обвитой тоненькой полоской золота.

— Спасителю!— тихо шепнул незнакомый голос.

Качерин так же осторожно коснулся плеча девушки и шепнул, протягивая свечу:

— Спасителю!

Она не расслышала, так как голос его был глух и прерывался, вопросительно-ласково подняла густые ресницы и ближе наклонила ухо. И так много было трогательной доверчивости в этом простом движении, и с такой непостижимой, чудной силой оно разрушило стену, за которой, чуждая миру и людям, мучительно содрогалась одинокая душа. Волны дивного веселья, прозрачные, светлые, подхватили ее и понесли, счастливую в своей беспомощности. Передав свечу дрожащей рукой, Качерин упал на колени — и мир утратил для него свою реальность. Он не понимал, где он находится, кто стоит возле него, и что поют где-то там, и откуда льется на него так много света. Он не знал, о чем плачет он такими горькими и такими счастливыми слезами, и стыдливо скрывал их, по-детски закрывая лицо

руками. Так хорошо и уютно было ему внизу, у людских ног, закрытому со всех сторон. В один могучий и стройный аккорд слилось все, что видели его глаза, ощущала душа: и она, эта девушка, такая милая и чистая, к которой страшно коснуться, как к святыне, и жгучая печаль о себе, порочном и гадком, и страстная, разрывающая сердце мольба о новой, чистой и светлой жизни. Не было радости в этой дивной песне пробудившейся души, но всю радость, какая существует в бесконечном мире, можно было отдать за один ее звук, чистый и печальный. И плакал Качерин, и каждая дрожащая слеза гранила чистую печаль, и сверкала она в душе, как драгоценный алмаз. С боязливой нежностью Качерин прижался губами к коричневому платью, и тоненькая полоска его, сжатая между его губами и осторожной рукой, не была грубым и пыльным куском дешевой материи, а была она тем чистым, тем светлым, ради которого только и стоит жить на свете.

Наступил праздник и для Качерина.

ПРЕКРАСНА ЖИЗНЬ ДЛЯ ВОСКРЕСШИХ

Не случалось ли вам гулять по кладбищам?

Есть своя, очень своеобразная и жуткая поэзия в этих огороженных, тихих и заросших сочной зеленью уголках, таких маленьких и таких жадных.

День изо дня несут в них новых мертвецов, и уже вот весь живой, огромный и шумный город перенесен туда, и уже народившийся новый ждет своей очереди,— а они стоят, все такие же маленькие, тихие и жадные. Особенный в них воздух, особенная тишина, и другой там и лепет деревьев — элегический, задумчивый, нежный. Словно не могут позабыть эти белые березки всех тех заплаканных глаз, которые отыскивали небо между их зеленеющими ветвями, и словно не ветер, а глубокие вздохи продолжают колебать воздух и свежую листву.

Тихо, задумчиво бредете по кладбищу и вы. Ухо ваше воспринимает тихие отголоски глубоких стонов и слез, а глаза останавливаются на богатых памятниках, скромных деревянных крестах и немых безвестных могилах, укрывших собой людей, которые немы были всю жизнь, безвестны и незаметны. И надписи на памятниках читаете вы, и встают в вашем воображении все эти исчезнувшие из ми-

ра люди. Видите вы их молодыми, смеющимися, любящими; видите вы их бодрыми, говорливыми, дерзко уверенными в бесконечности жизни.

И они умерли, эти люди.

Но разве нужно выходить из дому, чтобы побывать на кладбище? Разве не достаточно для этого, чтобы мрак ночи охватил вас и поглотил дневные звуки?

Сколько памятников, богатых и пышных! Сколько немых, безвестных могил!

Но разве нужна ночь, чтобы побыть на кладбище? Разве не достаточно для этого дня — беспокойного, шумного дня, которому довлеет злоба его?

Загляните в душу свою, и будет ли тогда день или ночь, вы найдете там кладбище. Маленькое, жадное, так много поглотившее. И тихий, грустный шепот услышите вы — отражение былых тяжелых стонов, когда дорог был мертвец, которого опускали в могилу, и вы не успели ни разлюбить его, ни позабыть; и памятники увидите вы, и надписи, которые наполовину смыты слезами, и тихие, глухие могилки — маленькие, зловещие бугорки, под которыми скрыто то, что было живо, хотя вы не знали его жизни и не заметили смерти. А может быть, это было самое лучшее в вашей душе...

Но зачем говорю я: загляните. Разве и так не заглядывали вы в ваше кладбище каждый день, сколько есть этих дней в длинном, тяжелом году? Быть может, еще только вчера вы вспоминали дорогих покойников и плакали над ними; быть может, еще только вчера вы похоронили кого-нибудь, долго и тяжело болевшего и забытого еще при жизни.

Вот под тяжелым мрамором, окруженная частой чугунной решеткой, покоится любовь к людям и сестра ее, вера в них. Как они были красивы и чудно хороши, эти сестры! Каким ярким огнем горели их глаза, какой дивной мощью владели их нежные белые руки!

С какой лаской подносили эти белые руки холодное питье к воспаленным от жажды устам и кормили алчущих; с какой милой осторожностью касались они язв болящего и врачевали их!

И они умерли, эти сестры, от простуды умерли они, как сказано на памятнике. Не выдержали леденящего ветра, которым охватила их жизнь.

А вот дальше покосившийся крест знаменует место, где зарыт в землю талант. Какой он был бодрый, шумный, ве-

селый; за все брался, все хотел сделать и был уверен, что покорит мир.

И умер — как-то незаметно и тихо. Пошел однажды на люди, долго пропадал там и вернулся разбитый, печальный. Долго плакал, долго порывался что-то сказать — и так, не сказавши, и умер.

Вот длинный ряд маленьких бугорков. Кто там?

Ах да. Это дети. Маленькие, резвые: шаловливые надежды. Их было так много, и так весело и людно было от них на душе,— но одна за другой умирали они.

Как много было их, и как весело было с ними на душе!

Тихо на кладбище, и печально шелестят листьями березки.

Пусть же воскреснут мертвецы! Раскройтесь, угрюмые могилы, разрушьтесь вы, тяжелые памятники, и расступитесь, о железные решетки!

Хоть на день один, хоть на миг один дайте свободу тем, кого вы душите своей тяжестью и тьмой!

Вы думаете, они умерли? О нет, они живы. Они молчали, но они живы.

Живы!

Дайте же им увидеть сияние голубого безоблачного неба, вздохнуть чистым воздухом весны, упиться теплом и любовью.

Приди ко мне, мой уснувший талант. Что так смешно протираешь ты глаза — тебя ослепило солнце? Не правда ли, как ярко светит оно? Ты смеешься? Ах, смейся, смейся — так мало смеху у людей. Буду с тобой смеяться и я. Вон летит ласточка — полетим за нею! Ты отяжелел в могиле? И что за странный ужас вижу я в твоих глазах — словно отражение могильной тьмы? Нет, нет, не надо. Не плачь. Не плачь, говорю я тебе!

Ведь так прекрасна жизнь для воскресших!

А вы, мои маленькие надежды! Какие милые и смешные личики у вас. Кто ты, потешный, толстый карапуз? Я не узнаю тебя. И чему ты смеешься? Или сама могила не устрашила тебя? Тише, мои дети, тише. Зачем ты обижаешь ее — ты видишь, какая она маленькая, бледненькая и слабая? Живите в мире — и не кружите меня. Разве не знаете вы, что я тоже был в могиле, и теперь кружится моя голова от солнца, от воздуха, от радости.

Пришли и вы, величавые, чудные сестры. Дайте поцеловать ваши белые, нежные руки. Что я вижу? Вы несете хлеб? Вас, нежных, женственных и слабых, не испугал мо-

гильный мрак, и там, под этой тяжелой громадой, вы думали о хлебе для голодных? Дайте поцеловать мне ваши ножки. Я знаю, куда пойдут они сейчас, ваши легкие быстрые ножки, и знаю, что там, где пройдут они, вырастут цветы — дивные, благоухающие цветы. Вы зовете с собой? Пойдемте.

Сюда, мой воскресший талант — что зазевался там на бегущие облачка? Сюда, мои маленькие, шаловливые надежды.

Стойте!..

Я слышу музыку. Да не кричи же ты так, карапуз! Откуда эти чудные звуки? Тихие, стройные, безумно-радостные и печальные. О вечной жизни говорят они...

...Нет, не пугайтесь. Это сейчас пройдет. Ведь от радости я плачу!

Ах, как прекрасна жизнь для воскресших!

МОЛЧАНИЕ

I

В одну лунную майскую ночь, когда пели соловьи, в кабинет к о. Игнатию вошла его жена. Лицо ее выражало страдание, и маленькая лампочка дрожала в ее руках. Подойдя к мужу, она коснулась его плеча и, всхлипнув, сказала:

— Отец, пойдем к Верочке!

Не поворачивая головы, о. Игнатий поверх очков исподлобья взглянул на попадью и смотрел долго и пристально, пока она не махнула свободной рукой и не опустилась на низенький диван.

— Какие вы оба с ней... безжалостные!— выговорила она медленно, с сильным ударением на последних слогах, и доброе, пухлое лицо ее исказилось гримасой боли и ожесточения, словно на лице хотела она показать, какие это жестокие люди — муж ее и дочь.

О. Игнатий усмехнулся и встал. Закрыв книгу, он снял очки, положил их в футляр и задумался. Большая черная борода, перевитая серебряными нитями, красивым изгибом легла на его грудь и медленно подымалась при глубоком дыхании.

— Ну, пойдем!— сказал он.

Ольга Степановна быстро встала и попросила заискивающим, робким голосом:

— Только не брани ее, отец! Ты знаешь, какая она...

Комната Веры находилась в мезонине, и узенькая деревянная лестница гнулась и стонала под тяжелыми шагами о. Игнатия. Высокий и грузный, он наклонял голову, чтобы не удариться о пол верхнего этажа, и брезгливо морщился, когда белая кофточка жены слегка задевала его лицо. Он знал, что ничего не выйдет из их разговора с Верой.

— Чего это вы?— спросила Вера, поднимая одну обнаженную руку к глазам. Другая рука лежала поверх белого летнего одеяла и почти не отделялась от него — такая она была белая, прозрачная и холодная.

— Верочка...— начала мать, но всхлипнула и умолкла.

— Вера!— сказал отец, стараясь смягчить свой сухой и твердый голос.— Вера, скажи нам, что с тобою?

Вера молчала.

— Вера, разве мы, твоя мать и я, не заслуживаем твоего доверия? Разве мы не любим тебя? И разве есть у тебя кто-нибудь ближе нас? Скажи нам о твоем горе, и, поверь мне, человеку старому и опытному, тебе будет легче. Да и нам. Посмотри на старуху мать, как она страдает...

— Верочка!..

— И мне...— сухой голос дрогнул, точно в нем что переломилось,— и мне, думаешь, легко? Как будто не вижу я, что поедает тебя какое-то горе... а какое? И я, твой отец, не знаю его. Разве должно так быть?

Вера молчала. О. Игнатий с особенной осторожностью провел по своей бороде, словно боялся, что пальцы против воли вопьются в нее, и продолжал:

— Против моего желания поехала ты в Петербург,— разве я проклял тебя, ослушницу? Или денег тебе не давал? Или, скажешь, не ласков был я? Ну, что же молчишь? Вот он, Петербург-то твой!

О. Игнатий умолк, и ему представилось что-то большое, гранитное, страшное, полное неведомых опасностей и чуждых, равнодушных людей. И там, одинокая, слабая, была его Вера, и там погубили ее. Злая ненависть к страшному и непонятному городу поднялась в душе о. Игнатия и гнев против дочери, которая молчит, упорно молчит.

— Петербург здесь ни при чем,— угрюмо сказала Вера и закрыла глаза.— А со мной ничего. Идите-ка лучше спать, поздно.

— Верочка!— простонала мать.— Дочечка, да откройся ты мне!

— Ах, мама!— нетерпеливо прервала ее Вера.

О. Игнатий сел на стул и засмеялся.

— Ну-с, так, значит, ничего?— иронически спросил он.

— Отец,— резко сказала Вера, приподнимаясь на постели,— ты знаешь, что я люблю тебя и мамочку. Но... Ну, так, скучно мне немножко. Пройдет все это. Право, идите лучше спать, и я спать хочу. А завтра или когда там — поговорим.

О. Игнатий порывисто встал, так что стул ударился о стену, и взял жену за руку.

— Пойдем!

— Верочка...

— Пойдем, говорю тебе!— крикнул о. Игнатий.— Если уже она Бога забыла, так мы-то!.. Что уже мы!

Почти насильно он вывел Ольгу Степановну, и, когда они спускались по лестнице, Ольга Степановна, замедляя шаги, говорила злым шепотом:

— У-у! Это ты, поп, сделал ее такой. У тебя переняла она эту манеру. Ты и ответишь. Ах я, несчастная...

И она заплакала, часто моргая глазами, не видя ступенек и так опуская ногу, словно внизу была пропасть, в которую ей хотелось бы упасть.

С этого дня о. Игнатий перестал говорить с дочерью, но она словно не замечала этого. По-прежнему она то лежала у себя в комнате, то ходила и часто-часто вытирала ладонями рук глаза, как будто они были у нее засорены. И, сдавленная двумя этими молчащими людьми, сама любившая шутку и смех, попадья робела и терялась, не зная, что говорить и что делать.

Иногда Вера выходила гулять. Через неделю после разговора она вышла вечером, по обыкновению. Более не видали ее живою, так как она в этот вечер бросилась под поезд, и поезд пополам перерезал ее.

Хоронил ее сам о. Игнатий. Жены в церкви не было, так как при известии о смерти Веры ее хватил удар. У нее отнялись ноги, руки и язык, и она неподвижно лежала в полутемной комнате, пока рядом с нею, на колокольне, перезванивали колокола. Она слышала, как вышли все из церкви, как пели против их дома певчие, и старалась поднять руку, чтобы перекреститься, но рука не повиновалась; хотела сказать: «Прощай, Вера!» — но язык лежал во рту громадный и тяжелый. И поза ее была так спокойна, что если бы кто-нибудь взглянул на нее, то подумал бы, что этот человек отдыхает или спит. Только глаза ее были открыты.

В церкви на похоронах было много народу, знакомых о. Игнатия и незнакомых, и все собравшиеся жалели Веру, умершую такою ужасною смертью, и старались в движени-

ях и голосе о. Игнатия найти признаки тяжелого горя. Они не любили о. Игнатия за то, что он был в обхождении суров и горд, ненавидел грешников и не прощал их, а сам в то же время, завистливый и жадный, пользовался всяким случаем, чтобы взять с прихожанина лишнее. И всем хотелось видеть его страдающим, сломленным и сознающим, что он виновен дважды в смерти дочери: как жестокий отец и дурной священнослужитель, не могший уберечь от греха свою же плоть. И все пытливо смотрели на него, а он, чувствуя направленные на его спину взгляды, старался выпрямлять эту широкую и крепкую спину и думал не об умершей дочери, а о том, чтобы не уронить себя.

— Каляный поп!— сказал, кивая на него, столяр Карзенов, которому он не отдал пяти рублей за рамы.

И так, твердый и прямой, прошел о. Игнатий до кладбища и такой же вернулся назад. И только у дверей в комнату жены спина его согнулась немного; но это могло быть и оттого, что большинство дверей были низки для его роста. Войдя со свету, он с трудом мог рассмотреть лицо жены, а когда рассмотрел, то удивился, что оно совсем спокойно и на глазах нет слез. И не было в глазах ни гнева, ни горя,— они были немы и молчали тяжело, упорно, как и все тучное, бессильное тело, вдавившееся в перину.

— Ну что, как ты себя чувствуешь?— спросил о. Игнатий.

Но уста были немы; молчали и глаза. О. Игнатий положил руку на лоб: он был холодный и влажный, и Ольга Степановна ничем не выразила, что она ощутила прикосновение. И когда рука о. Игнатия была им снята, на него смотрели, не мигая, два серые глубокие глаза, казавшиеся почти черными от расширившихся зрачков, и в них не было ни печали, ни гнева.

— Ну, я пойду к себе,— сказал о. Игнатий, которому сделалось холодно и страшно.

Он прошел в гостиную, где все было чисто и прибрано, как всегда, и одетые белыми чехлами высокие кресла стояли точно мертвецы в саванах. На одном окне висела проволочная клетка, но была пуста, и дверца открыта.

— Настасья!— крикнул о. Игнатий, и голос показался ему грубым, и стало неловко, что он так громко кричит в этих тихих комнатах, тотчас после похорон дочери.— Настасья!— тише позвал он.— Где канарейка?

Кухарка, плакавшая так много, что нос у нее распух и стал красный, как свекла, грубо ответила:

— Известно где. Улетела.

— Зачем выпустила?— грозно нахмурил брови о. Игнатий.

Настасья расплакалась и, вытираясь концами ситцевого головного платка, сквозь слезы сказала:

— Душенька... барышнина... Разве можно ее держать?

И о. Игнатию показалось, что желтенькая веселая канарейка, певшая всегда с наклоненной головкой, была действительно душою Веры и что если бы она не улетела, то нельзя было бы сказать, что Вера умерла. И он еще больше рассердился на кухарку и крикнул:

— Вон!— и, когда Настасья не сразу попала в дверь, добавил:— Дура!

II

Со дня похорон в маленьком домике наступило молчание. Это не была тишина, потому что тишина — лишь отсутствие звуков, а это было молчание, когда те, кто молчит, казалось, могли бы говорить, но не хотят. Так думал о. Игнатий, когда входил в комнату жены и встречал упорный взгляд, такой тяжелый, словно весь воздух обращался в свинец и давил на голову и спину. Так думал он, рассматривая ноты дочери, в которых запечатлелся ее голос, ее книги и ее портрет, большой, писанный красками портрет, который она привезла с собою из Петербурга. В рассматривании портрета у о. Игнатия установился известный порядок: сперва он глядел на щеку, освещенную на портрете, и представлял себе на ней царапину, которая была на мертвой щеке Веры и происхождения которой он не мог понять. И каждый раз он задумывался о причинах: если бы это задел поезд, он раздробил бы всю голову, а голова мертвой Веры была совсем невредима.

Быть может, ногой кто-нибудь задел, когда подбирали труп, или нечаянно ногтем?

Но долго думать о подробностях Вериной смерти было страшно, и о. Игнатий переходил к глазам портрета. Они были черные, красивые, с длинными ресницами, от которых внизу лежала густая тень, отчего белки казались особенно яркими, и оба глаза точно были заключены в черную, траурную рамку. Странное выражение придал им неизвестный, но талантливый художник: как будто между глазами и тем, на что они смотрели, лежала тонкая, прозрачная пленка. Немного похоже было на черную крышку рояля, на которую тонким, незаметным пластом налегла летняя пыль,

смягчая блеск полированного дерева. И, как ни ставил портрет о. Игнатий, глаза неотступно следили за ним, но не говорили, а молчали; и молчание это было так ясно, что его, казалось, можно было услышать. И постепенно о. Игнатий стал думать, что он слышит молчание.

Каждое утро, после обедни, о. Игнатий приходил в гостиную, окидывал одним взглядом пустую клетку и всю знакомую обстановку комнаты, садился в кресло, закрывал глаза и слушал, как молчит дом. Это было странное что-то. Клетка молчала тихо и нежно, и чувствовались в этом молчании печаль, и слезы, и далекий, умерший смех. Молчание жены, смягченное стенами, было упорно, тяжело, как свинец, и страшно, так страшно, что в самый жаркий день о. Игнатию становилось холодно. Долгим, холодным, как могила, и загадочным, как смерть, было молчание дочери. Словно самому себе было мучительно это молчание и страстно хотело перейти в слово, но что-то сильное и тупое, как машина, держало его неподвижным и вытягивало, как проволоку. И где-то, на далеком конце, проволока начинала колебаться и звенеть тихо, робко и жалобно. О. Игнатий с радостью и страхом ловил этот зарождающийся звук и, опершись руками о ручки кресел, вытянув голову вперед, ждал, когда звук подойдет к нему. Но звук обрывался и умолкал.

— Глупости!— сердито говорил о. Игнатий и поднимался с кресел, все еще прямой и высокий.

В окно он видел залитую солнцем площадь, мощенную круглыми, ровными камнями, и напротив каменную стену длинного, без окон, сарая. На углу стоял извозчик, похожий на глиняное изваяние, и непонятно было, зачем он стоит здесь, когда по целым часам не показывалось ни одного прохожего.

III

Вне дома о. Игнатию приходилось говорить много: с причтом и с прихожанами, при исполнении треб, и иногда с знакомыми, где он играл в преферанс; но, когда он возвращался домой, он думал, что он весь день молчал. Это происходило оттого, что ни с кем из людей о. Игнатий не мог говорить о том главном и самом для него важном, о чем он размышлял каждую ночь: отчего умерла Вера?

О. Игнатий не хотел понять, что теперь этого узнать нельзя, и думал, что узнать еще можно. Каждую ночь,— а они

все теперь стали у него бессонными,— представлял он себе ту минуту, когда он и попадья в глухую полночь стояли у кровати Веры и он просил ее: «Скажи!» И когда в воспоминаниях он доходил до этого слова, дальнейшее представлялось ему не так, как оно было. Закрытые глаза его, сохранившие в своем мраке живую, не тускнеющую картину той ночи, видели, как Вера поднимается на своей постели, улыбается и говорит... Но что она говорит? И это невысказанное слово Веры, которое должно разрешить все, казалось так близко, что если отогнуть ухо и задержать биение сердца, то вот-вот услышишь его, и в то же время так безнадежно далеко. О. Игнатий вставал с постели, протягивал вперед сложенные руки и, потрясая ими, просил:

— Вера!..

И ответом ему было молчание.

Однажды вечером о. Игнатий пришел в комнату Ольги Степановны, у которой он не был уже около недели, сел у ее изголовья и, отвернувшись от упорного, тяжелого взгляда, сказал:

— Мать! Я хочу поговорить с тобою о Вере. Ты слышишь?

Глаза молчали, и о. Игнатий, возвысив голос, заговорил строго и властно, как он говорил с исповедующимися:

— Я знаю, ты мыслишь, что я был причиной Вериной смерти. Но подумай, разве я любил ее меньше, чем ты? Странно ты рассуждаешь... Я был строг, а разве это мешало ей делать, что она хочет? Я пренебрег достоинством отца, я смиренно согнул свою шею, когда она не побоялась моего проклятия и поехала... туда. А ты,— ты-то не просила ее остаться и не плакала, старая, пока я не велел замолчать? Разве я родил ее такой жестокой? Не твердил я ей о Боге, о смирении, о любви?

О. Игнатий быстро взглянул в глаза жены — и отвернулся.

— Что я мог сделать с ней, если она не хотела открыть своего горя? Приказывать — я приказывал; просить — я просил. Что же, по-твоему, я должен был стать на колени перед девчонкой и плакать, как старая баба? В голове... откуда я знаю, что у нее в голове! Жестокая, бессердечная дочь!

О. Игнатий ударил кулаком по колену.

— Любви у нее не было — вот что! Что уж про меня говорить, уж я, известно... тиран... Тебя-то она любила? Тебя-то, которая плакала... да унижалась?

О. Игнатий беззвучно рассмеялся.

— Лю-юбила! То-то в утешение тебе и смерть такую выбрала. Жестокую, позорную смерть. Умерла на песке, в грязи... как с-собака, которую ногами в морду тыкают.

Голос о. Игнатия зазвучал тихо и хрипло.

— Стыдно мне! На улицу выйти стыдно! Из алтаря выйти стыдно! Перед Богом стыдно! Жестокая, недостойная дочь! В гробу проклясть бы тебя...

Когда о. Игнатий взглянул на жену, она была без чувств и пришла в себя только через несколько часов. И когда пришла, глаза ее молчали, и нельзя было понять, помнит она, что говорил ей о. Игнатий или нет.

В ту же ночь,— это была июльская лунная ночь, тихая, теплая и беззвучная,— о. Игнатий на цыпочках, чтобы не услыхали жена и сиделка, поднялся по лестнице и вошел в комнату Веры. Окно в мезонине не открывалось с самой смерти Веры, и воздух был сухой и жаркий, с легким запахом гари от накалившейся за день железной крыши. Чем-то нежилым и заброшенным веяло от помещения, в котором так давно отсутствовал человек и где дерево стен, мебель и другие предметы издавали тонкий запах непрерывного тления. Лунный свет яркой полосой падал на окно и на пол и, отраженный от белых, тщательно вымытых досок, сумеречным полусветом озарял углы, и белая чистая кровать с двумя подушками, большой и маленькой, казалась призрачной и воздушной. О. Игнатий открыл окно — и в комнату широкой струей влился свежий воздух, пахнущий пылью, недалекой рекой и цветущей липой, и еле слышное донеслось хоровое пение: вероятно, катались в лодке и пели. Неслышно ступая босыми ногами, похожий на белый призрак, о. Игнатий подошел к пустой постели, подогнул колени и упал лицом вниз на подушки, обняв их,— туда, где должно было находиться Верино лицо. Он долго лежал так, песня стала громче и потом умолкла, а он все лежал, и длинные черные волосы рассыпались по плечам и постели.

Луна передвинулась, и в комнате стало темнее, когда о. Игнатий поднял голову и зашептал, вкладывая в голос всю силу долго сдерживаемой и долго не сознаваемой любви и вслушиваясь в свои слова так, как будто слушал не он, а Вера.

— Дочь моя, Вера! Ты понимаешь, что это значит: дочь? Доченька! Сердце мое, и кровь моя, и жизнь моя. Твой старый... старенький отец, уже седой, уже слабый...

Плечи отца Игнатия задрожали, и вся грузная фигура заколыхалась. Подавляя дрожь, о. Игнатий шептал нежно, как маленькому ребенку:

— Старенький отец... просит тебя. Нет, Верочка, умоляет. Он плачет. Он никогда не плакал. Твое горе, деточка, твои страдания — они и мои. Больше, чем мои!

О. Игнатий покачал головой.

— Больше, Верочка. Ну что мне, старому, смерть? А ты... Ведь если бы ты знала, какая ты нежная, и слабая, и робкая! Помнишь, как ты поколола пальчик, и кровь капнула, и ты заплакала? Деточка моя! И ты ведь меня любишь, сильно любишь, я знаю. Каждое утро ты целуешь мою руку. Скажи, скажи, о чем тоскует твоя головка, и я — вот этими руками — я удушу твое горе. Они еще сильны, Вера, эти руки.

Волосы о. Игнатия встряхнулись.

— Скажи!

О. Игнатий впился глазами в стену и протянул руки.

— Скажи!

В комнате было тихо, и из глубокой дали пронесся продолжительный и прерывистый свисток паровоза.

О. Игнатий, поводя кругом расширившимися глазами, точно перед ним встал страшный призрак изуродованного трупа, медленно приподнялся с колен и неверным движением поднес к голове руку с растопыренными и напряженно выпрямленными пальцами. Отступив к двери, о. Игнатий отрывисто шепнул:

— Скажи!

И ответом ему было молчание.

IV

На другой день, после раннего и одинокого обеда, о. Игнатий пошел на кладбище — в первый раз после смерти дочери. Было жарко, безлюдно и тихо, как будто этот жаркий день был только освещенною ночью, но, по привычке, о. Игнатий старательно выпрямлял спину, сурово смотрел по сторонам и думал, что он все такой же, как прежде; он не замечал ни новой и страшной слабости в ногах, ни того, что длинная борода его стала совсем белой, словно жестокий мороз ударил на нее. Дорога к кладбищу шла по длинной прямой улице, слегка поднимавшейся вверх, и в конце ее белела арка кладбищенских ворот, похожая на черный, вечно открытый рот, окаймленный блестящими зубами.

Могила Веры находилась в глубине кладбища, где кончались усыпанные песком дорожки, и о. Игнатию долго пришлось путаться в узеньких тропинках, ломаной линией

проходивших между зеленых бугорков, всеми забытых и всеми покинутых. Местами попадались покосившиеся, позеленевшие от старости памятники, изломанные решетки и большие, тяжелые камни, вросшие в землю и с какой-то угрюмой, старческой злобой давившие ее. К одному из таких камней прижималась могила Веры. Она была покрыта новым, пожелтевшим дерном, но кругом нее все зеленело. Рябина обнялась с кленом, а широко раскинувшийся куст орешника протягивал над могилой свои гибкие ветви с пушистыми, шершавыми листьями. Усевшись на соседнюю могилу и передохнув, о. Игнатий оглянулся кругом, бросил взгляд на безоблачное, пустынное небо, где в полной неподвижности висел раскаленный солнечный диск,— и тут только ощутил ту глубокую, ни с чем не сравнимую тишину, какая царит на кладбищах, когда нет ветра и не шумит омертвевшая листва. И снова о. Игнатию пришла мысль, что это не тишина, а молчание. Оно разливалось до самых кирпичных стен кладбища, тяжело переползало через них и затопляло город. И конец ему только там — в серых, упрямо и упорно молчащих глазах.

О. Игнатий передернул похолодевшими плечами и опустил глаза вниз, на могилу Веры. Он долго смотрел на пожелтевшие коротенькие стебли травы, вырванной с землею откуда-нибудь с широкого, обвеваемого ветром поля и не успевшей сродниться с чуждой почвой,— и не мог представить, что там, под этой травой, в двух аршинах от него, лежит Вера. И эта близость казалась непостижимою и вносила в душу смущение и странную тревогу. Та, о которой о. Игнатий привык думать, как о навеки исчезнувшей в темных глубинах бесконечного, была здесь, возле... и трудно было понять, что ее все-таки нет и никогда не будет. И о. Игнатию чудилось, что если он скажет какое-то слово, которое он почти ощущал на своих устах, или сделает какое-то движение, Вера выйдет из могилы и станет, такая же высокая, красивая, какою была. И не только одна она встанет, но встанут и все мертвецы, которые так страшно ощутимы в своем торжественно-холодном молчании.

О. Игнатий снял широкополую черную шляпу, расправил волнистые волосы и шепотом сказал:

— Вера!

Ему стало неловко, что его может услышать кто-нибудь посторонний, и, встав на могилу, о. Игнатий взглянул поверх крестов. Никого не было, и он уже громко повторил:

— Вера!

Это был старый голос о. Игнатия, сухой и требовательный, и странно было, что с такою силою высказанное требование остается без ответа.

— Вера!

Громко и настойчиво звал голос, и, когда он умолкал, с минуту чудилось, что где-то внизу звучал неясный ответ. И о. Игнатий, еще раз оглянувшись кругом, отстранил волосы от уха и прилег им к жесткому, колючему дерну.

— Вера, скажи!

И с ужасом почувствовал о. Игнатий, что в ухо его вливается что-то могильно-холодное и студит мозг и что Вера говорит,— но говорит она все тем же долгим молчанием. Все тревожнее и страшнее становится оно, и когда о. Игнатий с усилием отдирает от земли голову, бледную, как у мертвеца, ему кажется, что весь воздух дрожит и трепещет от гулкого молчания, словно на этом страшном море поднялась дикая буря. Молчание душит его; оно ледяными волнами перекатывается через его голову и шевелит волосы; оно разбивается о его грудь, стонущую под ударами. Дрожа всем телом, бросая по сторонам острые и внезапные взгляды, о. Игнатий медленно поднимается и долгим, мучительным усилием старается выпрямить спину и придать гордую осанку дрожащему телу. И это удается ему. С намеренной медлительностью о. Игнатий отряхивает колени, надевает шляпу, трижды крестит могилу и идет ровною, твердою поступью, но не узнает знакомого кладбища и теряет дорогу.

— Заблудился!— усмехается о. Игнатий и останавливается на разветвлении тропинок.

Но стоит он одну секунду и, не думая, сворачивает налево, потому что ждать и стоять нельзя. Молчание гонит. Оно поднимается от зеленых могил; им дышат угрюмые серые кресты; тонкими, удушающими струями оно выходит из всех пор земли, насыщенной трупами. Все быстрее становятся шаги о. Игнатия. Оглушенный, он кружится по одним и тем же дорожкам, перескакивает могилы, натыкается на решетки, цепляется руками за колючие жестяные венки, и рвется в клочья мягкая материя. Только одна мысль о выходе осталась в его голове. Из стороны в сторону мечется он и, наконец, бесшумно бежит, высокий и необыкновенный в развевающейся рясе и с плывущими по воздуху волосами. Сильнее, чем самого вставшего из гроба мертвеца, испугался бы всякий, встретив эту дикую фигуру бегущего, прыгающего и размахивающего руками человека, увидев его перекосившееся безумное лицо, услыхав глухой хрип, выходивший из его открытого рта.

Со всего разбегу о. Игнатий выскочил на площадку, в конце которой белела невысокая кладбищенская церковь. У притвора на низенькой лавке дремал старичок, по виду дальний богомолец, и возле него, наскакивая друг на друга, спорили и бранились две старухи нищенки.

Когда о. Игнатий подходил к дому, уже темнело и в комнате Ольги Степановны горел огонь. Не раздеваясь и не снимая шляпы, пыльный и оборванный, о. Игнатий быстро прошел к жене и упал на колени.

— Мать... Оля... пожалей же меня! — рыдал он.— Я с ума схожу.

И он бился головой о край стола и рыдал бурно, мучительно, как человек, который никогда не плачет. И он поднял голову, уверенный, что сейчас свершится чудо и жена заговорит и пожалеет его.

— Родная!

Всем большим телом потянулся он к жене — и встретил взгляд серых глаз. В них не было ни сожаления, ни гнева. Быть может, жена прощала и жалела его, но в глазах не было ни жалости, ни прощения. Они были немы и молчали.

. . . .

И молчал весь темный опустевший дом.

1—5 мая 1900 г.

МЕЛЬКОМ

По одному неприятному и скучному делу я был вызван из Москвы и освободился только к десяти часам вечера, развинченный и злой. Другого дела у меня не было, но я торопливо шел на станцию, по привычке человека, у которого лежит в боковом кармане записная книжка, а в ней против каждого дня отмечены десятки мест, куда нужно поспеть, и ругал, ругал... право, не знаю кого. Весь свет ругал: и тех, кто вызвал меня по этому глупому делу, и себя за то, что поехал, и собак, существование которых в этой местности я предполагал, и дождливое лето, и ночной мрак, который уже царил всюду, особенно сгущаясь в узеньких путаных переулках, пролегавших между дачами. Посередине еще светлела дорога, но по краям, где под тенью высоких деревьев проходила пешеходная тропинка, было так же черно, как и у меня на душе. По времени свету полагалось больше — это происходило в последних числах июня,— но

перед тем только что пронеслась сильная гроза, с проливным дождем и ветром, и посеревшие тучи еще не успели рассеяться, точно им было так же трудно и неприятно двигаться в теплом и сыром воздухе, как и мне. Минутами они спохватывались, как пьяница, который вспоминает, что в одном из карманов у него еще завалялся непропитый пятак, и, возвратившись, с треском бросает его удивленному целовальнику,— и посылали на землю редкие, запоздавшие капли, лениво ударявшиеся о листья и траву и наполнявшие окрестность тихим шуршанием. Деревья не шевелились, и только когда я с усиленной бранью налетал плечом на темный ствол сосны или задевал ногой кустарник, на меня сыпались частые теплые брызги. У меня уже начинала являться приятная догадка о том, что вместо станции я иду к черту на кулички, когда деревья внезапно раздвинулись, точно провалились, и в нескольких шагах на просветлевшем пространстве тускло блеснули мокрые рельсы.

Маленькая крытая платформочка, задавленная окружающим лесом и ежеминутно пугаемая громыхающими поездами, робко прижималась к земле. На ней не было даже кассы, и в продолжительной агонии кончался холостяк-фонарь, не только не рассеивая тьмы, но скорее увеличивая ее. На стене висело большое, оборванное по краям и никогда не читаемое расписание каких-то поездов с мудреными линиями и черными ободами, а в углу стояла единственная лавка, на которую я плотно уселся. До поезда оставалось еще более часу, и я приготовился терпеливо ждать. Для этих случаев у меня всегда бывала припасена газета или книга, но читать было темно, да и не хотелось. Эти чужие и выдуманные люди, о которых будет говорить газета или книга, давно уже вызывали во мне скуку и зависть. Что мне до того, что там где-то гремят витии, кипит жизнью шумная толпа, и крики победы, и яростные вопли побежденных поднимаются к небу,— когда вокруг меня спит самый воздух, и сам я кисну и буду киснуть в этой неподвижной духоте? А в книге еще хуже: сочиненные Петры будут любить и целовать выдуманных Марий, во имя проклятого реализма порок будет торжествовать, а слюнявая добродетель ныть и киснуть, киснуть и ныть! Да и не все ли равно: быстро или медленно пойдет время? За этим часом пойдут другие, и их тоже нужно будет убивать,— так пусть они умирают сами, а я буду только подсчитывать трупы.

Увлеченный нытьем, я не заметил, как на платформу вышли из разных концов две пары. Первую составляли два подвыпившие господина. Один из них был высокий худо-

щавый старик с желтым лицом и реденькой седой бороденкой, от тонкого и широкого рта спускавшейся клочками на гусиную шею. Из-под котелка, оставлявшего в тени верхнюю часть лица, спускался тонкий и длинный нос, на конце острый, как у покойника. Спутник его обладал широким и красным лицом, подобным ломтю зрелого арбуза,— причем роль зерен выполняли маленькие черные глазки,— стриженой круглой головой, на которой торчал белый картуз. Над пухлыми губами чернели маленькие усики. От всей его молодой, толстой фигурки несло нестерпимым блаженством и какой-то обидной кротостью. Старик уселся возле меня и заговорил высоким, хриплым фальцетом, которому он старался придать язвительность и иронию:

— Будьте, Семен Семеныч, солидарнее! Вас немного намочило, вы и починяйтесь.

— Но чем же я починюсь, Василь Игнатыч? Буфета нет.

— Это дело ваше. Толцыте и отверзется.

— Чему отверзаться-то? Стена.

Молодой человек в подтверждение своих слов стукнул кулаком в тонкую стену, издавшую звук пустого пространства, и откачнулся назад, но сделав при этом такой вид, как будто ему давно уже хотелось откачнуться и он только пользуется удобным случаем.

— Но зачем утруждаете вы меня вашими гнусными воплями?— спросил старик.

Весь он был преисполнен вежливости, иронии и яда, которым особую силу придавали частые знаки препинания.

— Сердце у меня золотое, с хорошим человеком поговорить желательно. Покурим, старина?

— Это дело ваше. А только я не старина, я — Василь Игнатыч и всякой пьяной свинье не товарищ.

— А сами-то вы не пили?— оскорбился тот.

— Это дело наше.

Другая пара стояла между тем в нерешимости.

— Уйдем, Саша, тут пьяные.

— Ничего, они тихие, сядем вон там, в углу.

Высокая женская фигура в сером клеенчатом плаще медленно тронулась, и за ней последовал тот, кого называли Саша. Когда они проходили мимо фонаря, свет упал на красивое женское лицо и юношу с длинными волосами и в синей с косым воротом рубашке. Видом своим он напоминал интеллигентного рабочего или студента, снявшего форму. Девушка держалась спокойно и говорила решительно, мало придавая значения тому, что ее услышат. Голос ее — чистый и мягкий — звучал лаской в самом простом

слове. Такие женщины, с ласковым голосом и уверенными движениями, особенно хорошо ухаживают за больными.

Разостлав на полу клеенчатый плащ, они уселись, тесно прижавшись друг к другу, и из-за лохматой головы на плечо легла тонкая белая рука.

— Милый, тебе не холодно?

— Конечно нет,— ответил он с тем пренебрежением, каким мужчины отвечают на женскую заботливость.

А мне уже становилось холодно, и я зябко ежился в своем одиноком и жестком углу.

— А как нас знатно вымочило!— продолжал тот же ласковый голос со скрытым смехом.— И как страшно в лесу, когда гроза.

— Ну, что там страшного. Скорее — приятно. А твои там, дома, не будут беспокоиться о тебе? Запропала неведомо куда.

— Пусть их,— ответила девушка и счастливо рассмеялась, но тотчас же перешла в серьезный тон:— А странно, правда, что время так долго тянется без тебя. Ты когда был здесь?

— Вчера.

— Вчера?— протянул голос.— И то ведь вчера. Вот потеха-то! Я думала, что они врут.

— Кто они?

— Да вот те, что романы пишут.

— Кстати, кончила ты Каутского? У меня просили его.

Ответа я не слыхал. Уже давно доносился издали гул, тихий и неотзывчивый в сером воздухе, поглощающем звуки. То шел не то пассажирский, не то курьерский поезд, не останавливающийся на этой платформе. Постепенно гул возрастал, и из-за стены, закрывавшей от меня правую сторону пути, внезапно вырвалось черное и огненное чудовище и промчалось, как вихрь, с громом и лязгом, таща за собой тяжелые вагоны. Освещенные окна сливались в одну блестящую полосу с мелькающими силуэтами голов. С низенькой платформы, стоявшей почти на одном уровне с рельсами, видно было, как торопливо вертятся колеса, кажущиеся легкими и прозрачными.

Наступила минутная тишина, нарушенная блаженным молодым человеком, в котором этот пронесшийся ураган, видимо, пробудил новые силы. Отчаянно-фальшивым голосом он запел:

Бледный месяц... плывет над ре-е-кою...

— Врешь,— комментировал старик с язвительностью.— Возьмите глаза в зубы, и вы увидите тучи.

...Все в а-объятьях... ночной тишины...

— Хороша тишина! Орет как пришпандоренный.

...Ничего мне на свете... не надо-о-о...

— И опять врете. Полбутылки надо.

...Только видеть... тебя одноё!..

— Эту рожу-то? Тьфу,— с омерзением плюнул старик.

— Послушайте! Почему вы говорите, что у нее рожа? Вы сами видели, какая у нее прелестная личность.

— К вашей пьяной роже никакая личность не подойдет.

Молодой человек задумался и решительно произнес:

— За эти слова я больше с вами незнаком.

— Дело ваше.

С другой стороны слышалось:

— Ты понюхай, Саша, как хорошо пахнет: листьями и еще чем-то.

— Да уж нюхал.

— Нет, пожалуйста, еще.

Юноша с шипением потянул воздух, и оба рассмеялись. На блаженного молодого человека молчание действовало удручающе, и он заговорил, подражая ироническому тону старика:

— А вот с каким поездом мы поедем?

— Ни с каким.

— Н-ну?— изумился молодой человек и икнул.— Почему же это, хотел бы я знать?

— Потому что не пустят. Скажут: куда, пьяная морда, лезешь?

— Это кто же морда-то? Скажем: две пьяные морды.

— Да еще по шее накладут,— ехидничал старик.

— О?

— Да протокол составят.

— О?— все больше таращились глаза молодого человека.

— Да в титы. Посиди, голубчик, охладись, а то чувствителен больно.

Молодой человек задумался и торжественно провозгласил:

— Я с вами больше незнаком, потому что вы вредный человек.

Несмотря на то что эту торжественную формулу он заключил новой звучной икотой, видно было, что он огорчился и весь как-то потускнел, точно по его блаженству прошлись сапожной щеткой. Я понял теперь и причину этого омраченного блаженства: оно было тем отпечатком, который накладывают на человека ласки и поцелуи любимой женщины. Но на что злился старик?

— Какой мрачный господин,— сказала шепотом девушка, очевидно, намекая на меня.

Мне было приятно, что я замечен и что, главное, замечена моя мрачность. Пусть хоть пожалеют меня эти милые люди,— меня, у которого нет любви.

— Бабушку схоронил,— предположил юноша.

Это предположение было поразительно глупо. Кто бывает так мрачен, схоронив бабушку, и почему именно бабушку, а не дедушку?

— Ха-ха-ха!— звонко рассмеялась девушка, но сейчас же, с своим обычным переходом к милой серьезности, добавила раскаивающимся голосом:— Быть может, он болен, а мы смеемся.

Это была эпитафия, с которой меня снова опустили в пучину небытия, откуда извлекли на одну минуту, чтобы моя мрачность ярче оттенила их светлое счастье. И снова повелся ими серьезный, деловой разговор о загранице, о медицинском институте, о правилах приема в него, о книжках прочитанных и тех, которые нужно еще прочесть, а в этот разговор врывалась шаловливым лучом милая и пустая болтовня, легкая и красивая, словно белая пена на поверхности золотистого крепкого вина. Весь мир казался им пустяком, и каждый пустяк был целым миром. Чувствовалось то благоговейное внимание, с которым эта высокая, красивая девушка ловила каждое слово, которое скупо, как драгоценность, выпускал длинноволосый юноша. Каким благодарным смехом отвечала она, когда это слово оказывалось умным и острым. Рассыпь сейчас перед ней Цицерон все самые пышные цветы из своего неувядаемого венка, блистай перед ней Гейне всеми перлами язвительной насмешки и мистически-страстной нежности, плачь и хмурься перед нею Данте, соберись тут, наконец, все великие умы и сердца и положи к ногам ее дары свои, она, эта красивая девушка, не обернула бы к ним головы и жадным ухом ловила бы каждое слово длинноволосого молодца. Она смеется, счастливая и благодарная, точно все это: и ее

возлюбленный, и смешные пьяные, и сумрачный господин, схоронивший свою бабушку, существуют лишь для полноты ее счастья. Мы не были живые люди,— мы были лишь тени, картинки.

— Как быстро бежит время!— жаловалась она.

— А я не знал, как убить это время!

— Может быть, мои часы спешат?

Маленькие золотые часики сблизились с большими серебряными часами, и обе головы склонились над ними. Но, вероятно, кроме часов, сблизилось что-нибудь другое, потому что слишком уже долго не определялся настоящий час.

— Кажется, верно?— смущенно сказал женский голос с легкой дрожью.

— Верно!— авторитетно сказал юноша.

Верно! Как слепы эти счастливые люди. Неверно! Тысячу раз неверно! И проклянете тот день, когда ваши часы пойдут так правильно, что ни в одной убитой минуте вы не ошибетесь, и маленькие часики далеко от вас будут отбивать такие же грустные и пустые секунды!

Тучи уже проходили, и на западе прямо против платформы светлой полосой проступило чистое, прозрачное небо. На нем чернели, как вырезанные из плотной бумаги, силуэты разбросанных деревьев. Свежее и суше стал воздух, на ближайшей даче глухо зарокотал рояль, и к нему присоединились согласные, стройные голоса.

— Пойдем слушать,— быстро вскочила девушка и потащила за рукав неуклюже поднимавшегося юношу.

Пойдем и мы,— пусть до конца оттаивает застывшее сердце. Пели хорошо, как редко поют на дачах, где каждая безголосая собака считает себя обязанной к вытью. И песня была грустная и нежная. Мягкий, красивый баритон гудел сдержанно и взволнованно, как будто подтверждая то, на что страстно жаловался высокий и звучный тенор. А жаловался он на то, что дни и ночи думает все о ней одной.

— Об одной тебе думу думаю,— плакал тенор.

— Думу думаю,— грустно соглашался баритон.

— Об одной тебе, моя душечка,— звенел слезами тенор.

— Душечка,— мягко подтверждал баритон.

— И умру я, жизнь проклинаючи, об одной тебе вспоминаючи...

— Об одной тебе вспоминаючи,— с глубокою тоскою подтвердил баритон, и все стихло.

Впереди меня молча и неподвижно стояла парочка и, когда песня кончилась, разом вздохнула — и поцеловалась. Я отправился на платформу, откуда послышался отчаянно-фальшивый голос, беззаботно обходившийся всего двумя нотами, одинаково скверными: простым криком и диким криком. Молодой человек с золотым сердцем не мог остаться нечувствительным к любовному призыву и отвечал, как умел...

Ничего мне... на свете... не нада-а...
Только видеть тебя одноё...

— Врете!— шипел старик, пытаясь заглушить кричащего.— Дубину хорошую надо!

Бедный старик! Теперь я понял, почему он так злился. Он завидовал, как и я.

Потрещал звонок, извещающий о выходе поезда, и вскоре послышался тот же ровный и тихий гул. Сейчас поезд унесет меня отсюда, и навеки исчезнет для меня эта низенькая и темная платформочка, и только в воспоминании увижу я милую девушку. Как песчинка, скроется она от меня в море человеческих жизней и пойдет своею далекой дорогой к жизни и счастью.

Снова из-за стены вырвалось черное чудовище и, сдержанное могучей властью, остановило, вздрагивая, свой стремительный бег. Находя друг на друга и треща и скрипя тормозами, проползали вагоны и остановились с глухим стуком. Стало тихо, и только шипел воздух, выходя из тормозных труб.

Пьяных действительно на поезд не пустили, и старик с злорадством говорил:

— Что? Поехали?

— Нич-чево. Поедем на следующем.

— А на следующем и по шее накладут.

Я стоял на площадке вагона, против длинноволосого юноши, пристально смотревшего на высокую, стройную фигуру, таким же продолжительным взглядом впившуюся в него. Поезд дернулся и плавно пошел, отрывисто стуча и покачиваясь на стыках рельсов.

— До свиданья, Саша,— сказала девушка.

— До свиданья,— ответил он.

— Прощай,— тихо молвил я, склоняя голову.

— До завтра!— донеслось уже издали и глухо.

— До завтра!— крикнул он.

«Навсегда»,— ответил тихо я. «Навсегда»,— прощались

со мной черные силуэты деревьев и убегали назад. «Навсегда»,— сказала платформа и скрылась за поворотом.

Однако пойти в вагон, а то становится холодновато: мечты мечтами, а насморк насморком. Да заглянуть заодно и в записную книжку: куда и куда бежать мне завтра спозаранку.

ПЕРВЫЙ ГОНОРАР

I

Помощник присяжного поверенного Толпенников выслушал в заседании суда две речи, выпил в буфете стакан пустого чаю, поговорил с товарищем о будущей практике и направился к выходу, деловито хмурясь и прижимая к боку новенький портфель, в котором одиноко болталась книга «Судебные речи». Он подходил уже к лестнице, когда чья-то большая холодная рука просунулась между его туловищем и локтем, отыскала правую руку и вяло пожала ее.

— Алексей Семенович!— воскликнул Толпенников с выражением радости и почтения, так как холодная рука принадлежала его патрону.

— Куда?— вяло спросил патрон, высокий, сутуловатый человек.

Спрашивая, он не смотрел на Толпенникова, и взгляд его, усталый и беспредметный, был устремлен куда-то в глубину длинного коридора, где мелькали у светлых дверей темные тени, шуршали по камню ногами, поднимая еле заметную пыль, и болтали.

— Да домой!— оживленно и громко ответил Толпенников.— Я тут с утра. Ах, если бы вы знали, как все это интересует меня!

С тем же оживлением он начал передавать свои впечатления от речи Пархоменко, которая очень понравилась ему, между тем как тяжелая, холодная рука незаметно увлекала его наверх, в комнату совета присяжных поверенных. Там Алексей Семенович молча раскрыл свой туго набитый портфель, покопался в нем и протянул помощнику бумаги в синей обложке с крупной надписью «Дело».

— Вот. Завтра в съезде. Тут и доверенность.

Толпенников покраснел и, протягивая обе руки, запинаясь, спросил:

— Как завтра? И я... А вы?

— Я сегодня еду в Петербург,— равнодушно и устало говорил патрон, медленно опускаясь в кресло. Тяжелые веки едва приподнимались над глазами, и все лицо его, жел-

тое, стянутое глубокими морщинами к седой щетинистой бородке, похоже было на старый пергамент, на котором не всем понятную, но печальную повесть начертала жестокая жизнь.

— Но как же?— отталкивал Толпенников бумаги.— Ведь я... Это завтра?

Последнее слово он выговорил с особенным страхом и особенным почтением.

— Да. Тут все есть. Приговор мирового. Черновик моей апелляционной жалобы. Ну, да все. Постарайтесь не провалить. Фрак есть?

— Есть, то есть нет, но я достану. Но ведь я... боюсь. Как это вдруг?..

Алексей Семенович медленно поднял свои усталые глаза на помощника, все еще державшего в руках бумаги, и как будто знакомое что-то, старое и давно забытое, увидел в этом молодом, испуганно-торжественном лице. Выражение усталости исчезло, и где-то в глубине глаз загорелись две маленькие звездочки, а кругом появились тоненькие лучеобразные морщинки. Такое выражение бывает у взрослых людей, когда они случайно увидят играющих котят, что-нибудь маленькое, забавное и молодое.

— Боитесь?— улыбался он.— Это пройдет.

Алексей Семенович поднялся, медленно расправил согнутую спину и, смотря поверх голов прежним беспредметным взглядом, повторил равнодушно и устало:

— Да, пройдет. Ну, мне пора.

Снова Толпенников ощутил прикосновение холодной, вялой руки и увидел согнутую, покачивающуюся спину патрона. Одним из адвокатов бросая отрывистые кивки, другим на ходу пожимая руки, Алексей Семенович большими ровными шагами прошел в накуренную, грязную комнату и скрылся за дверью, мелькнув потертым локтем ненового фрака,— а помощник все еще смотрел ему вслед и не знал, нужно ли догонять патрона, чтобы отдать ему бумаги, или уже оставить их у себя.

И оставил их у себя.

Вечером Толпенников готовился к защите и думал, что он никогда не станет защитником. С внешней стороны дело было ясно и просто и всей своей ясностью и простотой говорило, что жена действительного статского советника Пелагея фон Брезе виновна в продаже из своего магазина безбандерольных папирос. Мировой судья, осудивший ее, был совершенно прав, и непонятно было только одно, как мог ее защищать Алексей Семенович, а после обвинения

как он мог написать жалобу, слабую по аргументам и больше, казалось, чем сам обвинительный приговор, уличавшую г-жу фон Брезе. Таково было первое впечатление от прочитанных бумаг, и Толпенников, утром еще такой счастливый, представлялся себе стоящим перед глубокой и темной ямой и таким жалким, что не верилось в недавнее счастье. На стуле в углу висел распяленный фрак, добытый у знакомого помощника, вызывающе лез в глаза своей матово-черной поверхностью и напоминал те мысли и мечты, которые носились в голове Толпенникова каких-нибудь два часа тому назад. Они были ярки, образны и наивно-благородны, эти мысли и мечты. Не кургузым, нелепо комичным одеянием представлялся фрак, а чем-то вроде рыцарских лат, равно как и сам Толпенников казался себе рыцарем какого-то нового ордена, призванного блюсти правду на земле, защищать невинных и угнетенных. Самое слово «защитник» до сих пор вызывало в нем сдержанно-горделивый трепет и представлялось большим, звучным, точно оно состоит не из букв, а отлито из благородного металла. Только в мыслях иногда осмеливался Толпенников применять его к себе и всякий раз испытывал при этом страх, и как влюбленный ожидает первого свидания, так и он ожидал первой защиты.

Толпенников не знал, что ему теперь делать, и в отчаянии снова уселся за бумаги. Они лежали все такие же, четко переписанные, ясные, но Толпенников не понимал их и невольным движением спустил еще ниже висевшую над столом электрическую лампочку. Номер, в котором он жил, был мал и грязен, но освещался электричеством, и это особенно ставилось на вид Толпенникову, когда два дня тому назад его пригласили в контору для объяснений и настоятельно потребовали денег за два прожитых месяца. Постепенно туман перед глазами рассеивался, и Толпенников стал вдумываться в смысл того, что беззвучно выговаривали его зубы. И тогда на левой странице, внизу, он заметил одну пропущенную подробность, которая была в пользу г-жи фон Брезе и давала несколько иное освещение делу. И хотя это была подробность, благоприятное сочетание слов, а не факт, но он обрадовался и сразу почувствовал себя бодрым, сообразительным, как всегда, и виноватым перед патроном и г-жой фон Брезе.

Толпенников улыбнулся, почесал себе нос и зачем-то слегка покачал его двумя пальцами, поддернул брюки, которые у него всегда сползали, и вышел прогуляться в длинный коридор. Вернувшись оттуда, он внимательно осмотрел

фрак сверху и с подкладки, улыбнулся и подумал, что фрак велик для его роста и широк. Потом с некоторой боязнью сел за бумаги и стал внимательно читать их, делая на полях отметки, сверяясь с акцизным уставом и часто почесывая нос то пальцем, то карандашом. Он еще не приучил черт своего лица к серьезной неподвижности, и улыбался, и покачивал головой, и чмокал губами, маленький, худенький и наивно-великодушный.

К двенадцати часам Толпенников сложил бумаги в портфель, зная дело так, как не знал его никогда патрон, не понимая своих сомнений и колебаний. Невинность г-жи фон Брезе была очевидна, и приговор мирового судьи был ошибкой, легко понятной, так как и сам Толпенников вначале ошибался. Довольный собой, довольный делом и патроном, он еще раз осмотрел фрак, сверху и с подкладки, и нервно потянулся при мысли, что завтра наденет его и будет защищать. Достав из стола почтовой бумаги, Толпенников начал писать отцу:

«Дорогой папаша! Ты можешь не высылать мне денег и лучше перешли их Алеше, который нуждается, вероятно, и в обмундировке и в учебниках. Я получил от патрона дело (последняя фраза была подчеркнута) очень интересное и буду завтра защищать»...

Над последним словом Толпенников остановился и, подумав, отложил начатый листок в сторону и взял другой. Улыбнувшись, энергично почесав нос, он ближе нагнулся к столу и начал писать, не разгонистым почерком, как отцу, а мелким и убористым:

«Любимая моя Зина! Можешь ты вообразить меня во фраке, стоящим перед судьями и защищающим? Одна рука на груди, другая вперед... Нет, не могу шутить, я слишком счастлив сейчас, и если бы только была здесь ты, моя родная, неизменная, терпеливая Зиночка. Сейчас 12 часов, и я только что кончил»...

Электрическая лампочка потухла. С секунду краснела ее тонкая проволочка, а потом стало темно, и только из коридора, через стеклянное окно над дверью, лился слабый свет. Было не двенадцать часов, а час, когда в номерах тушилось электричество.

— Черт бы вас побрал с вашим электричеством,— обругался Толпенников, осторожно, чтобы не разлить чернил, нащупывая письмо и кидая его в стол.

Улегшись, Толпенников долго не засыпал и думал о генеральше фон Брезе, которая представлялась ему седой величественной дамой, об акцизном уставе и серых далеких

глазах. Между глазами и уставом была какая-то связь и становилась все крепче и загадочнее, и, стараясь понять ее, Толпенников уснул, маленький, худенький и наивно-счастливый.

II

Действительный статский советник в отставке, г. фон Брезе, бритый, как актер, величественно повел большим носом в сторону Толпенникова и сухо пояснил, что жена его быть на суде не может вследствие болезни.

— Эта гнусная история потрясла организм моей супруги,— сказал фон Брезе, смотря на кончик носа Толпенникова.— Вы помощник Алексея Семеновича?

Толпенников подумал, что генерал не доверяет ему и считает слишком молодым для ответственного дела. Сконфуженно, но в то же время задорно он сказал:

— Хотите доверенность посмотреть?

— Ах, что вы!— отмахнулся рукой фон Брезе.— Но мы говорили о генеральше. Она потрясена, молодой человек. По-тря-се-на. Вы понимаете...

Фон Брезе отвел Толпенникова немного в сторону, хотя в этом не виделось надобности, наклонился к самому его лицу и поднял палец.

— Вы понимаете? Полиция...— утвердительно кивал он головой, поднимая кверху брови и губы, так что последние почти коснулись красноватого носа.— Насчет... понимаете?— Он отвел назад руку с растопыренными пальцами и открытой ладонью, показывая, как берутся взятки. Затем откачнулся назад и еще раз кивнул головой.— Да-да. Представьте.

Толпенников сочувственно покачал головой, думая: «Экая цаца!» Генерал пристально и задумчиво посмотрел на нос Толпенникова и с внезапным приливом дружеской приязни взял его под руку и еще на два шага отвел в сторону:

— Я уже не раз представлял ей: зачем нам магазин? Какая-то та-бач-ная торговля? А?— спрашивал генерал, отводя рукой в сторону воображаемую торговлю.— Но она: хочу. А?

— Да, уж это...— неопределенно сочувствовал Толпенников.

— Да?— откачнулся назад фон Брезе.— Но не угодно ли?

К Толпенникову протянулась рука с раскрытым серебряным портсигаром.

— Спасибо, я не курю.

— Да? Но я закурю, если позволите.

Двумя пальцами, большим и указательным, генерал достал папиросу, постучал ею о крышку портсигара и закурил. Голубоватый дым тонкой струйкой поднимался вверх. Фон Брезе плавным движением руки направляет дым к себе и, щурясь, нюхает его.

— Мои папиросы,— говорит он удовлетворенно.— Других не выношу. А он нашел там несколько...

— Четыре тысячи, однако,— вставляет Толпенников.

— Да? Я люблю запас. И говорит: без-бан-де-роль-ные. Смешно!

Толпенникову неприятен генерал и немного жаль, что приходится выступать по такому сухому делу о нарушении акцизного устава. Но несправедливость — всегда несправедливость, думает он и горячо берется за допрос свидетелей. Он не замечает, что многие из публики улыбаются его фраку, фалды которого спускаются ниже подколенного сгиба; по привычке поддергивает сползающие брюки, не думая о неприличии этого жеста, и смотрит прямо в рот говорящему свидетелю. Как маленькая злая ищейка, он тормошит толстого околоточного надзирателя. Тот, не отрываясь, глядит на судей, бросая в сторону адвоката отрывистые и гулкие слова. Он весь полон скрытого негодования; шея его, сдавленная твердым воротником, краснеет и багровой полосой ложится на узкий серебряный галун, голова его неподвижно обращена к судьям, но коротенький круглый нос его, оттопыренные губы, усы, все это сдвигается в сторону ненавистного молокососа. Толпенников следит за глухой борьбой толстяка с гневом и дисциплиной и наслаждается; чисто по-студенчески он ненавидит полицию и не допускает мысли о человечности полицейских. Толстые, тонкие — они равны в его глазах. За свидетелями обвинения идет черед свидетелей защиты, и невинность г-жи фон Брезе устанавливается с очевидностью. Слово предоставлено защитнику. Толпенников подробно и дельно анализирует свидетельские показания и очень много и горячо говорит о муках этой женщины, над седой головой которой нависло такое позорное обвинение. Искренность молодого защитника заражает судей, они благосклонно смотрят на него, и один, справа, даже кивает в такт речи головой.

Пока судьи совещаются, Толпенников выкуривает с генералом папиросу, о чем-то смеется, кому-то пожимает руку и уходит в глубину залы, к окну, чтобы еще раз пережить

свою речь. Она звучит еще в его ушах, когда его настигает толстяк околоточный.

— Позвольте вам доложить,— начинает он вежливо, дотрагиваясь до плеча Толпенникова. Тот оборачивается, ненавистный вид молодого, дерзкого лица выводит околоточного из себя. Округлив глаза, нос и рот, околоточный выбрасывает, как из мортиры:

— Стыдно-с!

Толпенников улыбается, и на выцветших глазах околоточного показывается какая-то муть.

— Стыдно-с, молодой человек. Я вам... в отцы гожусь.

Он еще хочет что-то сказать, но не может придумать ничего достаточно сильного и выразительного.

— Стыдно-с!— повторяет он, с ненавистью глядя на улыбающееся лицо, круто поворачивается, как на смотру, и отходит.

Как и ожидал Толпенников, съезд отменяет приговор судьи и признает г-жу фон Брезе по суду оправданной. Генерал важно пожимает руку защитника.

— Благодарю вас, господин Толпенников.

В руке Толпенникова что-то остается. Подчиняясь странному, плохо сознаваемому чувству необходимости принять то, что передали в его руку, он некоторое время держит руку сжатой, потом с любопытством открывает ее и видит на ладони два золотых, не то десяти-, не то пятнадцатирублевого достоинства. Толпенникова неприятно передергивает, он срывается с места и бежит по лестнице, крича:

— Эй, послушайте! Как вас!.. Генерал!

Но фон Брезе нет в прихожей, не видно его и на улице. Толпенников еще раз рассматривает золотые,— они по пятнадцати рублей,— и, словно не чувствуя уважения к деньгам, которые достались ему таким неприятным путем, кладет их не в портмоне, а небрежно опускает в жилетный карман. На секунду задумавшись, он снова идет наверх, так как ему жаль расстаться с тем местом, где он испытал такие приятные и горделивые чувства. В зале он видит одного из свидетелей защиты, приказчика фон Брезе. Это пестро одетый человек, с острым лицом, острой рыжеватой бородкой и толстым перстнем-печаткой на указательном пальце, покрытом, как и вся рука, частыми крупными веснушками. Острые глаза его косят, и весь он дышит фальшью, угодничеством и нестерпимой фамильярностью, но Толпенников чувствует к нему расположение и подходит.

— Ну как?— спрашивает он, улыбаясь.

— Ловко обработали дельце,— одобряет приказчик и, подмаргивая в ту сторону, куда ушел генерал, добавляет:— Удрал наш-то. Супругу поздравлять полетел.

— Еще бы, конечно, тяжело. Две недели отсидеть пришлось бы.

— Еще как! Ну, да и то сказать, беда-то не велика. Она уже раз отсиживала да раз штраф заплатила.

— Отсиживала?— не понимает Толпенников.

— Ну да, отсиживала. Ее тогда Иван Петрович защищал, ну, да пришел пьяный и такого нагородил! Наш-то взбеленился, жаловаться на него хотел. Да что уж!— И приказчик махнул веснушчатой рукой.

Толпенников мучительно краснеет, не решаясь понять того, что так ясно, и вместе с тем понимая и ужасаясь.

— Отсиживала?— еще раз повторяет он пошлое, резкое слово.— Эта почтенная дама!

— Почтенная! Из кухарок дама-то эта. На кухарке наш женился, Палашкой звать. Вот и они об этом знают. Верно, Абрам Петрович?

Абрам Петрович одет прилично, но ботинки его запылены и там, где выпирает мизинец,— порваны, и все его пятнистое, хотя также приличное лицо имеет такой вид, точно он каждую минуту собирается подойти и благородно попросить на бедность. Он протягивает Толпенникову толстую, потную руку и потом уже отвечает на вопрос приказчика голосом, хриплым от водки и от простуды:

— Верно. Сына из-за этой швали, извините за выражение, на улицу выгнал.

— А ловко вы это насчет седой головы подпустили!— хвалит приказчик.— А у нее голова запросто рыжая, чистый шиньон.

— Верно,— хвалит Абрам Петрович.

— А папироску наш-то вам давал?— спрашивает приказчик, и глаза его сближаются в готовности к смеху.

Толпенников сердито кивает головой, и приказчик смеется. Смеется хриплым басом и Абрам Петрович.

— Дурак-дурак, а поди какие фокусы выкидывает! А сам и курить не умеет, только дым пущает. Ну и жох!— удивляется приказчик.

— Но как же вы,— говорит сурово Толпенников, хмуря брови и подтягивая сползающие брюки,— как же вы сами показывали, что он папиросы эти для себя держит?

Приказчик и Абрам Петрович переглядываются и смеются. Затем приказчик внезапно становится серьезным и протягивает руку:

— А засим до свидания-с. Дозвольте и напредки быть знакомым. Ежели когда мимо случится, так уж не обойдите. Для вас всегда сотенка найдется. Пойдем, Абрам Петрович. Седая голова... Ах ты, Боже мой! — еще раз напоминает он Толпенникову его удачное выражение и уходит.

Толпенников все еще стоит на месте, опустив голову и заложив руки в карманы. Когда перед его глазами появляется загадочная фигура Абрама Петровича, Толпенникову кажется, что он хочет чего-то попросить, и вопросительно смотрит на его грязное, осклабленное лицо.

— А я к вам, господин Толпенников,— говорит Абрам Петрович почти шепотом и наклоняясь к помощнику,— если когда понадобится, так уж будьте милостивы, не откажите воспользоваться услугами, спросите только у Ивана Сазонтыча приказчика; они знают, где меня найти.

— На что понадобится?— удивленно спрашивает Толпенников.

На лице Абрама Петровича мелькает удивление, потом сомнение и сменяется понимающей примирительной улыбкой.

— Уж не оставьте,— повторяет он.— Они знают. Прямо так и спрашивайте Абрама Петровича.

— Вон!— вскрикивает Толпенников тонким фальцетом, и Абрам Петрович отходит, низко кланяясь, но не протягивая на этот раз руки. На лестнице он оборачивается и еще раз говорит:

— Так уж не оставьте.

Время еще раннее, и до разговора с приказчиком Толпенников намеревался пойти в совет, чтобы натолковаться между своими и поделиться впечатлениями первой защиты; но теперь ему совестно себя и совестно всего мира, и кажется, что всякий, только взглянув на его лицо, догадается о происшедшем. И по улице идти совестно, и хотелось бы спрятать портфель, чтобы никто не догадался о его звании «защитника». Придя домой, Толпенников боязливо отложил в сторону этот портфель, в котором он чувствовал присутствие изученного им дела, осторожно повесил жилет, не решаясь достать из его кармана золотые и еще раз взглянуть на них, и отвернулся от стола, в котором лежали начатые письма к отцу и к Зине. И все в этой маленькой комнатке казалось чуждым ему, странно угловатым и грубым, и смотрело на него, как незнакомый, пошлый и враждебно настроенный человек. Толпенников попробовал читать кни-

гу, но не мог сосредоточиться на ней и вздрагивал от неприятного чувства, как будто кто-то неприятный стоит у него за плечами или сейчас войдет в дверь. И, только улегшись в постель, повернувшись к стене и натянув на голову одеяло, он почувствовал себя спокойнее и перестал бояться мира, который вошел ему в душу — такой грязный, отвратительный и жестокий.

Вечером, когда стемнело, Толпенников пошел к патрону, но тот не вернулся еще из Петербурга. Ни к кому другому идти он не хотел. Близких людей у него не было, и Толпенников до поздней ночи шатался по бульварам. Дома, куда Толпенников вернулся очень поздно, было все так же неуютно, угловато и враждебно. Раньше он любил посидеть за самоваром, помечтать и попеть тонким приятным тенорком, разгуливая по номеру и с любовью посматривая на полку с книгами и на фотографии на стенах, но теперь было противно все это и ото всего хотелось уйти: и от самовара, и от книг, и от фотографий.

— Ду-рак!— искренно и серьезно пожалел себя Толпенников, ложась в постель и сжимаясь в маленький круглый комок, как продрогший ребенок. Но сон не приходил, не приходил вместе с ним и покой. Отчетливо, как галлюцинация, виделось пятнистое, приличное лицо Абрама Петровича и близко наклонялось, осклабленное, фамильярное, и оно было не одно, а со всех сторон назойливо лезли другие такие же лица и так же осклаблялись, и подмигивали, и предлагали свои услуги. И, как маленькому, хотелось отбиваться от этих призраков руками, плакать и просить у кого-то защиты.

На следующий день Толпенников застал Алексея Семеновича дома. Прием клиентов еще не окончился, несмотря на поздний час, и из кабинета глухо доносился незнакомый голос, что-то рассказывавший и о чем-то спрашивавший. В большой приемной чувствовалось недавнее присутствие людей, пахло табачным дымом, альбомы на круглом столе были разбросаны и некоторые раскрыты, и кресла вокруг стола расставлены в беспорядке. Толпенников успел рассмотреть несколько альбомов с видами Швейцарии и Парижа, и эти дурно исполненные картинки, одинаковые во всех приемных, докторских и адвокатских, наполнили его чувством терпеливой скуки и какого-то безразличия к себе и к собственному делу, когда дверь из кабинета раскрылась и выпустила запоздавшего клиента — невысокого, толстого мужчину с широкой русой бородой и маленькими серыми

глазами. Он еще раз повернулся к захлопнувшейся уже двери, точно желая сказать что-то забытое, но раздумал и быстро двинулся к передней, не глядя на Толпенникова и чуть не сбив его.

— Что хорошенького скажете?— спросил патрон. Он только что вышел из-за своего стола и, стоя возле, усталым и медленным движением подносил ко рту стакан крепкого чаю. Но, по-видимому, чай был совсем холодный, потому что Алексей Семенович поморщился и так же медленно поставил стакан на место.

— Ничего хорошего, Алексей Семенович.

— Проиграли?— поднял брови патрон.

— Нет, не проиграл, но...

Словно не слыша помощника, Алексей Семенович обычным движением взял его под руку и сказал:

— Пойдемте в столовую. Нужно фортку открыть.

— Нет, позвольте мне здесь сказать,— уперся Толпенников.

— Здесь? Ну, выкладывайте,— согласился патрон и, оставив руку Толпенникова, опустился на диван. В своем коротком пиджачке, без значка, он казался помощнику проще и добрее и вызывал к откровенности. Не садясь, часто поддергивая сползающие брюки, Толпенников с волнением передал случившееся, не умолчав ни об Абраме Петровиче, ни даже о «седой голове» Пелагеи фон Брезе. Патрон слушал молча, не поднимая глаз и слегка покачивая ногой с высоким старомодным каблуком, и только при рассказе о седой голове улыбнулся и посмотрел на помощника добрыми, но немного насмешливыми глазами.

— Ну?— спросил он, когда тот кончил рассказ, и добавил:— Вы все равно бегаете по комнате. Позвоните, голубчик.

Когда явилась горничная, Алексей Семенович спросил ее, давно ли уехала жена, и приказал открыть фортки в приемной.

— Ну?— еще раз спросил он помощника.— Дальше.

— Думаю выйти из сословия,— мрачно ответил Толпенников. По правде, он не думал выходить из сословия, но его обидело равнодушие патрона и хотелось чем-нибудь особенно резким оттенить свое состояние.

— Пустое,— ответил Алексей Семенович с проблеском обычной усталости.— Но какой гусь этот фон Брезе, а с виду положительный дурак.

— Но ведь это...

— Что это? Ведь судьи оправдали?

— Оправдали, но...

— И никаких «но». Оправдали — значит, имели данные оправдать. Вы-то при чем? Ведь вы не искажали показаний? Не подкупали этого приказчика или кого там? А относительно того, что вам там что-то говорили, так кому до этого дело?

Патрон промолчал и продолжал устало и равнодушно:

— Не надо вот было денег в руки брать. Это нехорошо. И он нарочно в руку сунул, чтобы подешевле отделаться. Вы мне сейчас деньги эти возвратите, а денька через два я вам отдам, сколько стоит. У нас с ним свои счеты. И не надо было о «седой голове» говорить, ведь об этом в деле ничего нет.

Толпенников покраснел и мрачно ответил:

— Сам не знаю, как это меня дернуло. Но я был уверен, что голова седая.

— Ну, это не так важно,— улыбнулся патрон,— хотя другой раз будьте осторожнее. У вас есть бумаги, есть свидетели, над этим и орудуйте. А от себя — зачем же?

— Но ведь в действительности она виновна?

— В действительности!— нетерпеливо сказал Алексей Семенович.— Откуда мы можем знать, что происходит в действительности? Может быть, там черт знает что, в этой действительности. И нет никакой действительности, а есть очевидность. А другой раз вы только с приказчиками не разговаривайте. Вы свободны сегодня вечером?

— Да, свободен.

— Перепишите-ка мне одну копийку. А действительность оставьте, нет никакой действительности.

Толпенников переписал копию, и не одну только, а целых три. И, когда, согнув голову набок и поджав губы, он трудолюбиво выводил последнюю строку, патрон заглянул через плечо в бумагу и слегка потрепал по плечу.

— Действительность! Ах, чудак, чудак!

На секунду выражение усталости исчезло с его лица, и глаза стали мягкими, добрыми и немного печальными, как будто он снова увидел что-то давно забытое, хорошее и молодое.

РАССКАЗ О СЕРГЕЕ ПЕТРОВИЧЕ

I

В учении Ницше Сергея Петровича больше всего поразила идея сверхчеловека и все то, что говорил Ницше о сильных, свободных и смелых духом. Сергей Петрович плохо знал немецкий язык, по-гимназически, и с переводом ему было много труда. Работу значительно облегчал Новиков, товарищ Сергея Петровича, с которым он в течение полутора учебных лет жил в одной комнате и который в совершенстве владел немецким языком и был начитан по философии. Но в октябре 189— года, когда до окончания перевода «Так сказал Заратустра» оставалось всего несколько глав, Новиков был административно выслан из Москвы за скандалы, и своими силами Сергей Петрович подвинулся вперед очень мало, но не сожалел об этом и вполне удовлетворялся прочитанным, которое он целыми страницами знал наизусть и притом по-немецки. Дело в том, что в переводе, как бы он ни был хорош, афоризмы много теряли, становились слишком просты, понятны, и в их таинственной глубине как будто просвечивало дно; когда же Сергей Петрович смотрел на готические очертания немецких букв, то в каждой фразе, помимо прямого его смысла, он видел что-то не передаваемое словами, и прозрачная глубина темнела и становилась бездонною. Иногда ему приходила мысль, что, если на свете явится новый пророк, он должен говорить на чужом языке, чтобы все поняли его. Конца книги, единственной из сочинений Ницше, которую оставил Новиков, он так и не перевел.

Сергей Петрович был студент третьего курса естественного факультета. В Смоленске у него жили родители, братья и сестры, из которых одни были старше его, другие моложе. Один брат, самый старший, был уже доктором и хорошо зарабатывал, но помогать семье не мог, так как обзавелся уже собственной семьей. Существовать Сергею Петровичу приходилось на пятнадцать рублей в месяц, и этого ему хватало, так как он обедал бесплатно в студенческой столовой, не курил и водки пил мало. Когда Новиков еще не уезжал, они пили очень много, но это ничего не стоило Сергею Петровичу, потому что все расходы по пьянству брал на себя Новиков, у которого постоянно имелись дорогие уроки по языкам. Раз по вине того же Новикова, любившего в пьяном виде сидеть на деревьях бульвара, куда взлезал за ним и Сергей Петрович, мировой судья пригово-

рил обоих товарищей к десяти рублям штрафа, и штраф уплатил Новиков. При простоте товарищеских отношений это было вполне естественно и ни в ком не возбуждало сомнений, кроме самого Сергея Петровича. Но отсутствие денег было фактом, с которым приходилось мириться.

Существовали и другие факты, с которыми приходилось мириться, и когда Сергей Петрович глубже вглядывался в свою жизнь, он думал, что и она — факт из той же категории. Он был некрасив,— не безобразен, а некрасив, как целые сотни и тысячи людей. Плоский нос, толстые губы и низкий лоб делали его похожим на других и стирали с его лица индивидуальность. К зеркалу он подходил редко и даже чесался так, на ощупь, а когда подходил, то долго всматривался в свои глаза, и они казались ему мутными и похожими на гороховый кисель, в который свободно проникает нож и до самого дна не натыкается ни на что твердое. В этом отношении, как и во многих других, он отличался от друга своего Новикова, у которого были зоркие, смелые глаза, высокий лоб и правильно очерченный, красивый овал лица. И высокое туловище, когда на нем приходилось носить такую голову, казалось Сергею Петровичу не достоинством, а недостатком, и, быть может потому, он горбился, когда ходил. Но самым тяжелым для Сергея Петровича фактом казалось то, что он был неумен. В гимназии учителя считали его прямо глупым и в младших классах открыто высказывали это. По поводу одного его нелепого ответа батюшка назвал его «бестолочь смоленская и могилевская», и хотя прозвище и не привилось к нему, а стало нарицательным для всякого тупого ученика, Сергей Петрович не забыл его происхождения. И изо всего, кажется, класса он один оставался до конца без прозвища, если не считать имени «Сергей Петрович», которым величали его все: учителя, гимназисты и сторожа. Не было в нем ничего такого, на что можно было бы привесить остроумную кличку. В университете товарищи, очень вообще любившие распределять друг друга по уму, Сергея Петровича относили в разряд ограниченных, хотя никогда не высказывали этого ему прямо в лицо, но он догадывался сам по одному тому, что никто никогда не обращался к нему с серьезным вопросом и разговором, а всегда с шуткою. Стоило в то же время появиться Новикову, разговор тотчас переходил на серьезные темы. Вначале Сергей Петрович безмолвно протестовал против общего признания его ограниченным человеком и пытался сделать, сказать или написать что-нибудь умное, но, кроме смеха, ничего из этого не выходило. Тогда он

убедился сам в своей ограниченности и убедился так крепко, что, если бы весь мир признал его гением, он не поверил бы ему. Ведь мир не знал и не мог знать того, что знал Сергей Петрович о себе. Мир мог услыхать от него умную мысль, но он мог не знать, что мысль эта украдена Сергеем Петровичем или приобретена после такого труда, который совершенно обесценивал ее. То, что усваивалось другими на лету, ему стоило мучительных усилий и все-таки, даже врезавшись в память неизгладимо, оставалось чужим, посторонним, точно это была не живая мысль, а попавшая в голову книга, коловшая мозг своими углами. Особенное сходство с книгой придавало то обстоятельство, что всегда рядом с мыслью стояла ясная и отчетливая страница, на которой он ее прочел. Те же мысли, при которых не показывались страницы и которые Сергей Петрович считал поэтому своими, были самые простые, обыкновенные, не умные, и совершенно походили на тысячи других мыслей на земле, как и лицо его походило на тысячи других лиц. Трудно было помириться с этим фактом, но Сергей Петрович помирился. В сравнении с ним другие маленькие фактики — отсутствие талантов, слабая грудь, неловкость, безденежье — казались неважными.

Незаметно для самого себя Сергей Петрович сделался мечтателем, наивным и неглубоким. То он представлял себе, что он выигрывает 200 000 руб. и едет путешествовать по Европе, но дальше того, как он сядет в вагон, он ничего представить не мог, так как у него не было воображения. То он думал о каком-то чуде, которое немедленно сделает его красивым, умным и неотразимо привлекательным. После оперы он представлял себя певцом; после книги — ученым; выйдя из Третьяковской галереи — художником, но всякий раз фон составляла толпа, «они»,— Новиков и другие,— которые преклоняются перед его красотою или талантом, а он делает их счастливыми. Когда длинными, неуверенными шагами, опустив голову в выцветшем картузе, Сергей Петрович шел в столовую, никому в голову не приходило, что этот невидный студент с плоским ординарным лицом в настоящую минуту владеет всеми сокровищами мира. В столовой он сжимался, наскоро проглатывал легонький обед и старался смотреть в сторону, когда проходил знакомый студент и глазами отыскивал свободное место. Он боялся таких встреч, так как никогда не знал, о чем говорить, а молча испытывал неловкость. Часто повторявшиеся мечты стали приобретать тень реальности, но чем ярче становилось представление того, чем мог и чем хотел бы быть Сер-

гей Петрович, тем труднее становилось мириться с суровым фактом — жизнью.

Так же незаметно совершался разрыв с миром живых людей, и менее всех подозревал о нем Сергей Петрович. С привычкой к общественности, вынесенной из гимназии, он принимал участие во всех студенческих организациях и аккуратно посещал собрания. Там он слушал ораторов, шутил, когда с ним шутили, и потом ставил на клочке бумаги плюс или минус, а чаще уклонялся от голосованья, так как не мог в такое короткое время решить, на какой стороне справедливость. Но в общем его решения всегда сходились с мнением большинства и терялись в нем. Ходил Сергей Петрович и в гости и всякий раз при этом напивался с своими хозяевами и другими гостями. Тогда он пел вместе с ними глухим, рыкающим басом, целовался и ездил к женщинам. Это были единственные женщины, которых он знал, и то только пьяный. Трезвому ему они внушали отвращение и страх. Других женщин, чистых и хороших, он не искал, так как был уверен, что ни одна не полюбит его. Были у него знакомые курсистки, и он краснел, кланяясь им на улице при встрече, но они никогда не говорили с этим ограниченным и некрасивым студентом, хотя знали, как и все, что его зовут Сергеем Петровичем. Таким образом, он не принадлежал, по виду, к студентам-одиночкам, проводившим глухую, никому не ведомую жизнь и появлявшимся только на экзаменах с массою писанных конспектов и с растерянным лицом, но в действительности у него совершенно отсутствовала живая связь с людьми, делающая общество их приятным и необходимым. И он не любил ни одного из тех, с кем шутил, пил водку и целовался.

Когда Сергей Петрович не мечтал и не занимался делом, он читал много и без разбору и только для того, чтобы прогнать скуку. Читать он не любил: серьезных книг — потому, что многого в них не понимал, романов — потому, что одни были слишком похожи на жизнь и печальны, как и она, другие же были лживы и неправдоподобны, как его мечты. Он мог мечтать о том, чтобы выиграть миллионы, но, когда он читал о таком случае в книге, ему становилось смешно и обидно за свои мечты. Правдивыми ему казались русские романы, но больно было читать их при мысли, что он один из таких же маленьких, источенных жизнью людей, о каких пишутся эти толстые и унылые книги. Но были два романа — оба переводные,— которые он любил читать и перечитывать. Один из них он любил читать в дни печали и уныния, когда тоскливо плачущая и тяжело вздыхающая

осень смотрела в окна и в душу, и стыдился говорить о нем. Это было «80 000 верст под водой» Ж. Верна. Его привлекала к себе могучая и стихийно свободная личность капитана Немо, ушедшего от людей в недоступные глубины океана и оттуда надменно презиравшего землю. Другою книгою была «Один в поле не воин» Шпильгагена, и он любил говорить о ней с товарищами и радовался, когда и они восторженно склонялись перед благородным деспотом Лео. Впоследствии, по совету Новикова, заметившего любовь Сергея Петровича к великим людям, он стал читать их биографии и читал с интересом, но каждый раз при этом думал: «Он был не такой, как я». И чем больше узнавал он великих людей, тем меньше становился сам.

Так жил Сергей Петрович до двадцати трех лет. На первом курсе он провалился по физике и с тех пор начал усиленно работать, а так как на естественном факультете работы много, то время проходило незаметно в железных объятиях труда. Понемногу притупилась острота печальных размышлений о незадавшейся жизни, и Сергей Петрович стал привыкать к тому, что он обыкновенный, неумный и неоригинальный человек. Мозг Сергея Петровича стоял на той грани, которая отделяет глупость от ума и откуда одинаково хорошо видно в обе стороны: можно созерцать и высшее благородство могучего интеллекта и понимать, какое счастье дает он своему обладателю, и видеть жалкую низость самодовольной глупости, счастливой за толстыми черепными стенами, неуязвимой, как в крепости. И теперь он чаще смотрел в эту сторону и видел, что существует много людей, которые хуже его, и вид этих людей доставляет ему радость и успокоение. Сергей Петрович стал меньше читать и больше пить водки, но пил ее не по многу за раз, как делал раньше, а по рюмкам перед обедом и перед ужином, и так ему нравилось больше, потому что было только приятно и весело и отсутствовали болезненные ощущения похмелья. Летом, в Смоленске, у него случился первый в жизни любовный роман, очень смешной для всех окружающих, но для него приятный, поэтический и новый. Героиней его была девушка, приходившая в их сад полоть гряды, некрасивая, глупая и добрая. Сергей Петрович не знал, за что она полюбила его, и чувствовал к ней легкое презрение за ее любовь, но ему нравились и таинственные свидания в темном саду, и шепот, и страх. Когда осенью он уезжал в Москву, она плакала, а он сознавал себя как будто новым — гордым и довольным собою, так как и он оказался не хуже других: и у него есть настоящая женщина, которая

любит его без денег и плачет от разлуки. Как и многие другие, Сергей Петрович не думал, что он живет, и перестал замечать жизнь, а она текла, плоская, мелкая и тусклая, как болотный ручей. Но бывали мгновения, когда он точно просыпался от глубокого сна и с ужасом сознавал, что он все тот же мелкий, ничтожный человек; тогда он по целым ночам мечтал о самоубийстве, пока злая и требовательная ненависть к себе и к своей доле не сменялась мирною и кроткою жалостью. А потом жизнь снова овладевала им, и он еще раз повторял себе, что она — факт, с которым нужно мириться.

В это именно время, когда полное примирение с фактами становилось возможным и близким, он сошелся с Новиковым. Товарищи не понимали этого странного сближения, так как Новиков считался самым умным, а Сергей Петрович — самым ограниченным из земляков. Под конец они стали думать, что самолюбивый и тщеславный Новиков хочет иметь при себе зеркало, в котором отражался бы его блестящий ум, и смеялись тому, что зеркало он выбрал такое кривое и дешевое. Уверения Новикова, что Сергей Петрович вовсе не так глуп, как кажется, они считали выражением того же самолюбия. Возможно, что это было и так, но Новиков был настолько сдержан и тактичен в проявлениях своего превосходства, что Сергей Петрович полюбил его. И это был первый человек, которого он любил, и первый друг, которого дала ему жизнь. Он гордился Новиковым, читал те книги, которые читал тот, и покорно следовал за ним по ресторанам, лазил на деревья и думал о своем счастье, позволившем ему быть другом человека, который судьбою предназначен для великих дел. С почтительным удивлением следил он за работой его кипучего ума, оставлявшего за собою, как версты, философские, исторические и экономические теории и смело стремившегося вперед, все вперед. Жалкою трусцою плелся за ним Сергей Петрович, пока не увидел, что с каждым днем отстает все больше. И это был тяжелый день, когда Сергей Петрович, хотевший утопить свое *я* в чужом, глубоком и сильном *я*, понял, что это невозможно, и что он так же умственно далек от своего друга, с которым жил, как и от тех великих, о которых он читал. И помог понять это Ницше, которого ему открыл тот же Новиков.

II

Когда Сергей Петрович прочел часть «Так сказал Заратустра», ему показалось, что в ночи его жизни взошло солнце. Но то было полуночное, печальное солнце, и не

картину радости осветило оно, а холодную, мертвенно-печальную пустыню, какой была душа и жизнь Сергея Петровича. Но все же то был свет, и он обрадовался свету, как никогда и ничему не радовался в жизни. В это недавнее время, о котором идет речь, в России о Ницше знали только немногие, и ни газеты, ни журналы ни слова не говорили о нем. И это глубокое молчание, которым был обвеян Заратустра, делало его слова значительными, сильными и чистыми, как будто они падали к Сергею Петровичу прямо с неба. Он не знал и не думал о том, кто такой Ницше, много ему лет или мало, жив он или умер. Он видел перед собою только мысли, облеченные в строгую и мистическую форму готических букв, и это отрешение мыслей от мозга, их создавшего, от всего земного, сопровождавшего их рождение, создало им божественность и вечность. И как пламенно верующий юный жрец, к которому спустилось долгожданное божество, он таил его от посторонних взглядов и испытывал боль, когда к божеству прикасались грубые и дерзкие руки. То были руки Новикова.

Иногда вечером, после совместного перевода нескольких глав, Новиков начинал говорить о прочитанном. Он сидел за своим столом, как за кафедрой, и говорил звучно, ясно и раздельно, отчетливо выговаривая каждое слово, ставя логические ударения и короткими паузами отмечая знаки препинания. Крупная голова его, коротко остриженная и похожая на точеный шар, но с резкими выпуклостями лба, крепко и неподвижно сидела на короткой шее; лицо его всегда оставалось бледно, и при сильном волнении только оттопыренные уши пылали, как два кумачных лоскута, прицепленных к желтому бильярдному шару. Говорил он о предшественниках Ницше в философии, о связи его учения с экономическими и общественными течениями века и утверждал, что Ницше скакнул на тысячу лет вперед со своим основным тезисом индивидуализма «я хочу». Иногда он смеялся над туманным языком книги, в котором ему чувствовалась деланность, и тогда Сергей Петрович делал слабые попытки возражать. То, что говорил Новиков, казалось ему очень умным, таким, до чего он сам не дойдет никогда, но не согласным с истиной. И он чувствовал, что яснее и ближе понимает слова Заратустры, но, когда он начинал растолковывать их, выходило плоско и жалко и совсем непохоже на то, что он думал. И он умолкал, чувствуя злобу к своей голове и языку. Но случалось, что Новиков увлекался красотою ритмической речи Заратустры и подпадал

под влияние недосказанного. Тогда он декламировал своим ясным и сильным голосом, и Сергей Петрович благоговейно слушал, склонив некрасивую плоскую голову, и каждое слово выжигалось в его сонном и тяжелом мозгу.

Сергей Петрович не заметил того момента, когда в нем кончилось спокойное созерцание фактов и тупая тоска мирящегося с ними. Было похоже на то, как будто к пороховому бочонку приложили огонь, а долго ли тлел фитиль, он не знал. Но он знал, кто зажег его. Это было видение сверхчеловека, того непостижимого, но человечного существа, которое осуществило все заложенные в него возможности и полноправно владеет силою, счастьем и свободою. Странное то было видение. Яркое до боли в глазах и сердце, оно было смутно и неопределенно в своих очертаниях; чудесное и непостижимое, оно было просто и реально. И при ярком свете его Сергей Петрович рассматривал свою жизнь, и она казалась совсем новою и интересною, как знакомое лицо при зареве пожара. Он глядел вперед себя и назад, и то, что́ он видел, походило на длинный серый и узкий коридор, лишенный воздуха и света. Позади коридор терялся в серых воспоминаниях безрадостного детства, впереди утопал в сумраке такого же будущего. И на всем протяжении коридора не виднелось ни одного резкого, крутого поворота, ни одной двери наружу, туда, где сияет солнце и смеются и плачут живые люди. Кругом Сергея Петровича плывут по коридору серые тени людей, лишенных смеха и слез, и безмолвно кивают своими тупыми головами, над которыми так безжалостно насмеялась жестокая природа.

Пока Новиков не уезжал из Москвы, Сергей Петрович каждый день производил одну и ту же работу и сравнивал себя с товарищем, на котором ему чудился отблеск сверхчеловека. Он наблюдал его лицо, движения и мысли и краснел, когда Новиков ловил на себе его тупые, но внимательные взгляды. Позднею ночью, когда Новиков уже спал, Сергей Петрович прислушивался к его тихому и ровному дыханию и думал, что и дышит Новиков не так, как он. И этот спящий человек, которого он раньше любил, казался ему теперь чуждым и загадочным, и загадкою было все: и глубокое дыхание его, и мысли, скрытые под выпуклостью черепа, и рождение его, и смерть. И непонятно было, что под одною крышею лежат два человека, и у каждого из них все свое, отдельное, непохожее — и мысли и жизнь.

Сергей Петрович не почувствовал горя, когда Новикова

выслали из Москвы. Те двадцать четыре часа, которые провел с ним Новиков, укладывая вещи и ругаясь, прошли незаметно, и товарищи оказались на вокзале. Они были трезвы, так как денег хватило только на дорогу.

— А я напрасно дал вам Ницше, Сергей Петрович,— сказал Новиков с той чопорной вежливостью, которая была одной из странностей их совместной жизни и не покидала их даже в пьяные минуты на деревьях бульвара.

— Почему, Николай Григорьевич?

Новиков промолчал, и Сергей Петрович добавил:

— Я едва ли буду читать его. Для меня довольно.

Прозвучал третий звонок.

— Ну, прощайте.

— Будете писать?— спросил Сергей Петрович.

— Нет. Я не люблю переписки. Но вы пишите.

После минутной нерешимости они поцеловались, неловко, не зная сколько нужно поцелуев, и Новиков уехал. И, оставшись один, Сергей Петрович понял, что он давно желал и ожидал этого дня, когда он останется с Ницше один и никто не будет мешать им. И, действительно, с этой минуты никто не мешал им.

III

С внешней стороны жизнь Сергея Петровича резко изменилась. Он совсем перестал ходить на лекции и практические занятия и бросил на полку начатое для зачета сочинение: «Сравнительная характеристика углеводородов жирного ряда и углеводородов ароматического ряда». Товарищей он также перестал посещать и появлялся только на собраниях, и то ненадолго. Однажды студенты поехали большой компанией к женщинам и встретили там Сергея Петровича, и, что было удивительно, совершенно трезвого. Как и раньше, он краснел, когда над ним стали шутить, и когда выпил, то пел и говорил заплетающимся языком о каком-то Заратустре. Кончилось тем, что он стал плакать, а потом буянить, назвал всех их идиотами, а себя сверхчеловеком. После этого случая, над которым много смеялись, Сергея Петровича на некоторое время совсем утеряли из виду.

С тех пор как Сергей Петрович появился на свет, ни разу голова его не работала так много и так упорно, как в эти короткие дни и долгие ночи. Бескровный мозг не повиновался ему и там, где он искал истины, ставил готовые формулы, понятия и фразы. Измученный, уставший, он напоминал собою рабочую лошадь, которая взвозит на гору тя-

желый воз, и задыхается, и падает на колени, пока снова не погонит ее жгучий кнут. И таким кнутом было видение, мираж сверхчеловека, того, кто полноправно владеет силою, счастьем и свободою. Минутами густой туман заволакивал мысли, но лучи сверхчеловека разгоняли его, и Сергей Петрович видел свою жизнь так ясно и отчетливо, точно она была нарисована или рассказана другим человеком. Это не были мысли строго последовательные и выраженные словами,— это были видения.

Он видел человека, который называется Сергеем Петровичем и для которого закрыто все, что делает жизнь счастливою или горькою, но глубокой, человеческой. Религия и мораль, наука и искусство существовали не для него. Вместо горячей и деятельной веры, той, что двигает горами, он ощущал в себе безобразный комок, в котором привычка к обрядности переплеталась с дешевыми суевериями. Он не был ни настолько смел, чтобы отрицать Бога, ни настолько силен, чтобы верить в него; не было у него и нравственного чувства, и связанных с ним эмоций. Он не любил людей и не мог испытывать того великого блаженства, равного которому не создавала еще земля,— работать за людей и умирать за них. Но он не мог и ненавидеть их,— и никогда не суждено ему было испытать жгучего наслаждения борьбы с себе подобными и демонической радости победы над тем, что чтится всем миром, как святыня. Не мог он ни подняться так высоко, ни упасть так низко, чтобы господствовать над жизнью и людьми,— в одном случае стоя выше их законов и сам создавая их, в другом — находясь вне всего того, что обязательно и страшно для людей. В газетах Сергей Петрович читал о людях, которые убивают, крадут, насилуют, и каждый раз одна и та же мысль заканчивала чтение: «А я бы не мог». На улице он встречал людей, опустившихся до самого дна людского моря,— и здесь он говорил: «А я бы не мог». Изредка он слыхал и читал о людях-героях, шедших на смерть во имя идеи или любви, и думал: «А я бы не мог». И он завидовал всем, и грешным и праведным, и в ушах его звучали беспощадно-правдивые слова Заратустры: «Если жизнь не удается тебе, если ядовитый червь пожирает твое сердце, знай, что удастся смерть».

Сергей Петрович не ощущал потребности творить зло, но добрым быть он хотел. Это желание внушили ему книги и люди, и оно было сильно, но бесплодно и мучительно, как мучительна жажда света для прирожденного слепца. Он думал о своем будущем, и в нем не было места для добра.

По окончании университета Сергей Петрович намеревался поступить в акцизное ведомство, и, сколько он теперь ни думал, не мог понять, какое добро создаст он в должности акцизного чиновника. Он уже представлял себя, каким он будет — честным, исполнительным, трудолюбивым. Он видел, как с медлительною и строгою постепенностью движется он по лестнице повышений и, достигнув средней ступеньки, останавливается, разбитый годами, нуждою и болезнями. Он понимал, что заслуги его перед жестокостями жизни будут оценены, и он будет праздновать свой тридцатилетний юбилей, как недавно праздновал его отец. На юбилее будут говориться речи, и он будет слушать их и плакать от умиления, как плакал его отец, и целоваться с такими же, как и он, старенькими, седенькими, изгрызанными жизнью бывшими и будущими юбилярами. Потом он умрет с мыслью, что оставляет после себя десяток таких же детей, каким он был сам, и в «Смоленском вестнике» будет напечатано коротенькое жизнеописание, в конце которого будет сказано, что умер полезный и честный работник. И Сергею Петровичу кажется, что эта посмертная похвала горька и больна, как удар бичом по живому обнаженному мясу. И больна она потому, что люди, желая сказать приятную неправду, сказали обидную и неоспоримую истину. И Сергей Петрович думает, что, если бы люди всегда понимали то, что говорит их язык, они не осмелились бы говорить о полезности и оскорблять уже оскорбленных.

Не сразу понял Сергей Петрович, в чем заключается его полезность, и долго ворочался и содрогался его мозг, подавленный непосильной работой. Но рассеивался туман под яркими лучами сверхчеловека, и то, что было неразрешимою загадкою, становилось простым и ясным. Он был полезен, и полезен многими своими свойствами. Он был полезен для рынка, как то безыменное «некто», которое покупает калоши, сахар, керосин и в массе своей создает дворцы для сильных земли; он был полезен для статистики и истории, как та безыменная единица, которая рождается и умирает и на которой изучают законы народонаселения; он был полезен и для прогресса, так как имел желудок и зябкое тело, заставлявшее гудеть тысячи колес и станков. И чем больше ходил Сергей Петрович по улицам и смотрел вокруг себя и за собою, тем очевиднее становилась для него его полезность. И сперва он заинтересовался ею, как открытием, и с новым чувством любопытства смотрел на богатые дома и роскошные экипажи и нарочно ездил лишний

раз на конке, чтобы принести кому-то пользу своим пятачком, но скоро его стало раздражать сознание, что он не может сделать шагу, чтобы не оказаться кому-нибудь полезным, так как полезность его находится вне его воли.

И тогда он открыл в себе еще одну полезность, и она была самою горькою и обидною из всех и заставляла краснеть от стыда и боли. Это была полезность трупа, на котором изучают законы жизни и смерти, или илота, напоенного для того, чтобы другие видели, как дурно пить. Иногда ночью, в этот период душевного мятежа, Сергей Петрович представлял себе книги, которые пишутся о нем или о таких, как он. Он ясно видел печатные страницы, много печатных страниц, и свое имя на них. Он видел людей, которые пишут эти книги и на нем, на Сергее Петровиче, создают для себя богатство, счастье и славу. Одни рассказывают о том, какой он был жалкий, никуда не годный и никому не нужный, они не смеются и не издеваются над ним,— нет, они стараются изобразить его горе так жалко, чтобы люди плакали, а радость так, чтобы смеялись. С наивным эгоизмом сытых и сильных людей, которые говорят с такими же сильными, они стараются показать, что и в таких существах, как Сергей Петрович, есть кое-что человеческое; усиленно и горячо доказывают, что им бывает больно, когда бьют, и приятно, когда ласкают. И если у пишущих есть талант, и им удается показать то, что они хотели, им ставят памятники, подножием которых является как будто бы гранит, а в действительности — бесчисленные Сергеи Петровичи. Другие тоже сожалеют о Сергее Петровиче, но говорят о нем по рассказанному первыми и старательно обсуждают, откуда берутся такие, как он, и куда деваются, и учат, как нужно поступать, чтобы вперед не было таких.

Для капиталиста полезен, как родник его богатства, для писателя — как ступенька к памятнику, для ученого — как величина, приближающая его к познанию истины, для читателя — как объект для упражнения в хороших чувствах,— вот полезность, которую нашел в себе Сергей Петрович. И всю его душу охватил стыд и глухой гнев человека, который долго не понимал, что над ним смеются, и, обернувшись, увидел оскаленные зубы и протянутые пальцы. Жизнь, с которой он так долго мирился, как с фактом, взглянула ему в лицо своими глубокими очами, холодными, серьезными и до ужаса непонятными в своей строгой простоте. Все то, что до сих пор смутно бродило в нем и прояв-

лялось в неясных грезах и тупой тоске, заговорило громко и властно. Его *я*, то, которое он считал единственно истинным и независимым ни от слабого мозга, ни от вялого сердца, возмутилось в нем и потребовало всего, на что оно имело право.

— Я не хочу быть немым материалом для счастья других: я сам хочу быть счастливым, сильным и свободным, и имею на это право,— выговорил Сергей Петрович затаенную мысль, которая бродит во многих головах и много голов делает несчастными, но выговаривается так редко и с таким трудом.

И в тот момент, когда он впервые произнес эту ясную и точную фразу, он понял, что произносит приговор над тем, что называется Сергеем Петровичем и что никогда не может быть ни сильным, ни свободным. И он восстал против обезличившей его природы, восстал, как раб, которому цепи натерли кровавые язвы на теле, но который долго не сознавал унизительности бесправного рабства и покорно сгибал спину под бичом надсмотрщика. Это было чувство лошади, которой силою чуда даровано человеческое сознание и ум в тот самый миг, когда кнут полосует ее спину, и у нее нет ни голоса, ни силы на сопротивление. И чем дольше, сильнее и безжалостнее был гнет, тем яростнее был гнев восставшего.

В это именно время Новиков получил от Сергея Петровича первое письмо, очень большое и мало понятное, так как Сергей Петрович совершенно не был в силах облечь в форму мыслей и слов все то, что он видел так ясно и хорошо. И Новиков не ответил на письмо, так как не любил переписки и был сильно занят пьянством, книгами и уроками по языкам. Одному из своих приятелей, которого он водил за собою по трактирам, он рассказал, однако, о Сергее Петровиче, о письме и о Ницше, и смеялся над Ницше, который так любил сильных, а делается проповедником для нищих духом и слабых.

Первым последствием возмущения был возврат Сергея Петровича к своим полузабытым и наивным мечтам. Но он не узнал их — так изменило их сознание права на счастье. И, отчаявшись в себе как в человеке, Сергей Петрович задумался над тем, мог ли бы он стать счастливым и при этих условиях. Счастье ведь так обширно и многогранно; лишенный возможности быть счастливым в одном, найдет свое счастье в другом. И ответ, который нашел для себя Сергей Петрович, принудил его восстать против людей, как он уже возмутился против природы.

IV

Жил Сергей Петрович недалеко от комитетской столовой в большом четырехэтажном доме, снизу доверху населенном квартирными хозяйками и студентами. У него была маленькая, но чистенькая комнатка, и соседи его, студенты, оказались народом тихим и непьющим, так что одинаково удобно было заниматься и думать, и если существовало что неприятное, так это постоянный чад из кухни по утрам. Но заниматься Сергей Петрович бросил, и половину суток комната стояла пустая и темная.

Ходил он очень много, без устали, и длинную его фигуру в выцветшем картузе можно было встретить на всех улицах Москвы. В один морозный, но солнечный день он пробрался даже на Воробьевы горы и оттуда долго смотрел на Москву, окутанную розовым туманом и дымом, и сверкающую пелену реки и огородов. На ходу легче было думать, да и то, что он видел, облегчало работу мысли, как рисунок к тексту облегчает его понимание для слабых умов. Подобно хозяину, который сознал свое разорение и в последний раз обходит свое имение, подводя печальные итоги, подводил свои итоги и Сергей Петрович, и они были так же печальны. Все виденное говорило ему, что и для него возможно было бы относительное счастье, но что в то же время он никогда не получит его,— никогда.

Только одно могло дать счастье Сергею Петровичу; обладание тем, что он любил в жизни, и избавление от того, что он ненавидел. Он не верил Гартману, который всегда был сыт и утверждал, что обладание желаемым только разочаровывает,— и думал, как Новиков, что философия пессимизма создана для утешения и обмана людей, которые лишены всего, что имеют другие. И он был уверен, что сумеет стать счастливым, если ему дадут деньги, эту странствующую по миру свободу, которую рабы чеканят для господ.

Сергей Петрович был трудолюбив, но не любил труда и страдал под его тяжестью, так как никогда его труд не был таким, чтобы давать наслаждение. В гимназии его трудом было учение вещей, которые были неинтересны и чужды ему, а иногда шли против его рассудка и совести, и тогда труд становился мучительным. В университете труд был легче, спокойнее и разумнее, но также не давал наслаждения холодному уму, а уроки, которые случалось иметь Сергею Петровичу, представляли обратную сторону гимназических и были так же мучительны. И будущий его труд как

акцизного чиновника сулил ту же безрадостность и покорную скуку. Только летом, у себя в Смоленске, Сергей Петрович отдыхал за простою и грубою работою: столярничал, делал для маленьких братьев деревянные ружья и стрелы, чинил в саду заборы и скамейки и копал гряды, выворачивая блестящим скребком ноздреватую глянцевитую землю. И это было весело и радостно, но не было тем трудом, к которому предназначило его рождение от отца-чиновника и образование. Другие люди, страдающие от несоответствия между способностями и трудом, иногда ломают рамки и идут, куда хотят,— в рабочие, в пахари, в бродяги. Но то люди сильные и смелые, каких немного на земле, а Сергей Петрович чувствовал себя слабым, робким и управляемым чьею-то чужою волей, как паровоз, которого только катастрофа может свести с рельсов, проложенных неизвестными руками. И не только сделать, но даже и вообразить он не мог, как это он бросит приличный костюм, квартиру, лекции и станет оборванный шататься по дорогам или идти за сохой. И первое, что могло бы приблизить его к счастью,— это свобода от чуждого и неприятного труда. И он имел право на свободу, так как видел людей, как и он, рожденных от женщины, как и он, имеющих нервы и мозг, которые не трудились совсем и отдавались только тем занятиям, которые радуют их.

«А что имеют другие, на то имею право и я»,— думал Сергей Петрович в этот период возмущения против природы и людей.

И для него нашлись бы такие занятия, которые радуют. Главным из них было бы познание природы. Не проникновение в ее глубочайшие тайны,— оно требовало ума,— а непосредственное познание ее глазами, обонянием, всеми чувствами. Он любил живую природу нежною и даже страстною, но глубоко скрытою любовью, о которой подозревал один Новиков. Какой-нибудь росточек травы весною, белый ствол березы, выходящий из мягкой пахучей земли, черные, тоненькие сучки, прилипшие к ее мягкой груди, приковывали его глаза и радовали сердце. Он не понимал, за что он так любит эту черную землю, давшую ему столько горя, но когда весною он видел первый кусок ее, освободившийся от холодного и мертвого снега и словно вздыхающий под солнцем,— ему хотелось поцеловать его долгим и нежным поцелуем, каким целуют любимую женщину. И, обреченный всю жизнь проводить в узкой четырехугольной коробке, на пыльных грохочущих улицах, под грязным городским небом, он завидовал бродягам, сон которых охра-

няют звезды и которые знают и видят так много. А он не видел в своей жизни и не увидит ничего, кроме березы, травки, неглубоких речек да невысоких бугров. Ему приходилось читать красивые и, вероятно, похожие описания моря и гор, но слабое воображение его не могло создать живых образов. И ему хотелось своими глазами убедиться — правда ли, что море так глубоко и бесконечно, что оно голубое, или зеленое, или даже красное, что по нему ходят высокие валы, а над ним по синему небу бегут белые облака или черные, страшные тучи. И правда ли, что горы так высоки, отвесны и лесисты, и между ними синеют туманные ущелья, а под самым зеленым небом сверкают снежные вершины.

Правда ли?

Глубокий свистящий воздух, шедший из глубины запыленных легких, поднимал грудь Сергея Петровича и сгонял с его плоского лица стыдливо-восхищенную улыбку. И еще более, чем бродягам, завидовал он тем, кто владеет морем и горами.

Однажды, блуждая по городу и различая в толпе тех, кто свободен и властен и кто навсегда лишен свободы, Сергей Петрович увидел вывеску стереоскопической панорамы и зашел туда. Показывались горы, озера и замки Людвига Баварского. Цветные фотографии проходили перед глазами и были так живы и выпуклы, что чувствовался воздух и синяя даль, а вода блестела, как настоящая, и в ней отражались леса и за́мки. Белый, празднично-светлый и чистый пароход вздымал носом пенистые борозды, а на палубе стояли и сидели празднично одетые мужчины, женщины и дети, и, казалось, можно было различить радостную улыбку на их лицах. Потом он видел замок, который белел своими башнями и зубчатыми террасами над зеленью лесов, каскадами спадавших в долину, и видел внутренность замка. Величественные залы, бесчисленное множество картин, царственное великолепие бархата и тяжелой парчи, свет, льющийся в высокие готические окна и скользящий по паркетам полов. И на одном окне, спиной к Сергею Петровичу, сидел кто-то, равнодушный и спокойный, и смотрел вниз, туда, где виднелись одни вершины гор и светлое небо. Сергей Петрович долго всматривался в неподвижную фигуру сидящего и как будто видел все, что видел тот: леса, долины и синюю сталь озер, и чувствовал, какой должен быть чистый и свежий воздух, которым дышит тот. И ему казалось, что среди величавых зал, уходящих, как небо, потолков, с окнами, из которых видно полмира, не может быть

тоски и печальных размышлений. И самое главное и наиболее удивительное видел он: он видел человека, смешно подвернувшего под себя ногу и выставившего подошву сапога так же, как Сергей Петрович подвернул бы ее под себя на его месте, и человек этот дышал горным воздухом и мог ходить по величавым залам. С внезапным порывом гневной тоски Сергей Петрович скрипнул зубами и сунулся вперед, точно желая сбросить в пропасть неподвижно сидящего человека, и больно стукнулся бровями и носом о рамки стекол. И ему стало стыдно при мысли, что гнев его напускной и рассчитанный именно на существование рамок, а что, если бы человека этого он видел в действительности, он не осмелился бы коснуться его пальцем. Робкий и смиренный, содрогавшийся от вида зарезанной курицы, не был способен он и на гнев.

Когда Сергей Петрович вышел из помещения панорамы на кривой и горбатый московский переулок, с которого дворники счищали снег, а извозчики месили его полозьями, он подумал, что нет таких фактов, с которыми должен мириться человек.

За природою следовала музыка, искусство во всех его видах, какие доступны были пониманию Сергея Петровича и могли наполнить его жизнь и сделать ее интересною и разнообразною. За ними шла женская любовь, которой жаждало его сердце. В концертах, в театрах и на улице он видел породисто-красивых женщин, полных изящества и благородства, и хотел их любви. Одну из них он запомнил, встречая ее несколько раз, и мечтал о ней, а она ни разу не подняла на него своих глаз и не знала об его существовании. Ему было противно воспоминание о любви девушки, которая полола гряды и от которой пахло навозом и по́том, и противна мысль о других таких же грубых женщинах, которые будут любить его и говорить с ним о рублях и ненавистном труде. Ему до боли хотелось любви этой женщины, имени которой он не знал и которая не понимает всего того, что мучит его и ему подобных. И как человек, никогда не имевший денег, он думал, что они могут дать ему любовь, и как человек, не знавший женской любви, думал, что она может дать ему счастье.

В это именно время Сергей Петрович поехал к женщинам, где встретили его товарищи, и намеренно не стал пить, чтобы яснее сознать то, что приходится в этом мире на долю его и ему подобных.

Чем больше вглядывался Сергей Петрович в жизнь, тем бессильнее и ничтожнее становилась в его глазах природа,

безумно рассыпающая свои дары. И на место униженной природы перед его тусклыми глазами стала другая грозная и могучая сила — деньги. Ослепленный, потерявшийся, он стал думать, что они властвуют и над природой. И слабый мозг его поддался обману, и в сердце зажглась надежда. Он вынимал из кармана серебряный рубль и вертел его в руках с чувством странного любопытства и недоумения, точно впервые видел этот блестящий кружок. Они не с неба валятся, эти кружки, и он приобрел его и может еще приобресть много, и тогда в его руках будет могучая сила, властвующая над природой. И, как всякий человек, у которого мелькнула надежда, он стал думать не о возможности ее осуществления, а о том, что будет делать он, когда надежда осуществится. И эти несколько дней были отдыхом для Сергея Петровича, и он поднялся вверх, чтобы сильнее потом расшибиться о землю и уже не встать. Он взял данным то, что у него уже есть миллион, и мечтал о море, о горах и о женщине, имени которой он не знал и которая не подозревала об его существовании.

Но невозможно было остановить мысль, когда она начала работать и когда ее гнал такой жгучий кнут, как видение сверхчеловека, того, кто полноправно владеет силою, счастьем и свободою. И, когда оно мелькнуло перед утомленными глазами Сергея Петровича, он удивился, что, как и прежде, он отдается неосуществимым и детским мечтам. Было много путей к деньгам, но перед каждым стояла рогатка и не пускала Сергея Петровича. Он не мог украсть, как не мог и убить, так как не мозг, а чужая, неведомая воля управляла его поступками. Тот труд, который был доступен ему, не мог дать богатства, а все другое — игра на бирже, фабрика, служба с крупными окладами, искусство, женитьба на богатой, все то, что дозволяется законом и совестью и дает состояние в один день или в год,— так же не существовало для него, как и ум. И когда Сергей Петрович понял, что деньги не исправляют несправедливостей природы, а углубляют их и что люди всегда добивают того, кто уже ранен природой,— отчаяние погасило надежду, и мрак охватил душу. Жизнь показалась ему узкою клеткою, и часты и толсты были ее железные прутья, и только один незапертый выход имела она.

И тогда новый период начался в жизни Сергея Петровича. Он никуда не выходил из дому и бывал только в столовой, являясь туда почти к самому ее закрытию, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых студентов. День и ночь он лежал на постели или ходил, и соседи и хозяйка уже ус-

пели привыкнуть к однообразному звуку шагов, какой иногда слышится из тюремных камер: раз-два-три вперед и раз-два-три назад. На столе лежала книга, и, хотя она была закрыта и запылена, изнутри ее гремел спокойный, твердый и беспощадный голос:

«Если жизнь не удается тебе, если ядовитый червь пожирает твое сердце, знай, что удастся смерть».

V

Раз нельзя победить — нужно умереть. И Сергей Петрович решил умереть и думал, что смерть его будет победою.

Мысль о смерти не была новою: она приходила к нему и раньше, как приходит и ко всякому человеку, у которого на пути много камней, но была так же бесплодна и бездеятельна, как и мечты о миллионе. Теперь же она явилась у Сергея Петровича, как решение, и смерть стала не желаемым, чего может и не быть, а неизбежным, таким, что произойдет непременно. Из клетки открывался выход, и, хотя он вел в неизвестность и мрак, это было безразлично для Сергея Петровича. Он смутно верил в новую жизнь и не страшился ее, так как только свободное *я*, которое не зависит ни от слабого мозга, ни от вялого сердца, унесет он с собою, а тело достанется в добычу земле, и пусть она творит из него новые мозг и сердце. И когда он ощутил в себе спокойную готовность умереть — впервые за всю свою жизнь он испытал глубокую и горделивую радость, радость раба, ломающего оковы.

— Я не трус,— сказал Сергей Петрович, и это была первая похвала, которую он от себя услышал и с гордостью принял.

Казалось бы, что мысль о смерти должна была уничтожить все заботы о жизни и о теле, уже более ни на что не нужном. Но с Сергеем Петровичем случилось обратное, и в последние дни своей жизни он снова стал тем педантично аккуратным и чистоплотным человеком, каким был раньше. Его удивило, как мог он столько времени оставлять в беспорядке свою комнату и стол, и прибрал его, разложил книги в том порядке, в каком они лежали всегда. Наверху он положил начатое для зачета сочинение — впоследствии оно перешло к Новикову, а особо «Так сказал Заратустра». Он даже не раскрыл Ницше и был совершенно равнодушен к книге, которую, по-видимому, не дочитал, так как каран-

дашные отметки на полях идут только до половины третьей части. Быть может, он боялся, что найдет там что-нибудь новое и неожиданное, и оно разрушит всю его мучительную и долгую работу, оставившую впечатление яркого и страшного сна.

Потом Сергей Петрович сходил в Центральные бани, с наслаждением плавал в холодном бассейне и, встретив на улице товарища-студента, зашел с ним в портерную «к немцу», где выпил бутылку пива. Дома, порозовевший, чистый, в белой полотняной рубашке, он долго сидел за чаем с малиновым вареньем, потом попросил у хозяйки иголку и стал чинить свою форменную тужурку. Она была уже старая и узкая и постоянно рвалась под мышками, и Сергею Петровичу уже не раз приходилось чинить ее. Его толстые и неловкие пальцы с трудом ловили маленькую иголку, терявшуюся в гнилом сером сукне. Несколько дней Сергей Петрович посвятил на приготовление цианистого кали и, когда яд был готов, с удовольствием посмотрел на маленький пузырек, думая не о смерти, которая заключается в нем, а об успешно выполненной работе. Хозяйка, маленькая, черненькая женщина, бывшая содержанка, по-видимому, что-нибудь подозревала, потому что очень обрадовалась, когда Сергей Петрович обнаружил признаки возвращения к обычной трудовой жизни. Она пришла в его комнату и долго болтала на ту тему, как скверно действует на молодых людей одиночество, и рассказала об одном своем знакомом, который был околоточным надзирателем и имел доходы, но от мрачного своего характера стал пить водку и попал на Хитровку, где теперь пишет за рюмку водки прошения и письма. Эту историю об околоточном надзирателе она рассказывала впоследствии всем приходившим студентам и добавляла, что уже тогда она заметила сходство в судьбе знакомого и Сергея Петровича.

— Заходите ко мне чайку попить,— приглашала она Сергея Петровича, без всякой, однако, задней мысли.— Да к товарищам бы прошлись, а то что это: ни к вам кто-нибудь, ни вы никуда.

Сергей Петрович последовал ее совету и обошел почти всех своих товарищей, но нигде подолгу не оставался.

Впоследствии студенты уверяли, что начавшееся безумие Сергея Петровича уже ясно обнаруживалось, и удивлялись, как они тогда же не заметили его. Обычно молчаливый и застенчивый даже со своими, Сергей Петрович на этот раз болтал о всяких пустяках, а о Новикове вспоминал и говорил, как равный, и даже упрекнул его в поверхност-

ности. При этом Сергей Петрович был весел и часто смеялся. Один молоденький студент передавал, что Сергей Петрович даже пел, но в этом уже все заметили преувеличение. Но все единогласно находили, что странность какая-то в Сергее Петровиче, несомненно, существовала, и не заметили ее тогда же только потому, что вообще на Сергея Петровича внимания обращали мало. И по поводу этого недостатка внимания некоторые, особенно резко осуждавшие равнодушие и эгоистичность товарищей, возбудили интересный вопрос: возможно ли было спасение для Сергея Петровича в этот решительный момент его жизни? И находили, что спасение было вполне возможно, но не воздействием на него другого — сильного — ума, а влиянием близкого человека, матери или женщины, которая любила бы его. Полагали, что все эти дни Сергей Петрович находился в состоянии умственной тупости, схожей с гипнотическим сном, когда над волею безраздельно господствует своя или чужая идея. Ее нельзя было ослабить рассуждениями, но Сергея Петровича могла разбудить любовь. Крик матери, идущий от ее сердца, вид лица, которое так дорого и мило и на котором с детства знакома каждая морщинка, ее слезы, которые невыносимо видеть даже огрубевшему человеку,— все это могло бы призвать Сергея Петровича к сознанию действительности. Человек добрый и честный, он не осмелился бы внести смерть в материнское сердце и остался бы жить, если не для себя, то для других, любящих его. Многих малодушных, уже решавшихся на самоубийство, удерживало на земле сознание, что они нужны для любящих их, и они долго еще жили, укрепляясь в мысли, что более храбрости требуется для жизни, нежели для смерти. А еще более бывало таких, которые забывали причины, побудившие их на самоубийство, и даже жалели, что жизнь так коротка.

И с новым ожесточением одни из товарищей нападали на других и резко упрекали их в возмутительном равнодушии. Какая-нибудь телеграмма в десяток слов, отправленная к матери Сергея Петровича, могла бы сохранить человеческую жизнь. Некоторых из студентов, всегда выдвигавших вперед общественную точку зрения, настоящий случай навел на размышления и разговоры о разъединенности студенчества, отсутствии общих интересов и умственном одиночестве. Возникло на короткое время несколько кружков саморазвития, где читались книги по общественным вопросам и писались рефераты.

Убить себя Сергей Петрович решил в пятницу, 11 декабря, когда многие из товарищей уже собирались уезжать на рождественские каникулы. В этот день, утром, он был в почтовом отделении, где сдал в отделе заказной корреспонденции тяжелое письмо, адресованное в Смоленск Новикову, и полученную квитанцию спрятал в бумажник. В письме он сообщал о своей смерти и причинах ее, причем последние изглагал по рубрикам, и все письмо производило такое впечатление, как будто он писал не о себе, а о другом каком-то, мало для него интересном человеке. Днем Сергей Петрович пообедал в комитетской столовой, причем за обедом сидел очень долго и разговаривал со знакомыми, а после обеда спал также очень долго и крепко, так что встал только в одиннадцатом часу. Ему подали самовар, и студенты за стеною снова услышали однообразный звук шагов: раз-два-три вперед и раз-два-три назад. Когда уже поздно ночью заспанная горничная убирала самовар и посуду, Сергей Петрович говорил с нею, точно желая, чтобы она подольше не уходила, и был при этом, по ее словам, очень бледен.

...Сергей Петрович никак не ожидал того, что произойдет с ним в этот вечер, который он считал последним в своей жизни. Он был совершенно спокоен и весел и не думал о смерти, как и все эти дни. Думать о ней он начал только за час или за два до того момента, как принять яд. И мысли приходили откуда-то издалека, отрывочные и глухие. Сперва он подумал о хозяйке и далее о том, как он будет лежать и какой будет иметь вид. На минуту мысль его скакнула в сторону, к воспоминаниям детства, именно к смерти его дяди. Он умер у них в доме, и Сергея Петровича, тогда еще семилетнего Сережу, увезли к знакомым. Проходя передней, уже одетый, он заглянул в залу и увидел там стол, за которым они всегда обедали, а на столе обращенные к нему неподвижные ступни ног в белых нитяных носках. Видел он их одну секунду, но запомнил на всю жизнь, и сама смерть долго представлялась ему не иначе, как в виде неподвижных ступней ног в белых нитяных носках. Потом он вспомнил сравнительно недавний случай, когда он видел одни очень бедные и очень странные похороны. Странным в них было то, что никто решительно на всей улице, ни прохожие, ни извозчики, не обращали на них внимания и даже как будто совсем не видели их, так как никто не снял шапки. Четыре носильщика несли на носилках гроб, прикрытый чем-то темным, и шагали в ногу и так быстро, что гроб раскачивался, словно на волнах, и край

покрывала отдувался при опускании. И не было видно ни духовенства, ни провожатых.

Когда от этих воспоминаний мысль вернулась к Сергею Петровичу, она стала удивительно острой, точной и светлой, как нож, который отточили. Еще минуту она в нерешимости колебалась, отмечая окружавшую тишину, погасший самовар, тиканье карманных часов на столе, и внезапно, точно найдя, что ей нужно, вылепила картину похорон Сергея Петровича — такую правдивую, яркую и страшную, что он вздрогнул и руки его похолодели. С тою же неумолимою, ужасающею правдивостью она один за другим набрасывала последующие моменты: черную, кривую пасть могилы, твердый и тесный гроб, позеленевшие пуговицы мундира и процесс разложения трупа. И похоже было, что это не Сергей Петрович думает, а чья-то гигантская рука быстро проволакивает перед ним самое жизнь и смерть в их непередаваемых красках.

И Сергей Петрович проснулся. Ему было так страшно, что хотелось кричать, и он с ужасом смотрел на маленький пузырек и пятился от него, точно боясь, что ему насильно вольют в рот смертельную отраву. И больше всего в мире боялся он сейчас самого себя — того ужасного неповиновения, которое оказывали ему ноги и руки. Он пятился назад, а все тело его содрогалось от порывов вперед, к пузырьку. Ноги, руки, рот в самых, казалось, костях и венах своих наполнялись страстным, безумно-повелительным желанием броситься вперед, схватить пузырек и выпить его с наслаждением, с жадностью.

— Не хочу, не хочу!— шептал Сергей Петрович, и отталкивался руками, и пятился назад, но ему казалось, что он приближается к пузырьку, который растет в его глазах. И когда дверь остановила его, он перестал видеть перед собою, вскрикнул и сделал шаг вперед.

В эту минуту вошла горничная за самоваром и долго собирала посуду, которую она плохо различала сонными глазами.

— Когда вас будить?— спросила она, уходя.

Сергей Петрович остановил ее и заговорил, но не слыхал ни своих вопросов, ни ее ответов. Но, когда он опять оказался один, в мозгу его осталась эта фраза: «Когда вас завтра будить?»— и звучала долго, настойчиво, пока Сергей Петрович не понял ее значения.

Он понял, что, как и все, он может раздеться и лечь спать, и его разбудят завтра, когда настанет новый день, и Сергей Петрович будет жить, как и все, потому что он не

хочет умирать и не умрет, и никто не может принудить его взять пузырек и выпить. Все еще дрожа, он взял пузырек, нарочно открыл его, ощутил запах горького миндаля и тихонько, слегка вздрагивающей рукой поставил на полку, где его не было видно за книгами. Теперь, когда пузырек побыл в его руках и он не умер, он уже не боялся ни его, ни себя.

Когда Сергей Петрович лег в постель, ему казалось, что спасенная жизнь радуется во всех малейших частицах его тела, пригретого одеялом. Он вытягивал ноги, руки, чуть не совершившие преступления, и в них чудилось что-то сладко-поющее тоненьким веселым голоском, как будто кровь радовалась и пела, что не стала она осклизлой гниющей массой, а струится, веселая и красная, по широким и свободным путям. И такая же веселая, она переполняла сердце, и оно пело вместе с нею и торжествующе отбивало свой гимн жизни.

«Жить! Жить!»— думал Сергей Петрович, сгибая и разгибая послушные, гибкие пальцы. Пусть он будет несчастным, гонимым, обездоленным; пусть все презирают его и смеются над ним; пусть он будет последним из людей, ничтожеством, грязью, которую стряхивают с ног,— но он будет жить, жить! Он увидит солнце, он будет дышать, он будет сгибать и разгибать пальцы, он будет жить... жить! И это — такое счастье, такая радость, и никто не отнимет ее, и она будет продолжаться долго, долго... всегда! Бесконечное множество дней впереди зажигает свою зарю, и в каждой из них он будет жить, жить! И тут впервые за много дней Сергей Петрович вспомнил отца и мать — и ужаснулся и умилился. Он мысленно целовал морщины, по которым должны были скатиться слезы, и сердце его разрывалось от ликующего победного крика: я живу, живу! И, когда он заснул легким, радостным сном, последним ощущением был соленый вкус слезы, омочившей губы.

День был морозный, и солнце светило, когда Сергей Петрович проснулся. Он долго не понимал, почему постель сделана, как всегда, и он лежит в ней живой, тогда как вчера он должен был умереть. Голова немного болела, и все тело ныло, как после сильных побоев. Постепенно, мысль за мыслью, он вспомнил все, что прошло вчера в его голове, и не понял, почему он так сильно испугался и что было страшного во всем том, что он знал всегда и десятки раз представлял себе. Смерть, похороны, могила... Ну, а как же может иначе быть, если человек умирает? Конечно, его хоронят и для этого выкапывают могилу, и в могиле труп разлагается. И еще раз он внимательно и недоверчиво вгля-

делся во вчерашние страшные представления, но они были совсем бледные и тусклые и все более бледнели, как это бывает с видениями сна, которые так ярки в первую минуту пробуждения и так скоро и бесследно стираются живыми впечатлениями действительности и дня. И в картинах смерти не было ничего страшного, и радость жизни представлялась непонятною и дикою.

И, как разгадка всего, мелькнула мысль, что он, Сергей Петрович,— трус и бахвал.

Он вспомнил про посланное к Новикову письмо, в котором он сообщает о своей смерти, как о совершившемся факте,— и покраснел от стыда, почувствовал, что решение умереть стоит в нем такое же неизменное, спокойное и неотвратимое, как и вчера, когда он еще не поддавался приступу малодушного и непонятного страха. Страх исчез, но жгучий стыд медлил уходить,— и всеми силами измученной души Сергей Петрович возмутился против исчезнувшего страха, этого позорнейшего звена на длинной и тяжелой цепи раба. Равнодушная, слепая сила, вызвавшая Сергея Петровича из темных недр небытия, сделала последнюю попытку заковать его в колодки как трусливого беглеца-неудачника, и хоть на несколько часов, но это удалось ей.

С новою силою вспыхнул жгучий стыд, и пламя его испепелило самую память о минутном приступе страха. И, когда потухло его зарево, исчезла и тупая, ноющая боль тела, и все оно стало легким, почти неощутимым. Перестала болеть и голова, и мозг заработал с безумной быстротой и такою силой и ясностью, как это случается только при горячке. Губы содрогались от желания говорить, и на язык приходили слова, каких никогда не употреблял Сергей Петрович и не знал. И он говорил, что, если он останется жить теперь, он возненавидит себя, и ему придется выпить такую полную чашу самопрезрения, перед которой яд кажется нектаром. Его «я», то независимое и благородное «я», которое на миг почувствовало себя победителем и испытало безмерную радость торжества смелого духа над слепой и деспотической материей, убьет его, если не убьет яд. И Сергею Петровичу казалось, что он чувствует в себе мощный рост этого «я», чувствует, как поднимается он ввысь, и громовые раскаты его голоса заглушают жалкий писк тела, сильного только ночью. Пусть сгибаются те, кто хочет, а он ломает свою железную клетку. И, жалкий, тупой и несчастный человек, в эту минуту он поднимается выше гениев, королей и гор, выше всего, что существует высокого на земле, потому что в нем побеждает самое чистое и пре-

красное в мире — смелое, свободное и бессмертное человеческое *я*! Его не могут победить темные силы природы, оно господствует над жизнью и смертью — смелое, свободное и бессмертное *я*!

То, что испытывал Сергей Петрович, было похоже на горделивый и беспорядочный бред мании величия, как думали некоторые, читавшие третье письмо его к Новикову, выдержки из которого мы привели. Писал он его, не одеваясь, на клочке бумаги, оказавшемся счетом от прачки, попало оно к Новикову после долгих мытарств, побывав в полиции и у мирового судьи. Тут же, не отходя от стола, он выпил и яд, и, когда пришла горничная с самоваром, Сергей Петрович был уже без сознания. Раствор яда оказался приготовленным неумелыми руками и слабым, и Сергея Петровича поспели отвезти в Екатерининскую больницу, где он скончался только к вечеру.

Телеграмма к матери Сергея Петровича запоздала, и она приехала уже после похорон. Студенты, вызвавшие ее, находили, что это к лучшему, так как в гробу, с вскрытым и опорожненным черепом и пятнами на лице, Сергей Петрович был очень нехорош и даже страшен и мог произвести тяжелое впечатление. И все, что она нашла от своего сына, заключалось в книгах и подержанном платье, среди которого была и заношенная тужурка, разорванная под мышками и свежепочиненная.

В ТЕМНУЮ ДАЛЬ

I

Уже четыре недели жил он в доме — и четыре недели в доме царили страх и беспокойство. Все старались говорить и поступать так, как они всегда поступали и говорили, и не замечали того, что речи их звучат глуше, что глаза их смотрят виновато и тревожно и часто оборачиваются в ту сторону, где находится отведенная ему комната. В противоположном от нее конце дома они ступали ногами неестественно-громко и так же неестественно-громко смеялись, но, когда им случалось проходить мимо белых дверей, которые весь день были заперты изнутри и так глухи, точно за ними не было ничего живого, они умеряли шаг, а все тело их подавалось в сторону, словно в ожидании удара. И хотя проходившие становились на пол всей ногой, но шаг их был более легок и более беззвучен, чем если бы они шли на цы-

почках. И никто не называл его по имени, а просто словом «он», и так как все каждую минуту думали о нем, то это неопределенное название представлялось более ясным, чем полное имя, и никогда не заставляло переспрашивать. Почему-то казалось непочтительным и фамильярным звать его, как зовут других; слово же «он» точно и резко выражало страх, который внушала его высокая, сумрачная фигура. И только одна старая бабушка, которая жила наверху, звала его Колей, но и она испытывала напряженное состояние страха и ожидания беды, охватившее весь дом, и часто плакала. Однажды она спросила горничную Катю, почему барышня не играет сегодня на фортепьяно, но Катя удивленно взглянула на нее и не ответила, а, уходя, покачала головой, точно не одобряла самого вопроса.

Пришел он в серый ноябрьский полдень, когда все были дома и сидели за чаем, кроме Пети, давно уже ушедшего в гимназию. На дворе было холодно, и низко нависшие плотные тучи сеяли дождь, так что, несмотря на большие окна, в высоких комнатах было темно, а в некоторых горел даже огонь. Звонок его был резкий и властный, и сам Александр Антонович вздрогнул; он подумал, что явился кто-нибудь из важных посетителей, и медленно пошел навстречу, сделав на своем полном и серьезном лице приветливо-ласковую улыбку. Но она тотчас исчезла, когда в полутьме прихожей он увидел бедно и грязно одетого человека, перед которым в смущении стояла горничная, робко загораживая ему путь. Вероятно, с вокзала он шел пешком и только местами ехал на конке, потому что коротенькое потертое пальто его было мокро, а брюки внизу забрызганы и стояли коробом от воды и грязи. И голос его был хриплый, грубый, не то от сырости и простуды, не то от долгого молчания в тряском вагоне.

— Чего молчите? Дома, спрашиваю вас, Александр Антоныч Барсуков?— повторил вошедший свой вопрос.

Но отозвался Александр Антонович. Не входя в переднюю, он вполоборота взглянул на человека, которого счел за одного из бесчисленных просителей, и строго сказал:

— Вам что здесь нужно?

— Не узнал, отец?— насмешливо, но с дрожью в голосе спросил вошедший.— А ведь я Николай, по отчеству Александрыч.

— Какой... Николай?— отступил на шаг Александр Антонович.

Но, спрашивая, он уже знал, какой Николай стоит перед ним. Важность исчезла с его лица, и оно стало бледно страшной старческой бледностью, похожей на смерть, и руки поднялись к груди, откуда внезапно вышел весь воздух. Следующим порывистым движением обе руки обняли Николая, и седая холеная борода прикоснулась к черной мокрой бородке, и старческие, отвыкшие целовать губы искали молодых свежих губ и с ненасытной жадностью впивались в них.

— Погоди, отец, дай раздеться,— мягко говорил Николай.

— Простил? Простил?— дрожал всем телом Александр Антонович.

— Ну, что за глупости!— сурово и строго сказал Николай, отстраняя отца.— Какое еще там прощение?

Когда они входили в столовую, Александру Антоновичу было стыдно своего порыва, которому с такой неудержимой силой отдалось его доброе сердце. Но радость от свидания, хотя и отравленная, бурлила в груди и искала выхода, и вид сына, который пропадал неведомо где в течение целых семи лет, делала его походку быстрой и молодой и движения порывистыми и несолидными. И он искренне рассмеялся, когда Николай остановился перед сестрой и, потирая озябшие руки, спросил:

— А эта барышня — сестрица, что ли?

Ниночка, семнадцатилетняя девушка, бледненькая и худенькая, стояла у своего места и смущенно перебирала по столу пальцами, устремив на брата большие испуганные глаза. Она догадалась, что это Николай, которого она помнила больше, чем сам отец, и теперь не знала, что делать. И когда Николай, вместо поцелуя, пожал ей руку, она ответила крепким пожатием и чуть, по-институтски, не присела.

— А это господин студент Андрей Егорыч — Петькин репетитор,— знакомил Александр Антонович.

— Петька?— удивился Николай.— Да он уже учится! Важно!

Потом его познакомили с остролицей дамой, которая наливала чай и которую называли просто Анной Ивановной, и потом все стали жадно рассматривать его, пока он в свою очередь оглядывал комнату, желая узнать, все ли так, как было семь лет тому назад. Было в нем что-то странное, не поддающееся определению. Высоким ростом, гордым поворотом головы, пронзительным взглядом черных глаз из-под крутых, выпуклых бровей, он напоминал молодого орла. Дикостью и свободой веяло от его прихотливо разметав-

шихся волос; трепетной грацией хищника, выпускающего когти, дышали все его движения, уверенные, легкие, бесшумные; и руки без колебаний находили и брали то, что им нужно. Словно не сознавая неловкости своего положения, он смотрел в глаза каждому глубоко и спокойно, но даже и в ту минуту, когда взгляд был ласков, в нем чудилось что-то затаенное и опасное, что видится всегда в глазах ласкающегося хищника. И говорил он повелительно и просто, видимо, не обдумывая своих слов, точно это были не ошибающиеся, невольно лгущие звуки человеческой речи, а непосредственно звучала сама мысль. Чувство раскаяния не могло иметь места в душе такого человека.

Но если это был орел, то перья его были сильно помяты в схватке, из которой он едва ли ушел победителем. Об этом говорило платье, носившее на себе следы ночевок, грязное, непригнанное к телу; и было в этом платье что-то неуловимо-хищное, тревожное, заставляющее всех хорошо одетых людей испытывать смутное чувство опасения. И минутами по всему статному и сильному телу пробегала мгновенная дрожь странной боязни; тогда все тело как будто становилось меньше, и казалось, что волосы на затылке поднимаются как у ощетинившегося зверя; и глаза быстро и злобно обегали всех присутствующих. Пил и ел он с жадностью, как человек, которому долго пришлось голодать или который все время недоедает и поэтому готов бывает есть каждую минуту и все, что подано на стол. И, кончив, он сказал: «Важно!» — и погладил себя немного насмешливо по животу. Отказавшись от отцовской сигары, он взял у студента папиросу (у самого у него папирос не было) и приказал:— Рассказывайте!»

Рассказывать стала Ниночка, именно о том, как она окончила институт и как ей жилось там. Сперва она робела, но так как рассказывать ей приходилось то, что она уже несколько раз передавала, то она легко вспомнила все остроумные слова и была очень довольна собой. Николай не то слушал, не то нет; он улыбался, но не всегда в тех местах, где были остроумные слова, и все время водил по комнате своими выпуклыми глазами. Иногда он перебивал речь не идущими к месту вопросами.

— Что́ отдал за картину? — спросил он у молчавшего и также несколько насмешливо улыбавшегося отца.

— Не помню.

— Две тысячи,— с почтением к деньгам отозвалась до сих пор молчавшая Анна Ивановна и боязливо взглянула на Александра Антоновича.

И оба улыбнулись — отец и Николай, и в улыбке проскользнуло что-то враждебное. Теперь Александр Антонович уже не суетился и оттого стал строгим и важным.

— Дела как?— так же коротко спросил Николай у отца.

— Ничего. Идут.

— Новый дом купили. На Итальянской. Трехэтажный. И завод еще купили,— почти шепотом сказала Анна Ивановна.

Она боялась Александра Антоновича, но не могла удержаться, так как всегда была занята тем, что сравнивала свой капиталец в пятьсот пятьдесят шесть рублей, находившийся в сберегательной кассе, с капиталом Барсукова, у которого были дома, заводы и акции.

— Ну, Ниночка, продолжай,— сказал Николай.

Но Ниночке давно уже стало скучно. У нее опять закололо в боку, и она сидела худенькая, бледная, почти прозрачная, но странно красивая и трогательная, как начавший увядать цветок. И пахло от нее какими-то странными, легкими духами, напоминавшими желтеющую осень и красивое умирание. Застенчивый рябой студент внимательно наблюдал за ней и тоже, казалось, бледнел по мере того, как исчезала краска с лица Ниночки. Он был медик и, кроме того, любил Ниночку первой любовью.

Но тут явился Феноген Иваныч, старый лакей. Рожа его выглянула из двери, как восходящая луна, и была так же широка, красна и безволоса. Он был в бане, после бани немного выпил и, придя домой, узнал от горничной о приезде барчука, с которым во дни оны играл в·лошадки. Немного плача, то ли от водки, то ли от любви, он напялил фрак, надушил лысину, как это делал барин, и степенно пошел в столовую. За дверьми он немного постоял и с торжественно надутыми щеками, как при приезде самого губернатора, явился к Николаю.

— Феногешка!— весело крикнул Николай, и голос его прозвучал, как у ребенка.

— Барчук!— взвизгнул Феноген и, опрокидывая стулья, кинулся к Николаю.

Он хотел сперва поцеловать его в плечо, но так как Николай вместо того пожал ему руку, то Феноген важно откинулся назад и ответил крепким, до боли, пожатием. Он позволял себе думать, что он не слуга, а друг Николая, и рад был публичному признанию его в этом достоинстве. Но поцеловаться все же нужно было.

— И вдобавок пьян!— с веселым изумлением к постоянству Феногеновых привычек сказал Николай, ощутив запах водки.

— Разве?— строго отозвался Александр Антонович.

Мотая отрицательно головой, Феноген Иваныч благовоспитанно отступал задом и косил глаза, чтобы узнать, где дверь, но все-таки сперва попал в простенок и оттуда уже, на ощупь, добрался до двери. Все это заняло довольно много времени. В передней Финоген Иваныч приостановился, с нежностью осмотрел руку, которую пожал Николай, и, неся ее впереди себя, как нечто совершенно ему постороннее, хрупкое и ценное, тронулся в людскую. Вообще он уважал себя, но в данный момент самой уважаемой частью его тела была правая рука.

В этот день Александр Антонович не поехал в правление и после обеда, за которым он выпил много вина, пришел в светлое и мягкое настроение. Обняв Николая за талию, он повел его в библиотеку, закурил сигару и, приготовившись к долгому слушанию, добродушно сказал:

— Ну, теперь рассказывай: где был, что делал?

Николай ответил не сразу. По телу его снова пробежала та же странная дрожь испуга, и глаза метнули взор к двери, но голос оставался спокойным и серьезным.

— Нет, отец. Я прошу тебя оставить разговор о моих приключениях.

— Я видел у тебя кошелек заграничной работы. Ты был за границей?

— Был,— коротко ответил Николай.— Но довольно, отец.

Александр Антонович нахмурил брови и встал с дивана. Заложив руки за спину, под сюртук, он прошелся по комнате и, не глядя на сына, спросил:

— Ты все такой же?

— Как видишь. А ты, отец?

— Как видишь. Ступай, мне надо заниматься.

Когда Николай вышел, Александр Антонович запер за ним дверь, оглянулся и, подойдя к камину, молча, но с силой ударил по белому, блестящему кафлю. Потом вытер платком руку, к которой пристала белая полоска извести, и сел заниматься. И опять лицо его белело той страшной бледностью, которая напоминает смерть.

Никто не видел свидания Николая с бабушкой, но вышел он от нее хмурым и как будто немного растроганным. И на минутку все почувствовали облегчение, когда за Николаем захлопнулись белые двери его комнаты, но с того

момента он перестал быть гостем, и с этого же момента появилась та странная тревога, которая, разрастаясь, скоро захватила весь дом. Как будто вошел в дом и навсегда занял в нем место кто-то загадочно-опасный, более чужой, чем любой человек с улицы, и более страшный, чем притаившийся грабитель. И только один Феноген Иваныч не почувствовал этого, так как с радости выпил еще и теперь спал на поваровой постели, и во сне сохраняя вид полного самоуважения и немного откидывая правую руку.

А в гостиной Ниночка тихо рассказывала студенту о том, что было семь лет тому назад. Тогда Николай за одну историю был уволен с несколькими товарищами из Технологического института, и только связи отца спасли его от большого наказания. При горячем объяснении с сыном вспыльчивый Александр Антонович ударил его, и в тот же вечер Николай ушел из дому и вернулся только сегодня. И оба — и рассказчица и слушатель — качали головами и понижали голос, и студент для ободрения Ниночки даже взял ее руку в свою и гладил.

II

Николай никому не мешал; сам говорил мало и других слушал не то чтобы неохотно, а с каким-то высокомерным равнодушием, как будто вперед знал, что́ ему могут рассказать. На середине рассказа он иногда уходил, и все время лицо его имело такое выражение, точно он прислушивается к чему-то далекому, важному и одному ему слышному. Он ни над кем не смеялся и никого не упрекал, но, когда он выходил из библиотеки, где просиживал большую часть дня, и рассеянно блуждал по всему дому, заходя в людскую, и к сестре, и к студенту, он разносил холод по всему своему пути и заставлял людей думать о себе так, точно они сейчас только совершили что-то очень нехорошее и даже преступное и их будут судить и наказывать. Теперь он был одет очень хорошо, но и в изысканном платье он не сливался с пышным великолепием комнат, а стоял особняком, как что-то чужое и враждебное. И если бы все эти дорогие вещи могли чувствовать и говорить, они сказали бы, что умирают от страха, когда он приближается или берет одну из них в руки и рассматривает с странным любопытством. Он никогда ничего не ронял и ставил вещь на место, как раз так, как она стояла, но как будто прикосновение его руки отнимало у изящной статуэтки всю ее ценность, и после его

ухода она стояла пустой и ни на что не нужной. Ее душа, созданная искусством, таяла в его руках, и оставался только ненужный кусок бронзы или глины.

Раз Николай пришел к Ниночке во время ее урока рисования, когда она очень похоже и хорошо копировала с чьей-то картины фигуру нищего, просящего милостыню.

— Рисуй, Нина. Я не буду тебе мешать,— сказал он, садясь возле, на низенькой софе.

Ниночка робко улыбнулась и некоторое время продолжала водить кистью, беря не те краски, какие нужно. Потом бросила и сказала:

— Я устала. Тебе нравится?

— Да, хорошо. Ты и играешь хорошо.

От этой холодной похвалы впечатлительной Ниночке стало скучно. Она, критически наклонив голову набок, осмотрела свой рисунок, вздохнула и сказала:

— Бедный нищий. Мне так жаль его. Тебе тоже?

— Да, тоже.

— Я в двух попечительствах о бедных участвую. Ужасно много работы,— горячо сказала она.

— Что же вы там делаете?— равнодушно спросил Николай.

Ниночка начала рассказывать подробно, потом короче, потом остановилась совсем. Николай молчал и перелистывал альбом, в котором знакомые Ниночки записывали стихи.

— Я на курсы хотела, но папа не позволяет,— внезапно сказала Ниночка, словно ища пути к вниманию брата.

— Дело хорошее. Ну и что же?

— Не позволяет папа. Но я добьюсь своего.

Николай ушел, и в груди Ниночки стало пусто и тоскливо. Она отбросила альбом, печально посмотрела на начатую картину, которая ей показалась отвратительной и никому не нужной мазней. Не умея сдерживать своих порывов, Ниночка взяла кисть и крест-накрест перечертила полотно синей краской и отхватила при этом у нищего полголовы. С первого дня, когда Николай пожал ей руку, она полюбила его, а он ни разу не поцеловал ее. Если бы он поцеловал ее, Ниночка открыла бы ему все свое маленькое, но уже изболевшееся сердце, в котором то пели маленькие, веселые птички, то каркали черные вороны, как писала она в своем дневнике. И дневник бы свой она отдала ему,— а в дневнике на каждой странице рассказывается о том, какая она никому не нужная и несчастная.

Он думал, что она довольна и рисованием своим, и музыкой, и попечительством, и ошибается: ей не нужны ни рисование, ни музыка, ни попечительство.

Смеялся Николай только на уроках студента с Петькой, и Петька ненавидел его за смех. В его присутствии он нарочно еще выше задирал колени, так что едва не заваливался со стулом на спину, щурил пренебрежительно глаза, ковырял в носу, хотя прекрасно знал, что этого не нужно делать, и хладнокровно говорил студенту невыносимые дерзости. Рябое лицо репетитора наливалось кровью и потело; он чуть не плакал и по уходе Петьки жаловался, что мальчишка совсем не хочет учиться.

— Не знаю, что из него выйдет,— говорил студент.— Теперь вот тоже горничная жаловалась мне, что он ей гадости говорит.

— Прохвост выйдет,— без видимого огорчения определил Николай будущее брата.

— Бьешься, бьешься, нервы тратишь, а что толку!— чуть не плакал студент, вспоминая длинный ряд унижений и стыда за себя, когда хотелось провалиться сквозь землю или избить ученика.

— Бросьте!

— А жрать-то надо!— в отчаянии воскликнул Алексей Егорович.

— Ну и жрите, что подносят.

Но в споры со студентом, несмотря на старания последнего, Николай не вступал. И Ниночка и Алексей Егорович делали частые попытки решить, что такое представляет собою брат Николай, и доходили до таких фантастических картин, что обоим становилось смешно. Но, расходясь, они удивлялись своему смеху, и самые фантастические предположения казались истинными, а на другой день оба со страхом и страстным любопытством ждали появления Николая, думая, что именно сегодня и решится томительный вопрос. Но Николай появлялся, а вопрос оставался все таким же далеким от решения.

Особенной яркости и неправдоподобности достигали те предположения, что делались в людской, и впереди всех рассказчиков стоял Феноген Иваныч. Когда он немного выпивал, фантазия его работала неудержимо и создавала такие картины, перед которыми он сам останавливался в недоумении и испуге.

— Он разбойник!— сказал однажды Феноген Иваныч, и красное лицо его побледнело от страха.

— Ну вот, разбойник!..— не поверил повар, но тоже оглянулся на дверь.

— Который грабит только богатых,— ввел поправку Феноген Иваныч, слыхавший когда-то от самого Николая, тогда еще мальчика, о существовании подобных разбойников.

— А зачем ему грабить, когда у отца денег невпроворот?— усомнился кучер, очень основательный человек.

— Три завода, четыре дома, акции каждодневно обрезают,— прошептала Анна Ивановна, у которой находилось теперь в кассе ровно пятьсот шестьдесят рублей, так как четыре рубля она внесла на днях.

Предположение Феногена Иваныча рухнуло. Анна Ивановна обыскала все вещи Николая и ничего не нашла, кроме белья. И именно то, что она ничего не нашла, кроме белья, всего более пугало и тревожило. Если бы в чемодане нашлись ружья, пули и ножи и Николай действительно оказался бы разбойником, это было бы не так страшно, как не знать совершенно занятий человека, который так не похож на других людей лицом и ухватками: слушает, а сам не говорит и смотрит на всех, как палач. Тревога росла и переходила в суеверный страх, ледяной волной прокатывавшийся по дому.

Был подслушан один короткий разговор Николая с отцом — и не рассеял страха, но еще более сгустил туманную атмосферу недоумения и загадки.

— Ты сказал когда-то, что ненавидишь всю нашу жизнь,— раздельно выговаривая каждое слово, спрашивал отец.— Ты и теперь ненавидишь ее?

Так же размеренно и медленно звучал серьезный ответ Николая:

— Да, я ненавижу ее от самого дна до самого верху. Ненавижу и не понимаю.

— Ты нашел лучше?

— Да, нашел. Да, нашел,— твердо повторился Николай.

— Останься с нами.

— Это немыслимо, отец. И ты это знаешь.

— Николай!— прозвучал гневный окрик Александра Антоновича.

И через минуту напряженного молчания тихий и немного грустный ответ Николая:

— Ты все тот же, отец. Вспыльчивый и — добрый.

И Рождество в этом богатом доме наступило смутное и безрадостное. Присутствие человека, который ни в чем не разделял мыслей и чувств окружавших его людей, мрачным

кошмаром нависало над всеми и отнимало у праздника не только его радостный характер, но и самый смысл. Казалось, что и сам Николай заметил, как тягостен он для других, и почти не выходил из своей комнаты,— но за глазами он казался еще страшнее, чем на глазах. За несколько дней до Рождества, у Барсуковых случайно собрались гости; Николай не вышел к ним, как вообще не выходил ни к кому из посторонних, и, одетый, лежал на постели, прислушиваясь к звукам музыки. Смягченные толщей стен, они казались мелодичными и нежными, как далекое пение чистых и безгрешных голосов, и так мягко входили в ухо, словно пел самый воздух. Николай вслушивался и вспоминал то время, когда он был еще маленький, и была жива его мать, и у них собирались гости, а он так же издалека прислушивался к музыке и грезил — не образами, а чем-то другим, в чем и образы и звуки сплетались в одно яркое и мучительно-красивое, и оно извивалось, как разноцветная, поющая лента. И он понимал тогда, что значит это яркое, но не мог никому объяснить, даже себе, и только старался дольше не засыпать — и засыпал. Раз он заснул таким образом, никем не замеченный, в прихожей, на шубах, и теперь ему ясно представился запах пушистого, щекочущего меха. И снова содрогание непонятного ужаса пробежало холодными иглами по его телу,— но и другое что-то, более мягкое и теплое, озарило его лицо, и словно ласкающая нежная рука расправила насупленные брови. Лицо стало неподвижно, но спокойно, кротко и незлобиво, как у мертвого. Нельзя было догадаться, бодрствует он или спит, жив он или мертв, но можно было сказать одно: этот человек отдыхает.

Наступил сочельник, и в сумерки к Николаю явился Феноген Иваныч. Он был почти трезв, мрачен и глядел в сторону, а на глазах замечались следы как будто слез.

— Пожалуйте к бабушке,— сказал он из дверей.

— Что такое?— удивился Николай.

Феноген Иваныч вздохнул и повторил:

— Пожалуйте к бабушке.

Николай пошел наверх — и только что переступил порог, как две тонкие девичьи руки охватили его шею; к лицу приблизилось нежное личико с широко раскрытыми влажными глазами, и голос, задыхающийся от рыданий, зашептал:

— Коля, Коля, как ты нас измучил! Коля, Коля, братик милый, помирись с папой. И со мной. И останься с нами, Коля, Коля!

И маленькое, худенькое тело трепетно билось в его

руках, и маленькое, никому не нужное сердечко стало таким огромным, что в него вошел бы весь бесконечно страдающий мир. Николай хмуро, исподлобья метнул взор по сторонам. С постели тянулись к нему страшные в своей бескровной худобе руки бабушки, и голос, в котором уже слышались отзвуки иной жизни, хриплым, рыдающим звуком просил:

— Коля, Коля!..

А на пороге плакал Феноген Иваныч. Он потерял всю свою важность, и хлюпал носом, и двигал ртом и бровями; и слез было так много, они такой рекой текли по его лицу, точно шли не из глаз, как у всех людей, а сочились из всех пор тела.

— Друг мой! Николенька!— шептал он молитвенно, протягивая вперед руки с застывшим в них красным платком.

Николай беспомощно и жалко улыбался, не зная того, что из его орлиных, теперь померкших глаз падают редкие, скупые слезинки. И тогда из темного угла выступила на свет трясущаяся старческой дрожью, бессильная голова того, кто был его отцом и всю жизнь которого он ненавидел и не понимал.

Но теперь он понял.

С тем же безумием любви, каким была проникнута его ненависть, Николай рванулся к отцу, увлекая за собой Ниночку. И все трое, сбившиеся в один живой плачущий комок, обнажившие свои сердца, потрясенные, они на миг стали одним великим существом с единым сердцем и единой душой.

— Остался!— хриплым торжествующим звуком кричала старуха.— Остался!

— Друг мой! Николенька!— шептал молитвенно Феноген Иваныч.

— Да! Да!— говорил Николай, не понимая, кому и на что он отвечал.— Да! Да!— повторял он, целуя дрожащую старую руку, которая с безмолвной нежностью гладила его по голове и лицу.

— Да! Да!— все еще твердил он, уже чувствуя, как в душе его вырастает грозное и неумолимое, короткое и тупое «нет!».

Уже надвигалась ночь, и весь большой дом, начиная с людской и кончая барскими комнатами, сверкал веселыми огнями. Люди весело болтали и шумно перекликались, и маленькие, дорогие, хрупкие и ненужные вещи уже не боялись за себя. Они гордо смотрели со своих возвышенных мест на суетившихся людей и безбоязненно выставляли

свою красоту, и все, казалось, в этом доме служило им и преклонялось перед их дорого стóящим существованием.

Александр Антонович, Ниночка и даже студент сидели все еще в комнате у бабушки и то говорили о своем счастье, то молча прислушивались к нему. Феноген Иваныч, еще немного выпивший от радости, вышел на воздух с целью слегка прохладить свою голову, и в то время, когда он поглаживал руками красную лысину, на которой снежинки таяли, как на раскаленной плите, он с удивлением увидел Николая. Держа в руках небольшой сачок, Николай шел из-за угла, где находился черный ход, и был также неприятно удивлен, увидев Феногена Иваныча.

— А, Феногешка!— тихо сказал он.— Ну-ка, проводи меня до ворот.

— Друг...— растерянно бормотал Феноген Иваныч.

— Молчи. Там поговорим.

Улица в этот час была безлюдна, и оба конца ее терялись в белесоватой дымке медленно и бесшумно падающего снега. Остановившись перед Феногеном Иванычем и прямо в глаза смотря ему своими выпуклыми, блестящими глазами, Николай положил руку ему на плечо и сказал медленно, точно обучая ребенка:

— Скажи отцу, что Николай, мол, Александрович велели кланяться и сказать, что они — ушли.

— Куда?

— Просто — ушли. Прощай.

Николай похлопал лакея по плечу и тронулся от него. Но Феноген Иваныч и без слов знал, куда идет Николай, и со всей силой, какая была у него в руках, схватил его:

— Не пущу! Бог свят, не пущу!

Николай оттолкнул его и удивленно посмотрел. Но Феноген Иваныч сложил молитвенно руки и хнычащим голосом просил:

— Николенька! Друг единственный! Плюньте, не ходите. Ну что там? Деньги есть. Три завода. Домá. Акции каждодневно обрезают,— бессмысленно повторял он слова экономки.

— Что ты городишь?— нахмурился Николай и быстро зашагал.

Но Феноген Иваныч, весь праздничный в своем новом фраке и весь развинченный и словно помятый, бежал за ним, хватал его за руки и молил:

— Ну и я! И меня возьмите. Что же, ей-Богу! Голубчик! В разбойники так в разбойники!— И Феноген Иваныч отчаянно махнул рукой, прощаясь с миром честных людей.

Николай остановился и молча взглянул на слугу, и в этом взгляде блеснуло что-то до того страшное, холодно-свирепое и отчаянное, что язык Феногена Иваныча онемел и ноги приросли к земле.

Высокая фигура Николая серела и уменьшалась, словно тая в серой мгле. Еще минута, и он навсегда скрылся в той темной зловещей дали, откуда неожиданно пришел. И уже ничего живого не виделось в безлюдном пространстве, а Феноген Иваныч все еще стоял и смотрел. Крахмаленный воротник рубашки обмяк и прилип к шее; снежинки медленно таяли на красной похолодевшей лысине и вместе со слезами катились по широкому бритому лицу.

Декабрь 1900 г.

СМЕХ

I

В половине седьмого я был уверен, что она придет, и мне было отчаянно весело. Пальто мое было застегнуто на один верхний крючок и раздувалось от холодного ветра, но холода я не чувствовал; голова моя была гордо откинута назад, и студенческая фуражка сидела совсем на затылке; глаза мои по отношению к встречавшимся мужчинам выражали покровительство и удаль, по отношению к женщинам — вызов и ласку: хотя уже четыре дня я любил одну только ее, но я был так молод, и сердце мое было так богато, что остаться совершенно равнодушным к другим женщинам я не мог. И шаги мои были быстрые, смелые, порхающие.

В без четверти семь пальто мое было застегнуто на две пуговицы, и я смотрел только на женщин, но без вызова и ласки, а скорее с отвращением. Мне нужна была только одна женщина — остальные могли провалиться к черту: они только мешали и своим мнимым сходством с ней придавали моим движениям неуверенность и резкое непостоянство.

И без пяти минут семь мне стало жарко.

В без двух минут семь мне сделалось холодно.

Ровно в семь я убедился, что она не придет.

В половине девятого я представлял собой самое жалкое существо в мире. Пальто было застегнуто на все пуговицы, воротник поднят, и фуражка нахлобучена на посиневший нос; волоса на висках, усы и ресницы белели от инея, и зубы

слегка постукивали друг о друга. По шаркающей походке и согнутой спине меня можно было принять за довольно еще бодрого старика, возвращающегося из гостей в богадельню.

И все это сделала — она! О черт... нет, не надо: может быть, и не пустили, или она больна, или умерла. Умерла! — а я ругаюсь.

II

— Там сегодня и Евгения Николаевна,— сказал мне товарищ, студент, без всякой задней мысли: он не мог знать, что я ждал Евгению Николаевну на морозе от семи до половины девятого.

— Вот как!..— глубокомысленно ответил я, а в душе выскочило: «О черт...»

Там — это на вечере у Полозовых. Полозовы — это люди, у которых я никогда не бывал. Но сегодня я там буду.

— Сеньоры!— весело крикнул я.— Сегодня Рождество; сегодня все веселятся — будем веселиться и мы.

— Но как?— грустно отозвался один.

— Но где?— поддержал другой.

— Нарядимся и будем ездить по всем вечерам,— решил я.

И им, этим бесчувственным людям, действительно стало весело. Они кричали, прыгали и пели. Они благодарили меня и считали количество наличных денег. А через полчаса мы собирали по городу всех одиноких, всех скучающих студентов, и, когда нас набралось десять весело прыгающих чертей, мы поехали в парикмахерскую,— она же костюмерная,— и наполнили ее холодом, молодостью и смехом.

Мне нужно было что-нибудь мрачное, красивое, с оттенком изящной грусти, и я попросил:

— Дайте мне костюм испанского дворянина.

Вероятно, очень это был длинный дворянин, потому что в его платье я скрылся весь без остатка и почувствовал себя уже совершенно одиноким, как в обширном и безлюдном зале. Выйдя из костюма, я попросил что-нибудь другое.

— Не хотите ли клоуна? Пестрый, с бубенчиками.

— Клоуна!— презрительно вскрикнул я.

— Ну бандита. Этакая шляпа и кинжал.

Кинжал!— это подходит к моим намерениям. К сожалению, бандит, с которого дали мне платье, едва ли достиг совершеннолетия. Вернее всего, это был испорченный

мальчишка лет восьми от роду. Его шляпенка не покрывала моего затылка, а из бархатных брюк меня должны были вытащить, как из западни. Паж не годился — был весь в пятнах, как тигр. Монах был в дырах.

— Что же ты? Поздно! — торопили меня уже одевшиеся товарищи.

Оставался единственный костюм — знатного китайца.

— Давайте китайца!— махнул я рукой, и мне дали китайца. Это было черт знает что такое! Я не говорю уже о самом костюме. Я обхожу молчанием какие-то идиотские цветные сапоги, которые были мне малы, вошли наполовину и в остальной своей, наиболее существенной части торчали в виде двух непонятных придатков по обеим сторонам ноги. Умолчу я и о розовом лоскуте, который покрывал мою голову в виде парика и привязывался нитками к ушам, отчего последние приподнялись и стали, как у летучей мыши.

Но маска!

Это была, если можно так выразиться, отвлеченная физиономия. У нее были нос, глаза и рот, и все это правильное, стоящее на своем месте, но в ней не было ничего человеческого. Человек даже в гробу не может быть так спокоен. Она не выражала ни грусти, ни веселья, ни изумления — она решительно ничего не выражала. Она смотрела на вас прямо и спокойно — и неудержимый хохот овладевал вами. Товарищи мои катались от смеху по диванам, бессильно падали на стулья и махали руками.

— Это будет самая оригинальная маска,— говорили они.

Я чуть не плакал, но, когда я взглянул в зеркало, смех овладел и мной. Да, это будет самая оригинальная маска.

— Ни в каком случае не снимать масок,— переговаривались товарищи дорогой.— Дадим слово.

— Слово! Слово!..

III

Положительно, это была самая оригинальная маска. За мной ходили целыми толпами, вертели меня, толкали, щипали — и когда измученный, я с гневом оборачивался к преследователям,— неудержимый хохот овладевал ими. Весь путь меня окружала и давила грохочущая туча хохота и двигалась вместе со мной, а я не мог вырваться из этого кольца безумного веселья. Минутами оно захватывало и меня: я кричал, пел, плясал, и весь мир кружился в моих

глазах, как пьяный. И как он был далек от меня, этот мир! И как одинок я был под этой маской!

Наконец меня оставили в покое. С гневом и страхом, со злобой и нежностью я взглянул на нее и сказал:

— Это я.

Густые ресницы медленно и с удивлением приподнялись, целый сноп черных лучей брызнул на меня — и смех, звонкий, веселый, яркий, как весеннее солнце, смех ответил мне.

— Да, это я. Это я!— твердил я и улыбался.— Почему вы не пришли сегодня?

Но она смеялась. Весело смеялась.

— Я так измучился. Так изболелось сердце,— с мольбой просил я ответа.

Но она смеялась. Черный блеск ее глаз потух, и все ярче разгоралась улыбка. Это было солнце, но солнце жгучее, беспощадное, жесткое.

— Что́ с вами?

— Это вы?— проговорила она, сдерживаясь.— Какой вы... смешной!

Плечи мои опустились, и голова поникла, и так много отчаяния было в моей позе. И пока она, с тухнущей зарей улыбки на лице, смотрела на мчащиеся мимо нас молодые веселые пары, я говорил:

— Стыдно смеяться. Разве за моей смешной маской вы не чувствуете живого страдающего лица — ведь только для того, чтобы увидеть вас, я надел ее. Зачем вы не пришли?

Быстро, с возражением на милых, улыбающихся устах, она обернулась ко мне — и жестокий смех всесильно овладел ею. Задыхаясь, почти плача, закрывая лицо кружевным душистым платком, она с трудом вымолвила:

— Взгляните... на себя. Сзади в зеркало... О, какой вы!..

Сдвигая брови, стискивая от боли зубы, с похолодевшим лицом, от которого отлила кровь, я взглянул в зеркало,— на меня смотрела идиотски-спокойная, непоколебимо-равнодушная, нечеловечески неподвижная физиономия. И я... я рассмеялся. И с неостывшим еще смехом, но уже с дрожью подымающегося гнева, с безумием отчаяния, я заговорил, почти закричал:

— Вы не должны смеяться!

И, когда она затихла, я продолжал шепотом говорить о своей любви. И никогда я не говорил так хорошо, потому что никогда не любил так сильно. О муках ожидания, о ядовитых слезах безумной ревности и тоски, о своей душе, где все было любовь, я говорил. И я видел, как, опускаясь, бросили ресницы густую тень на побледневшие щеки.

Я видел, как сквозь их матовую белизну бросал красный отсвет запылавший огонь и как все гибкое тело безвольно клонилось ко мне. Она была одета богиней ночи и, вся загадочная, словно мглой, одетая черным кружевом, сверкающая бриллиантами звезд, была красива, как забытый сон далекого детства. Я говорил — и слезы накипали у меня на глазах, и радостью билось сердце. И я увидел, увидел наконец, как милая, жалкая улыбка раскрыла ее уста, и, дрогнув, поднялись ресницы. Медленно, боязливо, с бесконечным доверием повернула она ко мне головку, и...

Такого смеха я еще не слыхал!

— Нет, нет, не могу...— почти стонала она и, закинув голову, снова разражалась звучным каскадом смеха.

О, если бы мне хоть на минуту дали человеческое лицо! Я кусал губы, слезы текли по моему разгоряченному лицу, а она, эта идиотская физиономия, в которой все было правильно, нос, глаза и губы, смотрела с непоколебимо ужасным в своей нелепости равнодушием. И когда, ковыляя на своих цветных ногах, я уходил, до меня долго еще доносился звонкий смех: как будто с громадной высоты падала серебристая струйка воды и с веселым пением разбивалась о твердую скалу.

IV

Рассыпавшись по всей сонной улице, будя ночную тишину бодрыми, возбужденными голосами, мы шли домой, и товарищ мне говорил:

— Ты имел колоссальный успех. Я никогда не видал, чтобы так смеялись... Постой, что ты делаешь? Зачем ты рвешь маску? Братцы, он с ума сошел! Глядите, он раздирает свой костюм! Он плачет!

Январь 1901 г.

ЛОЖЬ

I

— Ты лжешь! Я знаю, ты лжешь!

— Зачем ты кричишь? Разве нужно, чтобы нас слышали?

И здесь она лгала, так как я не кричал, а говорил совсем тихо-тихо, держал ее за руку и говорил тихо-тихо, и это ядовитое слово «ложь» шипело, как маленькая змейка.

— Я тебя люблю,— продолжала она.— И ты должен верить! Разве это не убеждает тебя?

И она поцеловала меня. Но, когда я хотел охватить и сжать ее руками, ее уже не было. Она ушла из полутемного коридора, и я снова последовал за ней туда, где заканчивался веселый праздник. Почем я знаю, где это было? Она сказала, чтобы я пришел туда, и я пришел и видел, как всю ночь кружились пары. Никто не подходил ко мне и не заговаривал со мной, и, всем чужой, я сидел в углу около музыкантов. Прямо на меня было направлено жерло большой медной трубы, и оттуда рычал кто-то запертый и через каждые две минуты отрывисто и грубо смеялся: хо-хо-хо.

Иногда ко мне приближалось белое душистое облако. То была она. Не знаю, как она умела ласкать меня незаметно для людей, но на одну коротенькую секунду плечо ее прижималось к моему плечу, на одну коротенькую секунду я видел, опустив глаза, белую шею в прорезе белого платья. А когда поднимал глаза, то видел профиль, такой белый, строгий и правдивый, какой бывает у задумавшегося ангела над могилой забытого человека. И глаза ее я видел. Они были большие, жадные к свету, красивые и спокойные. Окруженный голубым ободком чернел зрачок, и сколько я ни смотрел в него, он был все такой же черный, глубокий и непроницаемый. Быть может, я смотрел в него так недолго, что сердце не успевало еще сделать ни одного толчка, но никогда я так глубоко и страшно не понимал, что значит бесконечность, и никогда с такой силой не ощущал ее. Со страхом и болью я чувствовал, что вся моя жизнь тоненьким лучом переходила в ее глаза, пока я становился чужим для самого себя, опустевшим и безгласным — почти мертвым. Тогда она уходила от меня, унося с собою мою жизнь, и опять танцевала с кем-то высоким, надменным и красивым. Каждую подробность изучил я в нем: форму его обуви, широту приподнятых плеч, равномерный взмах отделившейся пряди волос,—а он своим безразличным, невидящим взглядом словно вдавливал меня в стену, и я делался таким же плоским и несуществующим для глаз, как и стена.

Когда стали тухнуть свечи, я подошел к ней и сказал:

— Пора ехать. Я провожу вас.

Но она удивилась.

— Но ведь я еду с ним,— и она показала на высокого и красивого, который не смотрел на нас. И, отведя меня в пустую комнату, она поцеловала меня.

— Ты лжешь,— сказал я тихо-тихо.

— Мы сегодня увидимся. Ты должен прийти,— ответила она.

Из-за высоких крыш смотрело зеленое морозное утро, когда я ехал домой. И на всей улице было только нас двое: извозчик и я. Он сидел, понурившись и спрятав лицо, а за ним сидел, понурившись, я и прятал лицо до самых глаз. И у извозчика были свои мысли, а у меня свои, а там, за толстыми стенами, спали тысячи людей, и у них были свои сновидения и мысли. Я думал о ней и о том, что она лжет; я думал о смерти, и мне казалось, что эти сумеречно освещенные стены уже видели мою смерть и оттого они так холодны и прямы. Не знаю, о чем думал извозчик. Не знаю, о чем грезили те, скрытые стенами. Но ведь и они не знали, о чем думаю и грежу я.

Итак, мы ехали по длинным и прямым улицам, а утро поднималось из-за крыш, и все кругом было неподвижно и бело. Душистое холодное облако приближалось ко мне, и прямо в мое ухо смеялся кто-то запертый: хо-хо-хо.

II

Она солгала. Она не пришла, и я напрасно ждал ее. Серый, ровный, застывший полумрак спускался с темного неба, и я не знал, когда сумерки перешли в вечер и вечер перешел в ночь, и думал, что все это была одна долгая ночь. Все теми же шагами, однообразными, равномерными шагами долгих ожиданий ходил я взад и вперед. Я не подходил близко ни к высокому дому, в котором жила любимая мной, ни к стеклянной его двери, желтевшей под желтым навесом, а все теми же равномерными шагами ходил по противоположной стороне — взад и вперед, взад и вперед. И идя вперед, я не сводил глаз со стеклянной двери, а, возвращаясь обратно, часто останавливался и оборачивал голову, и тогда острыми иглами снег колол мое лицо. И так длинны были они, эти острые и холодные иглы, что проникали до самого сердца и кололи его тоской и гневом бессильного ожидания. От светлого севера к темному югу свободно мчался холодный воздух, со свистом играл на обледенелых крышах и, срываясь оттуда, сек мое лицо острыми маленькими снежинками и мелко стучал в стекла пустых фонарей, где оди-

нокое, дрожащее от холода сгибалось желтое пламя. И мне жаль было одинокого пламени, живущего только ночью, и я думал, что вот вся жизнь кончится на этой улице, и я уйду, и только снежинки будут нестись по пустому пространству, а желтое пламя все будет дрожать и сгибаться — в одиночестве и холоде.

Я ждал ее, и она не приходила. И мне чудилось, что одинокое пламя и я, мы похожи друг на друга, и только фонарь мой не был пуст: в том пространстве, которое я измерял своими шагами, иногда показывались люди. Они неслышно вырастали за моей спиной, большие и темные, двигались мимо меня и, серея, словно призрак, внезапно исчезали за острым углом белого здания. И снова выходили они из-за угла, равнялись со мной и медленно таяли в сером пространстве, полном бесшумно движущегося снега. Закутанные, бесформенные, молчаливые, они были похожи друг на друга и на меня, и мне казалось, что десятки людей ходят взад и вперед, как и я, ждут, дрогнут и молчат, как и я, и думают о чем-то своем, загадочном и печальном.

Я ждал ее, и она не приходила. Не знаю, почему я не кричал и не плакал от боли; не знаю, почему я смеялся и радовался и сжимал пальцы так, будто они когти и будто я держу в них то маленькое и ядовитое, что шипит, словно змейка: ложь! Она извивалась в моих руках и кусала мое сердце, и от яда ее кружилась моя голова. Все было ложь. Исчезла грань между будущим и настоящим, между настоящим и прошлым. Исчезла грань между тем временем, когда я еще не жил, и тем, когда я стал жить, и я думал, что я жил всегда — или не жил никогда. И всегда, когда я еще не жил и когда я стал жить, царила надо мной она, и мне странно было думать, что у нее есть и тело и что в существовании ее есть начало и конец. У нее не было имени, и всегда она была та, что лжет, та, что вечно заставляет ждать и никогда не приходит. И не знаю, почему я смеялся, и острые иглы вонзались в мое сердце, и прямо в ухо мое смеялся кто-то запертый: хо-хо-хо.

Открывая глаза, я видел освещенные окна высокого дома, и они тихо говорили мне своим синим и красным языком:

— Ты обманут ею; в эту минуту, пока ты одиноко блуждаешь, ждешь и страдаешь, она, вся красивая, вся яркая, вся лживая, находится здесь и слушает то, что шепчет ей высокий и красивый человек, презирающий тебя. Если бы ты ворвался сюда и убил ее, ты сделал бы хорошо, так как убил бы ложь.

Я крепче сжимал руку, в которой был нож, и, смеясь, отвечал:

— Да, я убью ее.

Но печально глядели на меня окна и печально добавляли:

— Но ты никогда не убьешь ее. Никогда, потому что оружие в твоей руке — такая же ложь, как и ее поцелуи.

Давно уже исчезли безмолвные тени ожидавших, и в холодном пространстве остался один я да дрожащие от стужи и отчаяния одинокие языки огня. Невдалеке, на церковной колокольне, стали бить часы, и их унылый металлический звук дрожал и плакал, вылетая в пространство и теряясь в массе безумно кружащихся снежинок. Я начал считать удары и рассмеялся: часы пробили пятнадцать. Колокольня была старая, и часы были старые, и хотя верно показывали время, но удары отбивали без счету, иногда так много, что старый седой звонарь взлезал вверх и удерживал руками судорожно бьющийся молоточек. Для кого лгали эти дрожащие, старчески печальные звуки, охваченные и задушенные морозной тьмой? Так жалка и нелепа была эта ненужная ложь.

И с последним лживым звуком часов стукнула стеклянная дверь, и по ступенькам спускался кто-то высокий. Я видел только его спину, но я узнал ее, так как только вчера видел ее, гордую, презрительную. И походку узнал я, и была она более легкой и уверенной, чем вчера: так не раз отходил и я от этой двери: так ходят люди, которых только сейчас целовали женские лживые уста.

III

Я грозил, я требовал, скрежеща зубами:

— Открой мне правду!

И с холодным, как снег, лицом, с удивленно приподнятыми бровями, под которыми все так же бесстрастно и загадочно темнел непроницаемый зрачок, она спрашивала меня:

— Но разве я лгу тебе?

Она знала, что я не могу доказать ее лжи, и что все мои тяжелые, массивные создания пытающей мысли могут быть разрушены одним ее словом — еще одним лживым словом. Я ждал его — и оно сходило с ее уст, сверкающее на поверхности красками правды и темное в своей глубине.

— Я люблю тебя. Разве я не вся твоя?

Мы были далеко от города, и в темные окна глядело снежное поле. Над ним была тьма и вокруг него была тьма, густая, неподвижная, молчаливая, но оно сияло своим сокровенным светом, как лицо мертвеца во мраке. Одна только свеча горела в большой, жарко натопленной комнате, и на краснеющем пламени виднелся бледный отсвет мертвого поля.

— Как бы ни была печальна правда, я хочу знать ее. Быть может, я умру, узнав ее, но смерть лучше, чем незнание правды. В твоих поцелуях и объятиях я чувствую ложь. В твоих глазах я вижу ее. Скажи мне правду — и я навсегда уйду от тебя,— говорил я.

Но она молчала, и взгляд ее, холодно-пытливый, проникал в глубь меня, выворачивал мою душу и с странным любопытством рассматривал ее. И я закричал:

— Отвечай, или я убью тебя!

— Убей!— спокойно ответила она.— Иногда так скучно жить. Но разве угрозами можно добиться правды?

И тогда я стал на колени. Сжимая ее руки, плача, я молил ее о жалости — и о правде.

— Бедный,— говорила она, кладя руку на мои волосы.— Бедный!

— Пожалей меня,— молил я.— Я так хочу правды.

И я смотрел на ее чистый лоб и думал, что правда там, за этой тоненькой преградой. И мне безумно хотелось сорвать череп, чтобы увидеть правду. А вот здесь, за белой грудью, бьется сердце — и мне безумно хотелось разорвать грудь и хоть раз увидеть обнаженное человеческое сердце. И неподвижно желтело острое пламя догоравшей свечи, и, темнея, расходились стены, и было так грустно, так одиноко, так жутко.

— Бедный,— говорила она.— Бедный.

Судорожно метнувшись, упало желтое пламя и стало синим. А потом оно погасло — тьма охватила нас. Я не видел ни лица ее, ни глаз, ее руки охватывали мою голову, и я уже не чувствовал лжи. Закрыв глаза, я не думал, не жил, я только впитывал в себя ощущение ее рук, и оно казалось мне правдивым. И в темноте тихо звучал ее шепот, боязливый и странный:

— Обними меня. Мне страшно.

И опять тишина, и опять тихий, полный страха шепот:

— Ты хочешь правды,— а разве сама я знаю ее? И разве я не хочу знать ее? Защити меня! О, как страшно!

Я открыл глаза. Побледневший мрак комнаты в страхе бежал от высоких окон, и собирался у стен, и прятался

в углы,— а в окна молча глядело что-то большое, мертвенно-белое. Казалось, что чьи-то мертвые очи разыскивают нас и охватывают своим ледяным взглядом. Дрожа, мы прижимались друг к другу, и она шептала:

— О, как страшно!

IV

Я убил ее. Я убил ее, и, когда вялой и плоской массой она лежала у того окна, за которым белело мертвое поле, я стал ногой на ее труп и рассмеялся. Это не был смех сумасшедшего, о нет! Я смеялся оттого, что грудь моя дышала ровно и легко, и внутри нее было весело, спокойно и пусто, и от сердца отпал червяк, точивший его. И, наклонившись, я заглянул в ее мертвые глаза. Большие, жадные к свету, они остались открытыми и были похожи на глаза восковой куклы — такие же круглые и тусклые, точно покрытые слюдой. Я мог трогать их пальцами, закрывать и открывать, и мне не было страшно, потому что в черном, непроницаемом зрачке уже не жил тот демон лжи и сомнений, который так долго, так жадно пил мою кровь.

Когда меня схватили, я смеялся, и схватившим меня людям это показалось и страшным и диким. Одни с отвращением отворачивались от меня и отходили в сторону; другие прямо и грозно, с укором на устах, шли на меня, но, когда на их глаза падал мой светлый и веселый взгляд, лица их бледнели, и земля приковывала к себе их ноги.

— Сумасшедший,— говорили они, и мне казалось, это слово утешает их, потому что помогает понять загадку: как, любящий, я мог убить любимую — и смеяться. И только один, толстый, краснощекий и веселый, назвал меня другим словом, и оно ударило меня и затмило в моих глазах свет.

— Бедный человек!— сказал он с состраданием и без злобы, потому что был толстый и веселый.— Бедный!

— Не надо!— крикнул я.— Не надо называть меня так!

Не знаю, зачем я кинулся к нему. Конечно, я не хотел ни убивать его, ни трогать, но все эти перепуганные люди, видевшие во мне сумасшедшего и злодея, перепугались еще больше и закричали так, что мне опять стало смешно.

Когда меня выводили из комнаты, где лежал труп, я громко и настойчиво повторял, глядя на веселого, толстого человека:

— Я счастливый! Я счастливый!

И это была правда.

V

Когда-то в детстве я видел в зверинце пантеру, поразившую мое воображение и надолго полонившую мысли. Она была непохожа на других зверей, которые бессмысленно дремали или злобно смотрели на посетителей. Из угла в угол, по одной и той же линии, с математической правильностью ходила она, каждый раз поворачиваясь на одном и том же месте, каждый раз задевая золотистым боком за один и тот же металлический прут решетки. Хищная острая голова ее была опущена, и глаза смотрели перед собой, ни разу, никогда не поворачиваясь в сторону. Перед ее клеткой целые дни толпился народ, говорил, шумел, а она все ходила, и ни разу глаза ее не обратились к смотрящим. И немногие лица из толпы улыбались; большинство серьезно, даже мрачно смотрели на эту живую картину тяжелого безысходного раздумья и со вздохом отходили. А отойдя, еще раз недоумевающе, пытливо оглядывались на нее и вздыхали, как будто было что-нибудь общее в судьбе их, свободных людей, и этого несчастного пленного зверя. И, когда впоследствии со мной, уже взрослым, люди и книги заговорили о вечности, я вспомнил пантеру, и мне показалось, что я уже знаю вечность и ее муки.

В такую пантеру превратился я в моей каменной клетке. Я ходил и думал. Я ходил по одной линии наискось клетки, от угла к углу, и по одной короткой линии шли мои мысли, такие тяжелые, что, казалось, не голову, а целый мир ношу я на своих плечах. Только из одного слова состоял он, но какое это было большое, какое мучительное, какое зловещее слово.

Ложь — так произносилось это слово.

Опять оно, шипя, выползало из всех углов и обвивалось вокруг моей души, но оно перестало быть маленькой змейкой, а развернулось большой, блестящей и свирепой змеей. И жалила и душила она меня своими железными кольцами, и, когда я начинал кричать от боли, из моего открытого рта выходил тот же отвратительный, свистящий змеиный звук, точно вся грудь моя кишела гадами:

— Ложь!

И я ходил и думал, и перед моими глазами серый, ровный асфальт пола превращался в сереющую прозрачную бездну. Ноги переставали ощущать прикосновение к камню, и мне чудилось, что в бесконечной высоте я парю над туманом и мглой. И, когда грудь моя исторгала свистящий стон, оттуда — снизу — из-под этой редеющей, но непроницае-

мой пелены медленно приносился страшный отзвук. Так медленно и глухо, точно он проходил сквозь тысячелетия и в каждую минуту и в каждой частице тумана терял свою силу. Я понимал, что там — внизу — он свистел, как ветер, который срезает деревья, но в мое ухо он входил зловещим коротким шепотком:

— Ложь!

Этот подлый шепот приводил меня в негодование. Я топал ногой по камню и кричал:

— Нет лжи! Я убил ложь.

И нарочно я отворачивался в сторону, так как знал, что она ответит. И она отвечала медленно, из глубины бездонной пропасти:

— Ложь!

Дело, как видите, в том, что я жалко ошибся. Женщину я убил, а ложь сделал бессмертной. Не убивайте женщины, пока мольбами, пыткой и огнем вы не вырвете из души ее правды!

Так думал я и ходил наискосок клетки, от угла к углу!

VI

Темно и страшно там, куда она унесла правду и ложь,— и я пойду туда. У самого престола сатаны я настигну ее, и упаду на колени, и заплачу, и скажу:

— Открой мне правду!

Но, Боже! Ведь это ложь. Там тьма, там пустота веков и бесконечности, и там нет ее и нет ее нигде. Но ложь осталась. Она бессмертна. Я чувствую ее в каждом атоме воздуха, и, когда я дышу, она с шипением входит в мою грудь и рвет ее, рвет!

О, какое безумие быть человеком и искать правды! Какая боль!

— Спасите меня! Спасите!

14 февраля 1900 г.

ЖИЛИ-БЫЛИ

I

Богатый и одинокий купец Лаврентий Петрович Кошеверов приехал в Москву лечиться, и, так как болезнь у него была интересная, его приняли в университетскую клинику. Свой чемодан с вещами и шубу он оставил внизу, в швейцарской, а вверху, где находилась палата, с него сняли черную суконную пару и белье и дали в обмен казенный серый

халат, чистое белье с черной меткой «Палата № 8» и туфли. Рубашка оказалась для Лаврентия Петровича мала, и нянька пошла искать новую.

— Уж очень вы велики! — сказала она, выходя из ванной, в которой производилось переодевание больных.

Полуобнаженный Лаврентий Петрович терпеливо и покорно ожидал и, наклонив большую лысую голову, сосредоточенно рассматривал свою высокую, отвислую, как у старой женщины, грудь и припухший живот, лежавший на коленях. Каждую субботу Лаврентий Петрович бывал в бане и видел там свое тело, но теперь, покрывшееся от холода мурашками, бледное, оно показалось ему новым и, при всей своей видимой силе, очень жалким и больным. И весь он казался не принадлежащим себе с той минуты, когда с него сняли его привычное платье, и готов был делать все, что прикажут. Вернулась с бельем нянька, и, хотя силы у Лаврентия Петровича оставалось еще настолько, что он мог пришибить няньку одним пальцем, он послушно позволил ей одеть себя и неловко просунул голову в рубашку, собранную в виде хомута. С тою же покорною неловкостью он ждал, закинув голову, пока нянька завязывала у ворота тесемки, и затем пошел вслед за нею в палату. И ступал он своими медвежьими вывернутыми ногами так нерешительно и осторожно, как делают это дети, которых неизвестно куда ведут старшие,— может быть, для наказания. Рубашка все же оказалась ему узка, тянула при ходьбе плечи и трещала, но он не решился заявить об этом няньке, хотя дома, в Саратове, один его суровый взгляд заставлял судорожно метаться десятки людей.

— Вот ваше место,— указала нянька на высокую, чистую постель и стоявший возле нее небольшой столик. Это было очень маленькое место, только угол палаты, но именно поэтому оно понравилось измученному жизнью человеку. Торопливо, точно спасаясь от погони, Лаврентий Петрович снял халат, туфли и лег. И с этого момента все, что еще только утром гневило и мучило его, отошло от него, стало чужим и неважным. Память его быстро, в одной молниезарной картине, воспроизвела всю его жизнь за последние годы: неумолимую болезнь, день за днем пожиравшую силы; одиночество среди массы алчных родственников, в атмосфере лжи, ненависти и страха; бегство сюда, в Москву,— и так же внезапно потушила эту картину, оставив на душе одну тупую, замирающую боль. И без мыслей, с приятным ощущением чистого белья и покоя, Лаврентий

Петрович погрузился в тяжелый и крепкий сон. Последними мелькнули в его полузакрытых глазах снежно-белые стены, луч солнца на одной стене, и потом наступили часы долгого и полного забвения.

На другой день над головою Лаврентия Петровича появилась надпись на черной дощечке: «Купец Лаврентий Кошеверов, 52 л., поступил 25 февраля». Такие же дощечки и надписи были у двух других больных, находившихся в восьмой палате; на одной стояло: «Дьякон Филипп Сперанский, 50 л.», на другой —«Студент Константин Торбецкий, 23 лет». Белые меловые буквы красиво, но мрачно выделялись на черном фоне, и, когда больной лежал навзничь, закрыв глаза, белая надпись продолжала что-то говорить о нем и приобретала сходство с надмогильными оповещениями, что вот тут, в этой сырой или мерзлой земле, зарыт человек. В тот же день Лаврентия Петровича свешали,— оказалось в нем шесть пудов двадцать четыре фунта. Сказав эту цифру, фельдшер слегка улыбнулся и пошутил:

— Вы самый тяжелый человек на все клиники.

Фельдшер был молодой человек, говоривший и поступавший, как доктор, так как только случайно он не получил высшего образования. Он ожидал, что в ответ на шутку больной улыбнется, как улыбались все, даже самые тяжелые больные на одобрительные шутки докторов, но Лаврентий Петрович не улыбнулся и не сказал ни слова. Глубоко запавшие глаза смотрели вниз, и массивные скулы, поросшие редкой седоватой бородой, были стиснуты, как железные. И ожидавшему ответа фельдшеру сделалось неловко и неприятно: он уже давно, между прочим, занимался физиогномикой и по обширной матовой лысине причислил купца к отделу добродушных; теперь приходилось переместить его в отдел злых. Все еще не доверяя своим наблюдениям, фельдшер — звали его Иваном Ивановичем — решил со временем попросить у купца какую-нибудь его собственноручную записку, чтобы по характеру почерка сделать более точное определение его душевных свойств.

Вскоре после взвешивания Лаврентия Петровича впервые осматривали доктора; одеты они были в белые балахоны и оттого казались особенно важными и серьезными. И затем каждодневно они осматривали его по разу, по два, иногда одни, а чаще в сопровождении студентов. По требованию докторов, Лаврентий Петрович снимал рубашку и все так же покорно ложился на постель, возвышаясь на ней

огромной мясистою грудой. Доктора стукали по его груди молоточком, прикладывали трубку и слушали, перекидываясь друг с другом замечаниями и обращая внимание студентов на те или иные особенности. Часто они начинали расспрашивать Лаврентия Петровича о том, как он жил раньше, и он неохотно, но покорно отвечал. Выходило из его отрывочных ответов, что он много ел, много пил, много любил женщин и много работал; и при каждом новом «много» Лаврентий Петрович все менее узнавал себя в том человеке, который рисовался по его словам. Странно было думать, что это действительно он, купец Кошеверов, поступал так нехорошо и вредно для себя. И все старые слова: водка, жизнь, здоровье — становились полны нового и глубокого содержания.

Выслушивали и выстукивали его студенты. Они часто являлись в отсутствие докторов, и одни коротко и прямо, другие с робкою нерешительностью просили его раздеться, и снова начиналось внимательное и полное интереса рассматривание его тела. С сознанием важности производимого ими дела они вели дневник его болезни, и Лаврентию Петровичу думалось, что весь он перенесен теперь на страницы записей. С каждым днем он все менее принадлежал себе, и в течение целого почти дня тело его было раскрыто для всех и всем подчинено. По приказанию нянек он тяжело носил это тело в ванную или сажал его за стол, где обедали и пили чай все могущие двигаться больные. Люди ощупывали его со всех сторон, занимались им так, как никто в прежней жизни, и при всем том в продолжение целого дня его не покидало смутное чувство глубокого одиночества. Похоже было на то, что Лаврентий Петрович куда-то очень далеко едет, и все вокруг него носило характер временности, неприспособленности для долгого житья. От белых стен, не имевших ни одного пятна, и высоких потолков веяло холодной отчужденностью; полы были всегда слишком блестящи и чисты, воздух слишком ровен,— в самых даже чистых домах воздух всегда пахнет чем-то особенным, тем, что принадлежит только этому дому и этим людям. Здесь же он был безразличен и не имел запаха. Доктора и студенты были всегда внимательны и предупредительны: шутили, похлопывали по плечу, утешали, но, когда они отходили от Лаврентия Петровича, у него являлась мысль, что это были возле него служащие, кондуктора на этой неведомой дороге. Уже тысячи людей перевезли они и каждый день перевозят, и их разговоры и расспросы были только

вопросами о билете. И чем больше занимались они телом, тем глубже и страшнее становилось одиночество души.

— Когда у вас бывают приемные дни?— спросил Лаврентий Петрович няньку. Он говорил коротко, не глядя на того, к кому были обращены слова.

— По воскресеньям и четвергам. Но если попросить доктора, то можно и в другие дни,— словоохотливо ответила нянька.

— А можно сделать так, чтобы совсем ко мне не пускали?

Нянька удивилась, но ответила, что можно, и этот ответ, видимо, обрадовал угрюмого больного. И весь этот день он был немного веселее и хотя не стал разговорчивее, но уже не с таким хмурым видом слушал все, что весело, громко и обильно болтал ему больной дьякон.

Приехал дьякон из Тамбовской губернии и в клинику поступил на один день раньше Лаврентия Петровича, но был уже хорошо знаком с обитателями всех пяти палат, помещавшихся наверху. Он был невысок ростом и так худ, что при раздевании у него каждое ребро вылеплялось, а живот втягивался, и все его слабосильное тельце, белое и чистое, походило на тело десятилетнего несложившегося мальчика. Волоса у него были густые, длинные, иссера-седые и на концах желтели и закручивались. Как из большой, не по рисунку, рамки выглядывало из них маленькое, темное лицо с правильными, но миниатюрными чертами. По сходству его с темными и сухими лицами древних образов фельдшер Иван Иванович причислил дьякона к отделу людей суровых и нетерпимых, но после первого же разговора изменил свой взгляд и даже на некоторое время разочаровался в значении науки физиогномики. Отец дьякон, как все его называли, охотно и откровенно рассказывал о себе, о своей семье и о своих знакомых и так любознательно и наивно расспрашивал о том же других, что никто не мог сердиться, и все так же откровенно рассказывали. Когда кто-нибудь чихал, о. дьякон издалека кричал веселым голосом:

— Исполнение желаний! За милую душу! —и кланялся.

К нему никто не приходил, и он был тяжело болен, но он не чувствовал себя одиноким, так как познакомился не только со всеми больными, но и с их посетителями, и не скучал. Больным он ежедневно по нескольку раз желал выздороветь, здоровым желал, чтобы они в веселье и благопо-

лучии проводили время, и всем находил сказать что-нибудь доброе и приятное. Каждое утро он всех поздравлял: в четверг — с четвергом, в пятницу — с пятницей, и, что бы ни творилось на воздухе, которого он не видал, он постоянно утверждал, что погода сегодня приятная на редкость. При этом он постоянно и радостно смеялся продолжительным и неслышным смехом, прижимал руки ко впалому животу, хлопал руками по коленям, а иногда даже бил в ладоши. И всех благодарил,— иногда трудно было решить, за что. Так, после чая он благодарил угрюмого Лаврентия Петровича за компанию.

— Та́к это мы с вами хорошо чайку попили,— по-небесному! Верно, отец, а?— говорил он, хотя Лаврентий Петрович пил чай отдельно и никому компании составлять не мог.

Он очень гордился своим дьяконским саном, который получил только три года тому назад, а раньше был псаломщиком. И у всех — и у больных и у приходящих — он спрашивал, какого роста их жены.

— А у меня жена очень высокая,— с гордостью говорил он после того или иного ответа.— И дети все в нее. Гренадеры, за милую душу!

Все в клиниках — чистота, дешевизна, любезность докторов, цветы в коридоре — вызывало его восторг и умиление. То смеясь, то крестясь на икону, он изливал свои чувства перед молчащим Лаврентием Петровичем и, когда слов не хватало, восклицал:

— За милую душу! Вот как перед Богом, за милую душу!

Третьим больным в восьмой палате был черный студент Торбецкий. Он почти не вставал с постели, и каждый день к нему приходила высокая девушка со скромно опущенными глазами и легкими, уверенными движениями. Стройная и изящная в своем черном платье, она быстро проходила коридор, садилась у изголовья больного студента и просиживала от двух ровно до четырех часов, когда, по правилам, кончался прием посетителей и няньки подавали больным чай. Иногда они много и оживленно говорили, улыбаясь и понижая голос, но случайно вырывались отдельные громкие слова, как раз те, которые нужно было сказать шепотом: «Радость моя!»—«Я люблю тебя»; иногда они подолгу молчали и только глядели друг на друга загадочным, затуманенным взглядом. Тогда о. дьякон кашлял и со строгим деловым видом выходил из палаты, а Лаврентий Петрович, притворявшийся спящим, видел сквозь прищуренные глаза,

как они целовались. И в сердце у него загоралась боль, и биться оно начинало неровно и сильно, а массивные скулы выдавались буграми и двигались. И с тою же холодною отчужденностью смотрели белые стены, и в их безупречной белизне была странная и грустная насмешка.

II

День в палате начинался рано, когда еще только мутно серело от первых лучей рассвета, и был длинный, светлый и пустой. В шесть часов больным подавали утренний чай, и они медленно пили его, а потом ставили градусник, измеряя температуру. Многие, как о. дьякон, впервые узнали о существовании у них температуры, и она представлялась чем-то загадочным, и измерение ее — делом очень важным. Небольшая стеклянная палочка со своими черными и красными черточками становилась показательницей жизни, и одна десятая градуса выше или ниже делала больного веселым или печальным. Даже вечно веселый о. дьякон впадал в минутное уныние и недоуменно качал головой, если температура его тела оказывалась ниже той, которую ему называли нормальной.

— Вот, отец, штука-то. Аз и ферт,— говорил он Лаврентию Петровичу, держа в руке градусник и с неодобрением рассматривая его.

— А ты подержи еще, поторгуйся,— насмешливо отвечал Лаврентий Петрович.

И о. дьякон торговался и, если ему удавалось добыть еще одну десятую градуса, становился весел и горячо благодарил Лаврентия Петровича за науку. Измерение настраивало мысли на целый день на вопросы о здоровье, и все, что рекомендовалось докторами, выполнялось пунктуально и с некоторой торжественностью. Особенную торжественность в свои действия вносил о. дьякон и, держа градусник, глотая лекарство или выполняя какое-нибудь отправление, делал лицо важным и строгим, как при разговоре о посвящении его в сан. Ему дали, для надобностей анализа, несколько стаканчиков, и он в строгом порядке расставил их, а номера — первый, второй, третий...— попросил надписать студента, так как сам писал недостаточно красиво. На тех больных, которые не исполняли предписаний докторов, он сердился и постоянно со строгостью увещевал толстяка Минаева, лежавшего в десятой палате: Минаеву доктора не велели есть мяса, а он потихоньку таскал его у соседей по обеденному столу и, не жуя, глотал.

С семи часов палату заливал яркий дневной свет, проходивший в громадные окна, и становилось так светло, как в поле, и белые стены, постели, начищенные медные тазы и полы — все блестело и сверкало в этом свете. К самым окнам редко кто-нибудь подходил: улица и весь мир, бывший за стенами клиники, потеряли свой интерес. Там люди жили; там, полная народа, пробегала конка, проходил серый отряд солдат, проезжали блестящие пожарные, открывались и закрывались двери магазинов,— здесь больные люди лежали в постелях, едва имея силы поворотить к свету ослабевшую голову; одетые в серые халаты вяло бродили по гладким полам; здесь они болели и умирали. Студент получал газету, но ни он сам, ни другие почти не заглядывали в нее, и какая-нибудь неправильность в отправлении желудка у соседа волновала и трогала больше, чем война и те события, которые потом получают название мировых. Около одиннадцати часов приходили доктора и студенты, и опять начинался внимательный осмотр, длившийся часами. Лаврентий Петрович лежал всегда спокойно и смотрел в потолок, отвечая односложно и хмуро; о. дьякон волновался и говорил так много и так невразумительно, с таким желанием всем доставить удовольствие и всем оказать уважение, что его трудно бывало понять.

О себе он говорил:

— Когда я пожаловал в клинику...

О няньке передавал:

— Они изволили поставить мне клизму...

Он всегда в точности знал, в каком часу и в какую минуту была у него изжога или тошнота, в каком часу ночи он просыпался и сколько раз. По уходе докторов он становился веселее, благодарил, умилялся и бывал очень доволен собою, если ему удавалось при прощании сделать не один общий поклон всем докторам, а каждому порознь.

— Так это чинно,— радовался он,— по-небесному!

И еще раз показывал молчащему Лаврентию Петровичу и улыбающемуся студенту, как он сделал поклон сперва доктору Александру Ивановичу и потом доктору Семену Николаевичу.

Он был болен неизлечимо, и дни его были сочтены, но он этого не знал, с восторгом говорил о путешествии в Троицко-Сергиевскую лавру, которое он совершит по выздоровлении, и о яблоне в своем саду, которая называлась «белый налив» и с которой нынешним летом он ожидал плодов. И в хороший день, когда стены и паркетный пол палаты щедро заливались солнечными лучами, ни с чем не сравни-

мыми в своей могучей силе и красоте, когда тени на снежном белье постелей становились прозрачно-синими, совсем летними, о. дьякон громко напевал трогательную песнь:

«Высшую небес и чистейшую светлостей солнечных, избавльшую нас от клятвы, владычицу мира песньми почтим!..»

Голос его, слабый и нежный тенор, начинал дрожать, и в волнении, которое он старался скрыть от окружающих, о. дьякон подносил к глазам платок и улыбался. Потом, пройдясь по комнате, он вплотную подходил к окну и вскидывал глаза к глубокому, безоблачному небу: просторное, далекое от земли, безмятежно красивое, оно само казалось величавою божественною песнью. И к ее торжественным звукам робко присоединялся дрожащий человеческий голос, полный трепетной и страстной мольбы:

«От многих моих грехов немоществует тело, немоществует и душа моя: к тебе прибегаю, благодатней, надежде ненадежных, ты мне помози!..»

В определенный час подавался обед, снова чай и ужин, а в девять часов электрическая лампочка задергивалась синим матерчатым абажуром и начиналась такая же длинная и пустая ночь.

Клиники затихали.

Только в освещенном коридоре, куда выходили постоянно открытые двери палат, вязали чулки сиделки и тихо шептались и переругивались, да изредка, громко стуча ногами, проходил кто-нибудь из служителей, и каждый его шаг выделялся отчетливо и замирал в строгой постепенности. К одиннадцати часам замирали и эти последние отголоски минувшего дня, и звонкая, словно стеклянная, тишина, чутко сторожившая каждый легкий звук, передавала из палаты в палату сонное дыхание выздоравливающих, кашель и слабые стоны тяжелых больных. Легки и обманчивы были эти ночные звуки, и часто в них таилась страшная загадка: хрипит ли больной, или же сама смерть уже бродит среди белых постелей и холодных стен.

Кроме первой ночи, в которую Лаврентий Петрович забылся крепким сном, все остальные ночи он не спал, и они полны были новых и жутких мыслей. Закинув волосатые руки за голову, не шевелясь, он пристально смотрел на светившуюся сквозь синий абажур изогнутую проволоку и думал о своей жизни. Он не верил в Бога, не хотел жизни и не боялся смерти. Все, что было в нем силы и жизни, все было растрачено и изжито без нужды, без пользы, без радости. Когда он был молод и волосы его кучерявились на голове,

он воровал у хозяина; его ловили и жестоко, без пощады били, и он ненавидел тех, кто его бил. В средних годах он душил своим капиталом маленьких людей и презирал тех, кто попадался в его руки, а они платили ему жгучей ненавистью и страхом. Пришла старость, пришла болезнь — и стали обкрадывать его самого, и он ловил неосторожных и жестоко, без пощады бил их... Так прошла вся его жизнь, и была она одною горькою обидой и ненавистью, в которой быстро гасли летучие огоньки любви и только холодную золу да пепел оставляли на душе. Теперь он хотел уйти от жизни, позабыть, но тихая ночь была жестока и безжалостна, и он то смеялся над людской глупостью и глупостью своей, то судорожно стискивал железные скулы, подавляя долгий стон. С недоверием к тому, что кто-нибудь может любить жизнь, он поворачивал голову к соседней постели, где спал дьякон. Долго и внимательно он рассматривал белый, неопределенный в своих очертаниях бугорок и темное пятно лица и бороды и злорадно шептал:

— Ду-ррак!

Потом он глядел на спящего студента, которого днем целовала девушка, и еще с бóльшим злорадством поправлялся:

— Дура-ки!

А днем душа его замирала, и тело послушно исполняло все, что прикажут, принимало лекарство и ворочалось. Но с каждым днем оно слабело и скоро было оставлено почти в полном покое, неподвижное, громадное и в этой обманчивой громадности кажущееся здоровым и сильным.

Слабел и о. дьякон: меньше ходил по палатам, реже смеялся, но, когда в палату заглядывало солнце, он начинал болтать весело и обильно, благодарил всех — и солнце и докторов — и вспоминал все чаще о яблоне «белый налив». Потом он пел «Высшую небес», и темное, осунувшееся лицо его становилось более светлым, но также и более важным: сразу видно было, что это поет дьякон, а не псаломщик. Кончив песнь, он подходил к Лаврентию Петровичу и рассказывал, какую бумагу ему дали при посвящении.

— Вот этакая огромная,— показывал он руками,— и по всей буквы, буквы. Какие черные, какие с золотой тенью. Редкость, ей-Богу!

Он крестился на икону и с уважением к себе добавлял:

— А внизу печать архиерейская. Огромадная, ей-Богу,— чисто ватрушка. Одно слово, за милую душу! Верно, отец?

И он закатисто смеялся, скрывая светлеющие глаза в сети тоненьких морщинок. Но солнце пряталось за серой снежной тучей, в палате тускнело, и, вздыхая, о. дьякон ложился в постель.

III

В поле и садах еще лежал снег, но улицы давно были чисты от него, сухи и в местах большой езды даже пыльны. Только из палисадников, обнесенных железными решетками, да со дворов выбегали тоненькие струйки воды и расплывались лужей по ровному асфальту; и от каждой такой лужи в обе стороны тянулись следы мокрых ног, вначале темные и частые, но дальше редкие и малозаметные,— как будто проходившая здесь толпа разом была подхвачена на воздух и опущена только у следующей лужи. Солнце лило в палату целые потоки света и так пригревало, что приходилось от него прятаться, как летом, и не верилось, что за тонкими стеклами окон воздух холоден, свеж и сыр. Сама палата, с ее высокими потолками, казалась при этом свете узким и душным закоулком, в котором нельзя протянуть руки, чтобы не наткнуться на стену. Голос улицы не проникал в клинику сквозь двойные рамы, но, когда по утрам в палате открывали большую откидную фортку,— внезапно, без переходов, врывался в нее пьяно-веселый и шумный крик воробьев. Все остальные звуки затихали перед ним, скромные и как будто обиженные, а он торжествующе разносился по коридорам, подымался по лестницам, дерзко врывался в лабораторию, звонко перебегая по стеклянным колбочкам. Удаленные в коридор больные улыбались наивному, мальчишески дерзкому крику, а о. дьякон закрывал глаза, протягивал вперед руки и шептал:

— Воробей! За милую душу, воробей!

Фортка закрывалась, звонкий воробьиный крик умирал так же внезапно, как и родился, но больные точно еще надеялись найти спрятанные отголоски его, торопливо входили в палату, беспокойно оглядывали ее и жадно дышали расплывающимися волнами свежего воздуха.

Теперь больные чаще подходили к окнам и подолгу простаивали у них, протирая пальцами и без того чистые стекла; неохотно, с ворчаньем ставили градусники и говорили только о будущем. И у всех будущее это представлялось светлым и хорошим, даже у того мальчика из одиннадцатой палаты, который однажды утром был перенесен

сторожами в отдельный номер, а затем неведомо куда исчез,—«выписался», как говорили няньки. Многие из больных видели, когда его переносили вместе с постелью в отдельный номер; несли его головою вперед, и он был неподвижен, только темные впавшие глаза переходили с предмета на предмет, и было в них что-то такое безропотно-печальное и жуткое, что никто из больных не выдерживал их взгляда — и отворачивался. И все догадались потом, что мальчик умер, но никого эта смерть не взволновала и не испугала: здесь она была тем обыкновенным и простым, чем кажется она, вероятно, на войне. Умер за это время и другой больной из той же одиннадцатой палаты. Это был низенький и на вид довольно еще свежий старичок, разбитый параличом; ходил он переваливаясь, одним плечом вперед, и всем больным рассказывал одну и ту же историю: о крещении Руси при Владимире Святом. Что трогало его в этой истории, так и осталось неизвестным, так как говорил он очень тихо и непонятно, закругляя слова и скрадывая окончания, но сам он, видимо, был в восторге, размахивал правой рукой и вращал правым глазом,— левая сторона тела была у него парализована. Если настроение его было хорошее, он заканчивал рассказ неожиданно громким и победным возгласом: «С нами Бог!», после чего торопливо уходил, сконфуженно смеясь и наивно закрывая рукою лицо. Но чаще он бывал печален и жаловался, что ему не дают теплой ванны, от которой он обязательно должен поправиться. За несколько дней до смерти ему назначили вечером теплую ванну, и он весь тот день восклицал: «С нами Бог!»— и смеялся; когда он уже сидел в ванне, проходившие мимо больные слышали торопливое и полное блаженства воркование: это старичок в последний раз передавал наблюдавшему за ним сторожу историю о крещении Руси при Владимире Святом. В положении больных восьмой палаты заметных перемен не произошло: студент Торбецкий поправлялся, а Лаврентий Петрович и о. дьякон с каждым днем слабели; жизнь и сила выходили из них с такой зловещей бесшумностью, что они и сами почти не догадывались об этом, и казалось, что никогда они и не ходили по палате, а все так же спокойно лежали в постелях.

И все так же регулярно приходили доктора в своих белых балахонах и студенты, выслушивали и выстукивали и говорили между собою.

В пятницу, на пятой неделе Великого поста, о. дьякона водили на лекцию, и вернулся он из аудитории возбужденный и разговорчивый. Он закатисто смеялся, как и в первое

время, крестился и благодарил и по временам подносил к глазам платок, после чего глаза становились красными.

— Чего это вы плачете, отец дьякон? — спросил студент.

— Ах, отец, и не говорите,— с умилением отозвался дьякон,— так это хорошо, за милую душу! Посадили меня Семен Николаевич в кресло, сами стали рядом и говорят студентам: «Вот, говорят, дьякон...»

Здесь о. дьякон сделал важное лицо, нахмурился, но слезы снова навернулись на его глазах, и, стыдливо отвернувшись, он пояснил:

— Уж очень трогательно читают Семен Николаевич! Так трогательно, что вся душа перевертывается. Жил, говорят, был дьякон...

Отец дьякон всхлипнул.

— Жил-был дьякон...

Дальше от слез о. дьякон продолжать не мог, но, уже улегшись в постель, из-под одеяла шепнул сдавленным голосом:

— Всю жизнь рассказали. Как это я был псаломщиком, недоедал. Про жену тоже, спасибо им, упомянули. Так трогательно, так трогательно: будто помер ты, и над тобою читают. Жил, говорят... был, говорят... дьякон...

И, пока о. дьякон говорил, всем стало видно, что этот человек умрет, стало видно с такою непреложною и страшною ясностью, как будто сама смерть стояла здесь, между ними. Невидимым страшным холодом и тьмою повеяло от веселого дьякона, и, когда с новым всхлипыванием он скрылся под одеялом, Торбецкий нервно потер похолодевшие руки, а Лаврентий Петрович грубо рассмеялся и закашлялся.

Последние дни Лаврентий Петрович сильно волновался и непрестанно повертывал голову по направлению к сиявшему сквозь окно голубому небу; изменив своей неподвижности, он судорожно ворочался на постели, кряхтел и сердился на нянек. С тем же волнением он встречал доктора при ежедневном осмотре, и тот под конец заметил это. Был он добрый и хороший человек и участливо спросил:

— Что с вами?

— Скучно,— сказал Лаврентий Петрович. И сказал он это таким голосом, каким говорят страдающие дети, и закрыл глаза, чтобы скрыть слезы. А в его «дневнике», среди заметок о том, каковы у больного пульс и дыхание и сколько раз его слабило, появилась новая отметка: «Больной жалуется на скуку».

К студенту по-прежнему приходила девушка, которую он любил, и щеки ее от свежего воздуха горели такой живой и нежной краской, что было приятно и почему-то немного грустно смотреть на них. Наклонясь к самому лицу Торбецкого, она говорила:

— Посмотри, какие горячие щеки.

И он смотрел, но не глазами, а губами, и смотрел долго и очень крепко, так как стал выздоравливать и силы у него прибавилось. Теперь они не стеснялись других больных и целовались открыто; дьякон при этом деликатно отвертывался, а Лаврентий Петрович, не притворяясь уже спящим, с вызовом и насмешкою смотрел на них. И они любили о. дьякона и не любили Лаврентия Петровича.

В субботу о. дьякон получил из дому письмо. Он ждал его уже целую неделю, и все в клинике знали, что о. дьякон ждет письма, и беспокоились вместе с ним. Приободрившийся и веселый, он встал с постели и медленно бродил по палатам, всюду показывая письмо, принимая поздравления, кланяясь и благодаря. Всем давно уже было известно об очень высоком росте его жены, а теперь он сообщил о ней новую подробность:

— Здорово она у меня храпит. Когда ляжет в кровать, так ты ее хоть оглоблей бей,— не подымешь. Храпит, да и все тут. Молодец, ей-Богу!

Потом о. дьякон плутовато подмаргивал и восклицал:

— А этакую штуку видел? Отец, а отец?

И он показывал четвертую страницу письма, на которой неумелыми, дрожащими линиями был обведен контур растопыренной детской руки, и посередине, как раз на ладони, было написано: «Тосик руку приложил». Перед тем как приложить руку, Тосик, по-видимому, был занят каким-нибудь делом, связанным с употреблением воды и грязи, так как на тех местах, что приходились против выпуклостей ладони и пальцев, бумага сохраняла явственные следы пятен.

— Внук-то, хорош? Четыре года всего, а умен, так умен, что не могу я вам этого выразить. Руку приложил, а?— В восторге от остроумной шутки, отец дьякон хлопал себя руками по коленям и сгибался от приступа неудержимого, тихого смеха. И лицо его, давно не видевшее воздуха, изжелта-бледное, становилось на минуту лицом здорового человека, дни которого еще не сочтены. И голос его делался крепким и звонким, и бодростью дышали звуки трогательной песни:

«Высшую небес и чистейшую светлостей солнечных, избавльшую нас от клятвы, владычицу мира песньми почтим!..»

В этот же день водили на лекцию Лаврентия Петровича. Пришел он оттуда взволнованный, с дрожащими руками и кривой усмешкой, сердито оттолкнул няньку, помогавшую ему ложиться в постель, и тотчас же закрыл глаза. Но о. дьякон, сам переживший лекцию, дождался момента, когда глаза Лаврентия Петровича приоткрылись, и с участливым любопытством начал допрашивать о подробностях осмотра.

— Как, отец, трогательно, а? Тоже небось и про тебя говорили: жил, говорят, был купец...

Лицо Лаврентия Петровича гневно передернулось; обжегши дьякона взглядом, он повернулся к нему спиной и снова решительно закрыл глаза.

— Ничего, отец, ты не беспокойся. Выздоровеешь, да еще как откалывать-то начнешь — по-небесному!— продолжал отец дьякон. Он лежал на спине и мечтательно глядел в потолок, на котором играл неведомо откуда отраженный солнечный луч. Студент ушел курить, и в минуты молчания слышалось только тяжелое и короткое дыхание Лаврентия Петровича.

— Да, отец,— медленно, с спокойной радостью говорил отец дьякон,— если будешь в наших краях, ко мне заезжай. От станции пять верст,— тебя всякий мужик довезет. Ей-Богу, приезжай, угощу тебя за милую душу. Квас у меня — так это выразить я тебе не могу, до чего сладостен!

Отец дьякон вздохнул и, помолчав, продолжал:

— К Троице я вот схожу. И за твое имя просфору выну. Потом соборы осмотрю. В баню пойду. Как они, отец, прозываются: торговые, что ли?

Лаврентий Петрович не ответил, и о. дьякон решил сам:

— Торговые. А там, за милую душу — домой!

Дьякон блаженно умолк, и в наступившей тишине короткое и прерывистое дыхание Лаврентия Петровича напоминало гневное сопение паровика, удерживаемого на запасном пути. И еще не рассеялась перед глазами дьякона вызванная им картина близкого счастья, когда в ухо его вошли непонятные и ужасные слова. Ужас был в одном их звуке; ужас был в грубом и злобном голосе, одно за одним ронявшем бессмысленные, жестокие слова:

— На Ваганьково кладбище пойдешь,— вот куда!

— Что ты говоришь, отец?— не понимал дьякон.

— На Ваганьково, на Ваганьково, говорю, пора,— ответил Лаврентий Петрович. Он повернулся лицом к о. дьякону и даже голову спустил с подушки, чтобы ни одно слово не миновало того, в кого оно было направлено.— А то в анатомический тебя сволокут и так там тебя взрежут,— за милую душу!

Лаврентий Петрович рассмеялся.

— Что ты, что ты, Бог с тобой! — бормотал отец дьякон.

— Со мною-то ничего, а вот как тут покойников хоронят, так это потеха. Сперва руку отрежут,— руку похоронят. Потом ногу отрежут,— ногу похоронят. Так иного-то незадачливого покойника целый год таскают, перетаскать не могут.

Дьякон молчал и остановившимся взглядом смотрел на Лаврентия Петровича, а тот продолжал говорить. И было что-то отвратительное и жалкое в бесстыдной прямоте его речи.

— Смотрю я на тебя, отец дьякон, и думаю: старый ты человек, а глуп, прямо сказать, до святости. Ну и чего ты ерепенишься: «К Троице поеду, в баню пойду». Или вот тоже про яблоню «белый налив». Жить тебе всего неделю, а ты...

— Неделя?

— Ну да, неделя. Не я говорю,— доктора говорят. Лежал я намедни, быдто спал, а тебя в палате не было,— вот студенты и говорят, а скоро, говорят, нашему дьякону и того. Недельку протянет.

— Про-тя-не-т?

— А ты думаешь, *она* помилует?— Слово «она» Лаврентий Петрович выговорил с страшной выразительностью. Затем он поднял кверху свой огромный бугроватый кулак и, печально полюбовавшись его массивными очертаниями, продолжал:— Вот, глянь-ка! Приложу кого, так тут ему аз и хверт и будет. А тоже... Ну да, тоже. Эх, дьякон пустоголовый: «К Троице, в баню пойду». Получше тебя люди жили, да и те помирали.

Лицо о. дьякона было желто, как шафран; ни говорить, ни плакать он не мог, ни даже стонать. Молча и медленно он опустился на подушку и старательно, убегая от света и от слов Лаврентия Петровича, завернулся в одеяло и притих. Но тот не мог не говорить: каждым словом, которым он поражал дьякона, он приносил себе отраду и облегчение. И с притворным добродушием он повторял:

— Так-то, отче. Через недельку. Как ты говоришь: аз и хверт? Вот тебе аз и хверт. А ты в баню,— чудасия! Разве

вот на том свете нас с тобой горячими вениками попарят,— это, отчего же, очень возможно.

Но тут вошел студент, и Лаврентий Петрович неохотно умолк. Он попробовал закрыться одеялом, как и о. дьякон, но скоро высунул голову из тьмы и насмешливо поглядел на студента.

— А сестрица-то ваша сегодня, вижу, опять не придут?— спросил он студента с тем же притворным добродушием и нехорошей улыбкой.

— Да, нездорова,— коротко от окна бросил студент хмурый ответ.

— Какая жалость!— покачал головой Лаврентий Петрович.— Что же такое с ними?

Но студент не ответил: кажется, он не слыхал вопроса. Уже три раза девушка, которую он любил, пропускала часы свиданий; не придет она и сегодня. Торбецкий делал вид, что смотрит в окно на улицу так, от безделья, но в действительности старался заглянуть влево, где находился невидимый подъезд, и прижимался лбом к самому стеклу. И так между окном и часами, глядя то на одно, то на другое, провел он время обычного приема посетителей, от двух до четырех часов. Усталый и побледневший, он неохотно выпил чаю и лег в постель, не заметив ни странной молчаливости о. дьякона, ни такой же странной разговорчивости Лаврентия Петровича.

— Не пришли сестрица!— говорил Лаврентий Петрович и улыбался нехорошей улыбкой.

IV

В эту ночь, томительно долгую и пустую, так же горела лампочка под синим абажуром, и звонкая тишина вздрагивала и пугалась, разнося по палатам тихие стоны, храп и сонное дыхание больных. Где-то упала на камень чайная ложка, и звук получился чистый, как от колокольчика, и долго еще жил в тихом и неподвижном воздухе. В палате № 8 никто не спал в эту ночь, но все лежали тихо и походили на спящих. Один Торбецкий, не думавший о присутствии в палате посторонних людей, беспокойно ворочался, ложась то на спину, то ниц, густо вздыхал и поправлял сползавшее одеяло. Раза два он ходил курить и, наконец, заснул, так как поздоровевший организм брал свое. И сон его был крепок, и грудь подымалась ровно и легко. Должно быть, и сны пришли к нему хорошие: на губах у него появи-

лась улыбка и долго не сходила, странная и трогательная при глубокой неподвижности тела и закрытых глазах.

Далеко, в темной и пустынной аудитории, пробило три часа, когда в ухо начавшего дремать Лаврентия Петровича вошел тихий, дрожащий и загадочный звук. Он родился тотчас за музыкальным боем часов и в первую секунду показался нежным и красивым, как далекая печальная песня. Лаврентий Петрович прислушался: звук ширился и рос и, все такой же мелодичный, походил теперь на тихий плач ребенка, которого заперли в темную комнату, и он боится тьмы и боится тех, кто его запер, и сдерживает бьющиеся в груди рыдания и вздохи. В следующую секунду Лаврентий Петрович проснулся совсем и разом понял загадку: плакал кто-то взрослый, плакал некрасиво, давясь слезами, задыхаясь.

— Кто это?— испуганно спросил Лаврентий Петрович, но не получил ответа.

Плач замер, и от этого в палате стало еще печальнее и тоскливее. Белые стены были неподвижны и холодны, и не было никого живого, кому можно было бы пожаловаться на одиночество и страх и просить защиты.

— Кто это плачет?— повторил Лаврентий Петрович.— Дьякон, это ты?

Рыдание словно пряталось где-то тут же, возле Лаврентия Петровича, и теперь, ничем не сдерживаемое, вырвалось на свободу. Одеяло, укрывавшее о. дьякона, заколыхалось, и металлическая дощечка дребезжащим стуком ударилась об железку.

— Что ты! Что ты!— бормотал Лаврентий Петрович.— Не плачь.

Но о. дьякон плакал, и все чаще ударялась дощечка, сотрясаемая рыдающим и бьющимся телом. Лаврентий Петрович сел на постель, задумался и потом медленно спустил на пол затекшие ноги. Когда он встал на них, в голову ему ударило чем-то теплым и шумящим,— словно целый десяток жерновов завертелся и загрохотал в его мозгу,— дыхание прервалось, и потолок быстро поплыл куда-то вниз. С трудом удержавшись на ногах от приступа головокружения, ощущая толчки сердца так ясно, как будто изнутри груди кто-то бил молотком, Лаврентий Петрович отдышался и решительно перешагнул пространство, отделявшее его от постели о. дьякона,— полтора шага. Здесь ему снова пришлось передохнуть. Прерывисто и тяжело сопя носом, он положил руку на вздрагивающий бугорок, пододвинув-

шийся, чтобы дать ему место на постели, и просительно сказал:

— Не плачь. Ну, чего плакать?! Боишься умирать?

Отец дьякон порывисто сдернул одеяло с головы и жалобно вскрикнул:

— Ах, отец!

— Ну, что? Боишься?

— Нет, отец, не боюсь,— тем же жалобно поющим голосом ответил дьякон и энергично покачал головой.— Нет, не боюсь,— повторил он и, снова повернувшись на бок, застонал и дрогнул от рыданий.

— Ты на меня не сердись, что я тебе давеча сказал,— попросил Лаврентий Петрович.— Глупо, брат, сердиться.

— Да я не сержусь. Чего я буду сердиться? Разве это ты смерть накликал? Сама приходит...— И отец дьякон вздохнул высоким, все подымающимся звуком.

— Чего же ты плачешь?— все так же медленно и недоуменно спрашивал Лаврентий Петрович.

Жалость к о. дьякону начала проходить и сменялась мучительным недоумением. Он вопросительно переводил глазами с темного дьяконова лица на его седенькую бороденку, чувствовал под рукою бессильное трепыхание худенького тельца и недоумевал.

— Чего же ты ревешь?— настойчиво спрашивал он.

Отец дьякон схватил руками лицо и, раскачивая головой, произнес высоким, поющим голосом:

— Ах, отец, отец! Солнышка жалко. Кабы ты знал... как оно у нас... в Тамбовской губернии, светит. За ми... за милую душу!

— Какое солнце?— Лаврентий Петрович не понял и рассердился на дьякона. Но тут же он вспомнил тот поток горячего света, что днем вливался в окно и золотил пол, вспомнил, как светило солнце в Саратовской губернии на Волгу, на лес, на пыльную тропинку и поле,— и всплеснул руками, и ударил ими себя в грудь, и с хриплым рыданием упал лицом вниз на подушку, бок о бок с головой дьякона. Так плакали они оба. Плакали о солнце, которого больше не увидят, о яблоне «белый налив», которая без них даст свои плоды, о тьме, которая охватит их, о милой жизни и жестокой смерти. Звонкая тишина подхватывала их рыдания и вздохи и разносила по палатам, смешивая их с здоровым храпом сиделок, утомленных за день, со стонами и кашлем тяжелых больных и легким дыханием выздоравливающих. Студент спал, но улыбка исчезла с его уст, и синие мертвенные тени лежали на его лице, неподвижном

и в неподвижности своей грустном и страдающем. Немигающим, безжизненным светом горела электрическая лампочка, и белые высокие стены смотрели равнодушно и тупо.

Умер Лаврентий Петрович в следующую ночь, в пять часов утра. С вечера он крепко уснул, проснулся с сознанием, что он умирает и что ему нужно что-то сделать: позвать на помощь, крикнуть или перекреститься,— и потерял сознание. Высоко поднялась и опустилась грудь, дрогнули и разошлись ноги, свисла с подушки отяжелевшая голова, и размашисто скатился с груди массивный кулак. Отец дьякон услышал сквозь сон скрип постели и, не открывая глаз, спросил:

— Ты что, отец?

Но никто не ответил ему, и он снова уснул. Днем доктора уверили его, что он будет жить, и он поверил им и был счастлив: кланялся с постели одной головой, благодарил и поздравлял всех с праздником.

Счастлив был и студент и спал крепко, как здоровый. В этот день девушка приходила к нему, горячо целовала его и просидела дольше назначенного часа ровно на двадцать минут.

Солнце всходило.

5—16 февраля 1901 г.

ГОСТИНЕЦ

I

— Так ты приходи!— в третий раз попросил Сениста, и в третий раз Сазонка торопливо ответил:

— Приду, приду, ты не бойся. Еще бы не прийти, конечно, приду.

И снова они замолчали. Сениста лежал на спине, до подбородка укрытый серым больничным одеялом, и упорно смотрел на Сазонку; ему хотелось, чтобы Сазонка подольше не уходил из больницы и чтобы своим ответным взглядом он еще раз подтвердил обещание не оставлять его в жертву одиночеству, болезни и страху. Сазонке же хотелось уйти, но он не знал, как сделать это без обиды для мальчика, шмурыгал носом, почти сползал со стула и опять садился плотно и решительно, как будто навсегда. Он бы еще посидел, если бы было о чем говорить; но говорить было не о чем, и мысли приходили глупые, от которых становилось

смешно и стыдно. Так, его все время тянуло называть Сенисту по имени и отчеству — Семеном Ерофеичем, что было отчаянно нелепо: Сениста был мальчишка-подмастерье, а Сазонка был солидным мастером и пьяницей, и Сазонкой звался только по привычке. И еще двух недель не прошло с тех пор, как он дал Сенисте последний подзатыльник, и это было очень дурно, но и об этом говорить тоже нельзя.

Сазонка решительно начал сползать со стула, но, не доведя дела до половины, так же решительно всполз назад и сказал не то в виде укоризны, не то утешения:

— Так вот какие дела. Болит, а?

Сениста утвердительно качнул головой и тихо ответил:

— Ну, ступай. А то он бранить будет.

— Это верно,— обрадовался Сазонка предлогу.— Он и то приказывал: ты, говорит, поскорее. Отвезешь — и той же минутой назад. И чтобы водки ни-ни. Вот черт!

Но вместе с сознанием, что он может теперь уйти каждую минуту, в сердце Сазонки вошла острая жалость к большеголовому Сенисте. К жалости призывала вся необычная обстановка: тесный ряд кроватей с бледными, хмурыми людьми; воздух, до последней частицы испорченный запахом лекарств и испарениями больного человеческого тела; чувство собственной силы и здоровья. И, уже не избегая просительного взгляда, Сазонка наклонился к Сенисте и твердо повторил:

— Ты, Семен... Сеня, не бойся. Приду. Как ослобонюсь, так и к тебе. Разве мы не люди? Господи! Тоже и у нас понятие есть. Милый! Веришь мне аль нет?

И с улыбкой на почерневших, запекшихся губах Сениста отвечал:

— Верю.

— Вот!— торжествовал Сазонка.

Теперь ему было легко и приятно, и он мог уже поговорить о подзатыльнике, случайно данном две недели назад. И он осторожно намекнул, касаясь пальцем Сенина плеча:

— А ежели тебя по голове кто бил, так разве это со зла? Господи! Голова у тебя очень такая удобная: большая да стриженая.

Сениста опять улыбнулся, и Сазонка поднялся со стула. Ростом он был очень высок, волосы его, все в мелких кудряшках, расчесанные частой гребенкой, подымались пышной и веселой шапкой, и серые припухшие глаза искрились и безотчетно улыбались.

— Ну, прощевай!— сказал он, но не тронулся с места.

Он нарочно сказал «прощевай», а не «прощай», потому что так выходило душевнее, но теперь ему показалось этого мало. Нужно было сделать что-то еще более душевное и хорошее, такое, после которого Сенисте весело было бы лежать в больнице, а ему легко было бы уйти. И он неловко топтался на месте, смешной в своем детском смущении, когда Сениста опять вывел его из затруднения.

— Прощай!— сказал он своим детским, тоненьким голоском, за который его дразнили «гуслями», и совсем просто, как взрослый, высвободил руку из-под одеяла и, как равный, протянул ее Сазонке.

И Сазонка, чувствуя, что это именно то, чего не хватало ему для полного спокойствия, почтительно охватил тонкие пальчики своей здоровой лапищей, подержал их и со вздохом опустил. Было что-то печальное и загадочное в прикосновении тонких горячих пальчиков: как будто Сениста был не только равным всем людям на свете, но и выше всех и всех свободнее, и происходило это оттого, что принадлежал он теперь неведомому, но грозному и могучему хозяину. Теперь его можно было назвать Семеном Ерофеевичем.

— Так приходи же,— в четвертый раз попросил Сениста, и эта просьба прогнала то страшное и величавое, что на миг осенило его своими бесшумными крылами.

Он снова стал мальчиком, больным и страдающим, и снова стало жаль его,— очень жаль.

Когда Сазонка вышел из больницы, за ним долго еще гнался запах лекарств и просящий голос:

— Приходи же!

И, разводя руками, Сазонка отвечал:

— Милый! Да разве мы не люди?

II

Подходила Пасха, и портновской работы было так много, что только один раз в воскресенье вечером Сазонке удалось напиться, да и то не допьяна. Целые дни, по-весеннему светлые и длинные, от петухов до петухов, он сидел на подмостках у своего окна, по-турецки поджав под себя ноги, хмурясь и неодобрительно посвистывая. С утра окно находилось в тени, и в разошедшиеся пазы тянуло холодком, но к полудню солнце прорезывало узенькую желтую полоску, в которой светящимися точками играла приподнятая пыль. А через полчаса уже весь подоконник с набросанными на нем обрезками материй и ножницами горел ослепительным

светом, и становилось так жарко, что нужно было, как летом, распахнуть окно. И вместе с волной свежего, крепкого воздуха, пропитанного запахом преющего навоза, подсыхающей грязи и распускающихся почек, в окно влетала шальная, еще слабосильная муха и приносился разноголосый шум улицы. Внизу у завалинки рылись куры и блаженно кудахтали, нежась в круглых ямках; на противоположной, уже просохшей стороне улицы играли в бабки ребята, и их пестрый, звонкий крик и удары чугунных плит о костяшки звучали задором и свежестью. Езды по улице, находившейся на окраине Орла, было совсем мало, и только изредка шажком проезжал пригородный мужик; телега подпрыгивала в глубоких колеях, еще полных жидкой грязи, и все части ее стучали деревянным стуком, напоминающим лето и простор полей.

Когда у Сазонки начинало ломить поясницу и одеревеневшие пальцы не держали иглы, он босиком и без подпояски, как был, выска́кивал на улицу, гигантскими скачками перелетал лужи и присоединялся к играющим ребятам.

— Ну-ка, дай ударить,— просил он, и десяток грязных рук протягивали ему плиты, и десяток голосов просили:

— За меня! Сазонка, за меня!

Сазонка выбирал плиту поувесистее, засучивал рукав и, приняв позу атлета, мечущего диск, измерял прищуренным глазом расстояние. С легким свистом плита вырывалась из его руки и, волнообразно подскакивая, скользящим ударом врывалась в средину длинного кона, и пестрым дождем рассыпались бабки, и таким же пестрым криком отвечали на удар ребята. После нескольких ударов Сазонка отдыхал и говорил ребятам:

— А Сениста-то еще в больнице, ребята.

Но, занятые своим интересным делом, ребята принимали известие холодно и равнодушно.

— Надобно ему гостинца отнести. Вот ужо отнесу,— продолжал Сазонка.

На слово «гостинец» отозвались многие. Мишка Поросенок подергивал одной рукой штанишки — другая держала в подоле рубахи бабки — и серьезно советовал:

— Ты ему гривенник дай.

Гривенник была та сумма, которую обещал дед самому Мишке, и выше ее не шло его представление о человеческом счастье. Но долго разговаривать о гостинце не было времени, и такими же гигантскими прыжками Сазонка перебирался к себе и опять садился за работу. Глаза его припухли, лицо стало бледно-желтым, как у больного, и веснушки

у глаз и на носу казались особенно частыми и темными. Только тщательно расчесанные волосы подымались все той же веселой шапкой, и когда хозяин, Гавриил Иванович, смотрел на них, ему непременно представлялся уютный красный кабачок и водка, и он ожесточенно сплевывал и ругался.

В голове Сазонки было смутно и тяжело, и по целым часам он неуклюже ворочал какую-нибудь одну мысль: о новых сапогах или гармонике. Но чаще всего он думал о Сенисте и о гостинце, который он ему отнесет. Машинка монотонно и усыпляюще стучала, покрикивал хозяин — и все одна и та же картина представлялась усталому мозгу Сазонки: как он приходит к Сенисте в больницу и подает ему гостинец, завернутый в ситцевый каемчатый платок. Часто в тяжелой дреме он забывал, кто такой Сениста, и не мог вспомнить его лица; но каемчатый платок, который нужно еще купить, представлялся живо и ясно, и даже казалось, что узелки на нем не совсем крепко завязаны. И всем, хозяину, хозяйке, заказчикам и ребятам, Сазонка говорил, что пойдет к мальчику непременно на первый день Пасхи.

— Уж так нужно,— твердил он.— Причешусь, и той же минутой к нему. На, милый, получай!

Но, говоря это, он видел другую картину: распахнутые двери красного кабачка и в темной глубине их залитую сивухой стойку. И его охватывало горькое сознание своей слабости, с которой он не может бороться, и хотелось кричать громко и настойчиво: «К Сенисте пойду! К Сенисте!»

А голову наполняла серая, колеблющаяся муть, и только каемчатый платок выделялся из нее. Но не радость в нем была, а суровый укор и грозное предостережение.

III

И на первый день Пасхи и на второй Сазонка был пьян, дрался, был избит и ночевал в участке. И только на четвертый день удалось ему выбраться к Сенисте.

Улица, залитая солнечным светом, пестрела яркими пятнами кумачовых рубах и веселым оскалом белых зубов, грызущих подсолнухи; играли вразброд гармоники, стучали чугунные плиты о костяшки, и голосисто орал петух, вызывая на бой соседского петуха. Но Сазонка не глядел по сторонам. Лицо его, с подбитым глазом и рассеченной губой, было мрачно и сосредоточенно, и даже волосы не

вздымались пышной гривой, а как-то растерянно торчали отдельными космами. Было совестно за пьянство и неисполненное слово, было жаль, что представится он Сенисте не во всей красе — в красной шерстяной рубахе и жилетке,— а пропившийся, паскудный, воняющий перегоревшей водкой. Но чем ближе подходил он к больнице, тем легче ему становилось, и глаза чаще опускались вниз, направо, где бережно висел в руке узелок с гостинцем. И лицо Сенисты виделось теперь совсем живо и ясно с запекшимися губами и просящим взглядом.

— Милый, да разве? Ах, господи!— говорил Сазонка и крупно надбавлял шагу.

Вот и больница — желтое, громадное здание, с черными рамами окон, отчего окна походили на темные угрюмые глаза. Вот и длинный коридор, и запах лекарств, и неопределенное чувство жути и тоски. Вот и палата и постель Сенисты...

Но где же сам Сениста?

— Вам кого?— спросила вошедшая следом сиделка.

— Мальчик тут один лежал. Семен. Семен Ерофеев. Вот на этом месте.— Сазонка указал пальцем на пустую постель.

— Так нужно допрежде спрашивать, а то ломитеся зря,— грубо сказала сиделка.— И не Семен Ерофеев, а Семен Пустошкин.

— Ерофеев — это по отчеству. Родителя звали Ерофеем, так вот он и выходит Ерофеич,— объяснил Сазонка, медленно и страшно бледнея.

— Помер ваш Ерофеич. А только мы этого не знаем: по отчеству. По-нашему — Семен Пустошкин. Помер, говорю.

— Вот как-с!— благопристойно удивился Сазонка, бледный настолько, что веснушки выступили резко, как чернильные брызги.— Когда же-с?

— Вчера после вечерен.

— А мне можно?..— запинаясь, попросил Сазонка.

— Отчего нельзя?— равнодушно ответила сиделка.— Спросите, где мертвецкая, вам покажут. Да вы не убивайтесь! Кволый он был, не жилец.

Язык Сазонки расспрашивал дорогу вежливо и обстоятельно, ноги твердо несли его в указываемом направлении, но глаза ничего не видели. И видеть они стали только тогда, когда неподвижно и прямо они уставились в мертвое тело Сенисты. Тогда же ощутился и страшный холод, стоявший в мертвецкой, и все кругом стало видно: покрытые сырыми пятнами стены, окно, занесенное паутиной; как бы ни све-

тило солнце, небо через это окно всегда казалось серым и холодным, как осенью. Где-то с перерывами беспокойно жужжала муха; падали откуда-то капельки воды; упадет одна,— кап!— и долго после того в воздухе носится жалобный, звенящий звук.

Сазонка отступил на шаг назад и громко сказал:

— Прощевай, Семен Ерофеич.

Затем опустился на колени, коснулся лбом сырого пола и поднялся.

— Прости меня, Семен Ерофеич,— так же раздельно и громко выговорил он, и снова упал на колени, и долго прижимался лбом, пока не стала затекать голова.

Муха перестала жужжать, и было так тихо, как бывает только там, где лежит мертвец. И через равные промежутки падали в жестяной таз капельки, падали и плакали — тихо, нежно.

IV

Тотчас за больницей город кончался и начиналось поле, и Сазонка побрел в поле. Ровное, не нарушаемое ни деревом, ни строением, оно привольно раскидывалось вширь, и самый ветерок казался его свободным и теплым дыханием. Сазонка сперва шел по просохшей дороге, потом свернул влево и прямиком по пару и прошлогоднему жнитву направился к реке. Местами земля была еще сыровата, и там после его прохода оставались следы его ног с темными углублениями каблуков.

На берегу Сазонка улегся в небольшой, покрытой травой ложбинке, где воздух был неподвижен и тепел, как в парнике, и закрыл глаза. Солнечные лучи проходили сквозь закрытые веки теплой и красной волной; высоко в воздушной синеве звенел жаворонок, и было приятно дышать и не думать. Полая вода уже сошла, и речка струилась узеньким ручейком, далеко на противоположном низком берегу оставив следы своего буйства: огромные, ноздреватые льдины. Они кучками лежали друг на друге и белыми треугольниками подымались вверх навстречу огненным беспощадным лучам, которые шаг за шагом точили и сверлили их. В полудремоте Сазонка откинул руку — под нее попало что-то твердое, обернутое материей.

Гостинец.

Быстро приподнявшись, Сазонка вскрикнул:

— Господи! Да что же это?

Он совершенно забыл про узелок и испуганными глазами смотрел на него: ему чудилось, что узелок сам своей волей пришел сюда и лег рядом, и страшно было до него дотронуться. Сазонка глядел-глядел не отрываясь,— и бурная, клокочущая жалость и неистовый гнев подымались в нем. Он глядел на каемчатый платок — и видел, как на первый день, и на второй, и на третий Сениста ждал его и оборачивался к двери, а он не приходил. Умер одинокий, забытый — как щенок, выброшенный в помойку. Только бы на день раньше — и потухающими глазами он увидел бы гостинец, и возрадовался бы детским своим сердцем, и без боли, без ужасающей тоски одиночества полетела бы его душа к высокому небу.

Сазонка плакал, впиваясь руками в свои пышные волосы и катаясь по земле. Плакал и, подымая руки к небу, жалко оправдывался:

— Господи! Да разве мы не люди?

И прямо рассеченной губой он упал на землю — и затих в порыве немого горя. Лицо его мягко и нежно щекотала молодая трава; густой, успокаивающий запах подымался от сырой земли, и была в ней могучая сила и страстный призыв к жизни. Как вековечная мать, земля принимала в свои объятия грешного сына и теплом, любовью и надеждой поила его страдающее сердце.

А далеко в городе нестройно гудели веселые праздничные колокола.

КУСАКА

I

Она никому не принадлежала; у нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых изб ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к дому; когда, гонимая голодом или инстинктивною потребностью в общении, она показывалась на улице,— ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно, пронзительно свистали. Не помня себя от страху, переметываясь со стороны на сторону, натыкаясь на загорожи и людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада, в одном ей известном месте. Там

она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу.

Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропойца-мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей; пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд.

— Жучка!— позвал он ее именем, общим всем собакам.— Жучка! Пойди сюда, не бойся!

Жучке очень хотелось подойти; она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил:

— Да пойди, дура! Ей-Богу, не трону!

Но, пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога.

— У-у, мразь! Тоже лезет!

Собака завизжала, больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок.

С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать, и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобою набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила ее: выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало некоторое довольство собой и даже гордость.

Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек: то отражалась на стекле упавшая звезда, или остророгий месяц посылал свой робкий луч.

II

Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грязным топотом людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники, целая веселая

ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом; кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом.

Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишен и быстро легла на траву, лицом к горячему солнцу. Потом так же внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала:

— Вот весело-то!

Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и так же беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины.

— Ай, злая собака! — убегая, крикнула девушка, и долго еще слышался ее взволнованный голос: — Мама, дети! Не ходите в сад: там собака! Огромная!.. Злю-у-щая!..

Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их: спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи: в траве шуршало что-то невидимое, маленькое и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки; хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега и скрипели нагруженные возы. И далеко окрест в неподвижном воздухе расстилался запах душистого, свежего дегтя и манил в светлеющую даль.

Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делало их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить ее из револьвера, если не уберется; но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали:

— А где же наша Кусака?

И это новое имя «Кусака» так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросавшей хлеб,— словно это был не хлеб, а камень,— и скоро все привыкли к Кусаке, называли ее «своей» собакой и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей; присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки: за полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Леля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей.

— Кусачка, пойди ко мне!— звала она к себе.— Ну, хорошая, ну, милая, пойди! Сахару хочешь?.. Сахару тебе дам, хочешь? Ну, пойди же!

Но Кусака не шла: боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Леля подвигалась к собаке и сама боялась: вдруг укусит.

— Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, Кусачка?

Брови Лели поднялись, и у самой у нее был такой хорошенький носик и такие выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо, до красноты щек, все ее молоденькое, наивно-прелестное личико.

И Кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная наверно, ударят ее или приласкают. Но ее приласкали. Маленькая, теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове и, словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча.

— Мама, дети! Глядите: я ласкаю Кусаку!— закричала Леля.

Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания: она знала, что, если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами: у нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все наперерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара.

III

Всею своею собачьей душою расцвела Кусака. У нее было имя, на которое она стремглав неслась из зеленой глубины сада; она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки?

С привычкою к умеренности, создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ела очень мало, но и это малое изменило ее до неузнаваемости: длинная шерсть, прежде висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшею грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем.

Но такою гордою и независимою она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарился огнем ласк из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться, и тем выражают свои чувства, но она не умела.

Единственное, что могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало, это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви,— и с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким.

— Мама, дети! Смотрите, Кусака играет!— кричала Леля и, задыхаясь от смеха, просила:— Еще, Кусачка, еще! Вот так! Вот так...

И все собирались и хохотали, а Кусака вертелась, кувыркалась и падала, и никто не видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть ее отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал:

— Кусачка, милая Кусачка, поиграй!

И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при ней и за глаза и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под террасой.

Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей помоев и костей, уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она: редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали ее с собою в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай.

IV

Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одну за другой.

— Как же нам быть с Кусакой?— в раздумье спрашивала Леля.

Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя.

— Что у тебя за поза, Леля! Ну кто так сидит?— сказала мать и добавила:— А Кусаку придется оставить. Бог с ней!

— Жа-а-лко,— протянула Леля.

— Ну что поделаешь? Двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь.

— Жа-а-лко,— повторила Леля, готовая заплакать.

Уже приподнялись, как крылья ласточки, ее темные брови и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала:

— Догаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты слышишь меня? А эта что — дворняжка!

— Жа-а-лко,— повторила Леля, но не заплакала.

Снова пришли незнакомые люди, и заскрипели возы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неот-

ступно глядела на видимый ей уголок террасы и на сновавшие по нем фигуры в красных рубахах.

— Ты здесь, моя бедная Кусачка,— сказала вышедшая Леля. Она уже была одета по-дорожному — в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака, и черную кофточку.— Пойдем со мной!

И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, и все пространство между почерневшею землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды и как скучно солнцу за этою плотною стеной.

Налево от шоссе тянулось потемневшее жнивье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты. Впереди, недалеко, была застава и возле нее трактир с железной красной крышей, а у трактира кучка людей дразнила деревенского дурачка Илюшу.

— Дайте копеечку,— гнусавил протяжно дурачок, и злые, насмешливые голоса наперебой отвечали ему:

— А дрова колоть хочешь?

И Илюша цинично и грязно ругался, а они без веселья хохотали.

Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным; шире и печальнее стала туманная осенняя даль.

— Скучно, Кусака!— тихо проронила Леля и, не оглядываясь, пошла назад.

И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с Кусакой.

V

Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и — промокшая, грязная — вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, не видал: первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке.

Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветного неба. На террасе, с которой

была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, свет долго еще боролся с тьмою и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он.

Наступила ночь.

И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завыла. Звенящей, острой, как отчаяние, нотой ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем.

Собака выла — ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу.

Собака выла.

ИНОСТРАНЕЦ

I

С одиннадцати часов утра вплоть до восьми вечера студент Чистяков ходил по урокам и только раз в неделю, по средам, когда занятия с учениками начинались у него позже, заглядывал на минутку в университет, чтобы отметиться у педеля. На лекции он никогда не заходил и не знал даже, где расположены аудитории для юристов второго курса, так как очень не любил профессоров и ближайшей весной собирался навсегда уехать за границу — жить и учиться там. Для этой именно цели он набрал столько работы и копил деньги, а по вечерам, возвратившись с уроков, занимался немецким языком. Поселиться он решил в Германии, в Берлине; там уже с год жил его старый приятель и писал оттуда длинные и восторженные письма. И в каждом письме настойчиво звал его.

Но случалось по вечерам, что в голове у Чистякова что-то шумело, как вода, падающая с мельничного колеса; перед утомленными глазами мелькали неприятные лица учеников, и сильно болел левый бок. Тогда заниматься нельзя было, и он или ложился в постель, считал накопленные деньги и мечтал о своей жизни в Берлине, или шел вниз, в шестьдесят четвертый номер, где вечерами собирались обыкновенно студенты со всего «Северного Полюса»,— так назывались номера, в которых он жил. Он не любил собиравшихся там студентов, как не любил всего, что его окружало:

не любил улиц, по которым ходил, не любил комнаты, в которой жил, не любил всей неустроенной, хаотичной, варварски грубой и бессмысленной жизни. Даже хуже варваров казались ему люди, которых он видел всюду, на улицах и в домах: варвары были смелы, а эти только не уважали ни себя, ни других, и часто вырастал между ними страшный призрак тупого насилия и бессмысленной жестокости. Но сознание, что скоро он уйдет от них навсегда, увидит других, хороших людей, заживет настоящею, устроенною и доброю жизнью, примиряло его с остающимися людьми и вызывало странную грусть и тихое сожаление. И когда он приходил к ним, высокий, с узкою и больной грудью, с бескровным лицом постника и лихорадочно блестящими глазами, его тихое «здравствуйте!» звучало как печальное «прощайте!».

А внизу, в шестьдесят четвертом номере, всегда было так весело, беззаботно и шумно. Оттого, что в номере много пили водки и курили, много пели и кричали, спали на полу и на диванах, воздух в нем был сизый, тяжелый, сильно пахло спиртом и селедкой, и всегда царил беспорядок, такой прочный и непобедимый, что Чистякову он иногда казался особенным порядком. И хозяева комнаты, Ванька Костюрин и Панов, были похожи на свою комнату: беспорядочные и прочно утвердившиеся в своем беспорядке, по утрам вместо чая они пили водку или пиво, ночью бодрствовали, а днем спали.

Имущества у них было очень мало, но на окнах всегда стоял ряд порожних бутылок, по росту, начиная от четверти и кончая соткой, а на стене висели бубен и треугольник, и лежала хорошая гармония. С тех пор как один из товарищей по номерам, серб Райко Вукич, однажды ночью прошелся с бубном по коридору и страшно напугал всех жильцов, подумавших про пожар, каждый вечер в одиннадцать часов приходил коридорный Сергей и отбирал бубен до утра. А утром приносил его вместе с парою пива, и длинноусый Ванька Костюрин, по утрам очень мрачный, исполнял на бубне короткую песнь — тоже почему-то очень мрачную. А потом звонкой и веселой трелью рассыпалась гармония — и начинался бестолковый и непонятный Чистякову день.

Когда вечером в шестьдесят четвертый номер приходил Чистяков, узкогрудый, болезненный, неся на себе следы трудового дня и строго определенной жизненной цели, компания встречала его с легкой насмешкой и недоброжелательством.

— Иностранец ползет!— возвещал Ванька Костюрин.

И студенты смеялись, так как всем своим лицом, длинными волосами, синей рубашкой, выглядывавшей из-под тужурки, Чистяков менее всего походил на иностранца. Да и говор у него был самый великорусский: мягкий, округлый и задумчивый.

Не любили его студенты за то, что он был совершенно равнодушен к их жизни, не понимал ее радостей и похож был на человека, который сидит на вокзале в ожидании поезда, курит, разговаривает, иногда даже как будто увлекается, а сам не сводит глаз с часов. О себе он ничего не рассказывал, и никто не знал, почему в двадцать девять лет он только на втором курсе, но зато много и подробно говорил он о загранице и тамошней жизни. И всем, кого видел в первый раз, сообщал с тихим восторгом где-то и когда-то услышанную им новость: что в Христиании, на самой лучшей площади, народ воздвиг два прекрасных памятника: Бьернсону и Ибсену, еще при жизни последних, и когда Бьернсон и Ибсен проходят по площади, они видят свое изображение отлитым из вечного чугуна и бронзы и так радуются любви народа, что оба плачут. И, рассказывая это, Чистяков глядел в сторону, и веки его наливались слезами и краснели.

Охотно рассказывал он и о том, сколько скоплено у него денег для заграницы — двести двадцать рублей, и однажды он даже надоел всем студентам с жалобою на то, как гнусно поступили с ним на одном уроке, обсчитав его на одиннадцать рублей. Так, взяли и спокойно обсчитали, а когда он стал требовать, то сперва посмеялись, а потом выгнали.

— Ведь это кровные деньги!— говорил он с гневом и тоскою.— Ведь может, они мне двух лет жизни стоят!

— Ну, не ной, надоел!— сказал ему Ванька Костюрин.— Хочешь, мы тебе эти одиннадцать целковых соберем промеж себя?

Он предложил это от чистого сердца и был очень удивлен и обижен, когда Чистяков с негодованием отклонил предложение.

— Не товарищ ты!— сказал Костюрин с упреком, и все согласились с ним, что Чистяков не товарищ.

Это видно было и по тому, с каким презрительным равнодушием относился он ко всем студенческим интересам: что бы важное ни случилось, как бы ни горячился народ в шестьдесят четвертом номере, он молчал, рассеянно барабанил пальцами по столу и, если дебаты затягивались, начинал зевать и уходил заниматься немецким языком.

— Я не здешний!— говорил он с шутливым извинением, но в шутке его была страшная и почему-то очень обидная правда. И было неприятно чувствовать, что они совсем не знают этого узкогрудого человека, который так прямо идет к своей цели и не хочет сказать, откуда взялось в его больной груди столько силы и решимости.

И особенно не любил его Ванька Костюрин; сам он носил высокие сапоги, а летом в деревне поддевку, уважал все русское, водку, квас, жирные щи и мужиков, и старался говорить грубым голосом и по-простонародному: вместо «кажется» говорил «кажись» и часто употреблял слово «давеча». И он не понимал упорного стремления Чистякова за границу и причислял его почему-то к той же категории явлений, как белые перчатки, постоянная трезвость, визиты и модные сапоги; и два другие названия, данные им Чистякову, были такие: «аристократ» и «собачья старость». Остальные были равнодушны ко всему русскому, охотно бранили его и говорили Чистякову, что и сами поехали бы учиться и жить за границей, если бы деньги. А он уговаривал их, доказывал, что денег всегда можно достать, волновался, но потом вглядывался в их добродушные полупьяные рожи, вспоминал всю их ленивую, распущенную жизнь — и равнодушно умолкал. Где-нибудь в углу на смятой постели он усаживался и смотрел оттуда блестящими и далекими глазами, такой бледный, узкогрудый и решительный.

А остальные весело и беззаботно жили со всею беспечностью молодости и здоровья, как будто не было у них ни вчерашнего, ни завтрашнего дня, ни проклятых вопросов, которые несет с собою проклятая действительность. Широкоплечий, волосатый, толстошеий Толкачев, с маленькими и тупыми глазками, показывал силу своих мышц, подымал гири и заставлял всех смотреть на себя и восхищаться: он был членом гимнастического общества, признавал одну только силу и открыто презирал университет, студентов, науку и всякие вопросы. И многие его ненавидели, но боялись его чудовищной силы, его грубости, которая ни перед чем не останавливается, и даже за глаза не решались говорить о нем дурно. И когда кто-нибудь, выведенный из терпения, начинал спорить с ним, то всегда начинал спор словами:

— Конечно, всякий свободен в своих убеждениях, но ты, Костя, едва ли прав...

А он не понимал этой деликатности и спокойно обрывал спор:

— Ну, стоит с вами, с дураками, разговаривать. Будь моя воля, я каждый бы день всех вас на конюшне драл.

И все делали вид, что он шутит, и смеялись. Хозяин Панов крошил лук для селедки и плакал; серб Райко Вукич, низенький, сухой, жилистый, горбоносый, с острым раздвоенным подбородком, по которому выступала колючая щетина, и с обвисшими усами, глядел на водку, молчал и ждал, когда нальют. Этот Райко был чудак. Трезвый он молчал, а когда выпивал немного водки, то начинал смешным и ломаным языком горячо и упорно рассказывать про Сербию — какие-то мелкие и неинтересные вещи: о партиях, о радикалах и турках, о каком-то скверном и ужасном человеке Бодемличе и еще о чем-то. И он так расхваливал маленькую и плохонькую Сербию, что все умирали со смеху и нарочно дразнили его.

— Господи!— удивлялся Ванька Костюрин.— Говорит про Сербию, а она вся-то с эту селедку. Возьмет ее турок да и проглотит.

— Подавится!— возражал Райко, щетинясь усами, подбородком, острыми глазками, всей своей колючей и жилистой фигуркой.

— И выплюнет: экая дрянь, скажет!

Райко вспыхивал, окидывал гневным взглядом собравшихся и свирепо бросал:

— Осли!

И уходил в свой номер. Товарищи хохотали, а Чистяков, печально улыбаясь, думал, какая это действительно маленькая и грустная страна задорных и слабеньких людей, постоянной неурядицы, чего-то мелкого и жалкого, как игра детей в солдаты. И ему было жаль маленького Райко и хотелось взять его за границу, чтобы он увидел там настоящую, широкую и умную жизнь.

Когда бутылки наполовину пустели, студенты начинали петь, играть на гармонии и кого-нибудь посылали за Райко, который считался специалистом по бубну. Райко являлся и мрачно бубнил, а глаза его горели, словно у волка, и были остры, как жало осы. Если становилось очень весело и разгоряченная кровь ходуном начинала ходить по жилам, Ванька Костюрин вскакивал, подергивал плечами и плясал русскую. Громоздкий и неуклюжий, в пляске он был легок и перышком носился по комнате: выбивал каблуками частую дробь, взвизгивал, гикал, и вся комната точно вертелась и дрожала от стука, заливистых звуков гармонии и захлебывающегося рычания бубна. И у всех смотревших сверкали глаза, подергивались руки и ноги, и кто-нибудь

отходил в угол, с безнадежным восторгом махал рукою и откуда-то из глубины выдыхал томительное и сладкое: э-э-х! И все они казались Чистякову похожими на сумасшедших.

Кончив пляску и тяжело отдуваясь, Ванька Костюрин просил Райко:

— А ну, Райко, покажи, как у вас пляшут. Небось так не умеют.

— Так не умеют, а лучше умеют.

— Да ты покажи, не бойся! Я знаю, у вас хорошо пляшут.

Все уговаривали, и Райко, пугливо и злобно озираясь, откладывал бубен. Потом лицо его становилось свирепым и кровожадным, и он делал несколько странных, порывистых и колючих движений — как будто не плясать он собирался, а душить, царапать и убивать. Без музыки, серьезный, немного страшный, он так похож был на маленького дикаря, что все разражались хохотом, а Райко опять обиженно ругался и уходил.

«Как они грубы!»— думал Чистяков, и ему было жаль маленького Райко, так сильно любившего свою маленькую родину.

Бывал в шестьдесят четвертом номере студент Каруев, всегда ровный, всегда веселый и слегка высокомерный. При нем все несколько менялось: пелись только хорошие песни, никто не дразнил Райко, и силач Толкачев, не знавший границ ни в наглости, ни в раболепстве, услужливо помогал ему надевать пальто. А Каруев иногда умышленно забывал поздороваться с ним и заставлял его делать фокусы, как ученую собаку:

— Ну-ка ты, мясо, подними-ка стол за ножку!

Толкачев самодовольно поднимал.

— А ну-ка согни двугривенный.

Толкачев сгибал и стыдливо говорил:

— А папаша у меня мог кочергу в бантик завязать.

Но Каруев уже не слушал его и шел разговаривать к одиноко сидевшему Чистякову. С ним он был всегда серьезен и жалеюще-внимателен, как доктор, и когда разговаривал, то близко и ласково заглядывал ему в глаза. А Чистяков тоже жалел его и постоянно звал с собою за границу.

— Ну как, едете?— спрашивал Каруев.

— Двести двадцать собрал. Еще сто восемьдесят не хватает. А вы?— улыбался Чистяков.

— А я нет. Тяжело вам там будет, голубчик. Здоровье-то ваше...

— Там климат хороший.

— Так-то оно так, а все же лучше бы в Крым...

Бледное лицо Чистякова стало еще бледнее, и веки напряженно покраснели. Дрожа от боли и ужаса, точно у него от сердца отдирали его заграницу, он с тоскою и отчаянием прошептал:

— Я умру здесь. Умру. Господи! Там люди, там жизнь, а тут...— Он безнадежно махнул рукою.

— Ну-ну!— успокаивал его Каруев.— И поезжайте с Богом, если так хочется.

— Там, вы знаете,— умиленно шептал Чистяков,— там в Христиании Бьернсону заживо памятник поставили. И Ибсену. И они каждый день... мимо ходят и видят это. Господи! Хоть бы только коснуться той благородной земли, хоть бы только раз вздохнуть тем воздухом!.. Грудь у меня слабая, чахотка, говорят, может быть. Умереть бы там.

Каруев ласково погладил его по колену.

— Не умрете. Нас еще переживете! А должно быть, жизнь-то порядочно вас поломала. Ишь нервы.

— Нервы!— улыбнулся Чистяков.— Не нервы, а вот,— он ткнул себя в грудь,— вот где сидит у меня ваша жизнь!

И начал рассказывать, как дешево все за границей, а люди только дороги. Не так, как у нас: все дорого, а люди дешевы.

II

На вторую половину года жить Чистякову стало труднее. Силы у него убавилось, чаще болел левый бок, и на уроках он легко раздражался, а ученики были тупые, дерзкие и ленивые. И среди студентов в шестьдесят четвертом номере стало хуже. Там произошла история, которую все скоро позабыли, а Чистяков забыть не мог, так больно она поразила его. Это было еще в ноябре: силач Толкачев ударил Ваньку Костюрина по лицу, за что-то поссорившись с ним. Был поздний вечер, они стояли толпою на дворе, все были сильно пьяны и смутно понимали, что происходит.

— За что ты меня? — крикнул Костюрин.

— А вот за что! — сказал Толкачев и еще раз ударил так, что Костюрин перегнулся надвое, едва устоял на ногах, и на зубах его показалась кровь.

Все хмурились, кричали, но никто не решался вступиться, и только Чистяков с истерическим вскриком бросился на огромного Толкачева и неловко ударил его, ушибив себе большой палец. Потом что-то тяжелое, как пудовая гиря, обрушилось на его голову, он упал, а когда поднялся, все стояли кружком и наскакивали на Толкачева, но не били его, а только кричали. Но все же он немного струсил и оправдывался, сваливая всю вину на Костюрина; последний выплевывал на снег черную слюну и говорил:

— Братцы, разве так можно!

И через десять минут их помирили. Они протянули руки и поцеловались, а Чистяков всплеснул руками и заплакал от боли, от скорби и гнева.

— Господи! Его бьют, а он целуется! Ведь это подлость!

— А тебе что?— через плечо спросил Толкачев.— Хочешь, через крышу перекину?

— Иностранец!— презрительно сказал Костюрин, и все, галдя и смеясь, тронулись к воротам, а Чистяков пошел в свой номер, лег и долго плакал в темноте. Насилие, несправедливость, как туча, стояли над ним, и далеким, недоступным раем казались ему чудные и светлые края. «Хоть бы умереть там!» — думал он, смертельно тоскуя.

На другой день Костюрину стало совестно, и он первый раз за все время знакомства пришел в номер к Чистякову, долго и смущенно оглядывался и хвалил комнату.

— Как тут у тебя чудно́! Словно у монашенки!— говорил он, а потом сразу заплакал, и по длинным, перекосившимся усам его катились большие светлые слезы и капали на красное сукно номерного грязного стола. А через неделю все забылось, и Толкачев опять показывал силу своих мускулов и заставлял восхищаться ими, но теперь Чистяков не мог без ужаса смотреть на его красную толстую шею и огромный кулак и чувствовал себя в его присутствии таким беззащитным и слабым, как цыпленок перед ястребом. Грубая и тупая сила грозно стояла перед ним, и ни в чем не было защиты. Все-таки он перестал подавать Толкачеву руку, но тот встретил это презрительным и искренним хохотом и часто заговаривал с ним:

— Ну, иностранец! Скоро тебя черти унесут за границу? Поскорее, а то соберусь как-нибудь и ребра тебе пощупаю.

Чистякову было страшно; он молчал и думал: «Не понимает даже, что неприлично заговаривать с человеком, который не подает руки». А Толкачев хохотал:

— Не бойся: я ведь шучу. На что ты мне нужен, собачья старость!

И все облегченно вздыхали, так как боялись, что Толкачев и вправду побьет его, и иногда уговаривали Чистякова помириться.

— Ведь он хороший малый,— говорили они полуискренно, так как и за глаза не решались говорить о Толкачеве правду и не решались думать ее. И только один Каруев одобрил Чистякова и почти перестал бывать в шестьдесят четвертом номере.

Денег было скоплено двести девяносто рублей, и была надежда, что к весне, к апрелю месяцу, Чистяков соберет все четыреста. У него было бы больше, но на одном уроке у купца опять недодали десяти рублей, хотя обещались заплатить, а кроме того, пятнадцать рублей он дал Райко, который почти ничего не получал из дому и содержался на деньги товарищей: за его долю в квартире плату вносил Ванька Костюрин. С деньгами в кармане Чистяков стал спокойнее и увереннее. По целым вечерам он просиживал у себя в номере, мечтая о том, как хорошо он будет жить за границей, и уже начал укладывать некоторые мелкие вещи. И когда укладывал, сердце его наполняла тихая, прозрачная и чистая, как ключевая вода, печаль — о чем-то далеком, неизведанном и милом, и постоянно казалось, что он что-то забывает захватить с собою, что-то очень важное и дорогое, без чего ему предстоит много неприятностей.

К товарищам он стал относиться мягче, не сердился на них и только жалел. Жалел, что они остаются с ужасным Толкачевым; жалел, что они так пьют и вся их жизнь будет тусклая, тоскливая, как у других, и ничего не удастся им из того хорошего, о чем они иногда мечтают. Странная, неустроенная, кошмарная жизнь, похожая на дикий сон, пожрет их, как сожрала тысячи других, и тщетны будут их попытки устроить другую, лучшую жизнь. И особенно жаль ему было энергичного и смелого Каруева, который бьется головой о стену и последнее время сделался очень мрачен и неровен.

— Поедемте!— уговаривал Чистяков.

— Куда?— не понимал Каруев.

— Да за границу.

Каруев раздраженно ответил:

— А я думал что́!— но потом спохватился и вежливо добавил:— Конечно, поезжайте. Чего ж вам тут сидеть? Полечитесь там, нервы подвинтите.

— Я лето хочу в Швейцарии прожить.

— Вот, вот! На что лучше,— похвалил Каруев и вежливо, как с малознакомым, простился с Чистяковым. Он тоже куда-то на время уезжал.

В середине марта один из хозяев шестьдесят четвертого номера, Панов, праздновал свои именины и позвал Чистякова. Ездили уже на колесах, и когда Чистяков вышел с последнего урока, на него пахнуло отрадной свежестью и первым весенним теплом. «Скоро!»— подумал он, и сердце его трепыхнулось, как птица, и выросло в душе что-то печальное и больное, как у всех уезжающих надолго, навсегда,— и потонуло в волне широкой радости и торжества. Ночное небо над городом было черное, и по небу таинственно неслись огромные белые хлопья облаков, как гигантские белые птицы. В одну сторону неслись они, и был в их быстром и молчаливом полете могучий призыв к такому же вольному и счастливому полету. «Скоро! Скоро!»— думал Чистяков.

Народ уже давно собрался, когда он пришел в номера; было уже выпито водки и чаю, и все собирались петь. Чистяков устало уселся в углу, на сложенных кучею пальто, и с дружелюбной грустью смотрел на собравшихся: всего только через месяц он уезжал надолго — навсегда. Спели хором две студенческие песни, а потом выделились трое: консерваторка Михайлова, у которой было хорошее сопрано, сам именинник, певший сильным и красивым басом, и еще один белокурый студент, тенор. Тишина наступила, и бас одиноко и медленно запел, и Чистяков вздрогнул: так неожиданно хороша была песня:

Покой-ной но-о-чи всем уста-а-вшим...

Торжественным покоем, великой грустью и любовью были проникнуты величавые, могуче-сдержанные звуки: кто-то большой и темный, как сама ночь, кто-то всевидящий и оттого жалеющий и бесконечно печальный тихо окутывал землю своим мягким покровом, и до крайних пределов ее должен был дойти его мощный и сдержанный голос. «Боже мой, ведь это о нас, о нас!»— подумал Чистяков и весь потянулся к певцам.

И когда замер последний звук, вступил звонкий тенор и повторил — как будто отозвалась земля на жалеющие и ласковые слова, и мольбою дышала ее молитвенная речь:

Покой-ной но-о-чи всем уста-а-вшим...

И с той же величавой грустью и покоем лился в пространстве томный, мужественный бас:

Весь день свой отдыха не зна-а-вшим...

Что-то сверкающее и драгоценное, как слезы, упало с высокого неба и пронизало тьму широкого густого баса и нежным горячим стоном смешалось с воплями земли:

Трудом купившим сво-ой по-о-кой!..

«Боже мой, Боже мой! Ведь это она поет!— подумал Чистяков, вглядываясь в побледневшее лицо девушки.— О милая, ведь это о нас, о нас!»

И все трое, смешав голоса, пронизывая ими друг друга, слившись в одну величавую, скорбную гармонию, повторили:

Покойной ночи всем уставшим,
Весь день свой отдыха не знавшим,
Трудом купившим свой по-о-кой!

Потом пелись другие грустные песни, но Чистяков не слыхал их, и все в нем трепетало от бесконечной жалости к себе, который весь день без устали трудился, к кому-то безличному, большому, нуждавшемуся в покое, любви и тихом отдыхе.

Привел его в себя веселый и шумный разговор вокруг Райко Вукича. Его опять дразнили, а он, сверх обыкновения, молчал, и только острые, как жало осы, глазки перебегали с одного на другого и двигался щетинистый раздвоенный подбородок.

— А что, Райко,— спрашивал Ванька Костюрин,— у вас у всех там носы крючком, как у тебя?

Райко медленно ответил:

— На днях серба одного, Боиовича, на границе зарезали. Турци зарезали.

И всем ясно представился зарезанный серб, какой-то Боиович, у которого мертвецки-желтый и крючковатый нос, как у Райко, и на горле широкая черная рана. Было неприятно, и Костюрин с деланным смехом сказал:

— Эка важность! Много еще осталось.

Райко ощетинился, побледнел, и колючки на его раздвоенном подбородке задрожали. И когда он заговорил, голос у него был металлический и резкий.

— Ти обманщик. Зачем ти пляшешь русского? У тебя нет родины, нет дома! Ти свинья.

Но ответил Чистяков, точно упрек касался его. Глухо и спокойно он сказал:

— А ты, Райко, любишь Сербию?

— Ну да, люблю.

. . . .

— А!

Все молчали — и, схватив круглый столовый нож, потрясая им в воздухе, Райко дико закричал:

— Убию! Ой, какой я злой! Как у меня болит сердце! Ой, как болит!..

Он с силою пустил нож в стену, и нож ударился плашмя и со звоном отскочил. Райко, не глядя, вышел.

Через полчаса за ним отправился Чистяков; ему было жаль маленького Райко, так сильно любившего свою маленькую, смертельно обидевшую его родину. Когда он еще шел по длинному, полутемному коридору, теряясь среди одинаковых, похожих одна на другую дверей, уха его коснулись какие-то странные звуки, похожие на вой или крик о помощи. На другой двери была надпись мелом: «Райко Вукич», и оттуда шли эти странные и теперь громкие звуки. На стук Чистякова ответа не было, и он вошел, смутно различая на светлом фоне окна маленькую острую фигурку Райко: он сидел на подоконнике, в темноте, и пел необыкновенно высоким гортанным голосом.

— Райко!— тихо окликнул его Чистяков.

Но Райко не слышал. Он не слышал, как хлопнула дверь, он не слышал шагов Чистякова и его голоса; он глядел на высокую кирпичную стену с черной полосой дымной копоти и пел. О далекой родине он пел; о ее глухих страданиях, о слезах осиротевших матерей и жен; он молил ее, далекую родину, взять его, маленького Райко, и схоронить у себя и дать ему счастье поцеловать перед смертью ту землю, на которой он родился; о жестокой мести врагам он пел; о любви и сострадании к побежденным братьям, о сербе Боиовиче, у которого на горле широкая черная рана, о том, как болит сердце у него, маленького Райко, разлученного с матерью-родиной, несчастной, страдающей родиной.

Чистяков не понимал слов, но он слышал звуки, и дикие, грубые, стихийные, как стон самой земли, похожие скорее на вой заброшенного одинокого пса, чем на человеческую песню,— они дышали такой безысходной тоскою и жгучей ненавистью, что не нужно было слов, чтобы видеть окровавленное сердце певца.

На высокой, гневно-пронзительной ноте замер голос Райко, и так долго сидели они и молчали. Потом Чистяков подошел ближе и увидел сухие и злобные, горящие, как у волка, глаза.

— Райко!— сказал он.— Ты давно не был на родине; съезди туда, я дам тебе денег. У меня есть лишние.

— Там дом есть,— задумчиво сказал Райко.

— Какой дом?

— Так. Дом такой стоит. Разве ты не знаешь, какой бывает дом? Обыкновенный. И когда мимо него идет арба, она скрипит: уай, уай.

— Возьми денег, Райко.

— Не мешай мне,— сказал Райко.— Не мешай, пожалюста. Ступай к своим, а я буду одним. У меня очень болит сердце.

Но Чистяков не пошел к своим; он отправился в свой номер, сел на подоконник, как Райко, и стал смотреть на небо, на котором он прочел сегодня что-то хорошее. Все так же таинственно и молчаливо неслись гигантские белые птицы, и между ними чернело провалами бездонное небо, но чужд и холоден был теперь этот счастливый полет, и ничего не говорил он задумавшемуся человеку.

«Вот и я полечу!»— думал Чистяков, стараясь припомнить недавнее ощущение свободы и легкости, но другое смутное и властное чувство вырастало в его груди, и билось, и трепетало, как запертая птица. И он понял, что это: ему страстно хотелось петь, как Райко, и тоже петь о родине. И он обрадовался, что понял, улыбнулся и совсем ясно ощутил запертые в его груди звуки мольбы и горячие, звучные слезы. Он открыл рот,— но стало неловко, что кто-нибудь может взойти и застать его поющим, и он запер дверь двойным поворотом ключа. И назад, к окну, он шел почему-то на цыпочках.

— Ну!— сказал он себе и запел что-то без слов — и так жидок, так подло-нерешителен был пронесшийся и в жалких корчах умерший звук, что Чистякову стало страшно. «Нужно слова, без слов нельзя»,— торопливо оправдывался он и начал искать слова; и множество слов замелькало в его мозгу, но среди них не было ни одного рожденного любовью к родине. Всю свою память, все свое воображение напрягал он, искал в прошлом, искал в книгах, которые прочел,— и много было звучных и красивых слов, но не было ни одного, с каким страдающий сын мог бы обратиться к своей матери-родине. Он чувствовал его близко, он почти видел это слово и знал, чем оно отличается от других: все другие слова плоски и бедны, как нищие на паперти, а это облито кровью и слезами, как раскаленный уголь, и светло, как небесный огонь,— и не мог найти его. И таким пустым и бедным почувствовал он себя, как последний нищий, са-

мый последний нищий, у которого душа черства, как брошенное ему подаяние.

— Боже мой! боже мой!— шептал он в ужасе.— Да как же это? Ведь я хороший человек! Я хороший человек!

И он подумал, что скорее найдет то, что нужно, если станет писать. Ломая спички дрожащими руками, он зажег свечу, яростно сбросил со стола немецкий учебник и задумался над листом белой бумаги. И нерешительно, запинаясь, рука его вывела:

«Родина».

И остановилась. И более твердо повторила:

«Родина!»

И быстро, большими буквами он закончил:

«Прости меня!»

Чистяков взглянул на написанное и упал лицом вниз на бумагу и заплакал от жалости к родине, к себе, ко всем трудившимся и не знавшим отдыха. И ему страшно стало, что он мог уехать надолго, навсегда, и умереть там, в чужих краях, и угасающим слухом ловить чужую и чуждую речь. И понял он, что не может он жить без родины и не может быть счастлив, пока несчастна она, и в этом чувстве была могучая радость и могучая, стихийная, тысячеголосая скорбь. Она разбила оковы, в которых томилась его душа; она слила ее с душой неведомого многоликого страдающего брата — и словно тысяча огненных сердец колыхнулась в его больной, измученной груди. И в горячих слезах он сказал:

— Возьми меня, родина!

А внизу опять запел Райко, и дико свободны и смелы были гневно тоскующие звуки его песни.

Сентябрь 1901 г.

СТЕНА

I

Я и другой прокаженный, мы осторожно подползли к самой стене и посмотрели вверх. Отсюда гребня стены не было видно; она поднималась, прямая и гладкая, и точно разрезала небо на две половины. И наша половина неба была буро-черная, а к горизонту темно-синяя, так что нельзя было понять, где кончается черная земля и начинается небо. И, сдавленная землей и небом, задыхалась черная

ночь, и глухо и тяжко стонала, и с каждым вздохом выплевывала из недр своих острый и жгучий песок, от которого мучительно горели наши язвы.

— Попробуем перелезть,— сказал мне прокаженный, и голос его был гнусавый и зловонный, такой же, как у меня.

И он подставил спину, а я стал на нее, но стена была все так же высока. Как и небо, рассекала она землю, лежала на ней как толстая сытая змея, спадала в пропасть, поднималась на горы, а голову и хвост прятала за горизонтом.

— Ну, тогда сломаем ее!— предложил прокаженный.

— Сломаем!— согласился я.

Мы ударились грудями о стену, и она окрасилась кровью наших ран, но осталась глухой и неподвижной. И мы впали в отчаяние.

— Убейте нас! Убейте нас!— стонали мы и ползли, но все лица с гадливостью отворачивались от нас, и мы видели одни спины, содрогавшиеся от глубокого отвращения.

Так мы доползли до голодного. Он сидел, прислонившись к камню, и, казалось, самому граниту было больно от его острых, колючих лопаток. У него совсем не было мяса, и кости стучали при движении, и сухая кожа шуршала. Нижняя челюсть его отвисла, и из темного отверстия рта шел сухой шершавый голос:

— Я го-ло-ден.

И мы засмеялись и поползли быстрее, пока не наткнулись на четырех, которые танцевали. Они сходились и расходились, обнимали друг друга и кружились, и лица у них были бледные, измученные, без улыбки. Один заплакал, потому что устал от бесконечного танца, и просил перестать, но другой молча обнял его и закружил, и снова стал он сходиться и расходиться, и при каждом его шаге капала большая мутная слеза.

— Я хочу танцевать,— прогнусавил мой товарищ, но я увлек его дальше.

Опять перед нами была стена, а около нее двое сидели на корточках. Один через известные промежутки времени ударял об стену лбом и падал, потеряв сознание, а другой серьезно смотрел на него, щупал рукой его голову, а потом стену, и, когда тот приходил в сознание, говорил:

— Нужно еще; теперь немного осталось.

И прокаженный засмеялся.

— Это дураки,— сказал он, весело надувая щеки.— Это дураки. Они думают, что там светло. А там тоже темно, и тоже ползают прокаженные и просят: убейте нас.

— А старик?— спросил я.

— Ну, что старик?— возразил прокаженный.— Старик глупый, слепой и ничего не слышит. Кто видел дырочку, которую он проковыривал в стене? Ты видел? Я видел?

И я рассердился и больно ударил товарища по пузырям, вздувавшимся на его черепе, и закричал:

— А зачем ты сам лазил?

Он заплакал, и мы оба заплакали и поползли дальше, прося:

— Убейте нас! Убейте нас!

Но с содроганием отворачивались лица, и никто не хотел убивать нас. Красивых и сильных они убивали, а нас боялись тронуть. Такие подлые!

II

У нас не было времени, и не было ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Ночь никогда не уходила от нас и не отдыхала за горами, чтобы прийти оттуда крепкой, ясно-черной и спокойной. Оттого она была всегда такая усталая, задыхающаяся и угрюмая. Злая она была. Случалось так, что невыносимо ей делалось слушать наши вопли и стоны, видеть наши язвы, горе и злобу, и тогда бурной яростью вскипала ее черная, глухо работающая грудь. Она рычала на нас, как плененный зверь, разум которого помутился, и гневно мигала огненными страшными глазами, озарявшими черные, бездонные пропасти, мрачную, гордо-спокойную стену и жалкую кучку дрожащих людей. Как к другу, прижимались они к стене и просили у нее защиты, а она всегда была наш враг, всегда. И ночь возмущалась нашим малодушием и трусостью, и начинала грозно хохотать, покачивая своим серым пятнистым брюхом, и старые лысые горы подхватывали этот сатанинский хохот. Гулко вторила ему мрачно развеселившаяся стена, шаловливо роняла на нас камни, а они дробили наши головы и расплющивали тела. Так веселились они, эти великаны, и перекликались, и ветер насвистывал им дикую мелодию, а мы лежали ниц и с ужасом прислушивались, как в недрах земли ворочается что-то громадное и глухо ворчит, стуча и просясь на свободу. Тогда все мы молили:

— Убей нас!

Но, умирая каждую секунду, мы были бессмертны, как боги.

Проходил порыв безумного гнева и веселья, и ночь плакала слезами раскаяния и тяжело вздыхала, харкая на нас мокрым песком, как больная. Мы с радостью прощали ее, смеялись над ней, истощенной и слабой, и становились веселы, как дети. Сладким пением казался нам вопль голодного, и с веселой завистью смотрели мы на тех четырех, которые сходились, расходились и плавно кружились в бесконечном танце.

И пара за парой начинали кружиться и мы, и я, прокаженный, находил себе временную подругу. И это было так весело, так приятно! Я обнимал ее, а она смеялась, и зубки у нее были беленькие, и щечки розовенькие-розовенькие. Это было так приятно.

И нельзя понять, как это случилось, но радостно оскаленные зубы начинали щелкать, поцелуи становились укусом, и с визгом, в котором еще не исчезла радость, мы начинали грызть друг друга и убивать. И она, беленькие зубки, тоже била меня по моей больной слабой голове и острыми коготками впивалась в мою грудь, добираясь до самого сердца — била меня, прокаженного, бедного, такого бедного. И это было страшнее, чем гнев самой ночи и бездушный хохот стены. И я, прокаженный, плакал и дрожал от страха, и потихоньку, тайно от всех целовал гнусные ноги стены и просил ее меня, только меня одного пропустить в тот мир, где нет безумных, убивающих друг друга. Но, такая подлая, стена не пропускала меня, и тогда я плевал на нее, бил ее кулаками и кричал:

— Смотрите на эту убийцу! Она смеется над вами.

Но голос мой был гнусав и дыхание смрадно, и никто не хотел слушать меня, прокаженного.

III

И опять ползли мы, я и другой прокаженный, и опять кругом стало шумно, и опять безмолвно кружились те четверо, отряхая пыль со своих платьев и зализывая кровавые раны. Но мы устали, нам было больно, и жизнь тяготила нас. Мой спутник сел и, равномерно ударяя по земле опухшей рукой, гнусавил быстрой скороговоркой:

— Убейте нас. Убейте нас.

Резким движением мы вскочили на ноги и бросились в толпу, но она расступилась, и мы увидели одни спины. И мы кланялись спинам и просили:

— Убейте нас.

Но неподвижны и глухи были спины, как вторая стена. Это было так страшно, когда не видишь лица людей, а одни их спины, неподвижные и глухие.

Но вот мой спутник покинул меня. Он увидел лицо, первое лицо, и оно было такое же, как у него, изъязвленное и ужасное. Но то было лицо женщины. И он стал улыбаться и ходил вокруг нее, выгибая шею и распространяя смрад, а она также улыбалась ему провалившимся ртом и потупляла глаза, лишенные ресниц.

И они женились. И на миг все лица обернулись к ним, и широкий, раскатистый хохот потряс здоровые тела: так они были смешны, любезничая друг с другом. Смеялся и я, прокаженный; ведь глупо жениться, когда ты так некрасив и болен.

— Дурак,— сказал я насмешливо.— Что ты будешь с ней делать?

Прокаженный напыщенно улыбнулся и ответил:

— Мы будем торговать камнями, которые падают со стены.

— А дети?

— А детей мы будем убивать.

Как глупо: родить детей, чтобы убивать. А потом она скоро изменит ему — у нее такие лукавые глаза.

IV

Они кончили свою работу — тот, что ударялся лбом, и другой, помогавший ему, и, когда я подполз, один висел на крюке, вбитом в стену, и был еще теплый, а другой тихонько пел веселую песенку.

— Ступай, скажи голодному,— приказал я ему, и он послушно пошел, напевая.

И я видел, как голодный откачнулся от своего камня. Шатаясь, падая, задевая всех колючими локтями, то на четвереньках, то ползком он пробирался к стене, где качался повешенный, и щелкал зубами и смеялся, радостно, как ребенок. Только кусочек ноги! Но он опоздал, и другие, сильные, опередили его. Напирая один на другого, царапаясь и кусаясь, они облепили труп повешенного и грызли его ноги, и аппетитно чавкали и трещали разгрызаемыми костями. И его не пустили. Он сел на корточки, смотрел, как едят другие, и облизывался шершавым языком, и продолжительный вой несся из его большого пустого рта:

— Я го-ло-ден.

Вот было смешно: тот умер за голодного, а голодному даже куска от ноги не досталось. И я смеялся, и другой прокаженный смеялся, и жена его тут же смешливо открывала и закрывала свои лукавые глаза: щурить их она не могла, так как у нее не было ресниц.

А он выл все яростнее и громче:

— Я го-ло-ден.

И хрип исчез из его голоса, и чистым металлическим звуком, пронзительным и ясным, поднимался он вверх, ударялся о стену и, отскочив от нее, летел над темными пропастями и седыми вершинами гор.

И скоро завыли все, находившиеся у стены, а их было так много, как саранчи, и жадны и голодны они были, как саранча, и казалось, что в нестерпимых муках взвыла сама сожженная земля, широко раскрыв свой каменный зев. Словно лес сухих деревьев, склоненных в одну сторону бушующим ветром, поднимались и протягивались к стене судорожно выпрямленные руки, тощие, жалкие, молящие, и было столько в них отчаяния, что содрогались камни и трусливо убегали седые и синие тучи. Но неподвижна и высока была стена и равнодушно отражала она вой, пластами резавший и пронзавший густой зловонный воздух.

И все глаза обратились к стене, и огнистые лучи струили они из себя. Они верили и ждали, что сейчас падет она и откроет новый мир, и в ослеплении веры уже видели, как колеблются камни, как с основания до вершины дрожит каменная змея, упитанная кровью и человеческими мозгами. Быть может, то слезы дрожали в наших глазах, а мы думали, что сама стена, и еще пронзительнее стал наш вой.

Гнев и ликование близкой победы зазвучали в нем.

V

И вот что случилось тогда. Высоко на камень встала худая, старая женщина с провалившимися сухими щеками и длинными нечесанными волосами, похожими на седую гриву старого голодного волка. Одежда ее была разорвана, обнажая желтые, костлявые плечи и тощие, отвислые груди, давшие жизнь многим и истощенные материнством. Она протянула руки к стене — и все взоры последовали за ними; она заговорила, и в голосе ее было столько муки, что стыдливо замер отчаянный вой голодного.

— Отдай мне мое дитя!— сказала женщина.

И все мы молчали и яростно улыбались, и ждали, что ответит стена. Кроваво-серым пятном выступали на стене мозги того, кого эта женщина называла «мое дитя», и мы ждали нетерпеливо, грозно, что ответит подлая убийца. И так тихо было, что мы слышали шорох туч, двигавшихся над нашими головами, и сама черная ночь замкнула стоны в своей груди и лишь с легким свистом выплевывала жгучий мелкий песок, разъедавший наши раны. И снова зазвенело суровое и горькое требование:

— Жестокая, отдай мне мое дитя!

Все грознее и яростнее становилась наша улыбка, но подлая стена молчала. И тогда из безмолвной толпы вышел красивый и суровый старик и стал рядом с женщиной.

— Отдай мне моего сына!— сказал он.

Так страшно было и весело! Спина моя ежилась от холода, и мышцы сокращались от прилива неведомой и грозной силы, а мой спутник толкал меня в бок, ляскал зубами, и смрадное дыхание шипящей, широкой волной выходило из гниющего рта.

И вот вышел из толпы еще человек и сказал:

— Отдай мне моего брата!

И еще вышел человек и сказал:

— Отдай мне мою дочь!

И вот стали выходить мужчины и женщины, старые и молодые, и простирали руки, и неумолимо звучало их горькое требование:

— Отдай мне мое дитя!

Тогда и я, прокаженный, ощутил в себе силу и смелость, и вышел вперед, и крикнул громко и грозно:

— Убийца! Отдай мне самого меня!

А она,— она молчала. Такая лживая и подлая, она притворялась, что не слышит, и злобный смех сотряс мои изъязвленные щеки, и безумная ярость наполнила наши изболевшиеся сердца. А она все молчала, равнодушно и тупо, и тогда женщина гневно потрясла тощими, желтыми руками и бросила неумолимо:

— Так будь же проклята, ты, убившая мое дитя!

Красивый, суровый старик повторил:

— Будь проклята!

И звенящим тысячеголосым стоном повторила вся земля:

— Будь проклята! Проклята! Проклята!

VI

И глубоко вздохнула черная ночь, и, словно море, подхваченное ураганом и всей своей тяжкой ревущей громадой брошенное на скалы, всколыхнулся весь видимый мир и тысячью напряженных и яростных грудей ударил о стену. Высоко, до самых тяжело ворочавшихся туч, брызнула кровавая пена и окрасила их, и стали они огненные и страшные, и красный свет бросили вниз, туда, где гремело, рокотало и выло что-то мелкое, но чудовищно-многочисленное, черное и свирепое. С замирающим стоном, полным несказанной боли, отхлынуло оно — и непоколебимо стояла стена и молчала. Но не робко и не стыдливо молчала она,— сумрачен и грозно-покоен был взгляд ее бесформенных очей, и гордо, как царица, спускала она с плеч своих пурпуровую мантию быстро сбегающей крови, и концы ее терялись среди изуродованных трупов.

Но, умирая каждую секунду, мы были бессмертны, как боги. И снова взревел мощный поток человеческих тел и всей своей силой ударил о стену. И снова отхлынул, и так много, много раз, пока не наступила усталость, и мертвый сон, и тишина. А я, прокаженный, был у самой стены и видел, что начинает шататься она, гордая царица, и ужас падения судорогой пробегает по ее камням.

— Она падает!— закричал я.— Братья, она падает!

— Ты ошибаешься, прокаженный,— ответили мне братья. И тогда я стал просить их:

— Пусть стоит она, но разве каждый труп не есть ступень к вершине? Нас много, и жизнь наша тягостна. Устелем трупами землю; на трупы набросим новые трупы и так дойдем до вершины. И если останется только один,— он увидит новый мир.

И с веселой надеждой оглянулся я — и одни спины увидел, равнодушные, жирные, усталые. В бесконечном танце кружились те четверо, сходились и расходились, и черная ночь выплевывала мокрый песок, как больная, и несокрушимой громадой стояла стена.

— Братья!— просил я.— Братья!

Но голос мой был гнусав и дыхание смрадно, и никто не хотел слушать меня, прокаженного.

Горе!.. Горе!.. Горе!..

СЛУЧАЙ

Левой рукой доктор прижимал к груди купленную лампу, а в правой нес тоненькую трость и весело помахивал ею. Походка у него была размашистая, свободная, как у всех людей, которые уверены в себе и своем счастье; голову он держал закинутой назад, и глаза его улыбались. Случалось, что доктор толкал локтем кого-нибудь из прохожих, которых было много на этой людной улице, и тогда он особенно явственно и особенно ласково произносил:

— Извините, пожалуйста!

Прохожий, которого толкнул доктор, часто не слыхал извинения или не обращал на него должного внимания, но самому доктору оно было очень приятно и всякий раз вызывало любимую мысль о том, как выгодно быть добрым, любезным и никого не обижать. Извиниться ничего не стоит, а есть люди, которые совершают невежливости и никогда не извиняются, и их никто не любит. И с приятным сознанием, что он добрый и поэтому его любят все: жена, знакомые и пациенты, доктор шагал еще легче и еще крепче прижимал к груди покупку, в которую также была заключена частица его доброты.

Лампа стоила недорого, всего двенадцать с полтиной, но жена давно уже мечтала о ней и теперь, сидя дома, и не подозревала, что мечта ее осуществлена. И попалась лампа хоть и дешевая, но очень хорошая: доктор мысленно сравнивал ее со всеми другими лампами, какие приходилось ему видеть у своих знакомых и у пациентов, и те лампы были хуже. В них не было ни изящества, ни той особенной симпатичности и привлекательности, какими отличалась эта, двенадцатирублевая. Очень красивая лампа имелась у Ивановых — на высоком хрустальном стержне, с роскошным абажуром,— но та стоила шестьдесят, а за такие деньги в деревне можно купить пару хороших лошадей, не только что лампу. Были две хорошие лампы у Потаниных...

— Ох!— воскликнул доктор от толчка и торопливо добавил:— Извините, пожалуйста!

Толчок был так силен, что доктор немного пошатнулся, но улыбка не сошла с его уст даже тогда, когда он вполне разглядел толкнувшего: это была простая баба, невысокая, худая и страшно суетливая. Бежала она, словно на пожар, и Александр Павлович остановился посмотреть, как она разбрасывает на ходу прохожих.

— Ай да баба!— похвалил он ее вслух, но потом вспомнил, что баба могла выбить у него из рук лампу и разбить ее, и рассердился.

— Сумасшедшая! На людей бежит... Но, может быть, у нее кто-нибудь болен?

От последней мысли Александру Павловичу стало жаль бабу, и он снова развеселился, но сделался осторожнее и внимательнее и говорил уже не «извините, пожалуйста», а просто «извините».

«Довольно с них и этого»,— думал он.

Уже надвигались осенние ранние сумерки, и, как это всегда бывает в сумерках, ближайшие предметы виделись с большею отчетливостью, глаз легко различал всякую подробность и мелочь, но вдали все сливалось в черные и серые пятна. Дождя не было, не было и ветра, и сор в углублениях мостовой лежал неподвижно и тихо; возле самой панели валялась пустая коробка от папирос, ярко белея своими боками и вызывая странные мысли о том, кто был человек, выкуривший ее, и где он теперь. Кое-где в магазинах засветились огни, улица стала неприветной и холодной, и в неумолкающем грохоте ее послышались нотки усталости и беспокойной жалобы.

Доктор крупно набавил шагу, молча толкая сам и молча принимая толчки. Лицо его стало серьезнее, но в голове у него проходили все те же радостные мысли: о жене и ребенке, о том времени, когда в кабинете у него будет камин и он будет сидеть и греться у камина. Толково и основательно доктор перечислил все, что было приобретено для дома в последний год. Приобретено много. Заново обставлен весь кабинет: письменный стол, кушетка и книжный шкап. Куплена гостиная мебель, куплена она дешево, по случаю, но выглядит как новая и дорогая. Выписан, кроме того, журнал «Врач» и другой толстый журнал, так как Александр Павлович всегда интересовался литературой и признавал за ней значение воспитательное. Для жены сделано новое осеннее пальто с золотым галуном, а для ребенка нанята нянька. А вот теперь лампа — очень дешевая, но красивая лампа.

До дому оставалось уже недалеко, когда на противоположной стороне улицы сильнее закопошилось черное пятно прохожих, и из него послышались неясные крики. Люди толкались, казалось, на одном месте, двигали беспорядочно руками и что-то кричали. За грохотом улицы слов разобрать было невозможно, но в повышенном тоне голосов звучало беспокойство и странная злоба — странная, потому что

в ней чувствовалась радость. На улице все становятся любопытны, и доктор остановился, напряженно вглядываясь в колышащуюся и быстро нарастающую массу.

— Что бы это такое было?— догадывался он.

Внезапно черное пятно яростно завозилось, загрохотало громче, чем улица, и все разом быстро тронулось в одну сторону, расплываясь и выкидывая из себя отдельных бегущих людей. И ясно выделилась одна громкая и отчетливая фраза:

— Вор! Держите вора!

Впереди всех, не особенно быстро, как показалось Александру Павловичу, бежал невысокий человек, ловко и спокойно лавируя между встречных,— по-видимому, вор.

«Если он будет бежать все так же вдоль улицы, то его поймают. Ему бы свернуть сюда, в переулок»,— подумал доктор про длинный и глухой переулок, открывавшийся в нескольких шагах от него. И, когда вор, точно услышав его мысль, свернул с панели и бросился через улицу, прямиком на доктора, он обрадовался — и тотчас же болезненно сморщил лицо. Поверх голосов преследующей толпы выделился и словно пронзил воздух острый, высокий свист. Непрерывный, резкий, проходил он сквозь темную стаю звуков, как длинное сверкающее лезвие, и было страшно его слушать, и холодною, неумолимой жестокостью веяло от него. В самую глубину души проходил он, и хотелось бежать самому, махать руками, кричать, что-то делать безумное и злое. И еще свист, и еще; целый десяток ртов выпускал острые, змеящиеся стрелы, и жадно взывала разноголосая толпа:

— Держите вора!

Вытянув шею и быстро двигая головой, как ищущая собака, доктор прикованным взглядом следил за вором, то теряя его за экипажами, то вновь охватывая одним взглядом всего его, от быстро перебегающих ног до непокрытой головы, при каждом прыжке словно распухавшей от разметавшихся волос.

— Держите вора!— вопила толпа, и острый свист, еще более разросшийся, сверлил и терзал мозг. Преследуемый уже подбегал к доктору, и, хотя это была всего одна секунда, доктор успел с поразительной ясностью рассмотреть его лицо. Оно было молодое, с тоненькими светлыми усиками, и такое простое и обыкновенное в своем выражении, как будто человек этот вовсе не спасался от погони, а делал какое-то простое и неважное дело. Вместо бороды у вора были редкие желтенькие пушинки, и выглядывали они со

своего места просто, смирно и даже немного скучно, напоминая о чем-то далеком от улицы с ее жестоким свистом и беспощадной травлей.

Нерешительно, как человек, который еще сам в точности не знает, как он намеревается поступить, Александр Павлович сделал полшага навстречу бегущему и слегка приподнял и растопырил руки, в одной из которых оставалась завернутая в бумагу лампа. С разбегу вор ударился о его грудь, охнул всем нутром, вышиб из рук лампу и, отбросив в сторону самого доктора, побежал дальше. Но уже в следующую секунду в ворот его впилась железная рука.

— Стой, каналья! Не уйдешь!— проговорил сквозь зубы доктор и сильно встряхнул его. Вор попробовал рвануться, но тотчас понял бесполезность попытки: он был невысокий, тщедушный, почти юноша, а доктор высокий, сильный и, как показалось вору, свирепый. И он сразу успокоился. Дышал он часто, коротенькими и неглубокими вздохами, и тихо попросил:

— Пустите!

— Как бы не так!— ответил доктор и сильнее закрутил ворот.

Лицо юноши краснело, ворот, видимо, душил его, и, шевельнув болезненно плечами, он хрипло сказал:

— Ведь больно же! Пустите!

Александр Павлович немного отпустил, и так молча стояли они и рассматривали друг друга с необыкновенным любопытством, прямым, спокойным и властным. Быть может, когда-нибудь они встречались в толпе и проходили мимо, не видя друг друга, но теперь один из них был пойманный вор, а другой — человек, который поймал его, и это крепко и странно соединило их. Доктору казалось, что первый раз в жизни видит он человеческую физиономию и впервые понимает, что такое глаза, нос и губы. И когда он понял, что такое глаза, нос и губы, они представились ему такими милыми, простыми и жалкими в своих потребностях видеть, дышать и целовать, что ему захотелось ласково погладить их рукой. И пушинки на подбородке желтели все так же мирно, по-домашнему, и при взгляде на них доктору сделалось бесконечно грустно и еще более жалко,— и в ту же минуту с загадочной и непередаваемой ясностью почувствовал он как чужую, свою правую руку, которою держал вора. От плеча до стиснутых пальцев чувствовал он ее и мучился желанием снять, но она была как деревянная и с виду все так же спокойно лежала на шее человека с пушинками.

— Что же ты молчишь?— просительно сказал доктор.

Вор, не отрываясь взглядом, быстро ответил:

— А что же я буду говорить?

И опять они замолчали. И уже не только руку, но всего себя почувствовал доктор: почувствовал глаза, как они глядят, почувствовал платье, облекающее тело, и папиросы в левом кармане пальто. Как будто мозг его расплылся по всему телу, и всякая частица тела стала глазами и умом, и не нужно было глядеть и думать, чтобы от головы до ног увидеть себя и почувствовать. И не только себя, но и вора почувствовал он так же ясно и странно, словно оба они, и доктор и вор, были ему посторонние, и словно оба они были он. Не глядя, видел он вора с опущенными руками и себя с широко расставленными ногами и протянутой рукой, и эта поза была проста и дика до ужаса: человек держал другого человека.

— Послушай!— начал доктор, но кончить ему не удалось.

Грохочущей волной налетели преследователи, закружили и разъединили их, затопили криком, говором и торжествующим смехом, ослепили сверканием зубов и возбужденных глаз и шумным, болтливым потоком тронулись в участок. И тогда все стало опять просто и понятно, и доктор медленно стал припоминать лампу, извлекая представление о ней из какой-то глубокой дали, пока оно не сделалось ясным, живым, почти осязаемым.

«Разбилась!— с горем подумал Александр Павлович.— А я даже кусков не посмотрел».

Он обернулся назад и в последний раз взглянул в том направлении, где осталась разбитая лампа. И опять ему стало жаль вора, а потом лампу, и так поочередно он жалел то человека, то вещь. И пока он жалел одно, другое вызывало в нем злобу, и так дошел он до участка.

— Это вы его схватили?— спросил его околоточный надзиратель.

— Я,— ответил Александр Павлович и обернулся: все глаза глядели на него, и лица обидно улыбались. И поспешно, запинаясь, доктор оправдывался:— Сам не знаю, как это вышло. Он бежал, а я... Так это неприятно.

— Нет, почему же? Это даже очень приятно,— утешил его околоточный надзиратель.

И когда доктор вновь оглянулся на окружающих, все они были серьезны и смотрели на него ласково и поощрительно. Потом человека с пушинками заперли в грязную камеру вместе с другими ворами, пьяницами и проститут-

ками, а доктора околоточный надзиратель вежливо проводил до дверей, благовоспитанно говоря:

— Очень приятно познакомиться с образованным человеком. Такая, знаете, грандиозная масса жуликов, что очень, очень приятно...

Хотя новая лампа была разбита, но в квартире Александра Павловича и без нее света было достаточно: в кабинете горела большая «министерская» лампа, приобретенная еще в то время, когда доктору впервые пришла мысль о диссертации; в столовой бросала яркий свет висячая лампа; были лампы и в гостиной и в двух других комнатах, и вся квартира выглядывала оттого веселой и приветливой. Особенно заметно становилось это, когда взгляд падал на полузадернутое окно: там была тьма, и шумел начавшийся дождь.

— Так это неприятно,— говорил Александр Павлович, качая головой.

— И никак нельзя было бы починить ее?— отвечала жена его, Варвара Григорьевна.

Она тоже была огорчена, но старалась скрывать это от мужа: она очень любила его.

— Не в том дело. Зачем я схватил его!

— Не ты, так другой. Вот пустяки. Пойдем посидеть в гостиной.

Они очень любили свою гостиную и освещали ее даже в те вечера, когда никого не было посторонних. Вначале им больше нравился кабинет, но теперь с новой мебелью и цветами гостиная стала уютнее и приятнее.

— Вообрази, как хорошо было бы с новой лампой,— сказала Варвара Григорьевна.

Она сидела на диване, и голова ее лежала на плече мужа.

— Да, хорошо бы,— вообразил доктор и вздохнул.

— Мне бы только посмотреть, как бы это было. А там пусть бьется!— размышляла Варвара Григорьевна.

Александр Павлович засмеялся, поцеловал жену в щеку и спросил:

— Ты счастлива?

— А ты?

— И я. Знаешь, мне все этого жалко. Вора. Ужасно жалко!

— Ну вот! Ты уж очень добр. И потом ему, наверно, в тюрьме лучше. Ты слышишь, какой дождь. Брр... скверно. И Ивановы, должно быть, не придут.

Доктор ясно увидел тюрьму и человека с пушинками, как он там сидит. Темно, так как горит только маленькая,

скверная лампочка; ползают клопы, и на двери висит большой железный замок. И, запертый, сидит человек с пушинками и о чем-нибудь думает, может быть, о человеке, который его схватил.

— Главное, зачем я его схватил?— раздумчиво говорит Александр Павлович.— Как это нелепо! Выйди я из магазина на пять минут раньше, и ничего бы этого не случилось.

— Никогда не нужно вмешиваться в эти уличные истории,— замечает жена поучительным тоном.— Когда я жила у тети, к нам тоже залез вор, и его судили... Ты замечаешь, Саша, как за последний год мы обставились?

— Я уже думал. И ведь совсем молодой парень этот вор. И лицо истощенное!

— Нужно еще хороший книжный шкап,— продолжала Варвара Григорьевна.— Твой мал. Ты записываешь книги, которые у тебя берут?

— Ну, кто там берет!

— Нет, все-таки. А то и не заметишь, как ни одной книги не останется.

Оба задумались и, тепло прижавшись друг к другу, рассеянно обводили глазами светлую и красивую комнату. Варвара Григорьевна вспоминала о том, сколько книг было у ее тетки и как все они распропали. Доктор старался припомнить вора с его особенными глазами, носом и ртом и не мог. Ясно представлялись многие лица, знакомые и совсем чужие, а этого лица, нужного для жалости, не появлялось. Тогда доктор попытался вообразить тюрьму с ее мраком и грязью и тоже не мог.

— А знаешь, чего я тебе купила закусить?— спросила Варвара Григорьевна, разглаживая рукой волосы мужа.

— Чего?

Доктору уже хотелось есть, и он начал угадывать, но не угадал.

— Омаров!— с гордостью воскликнула Варвара Григорьевна и пояснила:— Я думала, придут Ивановы, но тем лучше,— ты сам съешь.

И они несколько раз поцеловались. Потом они пили чай, и доктор ел омары, а после чаю они перешли в кабинет, и доктор читал жене вслух. Дождь ровно и еле слышно сквозь толстые стекла шумел за окном, ровно и успокоительно звучали фразы романа, и было так светло от большой «министерской» лампы.

— Довольно. Спать пора!— решительно сказала Варвара Григорьевна и захлопнула в руках доктора книгу.

Лениво поднявшись с дивана, она закинула руки за голову и потянулась, извиваясь всем телом и выставляя вперед грудь. Не давая опустить рук, Александр Павлович обнял ее и поцеловал в шею.

— А все-таки жалко...— сказал он.

— Ну, оставь. Купим новую.

Доктор говорил о человеке, но после слов жены подумал, что говорит о лампе. И, обнявшись, они пошли в спальню.

НАБАТ

I

В то жаркое и зловещее лето горело все. Горели целые города, села и деревни; лес и поля больше уже не были их охраной: покорно вспыхивал сам беззащитный лес, и красной скатертью расстилался огонь по высохшим лугам. Днем в едком дыму пряталось багровое, тусклое солнце, а по ночам в разных концах неба вспыхивало безмолвное зарево, колебалось в молчаливой фантастической пляске, и странные, смутные тени от людей и деревьев ползали по земле, как неведомые гады. Собаки перестали брехать приветным лаем, издалека зовущим путника и сулящим ему кров и ласку, а протяжно и жалобно выли, или угрюмо молчали, забившись в подполье. И люди, как собаки, смотрели друг на друга злыми и испуганными глазами и громко говорили о поджогах и таинственных поджигателях. В одной глухой деревне убили старика, который не мог сказать, куда он идет, а потом бабы плакали над убитым и жалели его седую бороду, слипшуюся от темной крови.

В то жаркое, зловещее лето я жил в одном помещичьем доме, где было много старых и молодых женщин. Днем мы работали, говорили и мало думали о пожарах, но, когда наступала ночь, нас охватывал страх. Владелец имения часто уезжал в город; тогда мы не спали по целым ночам и пугливым дозором обходили усадьбу, ища поджигателя. Мы прижимались друг к другу и говорили шепотом, а ночь была безмолвна, и темными, чуждыми массами подымались строения. Они казались нам незнакомыми, как будто раньше мы никогда не видели их, и страшно непрочными, точно ожидающими огня и уже готовыми к нему. Раз, в трещине стены, перед нами блеснуло что-то светлое. Это было небо,

а мы подумали, что огонь, и женщины с криком бросились ко мне, тогда почти еще мальчику, прося защиты.

...А я сам от испуга перестал дышать и не мог тронуться с места...

Иногда глубокой ночью я вставал с горячей, разметанной постели и через окно вылезал в сад. Это был старый, величественно-угрюмый сад, на самую сильную бурю отвечавший только сдержанным гулом; внизу его было темно и мертвенно-тихо, как на дне пропасти, а вверху стоял неясный шорох и шум, похожий на далекий степенный говор. Прячась от кого-то, кто по пятам крался за мной и заглядывал через плечо, я пробирался в конец сада, где на высоком валу стоял плетень, а за плетнем далеко вниз разбегались поля, леса и скрытые мраком поселки. Высокие, мрачно-молчаливые липы расступались передо мною,— и между их толстыми черными стволами, в расселины плетня, в просветы между листьями я видел нечто страшное и необыкновенное, от чего беспокойной жутью наполнялось мое сердце и мелкой дрожью подергивались ноги. Я видел небо, но не темное, спокойное небо ночей, а розовое, какого никогда не бывает ни днем ни ночью. Могучие липы стояли серьезно и молчаливо и, как люди, чего-то ждали, а небо неестественно розовело, и багряными судорогами пробегали по небу зловещие отсветы горящей внизу земли. Медленно всплывали и уходили вверх клубящиеся столбы, и в том, что они были так безмолвны, когда внизу все скрежетало, так неторопливы и величавы, когда внизу все металось,— была загадка и та же страшная неестественность, как и в розовой окраске неба.

Точно опомнившись, высокие липы все сразу начинали переговариваться вершинами и так же внезапно умолкали, надолго застывая в угрюмом ожидании. Становилось тихо, как на дне пропасти. Далеко за собой я чувствовал насторожившийся дом, полный испуганных людей, вокруг меня сторожко толпились липы, а впереди безмолвно колыхалось красно-розовое небо, какого не бывает ни днем, ни ночью.

И оттого, что я видел его не все целиком, а только в просветы между деревьями, становилось еще страшнее и непонятнее.

II

Была ночь, и я беспокойно дремал, когда в мое ухо вошел тупой и отрывистый звук, как будто шедший из-под пола, вошел и застыл в мозгу, как круглый камень. За ним

ворвался другой, такой же короткий и тяжелый, и голове сделалось тяжело и больно, словно густыми каплями на нее падал расплавленный свинец. Капли буравили и прожигали мозг; их становилось все больше, и скоро частым дождем отрывистых, стремительных звуков они наполнили мою голову.

— Бам! Бам! Бам!— издалека выбрасывал кто-то высокий, сильный и нетерпеливый.

Я открыл глаза и сразу понял, что это набат и что горит ближайшее село — Слободищи. В комнате было темно и окно закрыто, но от страшного зова она вся, с своей мебелью, картинами и цветами, как будто вышла на улицу, и не чувствовалось ни стен, ни потолка.

Не помню, как я оделся, и не знаю, почему я побежал один, а не с людьми. Или они меня забыли, или я не вспомнил об их существовании. Набат звал настойчиво и глухо, словно не из прозрачного воздуха падали звуки, а выбрасывала их неизмеримая толща земли, и я побежал.

В розовом сиянии неба померкли над головой звезды, и в саду было страшно светло, как не бывает ни днем, ни в царственные лунные ночи, а когда я подбежал к плетню, на меня сквозь просветы взглянуло что-то ярко-красное, бурливое, отчаянно мечущееся. Высокие липы, словно обрызганные кровью, трепетали круглыми листьями и боязливо заворачивали их назад, но голоса их не было слышно за короткими и сильными ударами раскачавшегося колокола. Теперь звуки были ясны и точны и летели с безумной быстротой, как рой раскаленных камней. Они не кружились в воздухе, как голуби тихого вечернего звона, они не расплывались в нем ласкающей волной торжественного благовеста — они летели прямо, как грозные глашатаи бедствия, у которых нет времени оглянуться назад и глаза расширены от ужаса.

— Бам! Бам! Бам!— летели они с неудержимой стремительностью, и сильные обгоняли слабых, и все вместе впивались в землю и пронизывали небо.

Так же прямо, как и они, бежал я по большому вспаханному полю, тускло мерцавшему кровавыми отблесками, как чешуя огромного черного зверя. Над моей головой, на страшной высоте, плавно проносились одинокие яркие искры, а впереди был страшный деревенский пожар, в котором в одном костре гибнут дома, животные и люди. Там, за прихотливой линией черных деревьев, то круглых, то острых, как пики, взвивалось ослепительное пламя, загибало горделиво шею, как взбесившийся конь, прыгало, отбра-

сывало от себя в черное небо огненные клочки и хищно нагибалось вниз за новой добычей. В ушах моих шумело от быстрого бега, сердце билось быстро и громко, и, обгоняя его удары, прямо в голову и грудь били меня беспорядочные звуки набата. И было в них так много отчаяния, словно это не медный колокол звучал, а в предсмертных судорогах колотилось сердце самой многострадальной земли.

— Бам! Бам! Бам!— выбрасывало из себя раскаленное пожарище, и трудно было поверить, что эти властные и отчаянные крики издает церковная колокольня, такая маленькая и тонкая, такая спокойная и тихая, как девочка в розовом платье.

Я падал, опираясь руками на комья сухой земли, и они рассыпались под моими руками; я подымался и снова бежал, а навстречу мне бежал огонь и призывные звуки набата. Уже слышно было, как трещит дерево, пожираемое огнем, и разноголосый людской крик с господствующими в нем нотами отчаяния и страха. И, когда стихало змеиное шипение огня, явственно выделялся продолжительный, стонущий звук; то выли бабы и ревела в паническом страхе скотина.

Болото остановило меня. Широкое заросшее болото, далеко бежавшее направо и налево. Я вошел в воду по колена, потом по грудь, но болото засасывало меня, и я вернулся на берег. Напротив, совсем близко, бушевал огонь и выбрасывал в небо тучи золотистых искр, похожих на огненные листья гигантского дерева; в черной рамке камыша и осоки огненными блестящими зеркалами вставала болотная вода,— и набат звал,— отчаянно, в смертельной муке:

— Иди! Иди же!

III

Я метался по берегу, и сзади меня металась моя черная тень, а когда я нагибался к воде, допытываясь у нее дна, на меня из черной бездны глядел призрак огненного человека, и в искаженных чертах его лица, в разметавшихся волосах, точно приподнятых на голове какой-то страшной силой,— я не мог узнать самого себя.

— Да что же это? Господи!— молил я, протягивая руки.

А набат звал. Колокол уже не молил — он кричал, как человек, стонал и задыхался. Звуки потеряли свою правильность и громоздились друг на друга, быстро, без отзвука, умирая, рождаясь и снова умирая. И опять я наклонил-

ся к воде и рядом со своим отражением увидел другой огненный призрак, высокий, прямой и, к ужасу моему, все же похожий на человека.

— Кто это?— воскликнул я, оглядываясь. Возле моего плеча стоял человек и молча смотрел на пожар. Лицо его было бледно, и мокрая, не засохшая еще кровь покрывала щеку и блестела, отражая огонь. Одет он был просто, по-крестьянски. Быть может, он уже находился здесь, когда я прибежал, задержанный, как и я, болотом; быть может, пришел потом, но я не слыхал его прихода и не знал, кто он.

— Горит,— сказал он, не отводя глаз от пожара. В них прыгал отраженный огонь, и они казались большими и стеклянными.

— Кто ты? Откуда?— спросил я.— У тебя кровь.

Длинными, худыми пальцами он коснулся щеки, посмотрел на них и снова уставился на огонь.

— Горит,— повторил он, не обращая на меня внимания.— Все горит.

— Ты не знаешь, как пройти туда?— спрашивал я, отодвигаясь: я догадывался, что это один из сумасшедших, которых много породило то зловещее лето.

— Горит,— ответил он.— Ого-го-го! Горит,— закричал он и засмеялся, ласково глядя на меня и раскачивая головой. Участившийся набат внезапно смолк, и громче затрещало пламя. Оно двигалось, как живое, и длинными руками, словно в истоме, тянулось к умолкнувшей колокольне. Теперь, вблизи, она казалась высокой, и вместо розового на ней было уже красное платье. Наверху темного отверстия, где находились колокола, показался робкий и спокойный огонек, похожий на пламя свечи, и бледным лучом отразился на их медных боках. И снова затрепетал колокол, посылая последние, безумно-отчаянные крики, и я снова заметался по берегу, а за мной металась моя черная тень.

— Я пойду! Пойду! — отвечал я кому-то, звавшему меня. А высокий человек спокойно сидел сзади меня, охватив руками колена, и громко пел, вторя колоколу:

— Бам!.. Бам!.. Бам!..

— Ты с ума сошел!— кричал я на него, а он пел все громче и веселее:

— Бам!.. Бам!.. Бам!..

— Замолчи!— умолял я.

А он улыбался и пел, раскачивая головой, и в стеклянных глазах его разгорался огонь. Он был страшнее пожара, этот безумный, и, повернувшись, я бросился бежать вдоль

берега. Но не сделал я нескольких шагов, как рядом со мной бесшумно выросла его длинная фигура в развевающейся рубашке. Он бежал молча, как и я, длинными, не знающими устали шагами, и молча бежали по изрытому полю наши черные тени.

В предсмертных муках задыхался колокол и кричал, как человек, который не ждет уже помощи и для которого уже нет надежды. И молча бежали мы куда-то во тьму, и возле нас насмешливо прыгали наши черные тени.

Ноябрь 1901 г.

В ПОДВАЛЕ

I

Он сильно пил, потерял работу и знакомых и поселился в подвале вместе с ворами и проститутками, проживая последние вещи.

У него было больное, бескровное тело, изношенное в работе, изъеденное страданиями и водкой, и смерть уже сторожила его, как хищная серая птица, слепая при солнечном свете и зоркая в черные ночи. Днем она пряталась в темных углах, а ночью бесшумно усаживалась у его изголовья и сидела долго, до самого рассвета, и была спокойна, терпелива и настойчива. Когда при первых проблесках дня он высовывал из-под одеяла бледную голову с глазами травимого зверя, в комнатке было уже пусто,— но он не верил этой обманчивой пустоте, которой верят другие. Он подозрительно оглядывал углы, с хитрой внезапностью бросал взгляд за спину и потом, опершись на локти, внимательно и долго смотрел перед собой в тающую тьму уходящей ночи. И тогда он видел то, чего никогда не видят другие: колыхание серого огромного тела, бесформенного и страшного. Оно было прозрачно, охватывало все, и предметы в нем были как за стеклянной стеной. Но теперь он не боялся его, и, оставляя холодный след, оно уходило — до следующей ночи.

На короткое время он забывался, и сны приходили к нему страшные и необыкновенные. Он видел белую комнату, с белым полом и стенами, освещенную белым ярким светом, и черную змею, которая выползала из-под двери с легким шуршанием, похожим на смех. Прижав к полу острую, плоскую голову и извиваясь, она быстро выскаль-

зывала, куда-то пропадала, и опять в отверстии под дверью показывался ее приплюснутый черный нос, и черной лентой вытягивалось тело,— и опять и опять. Раз он увидел во сне что-то веселое и засмеялся, но звук получился странный, похожий на подавленное рыдание, и было страшно его слушать: где-то в безвестной глубине смеется, не то плачет душа, в то время когда тело неподвижно, как у мертвого.

Постепенно в его сознание начинали входить звуки рождающегося дня: глухой говор прохожих, отдаленный скрип двери, громыхание дворницкой метлы, сметающей снег с подоконника,— весь неопределенный гул просыпающегося большого города. И тогда наступало для него самое ужасное: беспощадно светлое сознание, что пришел новый день и скоро ему нужно вставать, чтобы бороться за жизнь без надежды на победу.

Нужно жить.

Он поворачивался спиной к свету, набрасывал на голову одеяло, чтобы ни малейший луч не мог проникнуть в его глаза, сжимался в маленький комок, подтягивая ноги к самому подбородку, и так лежал неподвижно, боясь пошевелиться и протянуть ноги. Целой горой лежала на нем одежда, которою он укрывался от подвальной стужи, но он не чувствовал ее тяжести, и тело его было холодно. И при каждом звуке, говорившем о жизни, он казался себе огромным и открытым, сжимался еще больше и беззвучно стонал — не голосом и не мыслью, так как теперь он боялся собственного голоса и собственных мыслей. Он молился кому-то, чтобы день не приходил и ему всегда можно было лежать под грудой тряпья, не шевелясь и не мысля, и напрягал всю волю, чтобы удержать идущий день и уверить себя, что ночь еще продолжается. И больше всего в мире ему хотелось, чтобы кто-нибудь сзади приложил револьвер к затылку, к тому месту, где чувствуется углубление, и выстрелил.

А день развертывался — широкий, неудержимый, властно зовущий к жизни, и весь мир начинал двигаться, говорить, работать и думать. В подвале первой просыпалась хозяйка, старуха Матрена, имевшая двадцатипятилетнего любовника, и начинала топать по кухне, стучать ведрами и возиться над чем-то у самых дверей Хижнякова. Он чувствовал ее приближение и замирал, решаясь не отзываться, если она его позовет. Но она молчала и куда-то уходила, а потом часа через два просыпались двое других жильцов: гулящая девушка Дуняша и любовник старухи, Абрам Петрович. Так почтительно, несмотря на молодость, звали его

все, потому что он был смелый и искусный вор и еще что-то, о чем только подозревали, но не решались говорить. Их пробуждения больше всего страшился Хижняков, так как оба они имели на него право, могли войти, сесть на кровать, трогать его руками и вызывать его на мысли и разговоры. С Дуняшей он как-то сошелся, пьяный, и обещал на ней жениться, и хотя она смеялась и хлопала его по плечу, но искренно считала его влюбленным в себя и покровительствовала, а сама была глупая, грязная, дурно пахнущая и часто ночевала в участке. А с Абрамом Петровичем он только третьего дня вместе пьянствовал, целовался и давал клятвы в вечной дружбе.

Когда раздался свежий и громкий голос Абрама Петровича и его быстрые шаги мимо двери, Хижняков застыл от страха и ожидания, простонал, не сдержавшись, вслух и еще более испугался. В одной яркой картине перед ним пронеслось его пьянство, как они сидели в каком-то темном трактире, освещенном одной лампой, среди темных, шепчущихся почему-то людей, и тоже шептались. Абрам Петрович, бледный и возбужденный, жаловался на трудную жизнь вора, зачем-то обнажал руку и давал щупать неправильно сросшиеся кости, а Хижняков целовал его и говорил:

— Я люблю воров. Они смелые,— и предлагал ему выпить на брудершафт, хотя они давно говорили на ты.

— А я люблю тебя, что ты образованный и понимаешь нашего брата,— отвечал Абрам Петрович.— Гляди-ка, рука-то: она вот!

И опять перед его глазами протягивалась белая рука, казавшаяся жалкой от своей белизны, и в внезапном понимании чего-то, чего он теперь не помнил и не понимал, он целовал эту руку, а Абрам Петрович горделиво кричал:

— Верно, брат! Помрем, а не сдадимся!

А потом что-то грязное, кружащееся, вой, свист и прыгающие огни. И тогда это было весело, а теперь, когда в углах пряталась смерть и отовсюду надвигался день с необходимостью жить, и действовать, и за что-то бороться, о чем-то просить,— было мучительно и непередаваемо ужасно.

— Барин, спишь?— насмешливо спросил за дверью Абрам Петрович и, не получив ответа, добавил:— Ну спи, черт с тобой.

К Абраму Петровичу приходит много знакомых, и в течение целого дня визжит дверь и раздаются басистые голоса. И Хижнякову при каждом стуке кажется, что это при-

шли к нему и за ним, и он прячется все глубже и долго прислушивается, пока поймет, кому принадлежит голос. Он ждет, ждет мучительно, с содроганием всего тела, хотя нет во всем мире никого, кто пришел бы к нему и за ним.

У него была жена когда-то, давно, и умерла. Еще дальше в прошлом у него были братья и сестры, а еще дальше — нечто смутное и красивое, что он называл матерью. И все они умерли, а может быть, кто-нибудь и жив, но так затерян в бесконечном мире, как будто бы умер. И он скоро умрет,— он это знает. Когда он встанет сегодня с своего ложа, у него будут подламываться и трястись ноги, а руки будут делать неверные, странные движения,— и это смерть. Но, пока она придет, нужно жить, и это такая грозная задача для человека, у которого нет денег, здоровья и воли, что Хижнякова охватывает отчаяние. Он сбрасывает с себя одеяло, заламывает руки и бросает в пространство такие долгие стоны, как будто сквозь тысячи страдающих грудей прошли они и оттого стали такими полными, до краев налитыми нестерпимой мукой.

— Отопри, черт!— кричит за дверью Дуняша и колотит в дверь кулаком.— А то ведь дверь сломаю!

Трясясь и качаясь, Хижняков подошел к двери, открыл ее и быстро, почти падая, снова улегся в постель. Дуняша, уже завитая и напудренная, села рядом с ним, притиснув его к стене, положила ногу на ногу и важно сказала:

— А я тебе новость принесла. Катя вчера Богу душу отдала.

— Какая Катя?— спросил Хижняков. И язык у него ворочался тяжело и неверно, как чужой.

— Ну вот, забыл,— засмеялась Дуняша.— Такая Катя, которая у нас жила. Как же ты забыл, когда она всего неделю ушла.

— Умерла?

— Ну да, умерла, как все помирают.

Дуняша послюнявила короткий палец и отерла пудру с редких ресниц.

— От чего?

— От того, от чего все помирают. Кто же ее знает, от чего. Мне вчера в кофейной сказали. Умерла, говорят, Катя.

— А ты ее любила?

— Конечно, любила. О чем спрашивает!

Глупые глаза Дуняши смотрели на Хижнякова с тупым равнодушием, и толстая нога покачивалась. Она не знала,

о чем ей больше говорить, и старалась смотреть на лежащего так, чтобы показать ему свою любовь, и для этого слегка прищурила один глаз и опустила углы толстых губ.

День начался.

II

В этот день, в субботу, мороз был такой сильный, что гимназисты не ходили учиться и конские бега были перенесены на другой день, так как представлялась опасность простудить лошадей. Когда Наталья Владимировна вышла из родильного приюта, она в первую минуту была рада, что уже вечер, что на набережной никого нет и никто не встретит ее, девушку, с шестидневным ребенком на руках. Ей казалось, что, как только переступит она порог, ее встретит гамом и свистом целая толпа, в которой будет и отец ее, слюнявый, параличный и как будто совсем безглазый, и знакомые студенты, офицера и барышни. И все они будут показывать на нее пальцами и кричать: вот девушка, которая окончила шесть классов гимназии, имела знакомых студентов, умных и благородных, краснела от неловко сказанного слова и которая шесть дней тому назад родила ребенка в родильном приюте, рядом с другими падшими женщинами.

Но набережная была пустынна. По ней свободно носился ледяной ветер, подымал серую тучу снега, истолченного морозом в едкую пыль, и окутывал ею все живое и мертвое, что встречалось ему на пути. С легким свистом он обвивался вокруг металлических столбиков решетки, и они блестели, как отполированные, и казались такими холодными и одинокими, что на них больно было смотреть. И такой же холодной, оторванной от людей и жизни почувствовала себя девушка. На ней была коротенькая кофточка, та самая, в которой она обыкновенно каталась на коньках и которую второпях надела, уходя из дома и уже начиная страдать предродовыми болями. И когда ветер охватил ее, обвил вокруг ног тонкое платье и застудил голову, ей стало жутко, что она замерзнет, и страх толпы исчез, и мир развернулся безграничной ледяной пустыней, в которой нет ни людей, ни света, ни тепла. Две горячие слезинки навернулись на глазах и захолодали. Наклонив голову, она отерла их бесформенным свертком, которым были заняты ее руки, и пошла быстрее. Теперь она не любила ни себя, ни ребенка, и жизнь обоих казалась ей ненужной, но ее настойчиво

толкали вперед слова, которые были как будто не в мозгу у нее, а шли впереди и звали:

«Немчиновская улица, второй дом от угла. Немчиновская улица, второй дом от угла».

Эти слова она твердила шесть дней, лежа в постели и кормя ребенка. Они значили, что нужно идти на Немчиновскую улицу, где живет ее молочная сестра, проститутка, потому что только у нее одной, и больше ни у кого, может найти она приют для себя и ребенка. Год тому назад, когда все еще было хорошо и она постоянно смеялась и пела, она была у захворавшей Кати и помогла ей деньгами, и теперь это оставался единственный человек, которого ей не было стыдно.

«Немчиновская улица, второй дом от угла. Немчиновская улица, второй дом от угла».

Она шла, и ветер злобно вился вокруг нее и, когда она взошла на мост, хищно бросился к ней на грудь и железными когтями впился в холодное лицо. Побежденный, он с шумом падал с моста, кружился по снежной глади реки и снова взмывал вверх, закрывая дорогу трепещущими холодными крыльями. Наталья Владимировна остановилась и бессильно облокотилась на перила. Глубоко снизу на нее взглянул черный матовый глаз — клочок незамерзшей воды,— и был его взгляд загадочен и страшен. А впереди звучали и настойчиво звали слова:

«Немчиновская улица, второй дом от угла. Немчиновская улица, второй дом от угла».

Хижняков, уже одетый, снова лежал в постели и до самых глаз кутался теплым пальто, последней оставшейся у него вещью. В комнатке было холодно, и в углах намерз лед, но он дышал в барашковый воротник, и от этого ему было тепло и уютно. Весь день он обманывал себя, что завтра пойдет искать работы и о чем-то просить людей, а пока он счастливо не думал и только вздрагивал при повышенном звуке голоса за стеной или стуке зябко захлопнутой двери. Так долго и спокойно лежал он, когда во входную дверь послышался неровный стук, робкий, торопливый и острый, как будто стучали задней стороной руки. Комната его была ближайшей к двери, и, повернув голову, насторожившись, он ясно различал, что́ возле нее происходило. Подошла Матрена, дверь открылась и закрылась за кем-то вошедшим, и наступило выжидательное молчание.

— Вам кого?— хрипло прозвучал недружелюбный вопрос Матрены. И незнакомый голос, тихий и ломающийся, растерянно ответил:

— Мне Катю Нечаеву. Катя Нечаева здесь живет?

— Жила. А вам она на что?

— Мне очень нужно. Ее нет дома?— В голосе прозвучал страх.

— Умерла Катя. Умерла, я говорю. В больнице.

Опять долгое молчание, такое долгое, что Хижняков почувствовал боль в шее, которой он не смел повернуть, пока люди молчали. И потом незнакомый голос произнес тихо, без выражения:

— Прощайте.

Но, видимо, она не уходила, потому что через минуту Матрена спросила:

— Чтó это у вас? Кате, что ли, принесли?

Что-то упало на пол, стукнув коленами, и незнакомый голос произнес быстро, надрываясь от сдерживаемых рыданий:

— Возьмите! Возьмите, Бога ради. Возьмите! А я... я уже пойду.

— Да что это?

Потом опять долгое молчание и тихий плач, прерывистый и безнадежный. Была в нем смертельная усталость и черное, беспросветное отчаяние. Словно чья-то утомленная рука бессильно водила по туго натянутой струне, и струна эта была последней на дорогом инструменте, и когда она разорвется — навсегда угаснет нежный и печальный звук.

— Да ведь вы его чуть не задушили!— грубо и сердито вскрикнула Матрена.— Тоже ведь рожать берутся. Разве так можно. Кто же так ребят завертывает! Пойдемте за мной. Ну, ну, хорошо, пойдем, я говорю. Разве так можно.

Около двери наступила тишина. Хижняков послушал еще немного и лег, обрадованный, что пришли не к нему и не за ним, и не стараясь разгадать, чтó было в случившемся для него непонятного. Он уже начинал чувствовать приближение ночи, и ему хотелось, чтобы кто-нибудь посильнее пустил лампу. Покой проходил, и, стискивая зубы, он старался удержать мысль; в прошлом была грязь, падение и ужас — и тот же ужас был в будущем. Он уж постепенно начинал сжиматься, подпрятывать ноги и руки, когда вошла Дуняша, уже одетая для выхода в красную блузу и слегка пьяная. Она размашисто села на кровать и всплеснула короткими руками:

— Ах ты, господи!— и она повела головой и засмеялась.— Ребеночка принесли. Такой маленький, а орет, как пристав. Ей-Богу, как пристав!

Она блаженно выругалась и кокетливо щелкнула Хижнякова по носу.

— Пойдем смотреть. Ей-Богу, а то что же? Посмотрим, да все тут. Матрена его купать хочет, самовар поставила. Абрам Петрович сапогом раздувает — потеха! А ребеночек кричит: уау, уау...

Дуняша сделала лицо таким, как, по ее предположению, у ребенка, и еще раз пропищала:

— Уау! Уау! Чисто пристав. Ей-Богу! Пойдем. Не хочешь — ну и черт с тобой! Издыхай тут, яблоко мороженое.

И, приплясывая, она вышла. А через полчаса, качаясь на слабых ногах и придерживаясь пальцами за косяки, Хижняков нерешительно приоткрыл дверь в кухню.

— Затворяй, настудишь!— крикнул Абрам Петрович.

Хижняков быстро захлопнул за собой дверь и виновато оглянулся, но никто не обращал на него внимания, и он успокоился. В кухне было жарко от печки, самовара и людей, и пар густыми клубами подымался и ползал по холодным стенам. Матрена, сердитая и строгая, купала в корыте ребенка и корявой рукой плескала на него воду, приговаривая:

— Агунюшки! Агунюшки! Чистенькие будем, беленькие будем.

Оттого ли, что в кухне было светло и весело, или вода была теплая и ласкала, но ребенок молчал и морщил красное личико, точно собираясь чихнуть. Дуняша через плечо Матрены заглядывала в корыто и, улучив минуту, быстро, тремя пальцами плеснула на ребенка.

— Уйди!— грозно крикнула старуха.— Куда лезешь? Без тебя знают, что делать, свои дети были.

— Не мешай. Это точно,— подтвердил Абрам Петрович.— Ребенок дело тонкое, это кто как умеет обращаться.

Он сидел на столе и с снисхождительным удовольствием смотрел на маленькое розовое тельце. Ребенок пошевелил пальчиками, и Дуняша в диком восторге замотала головой и захохотала.

— Чисто пристав, ей-Богу!

— А ты пристава в корыте видела?— спросил Абрам Петрович.

Все засмеялись, и Хижняков улыбнулся, но тотчас испуганно сорвал с лица улыбку и оглянулся на мать. Она устало сидела на лавке, откинув голову назад, и черные глаза ее, сделавшиеся огромными от болезни и страданий, светились спокойным блеском, а на бледных губах блуждала горделивая улыбка матери. И, увидев это, Хижняков засмеялся одиноким, запоздалым смехом:

— Хи-хи-хи!

И так же гордо оглянулся по сторонам. Матрена вынула ребенка из корыта и обернула простыней. Он залился звонким плачем, но скоро смолк, и Матрена, отворачивая простыню, конфузливо улыбнулась и сказала:

— Тельце-то какое, чисто бархат.

— Дай попробовать,— попросила Дуняша.

— Еще что?

Дуняша внезапно затряслась всем телом и, топая ногами, задыхаясь от жадности, безумная от охватившего ее желания, закричала высоким голосом, которого у нее не слыхал никто:

— Дай!.. Дай!.. Дай!..

— Дайте же ей!— испуганно попросила Наталья Владимировна. Так же внезапно успокоившись и перейдя на улыбку, Дуняша осторожно двумя пальцами прикоснулась к плечику ребенка, а за ней, снисходительно щурясь, потянулся к этому алевшему плечику и Абрам Петрович.

— Это точно. Ребенок дело тонкое,— сказал он, оправдываясь.

После всех попробовал Хижняков. Пальцы его на миг ощутили прикосновение чего-то живого, пушистого, как бархат, и такого нежного и слабого, что пальцы сделались как будто чужими и тоже нежными. И так, вытянув шеи, бессознательно озаряясь улыбкой странного счастья, стояли они, вор, проститутка и одинокий, погибший человек, и эта маленькая жизнь, слабая, как огонек в степи, смутно звала их куда-то и что-то обещала, красивое, светлое и бессмертное. И гордо глядела на них счастливая мать, а вверху, от низкого потолка, тяжелой каменной громадой подымался дом, и в высоких комнатах его бродили богатые, скучающие люди.

Пришла ночь. Пришла она черная, злая, как все ночи, и тьмой раскинулась по далеким снежным полям, и в страхе застыли одинокие ветви деревьев, те, что первые приветствуют восходящее солнце. Слабым огнем светильников боролись с ней люди, но, сильная и злая, она опоясывала одинокие огни безысходным кругом и мраком наполняла человеческие сердца. И во многих сердцах потушила она слабые тлеющие искры.

Хижняков не спал. Сложившись в крохотный комок, он прятался от холода и ночи под мягкой грудой тряпья и плакал — без усилия, без боли и содроганий, как плачут те, у кого сердце чисто и безгрешно, как у детей. Он жалел себя, сжавшегося в комок, и ему чудилось, что он жалеет

всех людей и всю человеческую жизнь, и в этом чувстве была таинственная и глубокая радость. Он видел ребенка, который родился, и ему казалось, что это родился он сам для новой жизни, и жить будет долго, и жизнь его будет прекрасна. Он любил и жалел эту новую жизнь, и это было так радостно, что он засмеялся, встряхнул груду тряпья и спросил:

— О чем я плачу?

И не нашел, и ответил:

— Так.

И такой глубокий смысл был в этом коротком слове, что новой волной горячих слез всколыхнулась разбитая грудь человека, жизнь которого была так печальна и одинока.

А у изголовья уже усаживалась бесшумно хищная смерть и ждала — спокойно, терпеливо, настойчиво.

Декабрь 1901 г.

КНИГА

I

Доктор приложил трубку к голой груди больного и стал слушать: большое, непомерно разросшееся сердце неровно и глухо колотилось о ребра, всхлипывало, как бы плача, и скрипело. И это была такая полная и зловещая картина близкой смерти, что доктор подумал: «Однако!», а вслух сказал:

— Вы должны избегать волнений. Вы занимаетесь, вероятно, каким-нибудь изнурительным трудом?

— Я писатель,— ответил больной и улыбнулся.— Скажите, это опасно?

Доктор приподнял плечо и развел руками.

— Опасно, как и всякая болезнь... Лет еще пятнадцать — двадцать проживете. Вам этого хватит? — пошутил он и, с уважением к литературе, помог больному надеть рубашку. Когда рубашка была надета, лицо писателя стало слегка синеватым, и нельзя было понять, молод он или уже совсем старик. Губы его продолжали улыбаться ласково и недоверчиво.

— Благодарю на добром слове,— сказал он.

Виновато отведя глаза от доктора, он долго искал глазами, куда положить деньги за визит, и, наконец, нашел: на письменном столе, между чернильницей и бочонком для

ручек, было уютное, скромное местечко. И туда положил он трехрублевую зелененькую бумажку, старую, выцветшую, взлохматившуюся бумажку.

«Теперь их новых, кажется, не делают»,— подумал доктор про зелененькую бумажку и почему-то грустно покачал головой.

Через пять минут доктор выслушивал следующего, а писатель шел по улице, щурился от весеннего солнца и думал: почему все рыжие люди весною ходят по теневой стороне, а летом, когда жарко, по солнечной? Доктор тоже рыжий. Если бы он сказал пять или десять лет, а то двадцать — значит, я умру скоро. Немного страшно. Даже очень страшно, но...

Он заглянул к себе в сердце и счастливо улыбнулся.

Как светит солнце! Как будто оно молодое, и ему хочется смеяться и сойти на землю.

II

Рукопись была толстая; листов в ней было много; по каждому листу шли маленькие убористые строчки, и каждая из них была частицею души писателя. Костлявою рукою он благоговейно перебирал страницы, и белый отсвет от бумаги падал на его лицо, как сияние, а возле на коленях стояла жена, беззвучно целовала другую костлявую и тонкую руку и плакала.

— Не плачь, родная,— просил он,— плакать не нужно, плакать не о чем.

— Твое сердце... И я останусь одна во всем мире. Одна, о Боже!

Писатель погладил рукою склонившуюся к его коленям голову и сказал:

— Смотри.

Слезы мешали глядеть ей, и частые строки рукописи двигались волнами, ломались и расплывались в ее глазах.

— Смотри!— повторил он.— Вот мое сердце. И оно навсегда останется с тобою.

Это было так жалко, когда умирающий человек думал жить в своей книге, что еще чаще и крупнее стали слезы его жены. Ей нужно было живое сердце, а не мертвая книга, которую читают все: чужие, равнодушные и нелюбящие.

III

Книгу стали печатать. Называлась она «В защиту обездоленных».

Наборщики разорвали рукопись по клочкам, и каждый набирал только свой клочок, который начинался иногда с половины слова и не имел смысла. Так, в слове «любовь»—«лю» осталось у одного, а «бовь» досталось другому, но это не имело значения, так как они никогда не читали того, что набирают.

— Чтоб ему пусто было, этому писаке! Вот анафемский почерк!— сказал один и, морщась от гнева и нетерпения, закрыл глаза рукою. Пальцы руки были черны от свинцовой пыли, на молодом лице лежали темные свинцовые тени, и, когда рабочий отхаркнулся и плюнул, слюна его была окрашена в тот же темный и мертвенный цвет.

Другой наборщик, тоже молодой — тут старых не было — вылавливал с быстротою и ловкостью обезьяны нужные буквы и тихонько пел:

Эх, судьба ли моя черная,
Ты как ноша мне чугунная...

Дальше слов песни он не знал, и мотив у него был свой: однообразный и бесхитростно печальный, как шорох ветра в осенней листве.

Остальные молчали, кашляли и выплевывали темную слюну. Над каждым горела электрическая лампочка, а там дальше, за стеною из проволочной сетки, вырисовывались темные силуэты отдыхающих машин. Они выжидательно вытягивали узловатые черные руки и тяжелыми, угрюмыми массами давили асфальтовый пол. Их было много, и пугливо прижималась к ним молчаливая тьма, полная скрытой энергии, затаенного говора и силы.

IV

Книги пестрыми рядами стояли на полках, и за ними не видно было стен; книги высокими грудами лежали на полу; и позади магазина, в двух темных комнатах, лежали все книги, книги. И казалось, что безмолвно содрогается и рвется наружу скованная ими человеческая мысль, и никогда не было в этом царстве книг настоящей тишины и настоящего покоя.

Седобородый господин с благородным выражением лица почтительно говорил с кем-то по телефону, шепотом выругался: «идиоты» и крикнул:

— Мишка!— и, когда мальчик вошел, сделал лицо неблагородным и свирепым и погрозил пальцем.— Тебе сколько раз кричать? Мерзавец!

Мальчик испуганно моргал глазами, и седобородый господин успокоился. Ногой и рукой он выдвинул тяжелую связку книг, хотел поднять ее одною рукою — но сразу не мог и кинул ее обратно на пол.

— Вот отнеси к Егору Ивановичу.

Мальчик взял обеими руками за связку и не поднял.

— Живо!— крикнул господин.

Мальчик поднял и понес.

V

На тротуаре Мишка толкал прохожих, и его погнали на середину улицы, где снег был коричневый и вязкий, как песок. Тяжелая кипа давила ему спину, и он шатался; извозчики кричали на него, и когда он вспомнил, сколько ему еще идти, он испугался и подумал, что сейчас умрет. Он спустил связку с плеч и, глядя на нее, заплакал.

— Ты чего плачешь?— спросил прохожий.

Мишка плакал. Скоро собралась толпа, пришел сердитый городовой с саблей и пистолетом, взял Мишку и книги и все вместе повез на извозчике в участок.

— Что там?— спросил дежурный околоточный надзиратель, отрываясь от бумаги, которую он составлял.

— Неподсильная ноша, ваше благородие,— ответил сердитый городовой и ткнул Мишку вперед.

Околоточный вытянул вверх одну руку, так что сустав хрустнул, и потом другую; потом поочередно вытянул ноги в широких лакированных сапогах. Глядя боком, сверху вниз, на мальчика, он выбросил ряд вопросов:

— Кто? Откуда? Звание? По какому делу?

И Мишка дал ряд ответов.

— Мишка. Крестьянин. Двенадцать лет. Хозяин послал.

Околоточный подошел к связке, все еще потягиваясь на ходу, отставляя ноги назад и выпячивая грудь, густо вздохнул и слегка приподнял книги.

— Ого!— сказал он с удовольствием.

Оберточная бумага на краю оборвалась, околоточный отогнул ее и прочел заглавие: «В защиту обездоленных».

— Ну-ка, ты,— позвал он Мишку пальцем.— Прочти.

Мишка моргнул глазами и ответил:

— Я неграмотный.

Околоточный засмеялся:

— Ха-ха-ха!

Пришел небритый паспортист, дыхнул на Мишку водкой и луком и тоже засмеялся:

— Ха-ха-ха!

А потом составили протокол, и Мишка поставил под ним крестик.

БЕЗДНА

I

Уже кончался день, а они двое все шли, все говорили и не замечали ни времени, ни дороги. Впереди, на пологом холме, темнела небольшая роща, и сквозь ветви деревьев красным раскаленным углем пылало солнце, зажигало воздух и весь его превращало в огненную золотистую пыль. Так близко и так ярко было солнце, что все кругом словно исчезало, а оно только одно оставалось, окрашивало дорогу и ровняло ее. Глазам идущих стало больно, они повернули назад, и сразу перед ними все потухло, стало спокойным и ясным, маленьким и отчетливым. Где-то далеко, за версту или больше, красный закат выхватил высокий ствол сосны, и он горел среди зелени, как свеча в темной комнате; багровым налетом покрылась впереди дорога, на которой теперь каждый камень отбрасывал длинную черную тень, да золотисто-красным ореолом светились волоса девушки, пронизанные солнечными лучами. Один тонкий вьющийся волос отделился от других и вился и колебался в воздухе, как золотая паутинка.

И то, что впереди стало темно, не прервало и не изменило их разговора. Такой же ясный, задушевный и тихий, он лился спокойным потоком и был все об одном: о силе, красоте и бессмертии любви. Оба они были очень молоды: девушке было всего семнадцать лет, Немовецкому на четыре года больше, и оба они были в ученической форме: она в скромном коричневом платье гимназистки, он в красивой форме студента-технолога. И как и речь, все у них было молодое, красивое и чистое: стройные, гибкие фигуры, словно пронизанные воздухом и родные ему, легкая упругая поступь и свежие голоса, даже в простых словах звучавшие

задумчивой нежностью, так, как звенит ручей в тихую весеннюю ночь, когда не весь еще снег сошел с темных полей.

Они шли, сворачивали там, где сворачивала незнакомая дорога, и две длинные, постепенно утончающиеся тени, смешные от маленьких головок, то раздельно двигались впереди, то сбоку сливались в одну узкую и длинную, как тень тополя, полосу. Но они не видели теней и говорили, и, говоря, он не сводил глаз с ее красивого лица, на котором розовый закат точно оставил часть своих нежных красок, а она смотрела вниз, на тропинку, отталкивала зонтиком маленькие камешки и следила, как из-под темного платья равномерно выдвигался то один, то другой острый кончик маленькой ботинки.

Дорогу пересекла канава с пыльными, обвалившимися от ходьбы краями, и они на миг остановились. Зиночка подняла голову, обвела вокруг затуманенным взглядом и спросила:

— Вы знаете, где мы? Я здесь ни разу не была.

Он внимательно оглядел местность.

— Да, знаю. Там, за этим бугром, город. Давайте руку, я вам помогу.

Он протянул руку, нерабочую руку, тонкую и белую, как у женщины. Зиночке было весело, ей хотелось перепрыгнуть канаву самой, побежать, крикнуть: «Догоняйте!»— но она сдержалась, слегка, с важной благодарностью наклонила голову и немного боязливо протянула руку, сохранившую еще нежную припухлость детской руки. А ему хотелось до боли сжать эту трепетную ручку, но он также сдержался, с полупоклоном, почтительно принял ее и скромно отвернулся, когда у всходившей девушки слегка приоткрылась нога.

И снова они шли и говорили, но головы их были полны ощущением на минуту сблизившихся рук. Она еще чувствовала сухой жар его ладони и крепких пальцев; ей было приятно и немного совестно, а он ощущал покорную мягкость ее крохотной ручки и видел черный силуэт ноги и маленькую туфлю, наивно и нежно обнимавшую ее. И было что-то острое, беспокойное в этом немеркнущем представлении узкой полоски белых юбок и стройной ноги, и несознаваемым усилием воли он потушил его. И тогда ему стало весело, и сердцу его было так широко и свободно в груди, что захотелось петь, тянуться руками к небу и крикнуть: «Бегите, я буду вас догонять»,— эту древнюю формулу первобытной любви среди лесов и гремящих водопадов.

И от всех этих желаний к горлу подступали слезы.

Длинные, смешные тени исчезали, и дорожная пыль стала серой и холодной, но они не заметили этого и говорили. Оба они прочли много хороших книг, и светлые образы людей, любивших, страдавших и погибавших за чистую любовь, носились перед их глазами. В памяти воскресали отрывки неведомо когда прочитанных стихов, в одежду звучной гармонии и сладкой грусти облекавших любовь.

— Вы не помните, откуда это?— спрашивал Немовецкий, припоминая:—«...и со мною снова та, кого люблю,— от которой скрыл я, не сказав ни слова, всю тоску, всю нежность, всю любовь мою...»

— Нет,— ответила Зиночка и задумчиво повторила: «Всю тоску, всю нежность, всю любовь мою...»

— Всю любовь мою,— невольным эхом откликнулся Немовецкий.

И снова они вспоминали. Вспоминали чистых, как белые лилии, девушек, надевавших черную монашескую одежду, одиноко тоскующих в парке, засыпанном осенней листвой, счастливых в своем несчастье; они вспоминали и мужчин, гордых, энергичных, но страдающих и просящих о любви и чутком женском сострадании. Печальны были вызванные образы, но в их печали светлее и чище являлась любовь. Огромным, как мир, ясным, как солнце, и дивно-красивым вырастала она перед их глазами, и не было ничего могущественнее ее и краше.

— Вы могли бы умереть за того, кого любите?— спросила Зиночка, смотря на свою полудетскую руку.

— Да, мог бы,— решительно ответил Н мовецкий, открыто и искренно глядя на нее.— А вы?

— Да, и я,— она задумалась.— Ведь это такое счастье: умереть за любимого человека. Мне очень хотелось бы.

Их глаза встретились, ясные, спокойные, и что-то хорошее послали друг другу, и губы улыбнулись. Зиночка остановилась.

— Постойте,— сказала она.— У вас на тужурке нитка.

И доверчиво она подняла руку к его плечу и осторожно, двумя пальцами сняла нитку.

— Вот!— сказала она и, став серьезной, спросила:— Отчего вы такой бледный и худой? Вы много занимаетесь, да? Не утомляйте себя, не надо.

— У вас глаза голубые, а в них светлые точечки, как искорки,— ответил он, рассматривая ее глаза.

— А у вас черные. Нет, карие, теплые. И в них...

Зиночка не договорила, что в них, и отвернулась. Лицо ее медленно краснело, глаза стали смущенные и робкие,

а губы невольно улыбались. И, не ожидая улыбающегося и чем-то довольного Немовецкого, она тронулась вперед, но скоро остановилась.

— Смотрите, солнце зашло!— с грустным изумлением воскликнула она.

— Да, зашло,— с внезапной, острой грустью отозвался он.

Свет погас, тени умерли, и все кругом стало бледным, немым и безжизненным. Оттуда, где раньше сверкало раскаленное солнце, бесшумно ползли вверх темные груды облаков и шаг за шагом пожирали светло-голубое пространство. Тучи клубились, сталкивались, медленно и тяжко меняли очертания разбуженных чудовищ и неохотно подвигались вперед, точно их самих, против их воли, гнала какая-то неумолимая, страшная сила. Оторвавшись от других, одиноко металось светлое волокнистое облачко, слабое и испуганное.

II

Щеки Зиночки побледнели, губы стали красными, почти кровавыми, зрачок неприметно расширился, затемнив глаза, и она тихо прошептала:

— Мне страшно. Тут так тихо. Мы заблудились?

Немовецкий сдвинул густые брови и пытливо оглядел местность.

Без солнца, под свежим дыханием близкой ночи, она казалась неприветливой и холодной; во все стороны раскидывалось серое поле с низенькой, словно притоптанной травой, глинистыми оврагами, буграми и ямами. Ям было много, глубоких, отвесных и маленьких, поросших ползучей травой; в них уже бесшумно залегала на ночь молчаливая тьма; и то, что здесь были люди, что-то делали, а теперь их нет, делало местность еще более пустынной и печальной. Там и здесь, как сгустки лилового холодного тумана, вставали рощи и перелески и точно выжидали, что скажут им заброшенные ямы.

Немовецкий подавил поднимавшееся в нем тяжелое и смутное чувство тревоги и сказал:

— Нет, мы не заблудились. Я знаю дорогу. Сперва полем, а потом через тот лесок. Вы боитесь?

Она храбро улыбнулась и ответила:

— Нет. Теперь нет. Но нужно скорее домой — пить чай.

Быстро и решительно они двинулись вперед, но скоро замедлили шаги. Они не глядели по сторонам, но чувствовали угрюмую враждебность изрытого поля, окружавшего их тысячью тусклых неподвижных глаз, и это чувство сближало их и бросало к воспоминаниям детства. И воспоминания были светлые, озаренные солнцем, зеленой листвой, любовью и смехом. Как будто это была не жизнь, а широкая, мягкая песня, и звуками в ней были они сами, две маленькие нотки: одна звонкая и чистая, как звенящий хрусталь, другая немного глуше, но ярче — как колокольчик.

Показались люди — две женщины, сидевшие на краю глубокой глиняной ямы; одна сидела, заложив ногу за ногу, и пристально смотрела вниз; головной платок приподнялся, открывая космы путаных волос; спина горбилась и встягивала вверх грязную кофту с крупными, как яблоки, цветами и распустившимися завязками. На проходящих она не взглянула. Другая женщина полулежала возле, закинув голову. Лицо у нее было грубое, широкое, с мужскими чертами, и под глазами на выдавшихся скулах горели по два красных кирпичных пятна, похожих на свежие ссадины. Она была еще грязнее, чем первая, и смотрела на идущих прямо и просто. Когда они прошли, она запела густым, мужским голосом:

Для тебя одного, мой любезный,
Я, как цвет ароматный, цвела...

— Варька, слышишь?— обратилась она к молчаливой подруге и, не получив ответа, громко и грубо захохотала.

Немовецкий знал таких женщин, грязных даже тогда, когда на них было богатое и красивое платье, привык к ним, и теперь они скользнули по его взгляду и, не оставив следа, исчезли. Но Зиночка, почти коснувшаяся их своим коричневым скромным платьем, почувствовала что-то враждебное, жалкое и злое, на миг вошедшее в ее душу. Но через несколько минут впечатление изгладилось, как тень облака, быстро бегущая по золотистому лугу, и когда мимо них, обгоняя, прошли двое: мужчина в картузе и пиджаке, но босиком, и такая же грязная женщина, она увидела их, но не почувствовала. Не отдавая себе отчета, она долго еще следила за женщиной, и ее немного удивило, почему у нее такое тонкое платье, как-то липко, точно мокрое, обхватывающее ноги, и подол с широкой полосой жирной грязи, въевшейся в материю. Что-то тревожное, больное и страш-

но безнадежное было в трепыхании этого тонкого и грязного подола.

И снова они шли и говорили, а за ними двигалась, нехотя, темная туча и бросала прозрачную, осторожно прилегающую тень. На распертых боках тучи тускло просвечивали желтые, медные пятна и светлыми, бесшумно клубящимися дорогами скрывались за ее тяжелой массой. И тьма сгущалась так незаметно и вкрадчиво, что трудно было в нее поверить, и казалось, что все еще это день, но день тяжело больной и тихо умирающий. Теперь они говорили о тех страшных чувствах и мыслях, которые посещают человека ночью, когда он не спит, и ни звуки, ни речи не мешают ему, и то, как тьма широкое и многоглазое, что́ есть жизнь, плотно прижимается к самому его лицу.

— Вы представляете себе бесконечность?— спросила Зиночка, прикладывая ко лбу пухлую ручку и крепко зажмуривая глаза.

— Нет. Бесконечность... Нет,— ответил Немовецкий, также закрывая глаза.

— А я иногда вижу ее. Первый раз я увидела, когда была еще маленькая. Это как будто телеги. Стоит одна телега, другая, третья, и так далеко, без конца, все телеги, телеги... Страшно,— она вздрогнула.

— Но почему телеги?— улыбнулся Немовецкий, хотя ему было неприятно.

— Не знаю. Телеги. Одна, другая... без конца.

Тьма вкрадчиво густела, и туча уже прошла над их головами и спереди точно заглядывала в их побледневшие, опущенные лица. И все чаще вырастали темные фигуры оборванных грязных женщин, словно их выбрасывали на поверхность глубокие, неизвестно зачем выкопанные ямы, и тревожно трепыхались их мокрые подолы. То в одиночку, то по две, по три появлялись они, и голоса их звучали громко и странно-одиноко в замершем воздухе.

— Кто эти женщины? Откуда их столько?— спрашивала Зиночка боязливо и тихо. Немовецкий знал, кто эти женщины, и ему было страшно, что они попали в такую дурную и опасную местность, но спокойно ответил:

— Не знаю. Так. Не нужно о них говорить. Вот сейчас пройдем этот лесок, а там будет застава и город. Жаль, что мы так поздно вышли.

Ей стало смешно, что он говорит: поздно, когда они вышли в четыре часа, и она взглянула на него и улыбнулась. Но брови его не расходились, и она предложила, успокаивая и утешая:

— Пойдемте скорее. Мне хочется чаю. Да и лес уже близко.

— Пойдемте.

Когда они вошли в лес и деревья молчаливо сошлись вершинами над их головами, стало очень темно, но уютно и спокойно.

— Давайте руку,— предложил Немовецкий.

Она нерешительно подала руку, и легкое прикосновение точно разогнало тьму. Руки их были неподвижны и не прижимались, и Зиночка даже немного отодвигалась от спутника, но все их сознание сосредоточилось на ощущении этого маленького местечка в теле, где соприкасались руки. И опять хотелось говорить о красоте и таинственной силе любви, но говорить так, чтобы не нарушать молчания, говорить не словами, а взглядами. И они думали, что нужно взглянуть, и хотели, но не решались.

— А вот опять люди!— весело сказала Зиночка.

III

На поляне, где было светлее, сидели около опорожненной бутылки три человека и молча, выжидательно смотрели на подходящих. Один, бритый, как актер, засмеялся и свистнул так, как будто это значило:

— Ого!

Сердце у Немовецкого упало и замерло в страшной тревоге, но, будто подталкиваемый сзади, он шел прямо на сидящих, около которых проходила тропинка. Те ждали, и три пары глаз темнели неподвижно и страшно. И смутно желая расположить к себе этих мрачных, оборванных людей, в молчании которых чувствовалась угроза, указать на свою беспомощность и разбудить в них сочувствие, он спросил:

— Где пройти к заставе? Здесь?

Но они не ответили. Бритый свистнул что-то неопределенное и насмешливое, а другие двое молчали и смотрели с тяжелой, зловещей пристальностью. Они были пьяны, злы, и им хотелось любви и разрушения. Краснощекий, оплывший, приподнялся на локти, потом нерешительно, как медведь, оперся на лапы и встал, тяжело вздохнув. Товарищи мельком взглянули на него и опять с той же пристальностью уставились на Зиночку.

— Мне страшно,— одними губами сказала она.

Не слыша слов, Немовецкий понял ее по тяжести опершейся руки. И, стараясь сохранить вид спокойствия, но чувствуя роковую неотвратимость того, что́ сейчас случится, он зашагал ровно и твердо. И три пары глаз приблизились, сверкнули и остались за спиной. «Нужно бежать,— подумал Немовецкий и сам ответил:— Нет, нельзя бежать».

— Совсем дохляк парень, даже обидно,— сказал третий из сидевших, лысый, с редкой рыжей бородой.— А девочка хорошенькая, дай Бог всякому.

Все трое как-то неохотно засмеялись.

— Барин, погоди на два слова!— густо, басом сказал высокий и поглядел на товарищей.

Те приподнялись.

Немовецкий шел не оглядываясь.

— Нужно погодить, когда просят,— сказал рыжий.— А то ведь и по шее можно.

— Тебе говорят!— гаркнул высокий и в два прыжка нагнал идущих.

Массивная рука опустилась на плечо Немовецкого и покачнула его, и, обернувшись, он возле самого лица встретил круглые, выпуклые и страшные глаза. Они были так близко, точно он смотрел на них сквозь увеличительное стекло и ясно различал красные жилки на белке и желтоватый гной на ресницах. И, выпустив немую руку Зиночки, он полез в карман и забормотал:

— Денег!.. На́те денег. Я с удовольствием.

Выпуклые глаза все более круглились и светлели. И когда Немовецкий отвел от них свои глаза, высокий немного отступил назад и без размаху, снизу, ударил Немовецкого в подбородок. Голова Немовецкого откачнулась, зубы лязгнули, фуражка опустилась на лоб и свалилась, и, взмахнув руками, он упал навзничь. Молча, без крика, повернулась Зиночка и бросилась бежать, сразу приняв всю быстроту, на какую была способна. Бритый крикнул долго и странно:

— А-а-а!..

И с криком погнался за ней.

Немовецкий, шатаясь, вскочил, но не успел еще выпрямиться, как снова был сбит с ног ударом в затылок. Тех было двое, а он один, слабый и не привыкший к борьбе, но он долго боролся, царапался ногтями, как дерущаяся женщина, всхлипывал от бессознательного отчаяния и кусался. Когда он совсем ослабел, его подняли и понесли; он упирался, но в голове шумело, он переставал понимать, что с ним делается, и бессильно обвисал в несущих руках. Последнее, что он увидел,— это кусок рыжей бороды, почти

попадавшей ему в рот, а за ней темноту леса и светлую кофточку бегущей девушки. Она бежала молча и быстро, так, как бегала на днях, когда играли в горелки — а за ней мелкими шажками, настигая, несся бритый. А потом Немовецкий ощутил вокруг себя пустоту, с замиранием сердца понесся куда-то вниз, гохнул всем телом, ударившись о землю,— и потерял сознание.

Высокий и рыжий, бросившие Немовецкого в ров, постояли немного, прислушиваясь к тому, что́ происходило на дне рва. Но лица их и глаза были обращены в сторону, где осталась Зиночка. Оттуда послышался высокий, придушенный женский крик и тотчас замер. И высокий сердито воскликнул:

— Мерзавец!— и прямиком, ломая сучья, как медведь, побежал.

— И я! И я!— тоненьким голоском кричал рыжий, пускаясь за ним вслед. Он был слабосилен и запыхался; в борьбе ему ушибли коленку, и ему было обидно, что мысль о девушке пришла ему первому, а достанется она ему последнему. Он приостановился, потер рукой коленку, высморкался, приставив палец к носу, и снова побежал, жалобно крича:

— И я! И я!

Темная туча уже расползлась по всему небу, и наступила темная, тихая ночь. В темноте скоро исчезла коротенькая фигура рыжего, но долго еще слышался неровный топот его ног, шорох раздвигаемых деревьев и дребезжащий, жалобный крик:

— И я! Братцы, и я!

IV

В рот Немовецкому набралась земля и скрипела на зубах. И первое, самое сильное, что́ он почувствовал, придя в сознание, был густой и спокойный запах земли. Голова была тупая, словно налитая тусклым свинцом, так что трудно было ворочать; все тело ныло, и сильно болело плечо, но ничего не было ни переломано, ни разбито. Немовецкий сел и долго смотрел вверх, ничего не думая и не вспоминая. Прямо над ним свешивался куст с черными широкими листьями, и сквозь них проглядывало очистившееся небо. Туча прошла, не бросив ни одной капли дождя и сделав воздух сухим и легким, и высоко, на середину неба, поднялся разрезанный месяц с прозрачным, тающим краем.

Он доживал последние ночи и светил холодно, печально и одиноко. Небольшие клочки облаков быстро пронеслись в вышине, где продолжал, очевидно, дуть сильный ветер, но не закрывали месяца, а осторожно обходили его. В одиночестве месяца, в осторожности высоких, светлых облаков, в дуновении неощутимого внизу ветра чувствовалась таинственная глубина парящей над землею ночи.

Немовецкий вспомнил все, что́ произошло, и не поверил. Все случившееся было страшно и непохоже на правду, которая не может быть такой ужасной, и сам он, сидящий среди ночи и смотрящий откуда-то снизу на перевернутый месяц и бегущие облака, был также странен и непохож на настоящего. И он подумал, что это обыкновенный страшный сон, очень страшный и дурной. И эти женщины, которых они так много встречали, были также сном.

— Не может быть,— сказал он утвердительно и слабо качнул тяжелой головой.— Не может быть.

Он протянул руку и стал искать фуражку, чтобы идти, но фуражки не было. И то, что ее не было, сразу сделало все ясным; и он понял, что происшедшее не сон, а ужасная правда. В следующую минуту, замирая от ужаса, он уже карабкался вверх, обрывался вместе с осыпавшейся землей и снова карабкался и хватался за гибкие ветви куста.

Вылезши, он побежал прямо, не рассуждая и не выбирая направления, и долго бежал и кружился между деревьями. Так же внезапно, не рассуждая, он побежал в другую сторону, и опять ветви царапали его лицо, и опять все стало похоже на сон. И Немовецкому казалось, что когда-то с ним уже было нечто подобное: тьма, невидимые ветви, царапающие лицо, и он бежит, закрыв глаза, и думает, что все это сон. Немовецкий остановился, потом сел в неудобной и непривычной позе человека, сидящего прямо на земле, без возвышения. И опять он подумал о фуражке и сказал:

— Это я. Нужно убить себя. Нужно убить себя, если даже это сон.

Он вскочил и снова побежал, но опомнился и пошел медленно, смутно рисуя себе то место, где на них напали. В лесу было совсем темно, но иногда прорывался бледный месячный луч и обманывал, освещая белые стволы, и лес казался полным неподвижных и почему-то молчащих людей. И это уже было когда-то, и это походило на сон.

— Зинаида Николаевна!— звал Немовецкий и громко выговаривал первое слово, но тихо второе, как будто теряя вместе со звуком надежду, что кто-нибудь отзовется.

И никто не отзывался.

Потом он попал на тропинку, узнал ее и дошел до поляны. И тут опять и уже совсем он понял, что все это правда, и в ужасе заметался, крича:

— Зинаида Николаевна! Это я! Я!

Никто не откликался, и, повернувшись лицом туда, где должен был находиться город, Немовецкий раздельно выкрикнул:

— По-мо-ги-те!..

И снова заметался, что-то шепча, обшаривая кусты, когда перед самыми его ногами всплыло белое мутное пятно, похожее на застывшее пятно слабого света. Это лежала Зиночка.

— Господи! Чтó же это?— с сухими глазами, но голосом рыдающего человека сказал Немовецкий и, став на колени, прикоснулся к лежащей.

Рука его попала на обнаженное тело, гладкое, упругое, холодное, но не мертвое, и с содроганием Немовецкий отдернул ее.

— Милая моя, голубочка моя, это я,— шептал он, ища в темноте ее лицо.

И снова, в другом направлении он протянул руку и опять наткнулся на голое тело, и так, куда он ни протягивал ее, он всюду встречал это голое женское тело, гладкое, упругое, как будто теплевшее под прикасающейся рукой. Иногда он отдергивал руку быстро, но иногда задерживал, и как сам он, без фуражки, оборванный, казался себе ненастоящим, так и с этим обнаженным телом он не мог связать представления о Зиночке. И то, что произошло здесь, что делали люди с этим безгласным женским телом, представилось ему во всей омерзительной ясности — и какой-то странной, говорливой силой отозвалось во всех его членах. Потянувшись так, что хрустнули суставы, он тупо уставился на белое пятно и нахмурил брови, как думающий человек. Ужас перед случившимся застывал в нем, свертывался в комок и лежал в душе, как что-то постороннее и бессильное.

— Господи, чтó же это?— повторил он, но звук был неправдивый, как будто нарочно.

Он нащупал сердце: оно билось слабо, но ровно, и когда он нагнулся к самому лицу, он ощутил слабое дыхание, словно Зиночка не была в глубоком обмороке, а просто спала. И он тихо позвал ее:

— Зиночка, это я.

И тут же почувствовал, что будет почему-то хорошо, если она еще долго не проснется. Затаив дыхание и быстро оглянувшись кругом, он осторожно погладил ее по щеке

и поцеловал сперва в закрытые глаза, потом в губы, мягко раздавшиеся под крепким поцелуем. Его испугало, что она может проснуться, и он откачнулся и замер. Но тело было немо и неподвижно, и в его беспомощности и доступности было что-то жалкое и раздражающее, неотразимо влекущее к себе. С глубокой нежностью и воровской, пугливой осторожностью Немовецкий старался набросать на нее обрывки ее платья, и двойное ощущение материи и голого тела было остро, как нож, и непостижимо, как безумие. Он был защитником и тем, кто нападает, и он искал помощи у окружающего леса и тьмы, но лес и тьма не давали ее. Здесь было пиршество зверей, и, внезапно отброшенный по ту сторону человеческой, понятной и простой жизни, он обонял жгучее сладострастие, разлитое в воздухе, и расширял ноздри.

— Это я! Я!— бессмысленно повторял он, не понимая окружающего и весь полный воспоминанием о том, как он увидел когда-то белую полоску юбки, черный силуэт ноги и нежно обнимавшую ее туфлю. И, прислушиваясь к дыханию Зиночки, не сводя глаз с того места, где было ее лицо, он подвинул руку. Прислушался и подвинул еще.

— Чтó же это?— громко и отчаянно вскрикнул он и вскочил, ужасаясь самого себя.

На одну секунду в его глазах блеснуло лицо Зиночки и исчезло. Он старался понять, что это тело — Зиночка, с которой он шел сегодня и которая говорила о бесконечности, и не мог; он старался почувствовать ужас происшедшего, но ужас был слишком велик, если думать, что все это правда, и не появлялся.

— Зинаида Николаевна!— крикнул он, умоляя.— Зачем же это? Зинаида Николаевна?

Но безгласным оставалось измученное тело, и с бессвязными речами Немовецкий опустился на колени. Он умолял, грозил, говорил, что убьет себя, и тормошил лежащую, прижимая ее к себе и почти впиваясь ногтями. Потеплевшее тело мягко поддавалось его усилиям, послушно следуя за его движениями, и все это было так страшно, непонятно и дико, что Немовецкий снова вскочил и отрывисто крикнул:

— Помогите!— И звук был лживый, как будто нарочно.

И снова он набросился на несопротивлявшееся тело, целуя, плача, чувствуя перед собой какую-то бездну, темную, страшную, притягивающую. Немовецкого не было. Немовецкий оставался где-то позади, а тот, что был теперь,

с страстной жестокостью мял горячее податливое тело и говорил, улыбаясь хитрой усмешкой безумного:

— Отзовись! Или ты не хочешь? Я люблю тебя, люблю тебя.

С той же хитрой усмешкой он приблизил расширившиеся глаза к самому лицу Зиночки и шептал:

— Я люблю тебя. Ты не хочешь говорить, но ты улыбаешься, я это вижу. Я люблю тебя, люблю, люблю.

Он крепче прижал к себе мягкое, безвольное тело, своей безжизненной податливостью будившее дикую страсть, ломал руки и беззвучно шептал, сохранив от человека одну способность лгать:

— Я люблю тебя. Мы никому не скажем, и никто не узнает. И я женюсь на тебе, завтра, когда хочешь. Я люблю тебя. Я поцелую тебя, и ты мне ответишь — хорошо? Зиночка...

И с силой он прижался к ее губам, чувствуя, как зубы вдавливаются в тело, и в боли и крепости поцелуя теряя последние проблески мысли. Ему показалось, что губы девушки дрогнули. На один миг сверкающий огненный ужас озарил его мысли, открыв перед ним черную бездну.

И черная бездна поглотила его.

Январь 1902 г.

ВЕСНОЙ

I

Когда стемнело и в комнатах зажгли огонь, он достал из-под кровати толстые непромокаемые сапоги и стал надевать их. От воды кожа съежилась и затвердела, сапог с трудом входил на ногу, и с гримасой злости и отвращения Павел притопнул ногой. Потом, точно ослабев от сделанного усилия или вспомнив что-то важное, чего нельзя забывать ни на минуту, он бессильно бросил руки на постель, сгорбился, так что голова вошла в плечи, как у больного или старика, и задумался. В доме ходили, разговаривали, весело стучали чайной посудой, и маленькая Катя, оставленная, очевидно, нянькой и добравшаяся до рояля, выстукивала все одну и ту же звонкую и веселую нотку,— а он сидел неподвижно, с одной обутой ногой, смотрел в пол и думал о том важном и страшном, о чем нельзя забывать ни на минуту. И дышал он так тихо, что можно было стать рядом и не догадаться, что тут есть живой человек.

Мать увидела его, когда он проходил через столовую, и тревожно спросила:

— Ты куда, Павлик?

Павел, не оборачиваясь, ответил:

— К товарищу.

Говорил он басом и был длинный, с узкими, покатыми плечами, не похожий ни на толстого, короткошеего отца, ни на малорослую мать. И когда он скрылся в кухне, через которую ходили обыкновенно домашние, мать подумала, что и на этот раз он не поцеловал ее, уходя, и что теперь он никого не целует: ни мать, ни отца, ни сестер. Два раза он возвращался домой пьяный, и в столе у него, под тетрадями, она подсмотрела большой страшный револьвер и предполагала, что у Павла роман с какой-нибудь дурной девушкой, из-за которой он может наделать беды. Отец его тоже хотел застрелиться, когда был женихом, и не застрелился только потому, что нигде не мог достать револьвера и она отговорила его. «Все они хотят стреляться»,— подумала она с невольной улыбкой, но все-таки решила завтра же украсть опасное оружие и передать отцу. Пусть с ним и разговаривает.

Ночь была черна от низкого, покрытого тучами неба и от черной земли, которая вся за последние дни пропиталась дождевой водой, и когда свет из окна падал на протоптанную среди грязи тропинку, она лоснилась, как черный атлас. Фонарей на этой захолустной улице не было, и Павел шагал наудачу; раз он больно ударился коленкой о столбик и брезгливо сморщился: ненужная и вздорная боль мешала думать. Кругом находились сады, и пахло так хорошо, как пахнет во время дождя в лесу: сыростью, березовым листом и какими-то цветами, которые только и пахнут в сырую погоду. Низкие и плотные тучи пригнетали душистый воздух к земле, и он был густой и теплый, как липовый мед, и груди делалось от него широко и больно. И, ощущая эту странную, задумчивую и нежную боль, похожую на далекую песню без слов, Павел не мог понять ее, как не мог он понять ни весны, ни жизни, ни самого себя.

Казалось, что темнее не может быть, но, когда Павел вышел на берег реки и уже не видно было силуэтов домов и огоньков в окнах, тьма стала глубокой и тяжелой и так близко надвигалась сверху и с боков, точно хотела задушить. И грязь стала глубже и лужи чаще, и уже не пахло садами, а только широкой невидимой водой и тучами. Сапоги шлепали, и этот тупой, одинокий звук, раздававшийся за спиной и таинственно умолкавший, когда Павел оста-

навливался, навел на него страх. Нащупав в кармане револьвер, Павел положил на него руку и так, оглядываясь и прислушиваясь, дошел до железнодорожной насыпи и по скользким ступенькам взобрался на нее.

На мосту никого не было, и Павел тихо, стараясь не скрипеть ногами по песку, чтобы не услыхал сторож, прошел мимо освещенной будки и скрылся во тьме глубокой выемки, похожей на днище огромного длинного гроба. И тишина тут была такая, как в гробу, и воздух неподвижный, сдавленный, как будто им никогда не дышал. За поворотом были сложены негодные шпалы, на которых часто сидел Павел, и теперь он ощупью нашел сырые, исщепленные поленья и сел, спустив ноги. И опять спина его сгорбилась, и все тело охватило страшное бессилие и покой, которым нельзя было верить: где-то в глубине билось что-то тревожное, зловещее и требующее решительного, смелого и ужасного поступка.

«Вот тут я и лягу»,— подумал Павел, вглядываясь в невидимые рельсы.

Он уже целую неделю ходил сюда и присматривался, и тут нравилось ему, так как все — и воздух и могильная тишина говорили о смерти и приближали к ней. Когда он так сидел, тяжело, всем телом, и стены выемки охватывали его, ему казалось, что он уже наполовину умер и нужно сделать немного, чтобы умереть совсем. Каждую весну, вот уже три года, он думал о смерти, а в эту весну решил, что умереть пора. Он ни в кого не был влюблен, у него не было никакого горя, и ему очень хотелось жить, но все в мире казалось ему ненужным, бессмысленным и оттого противным до отвращения, до брезгливых судорог в лице.

И бывало это весной. Зимой он не замечал жизни и жил просто, как и все, но, когда сходил снег и земля становилась прекрасной и обнажалось во всей загадочной красоте сияющее небо, он чувствовал себя, как птица, у которой обрубили крылья и которую сделали неуклюжим, медленно ползающим человеком. И крылатая душа трепетала и билась, как в клетке, и непонятна и враждебна была вся эта красота мира, которая зовет куда-то, но не говорит куда. Потерявшийся, он шел к людям с безмолвным вопросом — и все людские лица казались ему плоскими и тупыми, как у зверей, а речи их ненужными, вздорными и лишенными смысла, как бред или мычание животного. У них в доме была корова с большими глупыми глазами, и ему казалось, что мать его, которую он любил, похожа на эту корову, и от этих дурных мыслей он презирал себя.

Далеко за поворотом послышался гул, который он ощутил скорее вздрогнувшим телом, чем слухом. Послышался и угас, будто свинцовый воздух и тьма задушили его. Блеснули мокрые рельсы, и из-за черной стены медленно выплыл огненный глаз, одинокий и зловещий. Он стал прямо против Павла, и не видно было, подвигается он или нет, и хотелось, чтобы он закрылся или погас; но он смотрел, не мигая, зловещий и пристальный, и становился все больше, все ярче и злее. Сердце Павла поднялось высоко, к самому горлу,— и упало, разбившись на тысячу коротких, быстрых толчков, от которых пересохло во рту. Впившись пальцами в сырые бревна, он наполовину сдвинулся с них и вытянул ногу, касаясь носком земли. И поза его были такая, как у человека, который хочет сделать быстрый и решительный прыжок, и когда свет фонаря упал на его глаза, они были расширены и в них был ужас. Медленно, как больной или усталый, прошел мимо Павла слабо освещенный паровоз, а за ним, как тени, потянулись вагоны, грузно постукивая и колыхаясь. И чувствовалось, как тяжела их угрюмая масса и как беспощадно дробили бы они тело, попавшее под колеса.

Поезд прошел, а Павлу все еще чудилось, что смерть еще тут, еще не ушла, и со страхом, которому он не мог найти объяснения, он быстро соскользнул со шпал и пошел. На мосту он увидел сторожа и сказал ему:

— Добрый вечер!

Сторож осветил его фонарем, повернулся, ничего не сказал и ушел в будку. И опять Павлу стало тяжело и безнадежно спокойно. Он долго стоял, облокотившись на тонкие железные перила, всматриваясь в ровную тьму, такую же безнадежную и ровную, как его тоска. И, покачав головой, он громко сказал:

— Завтра.

Когда Павел подходил к дому, короткая майская ночь уже подходила к концу, а у парадного стояли два экипажа, и окна были освещены. От крыльца двинулась к нему темная фигура, и встревоженный Павел узнал дворника Василия.

— Что случилось?— спросил Павел, зная наверное, что что-то случилось и что случившееся ужасно.— Что с мамой?

— Сергей Васильевич были в клубе... Маменька велели подождать вас тут.

— Что с отцом?

Но он уж знал, чтó. Везде, в кухне, столовой и спальне, был яркий свет, режущий глаза, и ходили люди. У няньки седые волосы выбились из-под платка, и она походила на ведьму, но глаза краснели от слез и голос был жалостливый и добрый. Павел оттолкнул ее, потом еще кого-то, кто цеплялся за него и мешал пройти, и сразу оказался в кабинете. Все стояло там, как всегда, и голая женщина улыбалась со стены, а на полу посредине комнаты лежал отец в белой ночной сорочке, разорванной у ворота. Весь свет от лампы и свечей падал, казалось, только на него, и оттого он был большой и страшный, и лица его не мог узнать Павел. Оно желтело прозрачной и страшной желтизной, и глаза закатились, белки стали огромные и необыкновенные, как у слепого. Из-под простыни высунулась рука, и один толстый палец на ней, с большим золотым перстнем, слабо шевелился, сгибаясь и разгибаясь и точно пытаясь что-то сказать. Павел стал на колени, дрожащими губами поцеловал еще живой, шевелившийся палец и, всхлипнув, сказал:

— Зачем на полу? Зачем на полу?

Кто-то из темноты ответил:

— Вы не плачьте. Он еще останется жив. Он был в клубе, и с ним сделался удар, но он еще останется жив.

Из соседней комнаты послышался вопль, хриплый, клокочущий и неудержимый, как хлынувшая через плотину вода. Пронзительным звуком он пронесся по комнатам, наполнил их и перешел в жалобные слова:

— Го-лубчик мой... Сере-женька!..

Умирающий тихо шевелил пальцем, и хотя лицо было все-таки желто и неподвижно, казалось, что он слышит зовущий его голос, но не хочет почему-то отвечать. И Павел дико закричал:

— Папа! Да папа же!

II

Теперь Павел был старшим в доме, и ему пришлось заказывать гроб, ездить в церковь за покровом и нанимать певчих. Днем он немного заснул на детской постели, и ему приснилось, что он целует голую женщину, ту самую, что висит в кабинете. Сон был противный, но он скоро забыл о нем и все ходил, и все распоряжался, и так наступила ночь.

Все в доме успокоилось. Мать, с которой на панихидах три раза делалось дурно, уснула с маленькой Катей; Андрей и Шура тоже спали, наплакавшись за день, и только возилась в кухне прислуга, да в дальней комнате собравшиеся

родственники пили чай. Когда вошел Павел, дядя Егор доказывал, что в такие ночи нужно пить чай с ромом или с коньяком.

— В доме всегда нужно иметь коньяк,— говорил он,— потому что коньяк очень хорошо действует на организм. Простудишься ли, ноги ли промочишь, или какая неприятность, сейчас выпил коньяку, и испариной все выйдет. Павлик, ты не хочешь стаканчик с коньячком? Выпей.

Лицо у дяди Егора было плоское и красное, и Павел подумал, что лучше было бы, если бы умер дядя Егор, а не отец. И он сурово ответил:

— Не хочу.

Если посмотреть со двора на дом, то сразу можно было подумать, что в доме большой и веселый праздник: все окна были освещены, и целые снопы света падали от них на землю. Но было что-то жуткое и необыкновенное в этом доме, горевшем всеми своими окнами среди темной ночи, и чувствовалось, что там, в одной из комнат его, лежит немой и холодный мертвец. Он лежит, немой, неподвижный, и господствует над всем домом, и все, что вокруг, принадлежит ему и служит для него.

Павел ходил по двору взад и вперед и повторял все одни и те же слова, которые остались у него в памяти от панихиды:

— Со святыми упокой, господи, душу усопшего раба твоего.

Он повторял их десятки и сотни раз, то нежно, то с безнадежным отчаянием, и каждое слово выговаривал ясно и глубоко, но вкладывал в него совсем особенный смысл.

И все эти слова значили одно: смерть. И все мысли, какие были у Павла, значили одно: смерть. Из сада шел густой и сильный запах травы, деревьев и распустившегося жасмина, и запах этот значил все то же: смерть. И непонятно было, зачем этот сладкий и веселый запах, когда умер человек, обонявший его; зачем эти звезды и мягкая теплая тьма; зачем этот свет в окнах, когда человек умер и лежит немой и холодный, как глыба бездушного льда.

В темном сарае Павел нашел прислоненную к стене крышку широкого гроба. Под ней будет лежать отец, и Павел забрался под нее и встал, стараясь быть неподвижным и не дышать, как мертвец. Он думал, что так он скорее поймет, что такое смерть. Но от крышки шел приятный запах свежего теса, и было в нем, как в запахе листвы, что-то противоречащее смерти, еще более загадочное, чем она, и настойчиво зовущее. Павел закрывал глаза и думал, что

и он будет так же лежать и будет мертв, но сердце его громко стучало, и ему было жаль отца, а приятный запах дерева обвевал его тонкой, живой и неразрывной паутинкой. И он не мог представить, что будет когда-нибудь мертв. Когда он вышел из сарая, еще сильнее пахнуло ароматом цветущего сада, и откуда-то издалека пронеслась тихая, но торжествующая, опьяненная жизнью и любовью песнь соловья. И со всей острой жалостью измученного сердца, со всей неразгаданной страстной тоской, со всей прелестью майской ночи — жизнь была так прекрасна, что хотелось умереть — чтобы жить вечно.

Шатаясь, Павел дошел до забора, припал к нему головой и долго плакал, повторяя запавшие в память слова:

— Со святыми... упокой...

Но теперь они уже не значили: смерть.

Наутро опять начались хлопоты. Пришел фотограф, чтобы снять портрет с мертвого Сергея Васильевича, и было уже пора, так как покойник начал портиться. Гроб вынесли на террасу, где было светлее, и фотограф, остробородый и быстрый человек в пиджачке, долго приспособлял аппарат. Голова мертвеца лежала неудобно, и фотографу, видимо, хотелось сказать: потрудитесь немного повернуть ее и улыбнитесь,— и с снисходительной почтительностью, стараясь выказать свое понимание, что он имеет дело с мертвецом, он осторожно двумя пальцами повернул ее. Голова покачнулась и опять стала на свое место, но фотограф сделал вид, что доволен.

— Так будет хорошо,— сказал он.

Дядя Егор посмотрел сбоку и подтвердил:

— Да, хорошо.

Но тут вошла мать Павла. Никого не видя, сразу ставшая седой и старой, она медленно, со старческой дрожью в ногах поднялась по ступенькам, тихо подошла к гробу и руками вперед упала на него.

— Мама! Мама!— просил Павел, стараясь отвести ее. Но она отпихивалась локтями, цеплялась, тащила за собой тяжелый покров и говорила:

— Пусти... Пусти!.. Это я ему.

И в руке у нее Павел увидел скомканные, жалкие цветы: голубенький колокольчик и одуванчики. Они были, как она их сорвала, с листьями и травой, и держала она их так крепко, что из одуванчика выступил белый, как молоко, сок.

— Сестра!— сказал дядя Егор,— успокойся.

Павел оттолкнул его плечом и кротко сказал:

— Положи, мама.

И живые цветы легли на грудь мертвеца. Когда мать и Павел ушли, фотограф придал цветам живописное положение, и дядя Егор похвалил его.

— Трудное ваше дело — фотография. Требует большого искусства.

— Да-с. С живыми-то ничего, но мертвые...— и щелкнул аппаратом.

Потом опять начались панихиды и «со святыми упокой». Приезжали знакомые Сергея Васильевича и сослуживцы, которых Павел водил курить в сад, и все они предлагали ему папиросу, как равному. И все в доме пропиталось запахом ладана и еще каким-то другим, тяжким и зловещим запахом. Под столом, на котором лежал покойник, уже стояла кадка со льдом, а к вечеру пришлось заложить у покойника нос и уши ватой и положить вату на рот. И видны были только лоб, гладкий, как из кости, и страшно крепко закрытые глаза, как будто человек этот закрыл их и решил никогда уже не открывать. И хотя покойник стал страшнее, чем был, и дьячок жаловался, что в комнате с ним трудно быть, в эту ночь все спали спокойнее и крепче, так как привыкли к его присутствию.

На третье утро Сергея Васильевича похоронили. Опять Павел распоряжался, отгонял любопытных, мешавших пронести в двери гроб, помогал выводить из церкви мать, с которой часто делалась дурнота, и вместе с дядей Егором приглашал всех после погребения к закуске. Он кланялся, слабо улыбался, считал на руке мелочь, которую принесла ему какая-то старушка, и время бежало так быстро, и события шли так скоро одно за другим, вне его воли, что он не успевал ни думать, ни вспоминать. Потом он шел за высоким катафалком и глядел, не отрываясь, на стриженый затылок отца. От неровностей дороги и толчков голова слегка покачивалась, а сверху и с боков все горело от яркого майского солнца, и пыль под ногами светилась и жгла обувь. Сзади стучали колеса, и слышались частые возгласы дяди Егора:

— Сестра, успокойся.

Павел слышал их и понимал, что мать его опять плачет, но, охваченный странным, тупым равнодушием, не оборачивался. И от всех похорон у него остались в памяти только стриженый, покачивающийся затылок отца да белые от пыли сапоги.

С кладбища его вместе с каким-то господином повез быстрый и веселый извозчик, подымавший целые тучи пыли. Пролетка прыгала и плавно покачивалась, по сторонам

за низенькими заборами подымались густые и свежие сады, и все это было так красиво и приятно после медленного и однообразного движения за катафалком, что Павел глубоко вздохнул и попросил у спутника папиросу. В комнатах все окна были раскрыты настежь, всюду стояли цветы, и нельзя было подумать, что совсем недавно здесь стоял покойник. И обедали долго и шумно. Дядя Егор всех угощал, ловко наливал рюмки и не принимал никаких отговорок.

— Надо помянуть покойника,— убедительно говорил он.— Батюшка, пожалуйте! Отец дьякон, а что же ваша рюмка-то?

Когда все посторонние разъехались, Павел пошел в сад и долго ходил по его тенистым дорожкам и с изумлением глядел по сторонам. Ему казалось, что долго, очень долго он лежал в тесном и узком гробу, не дышал, не видел солнца и не знал всей этой пышной, расточительной красоты.

Земля творила. Так густо, что не проникал взгляд, зеленели пушистые, гладкие, широкие и острые листья. Все были молодые, радостные, полные могучей силой и жизнью. Казалось, можно было уловить глазом, как они растут и дышат, как из влажной и теплой земли тянется к солнцу трава. И все в саду было полно густым гудением, полным заботы и страстной радости жизни. Оно было вверху и внизу, не видно было, кто гудит и поет, но чудилось, что это поет трава, цветы и высокое синее небо. Казалось, что можно было слышать траву и обонять душистое знойное жужжанье, так все, запах, звук и краска, неразрывно сливались в одну дивную гармонию творчества и жизни.

В углу, под солнцем, Павел увидел березку, на его глазах посаженную отцом. Он помнил, как тогда чернела разрытая земля и там была березка, а теперь она стояла стройная, высокая, и легко, без усилия, простирались в воздухе ее сердцевидные листья, окрашенные нежной молодой зеленью. И Павлу стало жаль отца, и стройная березка сделалась ему родной и милой, как будто в ней еще не умер и никогда не умрет дух того, кто дал ей эту зеленую, веселую жизнь.

— Павлик, где ты?— звали его.

От дома разбитой походкой шла мать, и за ней, держась за подол, переваливался Шурка.

— Как я устала,— сказала она, садясь на скамейку,— побудь со мной, Павлик.

— Хорошо, мамочка.

Внезапно мать встала и упала на колени перед Павлом,

потащив за собой и крепко державшегося Шурку. И, плача тихими слезами горя, прижимаясь лицом к руке сына, проговорила:

— Павля! милый... Ты один теперь у нас... Ты один наша защита.

И Шурка серьезно проговорил:

— Павля! А Павля?

Павел гладил рукой седую, вздрагивающую голову, и далеким черным сном пробежала перед ним мрачная железнодорожная ветка и одинокий зловещий глаз. Он гладил вздрагивающую голову, смотрел на сморщившегося Шурку и видел, какие все они маленькие, и жалкие, и одинокие, и как они нуждаются в защите и любви. И он почувствовал себя сильным и крепким, и голос его был полный и громкий, когда он сказал:

— Да, мама. Я буду жить.

ГОРОД

Это был огромный город, в котором жили они: чиновник коммерческого банка Петров и тот, другой, без имени и фамилии.

Встречались они раз в год — на Пасху, когда оба делали визит в один и тот же дом господ Василевских. Петров делал визиты и на Рождество, но, вероятно, тот, другой, с которым он встречался, приезжал на Рождество не в те часы, и они не видели друг друга. Первые два-три раза Петров не замечал его среди других гостей, но на четвертый год лицо его показалось ему уже знакомым, и они поздоровались с улыбкой,— а на пятый год Петров предложил ему чокнуться.

— За ваше здоровье!— сказал он приветливо и протянул рюмку.

— За ваше здоровье!— ответил, улыбаясь, тот и протянул свою рюмку.

Но имени его Петров не подумал узнать, а когда вышел на улицу, то совсем забыл о его существовании и весь год не вспоминал о нем. Каждый день он ходил в банк, где служил уже десять лет, зимой изредка бывал в театре, а летом ездил к знакомым на дачу, и два раза был болен инфлуэнцой — второй раз перед самой Пасхой. И, уже всходя по лестнице к Василевским, во фраке и с складным цилиндром под мышкой, он вспомнил, что увидит там того, другого,

и очень удивился, что совсем не может представить себе его лица и фигуры. Сам Петров был низенького роста, немного сутулый, так что многие принимали его за горбатого, и глаза у него были большие и черные, с желтоватыми белками. В остальном он не отличался от всех других, которые два раза в год бывали с визитом у господ Василевских, и когда они забывали его фамилию, то называли его просто «горбатенький».

Тот, другой, был уже там и собирался уезжать, но, увидев Петрова, улыбнулся приветливо и остался. Он тоже был во фраке и тоже с складным цилиндром, и больше ничего не успел рассмотреть Петров, так как занялся разговором, едой и чаем. Но выходили они вместе, помогали друг другу одеваться, как друзья; вежливо уступали дорогу и оба дали швейцару по полтиннику. На улице они немного остановились, и тот, другой, сказал:

— Дань! Ничего не поделаешь.

— Ничего не поделаешь,— ответил Петров,— дань!

И так как говорить было больше не о чем, они ласково улыбнулись, и Петров спросил:

— Вам куда?

— Мне налево. А вам?

— Мне направо.

На извозчике Петров вспомнил, что он опять не успел ни спросить об имени, ни рассмотреть его. Он обернулся: взад и вперед двигались экипажи,— тротуары чернели от идущего народа, и в этой сплошной движущейся массе того, другого, нельзя было найти, как нельзя найти песчинку среди других песчинок. И опять Петров забыл его и весь год не вспоминал.

Жил он много лет в одних и тех же меблированных комнатах, и там его очень не любили, так как он был угрюм и раздражителен, и тоже называли «горбачом». Он часто сидел у себя в номере один и неизвестно, что делал, потому что ни книжку, ни письмо коридорный Федот не считал за дело. По ночам Петров иногда выходил гулять, и швейцар Иван не понимал этих прогулок, так как возвращался Петров всегда трезвый и всегда один — без женщины.

А Петров ходил гулять ночью потому, что очень боялся города, в котором жил, и больше всего боялся его днем, когда улицы полны народа.

Город был громаден и многолюден, и было в этом многолюдии и громадности что-то упорное, непобедимое и равнодушно-жестокое. Колоссальной тяжестью своих каменных раздутых домов он давил землю, на которой стоял,

и улицы между домами были узкие, кривые и глубокие, как трещины в скале. И казалось, что все они охвачены паническим страхом и от центра стараются выбежать на открытое поле, но не могут найти дороги, и путаются, и клубятся, как змеи, и перерезают друг друга, и в безнадежном отчаянии устремляются назад. Можно было по целым часам ходить по этим улицам, изломанным, задохнувшимся, замершим в страшной судороге, и все не выйти из линии толстых каменных домов. Высокие и низкие, то краснеющие холодной и жидкой кровью свежего кирпича, то окрашенные темной и светлой краской, они с непоколебимой твердостью стояли по сторонам, равнодушно встречали и провожали, теснились густой толпой и впереди и сзади, теряли физиономию и делались похожи один на другой — и идущему человеку становилось страшно: будто он замер неподвижно на одном месте, а дома идут мимо него бесконечной и грозной вереницей.

Однажды Петров шел спокойно по улице — и вдруг почувствовал, какая толща каменных домов отделяет его от широкого, свободного поля, где легко дышит под солнцем свободная земля и далеко окрест видит человеческий глаз. И ему почудилось, что он задыхается и слепнет, и захотелось бежать, чтобы вырваться из каменных объятий,— и было страшно подумать, что, как бы скоро он ни бежал, его будут провожать по сторонам все дома, дома, и он успеет задохнуться, прежде чем выбежать за город. Петров спрятался в первый ресторан, какой попался ему по дороге, но и там ему долго еще казалось, что он задыхается, и он пил холодную воду и протирал платком глаза.

Но всего ужаснее было то, что во всех домах жили люди. Их было множество, и все они были незнакомые и чужие, и все они жили своей собственной, скрытой для глаз жизнью, непрерывно рождались и умирали,— и не было начала и конца этому потоку. Когда Петров шел на службу или гулять, он видел уже знакомые и приглядевшиеся дома, и все представлялось ему знакомым и простым; но стоило, хотя бы на миг, остановить внимание на каком-нибудь лице — и все резко и грозно менялось. С чувством страха и бессилия Петров вглядывался во все лица и понимал, что видит их первый раз, что вчера он видел других людей, а завтра увидит третьих, и так всегда, каждый день, каждую минуту он видит новые и незнакомые лица. Вон толстый господин, на которого глядел Петров, скрылся за углом — и никогда больше Петров не увидит его. Никогда. И если захочет найти его, то может искать всю жизнь и не найдет.

И Петров боялся огромного, равнодушного города.

В этот год у Петрова опять была инфлуэнца, очень сильная, с осложнением, и очень часто являлся насморк. Кроме того, доктор нашел у него катар желудка, и когда наступила новая Пасха и Петров поехал к господам Василевским, он думал дорогой о том, чтó он будет там есть. И, увидев того, другого, обрадовался и сообщил ему:

— А у меня, батенька, катар.

Тот, другой, с жалостью покачал головой и ответил:

— Скажите пожалуйста!

И опять Петров не узнал, как его зовут, но начал считать его хорошим своим знакомым и с приятным чувством вспоминал о нем. «Тот»,— называл он его, но когда хотел вспомнить его лицо, то ему представлялись только фрак, белый жилет и улыбка, и так как лицо совсем не вспоминалось, то выходило, будто улыбаются фрак и жилет. Летом Петров очень часто ездил на одну дачу, носил красный галстук, фабрил усики и говорил Федоту, что с осени переедет на другую квартиру, а потом перестал ездить на дачу и на целый месяц запил. Пил он нелепо, со слезами и скандалами: раз выбил у себя в номере стекло, а другой раз напугал какую-то даму — вошел к ней вечером в номер, стал на колени и предложил быть его женой. Незнакомая дама была проститутка и сперва внимательно слушала его и даже смеялась, но, когда он заговорил о своем одиночестве и заплакал, приняла его за сумасшедшего и начала визжать от страха. Петрова вывели; он упирался, дергал Федота за волосы и кричал:

— Все мы люди! Все братья!

Его уже решили выселить, но он перестал пить, и снова по ночам швейцар ругался, отворяя и затворяя за ним дверь. К Новому году Петрову прибавили жалованья: 100 рублей в год, и он переселился в соседний номер, который был на пять рублей дороже и выходил окнами во двор. Петров думал, что здесь он не будет слышать грохота уличной езды и может хоть забывать о том, какое множество незнакомых и чужих людей окружает его и живет возле своей особенной жизнью.

И зимой было в номере тихо, но, когда наступила весна и с улиц скололи снег, опять начался грохот езды, и двойные стены не спасали от него. Днем, пока Петров был чем-нибудь занят, сам двигался и шумел, он не замечал грохота, хотя тот не прекращался ни на минуту; но приходила ночь, в доме все успокаивалось, и грохочущая улица властно врывалась в темную комнату и отнимала у нее покой

и уединенность. Слышны были дребезжанье и разбитый стук отдельных экипажей; негромкий и жидкий стук зарождался где-то далеко, разрастался все ярче и громче и постепенно затихал, а на смену ему являлся новый, и так без перерыва. Иногда четко и в такт стучали одни подковы лошадей и не слышно было колес — это проезжала коляска на резиновых шинах, и часто стук отдельных экипажей сливался в мощный и страшный грохот, от которого начинали подергиваться слабой дрожью каменные стены и звякали склянки в шкапу. И все это были люди. Они сидели в пролетках и экипажах, ехали неизвестно откуда и куда, исчезали в неведомой глубине огромного города, и на смену им являлись новые, другие люди, и не было конца этому непрерывному и страшному в своей непрерывности движению. И каждый проехавший человек был отдельный мир, со своими законами и целями, со своей особенной радостью и горем,— и каждый был как призрак, который являлся на миг и, неразгаданный, неузнанный, исчезал. И чем больше было людей, которые не знали друг друга, тем ужаснее становилось одиночество каждого. И в эти черные, грохочущие ночи Петрову часто хотелось закричать от страха, забиться куда-нибудь в глубокий подвал и быть там совсем одному. Тогда можно думать только о тех, кого знаешь, и не чувствовать себя таким беспредельно одиноким среди множества чужих людей.

На Пасху того, другого, у Василевских не было, и Петров заметил это только к концу визита, когда начал прощаться и не встретил знакомой улыбки. И сердцу его стало беспокойно, и ему вдруг до боли захотелось увидеть того, другого, и что-то сказать ему о своем одиночестве и о своих ночах. Но он помнил очень мало о человеке, которого искал: только то, что он средних лет, кажется, блондин и всегда одет во фрак, и по этим признакам господа Василевские не могли догадаться, о ком идет речь.

— У нас на праздники бывает так много народу, что мы не всех знаем по фамилиям,— сказала Василевская.— Впрочем... не Семенов ли это?

И она по пальцам перечислила несколько фамилий: Смирнов, Антонов, Никифоров; потом без фамилий: лысый, который служит где-то, кажется, в почтамте; белокуренький; совсем седой. И все они были не тем, про которого спрашивал Петров, но могли быть и тем. Так его и не нашли.

В этот год в жизни Петрова ничего не произошло, и только глаза стали портиться, так что пришлось носить

очки. По ночам, если была хорошая погода, он ходил гулять и выбирал для прогулки тихие и пустынные переулки. Но и там встречались люди, которых он раньше не видал, а потом никогда не увидит, а по бокам глухой стеной высились дома, и внутри их все было полно незнакомыми, чужими людьми, которые спали, разговаривали, ссорились; кто-нибудь умирал за этими стенами, а рядом с ним новый человек рождался на свет, чтобы затеряться на время в его движущейся бесконечности, а потом навсегда умереть. Чтобы утешить себя, Петров перечислял всех своих знакомых, и их близкие, изученные лица были как стена, которая отделяет его от бесконечности. Он старался припомнить всех: знакомых швейцаров, лавочников и извозчиков, даже случайно запомнившихся прохожих, и вначале ему казалось, что он знает очень много людей, но когда начал считать, то выходило ужасно мало: за всю жизнь он узнал всего двести пятьдесят человек, включая сюда и того, другого. И это было все, что было близкого и знакомого ему в мире. Быть может, существовали еще люди, которых он знал, но он их забыл, и это было все равно, как будто их нет совсем.

Тот, другой, очень обрадовался, когда увидел на Пасху Петрова. На нем был новый фрак и новые сапоги со скрипом, и он сказал, пожимая Петрову руку:

— А я, знаете, чуть не умер. Схватил воспаление легких, и теперь тут,— он постучал себя о бок,— в верхушке не совсем, кажется, ладно.

— Да что вы?— искренно огорчился Петров.

Они разговорились о разных болезнях, и каждый говорил о своих, и когда расставались, то долго пожимали руки, но об имени спросить забыли. А на следующую Пасху Петров не явился к Василевским, и тот, другой, очень беспокоился и расспрашивал г-жу Василевскую, кто такой горбатенький, который бывает у них.

— Как же, знаю,— сказала она.— Его фамилия Петров.

— А зовут как?

Госпожа Василевская хотела сказать, как зовут, но оказалось, что не знала, и очень удивилась этому. Не знала она и того, где Петров служит: не то в почтамте, не то в какой-то банкирской конторе.

Потом не явился тот, другой, а потом пришли оба, но в разные часы, и не встретились. А потом они перестали являться совсем, и господа Василевские никогда больше не видели их, но не думали об этом, так как у них бывает много народа и они не могут всех запомнить.

Огромный город стал еще больше, и там, где широко расстилалось поле, неудержимо протягиваются новые улицы, и по бокам их толстые, распертые каменные дома грузно давят землю, на которой стоят. И к семи бывшим в городе кладбищам прибавилось новое, восьмое. На нем совсем нет зелени, и пока на нем хоронят только бедняков.

И когда наступает длинная осенняя ночь, на кладбище становится тихо, и только далекими отголосками проносится грохот уличной езды, которая не прекращается ни днем ни ночью.

МЫСЛЬ

Одиннадцатого декабря 1900 года доктор медицины Антон Игнатьевич Керженцев совершил убийство. Как вся совокупность данных, при которых совершилось преступление, так и некоторые предшествовавшие ему обстоятельства давали повод заподозрить Керженцева в ненормальности его умственных способностей.

Положенный на испытание в Елисаветинскую психиатрическую больницу, Керженцев был подвергнут строгому и внимательному надзору нескольких опытных психиатров, среди которых находился профессор Држембицкий, недавно умерший. Вот письменные объяснения, которые даны были по поводу происшедшего самим доктором Керженцевым через месяц после начала испытания; вместе с другими материалами, добытыми следствием, они легли в основу судебной экспертизы.

Лист первый

До сих пор, гг. эксперты, я скрывал истину, но теперь обстоятельства вынуждают меня открыть ее. И, узнав ее, вы поймете, что дело вовсе не так просто, как это может показаться профанам: или горячечная рубашка, или кандалы. Тут есть третье — не кандалы и не рубашка, а, пожалуй, более страшное, чем то и другое, вместе взятое.

Убитый мною Алексей Константинович Савелов был моим товарищем по гимназии и университету, хотя по специальностям мы разошлись: я, как вам известно, врач, а он окончил курс по юридическому факультету. Нельзя сказать, чтобы я не любил покойного; он всегда был мне симпатичен, и более близких друзей, чем он, я никогда не имел. Но при всех симпатичных свойствах, он не принадлежал к тем

людям, которые могут внушить мне уважение. Удивительная мягкость и податливость его натуры, странное непостоянство в области мысли и чувства, резкая крайность и необоснованность его постоянно менявшихся суждений заставляли меня смотреть на него, как на ребенка или женщину. Близкие ему люди, нередко страдавшие от его выходок и вместе с тем, по нелогичности человеческой натуры, очень его любившие, старались найти оправдание его недостаткам и своему чувству и называли его «художником». И действительно, выходило так, будто это ничтожное слово совсем оправдывает его и то, что для всякого нормального человека было бы дурным, делает безразличным и даже хорошим. Такова была сила придуманного слова, что даже я одно время поддался общему настроению и охотно извинял Алексею его мелкие недостатки. Мелкие — потому, что к большим, как ко всему крупному, он был неспособен. Об этом достаточно свидетельствуют и его литературные произведения, в которых все мелко и ничтожно, что́ бы ни говорила близорукая критика, падкая на открытие новых талантов. Красивы и ничтожны были его произведения, красив и ничтожен был он сам.

Когда Алексей умер, ему было тридцать один год,— на один с немногим год моложе меня.

Алексей был женат. Если вы видели его жену теперь, после его смерти, когда на ней траур, вы не можете составить представления о том, какой красивой была она когда-то: так сильно, сильно она подурнела. Щеки серые, и кожа на лице такая дряблая, старая-старая, как поношенная перчатка. И морщинки. Это сейчас морщинки, а еще год пройдет — и это будут глубокие борозды и канавы: ведь она так его любила! И глаза ее теперь уже не сверкают и не смеются, а прежде они всегда смеялись, даже в то время, когда им нужно было плакать. Всего одну минуту видел я ее, случайно столкнувшись с нею у следователя, и был поражен переменой. Даже гневно взглянуть на меня она не могла. Такая жалкая!

Только трое — Алексей, я и Татьяна Николаевна — знали, что пять лет тому назад, за два года до женитьбы Алексея, я делал Татьяне Николаевне предложение, и оно было отвергнуто. Конечно, это только предполагается, что трое, а, наверное, у Татьяны Николаевны есть еще десяток подруг и друзей, подробно осведомленных о том, как однажды доктор Керженцев возмечтал о браке и получил унизительный отказ. Не знаю, помнит ли она, что она тогда засмеялась; вероятно, не помнит,— ей так часто приходи-

лось смеяться. И тогда напомните ей: *пятого сентября она засмеялась*. Если она будет отказываться,— а она будет отказываться,— то напомните, как это было. Я, этот сильный человек, который никогда не плакал, который никогда ничего не боялся,— я стоял перед нею и дрожал. Я дрожал и видел, как кусает она губы, и уже протянул руку, чтобы обнять ее, когда она подняла глаза, и в них был смех. Рука моя осталась в воздухе, она засмеялась, и долго смеялась. Столько, сколько ей хотелось. Но потом она все-таки извинилась.

— Извините, пожалуйста,— сказала она, а глаза ее смеялись.

И я тоже улыбнулся, и если бы я мог простить ей ее смех, то никогда не прощу этой своей улыбки. Это было пятого сентября, в шесть часов вечера, по петербургскому времени. По петербургскому, добавляю я, потому что мы находились тогда на вокзальной платформе, и я сейчас ясно вижу большой белый циферблат и такое положение черных стрелок: вверх и вниз. Алексей Константинович был убит также ровно в шесть часов. Совпадение странное, но могущее открыть многое догадливому человеку.

Одним из оснований к тому, чтобы посадить меня сюда, было отсутствие мотива к преступлению. Теперь вы видите, что мотив существовал. Конечно, это не было ревностью. Последняя предполагает в человеке пылкий темперамент и слабость мыслительных способностей, то есть нечто прямо противоположное мне, человеку холодному и рассудочному. Месть? Да, скорее месть, если уж так необходимо старое слово для определения нового и незнакомого чувства. Дело в том, что Татьяна Николаевна еще раз заставила меня ошибиться, и это всегда злило меня. Хорошо зная Алексея, я был уверен, что в браке с ним Татьяна Николаевна будет очень несчастна и пожалеет обо мне, и поэтому я так настаивал, чтобы Алексей, тогда еще просто влюбленный, женился на ней. Еще только за месяц до своей трагической смерти он говорил мне:

— Это тебе я обязан своим счастьем. Правда, Таня?

А она смотрела на меня, говорила: «правда», и глаза ее улыбались. Я тоже улыбался. И потом мы все рассмеялись, когда он обнял Татьяну Николаевну — при мне они не стеснялись — и добавил:

— Да, брат, дал ты маху!

Эта неуместная и нетактичная шутка сократила его жизнь на целую неделю: первоначально я решил убить его восемнадцатого декабря.

Да, брак их оказался счастливым, и счастлива была именно она. Он любил Татьяну Николаевну не сильно, да и вообще он не был способен к глубокой любви. Было у него свое любимое дело — литература,— выводившее его интересы за пределы спальни. А она любила его и только им одним жила. Потом он был нездоровый человек: частые головные боли, бессонница, и это, конечно, мучило его. А ей даже ухаживать за ним, больным, и выполнять его капризы было счастьем. Ведь когда женщина полюбит, она становится невменяемой.

И вот изо дня в день я видел ее улыбающееся лицо, ее счастливое лицо, молодое, красивое, беззаботное. И думал: это устроил я. Хотел дать ей беспутного мужа и лишить ее себя, а вместо того и мужа дал такого, которого она любит, и сам остался при ней. Вы поймете эту странность: она умнее своего мужа и беседовать любила со мной, а, побеседовав, спать шла с ним — и была счастлива.

Я не помню, когда впервые пришла мне мысль убить Алексея. Как-то незаметно она явилась, но уже с первой минуты стала такой старой, как будто я с нею родился. Я знаю, что мне хотелось сделать Татьяну Николаевну несчастной, и что сперва я придумывал много других планов, менее гибельных для Алексея,— я всегда был врагом ненужной жестокости. Пользуясь своим влиянием на Алексея, я думал влюбить его в другую женщину или сделать его пьяницей (у него была к этому наклонность), но все эти способы не годились. Дело в том, что Татьяна Николаевна ухитрилась бы остаться счастливой, даже отдавая его другой женщине, слушая его пьяную болтовню или принимая его пьяные ласки. Ей нужно было, чтобы этот человек жил, а она так или иначе служила ему. Бывают такие рабские натуры. И, как рабы, они не могут понять и оценить чужой силы, не силы их господина. Были на свете женщины умные, хорошие и талантливые, но справедливой женщины мир еще не видал и не увидит.

Признаюсь искренно, не для того чтобы добиться ненужного мне снисхождения, а чтобы показать, каким правильным, нормальным путем создавалось мое решение, что мне довольно долго пришлось бороться с жалостью к человеку, которого я осудил на смерть. Жаль его было за предсмертный ужас и те секунды страдания, пока будет проламываться его череп. Жаль было — не знаю, поймете ли вы это — самого черепа. В стройно работающем живом организме есть особенная красота, и смерть, как и болезнь, как и старость, прежде всего — безобразие. Помню, как давно

еще, когда я только что кончил университет, мне попалась в руки красивая молодая собака с стройными сильными членами, и мне стоило большого усилия над собой содрать с нее кожу, как требовал того опыт. И долго потом было неприятно вспоминать ее.

И если б Алексей не был таким болезненным, хилым, не знаю, быть может, я и не убил бы его. Но красивую его голову мне и до сих пор жаль. Передайте, пожалуйста, Татьяне Николаевне и это. Красивая, красивая была голова. Плохи у него были одни глаза — бледные, без огня и энергии.

Не убил бы я Алексея и в том случае, если бы критика была права и он действительно был бы таким крупным литературным дарованием. В жизни так много темного, и она так нуждается в освещающих ее путь талантах, что каждый из них нужно беречь, как драгоценнейший алмаз, как то, что́ оправдывает в человечестве существование тысяч негодяев и пошляков. *Но Алексей не был талантом.*

Здесь не место для критической статьи, но вчитайтесь в наиболее нашумевшие произведения покойного, и вы увидите, что они не были нужны для жизни. Они нужны были и интересны для сотни ожиревших людей, нуждающихся в развлечении, но не для жизни, но не для нас, пытающихся разгадать ее. В то время как писатель силою своей мысли и таланта должен творить новую жизнь, Савелов только описывал старую, не пытаясь даже разгадать ее сокровенный смысл. Единственный его рассказ, который мне нравится, в котором он близко подходит к области неразведанного, это рассказ «Тайна», но он — исключение. Самое, однако, дурное было то, что Алексей, видимо, начал исписываться и от счастливой жизни растерял последние зубы, которыми нужно впиваться в жизнь и грызть ее. Он сам нередко говорил мне о своих сомнениях, и я видел, что они основательны; я точно и подробно выпытал планы его будущих работ,— и пусть утешатся горюющие поклонники: в них не было ничего нового и крупного. Из близких Алексею людей одна жена не видела упадка его таланта и никогда не увидела бы. И знаете почему? Она не всегда читала произведения своего мужа. Но, когда я попробовал как-то немного раскрыть ей глаза, она попросту сочла меня за негодяя. И, убедившись, что мы одни, сказала:

— Вы не можете ему простить другого.

— Чего?

— Того, что он мой муж и я люблю его. Если бы Алексей не чувствовал к вам такого пристрастия...

Она запнулась, и я предупредительно закончил ее мысль:

— Вы меня выгнали бы?

В ее глазах блеснул смех. И, невинно улыбаясь, она медленно проговорила:

— Нет, оставила бы.

А я никогда ведь ни одним словом и жестом не показал, что продолжаю любить ее. Но тут подумал: тем лучше, если она догадывается.

Самый факт отнятия жизни у человека не останавливал меня. Я знал, что это преступление, строго караемое законом, но ведь почти все, что мы делаем, преступление, и только слепой не видит этого. Для тех, кто верит в Бога,— преступление перед Богом; для других — преступление перед людьми; для таких, как я,— преступление перед самим собой. Было бы бо́льшим преступлением, если б, признав необходимым убить Алексея, я не выполнил этого решения. А то, что люди делят преступления на большие и маленькие и убийство называют бо́льшим преступлением, мне и всегда казалось обычной и жалкой людской ложью перед самим собой, старанием спрятаться от ответа за собственной спиной.

Не боялся я и самого себя, и это было важнее всего. Для убийцы, для преступника самое страшное не полиция, не суд, а он сам, его нервы, мощный протест его тела, воспитанного в известных традициях. Вспомните Раскольникова, этого так жалко и так нелепо погибшего человека, и тьму ему подобных. И я очень долго, очень внимательно останавливался на этом вопросе, представляя себя, каким я буду после убийства. Не скажу, чтобы я пришел к полной уверенности в своем спокойствии,— подобной уверенности не могло создаться у мыслящего человека, предвидящего все случайности. Но, собрав тщательно все данные из своего прошлого, приняв в расчет силу моей воли, крепость неистощенной нервной системы, глубокое и искреннее презрение к ходячей морали, я мог питать относительную уверенность в благополучном исходе предприятия. Здесь не лишнее будет рассказать вам один интересный факт из моей жизни.

Когда-то, еще будучи студентом пятого семестра, я украл пятнадцать рублей из доверенных мне товарищеских денег, сказал, что кассир ошибся в счете, и все мне поверили. Это было больше чем простая кража, когда нуждающийся крадет у богатого: тут и нарушенное доверие, и отнятие денег именно у голодного, да еще товарища, да еще

студента, и притом человеком со средствами (почему мне и поверили). Вам, вероятно, этот поступок кажется более противным, чем даже совершенное мною убийство друга,— не так ли? А мне, помню, было весело, что я сумел это сделать так хорошо и ловко, и я смотрел в глаза, прямо в глаза тем, кому смело и свободно лгал. Глаза у меня черные, красивые, прямые,— и им верили. Но более всего я был горд тем, что совершенно не испытываю угрызений совести, что́ мне и нужно было самому себе доказать. И до настоящего дня я с особенным удовольствием вспоминаю menu ненужно роскошного обеда, который я задал себе на украденные деньги и с аппетитом съел.

И разве теперь я испытываю угрызения совести? Раскаяние в содеянном? Ничуть.

Мне тяжело. Мне безумно тяжело, как ни одному в мире человеку, и волосы мои седеют,— но это другое. *Другое.* Страшное, неожиданное, невероятное в своей ужасной простоте.

Лист второй

Моя задача была такова. Нужно, чтобы я убил Алексея; нужно, чтобы Татьяна Николаевна видела, что это именно я убил ее мужа, и чтобы вместе с тем законная кара не коснулась меня. Не говоря уже о том, что наказание дало бы Татьяне Николаевне лишний повод посмеяться, я вообще совершенно не хотел каторги. Я очень люблю жизнь.

Я люблю, когда в тонком стакане играет золотистое вино; я люблю, усталый, протянуться в чистой постели; мне нравится весной дышать чистым воздухом, видеть красивый закат, читать интересные и умные книги. Я люблю себя, силу своих мышц, силу своей мысли, ясной и точной. Я люблю то, что я одинок и ни один любопытный взгляд не проник в глубину моей души с ее темными провалами и безднами, на краю которых кружится голова. Никогда я не понимал и не знал того, что́ люди называют скукою жизни. Жизнь интересна, и я люблю ее за ту великую тайну, что́ в ней заключена, я люблю ее даже за ее жестокости, за свирепую мстительность и сатанински веселую игру людьми и событиями.

Я был единственный человек, которого я уважал,— как же мог я рисковать отправить этого человека в каторгу, где его лишат возможности вести необходимое ему разнообразное, полное и глубокое существование!.. Да и с вашей точки зрения я был прав, желая уклониться от каторги. Я очень удачно врачую; не нуждаясь в средствах, я лечу

много бедняков. Я полезен. Наверное, полезнее, чем убитый Савелов.

И безнаказанности можно было добиться легко. Существуют тысячи способов незаметно убить человека, и мне, как врачу, было особенно легко прибегнуть к одному из них. И среди придуманных мною и отброшенных планов долгое время занимал меня такой: привить Алексею неизлечимую и отвратительную болезнь. Но неудобства этого плана были очевидны: длительные страдания для самого объекта, нечто некрасивое во всем этом, глубокое и как-то слишком уж... неумное; и наконец, и в болезни мужа Татьяна Николаевна нашла бы для себя радость. Особенно осложнялась моя задача обязательным требованием, чтобы Татьяна Николаевна знала руку, поразившую ее мужа. Но только трусы боятся препятствий: таких, как я, они привлекают.

Случайность, этот великий союзник умных, пришла мне на помощь. И я позволю себе обратить особенное внимание, гг. эксперты, на эту подробность: *именно* случайность, то есть нечто внешнее, не зависящее от меня, послужило основой и поводом для дальнейшего. В одной газете я нашел заметку про кассира, не то приказчика (вырезка из газеты, вероятно, осталась у меня дома или находится у следователя), который симулировал припадок падучей и якобы во время него потерял деньги, а в действительности, конечно, украл. Приказчик оказался трусом и сознался, указав даже место украденных денег, но самая мысль была недурна и осуществима. Симулировать сумасшествие, убить Алексея в состоянии якобы умоисступления и потом «выздороветь»— вот план, создавшийся у меня в одну минуту, но потребовавший много времени и труда, чтобы принять вполне определенную конкретную форму. С психиатрией я в то время был знаком поверхностно, как всякий врач-неспециалист, и около года ушло у меня на чтение всякого рода источников и размышление. К концу этого времени я убедился, что план мой вполне осуществим.

Первое, на что должны будут устремить внимание эксперты, это наследственные влияния,— и моя наследственность, к великой моей радости, оказалась вполне подходящей. Отец был алкоголиком; один дядя, его брат, кончил свою жизнь в больнице для умалишенных и, наконец, единственная сестра моя, Анна, уже умершая, страдала эпилепсией. Правда, со стороны матери у нас в роду все были здоровяки, но ведь достаточно одной капли яда безумия, чтобы отравить целый ряд поколений. По своему мощному здо-

ровью я пошел в род матери, но кое-какие безобидные странности у меня существовали и могли сослужить мне службу. Моя относительная нелюдимость, которая есть просто признак здорового ума, предпочитающего проводить время наедине с самим собою и книгами, чем тратить его на праздную и пустую болтовню, могла сойти за болезненную мизантропию; холодность темперамента, не ищущего грубых чувственных наслаждений,— за выражение дегенерации. Самое упорство в достижении раз поставленных целей — а примеров ему можно было найти немало в моей богатой жизни — на языке господ экспертов получило бы страшное название мономании, господства навязчивых идей.

Почва для симуляции была, таким образом, необыкновенно благоприятна: статика безумия была налицо, дело оставалось за динамикой. По ненамеренной подмалевке природы нужно было провести два-три удачных штриха, и картина сумасшествия готова. И я очень ясно представил себе, как это будет, не программными мыслями, а живыми образами: хоть я и не пишу плохих рассказов, но я далеко не лишен художественного чутья и фантазии.

Я увидел, что провести свою роль я буду в состоянии. Наклонность к притворству всегда лежала в моем характере и была одною из форм, в которых стремился я к внутренней свободе. Еще в гимназии я часто симулировал дружбу: ходил по коридору обнявшись, как это делают настоящие друзья, искусно подделывал дружески-откровенную речь и незаметно выпытывал. А когда разнеженный приятель выкладывал всего себя, я отбрасывал от себя его душонку и уходил прочь с гордым сознанием своей силы и внутренней свободы. Тем же двойственником оставался я и дома, среди родных; как в староверческом доме существует особая посуда для чужих, так и у меня было все особое для людей: особая улыбка, особые разговоры и откровенность. Я видел, что люди делают много глупого, вредного для себя и ненужного, и мне казалось, что если я стану говорить правду о себе, то я стану, как и все, и это глупое и ненужное овладеет мною.

Мне всегда нравилось быть почтительным с теми, кого я презирал, и целовать людей, которых я ненавидел, что делало меня свободным и господином над другими. Зато никогда не знал я лжи перед самим собою — этой наиболее распространенной и самой низкой формы порабощения человека жизнью. И чем больше я лгал людям, тем беспо-

щадно-правдивее становился перед самим собой — достоинство, которым немногие могут похвалиться.

Вообще, мне думается, во мне скрывался недюжинный актер, способный сочетать естественность игры, доходившую временами до полного слияния с олицетворяемым лицом, с неослабевающим холодным контролем разума. Даже при обыкновенном книжном чтении я целиком входил в психику изображаемого лица и,— поверите ли?— уже взрослый, горькими слезами плакал над «Хижиной дяди Тома». Какое это дивное свойство гибкого, изощренного культурою ума — перевоплощаться! Живешь словно тысячью жизней, то опускаешься в адскую тьму, то поднимаешься на горные светлые высоты, одним взором окидываешь бесконечный мир. Если человеку суждено стать Богом, то престолом его будет книга...

Да. Это так. Кстати, я хочу вам пожаловаться на здешние порядки. То меня укладывают спать, когда мне хочется писать, *когда мне нужно писать.* То не закрывают дверей, и я должен слушать, как орет какой-то сумасшедший. Орет, орет,— это прямо нестерпимо. Так действительно можно свести человека с ума и сказать, что он и раньше был сумасшедшим. И неужели у них нет лишней свечки и я должен портить себе глаза электричеством?

Ну вот. И когда-то я подумывал даже о сцене, но бросил эту глупую мысль: притворство, когда все знают, что это притворство, уже теряет свою цену. Да и дешевые лавры присяжного лицедея на казенном жалованьи мало привлекали меня. О степени моего искусства можете судить по тому, что многие ослы и до сих пор считают меня искреннейшим и правдивейшим человеком. И что странно: мне всегда удавалось проводить не ослов,— это я так сказал, сгоряча,— а именно умных людей; и наоборот, существуют две категории существ низшего порядка, у которых я никогда не мог добиться доверия: это — женщины и собаки.

Вы знаете, что достопочтенная Татьяна Николаевна никогда не верила моей любви и не верит, я думаю, даже теперь, когда я убил ее мужа? По ее логике выходит так: я ее не любил, а Алексея убил за то, что она его любит. И эта бессмыслица, наверное, кажется ей осмысленной и убедительной. И ведь умная женщина!

Провести роль сумасшедшего мне казалось не очень трудным. Часть необходимых указаний дали мне книги; часть я должен был, как всякий настоящий актер во всякой роли, восполнить собственным творчеством, а остальное воссоздаст сама публика, давно изощрившая свои чувства

книгами и театром, где по двум-трем неясным контурам ее приучили воссоздавать живые лица. Конечно, неминуемо должны были остаться некоторые проблемы — и это было особенно опасно ввиду строгой научной экспертизы, которой меня подвергнут, но и здесь серьезной опасности не предвиделось. Обширная область психопатологии настолько еще мало разработана, в ней так еще много темного и случайного, так велик простор для фантазерства и субъективизма, что я смело вручал свою судьбу в ваши руки, гг. эксперты. Надеюсь, что я не обидел вас. Я не покушаюсь на ваш научный авторитет и уверен, что вы согласитесь со мною, как люди, привыкшие к добросовестному научному мышлению.

...Наконец-таки перестал орать. Это просто нестерпимо.

И еще в то время, когда мой план находился только в проекте, у меня явилась мысль, которая едва ли могла прийти в безумную голову. *Эта мысль о грозной опасности моего опыта.* Вы понимаете, о чем я говорю? Сумасшествие — это такой огонь, с которым шутить опасно. Разведя костер в середине порохового погреба, вы можете чувствовать себя в большей безопасности, нежели тогда, если хоть малейшая мысль о безумии закрадется в вашу голову. И я это знал, знал, знал,— но разве опасность значит что-нибудь для храброго человека?

И разве я не чувствовал своей мысли, твердой, светлой, точно выкованной из стали и безусловно мне послушной? Словно остро отточенная рапира, она извивалась, жалила, кусала, разделяла ткани событий; точно змея, бесшумно вползала в неизведанные и мрачные глубины, что навеки сокрыты от дневного света, а рукоять ее была в моей руке, железной руке искусного и опытного фехтовальщика. Как она была послушна, исполнительна и быстра, моя мысль, и как я любил ее, мою рабу, мою грозную силу, мое единственное сокровище!

...Он опять орет, и я не могу больше писать. Как ужасно, когда человек воет. Я слышал много страшных звуков, но этот всех страшнее, всех ужаснее. Он не похож ни на что другое, этот голос зверя, проходящий через гортань человека. Что-то свирепое и трусливое; свободное и жалкое до подлости. Рот кривится на сторону, мышцы лица напрягаются, как веревки, зубы по-собачьи оскаливаются, и из темного отверстия рта идет этот отвратительный, ревущий, свистящий, хохочущий, воющий звук...

Да. Да. Такова была моя мысль. Кстати: вы обратите, конечно, внимание на мой почерк, и я прошу вас не прида-

вать значения тому, что он иногда дрожит и как будто меняется. Я давно уже не писал, события последнего времени и бессонница сильно ослабили меня, и вот рука иногда вздрагивает. *Это и раньше случалось со мной.*

Лист третий

Теперь вы понимаете, чтó это за страшный припадок случился со мною на вечере у Каргановых. Это был мой первый опыт, удавшийся даже сверх ожиданий. Точно уже все заранее знали, что так это со мной и будет, точно внезапное сумасшествие вполне здорового человека в их глазах кажется чем-то естественным, таким, чего можно всегда ожидать. Никто не удивился, и все наперебой расцвечивали мою игру игрой собственной фантазии,— у редкого гастролера подбирается такая прекрасная труппа, как эти наивные, глупые и доверчивые люди. Рассказывали они вам, как я был бледен и страшен? Как холодный,— да, именно холодный пот покрывал мое чело? Каким безумным огнем горели мои черные глаза? Когда они передавали мне все эти свои наблюдения, я был с виду мрачен и подавлен, а вся душа моя трепетала от гордости, счастья и насмешки.

Татьяны Николаевны и ее мужа на вечере не было,— не знаю, обратили ли вы на это внимание. И это не было случайностью: я боялся запугать ее, или, еще хуже, внушить ей подозрение. Если существовал человек, который мог проникнуть в мою игру, так это только она.

И вообще тут ничего не было случайного. Наоборот, каждая мелочь, самая ничтожная, была строго продумана. Момент припадка — за ужином — я выбрал потому, что все будут в сборе и будут несколько возбуждены вином. Сел я у края стола, подальше от канделябров со свечами, так как вовсе не хотел устроить пожара или обжечь себе нос. Рядом с собою я посадил Павла Петровича Поспелова, эту жирную свинью, которой мне давно хотелось сделать какую-нибудь неприятность. Особенно противен он, когда ест. Когда первый раз я увидел его за этим занятием, мне пришло в голову, что еда есть дело безнравственное. Тут все это приходилось кстати. И, наверное, ни одна душа не заметила, что тарелка, разлетевшаяся под моим кулаком, была сверху покрыта салфеткой, чтобы не порезать руки.

Самый фокус был поразительно груб, даже глуп, но на это именно я и рассчитывал. Более тонкой штуки они не поняли бы. Сперва я размахивал руками и «возбужденно» разговаривал с Павлом Петровичем, пока тот не начал в удивлении таращить свои глазенки; потом я впал в «со-

средоточенную задумчивость», дождавшись вопроса со стороны обязательной Ирины Павловны:

— Что с вами, Антон Игнатьевич? Отчего вы такой мрачный?

И, когда все взоры обратились на меня, я трагически улыбнулся.

— Вы нездоровы?

— Да. Немного. Кружится голова. Но не беспокойтесь, пожалуйста. Это сейчас пройдет.

Хозяйка успокоилась, а Павел Петрович подозрительно, с неодобрением покосился на меня. И в следующую минуту, когда он с блаженным видом поднес к губам рюмку портвейна, я — раз!— выбил рюмку из-под самого его носа, два!— трахнул кулаком по тарелке. Осколки летят, Павел Петрович барахтается и хрюкает, барыни визжат, а я, оскалив зубы, тащу со стола скатерть со всем, что на ней есть,— это была преуморительная картина!

Да. Ну вот меня обступили, схватили: кто воды несет, кто усаживает меня в кресло, а я рычу, как тигр в Зоологическом, и глазами выделываю. И все это было так нелепо, и все они были так глупы, что мне, ей-Богу, не на шутку захотелось разбить несколько этих морд, пользуясь привилегированностью моего положения. Но я, конечно, воздержался.

Дальше картина медленного успокоения, с бурным вздыманием груди, закатыванием глаз, поскрипыванием зубами и слабыми вопросами:

— Где я? Что со мною?

Даже это нелепо французское: «Где я?»— имело успех у этих господ, и не меньше трех дураков немедленно отрапортовали:

— У Каргановых.— Сладким голосом:— Вы знаете, дорогой доктор, кто такая Ирина Павловна Карганова?

Положительно они были слишком мелки для хорошей игры!

Через день,— я дал время дойти слухам до Савеловых,— разговор с Татьяной Николаевной и Алексеем. Последний как-то не осмыслил происшедшего и ограничился вопросом:

— Что это ты, брат, натворил у Каргановых?

Повертел своим пиджачком и ушел в кабинет заниматься. Этак, сойди я действительно с ума, он и не поперхнулся бы. Зато особенно многоречиво, бурно и, конечно, неискренно было сочувствие его супруги. И тут... не то чтобы

мне стало жаль начатого, а просто явился вопрос: да стоит ли?

— Вы сильно любите мужа?— сказал я Татьяне Николаевне, провожавшей взором Алексея.

Она быстро обернулась.

— Да. А что?

— Да ничего, так.— И после минутного молчания, осторожного, полного невысказанных мыслей, я добавил:— Почему вы не доверяете мне?

Она быстро и прямо посмотрела мне в глаза, но не ответила. И в эту минуту я забыл, что когда-то давно она засмеялась, и не было у меня зла на нее, и то, что я делаю, показалось мне ненужным и странным. Это была усталость, естественная после сильного подъема нервов, и длилась она всего одно мгновение.

— А разве вам можно верить?— спросила Татьяна Николаевна после долгого молчания.

— Конечно, нельзя,— шутливо ответил я, а внутри меня уже снова разгорался потухший огонь.

Силу, смелость, ни перед чем не останавливающуюся решимость ощутил я в себе. Гордый уже достигнутым успехом, я смело решил идти до конца. Борьба — вот радость жизни.

Второй припадок случился через месяц после первого. Здесь не все было так продуманно, да это и излишне при существовании общего плана. У меня не было намерения устраивать его именно в этот вечер, но, раз обстоятельства складывались так благоприятно, глупо было бы не воспользоваться ими. И я ясно помню, как все это произошло. Мы сидели в гостиной и болтали, когда мне стало очень грустно. Мне живо представилось — вообще это редко бывает,— как я чужд всем этим людям и одинок в мире, я, навеки заключенный в эту голову, в эту тюрьму. И тогда все они стали противны мне. И с яростью я ударил кулаком и закричал что-то грубое и с радостью увидел испуг на их побледневших лицах.

— Негодяи!— кричал я.— Поганые, довольные негодяи! Лжецы, лицемеры, ехидны. Ненавижу вас!

И правда, что я боролся с ними, потом с лакеями и кучерами. Но ведь я знал, что борюсь, и знал, что это нарочно. Просто мне было приятно бить их, сказать прямо в глаза правду о том, какие они. Разве всякий, кто говорит правду, сумасшедший? Уверяю вас, гг. эксперты, что я все сознавал, что, ударяя, я чувствовал под рукою живое тело, которому больно. А дома, оставшись один, я смеялся и думал, какой

я удивительный, прекрасный актер. Потом я лег спать и на ночь читал книжку; даже могу вам сказать, какую: Гюи де Мопассана; как всегда, наслаждался ею и заснул, как младенец. А разве сумасшедшие читают книги и наслаждаются ими? Разве они спят, как младенцы?

Сумасшедшие не спят. Они страдают, и в голове у них все мутится. Да. Мутится и падает... И им хочется выть, царапать себя руками. Им хочется стать вот так, на четвереньки, и ползти тихо-тихо, и потом разом вскочить и закричать: «Ага!»— и засмеяться. И выть. Так поднять голову и долго-долго, протяжно-протяжно, жалко-жалко.

Да. Да.

А я спал, как младенец. Разве сумасшедшие спят, как младенцы?

Лист четвертый

Вчера вечером сиделка Маша спросила меня:

— Антон Игнатьевич! Вы никогда не молитесь Богу?

Она была серьезна и верила, что я отвечу ей искренно и серьезно. И я ответил ей без улыбки, как она хотела:

— Нет, Маша, никогда. Но, если это доставит вам удовольствие, вы можете перекрестить меня.

И все так же серьезно она трижды перекрестила меня, и я был очень рад, что доставил минуту удовольствия этой превосходной женщине. Как все высоко стоящие и свободные люди, вы, гг. эксперты, не обращаете внимания на прислугу, но нам, арестантам и «сумасшедшим», приходится видеть ее близко и подчас совершать удивительные открытия. Так, вам, вероятно, не приходило и в голову, что сиделка Маша, приставленная вами наблюдать за сумасшедшими,— *сама сумасшедшая?* А это так.

Приглядитесь к ее походке, бесшумной, скользящей, немного пугливой и удивительно осторожной и ловкой, точно она ходит между невидимыми обнаженными мечами. Всмотритесь в ее лицо, но сделайте это как-нибудь незаметно для нее, чтобы она не знала о вашем присутствии. Когда приходит кто-нибудь из вас, лицо Маши становится серьезным, важным, но снисходительно улыбающимся — как раз то выражение, которое в этот момент господствует на вашем лице. Дело в том, что Маша обладает странною и многозначительною способностью непроизвольно отражать на своем лице выражение всех других лиц. Иногда она смотрит на меня и улыбается. Этакая бледная, отраженная, словно чуждая улыбка. И я догадываюсь, что я улыбался, когда она взглянула на меня. Иногда лицо Маши становит-

ся страдальческим, угрюмым, брови сходятся к переносью, углы рта опускаются; все лицо стареет на десяток лет и темнеет,— вероятно, таково же иногда мое лицо. Случается, что я ее пугаю своим взглядом. Вы знаете, как странен и немного страшен взгляд всякого глубоко задумавшегося человека. И глаза Маши расширяются, зрачок темнеет, и, слегка приподняв руки, она бесшумно идет ко мне и что-нибудь со мной делает, дружеское и неожиданное: приглаживает мне волосы или поправляет халат.

— Пояс у вас развяжется!— говорит она, а лицо ее все такое же испуганное.

Но мне случается видеть ее одну. И когда она одна, на лице ее странно отсутствует всякое выражение. Оно бледно, красиво и загадочно, как лицо мертвеца. Крикнешь ей: «Маша!»— она быстро обернется, улыбнется своею нежною и пугливою улыбкою и спросит:

— Вам подать что-нибудь?

Она всегда что-нибудь подает, принимает и, если ей нечего подавать, принимать и убирать, видимо, беспокоится. И всегда она бесшумная. Я ни разу не замечал, чтобы она что-нибудь уронила или стукнула. Я пробовал говорить с нею о жизни, и она странно равнодушна ко всему, даже к убийствам, пожарам и всякому другому ужасу, который так действует на малоразвитых людей.

— Вы понимаете: их убивают, ранят, и у них остаются маленькие голодные дети,— говорил я ей про войну.

— Да, понимаю,— ответила она и задумчиво спросила:— Вам не дать ли молока, вы сегодня мало кушали?

Я смеюсь, и она отвечает немного испуганным смехом. Она ни разу не была в театре, не знает, что Россия — государство и что есть другие государства; она неграмотна и Евангелие слышала только то, которое отрывками читают в церкви. И каждый вечер она становится на колени и подолгу молится.

Я долго считал ее просто ограниченным, тупым существом, рожденным для рабства, но один случай заставил меня изменить взгляд. Вы, вероятно, знаете, вам, вероятно, сказали, что я пережил здесь одну скверную минуту, которая ничего, конечно, не доказывает, кроме усталости и временного упадка сил. *Это было полотенце*. Конечно, я сильнее Маши и мог убить ее, так как мы были только вдвоем, и если б она крикнула или схватила меня за руку... Но она ничего этого не сделала. Она только сказала:

— Не надо, голубчик.

Я часто потом думал над этим *«не надо»* и до сих пор не могу понять той удивительной силы, которая в нем заключена и которую я чувствую. Она не в самом слове, бессмысленном и пустом; она где-то в неизвестной мне и недоступной глубине Машиной души. Она знает что-то. Да, она знает, но не может или не хочет сказать. Потом я много раз добивался от Маши объяснения этого «не надо», и она не могла объяснить.

— Вы думаете, что самоубийство — грех? Что его запретил Бог?

— Нет.

— Почему же не надо?

— Так. Не надо.— И она улыбается и спрашивает:— Вам не принести чего-нибудь?

Положительно, она сумасшедшая, но тихая и полезная, как многие сумасшедшие. И вы не трогайте ее.

Я позволил себе уклониться от повествования, так как вчерашний Машин поступок бросил меня к воспоминаниям о детстве. Матери я не помню, но у меня была тетя Анфиса, которая всегда крестила меня на ночь. Она была молчаливая старая дева, с прыщами на лице, и очень стыдилась, когда отец шутил с ней о женихах. Я был еще маленький, лет одиннадцати, когда она удавилась в маленьком сарайчике, где у нас складывали уголья. Отцу она потом все представлялась, и этот веселый атеист заказывал обедни и панихиды.

Он был очень умный и талантливый, мой отец, и его речи в суде заставляли плакать не только нервных дам, но и серьезных, уравновешенных людей. Только я не плакал, слушая его, потому что знал его и знал, что сам он ничего не понимает из того, что́ говорит. У него много было знаний, много мыслей и еще больше слов; и слова, и мысли, и знания часто комбинировались очень удачно и красиво, но он сам ничего в этом не понимал. *Я часто сомневался даже, существует ли он,*— до того весь он был вовне, в звуках и жестах, и мне часто казалось, что это не человек, а мелькающий в синематографе образ, соединенный с граммофоном. Он не понимал, что он человек, что сейчас он живет, а потом умрет, и ничего не искал. И когда он ложился в постель, переставал двигаться и засыпал, он, наверное, не видел никаких снов и переставал существовать. Своим языком — он был адвокатом — он зарабатывал тысяч тридцать в год, и ни разу он не удивился и не задумался над этим обстоятельством. Помню, мы поехали с ним в только что купленное имение, и я сказал, указывая на деревья парка:

— Клиенты?

Он улыбнулся, польщенный, и ответил:

— Да, брат, талант — великое дело.

Он много пил, и опьянение выражалось только в том, что все у него начинало быстрее двигаться, а потом сразу останавливалось — это он засыпал. И все считали его необыкновенно даровитым, а он постоянно говорил, что если б он не сделался знаменитым адвокатом, то был бы знаменитым художником или писателем. К сожалению, это правда.

И менее всего понимал он меня. Однажды случилось так, что нам грозила потеря всего состояния. И для меня это было ужасно. В наши дни, когда только богатство дает свободу, я не знаю, чем бы я стал, если б судьба поставила меня в ряды пролетариата. Я и сейчас без гнева не могу себе представить, что кто-нибудь осмеливается наложить на меня свою руку, заставляет меня делать то, чего я не хочу, покупает за гроши мой труд, мою кровь, мои нервы, мою жизнь. Но этот ужас я испытал только на одну минуту, а в следующую я понял, что такие, как я, никогда не бывают бедны. А отец не понимал этого. Он искренно считал меня тупым юношей и со страхом смотрел на мою мнимую беспомощность.

— Ах, Антон, Антон, что будешь ты делать?..— говорил он.

Сам он совсем раскис: длинные, нечесаные волосы свисли на лоб, лицо было желто. Я ответил:

— За меня, папаша, не беспокойся. Так как я не талантлив, то я убью Ротшильда или ограблю банк.

Отец рассердился, так как принял мой ответ за неуместную и плоскую шутку. Он видел мое лицо, он слышал мой голос и все-таки принял это за шутку. Жалкий, картонный паяц, по недоразумению считавшийся человеком!

Души моей он не знал, а весь внешний распорядок моей жизни возмущал его, ибо не вкладывался в его понимание. В гимназии я хорошо учился, и это его огорчало. Когда приходили гости — адвокаты, литераторы и художники,— он тыкал в меня пальцем и говорил:

— А сын-то у меня первый ученик. Чем прогневал я Бога?

И все смеялись надо мною, и я смеялся над всеми. Но еще более, чем мои успехи, огорчало его мое поведение и костюм. Он нарочно приходил в мою комнату, с тем чтобы незаметно для меня переложить книги на столе и про-

извести хоть какой-нибудь беспорядок. Моя аккуратная прическа лишала его аппетита.

— Инспектор приказывает коротко стричься,— говорил я серьезно и почтительно.

Он крупно ругался, а внутри меня все дрожало от презрительного хохота, и не без основания делил я тогда весь мир на инспекторов просто и инспекторов наизнанку. И все они тянулись к моей голове: одни — чтобы остричь ее, другие — чтобы вытянуть из нее волосы.

Хуже всего для отца были мои тетрадки. Иногда, пьяный, он рассматривал их с безнадежным и комическим отчаянием.

— Случалось ли тебе хоть раз поставить кляксу?— спрашивал он.

— Да, случалось, папаша. Третьего дня я капнул на тригонометрию.

— Вылизал?

— То есть как вылизал?

— Ну да, вылизал кляксу?

— Нет, я приложил пропускной бумаги.

Отец пьяным жестом отмахивался рукой и ворчал, поднимаясь:

— Нет, ты не сын мне. Нет, нет!

Среди ненавистных ему тетрадок была одна, которая могла, однако, доставить ему удовольствие. В ней также не было ни одной кривой строчки, ни кляксы, ни помарки. И стояло в ней приблизительно следующее: *«Мой отец — пьяница, вор и трус»*.

Далее следовали некоторые подробности, которые, из уважения к памяти отца, а также и к закону, я не считаю нужным передавать.

Здесь мне приходит на память один забытый мною факт, который, как я вижу теперь, не будет лишен для вас, гг. эксперты, крупного интереса. Я очень рад, что вспомнил его, очень, очень рад. Как я мог его забыть?

У нас в доме жила горничная Катя, которая была любовницею отца и одновременно любовницею моею. Отца она любила потому, что он давал ей деньги, а меня за то, что я был молод, имел красивые черные глаза и не давал денег. И в ту ночь, когда труп моего отца стоял в зале, я отправился в комнату Кати. Она была недалеко от залы, и в ней явственно слышно было чтение дьячка.

Думаю, что бессмертный дух моего отца получил полное удовлетворение!

Нет, это действительно интересный факт, и я не понимаю, как мог я забыть его. Вам, гг. эксперты, это может показаться мальчишеством, детской выходкой, не имеющей серьезного значения, но это неправда. Это, гг. эксперты, была жестокая битва, и победа в ней недешево досталась мне. Ставкою была моя жизнь. Струсь я, поверни назад, окажись неспособным к любви — я убил бы себя. *Это было решено, я помню.*

И то, что я делал, для юноши моих лет было не так-то легко. Теперь я знаю, что я боролся с ветряной мельницей, но тогда все дело представлялось мне в ином свете. Сейчас мне уже трудно воспроизвести в памяти пережитое, но чувсто, помнится, у меня было такое, будто одним поступком я нарушаю все законы, божеские и человеческие. И я ужасно трусил, до смешного, но все-таки справился с собою, и когда вошел к Кате, то был готов к поцелуям, как Ромео.

Да, тогда я был еще, как кажется, романтиком. Счастливая пора, как она далека! Помню, гг. эксперты, что, возвращаясь от Кати, я остановился перед трупом, сложил руки на груди, как Наполеон, и с комической гордостью посмотрел на него. И тут же вздрогнул, испугавшись шевельнувшегося покрывала. Счастливая, далекая пора!

Боюсь думать, но, кажется, я никогда не переставал быть романтиком. И чуть ли я не был идеалистом. Я верил в человеческую мысль и в ее безграничную мощь. Вся история человечества представлялась мне шествием одной торжествующей мысли, и это было еще так недавно. И мне страшно подумать, что вся моя жизнь была обманом, что всю жизнь я был безумцем, как тот сумасшедший актер, которого я видел на днях в соседней палате. Он набирал отовсюду синих и красных бумажек и каждую из них называл миллионом; он выпрашивал их у посетителей, крал и таскал их из клозета, и сторожа грубо шутили, а он искренно и глубоко презирал их. Я ему понравился, и на прощание он дал мне миллион.

— Это небольшой миллиончик,— сказал он,— но вы меня извините: у меня сейчас такие расходы, такие расходы.

И, отведя меня в сторону, шепотом пояснил:

— Сейчас я присматриваюсь к Италии. Хочу прогнать папу и ввести там новые деньги, вот эти. И потом, в воскресенье, объявлю себя святым. Итальянцы будут рады: они всегда очень радуются, когда им дают нового святого.

Не с этим ли миллионом я жил?

Мне страшно подумать, что мои книги, мои товарищи и друзья, все так же стоят в своих шкапах и молчаливо

хранят то, что я считал мудростью земли, ее надеждой и счастьем. Я знаю, гг. эксперты, что сумасшедший ли я, или нет, но с вашей точки зрения я негодяй,— посмотрели бы вы на этого негодяя, когда он входит в свою библиотеку?!

Сходите, гг. эксперты, осмотрите мою квартиру,— это будет для вас интересно. В левом верхнем ящике письменного стола вы найдете подробный каталог книг, картин и безделушек; там же вы найдете ключи от шкапов. Вы сами — люди науки, и я верю, что вы с должным уважением и аккуратностью отнесетесь к моим вещам. *Также прошу вас следить, чтобы не коптили лампы.* Нет ничего ужаснее этой копоти: она забирается всюду, и потом стоит большого труда удалить ее.

На клочке

Сейчас фельдшер Петров отказался дать мне Chloralamid'y в той дозе, в какой я требую. Прежде всего я врач и знаю, что делаю, и затем, если мне будет отказано, я приму решительные меры. Я две ночи не спал и вовсе не желаю сходить с ума. Я требую, чтобы мне дали хлораламиду. Я этого требую. Это *бесчестно* — сводить с ума.

Лист пятый

После второго припадка меня начали бояться. Во многих домах передо мною поспешно захлопывались двери; при случайной встрече знакомые ежились, подло улыбались и многозначительно спрашивали:

— Ну как, голубчик, здоровье?

Положение было как раз такое, при котором я мог совершить любое беззаконие и не потерять уважения окружающих. Я смотрел на людей и думал: если я захочу, я могу убить этого и этого, и ничего мне за то не будет. И то, что я испытывал при этой мысли, было ново, приятно и немного страшно. Человек перестал быть чем-то строго защищаемым, до чего боязно прикоснуться; словно шелуха какая-то спала с него, он был словно голый, и убить его казалось легко и соблазнительно.

Страх такой плотной стеной ограждал меня от пытливых взоров, что сама собою упразднялась необходимость в третьем подготовительном припадке. Только в этом отношении отступал я от начертанного плана, но в том-то и сила таланта, что он не сковывает себя рамками и в сообразности с изменившимися обстоятельствами меняет и весь ход битвы. Но нужно было еще получить официальное от-

пущение грехов бывших и разрешение на грехи будущие — научно-медицинское удостоверение моей болезни.

И здесь я дождался такого стечения обстоятельств, при котором мое обращение к психиатру могло казаться случайностью или даже чем-то вынужденным. Это была, быть может, и излишняя тонкость в отделке моей роли. Послали меня к психиатру Татьяна Николаевна и ее муж.

— Пожалуйста, сходите к доктору, дорогой Антон Игнатьевич,— говорила Татьяна Николаевна.

Она никогда раньше не называла меня «дорогим», и нужно мне было прослыть сумасшедшим, чтобы получить эту ничтожную ласку.

— Хорошо, дорогая Татьяна Николаевна, я схожу,— покорно ответил я.

Мы втроем — Алексей был тут же — сидели в кабинете, где впоследствии произошло убийство.

— Да, Антон, обязательно сходи,— авторитетно подтвердил Алексей.— А то наделаешь чего-нибудь такого.

— Но что же я могу «наделать»?— робко оправдывался я перед своим строгим другом.

— Мало ли чего. Голову кому-нибудь прошибешь.

Я поворачивал в руках тяжелое чугунное пресс-папье, смотрел то на него, то на Алексея, и спрашивал:

— Голову? Ты говоришь — голову?

— Ну да, голову. Хватишь вот такой штукой, как эта, и готово.

Это становилось интересно. *Именно голову и именно этой штукой намеревался я просадить, а теперь эта самая голова рассуждала, как это выйдет*. Рассуждала и беззаботно улыбалась. А есть люди, которые верят в предчувствие, в то, что смерть заранее посылает каких-то своих незримых вестников,— какая чепуха!

— Ну, едва ли можно сделать что-нибудь этой вещью,— сказал я.— Она слишком легка.

— Что ты говоришь: легка!— возмутился Алексей, выдернул у меня из рук пресс-папье и, взяв за тонкую ручку, несколько раз взмахнул.— Попробуй!

— Да я же знаю...

— Нет, ты возьми вот так и увидишь.

Нехотя, улыбаясь, я взял тяжелую вещь, но тут вмешалась Татьяна Николаевна. Бледная, с трясущимися губами, она сказала, скорее закричала:

— Алексей, оставь! Алексей, оставь!

— Что ты, Таня? Что с тобой?— изумился он.

— Оставь! Ты знаешь, как я не люблю такие штуки.

Мы рассмеялись, и пресс-папье было поставлено на стол.

У профессора Т. все произошло так, как я и ожидал. Он был очень осторожен, сдержан в выражениях, но серьезен; спрашивал, есть ли у меня родные, уходу которых я могу поручить себя, советовал посидеть дома, поотдохнуть и успокоиться. Опираясь на свое знание врача, я слегка поспорил с ним, и если у него и оставались какие-нибудь сомнения, то тут, когда я осмелился возражать ему, он бесповоротно зачислил меня в сумасшедшие. Конечно, гг. эксперты, вы не придадите серьезного значения этой безобидной шутке над одним из наших собратьев: как ученый, профессор Т., несомненно, достоин уважения и почета.

Следующие несколько дней были одними из самых счастливых дней моей жизни. Меня жалели, как признанного больного, ко мне делали визиты, со мной говорили каким-то ломаным, нелепым языком, и только один я знал, что я здоров, как никто, и наслаждался отчетливой, могучей работой своей мысли. Из всего удивительного, непостижимого, чем богата жизнь, самое удивительное и непостижимое — это человеческая мысль. В ней божественность, в ней залог бессмертия и могучая сила, не знающая преград. Люди поражаются восторгом и изумлением, когда глядят на снежные вершины горных громад; если бы они понимали самих себя, то больше, чем горами, больше, чем всеми чудесами и красотами мира, они были бы поражены своей способностью мыслить. Простая мысль чернорабочего о том, как целесообразнее положить один кирпич на другой,— вот величайшее чудо и глубочайшая тайна.

И я наслаждался своею мыслью. Невинная в своей красоте, она отдавалась мне со всей страстью, как любовница, служила мне, как раба, и поддерживала меня, как друг. Не думайте, что все эти дни, проведенные дома в четырех стенах, я размышлял только о своем плане. Нет, там все было ясно и все продумано. Я размышлял обо всем. Я и моя мысль — мы словно играли с жизнью и смертью и высоко-высоко парили над ними. Между прочим, я решил в те дни две очень интересные шахматные задачи, над которыми трудился давно, но безуспешно. Вы знаете, конечно, что три года назад я участвовал в международном шахматном турнире и занял второе место после Ласкера. Если б я не был врагом всякой публичности и продолжал участвовать в состязаниях, *Ласкеру пришлось бы уступить насиженное место.*

И с той минуты, как жизнь Алексея была отдана в мои руки, я почувствовал к нему особенное расположение. Мне приятно было думать, что он живет, пьет, ест и радуется, и все это потому, что я позволяю. Чувство, схожее с чувством отца к сыну. И что меня тревожило, так это его здоровье. При всей своей хилости он непростительно неосторожен: отказывается носить фуфайку и в самую опасную, сырую погоду выходит без калош. Успокоила меня Татьяна Николаевна. Она заехала навестить меня и рассказала, что Алексей совершенно здоров и даже спит хорошо, что с ним редко бывает. Обрадованный, я попросил Татьяну Николаевну передать Алексею книгу — редкий экземпляр, случайно попавший мне в руки и давно нравившийся Алексею. Быть может, с точки зрения моего плана, этот подарок был ошибкой: могли заподозрить в этом преднамеренную подтасовку, но мне так хотелось доставить Алексею удовольствие, что я решил немного рискнуть. Я пренебрег даже тем обстоятельством, что в смысле художественности моей игры подарок был уже шаржем.

С Татьяной Николаевной в этот раз я был очень мил и прост и произвел на нее хорошее впечатление. Ни она, ни Алексей не видели ни одного моего припадка, и им, очевидно, трудно, даже невозможно было представить меня сумасшедшим.

— Заезжайте же к нам,— просила Татьяна Николаевна при прощании.

— Нельзя,— улыбнулся я.— Доктор не велел.

— Ну вот еще пустяки. К нам можно,— это все равно, что дома. И Алеша скучает без вас.

Я обещал, и *ни одно обещание не давалось с такою уверенностью в исполнении, как это.* Не кажется ли вам, гг. эксперты, когда вы узнаете обо всех этих счастливых совпадениях, не кажется ли вам, что уже не мною только был осужден на смерть Алексей, *а и кем-то другим*? А, в сущности, никакого «другого» нет, и все так просто и логично.

Чугунное пресс-папье стояло на своем месте, когда одиннадцатого декабря, в пять часов вечера, я вошел в кабинет к Алексею. Этот час, перед обедом,— обедают они в семь часов,— и Алексей и Татьяна Николаевна проводят в отдыхе. Моему приходу очень обрадовались.

— Спасибо за книгу, дружище,— сказал Алексей, тряся мою руку.— Я и сам собирался к тебе, да Таня сказала, что ты совсем поправился. Мы нынче в театр — едем с нами?

Начался разговор. В этот день я решил совсем не притворяться; в этом отсутствии притворства было свое тонкое

притворство, и, находясь под впечатлением пережитого подъема мысли, говорил много и интересно. Если б почитатели таланта Савелова знали, сколько лучших «его» мыслей зародилось и было выношено в голове никому не известного доктора Керженцева!

Я говорил ясно, точно, отделывая фразы; я смотрел в то же время на стрелку часов и думал, что, когда она будет на шести, я стану убийцей. И я говорил что-то смешное, и они смеялись, а я старался запомнить ощущение человека, который еще не убийца, но скоро станет убийцей. Уже не в отвлеченном представлении, а совсем просто понимал я процесс жизни в Алексее, биение его сердца, переливание в висках крови, бесшумную вибрацию мозга и то — как процесс этот прервется, сердце перестанет гнать кровь, и замрет мозг.

На какой мысли он замрет?

Никогда ясность моего сознания не достигала такой высоты и силы; никогда не было так полно ощущение многогранного, стройно работающего «я». Точно Бог: не видя — я видел, не слушая — я слышал, не думая — я сознавал.

Оставалось семь минут, когда Алексей лениво поднялся с дивана, потянулся и вышел.

— Я сейчас,— сказал он, выходя.

Мне не хотелось смотреть на Татьяну Николаевну, и я отошел к окну, раздвинул драпри и стал. И, не глядя, я почувствовал, как Татьяна Николаевна торопливо прошла комнату и стала рядом со мною. Я слышал ее дыхание, знал, что она смотрит не в окно, а на меня, и молчал.

— Как славно блестит снег,— сказала Татьяна Николаевна, но я не отозвался. Дыхание ее стало чаще, потом прервалось.

— Антон Игнатьевич!— сказала она и остановилась.

Я молчал.

— Антон Игнатьевич!— повторила она так же нерешительно, и тут я взглянул на нее.

Она быстро отшатнулась, чуть не упала, точно ее отбросило той страшной силой, которая была в моем взгляде. Отшатнулась и бросилась к вошедшему мужу.

— Алексей!— бормотала она.— Алексей... Он...

— Ну, что́ он?

Не улыбаясь, но голосом оттеняя шутку, я сказал:

— Она думает, что я хочу убить тебя этой штукой.

И совсем спокойно, не скрываясь, я взял пресс-папье, приподнял его в руке и спокойно подошел к Алексею. Он не

мигая смотрел на меня своими бледными глазами и повторял:

— Она думает...

— Да, она думает.

Медленно, плавно я стал приподнимать свою руку, и Алексей так же медленно стал приподнимать свою, все не спуская с меня глаз.

— *Погоди!— строго сказал я.*

Рука Алексея остановилась, и, все не спуская с меня глаз, он недоверчиво улыбнулся, бледно, одними губами. Татьяна Николаевна что-то страшно крикнула, но было поздно. Я ударил острым концом в висок, ближе к темени, чем к глазу. И когда он упал, я нагнулся и еще два раза ударил его. Следователь говорил мне, что я бил его много раз, потому что голова его вся раздроблена. Но это неправда. Я ударил его всего-навсего *три раза*: раз, когда он стоял, и два раза потом, на полу.

Правда, что удары были очень сильны, но их было *всего* три. Это я помню наверное. *Три удара.*

Лист шестой

Не старайтесь разобрать зачеркнутое в конце четвертого листа и вообще не придавайте излишнего значения моим помаркам, как мнимым признакам расстроенного мышления. В том странном положении, в котором я очутился, я должен быть страшно осторожен, чего я не скрываю и что вы прекрасно понимаете.

Ночной мрак всегда сильно действует на утомленную нервную систему, и потому так часто приходят ночью страшные мысли. А в ту ночь, первую за убийством, мои нервы были, конечно, в особенном напряжении. Как я ни владел собою, но убить человека не шутка. За чаем, уже приведя себя в порядок, отмывши ногти и переменив платье, я позвал посидеть с собою Марию Васильевну. Это моя экономка и отчасти жена. У нее, кажется, есть на стороне любовник, но женщина она красивая, тихая и не жадная, и я легко помирился с этим маленьким недостатком, который почти неизбежен в положении человека, приобретающего любовь за деньги. И вот эта глупая женщина первая нанесла мне удар.

— Поцелуй меня,— сказал я.

Она глупо улыбнулась и застыла на своем месте.

— Ну же!

Она вздрогнула, покраснела и, сделав испуганные глаза, моляще протянулась ко мне через стол, говоря:

— Антон Игнатьевич, душечка, сходите к доктору!

— Чего еще?— рассердился я.

— Ой, не кричите, боюсь! Ой, боюсь вас, душечка, ангельчик!

А она ведь ничего не знала ни о моих припадках, ни об убийстве, и я всегда был с нею ласков и ровен. «Значит, было во мне что-то такое, чего нет у других людей и что пугает»,— мелькнула у меня мысль и тотчас исчезла, оставив странное ощущение холода в ногах и спине. Я понял, что Мария Васильевна узнала что-нибудь на стороне, от прислуги, или наткнулась на сброшенное мною испорченное платье, и этим совершенно естественно объяснялся ее страх.

— Ступайте,— приказал я.

Потом я лежал на диване в своей библиотеке. Читать не хотелось, во всем теле чувствовалась усталость, и состояние в общем было такое, как у актера после блестяще сыгранной роли. Мне приятно было смотреть на книги и приятно было думать, что когда-нибудь потом я буду их читать. Нравилась мне вся моя квартира, и диван, и Марья Васильевна. Мелькали в голове отрывки фраз из моей роли, мысленно воспроизводились движения, которые я делал, и изредка лениво проползали критические мысли: а вот тут лучше можно было сказать или сделать. Но своим импровизированным «погоди!» я был очень доволен. Действительно, это редкий и для тех, кто не испытал сам, невероятный образчик силы внушения.

— «Погоди!» — повторял я, закрыв глаза, и улыбался.

И веки мои стали тяжелеть, и мне захотелось спать, когда лениво, просто, как все другие, в мою голову вошла новая мысль, обладающая всеми свойствами *моей* мысли: ясностью, точностью и простотой. Лениво вошла и остановилась. Вот она дословно и в третьем, как было почему-то лице:

«А весьма возможно, что доктор Керженцев действительно сумасшедший. Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший».

Три, четыре раза повторялась эта мысль, а я все еще улыбался, не понимая:

«Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший».

Но когда я понял... Сперва я подумал, что эту фразу сказала Мария Васильевна, потому что как будто был голос, и голос этот как будто был ее. Потом я подумал на Алексея.

Да, на Алексея, на убитого. Потом я понял, что это подумал я,— и это был ужас. Взяв себя за волосы, уже стоя почему-то на середине комнаты, я сказал:

— Так. Все кончено. Случилось то, чего я опасался. Я слишком близко подошел к границе, и теперь мне остается впереди только одно — сумасшествие.

Когда приехали арестовать меня, я оказался, по их словам, в ужасном виде — взлохмаченный, в разорванном платье, бледный и страшный. Но, господи! Разве пережить такую ночь и все-таки не сойти с ума не значит обладать несокрушимым мозгом? А ведь я только платье разорвал и разбил зеркало. Кстати: позвольте дать вам один совет. Если когда-нибудь одному из вас придется пережить то, что пережил я в эту ночь, завесьте зеркала в той комнате, где вы будете метаться. Завесьте так же, как вы завешиваете их тогда, когда в доме стоит покойник. *Завесьте!*

Мне страшно об этом писать. Я боюсь того, что мне нужно вспомнить и сказать. Но дальше откладывать нельзя, и, быть может, полусловами я только увеличиваю ужас.

Этот вечер.

Вообразите себе пьяную змею, да, да, именно пьяную змею: она сохранила свою злость; ловкость и быстрота ее еще усилились, а зубы все так же остры и ядовиты. И она пьяна, и она в запертой комнате, где много дрожащих от ужаса людей. И, холодно-свирепая, она скользит между ними, обвивает ноги, жалит в самое лицо, в губы, и вьется клубком, и впивается в собственное тело. И кажется, будто не одна, а тысячи змей вьются, и жалят, и пожирают сами себя. Такова была моя мысль, та самая, в которую я верил и в остроте и ядовитости зубов которой я видел спасение свое и защиту.

Единая мысль разбилась на тысячу мыслей, и каждая из них была сильна, и все они были враждебны. Они кружились в диком танце, а музыкою им был чудовищный голос, гулкий, как труба, и несся он откуда-то из неведомой мне глубины. *Это была бежавшая мысль, самая страшная из змей, ибо она пряталась во мраке.* Из головы, где я крепко держал ее, она ушла в тайники тела, в черную и неизведанную его глубину. И оттуда она кричала, как посторонний, как бежавший раб, наглый и дерзкий в сознании своей безопасности.

«Ты думал, что ты притворяешься, а ты был сумасшедшим. Ты маленький, ты злой, ты глупый, ты доктор Кер-

женцев. Какой-то доктор Керженцев, сумасшедший доктор Керженцев!..»

Так она кричала, и я не знал, откуда исходит ее чудовищный голос. Я даже не знаю, кто это был; я называю это мыслью, но, может быть, это была не мысль. Мысли — те, как голуби над пожаром, кружились в голове, а она кричала откуда-то снизу, сверху, с боков, где я не мог ни увидеть ее, ни поймать.

И самое страшное, что я испытал,— это было сознание, что я не знаю себя и никогда не знал. Пока мое «я» находилось в моей ярко освещенной голове, где все движется и живет в закономерном порядке, я понимал и знал себя, размышлял о своем характере и планах, и был, как думал, господином. Теперь же я увидел, что я не господин, а раб, жалкий и бессильный. Представьте, что вы жили в доме, где много комнат, занимали одну только комнату и думали, что владеете всем домом. И вдруг вы узнали, что там, в других комнатах, живут. *Да, живут*. Живут какие-то загадочные существа, быть может люди, быть может что-нибудь другое, и дом принадлежит им. Вы хотите узнать, кто они, но дверь заперта, и не слышно за нею ни звука, ни голоса. И в то же время вы знаете, что именно там, за этой молчаливой дверью, решается ваша судьба.

Я подошел к зеркалу... Завесьте зеркала. Завесьте!

Потом я ничего не помню до тех пор, пока пришла судебная власть и полиция. Я спросил, который час, и мне сказали: девять. И я долго не мог понять, что со времени моего возвращения домой прошло только два часа, а с момента убийства Алексея — около трех.

Простите, гг. эксперты, что такой важный для экспертизы момент, как это ужасное состояние после убийства, я описал в таких общих и неопределенных выражениях. Но это все, что я помню и что могу передать человеческим языком. Например, не могу я передать человеческим языком того ужаса, который я все время тогда испытывал. Кроме того, я не могу сказать с положительною уверенностью, что все так слабо мною намеченное было в действительности. Быть может, этого не было, а было что-нибудь другое. Одно только я твердо помню — это мысль, или голос, или еще что-то:

«Доктор Керженцев думал, что он притворяется сумасшедшим, а он действительно сумасшедший».

Сейчас я пробовал свой пульс: 180! Это сейчас, только при одном воспоминании!

Лист седьмой

Прошлый раз я написал много ненужного и жалкого вздора, и, к сожалению, вы теперь уже получили и прочли его. Боюсь, что он даст вам ложное представление о моей личности, а также о действительном состоянии моих умственных способностей. Впрочем, я верю в ваши знания и в ваш ясный ум, гг. эксперты.

Вы понимаете, что только серьезные причины могли заставить меня, доктора Керженцева, открыть всю истину об убийстве Савелова. И вы легко поймете и оцените их, когда я скажу, что я не знаю и сейчас, притворялся ли я сумасшедшим, чтобы безнаказанно убить, или убил потому, что был сумасшедшим; и навсегда, вероятно, лишен возможности узнать это. Кошмар того вечера исчез, но он оставил огненный след. Нет вздорных страхов, но есть ужас человека, который потерял все, есть холодное сознание падения, гибели, обмана и неразрешимости.

Вы, ученые, будете спорить обо мне. Одни из вас скажут, что я сумасшедший, другие будут доказывать, что я здоровый, и допустят только некоторые ограничения в пользу дегенерации. Но, со всею вашею ученостью, вы не докажете так ясно ни того, что я сумасшедший, ни того, что я здоровый, как докажу это я. Моя мысль вернулась ко мне, и, как вы убедитесь, ей нельзя отказать ни в силе, ни в остроте. Превосходная, энергичная мысль — ведь и врагам следует отдавать должное!

Я — сумасшедший. Не угодно ли выслушать: почему?

Первою осуждает меня наследственность, та самая наследственность, которой я так обрадовался, обдумывая свой план. Припадки, которые были у меня в детстве... Виноват, господа. Я хотел утаить от вас эту подробность о припадках и писал, что с детства я был здоровяком. Это не значит, что в факте существования каких-то вздорных, скоро кончившихся припадков я видел какую-нибудь опасность для себя. Просто я не хотел загромождать рассказа неважными подробностями. Теперь эта подробность понадобилась мне для строго логического построения, и, как видите, я, не обинуясь, передаю ее.

Так вот. Наследственность и припадки свидетельствуют о моем предрасположении к психической болезни. И она началась, незаметно для самого меня, много раньше, чем я придумал план убийства. Но, обладая, как *все сумасшедшие*, бессознательной хитростью и способностью приноравливать безумные поступки к нормам здравого мышле-

ния, я стал обманывать, но не других, как я думал, а себя. Увлекаемый чуждой мне силой, я делал вид, что иду сам. Из остального доказательства можно лепить, как из воска. Не так ли?

Ничего не стоит доказать, что Татьяну Николаевну я не любил, что мотива истинного к преступлению не было, а был только выдуманный. В странности моего плана, в хладнокровии, с каким я его осуществлял, в массе мелочей очень легко усмотреть все ту же безумную волю. Даже самая острота и подъем моей мысли перед преступлением доказывают мою ненормальность.

> Так, раненный насмерть, я в цирке играл,
> Гладиатора смерть представляя...

Ни одной мелочи в своей жизни не оставил я неисследованной. Я проследил всю свою жизнь. К каждому своему шагу, к каждой своей мысли, слову я прилагал мерку безумия, и она подходила к каждому слову, к каждой мысли. Оказалось, и это было самым удивительным, что и до этой ночи мне уже приходила мысль: уж не сумасшедший ли я действительно? Но я как-то отделывался от этой мысли, забывал о ней.

И, доказав, что я сумасшедший, знаете вы, что я увидел? Что *я не сумасшедший* — вот что я увидел. Извольте выслушать.

Самое большое, в чем уличают меня наследственность и припадки — это дегенерация. Я один из вырождающихся, каких много, какого можно найти, если поискать повнимательнее, даже среди вас, гг. эксперты. Это дает прекрасный ключ ко всему остальному. Мои нравственные воззрения вы можете объяснить не сознательной продуманностью, а дегенерацией. Действительно, нравственные инстинкты заложены так глубоко, что только при некотором уклонении от нормального типа возможно полное от них освобождение. И наука, все еще слишком смелая в своих обобщениях, все такие уклонения относит в область дегенерации, хотя бы физически человек был сложен, как Аполлон, и здоров, как последний идиот. Но пусть будет так. Я ничего не имею против дегенерации,— она вводит меня в славную компанию.

Не стану я отстаивать и своего мотива к преступлению. Говорю вам совершенно искренно, что Татьяна Николаевна действительно оскорбила меня своим смехом, и обида залегла очень глубоко, как это бывает у таких скрытых, оди-

ноких натур, как я. Но пусть это неправда. Пусть даже любви у меня не было. Но разве нельзя допустить, что убийством Алексея я просто хотел попытать свои силы? Ведь вы свободно допускаете существование людей, которые взлезают, рискуя жизнью, на неприступные горы только потому, что они неприступны, и не называете их сумасшедшими? Не осмелитесь же вы назвать сумасшедшим Нансена, этого величайшего человека истекающего столетия! В нравственной жизни есть свои полюсы, и одного из них пытался я достичь.

Вас смущает отсутствие ревности, мести, корысти и других нелепых мотивов, которые вы привыкли считать единственно настоящими и здоровыми. Но тогда вы, люди науки, осудите Нансена, осудите его вместе с глупцами и невеждами, которые и его предприятие считают безумием.

Мой план... Он необычен, он оригинален, он смел до дерзости,— но разве он не разумен с точки зрения поставленной мною цели? И именно моя наклонность к притворству, вполне разумно вам объясненная, могла подсказать мне этот план. Подъем мысли,— но разве гениальность и вправду умопомешательство? Хладнокровие,— но почему убийца непременно должен дрожать, бледнеть и колебаться? Трусы всегда дрожат, даже когда обнимают своих горничных, и храбрость — разве безумие?

А как просто объясняются мои собственные сомнения в том, что я здоровый! Как настоящий художник, артист, я слишком глубоко вошел в роль, временно отожествился с изображаемым лицом и на минуту потерял способность самоотчета. Скажете ли вы, что даже среди присяжных, ежедневно ломающихся лицедеев нет таких, которые, играя Отелло, чувствуют действительную потребность убить?

Довольно убедительно, не правда ли, гг. ученые? Но не чувствуете ли вы одной странной вещи: когда я доказываю, что я сумасшедший, вам кажется, что я здоровый, а когда я доказываю, что я здоровый, вы слышите сумасшедшего.

Да. Это потому, что вы не верите мне... Но и я не верю себе, ибо *кому* в себе я буду верить? Подлой и ничтожной мысли, лживому холопу, который служит всякому? Он годен лишь на то, чтобы чистить сапоги, а я сделал его своим другом, своим богом. Долой с трона, жалкая, бессильная мысль!

Кто же я, гг. эксперты, сумасшедший или нет?

Маша, милая женщина, вы знаете что-то, чего не знаю я. Скажите, кого просить мне о помощи?

Я знаю ваш ответ, Маша. *Нет, это не то.* Вы добрая и славная женщина, Маша, но вы не знаете ни физики, ни химии, вы ни разу не были в театре и даже не подозреваете, что та штука, на которой вы живете, принимая, подавая и убирая, вертится. А она вертится, Маша, вертится, и с нею вертимся и мы. Вы дитя, Маша, вы тупое существо, почти растение, и я очень завидую вам, почти столько же, сколько презираю вас.

Нет, Маша, не вы ответите мне. И вы ничего не знаете, это неправда. В одной из темных каморок вашего нехитрого дома живет кто-то, очень вам полезный, но у меня эта комната пуста. Он давно умер, тот, кто там жил, и на могиле его я воздвиг пышный памятник. *Он умер, Маша, умер — и не воскреснет.*

Кто же я, гг. эксперты, сумасшедший или нет? Простите, что я с такой невежливой настойчивостью привязываюсь к вам с этим вопросом, но ведь вы «люди науки», как называл вас мой отец, когда хотел польстить вам, у вас есть книги, и вы обладаете ясной, точной и непогрешимой человеческой мыслью. Конечно, половина вас останется при одном мнении, другая — при другом, но я вам поверю, гг. ученые,— и первым поверю и вторым поверю. Скажите же... А в помощь вашему просвещенному уму я приведу интересный, очень интересный фактик.

В один тихий и мирный вечер, проведенный мною среди этих белых стен, на лице Маши, когда оно попадало мне на глаза, я замечал выражение ужаса, растерянности и подчиненности чему-то сильному и страшному. Потом она ушла, а я сел на приготовленной постели и продолжал думать о том, чего мне хочется. А хотелось мне странных вещей. Мне, д-ру Керженцеву, хотелось выть. Не кричать, а именно выть, как вон тот. Хотелось рвать на себе платье и царапать себя ногтями. Взять рубашку у ворота, сперва немного, совсем немного потянуть, а там — раз!— и до самого низа. И хотелось мне, д-ру Керженцеву, стать на четвереньки и ползать. А кругом было тихо, и снег стучал в окна, и где-то неподалеку беззвучно молилась Маша. И я долго обдуманно выбирал, что мне сделать. Если выть, то выйдет громко, и получится скандал. Если разодрать рубашку, то завтра заметят. И вполне разумно я выбрал третье: ползать. Никто не услышит, а если увидят, то скажу, что оторвалась пуговица, и я ищу ее.

И пока я выбирал и решал, было хорошо, не страшно и даже приятно, так что, помнится, я болтал ногой. Но вот я подумал:

«Да зачем же ползать? Разве я действительно сумасшедший?»

И стало страшно, и сразу захотелось всего: ползать, выть, царапаться. И я обозлился.

— Ты хочешь ползать?— спросил я.

Но оно молчало, оно уже не хотело.

— Нет, ведь ты хочешь ползать?— настаивал я.

И оно молчало.

— Ну, ползай же!

И, засучив рукава, я стал на четвереньки и пополз. И когда я обошел еще только половину комнаты, мне стало так смешно от этой нелепости, что я уселся тут же на полу и хохотал, хохотал, хохотал.

С привычной и неугасшей еще верой в то, что можно что-то знать, я думал, что нашел источник своих безумных желаний. Очевидно, желание ползать и другие были результатом самовнушения. Настойчивая мысль о том, что я сумасшедший, вызывала и сумасшедшие желания, а как только я выполнил их, оказалось, что и желаний-то никаких нет, и я не безумный. Рассуждение, как видите, весьма простое и логическое. Но...

Но ведь все-таки я ползал? Я ползал? Кто же я — оправдывающийся сумасшедший или здоровый, сводящий себя с ума?

Помогите же мне вы, высокоученые мужи! Пусть ваше авторитетное слово склонит весы в ту или другую сторону и решит этот ужасный, дикий вопрос. Итак, я жду!..

Напрасно я жду. О мои милые головастики — разве вы не я? Разве в ваших лысых головах работает не та же подлая, человеческая мысль, вечно лгущая, изменчивая, призрачная, как у меня? И чем моя хуже вашей? Вы станете доказывать, что я сумасшедший,— я докажу вам, что я здоров; вы станете доказывать, что я здоров,— я докажу вам, что я сумасшедший. Вы скажете, что нельзя красть, убивать и обманывать, потому что это безнравственность и преступление, а я вам докажу, что можно убивать и грабить, и что это очень нравственно. И вы будете мыслить и говорить, и я буду мыслить и говорить, и все мы будем правы, и никто из нас не будет прав. Где судья, который может рассудить нас и найти правду?

У вас есть громадное преимущество, которое дает одним вам знание истины: вы не совершили преступления, не находитесь под судом и приглашены за приличную плату исследовать состояние моей психики. И потому я сумасшедший. А если бы сюда посадили вас, профессор Держембиц-

кий, и меня пригласили бы наблюдать за вами, то сумасшедшим были бы вы, а я был бы важной птицей — экспертом, лгуном, который отличается от других лгунов только тем, что лжет не иначе как под присягой.

Правда, вы никого не убивали, не совершали кражи ради кражи, и когда нанимаете извозчика, то обязательно выторговываете у него гривенник, что доказывает полное ваше душевное здоровье. Вы не сумасшедший. Но может случиться совсем неожиданная вещь...

Вдруг завтра, сейчас, сию минуту, когда вы читаете эти строки, вам пришла ужасно глупая, но неосторожная мысль: а не сумасшедший ли и я? Кем вы будете тогда, г. профессор? Этакая глупая, вздорная мысль — ибо отчего вам сходить с ума? Но попробуйте прогнать ее. Вы пили молоко и думали, что оно цельное, пока кто-то не сказал, что оно смешано с водой. И кончено — нет более цельного молока.

Вы сумасшедший. Не хотите ли проползти на четвереньках? Конечно, не хотите, ибо какой же здоровый человек захочет ползать! Ну, а все-таки? Не является ли у вас такого легонького желания, совсем легонького, совсем пустячного, над которым смеяться хочется,— соскользнуть со стула и немного, совсем немного, проползти? Конечно, не является, откуда ему явиться у здорового человека, который сейчас только пил чай и разговаривал с женой. Но не чувствуете ли вы ваших ног, хотя раньше вы их не чувствовали, и не кажется ли вам, что в коленах происходит что-то странное: тяжелое онемение борется с желанием согнуть колени, а потом... *Ведь в самом деле, г. Држембицкий, разве кто-нибудь может вас удержать, если вы захотите крошечку проползти?*

Никто.

Но погодите ползать. Вы еще нужны мне. Борьба моя еще не кончена.

Лист восьмой

Одно из проявлений парадоксальности моей натуры: я очень люблю детей, совсем маленьких детей, когда они только что начинают лепетать и бывают похожи на всех маленьких животных: щенят, котят и змеенышей. Даже змеи в детстве бывают привлекательны. И нынешней осенью, в погожий солнечный день, мне довелось видеть такую картинку. Крохотная девочка в ватном пальтеце и капюшоне, из-под которого только и видны были розовые щечки и носик, хотела подойти к совсем уже крохотной со-

Л. Н. Андреев
Москва. Фотография. 1896, ГЛМ

Г. Орел. Дом отца Л. Н. Андреева на Второй Пушкарной улице. Фотография. ГЛМ

Орловская классическая гимназия. Здесь учился Л. Н. Андреев. Снимок современный. ГЛМ

М. Горький, Ф. И. Шаляпин и Скиталец. Фотография. Крым, апрель 1902 г., ГЛМ

Слева направо: Л. Н. Андреев, Л. А. Сулержицкий, А. М. Горький. Фотография. Крым, 10 марта 1902 г., ГЛМ

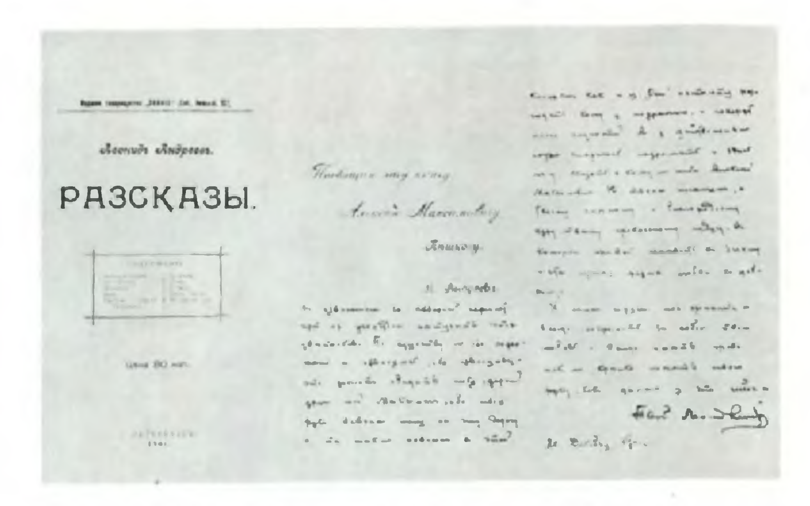
Л. Н. Андреев. Фотография. Нижний Новгород. 1902 г., ГЛМ

Л. Н. Андреев и А. М. Андреева (Велигорская), первая жена писателя. У Репина в Пенатах, 27 мая 1905 г., ГЛМ

Г. Орел. Пейзаж рассказа «Баргамот и Гараська». Фотография современная

Г. Орел. Перекресток Посадской и Второй Пушкарной улиц. Пейзаж рассказа «Баргамот и Гараська». Фотография. ГЛМ

Л. Н. Андреев
Москва. Фотография. 1902, ГЛМ


РАЗСКАЗЫ.

Дарственная надпись Л. Н. Андреева М. Горькому на сборнике: «Рассказы» (СПб., 1901), ему посвященном

М. Горький, К. П. Пятницкий (первый издатель первой книги Андреева) и Скиталец. Нижний Новгород. Фотография. 1902, МГМ

Л. Н. Андреев
Фотография. 1890-е годы, ГЛМ

Рисунок Л. Н. Андреева. Автошарж. Писатель изображает себя в будущем: «Если он не разбогатеет». 1897, ИРЛИ

Рисунок Л. Н. Андреева. Автошарж. Подпись рукой Андреева: «Помощн. прис. пов. Леонид Николаевич Андреев у семейного очага готовится к защите, или «Он метит в Цицероны». Писатель изображает себя в будущем: «Если он не разбогатеет. 1897, ИРЛИ

Рисунок Л. Н. Андреева. Автошарж. Писатель изображает себя в будущем: «Если он разбогатеет». 1897, ИРЛИ

Рисунок Л. Н. Андреева. Автошарж, 1897. Внизу, в левом углу, рукой Андреева: «26 августа 1897 г.», ИРЛИ

«Типы наших беллетристов». Каррикатура А. А. Лабуца («Овода»). Рис. для журн. «Стрекоза», 1903, № 18 от 4 мая. Вверху (слева направо): П. Д. Боборыкин, Вас. И. Немирович-Данченко, А. А. Потехин; внизу (слева направо): М. Горький, Скиталец, Л. Н. Андреев. МГМ

«Леонид Андреев в положении неустойчивого равновесия». Карикатура неизвестного художника. Отклик на дискуссию в печати по поводу рассказа Андреева «Бездна». Почтовая открытка, 1902—1903, МГМ

[illegible] Максимо-
вичу [illegible] и
Максиму Горькому,
двум моим изда-
[illegible] от [illegible]
бывшего поэта, а
ныне божией милостью
только литератор
Леонид Андреев

Л. Н. Андреев. Москва, клиника проф. М. П. Черинова, конец января — февраль 1901 г. На обороте дарственная надпись М. Горькому: «Алексею Максимовичу Пешкову и Максиму Горькому, двум моим избавителям от нытья. Бывший нытик, а ныне божией милостью только неврастеник.— Леонид Андреев.— 24.II.MCMI, МГМ

Л. Н. Андреев с женой А. М. Андреевой (Велигорской) и матерью А. Н. Андреевой. Москва. Фотография. 1902, ИРЛИ

Л. Н. Андреев с матерью, Анастасией Николаевной. Фотография. Москва. 1902, ИРЛИ

Л. Н. Андреев с женой А. М. Андреевой (Велигорской) во время свадебной поездки. Одесса. Фотография. 1902, МГМ

Группа участников литературного кружка «Среда». Слева направо: Скиталец, Л. Н. Андреев, М. Горький, Н. Д. Телешов, Ф. И. Шаляпин, И. А. Бунин, Е. Н. Чириков. 1902

Л. Н. Андреев в Царицыне
Фотография. Москва. 1902, ГЛМ

Л. Н. Андреев с матерью, Анастасией Николаевной и сестрой Риммой Николаевной Андреевой. Фотография. 1904

М. Горький с сыном Максимом и Л. Н. Андреев. Нижний Новгород. Фотография. 1902—1903, МГМ

Л. Н. Андреев
Портрет маслом Л. О. Пастернака, 1900-е годы, МГМ

бачонке на тонких ножках, с тоненькой мордочкой и трусливо зажатым между ногами хвостом. И вдруг ей стало страшно, она повернулась и, как маленький белый клубочек, покатилась к тут же стоявшей няньке и молча, без слез и крика, спрятала лицо у нее в коленах. А крохотная собачонка ласково моргала и пугливо поджимала хвост, и лицо няньки было такое доброе, простое.

— Не бойся,— говорила нянька и улыбалась мне, и лицо у нее было такое доброе, простое.

Не знаю почему, но мне часто вспоминалась эта девочка и на воле, когда я осуществлял план убийства Савелова, и здесь. Тогда же еще, при взгляде на эту милую группу под ясным осенним солнцем, у меня явилось странное чувство, как будто разгадка чего-то, и задуманное мною убийство показалось мне холодною ложью из какого-то другого, совсем особого мира. И то, что обе они, и девочка и собачонка, были такие маленькие и милые, и что они смешно боялись друг друга, и что солнце так тепло светило — все это было так просто и так полно кроткой и глубокой мудростью, будто здесь именно, в этой группе, заключается разгадка бытия. Такое было чувство. И я сказал себе: «Надо об этом как следует подумать»,— но так и не подумал.

А теперь я не помню, что́ же было тогда такое, и мучительно стараюсь понять, но не могу. И я не знаю, зачем я рассказал вам эту смешную, ненужную историйку, когда еще так много нужно мне рассказать серьезного и важного. *Необходимо кончить.*

Оставим в покое мертвецов. Алексей убит, он давно уже начал разлагаться; его нет — черт с ним! В положении мертвецов есть кое-что приятное.

Не будем говорить и о Татьяне Николаевне. Она несчастна, и я охотно присоединяюсь к общим сожалениям, но что значит это несчастье, все несчастья в мире в сравнении с тем, что переживаю сейчас я, д-р Керженцев! Мало ли жен на свете теряют любимых мужей, и мало ли они будут их терять. Оставим их — пусть плачут.

Но вот тут, в этой голове...

Вы понимаете, гг. эксперты, как это ужасно сложилось. Никого в мире не любил я, кроме себя, а в себе я любил не это гнусное тело, которое любят и пошляки,— я любил свою человеческую мысль, свою свободу. Я ничего не знал и не знаю выше своей мысли, я боготворил ее — и разве она не стоила этого? Разве, как исполин, не боролась она со всем миром и его заблуждениями? На вершину высокой горы взнесла она меня, и я видел, как глубоко внизу копоши-

лись людишки с их мелкими животными страстями, с их вечным страхом перед жизнью и смертью, с их церквами, обеднями и молебнами.

Разве я не был и велик, и свободен, и счастлив? Как средневековый барон, засевший, словно в орлином гнезде, в своем неприступном зáмке, гордо и властно смотрит на лежащие внизу долины,— так непобедим и горд был я в своем зáмке, за этими черными костями. Царь над самим собой, я был царем и над миром.

И мне изменили. Подло, коварно, как изменяют женщины, холопы и — мысли. Мой зáмок стал моей тюрьмой. В моем зáмке напали на меня враги. Где же спасение? В неприступности замка, в толщине его стен — моя гибель. Голос не проходит наружу. И кто сильный спасет меня? Никто. Ибо никого нет сильнее меня, а я — я и есть единственный враг моего «я».

Подлая мысль изменила мне, тому, кто так верил в нее и ее любил. Она не стала хуже: та же светлая, острая, упругая, как рапира, но рукоять ее уж не в моей руке. И меня, ее творца, ее господина, она убивает с тем же тупым равнодушием, как я убивал ею других.

Наступает ночь, и меня охватывает бешеный ужас. Я был тверд на земле, и крепко стояли на ней мои ноги,— а теперь я брошен в пустоту бесконечного пространства. Великое и грозное одиночество, когда я, тот, который живет, чувствует, мыслит, который так дорог и есть единственный, когда я так мал, бесконечно ничтожен и слаб и каждую секунду готов потухнуть. Зловещее одиночество, когда самого себя я составляю лишь ничтожную частицу, когда в самом себе я окружен и задушен угрюмо молчащими, таинственными врагами. Куда ни иду я — я всюду несу их с собою; одинокий в пустоте вселенной, и в самом себе не имею я друга. Безумное одиночество, когда я не знаю, кто я, одинокий, когда моими устами, моей мыслью, моим голосом говорят неведомые *они*.

Так жить нельзя. А мир спокойно спит: и мужья целуют своих жен, и ученые читают лекции, и нищий радуется брошенной копейке. Безумный, счастливый в своем безумии мир, ужасно будет твое пробуждение!

Кто сильный даст мне руку помощи? Никто. Никто. Где найду я то вечное, к чему я мог бы прилепиться со своим жалким, бессильным, до ужаса одиноким «я»? Нигде. Нигде. О милая, милая девочка, почему к тебе тянутся сейчас мои окровавленные руки — ведь ты также человек и так же ничтожна, и одинока, и подвержена смерти. Жалею ли

я тебя, или хочу, чтобы ты меня пожалела, но, как за щитом, укрылся бы я за твоим беспомощным тельцем от безнадежной пустоты веков и пространства. Но нет, нет, все это ложь!

О большой, громадной услуге я попрошу вас, гг. эксперты, и, если вы чувствуете в себе хоть немного человека, вы не откажете в ней. Надеюсь, мы достаточно поняли друг друга, настолько, чтобы не верить друг другу. И если я попрошу вас сказать на суде, что я человек здоровый, то менее всего поверю вашим словам я. Для себя вы можете решать, но для меня никто не решит этого вопроса:

Притворялся ли я сумасшедшим, чтобы убить, или убил потому, что был сумасшедшим?

Но судьи поверят вам и дадут мне то, чего я хочу: каторгу. Прошу вас не придавать ложного толкования моим намерениям. Я не раскаиваюсь, что убил Савелова, я не ищу в каре искупления грехов, и если для доказательства того, что я здоров, вам понадобится, чтобы я кого-нибудь убил с целью грабежа,— я с удовольствием убью и ограблю. Но в каторге я ищу другого, чего, я не знаю еще и сам.

Меня тянет к этим людям какая-то смутная надежда, что среди них, нарушивших ваши законы, убийц, грабителей, я найду неведомые мне источники жизни и снова стану себе другом. Но пусть это неправда, пусть надежда обманет меня, я все-таки хочу быть с ними. О, я знаю вас! Вы трусы и лицемеры, вы больше всего любите ваш покой, и вы с радостью всякого вора, стащившего калач, запрятали бы в сумасшедший дом,— вы охотнее весь мир и самих себя призна́ете сумасшедшими, нежели осмелитесь коснуться ваших любимых выдумок. Я знаю вас. Преступник и преступление — это вечная ваша тревога, это грозный голос неизведанной бездны, это неумолимое осуждение всей вашей разумной и нравственной жизни, и как бы плотно вы ни затыкали ватой уши, оно проходит, оно проходит! И я хочу к ним. Я, доктор Керженцев, стану в ряды этой страшной для вас армии, как вечный укор, как тот, кто спрашивает и ждет ответа.

Не униженно прошу я вас, а требую: скажите, что я здоров. Солгите, если не верите этому. Но если вы малодушно умоете ваши ученые руки и посадите меня в сумасшедший дом или отпустите на свободу, дружески предупреждаю вас: я наделаю вам крупных неприятностей.

Для меня нет судьи, нет закона, нет недозволенного. Все можно. Вы можете представить себе мир, в котором нет законов притяжения, в котором нет верха, низа, в котором все

повинуется только прихоти и случаю? Я, доктор Керженцев, этот новый мир. Все можно. И я, доктор Керженцев, докажу вам это. Я притворюсь здоровым. Я добьюсь свободы. И всю остальную жизнь я буду учиться. Я окружу себя вашими книгами, я возьму от вас всю мощь вашего знания, которой вы гордитесь, и найду одну вещь, в которой давно назрела необходимость. *Это будет взрывчатое вещество.* Такое сильное, какого не видали еще люди: сильнее динамита, сильнее нитроглицерина, сильнее самой мысли о нем. Я талантлив, настойчив, и я найду его. *И когда я найду его, я взорву на воздух вашу проклятую землю, у которой так много богов и нет единого вечного Бога.*

На суде доктор Керженцев держался очень спокойно и во все время заседания оставался в одной и той же, ничего не говорящей позе. На вопросы он отвечал равнодушно и безучастно, иногда заставляя дважды повторять их. Один раз он насмешил избранную публику, в огромном количестве наполнившую зал суда. Председатель обратился с каким-то приказанием к судебному приставу, и подсудимый, очевидно недослышав или по рассеянности, встал и громко спросил:

— Что, нужно выходить?

— Куда выходить?— удивился председатель.

— Не знаю. Вы что-то сказали.

В публике засмеялись, и председатель пояснил Керженцеву, в чем дело.

Экспертов-психиатров было вызвано четверо, и мнения их разделились поровну. После речи прокурора председатель обратился к обвиняемому, отказавшемуся от защитника:

— Обвиняемый! Что вы имеете сказать в свое оправдание?

Доктор Керженцев встал. Тусклыми, словно незрячими глазами он медленно обвел судей и взглянул на публику. И те, на кого упал этот тяжелый, невидящий взгляд, испытали странное и мучительное чувство: будто из пустых орбит черепа на них взглянула самая равнодушная и немая смерть.

— Ничего,— ответил обвиняемый.

И еще раз окинул он взором людей, собравшихся судить его, и повторил:

— Ничего.

Апрель 1902 г.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Наступила минута молчания, и среди лязга ножей о тарелки, смутного говора за дальними столами, шороха одежд и поскрипывания полов под быстрыми ногами лакеев чей-то тихий и кроткий голос произнес:

— А я люблю негритянок!

Антон Иванович поперхнулся водкой, которую глотал; собиравший посуду лакей исподлобья бросил безразлично-любопытный взгляд, все с изумлением обернулись к говорившему,— и тут впервые увидели дробное личико с рыжими усиками, концы которых намокли в водке и щах и темнели, бесцветные маленькие глазки и тщательно причесанную головку Семена Васильевича Котельникова. Пять лет служили они вместе с Котельниковым, каждый день здоровались с ним и прощались, и о чем-то говорили, всякое двадцатое число после получки жалованья вместе с ним обедали в ресторане, как сегодня, и первый раз увидели его. Увидели и изумились. Оказалось, что Семен Васильевич даже недурен, если не считать усиков и веснушек, похожих на грязные брызги от резиновой шины, что он хорошо одевается, и высокий белый воротничок у него самый чистый, хоть и бумажный.

Прокашлявшись, Антон Иванович, столоначальник, еще красный от напряжения, внимательно и любопытно оглядел выпученными глазами смутившегося Семена Васильевича и, задыхаясь, с ударением спросил:

— Так вы, Семен... как вас?

— Семен Васильевич,— напомнил Котельников и выговорил не «Василич», а полностью: «Васильевич», и это всем понравилось, как выражение чувства достоинства и самоуважения.

— Так вы, Семен Васильевич... любите негритянок?

— Да, я очень люблю негритянок.

И голос у него был хотя и тихонький и как будто немного сморщенный, как залежавшаяся щуплая репа, но приятный. Антон Иванович поджал нижнюю губу, так что седые усы уперлись в самый кончик красного, с ямочками, носа, обвел всех чиновников округлившимися глазами и, выдержав необходимую паузу, густо и сочно захохотал:

— Ха-ха-ха! Он любит негритянок! Ха-ха-ха!

И все дружно засмеялись, и толстый и мрачный Ползи-

ков, вообще не умевший смеяться, болезненно заржал: ги-ги-ги! Семен Васильевич тоже хохотал тихоньким и дробным, как сухой горох, смешком, краснел от удовольствия, но в то же время слегка боялся: не вышло бы каких неприятностей.

— Да вы это серьезно?— спросил Антон Иванович, отсмеявшись.

— Вполне серьезно-с. В них, в этих черных женщинах, есть нечто такое пламенное, или, как бы это вам пояснить, экзотическое.

— Экзотическое?

И опять все прыснули, но, смеясь, соображали, что Семен Васильевич даже образованный и умный человек, так как знает такое редкое слово: экзотический. Потом начали с жаром доказывать, что негритянок любить нельзя: они черные, маслянистые, у них невозможно толстые губы, и от них пахнет чем-то дурным.

— А я люблю! — скромно настаивал Семен Васильевич.

— Вольному воля,— решил Антон Иванович.— А я скорее козу полюблю, чем эту черномазую.

Но всем стало приятно, что среди них, на правах их товарища, находится такой оригинальный человек, который серьезно любит негритянок, и по этому случаю заказали еще полдюжины пива, а на соседние столы, где не было оригинальных людей, стали смотреть с некоторым презрением. И говорить начали громче и развязнее, а Семен Васильевич перестал сам зажигать спичку для своей папиросы и ждал, пока подаст огня лакей. Когда пиво было выпито и заказали еще, толстый Ползиков сурово поглядел на Семена Васильевича и с упреком сказал:

— Почему мы с вами, господин Котельников, до сих пор на «вы»? Кажется, в одном ведь отделении лямку трем. Нужно брудершафт выпить, если вы порядочный человек.

— Извольте. Я с большим удовольствием,— согласился Семен Васильевич. Он то сиял от восторга, что его наконец-то увидели и оценили, то боялся почему-то, что его побьют, и на всякий случай держал руку у груди, чтобы загородить, в случае нужды, лицо и прическу. После Ползикова он выпил на брудершафт с Троицким и Новоселовым и остальными, и так крепко целовался, что губы его распухли. Антон Иванович пить брудершафта не стал, но приветливо заявил:

— Когда будете в наших краях, захаживайте. Хоть вы и любите негритянок, но у меня дочери. Им будет интересно поглядеть на вас. Так вы это серьезно?

Семен Васильевич поклонился, и хотя немного покачивался от пива, но все заметили, что и манеры у него хорошие. По уходе Антона Ивановича еще пили, а потом шумно, всей компанией, шли по Невскому и ни перед кем не сторонились, а сами заставляли всех сторониться. Семен Васильевич шел посредине под руку с Троицким и мрачным Ползиковым и объяснял:

— Нет, брат Костя, ты этого не понимаешь. В негритянках есть нечто особенное, так сказать, экзотическое.

— И понимать не хочу,— говорил Ползиков,— черная и черная, и больше ничего.

— Нет, брат Костя, для этого нужен вкус. Негритянки, они, брат...— До этого дня Семен Васильевич ни разу не думал о негритянках и не мог более точно пояснить, что в них хорошего, и повторил:— Они, брат, пламенные.

— Ну чего ты споришь, Костя!— сердито говорил Троицкий, спотыкаясь и шлепая большой, обмененной калошей.— Удивительный ты спорщик, все не по тебе. Значит, он знает, почему любит. Валяй, Сеня, люби, не слушай дураков. Ты у нас молодец, мы возьмем вот сейчас да скандал устроим. Ей-Богу, какого черта!

— Черная и черная, только и всего,— угрюмо настаивал Ползиков.

— Нет, Костя, ты этого не понимаешь...— объяснял ему кротко Семен Васильевич, и так они шли, качаясь, галдя, споря и толкаясь, и очень довольные.

Через неделю весь департамент знал, что чиновник Котельников очень любит негритянок, а через месяц об этом знали швейцары соседних домов, просители и постовой городовой на углу. На Семена Васильевича приходили смотреть из соседних отделений барышни, работавшие на ремингтоне, а он сидел тихонький и скромный, и все не знал наверное, будут хвалить его или побьют. Один раз он был уже на вечере у Антона Ивановича, пил чай с вишневым вареньем на новой камчатной скатерти и объяснял, что в негритянках есть нечто экзотическое. Барышни конфузились, а дочь хозяина, Настенька, читавшая романы, щурилась близорукими глазами, поправляла завитушки и спрашивала:

— Но почему?

И всем было очень приятно, а когда интересный гость ушел, о нем говорили с большим сочувствием, и Настенька называла его жертвой пагубной страсти. И Семену Василь-

евичу понравилась Настенька, но так как он любил только негритянок, то не решился показать этого, и был хоть и вежлив, но холоден и недоступен. И всю дорогу он думал о негритянках, какие они черные, маслянистые и противные, и при мысли, что он целует одну из них, у него делалось что-то вроде изжоги, хотелось тихонько плакать и писать к матери в провинцию, чтобы она приезжала. Но за ночь он поборол припадок малодушия, и когда утром явился в канцелярию, то по всей его фигуре, по красному галстучку, по таинственному выражению лица видно было, что человек этот очень любит негритянок.

Вскоре после этого Антон Иванович, принявший участие в его судьбе, познакомил его с одним театральным репортером, а репортер бесплатно привел его в кафешантан и представил директору, m-r Жаку Дюкло.

— Вот этот господин,— сказал репортер, выдвигая вперед скромно склонявшегося Семена Васильевича,— вот этот господин очень любит негритянок. Никого, кроме негритянок. Изумительный оригинал. Вы ему, Жак Иванович, окажите поощрение, потому что если таких не поощрять, то кого же поощрять? Это, Жак Иванович, дело общественное.

Репортер покровительственно похлопал Семена Васильевича по узенькой, гладко обтянутой спине, а директор, француз с храбрыми черными усами, вскинул глаза к небу, как бы что-то там отыскивая, сделал решительный жест и, стрельнув черными глазами в продолжавшего кланяться чиновника, сказал:

— Негритянок! Это превосходно. У меня сейчас есть три прекрасные негритянки.

Семен Васильевич слегка побледнел, но m-r Жак очень любил свое учреждение и ничего не заметил. А репортер попросил:

— Да вы ему, Жак Иванович, дайте бесплатный билетик. Сезонный.

С этого вечера Семен Васильевич начал ухаживать за негритянкой, мисс Коррайт, у которой белки глаз были как глубокие тарелки, а самый зрачок не более черносливины. И когда она, медленно поворачивая весь этот снаряд, делала ему глазки, ноги у него холодели, он поспешно кланялся, блестя под электричеством своей напомаженной головкой, и с тоской думал о бедной своем матери, которая живет в провинции. По-русски мисс Коррайт ни слова не понимала, но, к счастью, нашлось много добровольных переводчиков, которые приняли близко к сердцу интересы молодой

пары и точно передавали Семену Васильевичу восторженные о нем отзывы черной девицы.

— Она говорит: никогда еще не видала такого любезного и красивого джентльмена. Верно?

Мисс Коррайт учащенно кивала черной головой, скалила зубы, широкие, как клавиши у фортепьяно, и во все стороны двигала своими тарелками. А Семен Васильевич так же бессознательно кивал головой и бормотал:

— Скажите ей, пожалуйста, что в негритянках есть нечто экзотическое.

И все были очень довольны. Когда Семен Васильевич в первый раз целовал негритянке руку, смотреть собрались почти все артисты и многие зрители, и один старый купец, Богдан Корнеич Селиверстов, прослезился от умиления и патриотических чувств. Потом пили шампанское, и два дня у Семена Васильевича было мучительное сердцебиение, он не ходил на службу и несколько раз начинал письмо: «Дорогая маменька», но от слабости не мог кончить. А когда явился в канцелярию, его пригласили в кабинет его превосходительства. Семен Васильевич пригладил щеткой волосы, вздыбившиеся за время болезни, расправил темные кончики усов, чтобы говорить яснее, и, замирая от страха, вошел.

— Послушайте. Правда, мне сказали, что вы...— Его превосходительство заикнулся.— Правда, что вы любите негритянок?

— Так точно, ваше превосходительство.

Генерал сосредоточил взгляд на его темени, на гладкой средине которого упорно поднимались и дрожали два тонкие волоска, и несколько удивленно, но вместе одобрительно спросил:

— Э, но почему же вы их любите?

— Не могу знать, ваше превосходительство,— ответил Семен Васильевич, так как мужество его покинуло.

— То есть как же не можете знать? Кто же может знать? Э, вы не стесняйтесь, мой милый. Я люблю в моих подчиненных проявление самостоятельности и вообще самодеятельности, если они, конечно, не переходят известных законных границ. Скажите же мне откровенно, как бы вы сказали вашему отцу, почему вы любите негритянок?

— В них, ваше превосходительство, есть нечто экзотическое.

В тот же вечер за генеральским винтом в Английском клубе его превосходительство, сдавая карты пухлыми белыми руками, с деланной небрежностью заметил:

— А у меня в канцелярии есть чиновник, который ужасно любит негритянок. Простой писец, представьте.

И трем другим генералам стало завидно: у них у каждого, в департаменте, было много чиновников, но это были самые обыкновенные, не оригинальные и бесцветные люди, о которых нечего было сказать. Желчный Анатолий Петрович долго думал, остался на верных четырех без одной и за следующей сдачей сказал:

— Вот тоже мой экзекутор: половина бороды черная, а половина рыжая.

Но все поняли, что победа осталась на стороне его превосходительства: экзекутор нисколько не повинен в том, что у него половина бороды рыжая, а половина черная, и, вероятно, сам этому не рад, а указанный чиновник самостоятельно, по доброй воле, любит негритянок, каковое пристрастие, несомненно, свидетельствует о его оригинальных вкусах. А его превосходительство, как бы ничего не замечая, еще добавил:

— Утверждает, что в негритянках есть что-то экзотическое.

Существование во втором департаменте удивительного оригинала создало ему весьма лестную популярность в чиновничьих кругах столицы и породило, как это всегда бывает, много неудачных и жалких подражателей. Один седой и многосемейный писец из шестого департамента, уже двадцать восемь лет незаметно сидевший за своим столом, всенародно заявил, что он умеет лаять по-собачьи, а когда над ним только посмеялись и всем отделением начали лаять, хрюкать и ржать, он очень сконфузился и впал в двухнедельный запой, забыв даже подать рапорт о болезни, как делал во все эти двадцать восемь лет. Другой чиновник, молоденький, притворился влюбленным в жену китайского посланника и на некоторое время привлек к себе общее внимание и даже сочувствие, но опытные взоры скоро различили жалкую и недобросовестную подделку под истинную оригинальность, и неудачник был позорно ввергнут в пучину прежней безвестности. Были и другие попытки в том же роде, и вообще в тот год среди чиновников замечался особый подъем духа, давно таившаяся тоска по оригинальному и с особенной силой охватила чиновничью молодежь и в некоторых случаях повела даже к трагическим последствиям: один канцелярист, сын хороших родителей, не сумев выдумать ничего оригинального, наговорил дерзостей начальству и был изгнан со службы. И у самого Семена Васильевича появились враги, открыто утверждавшие,

что он ничего не понимает в негритянках, но как бы в ответ им в одной газете появилось интервью, в котором Семен Васильевич публично заявил, с разрешения начальства, что он любит негритянок за то, что в них есть нечто экзотическое. И звезда Семена Васильевича засияла новым немеркнущим светом.

Теперь на вечерах у Антона Ивановича он стал самым желанным гостем, и Настенька не раз горько плакала — так ей жаль было его загубленную молодость, а он гордо сидел по самой середине стола и, чувствуя направленные отовсюду взгляды, делал несколько меланхолическое и в то же время экзотическое лицо. И всем: и самому Антону Ивановичу, и его гостям, и даже глухой бабушке, перемывавшей на кухне грязную посуду, было приятно, что в доме у них совсем запросто бывает такой оригинальный человек. А Семен Васильевич возвращался домой и плакал в подушку, так как очень любил Настеньку и всей душой ненавидел проклятую мисс Коррайт.

Перед Пасхой прошел слух, что Семен Васильевич женится на негритянке мисс Коррайт, которая для этого случая принимает православие и покидает службу у m-r Жака Дюкло, и что посаженым отцом у него будет сам его превосходительство. Сослуживцы, просители и швейцары поздравляли Семена Васильевича, а он кланялся, хоть и не так низко, как прежде, но еще более галантно, и прилизанная головка его блестела в лучах весеннего солнца. На последнем перед свадьбой вечере у Антона Ивановича он был положительным героем, и только Настенька через каждые полчаса бегала в свою комнатку плакать и так потом пудрилась, что с лица ее пудра сыпалась, как с мельничного жернова мука, и оба соседа ее в черных сюртуках побелели соответственно этому количеству. За ужином все поздравляли жениха и пили за его здоровье, а разошедшийся Антон Иванович сказал:

— Одно, брат, интересно: какого цвета будут у тебя дети?

— Полосатые,— мрачно сказал Ползиков.

— Как же это, полосатые?— изумились гости.

— А так: полоска белая, полоска черная, полоска белая, полоска черная,— все так же безнадежно пояснил Ползиков, которому всем сердцем жаль было старого друга.

— Не может этого быть!— возмутился побледневший Семен Васильевич, а Настенька, не сдержавшись, всхлипнула и выбежала из-за стола, чем произвела общий переполох.

Два года Семен Васильевич был самым счастливым человеком, и все радовались, глядя на него и вспоминая его необычайную судьбу. Однажды он был принят с супругой у самого его превосходительства и при рождении ребенка получил довольно крупное пособие из сверхсметных сумм, а вскоре затем, вне очереди, был назначен помощником делопроизводителя четвертого стола. И ребенок родился не полосатый, а только слегка серый, вернее, оливковый. И всюду Семен Васильевич говорил о том, как горячо любит он жену и сына, но не торопился возвращаться домой, а возвратившись, не торопился дергать за ручку звонка. А когда на пороге его встречали широкие, как фортепьянные клавиши, зубы и вертящиеся белые тарелки, и гладко причесанная голова его прижималась к чему-то черному, маслянистому и пахнущему мускусом, он весь замирал в чувстве тоски и думал о тех счастливых людях, у которых белые жены и белые дети.

— Милая!— говорил он покорно и, по настоянию счастливой матери, шел смотреть малютку.

Он ненавидел губастого, серого, как асфальт, малютку, но покорно нянчил его, мечтая в глубине души о возможности уронить его нечаянно на пол.

После долгих колебаний и потаенных вздохов он написал матери в провинцию о своей женитьбе и, к удивлению, получил от нее весьма радостный ответ. Ей тоже было приятно, что сын у нее такой оригинальный человек и что сам его превосходительство был посаженым отцом, а относительно черноты тела и дурного запаха она выражалась так: пусть морда овечья, была бы душа человечья.

А через два года Семен Васильевич умер от брюшного тифа. Перед кончиной он послал за приходским священником, и тот с любопытством оглядел бывшую мисс Коррайт, расправил широкую бороду и многозначительно сказал:

— Н-да.

Но видно было, что он уважает Семена Васильевича за оригинальность, хотя и считает ее греховной. Когда батюшка наклонился к умирающему, последний собрал остатки сил и широко раскрыл рот, чтобы закричать:

— Ненавижу этого черномазого дьявола!

Но вспомнил он его превосходительство, пособие из сверхсметных сумм, вспомнил доброго Антона Ивановича и Настеньку, взглянул на черное заплаканное лицо и тихо сказал:

— Я, батюшка, очень люблю негритянок. В них есть нечто экзотическое.

Последним усилием он придал своему костеневшему лицу подобие счастливой улыбки и с ней на устах скончался. И земля равнодушно приняла его, не спрашивая, любил он негритянок или нет, истлила его тело, смешала его кости с неизвестными костями других умерших людей и уничтожила всякий след белого бумажного воротничка.

И второй департамент долго хранил память о Семене Васильевиче, и, когда дожидавшиеся просители начинали скучать, швейцар водил их в свою каморку курить и рассказывал об удивительном чиновнике, который ужасно любил негритянок. И всем, рассказчику и слушателям, становилось приятно.

ПРЕДСТОЯЛА КРАЖА

Предстояла крупная кража, а быть может, убийство. Нынче ночью предстояла она — и скоро нужно было идти к товарищу, а не ждать в бездействии дома и не оставаться одному. Когда человек один и бездействует, то все пугает его и злорадно смеется над ним темным и глухим смехом.

Его пугает мышь. Она таинственно скребется под полом и не хочет молчать, хотя над головой ее стучат палкой так сильно, что страшно становится самому. И на секунду она замирает, но, когда успокоенный человек ложится, она внезапно появляется под кроватью и пилит доски так громко-громко, что могут услышать на улице и прийти и спросить. Его пугает собака, которая резко звякает на дворе своей цепью и встречает каких-то людей; и потом они, собака и какие-то люди, долго молчат и что-то делают; их шагов не слышно, но они приближаются к двери, и чья-то рука берется за скобку. Берется и держит, не отворяя.

Его страшит весь старый и прогнивший дом, как будто вместе с долголетней жизнью среди стонущих, плачущих, от гнева скрежещущих зубами людей к нему пришла способность говорить и делать неопределенные и страшные угрозы. Из мрака его кривых углов что-то упорно смотрит, а когда поднести лампу, он бесшумно прыгает назад и становится высокой черной тенью, которая качается и смеется — качается и смеется, такая страшная на круглых бревнах стены. По низким потолкам его кто-то ходит тяжелыми стопами; шагов его почти не слышно, но доски гнутся, а в пазы сыплется мелкая пыль. Она не может сыпаться, если нет никого на темном чердаке и никто не ходит и не ищет

чего-то. А она сыплется, и паутина, черная от копоти, дрожит и извивается. К маленьким окнам его жадно присасывается молчаливая и обманчивая тьма, и — кто знает?— быть может, оттуда с зловещим спокойствием невидимок глядят тусклые лица и друг другу показывают на него:

— Смотрите! Смотрите! Смотрите на него!

Когда человек один, его пугают даже люди, которых он давно знает. Вот они пришли, и человек был рад им; он весело смеялся и спокойно глядел на углы, в которых кто-то прятался, на потолок, по которому кто-то ходил,— теперь никого уже нет, и доски не гнутся, и не сыплется больше тонкая пыль. Но люди говорят слишком много и слишком громко. Они кричат, как будто он глухой, и в крике теряются слова и их смысл; они кричат так обильно и громко, что крик их становится тишиной, и слова их делаются молчанием. И слишком много смотрят они. У них знакомые лица, но глаза их чужие и странные и живут отдельно от лица и его улыбки. Как будто в глазные щели старых, приглядевшихся лиц смотрит кто-то новый, чужой, все понимающий и страшно хитрый.

И человек, которому предстояла крупная кража, а быть может, убийство, вышел из старого покосившегося дома. Вышел и облегченно вздохнул.

Но и улица — безмолвная и молчаливая улица окраин, где строгий и чистый снег полей борется с шумным городом и властно вторгается в него немыми и белыми потоками — пугает человека, когда он один. Уже ночь, но тьмы нет, чтобы скрыть человека. Она сбирается где-то далеко, впереди и сзади и в темных домах с закрытыми ставнями, и прячет всех других людей,— а перед ним она отступает, и все время он идет в светлом кругу, такой обособленный и всем видимый, как будто поднят он высоко на широкой и белой ладони. И в каждом доме, мимо которого движется его сгорбленная фигура, есть двери, и все они смотрят так сторожко и напряженно, как будто за каждой из них стоит готовый выскочить человек. А за заборами, за длинными заборами, расстилается невидимое пространство: там сады и огороды, и там никто не может быть в эту холодную зимнюю ночь,— но если бы кто-нибудь притаился с той стороны и в темную щель глядел бы на него чужими и хитрыми глазами, он не мог бы догадаться о его присутствии. И от этого он перебрался на средину улицы и шел по ней, обособленный и всем видимый, а отовсюду провожали его глазами сады, заборы и дома.

Так вышел человек на замерзшую реку. Дома, полные людей, остались за пределами светлого круга, и только поле и только небо холодными светлыми очами глядели друг на друга. Но было неподвижно поле, а все небо быстро бежало куда-то, и мутный, побелевший месяц стремительно падал в пустоту бездонного пространства. И ни дыхания, ни шороха, ни тревожной тени на снегу — хорошо и просторно стало кругом. Человек расправил плечи, широко и злобно взглянул на оставленную улицу и остановился.

— Покурим!— сказал он громко и хрипло, и спичка слегка осветила широкую черную бороду.

И тут же выпала из вздрогнувшей руки, так как на слова его пришел ответ — странный и неожиданный ответ среди этого мертвого простора и ночи. Нельзя было понять: голос это или стон, далеко он или близко, угрожает он или зовет на помощь. Что-то прозвучало и замерло.

Долго ждал напуганный человек, но звук не повторялся. И, еще подождав, он еще спросил:

— Кто тут?

И так неожидан и изумительно-прост был ответ, что человек рассмеялся и бессмысленно выругался: то щенок визжал — самый обыкновенный и, должно быть, очень еще маленький щенок. Это видно было по его голосу — слабенькому, жалобному и полному той странной уверенности, что его должны услышать и пожалеть, какая звучит всегда в плаче очень маленьких и ничего не понимающих детей. Маленький щенок среди снежного простора ночи. Маленький, простой щенок, когда все было так необыкновенно и жутко, и весь мир тысячью открытых очей следил за человеком. И человек вернулся на тихий зов.

На утоптанном снегу дальней тропинки, беспомощно откинув задние лапки и опираясь на передние, сидел черненький щенок и весь дрожал. Дрожали лапки, на которые он опирался, дрожал маленький черный носик, и закругленный кончик хвоста отбивал по снегу ласково-жалобную дробь. Он давно замерзал, заблудившись в беспредельной пустыне, многих уверенно звал он на помощь, но они оглядывались и проходили мимо. А теперь над ним остановился человек.

«А ведь это, кажется, наш щенок!»— подумал человек, приглядываясь.

Он смутно помнил что-то крошечное, черное, вертлявое; оно громко стучало лапками, путалось под ногами и тоже визжало. И люди занимались им, делали с ним что-то смешное и ласковое, и кто-то однажды сказал ему:

— Погляди, какой Тютька потешный.

Он не помнит, поглядел он или нет; быть может, никто и не говорил ему этих слов; быть может, и щенка никакого у них в доме не было, а это воспоминание пришло откуда-то издалека, из той неопределенной глубины прошлого, где много солнца, красивых и странных звуков, и где все путается.

— Эй! Тютька!— позвал он.— Ты зачем попал сюда, собачий сын?

Щенок не повернул головки и не завизжал: он глядел куда-то в сторону и весь безнадежно и терпеливо дрожал. Самый обыкновенный и дрянной был этот щенок, а человек так постыдно испугался его и сам чуть-чуть не задрожал. А ему еще предстоит крупная кража и, может быть, убийство.

— Пошел!— крикнул человек грозно.— Пошел домой, дрянь!

Щенок как будто не слыхал; он глядел в сторону и дрожал все той же настойчивой и мучительной дрожью, на которую холодно было смотреть. И человек серьезно рассердился.

— Пошел! Тебе говорят!— закричал он.— Пошел домой, дрянь, поганыш, собачий сын, а то я тебе голову размозжу. По-о-шел!

Щенок глядел в сторону и как будто не слыхал этих страшных слов, которых испугался бы всякий, или не придавал им никакого значения. И то, что он так равнодушно и невнимательно принимал сердитые и страшные слова, наполнило человека чувством злобы и злобу его сделало бессильной.

— Ну, и подыхай тут, собака!— сказал он и решительно пошел вперед.

И тогда щенок завизжал — жалобно, как погибающий, и уверенно, что его должны услышать, как ребенок.

— Ага, завизжал!— с злобной радостью сказал человек и так же быстро пошел назад, и когда подошел — щенок сидел молча и дрожал.

— Ты пойдешь или нет?— спросил человек и не получил ответа.

И вторично спросил то же и вторично не получил ответа.

И тогда началась странная и нелепая борьба большого и сильного человека с замерзающим животным. Человек прогонял его домой, сердился, кричал, топал огромными ногами, а щенок глядел в сторону, покорно дрожал от холода и страха и не двигался с места. Человек притворно пошел назад к дому и ласково чмокал губами, чтобы щенок

побежал за ним, но тот сидел и дрожал, а когда человек отошел далеко, стал настойчиво и жалобно визжать. Вернувшись, человек ударил его ногой: щенок перевернулся, испуганно взвизгнул и опять сел, опираясь на лапки, и задрожал. Что-то непонятное, раздражающее и безвыходное вставало перед человеком. Он забыл о товарище, который ждал его, и обо всем том далеком, что будет сегодня ночью,— и всей раздраженной мыслью отдавался глупому щенку. Не мог он помириться с тем, как щенок не понимает слов, не понимает необходимости скорей бежать к дому.

С яростью человек поднял его за кожу на затылке и так отнес на десять шагов ближе к дому. Там он осторожно положил его на снег и приказал:

— Пошел! Пошел домой!

И, не оглядываясь, зашагал к городу. Через сотню шагов он в раздумье остановился и поглядел назад. Ничего не было ни видно, ни слышно — широко и просторно было на замерзшей речной глади. И осторожно, подкрадываясь, человек вернулся к тому месту, где оставил щенка,— и с отчаянием выругался длинным и печальным ругательством: на том же месте, где его поставили, ни на пядь ближе или дальше, сидел щенок и покорно дрожал. Человек наклонился к нему ближе и увидел маленькие круглые глазки, подернутые слезами, и мокрый жалкий носик. И все это покорно и безнадежно дрожало.

— Да пойдешь ты? Убью на месте!— закричал он и замахнулся кулаком.

Собрав в глаза всю силу своей злобы и раздражения, свирепо округлив их, он секунду пристально глядел на щенка и рычал, чтобы напугать. И щенок глядел в сторону своими заплаканными глазками и дрожал.

— Ну, что мне с тобой делать? Что?— с горечью спросил человек.

И, сидя на корточках, он бранил его и жаловался, что не знает, как быть; говорил о товарище, о деле, которое предстоит им сегодня ночью, и грозил щенку скорой и страшной смертью.

И щенок глядел в сторону и молча дрожал.

— А, дурак, пробковая голова!— с отчаянием крикнул человек; как что-то противное, убийственно ненавидимое, подхватил маленькое тельце, дал ему два сильных шлепка и понес к дому.

И диким хохотом разразились, встречая его, дома, заборы и сады. Глухо и темно гоготали застывшие сады и огороды, сметливо и коварно хихикали освещенные окна

и всем холодом своих промерзших бревен, всем таинственным и грозным нутром своим, сурово смеялись молчаливые и темные дома:

— Смотрите! Смотрите! Вот идет человек, которому предстоит убийство, и несет щенка. Смотрите! Смотрите на него!

И совестно и страшно стало человеку. Дымным облаком окутывали его злоба и страх, и что-то новое, странное, чего никогда еще не испытывал он в своей отверженной и мучительной жизни вора: какое-то удивительное бессилие, какая-то внутренняя слабость, когда крепки мышцы и злобой сводится сильная рука, а сердце мягко и бессильно. Он ненавидел щенка — и осторожно нес его злобными руками, так бережно и осторожно, как будто была это великая драгоценность, дарованная ему прихотливой судьбой. И сурово оправдывался он:

— Что же я с ним поделаю, если он не идет. Ведь нельзя же, на самом деле!

А безмолвный хохот все рос и сонмом озлобленных лиц окружал человека, которому нынче предстояло убийство и который нес паршивого черненького щенка. Теперь не одни дома и сады смеялись над ним, смеялись и все люди, каких он знал в жизни, смеялись все кражи и насилия, какие он совершал, все тюрьмы, побои и издевательства, какие претерпело его старое, жилистое тело.

— Смотрите! Смотрите! Ему красть, а он несет щенка! Ему нынче красть, а он опоздает с паршивым маленьким щенком. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Старый дурак! Смотрите! Смотрите на него!

И все быстрее он шел. Подавшись вперед всем туловищем, наклонив голову, как бык, готовый бодаться, он точно пробивался сквозь невидимые ряды невидимых врагов и, как знамя, нес перед собой таинственные и могущественные слова:

— Да ведь нельзя же на самом деле! Нельзя!

И все тише, все глуше становился потаенный смех невидимых врагов, и реже стали их тесные ряды. Быть может, оттого случилось это, что пушистым снегом рассыпались тучи и белым колеблющимся мостом соединили небо с землей. И медленнее пошел успокоенный человек, а в злобных руках его оживал полузамерзший черненький щенок. Куда-то далеко, в самую глубину маленького тела, загнал мороз нежную теплоту жизни — и теперь она выходила оттуда пробуждающаяся, яркая, странно-прекрасная в своей непостижимой тайне — такая же прекрасная, как зарождение света и огня среди глубокой тьмы и ненастья.

В ТУМАНЕ

В тот день с самого рассвета на улицах стоял странный, неподвижный туман. Он был легок и прозрачен, он не закрывал предметов, но все, что проходило сквозь него, окрашивалось в тревожный темно-желтый цвет, и свежий румянец женских щек, яркие пятна их нарядов проглядывали сквозь него, как сквозь черный вуаль: и темно и четко. К югу, где за пологом туч пряталось ноябрьское низкое солнце, небо было светло, светлее земли, а к северу оно спускалось широкой, ровно темнеющей завесой и у самой земли становилось изжелта-черным и непрозрачным, как ночью. На тяжелом фоне его темные здания казались светло-серыми, а две белые колонны у входа в какой-то сад, опустошенный осенью, были как две желтые свечи над покойником. И клумбы в этом саду были взрыты и истоптаны грубыми ногами, и на сломанных стеблях тихо умирали в тумане запоздалые болезненно-яркие цветы.

И сколько ни было людей на улицах, все торопились, и все были сумрачны и молчаливы. Печален и страшно тревожен был этот призрачный день, задыхавшийся в желтом тумане.

В столовой уже пробило двенадцать часов, потом коротко отбило половину первого, а в комнате Павла Рыбакова было темно, как в сумерках, и на всем лежал отраженный, исчерна-желтый отсвет. От него желтели, как старая слоновая кость, тетради и бумаги, разбросанные по столу, и нерешенная алгебраическая задача на одной из них со своими ясными цифрами и загадочными буквами смотрела так старо, так заброшенно и ненужно, как будто много скучных лет пронеслось над нею; желтело от него и лицо Павла, лежавшего на кровати. Крепкие, молодые руки его были закинуты за голову и обнажились почти до локтя; раскрытая книжка, корешком вверх, лежала на груди, и темные глаза упорно глядели в лепной раскрашенный потолок. В пестроте и грязных тонах его окраски было что-то скучное, надоедливое и безвкусное, напоминавшее о десятках людей, которые жили в этой квартире до Рыбаковых, спали, говорили, думали, делали что-то свое — и на все наложили свою чуждую печать. И эти люди напоминали Павлу о сотнях других людей, об учителях и товарищах, о шумных и людных улицах, по которым ходят женщины,

и о том — самом для него тяжелом и страшном,— о чем хочется забыть и не думать.

— Скучно... Ску-у-чно!— протяжно говорит Павел, закрывает глаза и вытягивается так, что носки сапог касаются железных прутьев кровати. Углы густых бровей его скосились, и все лицо передернула гримаса боли и отвращения, странно исказив и обезобразив его черты; когда морщины разгладились, видно стало, что лицо его молодо и красиво. И особенно красивы были смелые очертания пухлых губ, и то, что над ними по-юношески не было усов, делало их чистыми и милыми, как у молоденькой девушки.

Но лежать с закрытыми глазами и видеть в темноте закрытых век все то ужасное, о чем хочется забыть навсегда, было еще мучительнее, и глаза Павла с силою открылись. От их растерянного блеска в лице его появилось что-то старческое и тревожное.

— Бедный я малый! Бедный я малый!— вслух пожалел он себя и повернул глаза к окну, жадно ища света. Но его нет, и желтый сумрак настойчиво ползет в окна, разливается по комнате и так ясно ощутим, как будто его можно осязать пальцами. И снова перед глазами развернулся в высоте потолок.

Карниз потолка был лепной и изображал русское село: углом вперед стояла хата, каких никогда не бывает в действительности; рядом застыл мужик с приподнятой ногою, и палка в руках была выше его, а он сам был выше хаты; дальше кривилась малорослая церковь, а возле нее выпирала вперед огромная телега с такой маленькой лошадью, как будто это была не лошадь, а гончая собака. И морда у нее была острая, как у собаки. Потом опять в том же порядке: хата, большой мужик, церковь и огромная телега, и так кругом комнаты. И все это было желтое на грязно-розовом фоне, уродливое и скучное, и напоминало не деревню, а чью-то печальную и лишенную смысла жизнь. Противен был мастер, который лепил деревню и не дал ей ни одного дерева.

— Хоть бы завтракать скорее!— прошептал Павел, хотя ему совсем не хотелось есть, и нетерпеливо повернулся на бок. При движении книга свалилась на пол и листы ее подвернулись, но Павел не протянул руки, чтобы поднять ее. На корешке золотом по черному было напечатано: «Бокль. История цивилизации», и это напоминало о чем-то старом, о множестве людей, которые испокон веков хотят устроить свою жизнь и не могут; о жизни, в которой все непонятно

и совершается с жестокой необходимостью, и о том печальном и давящем, как совершенное преступление, о чем не хотел думать Павел. И так захотелось света, широкого и ясного, что даже заломило в глазах. Павел вскочил, обошел валявшуюся книжку и начал дергать драпри у окна, стараясь раздвинуть их как можно шире.

— А, черт!— ругался он и отбрасывал материю, но, тяжелая, она тупо падала назад прямыми и равнодушными складками. Внезапно устав и потеряв всю энергию, Павел лениво отодвинул ее и сел на холодный подоконник.

Туман стоял, и небо за серыми крышами было желточерное, и тень от него падала на дома и мостовую. Неделю тому назад выпал первый непрочный снег, растаял, и с тех пор на мостовой лежала липкая и серая грязь. Местами мокрые камни отражали черное небо и блестели косым и темным блеском и по ним, вздрагивая и колыхаясь, катились экипажи. Грохота наверху не было слышно,— он замирал в тумане, бессильный подняться над землею, и это бесшумное движение под черным небом, среди темных, промокших домов, казалось бесцельным и скучным. Но среди идущих и едущих были женщины, и их присутствие давало картине сокровенный и тревожный смысл. Они шли по какому-то своему делу и были, казалось, такие обыкновенные и незаметные; но Павел видел их странную и страшную обособленность: они были чужды всей остальной толпе и не растворялись в ней, но были как огоньки среди тьмы. И все было для них: улицы, дома и люди, и все стремилось к ним, жаждало их — и не понимало. Слово «женщина» было огненными буквами выжжено в мозгу Павла; он первым видел его на каждой развернутой странице; люди говорили тихо, но, когда встречалось слово «женщина», они как будто выкрикивали его,— и это было для Павла самое непонятное, самое фантастическое и страшное слово. Острым и подозрительным взглядом он прослеживал каждую из женщин и смотрел так, будто она вот сейчас подойдет к дому и взорвет его со всеми людьми или сделает что-нибудь еще более ужасное. Но когда он случайно наткнулся взором на хорошенькое женское личико, он весь подтянулся, сделал красивое и привлекательное лицо и приказал глазами, чтобы она обернулась, взглянула на него. Но она не обернулась, и опять в груди стало пусто, темно и страшно, как в вымершем доме, сквозь который прошла угрюмая чума, убила все живое и досками заколотила окна.

— Ску-у-чно!— протяжно сказал Павел и отвернулся от улицы.

В столовой, рядом, давно уже ходили, разговаривали и стучали посудой. Потом все затихло, и послышался хозяйский голос Сергея Андреича, отца Павла, горловой, снисходительный басок. При первых его округлых и приятных звуках будто пахнуло хорошими сигарами, умной книгой и чистым бельем. Но теперь в нем было что-то надтреснутое и покоробленное, словно и в гортань Сергея Андреича проник грязно-желтый, скучный туман.

— А юноша наш еще изволят почивать?

Ответа матери Павел не слыхал.

— И к обедне в училище, конечно, ходить не изволили?

Ответа опять не было слышно.

— Ну, конечно,— продолжал отец с насмешкою,— обычай устарелый и...

Окончания фразы Павел не слыхал, так как Сергей Андреич повернулся; но было сказано, вероятно, что-нибудь смешное, и Лиля звонко захохотала. Когда отец Павла имел против него какое-нибудь тайное неудовольствие, он бранил его за то, что в праздники он поздно встает и не ходит к обедне, хотя сам к религии был совершенно равнодушен и не был в церкви около двадцати лет,— с тех пор как женился. И с самого лета, когда они жили на даче, он имел что-то против Павла, и тот думал, что он догадывается. Но теперь угрюмо решил:

— Пусть его!

Взяв со стола тетрадку, он сделал вид, что читает. Но глаза его враждебно и сторожко были направлены к столовой, как у человека, который привык скрываться и постоянно ждет нападения.

— Позовите Павла!— сказал Сергей Андреич.

— Павел! Павлуша!— позвала мать.

Павел быстро встал и, вероятно, сделал себе очень больно: он перегнулся, лицо его исказилось гримасой страдания, и руки судорожно прижались к животу. Медленно он выпрямился, стиснул зубы, от чего углы рта притянулись к подбородку, и дрожащими руками оправил куртку. Потом лицо его побледнело и потеряло всякое выражение, как у слепого, и он вышел в столовую, шагая решительно, но сохраняя в походке следы испытанной жестокой боли.

— Что делал?— коротко спросил Сергей Андреич: у них не принято было здороваться по утрам.

— Читал,— так же коротко ответил Павел.

— Что?

— Бокля.

— То-то, Бокля,— сказал Сергей Андреич, с угрозою, через пенсне, глядя на сына.

— А что?— решительно и вызывающе ответил Павел и посмотрел отцу прямо в глаза.

Тот помолчал и многозначительно бросил:

— Ничего.

Тут вмешалась Лилечка, которой стало жаль брата:

— Павля, ты вечером будешь дома?

Павел молчал.

— Кто не отвечает, когда его спрашивают, тот обыкновенно называется невежей. Как ваше мнение на этот счет, Павел Сергеевич?— спросил отец.

— Охота тебе, Сергей Андреич!— вмешалась мать.— Ешь, а то котлеты простынут. Какая ужасная погода, хоть огни зажигай! И не знаю, как я поеду.

— Буду...— ответил Павел Лилечке, а Сергей Андреич поправил пенсне и сказал:

— Меланхолии этой я не выношу, мировой скорби... Порядочный мальчик должен быть бодр и весел.

— Нельзя, чтобы всегда было весело,— ответила Лилечка, которой всегда было весело.

— Я не требую, чтобы люди насильно веселились. Ты отчего не ешь? Тебя спрашиваю, Павел!

— Не хочу.

— Отчего не хочешь?

— Аппетита нет.

— А вчера где вечером был? Шатался?

— Дома был.

— То-то, дома!

— А где же мне быть?— дерзко спросил Павел.

Сергей Андреич ответил с ядовитою вежливостью:

— Откуда же мне знать все места,— он подчеркнул слово «места»,— которые изволит посещать Павел Сергеевич? Павел Сергеевич взрослый; у Павла Сергеевича скоро усы вырастут; Павел Сергеевич, может, и водку пьет,— почем я знаю?

Завтрак продолжался молча, и все, на что падал свет из окна, казалось желтым и странно угрюмым. Сергей Андреич внимательно и испытующе глядел в лицо Павла и думал: «И под глазами круги... Но неужели это правда, и он близок с женщинами — такой мальчишка?»

Этот странный и мучительный вопрос, продумать который до конца у Сергея Андреича не хватает силы, явился недавно, летом, и он живо помнит, как это произошло,

и никогда не забудет. За маленьким сарайчиком, где была густая трава и белая березка бросала прохладную синюю тень, он случайно увидел надорванный и скомканный листок бумаги. Было в этом листке что-то особенное и тревожное: так рвут и комкают бумаги, которые возбуждают ненависть и гнев, и Сергей Андреич поднял ее, расправил и посмотрел. Это был рисунок. Сперва он не понял, улыбнулся и подумал: «Это Павлов рисунок! Славно он рисует!» Потом повернул бумагу боком и ясно различил безобразно-циничную и грязную картинку.

— Что за гадость!— сказал он сердито и бросил бумажку.

Минут через десять он вернулся за нею, понес ее к себе в кабинет и долго рассматривал, стараясь решить едкую и мучительную загадку: рисовал ли это Павел, или кто-нибудь другой? Он не мог допустить, чтобы такую грязную, пошлую вещь мог нарисовать Павел и, рисуя, знать все то развратное и мерзкое, что в ней было. В смелости линий видна была опытная и развращенная рука, без колебаний подходившая к самому сокровенному, о чем неиспорченным людям стыдно думать; в старательности, с какой рисунок исправлялся резинкой и подцвечивался красным карандашом, была наивность глубокого и бессознательного падения. Сергей Андреич смотрел и не верил, чтобы его Павел, его умный и развитой мальчик, все мысли которого он знает, мог своею рукою, загорелою рукою крепкого и чистого юноши, рисовать такую гадость и знать и понимать все то, что он рисует. И так как очень было страшно думать, что это сделал Павел, то решил, что это кто-нибудь другой; но бумажку спрятал. И когда увидел Павла, соскочившего с велосипеда, веселого, живого, еще полного чистых запахов полей, по которым он носился,— он еще раз решил, что это не Павел сделал, и обрадовался.

Но радость скоро прошла, и уже через полчаса Сергей Андреич смотрел на Павла и думал: кто этот чужой и незнакомый юноша, странно высокий, странно похожий на мужчину? Он говорит грубым и мужественным голосом, много и жадно ест, спокойно и независимо наливает в стакан вино и покровительственно шутит с Лилей. Он называется Павлом, и лицо у него Павла, и смех у него Павла, и когда он обгрыз сейчас верхнюю корку хлеба, то обгрыз ее, как Павел,— но Павла в нем нет.

— А сколько тебе лет, Павел?— спросил Сергей Андреич. Павел засмеялся.

— Старик уже я, папаша! Скоро восемнадцать.

— Ну, далеко еще до восемнадцати,— поправила мать.— Еще только шестого декабря будет восемнадцать.

— А усов нет!— сказала Лиля.

И все стали шутить, что у Павла нет усов, и он притворялся, что плачет; а после обеда налепил на губу ваты и говорил старческим голосом:

— А где моя старуха?

И ходил как расслабленный. И тут еще Лиля заметила, что Павел что-то особенно весел; после чего Павел нахмурился, снял усы и ушел в свою комнату. И с тех пор Сергей Андреич искал прежнего милого, хорошо знакомого мальчика, натыкался на что-то новое и загадочное и мучительно недоумевал.

И еще новое узнал он тогда в Павле: то, что сын его постоянно переживает какие-то настроения: один день бывает весел и шаловлив, а то по целым часам хмурится, становится раздражителен и несносен, и хоть и сдерживается, но видно, что страдает от каких-то неведомых причин. И было очень тяжело и неприятно видеть, что близкий человек печален, и не знать причин, и от этого близкий человек становился далеким и чужим. Уже по одному тому, как входил Павел, как он без аппетита пил чай, крошил пальцами хлеб, а сам смотрел в сторону, на соседний лес, отец чувствовал его дурное настроение и возмущался. И ему хотелось, чтобы Павел заметил это и понял, какую неприятность делает он отцу своим дурным настроением; но Павел не замечал и, кончив чай, уходил.

— Куда ты?— спрашивал Сергей Андреич.

— В лес.

— Опять в лес!— сердито замечал отец.

Павел слегка удивлялся:

— А что? Ведь я каждый день в лес хожу.

Отец молча отвертывался, а Павел уходил, и по его широкой, спокойно колышущейся спине видно было, что он даже не задумался о том, почему сердится отец, и совсем забыл о его существовании.

И уже давно Сергей Андреич хотел решительно и откровенно поговорить с Павлом, но слишком мучителен был предстоящий разговор, и он откладывал его со дня на день. А с переездом в город Павел стал особенно мрачен и нервен, и Сергей Андреич боялся за себя, что не сумеет говорить достаточно спокойно и внушительно. Но в этот день, за долгим и скучным завтраком, решил, что сегодня же поговорит. «Быть может, он просто влюблен, как влюблены бывают все эти мальчишки и девчонки,— успокаивал он се-

бя.— Вон и Лилька влюблена в какого-то Авдеева; а я и не помню, какой он. Кажется, гимназист».

— Лиля! Авдеев сегодня будет?— спросил Сергей Андреич с усиленным, подчеркнутым равнодушием.

Лиля испуганно взмахнула длинными ресницами, выронила из рук грушу и прошептала:

— Ах!..— Потом полезла под стол за грушей, и когда вернулась оттуда, то была вся красная, и даже голос ее был как будто красный.— Тинов будет, Поспелов будет... и Авдеев тоже будет.

В комнате Павла стало немного светлее, и лепная деревня на потолке выступила резче и глядела с тупым и наивным самодовольством. Павел сердито отвернулся и взял книжку, но скоро положил ее к себе на грудь и стал думать о том, что сказала Лилечка: гимназистки придут. Это значит, что придет и Катя Реймер — всегда серьезная, всегда задумчивая, всегда искренняя Катя Реймер. Эта мысль была как огонь, на который упало его сердце, и со стоном он быстро повернулся и уткнулся лицом в подушку. Потом, так же быстро приняв прежнее положение, он сдернул с глаз две едкие слезинки и уставился в потолок, но уже не видел ни большого мужика с большой палкой, ни огромной телеги. Он вспомнил дачу и темную июльскую ночь.

Темная была эта ночь, и звезды дрожали в синей бездне неба, и снизу гасила их, подымаясь из-за горизонта, черная туча. И в лесу, где он лежал за кустами, было так темно, что он не видел своей руки, и порой ему чудилось, что и самого его нет, а есть только молчаливая и глухая тьма. Далеко во все стороны расстилался мир, и был он бесконечный и темный, и всем одиноким и скорбным сердцем чувствовал Павел его неизмеримую и чуждую громаду. Он лежал и ждал, когда по тропинке пройдет Катя Реймер с Лилечкой и другими веселыми и беззаботными людьми, которые живут в том, чуждом для него мире и чужды для него. Он не пошел с ними, так как любил Катю Реймер чистой, красивой и печальной любовью, и она не знала об этой любви и никогда не могла разделить ее. И ему хотелось быть одному и возле Кати, чтобы глубже почувствовать ее далекую прелесть и всю глубину своего горя и одиночества. И он лежал в кустах, на земле, чужой всем людям и посторонний для жизни, которая со всею своею красотою, песнями и радостью проходила мимо него,— проходила в эту июльскую темную ночь.

Он долго лежал, и тьма стала гуще и чернее, когда далеко впереди послышались голоса, смех, хрустение сучков

под ногами, и ясно стало, что идет много молодого и веселого народа. И все это надвигалось толпою веселых звуков и стало совсем близко.

— Ох, батюшки!— говорила Катя Реймер густым и звучным контральто.— Да тут голову расшибешь. Тинов, светите!

Из тьмы пропищал странный и смешной голос полишинеля:

— Спички потерял, Катерина Эдуардовна!

Среди смеха прозвучал другой голос, молодой и сдержанный бас:

— Позвольте, Катерина Эдуардовна, я посвечу!

Катя Реймер ответила, и голос ее был серьезный и изменившийся:

— Пожалуйста, Николай Петрович!

Спичка сверкнула и секунду горела ярким, белым светом, выделяя из мрака только державшую ее руку, как будто последняя висела в воздухе. Потом стало еще темнее, и все со смехом и шутками двинулись вперед.

— Давайте вашу руку, Катерина Эдуардовна!— прозвучал тот же молодой, сдержанный бас.

Минута тишины, пока Катя Реймер давала свою руку, и затем твердые мужские шаги и рядом с ними скромный шелест платья. И тот же голос тихо и нежно спросил:

— Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна?

Ответа Павел не слыхал. Идущие повернулись к нему спиною; голоса сразу стали глуше, вспыхнули еще раз, как умирающее пламя костра, и потухли. И когда казалось, что ничего уже нет, кроме глухого мрака и молчания, с неожиданной звонкостью прозвучал женский смех, такой ясный, невинный и странно-лукавый, как будто засмеялся не человек, а молодая темная береза или кто-то, прячущийся в ее ветвях. И точно разбегающийся шепот шмыгнул по лесу, и все выжидающе смолкло, когда мужской голос, как золото, мягкий, блестящий и звонкий, запел высоко и страстно:

— Ты мне сказала: да — я люблю тебя!..

Так ослепительно-ярок, так полон живой силы был этот голос, что зашевелился, казалось, лес, и что-то сверкающее, как светляки в пляске, мелькнуло в глазах Павла. И снова те же слова, и звенели они слитно, как стон, как крик, как глубокий неразделимый вздох.

— Ты мне сказала: да — я люблю тебя!..

И еще и еще, с безумной настойчивостью, повторял певец все ту же короткую и долгую фразу, точно вонзал ее во

тьму. Казалось, он не мог остановиться; и с каждым повторением жгучий призыв становился сильнее и неудержимее; уже беспощадность звучала в нем — бледнело чье-то лицо, и счастье так похоже становилось на смертельную тоску.

Минута черного молчания — далекий, тихо сверкающий, загадочный, как зарница, женский смех,— и стихло все, и тяжелая тьма словно придавила идущих. Стало мертвенно-тихо и пусто, как в пустом пространстве, на тысячу верст над землей. Жизнь прошла мимо со всеми ее песнями, любовью и красотой — прошла в эту июльскую темную ночь.

Павел поднялся из-за кустов и тихо прошептал:

— Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна?— и тихие слезы навернулись на его глазах.

— Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна?— повторял он и без цели шел вперед, во тьму крепчавшей ночи. Раз он совсем близко коснулся дерева и остановился в недоумении. Потом обвил шершавый ствол рукою, прижался к нему лицом, как к другу, и замер в тихом отчаянии, которому не дано слез и бешеного крика. Потом тихо отшатнулся от дерева, которое его приютило, и пошел дальше.

— Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна?— повторял он, как жалобную песню, как тихую молитву отчаяния, и вся душа его билась и плакала в этих звуках. Грозный сумрак охватывал ее, и, полная великой любви, она молилась о чем-то светлом, чего не знала сама, и оттого так горяча была ее молитва.

Уже не было в лесу покоя и тишины: дыхание бури колыхнуло воздух, и сдержанно зарокотали вершины, и сухим смешком побежал по листьям ветер. Когда Павел вышел на опушку, ветер чуть не сорвал с него шапку и властно ударил его в лицо холодом, свежестью и запахом ржи. Было величественно и грозно. Сзади черной и глухо стонущей массой вздымался лес, а впереди тяжелая и черная, как мрак, принявший формы, надвигалась грозовая туча. И под нею расстилалось поле ржи, и было оно совсем белое, и оттого, что оно было такое белое среди тьмы, когда ниоткуда не падало света, рождался непонятный и мистический страх. А когда вспыхивала молния и облака вырисовывались тонкой встревоженной грудою теней, на поле от края до края ложился широкий золотисто-красный огонь, и колосья бежали, склонив головы, как испуганное стадо,— бежали в эту июльскую грозную ночь.

Павел поднялся на высокий вал, распростер руки и точно звал к себе на грудь и ветер, и черную тучу, и все небо,

такое прекрасное в своем огненном гневе. И ветер кружился по его лицу, точно ощупывая его, и со свистом врывался в гущу податливых листьев; а туча вспыхивала и грохотала, и, низко склонившись, бежали колосья.

— Ну, иди! Иди!— кричал Павел, а ветер подхватил его слова и свирепо втискивал их обратно в его горло, и среди грохота неба не слышно было этих мятежных и молитвенных слов, с которыми маленький человек обращался к великому неизвестному.

Это было летом, в июльскую темную ночь.

Павел глядел в потолок, улыбался умиленною и гордою улыбкой, и на глазах его выступили слезы.

— Какой я стал плакса!— прошептал он, качая головой, и наивно, по-детски вытер пальцами глаза.

С надеждою обернулся он к окнам, но оттуда угрюмо и скучно смотрел грязный городской туман, и все было от него желтое: потолок, стены и измятая подушка. И вспугнутые им чистые образы прошлого заколыхались, посерели и провалились куда-то в черную яму, толкаясь и стеная.

— Отчего вы так грустны?— говорил Павел, как заклинание, как мольбу о пощаде; но бессильна она была перед новыми, еще смутными, но уже знакомыми и страшными образами. Как гнилой туман над ржавым болотом, поднимались они из этой черной ямы, и разбуженная память властно вызывала все новые и новые картины.

— Не хочу! Не хочу!— шептал Павел и метался и корчился от боли.

Опять дачу увидел он, но только был день — странный, нехороший и жуткий. Было знойно, и солнце светило, и пахло откуда-то тревожною гарью; а он прятался в прибрежных кустах и, дрожа от страха, смотрел в бинокль, как купаются женщины. И ярко-розовые пятна их тел увидел он, и голубое небо, казавшееся красным, и себя, бледного, с трясущимися руками и испачканными в земле коленями. Потом каменный город увидел он и снова женщин, равнодушных, усталых, с наглыми и холодными глазами. В глубину прошлого уходила вереница их раскрашенных и бледных лиц, и мелькали среди них усатые мужские физиономии, бутылки пива и недопитые стаканы, и в каком-то чаду кружились, танцуя, освещенные тени, и назойливо бренчал рояль, выбрасывая тоскливые, назойливые звуки польки.

— Не хочу!— тихо, уже сдаваясь, шептал Павел.

А воспоминания врезались в его душу, как острый нож в живое мясо. И все были женщины, их тела, лишенные души, отвратительные, как липкая грязь задних дворов,

и странно-обаятельные в своей нескрываемой грязи и доступности. И всюду они были. Они были в циничных, едких, как купорос, разговорах и бессмысленных анекдотах, которые он слышал от других и сам рассказывал так мастерски; они были в рисунках, которые он рисовал и показывал со смехом товарищам; они были в одиноких мыслях и сновидениях, тяжелых, как кошмар, и притягательных, как он.

И, как живая, как то, что никогда не может быть забыто, встала перед ним ночь — угарная, чадная ночь. В эту ночь, два года тому назад, он отдал свое чистое тело и свои первые чистые поцелуи развратной и бесстыдной женщине. Ее звали Луиза; она была одета в гусарский костюм и постоянно жаловалась, что у нее лопаются рейтузы. Павел почти не помнит, как он был с нею, и помнит хорошо только свой дом, куда он вернулся поздно, незадолго до рассвета. Дом был темен и тих; в столовой стоял приготовленный для него ужин, и толстая котлета была покрыта слоем белого застывшего жира. От пива его мучила тошнота, и когда он лег, лепной потолок, скудно озаренный свечой, заколыхался, завертелся и поплыл. Он несколько раз выходил, пошатываясь, стараясь не шуметь и цепляясь за стулья, и пол под непривычными босыми ногами был страшно холодный и скользкий, и от этого необычайного холода становилось особенно ясно, что давно уже ночь и все тихо спят, а он один ходит и мучится болью, чуждою всему этому чистому и хорошему дому.

Павел с ненавистью оглядел свою комнату и противный лепной потолок и, покорный перед нахлынувшими воспоминаниями, отдался их страшной власти.

Он вспомнил Петрова, красивого и самоуверенного юношу, который совершенно спокойно и без страсти говорил о продажных женщинах и учил товарищей:

— Я никогда не позволю себе целовать продажную женщину. Целовать можно только тех, кого любишь и уважаешь, но не эту дрянь.

— А если она тебя целует?— спрашивал Павел.

— Пусть!.. Я отвертываюсь.

Павел горько и печально улыбался. Он не умел поступать так, как Петров, и целовал этих женщин. Его губы касались их холодного тела, и было однажды,— и это страшно вспомнить,— он, со странным вызовом самому себе, целовал вялую руку, пахнувшую духами и пивом. Он целовал, точно казнил себя; он целовал, точно губы его могли произвести чудо и превратить продажную женщину в чистую,

прекрасную, достойную великой любви, жаждою которой сгорало его сердце. А она сказала:

— Какой вы лизун!

И от нее он заболел. Заболел постыдною и грязною болезнью, о которой люди говорят тайком, глумливым шепотом, прячась за закрытыми дверьми, болезнью, о которой нельзя подумать без ужаса и отвращения к себе.

Павел вскочил с постели и подошел к столу. Там он передвигал бумаги, тетради, раскрывал их, опять закрывал, и руки его дрожали. А глаза его боком, напряженно, вглядывались в то место стола, где заперты были и сверху тщательно заложены бумагами принадлежности для лечения.

«Если б у меня был револьвер, я сейчас же застрелился бы. Вот в это место...»— подумал он и приложил палец к левому боку, где билось сердце.

И, сосредоточенно глядя перед собою, думая о том, у кого из товарищей можно достать оружие, он дошел до измятой постели и лег. Потом он задумался о том, сумеет ли он попасть в сердце, и, раскрыв куртку и рубашку, стал с интересом разглядывать молодую, еще не окрепшую грудь.

— Павел, отвори!— услыхал он за дверью голос Лилечки.

Испуганно вздрогнув, как он пугался теперь всякого неожиданного звука и крика, Павел быстро оправился и нехотя открыл задвижку.

— Чего тебе?— хмуро спросил он.

— Так, поцеловать тебя. Зачем ты постоянно запираешься? Боишься, что украдут?

Павел лег на постель, и Лилечка, сделав безуспешную попытку присесть около него, сказала:

— Подвинься! Какой злой: не хочет сестренке места дать.

Павел молча подвинулся.

— А мне сегодня скучно,— сказала Лилечка,— так, что-то нехорошо. Должно быть, от погоды: я люблю солнце, а это такая гадость. Кусаться от злости хочется.

И, осторожно гладя его по стриженой и колючей голове, она заглянула ему нежно в глаза и спросила:

— Павля! Отчего ты стал такой грустный?

Павел отвел глаза и бросил сумрачный ответ:

— Я никогда веселым и не был.

— Нет, Павля, ведь я же знаю. Это ты с тех пор, как мы с дачи переехали. От всех прячешься, никогда не посмеешься. Танцевать перестал.

— Глупое занятие...

— А прежде танцевал! Ты хорошо мазурку танцуешь, лучше всех; но и остальное тоже хорошо. Павля, скажи, отчего это, а? Скажи, голубчик, милый, славный, хороший!

И она поцеловала его в щеку, около покрасневшего уха.

— Не трогай меня!.. Отойди!..— и, поведя плечами, тихо добавил:— Я грязный...

Лилечка засмеялась и, щекоча за ухом, сказала:

— Ты чистенький, Павля! Помнишь, как мы с тобою вместе в ванне купались? Ты был беленький, как поросеночек, такой чистенький-чисте-е-нький!

— Отойди, Лилечка! Пожалуйста! Ради Бога!

— Не отойду, пока ты не станешь веселый. У тебя около уха маленькие бачки. Я сейчас только увидела. Дай, я поцелую их!

— Отойди, Лиля! Не трогай меня! Говорю я тебе,— глухо говорил Павел, пряча лицо,— я гря... грязный... Грязный!— тяжело выдохнул он мучительное слово и весь, с головы до ног, содрогнулся от мгновенно пронесшегося и сдержанного рыдания.

— Что с тобою, Павля, родной?— испугалась Лилечка.— Хочешь, я папу позову?

Павел глухо, но спокойно ответил:

— Нет, не надо. Ничего со мною. Голова немного болит.

Лилечка недоверчиво и нежно гладила стриженый и крутой затылок и задумчиво смотрела на него. Потом сказала безразличным тоном:

— А вчера о тебе Катя Реймер спрашивала.

После некоторого молчания Павел, не обертываясь, спросил:

— Что спрашивала?

— Да так, вообще: как ты живешь, что делаешь, почему никогда не придешь к ним. Ведь они тебя звали?

— Очень ей нужно...

— Нет, Павля, не говори! Ты ее не знаешь. Она очень умная и развитая и интересуется тобою. Ты думаешь, она только танцы любит, а она много читает и кружок для чтения хочет устроить. Она постоянно говорит мне: «Какой умный твой брат».

— Она кокетка... и дрянь.

Лилечка вспыхнула, гневно оттолкнула Павла и встала.

— Сам ты дурной, если так говоришь.

— Дурной? Да. Что же из этого?— вызывающе сказал Павел, злыми и блестящими глазами глядя на сестру.

— То, что не смеешь так говорить! Не смеешь!— крикнула Лилечка, вся красная, с такими же злыми и блестящими глазами.

— Нет, ведь я дурной!— настаивал Павел.

— Грубый, несносный, всем отравляешь жизнь... Эгоист!

— А она дрянь, твоя Кать... Катя. И все вы дрянь, шушера!

У Лилечки сверкнули слезы. Взявшись за ручку двери, она подавила дрожь в голосе и сказала:

— Мне жалко было тебя, и оттого я пришла. А ты не стоишь этого. И никогда больше я к тебе не приду. Слышишь, Павел?

Крутой затылок оставался неподвижен. Лиля гневно кивнула ему головою и вышла.

Выражая на лице полное презрение, точно в дверь вышло что-то нечистое, Павел тщательно закрыл задвижку и прошелся по комнате. Ему было легче, что он обругал и Катю и Лилечку и сказал, какие они все: дрянь и шушера. И, осторожно прохаживаясь, он стал размышлять о том, какие все женщины дурные, эгоистичные и ограниченные существа. Вот Лиля. Она не могла понять, что он несчастен, и оттого так говорит, и обругала его, как торговка. Она влюблена в Авдеева, а третьего дня был у них Петров, и она поругалась с горничной, потом с матерью за то, что не могли найти ее красной ленточки. И Катя Реймер такая же: она задумчивая, серьезная, она интересуется им, Павлом, и говорит, что он умный; а придет к ним тот же Петров, и она наденет для него голубенькую ленточку, будет причесываться перед зеркалом и делать красивое лицо. И все это для Петрова; а Петров — самоуверенный пошляк и тупица, и это известно всей гимназии.

Она чистенькая и только догадывается, но не позволяет себе думать о том, что существуют развратные женщины и болезни — страшные, позорные болезни, от которых человек становится несчастным и отвратительным самому себе и стреляется из револьвера, такой молодой и хороший! А сама она летом на кругу носила платье декольте, и когда ходит под ручку, то близко-близко прижимается. Быть может, она уже целовалась с кем-нибудь...

Павел сжал кулаки и сквозь зубы прошептал:

— Какая гадость!

Наверное, целовалась... Павел не осмеливается даже взглянуть на нее, а она целовалась, и, вернее всего, с Петровым,— он самоуверенный и наглый. А потом когда-ни-

будь она отдаст ему и свое тело, и с ним будут делать то же, что делают с продажными женщинами. Какая мерзость! Какая подлая жизнь, в которой нет ничего светлого, к чему мог бы обратиться взгляд, отуманенный печалью и тоскою! Почем знать, быть может, и теперь, уже теперь, у Кати есть... любовник.

— Не может быть!— крикнул Павел, а кто-то внутри его спокойно и злорадно продолжал, и слова его были ужасны:

«Да, есть, какой-нибудь кучер или лакей. Известны случаи, когда у таких чистых девушек были любовники лакеи, и никто не знал этого, и все считали их чистыми; а они ночью бегали на свидание, босыми ногами, по страшно холодному полу. Потом выходили замуж и обманывали. Это бывает,— он читал. У Реймеров есть лакей, черный и красивый малый...»

Павел резко поворачивается и начинает ходить в другую сторону.

Или Петров... Она вышла к нему на свидание, а Петров — он наглый и смелый — сказал ей: «Тут холодно,— поедемте куда-нибудь в тепло!..» И она поехала.

Дальше Павел думать не может. Он стоит у окна и словно давится желтым отвратительным туманом, который угрюмо и властно ползет в комнату, как бесформенная желтобрюхая гадина. Павла душат злоба и отчаяние, и все же ему легче, что он не один дурной, а все дурные, весь мир. И не такой страшной и постыдной кажется его болезнь. «Это ничего,— думает он,— Петров был два раза болен, Самойлов даже три раза, Шмидт, Померанцев уже вылечились, и я вылечусь».

— Буду такой, как и они, и все будет хорошо,— решил он.

Павел попробовал задвижку, подошел к столу и взялся за ручку ящика; но тут ему представились все эти глубоко запрятанные инструменты, склянки с мутною жидкостью и желтыми противными ярлыками, и то, как он покупал их в аптеке, сгорая от стыда, а провизор отвертывался от него, точно и ему было стыдно; и как он был у доктора, человека с благородным и необыкновенно чистым лицом, так что странно даже было, что такой чистый человек принужден постоянно иметь дело с нечистыми и отвратительными болезнями. И протянутая рука Павла упала, и он подумал:

— Пусть!.. Я не стану лечиться. Лучше я умру...

Он лег, и перед глазами его стояли склянки с желтыми ярлыками, и от них понятно стало, что все дурное, что он

думал о Кате Реймер,— скверная и гадкая ложь, такая отвратительная и грязная, как и болезнь его. И стыдно и страшно ему было, что он мог так думать о той, которую он любил и перед которой недостоин стоять на коленях; мог думать и радоваться своим грязным мыслям, и находить их правдивыми, и в их грязи черпать странную и ужасную гордость. И ему страшно стало самого себя.

«Неужели это я, и эти руки — мои?»— думал он и разглядывал свою руку, еще сохранившую летний загар и у кисти испачканную чернилами.

И все стало непонятно и ужасно, как во сне. Он как будто первый раз увидел и комнату свою, и лепной потолок, и свои сапоги, упершиеся в прутья постели. Они были франтовские, с узкими и длинными носками, и Павел пошевелил большим пальцем, чтобы убедиться, что в них заключена его нога, а не чужая. И тут убедился, что это он, Павел Рыбаков, и понял, что он погибший человек, для которого нет надежды. Это он думал так грязно о Кате Реймер; это у него постыдная болезнь; это он умрет скоро-скоро, и над ним будут плакать.

— Прости меня, Катя!— прошептал он бледными пересохшими губами.

И он почувствовал грязь, которая обволакивает его и проникает насквозь. Он начал чувствовать ее с тех пор, как заболел. Каждую пятницу Павел бывает в бане, два раза в неделю меняет белье, и все на нем новое, дорогое и незаношенное; но кажется, будто весь он с головою лежит в каких-то зловонных помоях, и когда идет, то от него остается в воздухе зловонный след. Каждое маленькое пятнышко, оказавшееся на куртке, он рассматривает с испугом и странным интересом, и очень часто у него начинают чесаться то плечи, то голова, а белье будто прилипает к телу. И иногда это бывает за обедом, на людях, и тогда он сознает себя таким ужасающе одиноким, как прокаженный на своем гноище.

Так же грязны и мысли его, и кажется, что, если бы вскрыть его череп и достать оттуда мозг, он был бы грязный, как тряпка, как те мозги животных, что валяются на бойнях, в грязи и навозе. И всё женщины, усталые, раскрашенные, с холодными и наглыми глазами! Они преследуют его на улице, и он боится выходить на улицу, особенно вечером, когда город кишит этими женщинами, как разложившееся мясо червями; они входят в его голову, как в свою грязную комнату, и он не может отогнать их. Когда он спит и бессилен управлять своими чувствами и желани-

ями, они огненными призраками вырастают из глубины его существа; когда он бодрствует, какая-то страшная сила берет его в свои железные руки и, ослепленного, изменившегося, непохожего на самого себя, бросает в грязные объятия грязных женщин.

«Это оттого, что я развратник,— с спокойным отчаянием подумал Павел.— Да недолго им быть,— скоро застрелюсь. Повидаю сегодня Катю Реймер и застрелюсь. Или нет: я только из своей комнаты послушаю ее голос, а когда меня будут звать — не выйду».

Тяжело волоча ноги, как больной, Павел подошел к окну. Что-то темное, жуткое и безнадежное, как осеннее небо, глядело оттуда, и казалось, что не будет ему конца, и всегда было оно, и нет нигде на свете ни радости, ни чистого и светлого покоя.

— Хоть бы света!— говорит Павел с тоскою и, как последнюю надежду, вспоминает дневник. Он также далеко спрятан и не раскрывался с тех пор, как Павел заболел: когда мысли грязны и человек не любит себя, своей радости и своего горя — ему не о чем писать в дневнике. Осторожно и нежно, как больное дитя, Павел берет дневник и ложится с ним на кровать. Тетрадь красиво переплетена, и обрез бумаги золотой; сама белая, чистая, и на всех исписанных страницах нет ни одного грязного пятна; Павел осторожно и почтительно перелистывает ее, и от блестящих, туго гнущихся страниц пахнет весною, лесом, солнечным светом и любовью.

Тут рассуждения о жизни, такие серьезные и решительные, с таким множеством умных иностранных слов, что Павлу кажется, будто не он писал их, а кто-то пожилой и страшно умный; тут первый трепет скептической мысли, первые чистые сомнения и вопросы, обращенные к Богу: где ты, о Господи? Тут сладкая грусть неудовлетворенной и неразделенной любви и решение быть гордым, благородным и любить Катю Реймер всю долгую жизнь, до самой могилы. Тут грозный и страшный вопрос о цели и смысле бытия и чистосердечный ответ, от которого веет весною и солнечным блеском: нужно жить, чтобы любить людей, которые так несчастны. И ни слова о тех женщинах. Только изредка, как отражения черной тучи на зеленой и смеющейся земле,— короткие, подчеркнутые и односложные заметки: тяжело. Павел знает их тайный и печальный смысл, обегает их глазами и быстро перевертывает страницу, которая опозорена ими.

И все время Павлу казалось, что это писал не он, а другой какой-то человек, хороший и умный; он умер теперь, этот человек, и оттого так многозначительно все им написанное, и оттого так жаль читать его.

И тихая жалость к умершему человеку наполнила его сердце; и первый раз за много дней Павел почувствовал себя дома, на своей постели, одного, а не на улице, среди тысяч враждебных и чуждых жизней.

Уже темнело, и погас странный, желтоватый отблеск; окутанная туманом, неслышно вырастала долгая осенняя ночь, и, точно испуганные, сближались дома и люди. Бледным, равнодушным светом загорелись уличные фонари, и был их свет холоден и печален; кое-где в домах вспыхнули окна теплым огнем, и каждый такой дом, где светилось хоть одно окно, точно озарялся приветливой и ласковой улыбкой и становился, большой, черный и ласковый, как старый друг. Все так же катились, колыхаясь, экипажи и торопливо двигались прохожие, но теперь как будто у каждого из них была цель: скорее прийти туда, где тепло, и ласковый свет, и ласковые люди. Павел закрыл глаза, и ему живо представилось то, что он видел перед отъездом с дачи, когда один, вечером, он ходил гулять: молчаливые осенние сумерки, вместе с пушистым дождем падающие с неба, и длинное, прямое шоссе. Своими концами оно утопало в ровной мгле и говорило о чем-то бесконечном, как жизнь; и по шоссе, навстречу Павлу, быстро двигались два жестянщика, запряженные в маленькую повозку. Повозка слабо погромыхивала; жестянщики напирали грудью и быстро шли, в такт помахивая головами; а далеко перед ними, почти на горизонте, светлой и яркой точкой блистал огонек. Одну минуту они были возле Павла; и, когда он обернулся, чтобы поглядеть им вслед, шоссе было безлюдно и темно, как будто никогда не проходили здесь люди, запряженные в тележку.

Павел видел шоссе и сумерки, и это было все, что наполняло его мысли. Это была минута затишья, когда мятежная, взволнованная душа, истощенная попытками выбиться из железного круга противоречий, легко и неслышно выскользнула из него и поднялась высоко. Это был покой, и тишина, и отрешение от жизни, что-то такое хорошее и грустное, чего нельзя передать человеческою речью. Больше получаса сидел Павел в кресле, почти не двигаясь; в комнате стало темно, и светлые пятна от фонарей и еще от чего-то заиграли на потолке; а он все сидел, и лицо его в темноте казалось бледным и непохожим на обычное.

— Павел, отвори!— послышался голос отца.

Павел вскочил, и от быстрого движения та же острая и резкая боль захватила ему дыхание. Перегнувшись, прижав похолодевшие руки к запавшему животу, он стиснул зубы и мысленно ответил: «Сейчас»,— так как заговорить не мог.

— Павлуша, ты спишь?

Павел открыл. Сергей Андреич вошел, немного смущенно, немного нерешительно, но в то же время властно, как входят отцы, которые сознают свое право — когда угодно войти в комнату сына, но вместе с тем желают быть джентльменами и строго чтут неприкосновенность чужого жилища.

— Что, брат, спал?— мягко спросил Сергей Андреич и неловко в темноте похлопал Павла по плечу.

— Нет, так... дремал,— неохотно, но так же мягко ответил Павел, еще полный тихим покоем и неясными грезами. Он понял, что отец пришел к нему мириться, и подумал: «К чему все это?»

— Зажги, пожалуйста, лампу!— попросил отец.— Только и спасения от тумана, когда огни зажгут. Весь день сегодня нервничаю.

«Извиняется...»— подумал Павел, снимая стекло и зажигая спичку.

Сергей Андреич сел в кресло у стола, поправил абажур, и, заметив тетрадку с надписью: «Дневник», деликатно отложил ее в сторону и даже прикрыл бумагой. Павел молча наблюдал за движениями отца и ждал.

— Дай-ка спичечку!— попросил Сергей Андреич, доставая папиросу. Спички у него были в кармане, но ему хотелось доставить сыну удовольствие услужить ему.

Он закурил, взглянул на черный переплет Бокля и начал:

— Я радикально не согласен с Толстым и другими опростителями, которые бесплодно воюют с цивилизацией и требуют, чтобы мы вновь ходили на четвереньках. Но нельзя не согласиться, что оборотная сторона цивилизации внушает весьма,— он поднял руку и опустил ее,— весьма серьезные опасения. Так, если мы посмотрим на то, что делается теперь хотя бы в той же прекрасной Франции...

Сергей Андреич был умный и хороший человек и думал все то, что думали умные и хорошие люди его страны и его времени, учившиеся в одних и тех же школах и читавшие одни и те же хорошие книги, газеты и журналы. Он был инспектором страхового общества «Феникс» и часто уезжал

из столицы по его делам; а когда бывал дома, то ему едва хватало времени повидаться с многочисленными знакомыми, побывать в театре, на выставках и ознакомиться с книжными новостями. При всем том он улучал время побыть с детьми, особенно с Павлом, развитию которого, как развитию мальчика, придавал особенное значение. Кроме того, с Лилей он не знал, о чем говорить, и за это больше ласкал ее. Павла он не ласкал, как мальчика, но зато говорил с ним, как с взрослым, как с хорошим знакомым, с тою только разницей, что никогда не посвящал разговора житейским пустякам, а старался направить его на серьезные темы. Поэтому он считал себя хорошим отцом, и когда начинал разговаривать с Павлом, то чувствовал себя как профессор на кафедре. И ему и Павлу это очень нравилось. Даже об успехах Павла в училище он не решался расспрашивать подробно, так как боялся, что это нарушит гармонию их отношений и придаст им низменный характер крика, брани и упреков. Своих редких вспышек он долго стыдился и оправдывал их темпераментом. Он знал все мысли Павла, его взгляды, его слагающиеся убеждения и думал, что знает всего Павла. И он был очень удивлен и огорчен, когда вдруг оказалось, что Павел — не в этих убеждениях и взглядах, а где-то вне их, в каких-то загадочных настроениях, в каких-то омерзительных рисунках, о происхождении которых необходимо требовать отчета. Рано или поздно — но необходимо.

И теперь он говорил очень умно и хорошо о том, что культура улучшает частичные формы жизни, но в целом оставляет какой-то диссонанс, какое-то пустое и темное место, которое все чувствуют, но не умеют назвать,— но была в его речи неуверенность и неровность, как у профессора, который не уверен во внимании своей аудитории и чувствует ее тревожное и далекое от лекции настроение. И нечто другое было в его речи: что-то подкрадывающееся, скользящее и беспокойно пытающее. Он чаще обыкновенного обращался к Павлу:

— Как ты думаешь, Павел? Согласен ли ты, Павел?

И необыкновенно радовался, когда Павел выражал согласие. Он точно нащупывал что-то своими белыми и пухлыми пальцами, которые двигались в такт его речи и угрожающе тянулись к Павлу; к чему-то осторожно и хитро подкрадывался, и те слова, которые он говорил, были словно широкая маскарадная одежда, за которой чувствуется очертание других, еще неведомых и страшных слов. Павел понимал это и со смутным страхом глядел на спокойно

блестевшее пенсне, на обручальное кольцо на толстом пальце, на покачивающуюся ногу в блестящем сапоге. Страх нарастал, и Павел уже чувствовал, уже знал, о чем заговорит сейчас отец, и сердце билось у него тихо, но звонко, как будто грудь была пустая. Широкая одежда колыхалась и спадала, и жестокие слова судорожно рвались из-под нее. Вот отец кончил говорить об алкоголиках и закурил папиросу слегка дрожащею рукою.

«Сейчас!»— подумал Павел и весь сжался, как сжимается в своей клетке черный ворон с подбитым крылом, к которому протянулась сквозь дверцу чья-то огромная растопыренная рука.

Сергей Андреич тяжело передохнул и начал:

— Но есть, Павел, нечто более страшное, чем алкоголизм...

«Сейчас!»— подумал Павел.

— ...более ужасное, нежели смертоубийственные войны, более опустошительное, нежели чума и холера...

«Сейчас! Сейчас!»— думал Павел, сжимаясь и чувствуя все свое тело, как оно чувствуется в ледяной воде.

— ...это разврат! Тебе, Павел, приходилось читать специальные книги по этому интересному вопросу?

«Застрелюсь!..»— быстро подумал Павел, а вслух спокойно и с приличным интересом сказал:

— Специальных нет, но вообще-то да, кое-что встречалось. Меня, папа, очень интересует этот вопрос.

— Да?..— Пенсне Сергея Андреича блеснуло.— Да, это страшный вопрос, и я убежден, Павел, что участь всего культурного человечества зависит от того или иного решения его. Действительно... Вырождение целых поколений, даже целых стран; психические расстройства со всеми ужасами безумия и маразма... Так вот... И наконец бесчисленные болезни, разрушающие тело и даже душу. Ты, Павел, даже представить себе не можешь, что это за скверная штука такая болезнь. Один мой товарищ по университету — он пошел потом в военно-юридическую академию, некто Скворцов, Александр Петрович,— заболел, будучи на втором курсе, и даже несерьезно заболел, но так испугался, что вылил на себя бутылку керосину и зажег. Насилу спасли.

— Он теперь жив, папа?

— Конечно, жив, но страшно обезображен. Так вот... Профессор Берг в своем капитальном труде приводит поразительные статистические данные...

Они сидели и разговаривали спокойно, как два хороших знакомых, попавших на очень интересную тему. Павел выражал на лице изумление и ужас, вставлял вопросы и изредка восклицал: «Черт знает, что такое! Да неужели твоя статистика не врет?» И внутри его было так мертвенно-спокойно, как будто не живое сердце билось в его груди, как будто не кровь переливалась в его венах, а весь он был выкован из одного куска холодного и безучастного железа. То, что он думал сам о грозном значении своей болезни и своего падения, грозно подтверждалось книгами, в которые он верил, умными иностранными словами и цифрами, непоколебимыми и твердыми, как смерть. Кто-то большой, умный и всезнающий говорит со стороны об его гибели, и в спокойном бесстрастии его слов было что-то фатальное, не оставлявшее надежд жалкому человеку.

Был весел и Сергей Андреич: смеялся, закруглял слова и жесты, самодовольно помахивал рукою — и со смятением чувствовал, что в правде его слов таится страшная и неуловимая ложь. С подавляемою злобою он поглядывал на развалившегося Павла, и ему страшно хотелось, чтобы это был не хороший знакомый, с которым так легко говорится, а сын; чтобы были слезы, был крик, были упреки, но не эта спокойная и фальшивая беседа. Сын опять ускользал от него, и не к чему было придраться, чтобы накричать на него, затопать ногами, даже, быть может, ударить его, но найти что-то нужное, без чего нельзя жить. «Это полезно, то, что я говорю: я предостерегаю его»,— успокаивал себя Сергей Андреич; но рука его с жадным нетерпением тянулась к боковому карману, где в бумажнике, рядом с пятидесятирублевой бумажкой, лежал смятый и расправленный рисунок. «Сейчас спрошу, и все кончится»,— думал он.

Но тут вошла мать Павла, полная, красивая женщина, с напудренным лицом и глазами, как у Лилечки: серыми и наивными. Она только что приехала, и щеки и нос ее от холода краснели.

— Ужасная погода!— сказала она.— Опять туман, ничего не видно. Ефим чуть не сбил кого-то на углу.

— Так ты говоришь, семьдесят процентов?— спрашивал Павел отца.

— Да, семьдесят два процента. Ну, как у Соколовых?— спросил Сергей Андреич жену.

— Ничего, как всегда. Скучают. Анечка слегка больна. Завтра вечером хотят к нам. Анатолий Иванович приехал, тебе кланяется.

Она довольно оглядела их веселые лица, дружественные позы и потрепала сына по щеке; а он, как всегда, поймал на лету ее руку и поцеловал. Он любил мать, когда видел ее; а когда ее не было, то совершенно забывал об ее существовании. И так относились к ней все, родные и знакомые, и если бы она умерла, то все поплакали бы о ней и тотчас бы забыли — всю забыли, начиная с красивого лица, кончая именем. И писем она никогда не получала.

— Болтали?— весело оглядывала она отца и сына.— Ну я очень рада. А то как неприятно, когда отец с сыном дуются. Точно «отцы и дети». И обедню ему простил?

— Это от тумана...— улыбнулись Сергей Андреич и Павел.

— Да, ужасная погода! Точно все облака свалились на землю. Я говорю Ефиму: «Пожалуйста, тише!» Он говорит: «Хорошо, барыня»,— и гонит. Где же Лилечка? Лилечка! Зовите ее обедать! Господа отцы и дети, в столовую!

Сергей Андреич попросил:

— Одну минуту. Мы сейчас.

— Да ведь уже семь...

— Да, да. Подавайте! Мы сейчас.

Юлия Петровна вышла, и Сергей Андреич сделал шаг к сыну. Так же невольно Павел шагнул вперед и угрюмо спросил:

— Что?

Теперь они стояли друг против друга, открыто и прямо, и все, что говорилось раньше, куда-то ушло, чтобы больше не вернуться: профессор Берг, статистика, семьдесят два процента.

— Павел!.. Павлуша! Мне Лилечка сказала, что ты чем-то расстроен. И вообще я замечаю, что ты в последнее время изменился. Нет ли у тебя неприятностей в училище?

— Нет. Ничего со мною.

Сергею Андреичу хотелось сказать: «Сын мой!»— но показалось неловко и искусственно, и он сказал:

— Мой друг!..

Павел молчал и, заложив руки в карманы, глядел в сторону. Сергей Андреич покраснел, дрожащею рукою поправил пенсне и вынул бумажник. Брезгливо, двумя пальцами он вытащил смятый и расправленный рисунок и молча протянул его к Павлу.

— Что это?— спросил Павел.

— Посмотри!

Через плечо, не вынимая рук из карманов, Павел взглянул. Бумажка плясала в пухлой и белой руке Сергея Анд-

реича, но Павел узнал ее и весь мгновенно загорелся страшным ощущением стыда. В ушах его что-то загрохотало, как тысячи камней, падающих с горы; глаза его точно опалил огонь, и он не мог ни отвести взгляда от лица Сергея Андреича, ни закрыть глаза.

— Это ты?— откуда-то издалека спросил отец.

И с внезапной злобой Павел гордо и открыто ответил:

— Я!..

Сергей Андреич выпустил из пальцев рисунок, и, колыхаясь углами, он тихо опустился на пол. Потом отец повернулся и быстро вышел, и в столовой послышался его громкий и удаляющийся голос: «Обедайте без меня! Мне необходимо съездить по делу». А Павел подошел к умывальнику и начал лить воду на руки и лицо, не чувствуя ни холода, ни воды.

— Замучили!— шептал он, задыхаясь, пока высокая струя била в глаза и рот.

После обеда, часов в восемь, к Лилечке пришли гимназистки, и Павел слышал из своей комнаты, как они пили в столовой чай. Их было много; они смеялись, и их звонкие, молодые голоса звенели друг о друга, как крылья играющих стрекоз, и было похоже не на комнату в осенний ненастный вечер, а на зеленый луг, когда солнце смотрит на него с полуденного июльского неба. И басисто, как майские жуки, гудели гимназисты. Павел чутко прислушивался к голосам, но среди них не было полнозвучного и искреннего голоса Кати Реймер, и он все ждал и вздрагивал, когда заговаривал кто-нибудь новый, только что пришедший. Он молил ее прийти, и раз случилось, что он совсем ясно услыхал ее голос: «Вот и я!..»— и чуть не заплакал от радости; но голос смешался с другими и, как ни напрягал он слух, больше не повторялся. Потом в столовой стихло, и глухо заговорила прислуга, а из залы принеслись звуки рояля. Плавные и легкие, как танец, но странно скорбные и печальные, они кружились над головою Павла, как тихие голоса из какого-то чужого, прекрасного и навеки покинутого мира.

Вбежала Лилечка, розовая от танцев. Чистый лоб ее был влажен, и глаза сияли, и складки коричневого форменного платья будто сохраняли еще следы ритмических колыханий.

— Павля! Я не сержусь на тебя!— сказала она и быстро горячими губами поцеловала его, обдав волною такого же горячего и чистого дыхания.— Пойдем танцевать! Скорее!

— Не хочется.

— Жаль только, что не все пришли: Кати нет, Лидочки нет, и Поспелов изволил уйти в театр. Пойдем, Павля, скорее.

— Я никогда не буду танцевать.

— Глупости! Пойдем скорее! Приходи,— я буду ждать.

У дверей ей стало жаль брата, она вернулась, еще раз поцеловала его и, успокоенная, выбежала.

— Скорей, Павля! Скорей!

Павел закрыл дверь и крупными шагами заходил по комнате.

— Не пришла!— говорил он громко.— Не пришла!— повторял он, кружась по комнате.— Не пришла!

В дверь постучали, и послышался самоуверенный и наглый голос Петрова:

— Павел! Отвори!

Павел притаился и задержал дыхание.

— Павел, будет глупить! Отвори! Меня Елизавета Сергеевна послала.

Павел молчал. Петров стукнул еще раз и спокойно сказал:

— Ни у свинья же ты, братец! И молодо-зелено... Катеньки нет, он и раскис. Дурак!

И Петров смеет говорить своими нечистыми устами: «Катенька!»

Выждав минуту, когда в зале снова заиграли, Павел осторожно выглянул в пустую столовую, прошел ее и возле ванной, где висело кучею ненужное платье, отыскал свою старенькую летнюю шинель. Потом быстро прошел кухню и по черной лестнице спустился во двор, а оттуда на улицу.

Сразу стало так сыро, холодно и неуютно, как будто Павел спустился на дно обширного погреба, где воздух неподвижен и тяжел и по скользким высоким стенам ползают мокрицы. И неожиданным казалось, что в этом свинцовом, пахнущем гнилью тумане продолжает течь какая-то своя, неугомонная и бойкая жизнь; она в грохоте невидимых экипажей и в огромных, расплывающихся светлых шарах, в центре которых тускло и ровно горят фонари, она в торопливых, бесформенных контурах, похожих на смытые чернильные пятна на серой бумаге, которые вырастают из тумана и опять уходят в него, и часто чувствуются только по тому странному ощущению, которое безошибочно свидетельствует о близком присутствии человека. Кто-то невидимый быстро толкнул Павла и не извинился; задев его локтем, прошла какая-то женщина и близко заглянула ему в лицо. Павел вздрогнул и злобно отшатнулся.

В пустынном переулке, против дома Кати Реймер, он остановился. Он часто ходил сюда и теперь пришел, чтобы показать, как он несчастен и одинок, и как подло поступила Катя Реймер, которая не пришла в минуту смертельной тоски и смертельного ужаса. Сквозь туман слабо просвечивали окна, и в их мутном взляде была дикая и злая насмешка, будто сидящий за пиршественным столом оплывшими от сытости глазами смотрел на голодного и лениво улыбался. И, захлебываясь гнилым туманом, дрожа от холода в своем стареньком пальтишке, Павел с голодною ненавистью упивался этим взглядом. Он ясно видел Катю Реймер: как она, чистая и невинная, сидит среди чистых людей и улыбается, и читает хорошую книгу, ничего не знает об улице, в грязи и холоде которой стоит погибающий человек. Она чистая и подлая в своей чистоте; она, быть может, мечтает сейчас о каком-нибудь благородном герое, и если бы вошел к ней Павел и сказал: «Я грязен, я болен, я развратен, и оттого я несчастен, я умираю; поддержи меня!» — она брезгливо отвернулась бы и сказала: «Ступай! Мне жаль тебя, но ты противен мне. Ступай!» И она заплакала бы; чистая и добрая, она заплакала бы... прогоняя. И милостынею своих чистых слез и гордого сожаления она убила бы того, кто просил ее о человеческой любви, которая не оглядывается и не боится грязи.

— Я ненавижу тебя!— шептало странное, бесформенное пятно человека, охваченного туманом и вырванного им из живого мира.— Я ненавижу тебя!

Кто-то прошел мимо Павла, не заметив его. Павел испуганно прижался к мокрой стене и сдвинулся только после того, как шаги умолкли.

— Ненавижу!..

Как в вате, задыхается в тумане голос. Бесформенное пятно человека медленно удаляется, сверкнула около фонаря металлическая пуговица, и все растаяло, как будто никогда и не было его, а был только мутный и холодный туман.

Нева безнадежно стыла под тяжелым туманом и была молчалива, как мертвая; ни свистка парохода, ни всплеска воды не доносилось с ее широкой и темной поверхности. Павел сел на одной из полукруглых скамеек и прижался спиною к влажному и спокойно-холодному граниту. Его прохватила дрожь, и застывшие пальцы почти не сгибались, и руки онемели в кисти и в локте; но ему было противно идти домой: в музыке и в чуждом веселье было что-то напоминавшее Катю Реймер, нелепое и обидное, как улыбка

случайного прохожего на чужих похоронах. В нескольких шагах от Павла в тумане смутно проплывали тени людей; у одного около головы было маленькое огненное пятнышко, очевидно, папироса; на другом, едва видимом, были, вероятно, твердые кожаные калоши и при каждом его шаге стучали: чек-чек! И долго было слышно, как он идет.

Одна тень в нерешительности остановилась; у нее была огромная, не по росту, голова, уродливых и фантастических очертаний, и, когда она двинулась к Павлу, ему стало жутко. Вблизи это оказалось большой шляпой с белыми загнутыми перьями, какие бывают на погребальных колесницах, а сама тень — обыкновенной женщиной. Как и Павел, она дрожала от холода и тщетно прятала большие руки в карманчики драповой короткой кофты; пока она стояла, она была невысокого роста, а когда села возле Павла, то стала почти на голову выше его.

— Молодой красавец, одолжите папироску!— попросила она.

— Извините, молодая красавица, я не курю,— развязно и возбужденно ответил Павел.

Женщина крикливо хихикнула, ляскнула от холода зубами и дыхнула на Павла запахом вина.

— Пойдемте ко мне,— сказала женщина, и голос у нее был крикливый, как и смех.— Пойдемте! Водочкой меня угостите!

Что-то широкое, клубящееся, быстрое, как падение с горы, открылось теперь перед Павлом, какие-то желтые огни среди колеблющегося мрака, какое-то обещание странного веселья, безумия и слез. А снаружи его пронизывал сырой туман, и локти коченели. И с вежливостью, в которой были вызов, насмешка и слезы смертельного отчаяния, он сказал:

— О божественная! Вы так хотите моих страстных ласк?

Женщине показалось обидно; она сердито отвернулась, ляскнула зубами и замолчала, гневно поджав тонкие губы. Ее выгнали из портерной за то, что она не стала пить кислого пива и плеснула из стакана в сидельца; высокие калоши пробились на носках и протекали, и от всего от этого ей хотелось обижаться и кого-нибудь бранить. Павел сбоку видел ее сердитый профиль с коротким носом и широким, мясистым подбородком, и улыбался. Она была как раз как те женщины, что преследовали его, и ему было смешно, и какое-то странное чувство сближало его с ней. И ему нравилось, что она сердится.

Женщина повернулась и резко бросила:

— Ну? Идти так идти,— какого дьявола!

И Павел со смехом ответил:

— Вы правы, сударыня: какого дьявола! Какого дьявола нам с вами не пойти, не выпить водки и не предаться изысканным наслаждениям?

Женщина высвободила руку из карманчика и немного сердито, немного дружески хлопнула его по плечу:

— Мели Емеля — твоя неделя! Ну, я пойду впереди, а вы сзади.

— Почему?— удивился Павел.— Почему сзади, а не рядом с вами, божественная...— он немного запнулся:— Катя?

— Меня зовут Манечкой. Оттого, что рядом для вас стыдно.

Павел подхватил ее за руку и повлек, и плечо женщины неловко забилось об его грудь. Она смеялась и шла не в ногу, и теперь видно было, что она слегка пьяна. У ворот одного дома она высвободила руку и, взяв у Павла рубль, пошла добывать у дворника водки.

— Вы же поскорее, Катенька!— попросил Павел, теряя глазами ее контур в черном и мглистом отверстии ворот.

Издалека донеслось:

— Манечка, а не Катя!

Горел фонарь, и к его холодному, влажному столбу прижался щекою Павел и закрыл глаза. Лицо его было неподвижно, как у слепого, и внутри было так спокойно и тихо, как на кладбище. Такая минута бывает у приговоренного к смерти, когда уже завязаны глаза, и смолк вокруг него звук суетливых шагов по звонкому дереву, и в грозном молчании уже открылась наполовину великая тайна смерти. И, как зловещая дробь барабанов, глухо и далеко прозвучал голос:

— Вот вы где? А я вас искала-искала... За кого ни хвачусь, все не тот. Уж думала, что вы ушли, и сама хотела уйтить.

Павел напрягся, что-то сбросил с себя и выбросил веселый и громкий вопрос:

— А водочки-то? Самое главное, водочки! Ибо что такое мы с вами, Катенька, без водочки?

— А как вас звать-то? Хотела по имени покликать, да вы не сказали.

— Меня зовут, Катечка, немного странно: Процентом меня зовут. Процент. Вы можете звать меня Процентик.

Так выходит ласковее, и наши интимные отношения это допускают,— говорил Павел, увлекая женщину.

— Такого имени нету. Так только собак зовут.

— Что вы, Катечка! Меня даже отец так зовет: Процентик, Процентик! Клянусь вам профессором Бергом и святой статистикой!

Двигался туман и огни, и опять о грудь Павла бились плечи женщины и перед глазами болталось большое загнутое перо, какие бывают на погребальных колесницах; потом что-то черное, гнилое, скверно пахнущее охватило их, и качались какие-то ступеньки, вверх и опять вниз. В одном месте Павел чуть не упал, и женщина поддержала его. Потом какая-то душная комната, в которой сильно пахло сапожным товаром и кислыми щами, горела лампада, и за ситцевой занавеской кто-то отрывисто и сердито храпел.

— Тише!— шептала женщина, ведя Павла за руку.— Тут хозяин спит, дьявол, сапожник, пропащая душа!

И Павлу было страшно этого сапожника, который где-то за занавеской храпел так отрывисто и сердито, и он осторожно шагал тяжелыми мокрыми калошами. Потом сразу глубокая тьма, звук снимаемого стекла и сразу яркий, ослепительный свет маленькой лампочки, висевшей на стене. Внизу под лампою был столик, и на нем лежали: гребешок с тонкими волосами, запутавшимися между зубьями, засохшие куски хлеба, облепленный хлебным мякишем большой нож и глубокая тарелка, на дне которой, в слое желтого подсолнечного масла, лежали кружки картофеля и крошеный лук. И к этому столику приковалось все внимание Павла.

— Вот и дома!— сказала Манечка.— Раздевайтесь!

Они сидели, смеялись и пили, и Павел одною рукою обнимал полуголую женщину: у самых глаз его было толстое, белое плечо с полоской грязноватой рубашки и сломанной пуговицей, и он жадно целовал его, присасываясь влажными и горячими губами. Потом целовал лицо и, странно, не мог ни рассмотреть его как следует, ни запомнить. Пока смотрел на него, оно казалось давно знакомым и известным, до каждой черточки, до маленького прыщика на виске; но когда отвертывался, то сразу и совершенно забывал, будто не хотела душа принимать этого образа и с силою выталкивала его.

— Одно скажу,— говорила женщина, стараясь снять с картошки прилипший к ней длинный волос и изредка равнодушно целуя Павла в щеку маслянистыми губами,— одно скажу: кислого пива пить я не стану. Давай, кому хочешь,

а я не стану. Стерва я, это верно, а кислого пива лакать не стану. И всем скажу открыто, хоть под барабаном: не стану!

— Давайте петь, Катечка!— просил Павел.

— А если тебе не нравится, что я тебе в харю выплеснула, то пожалуйте в участок, а бить себя я не позволю. Характер у меня гордый, и таких-то, как ты, может, тысячу видала, да и то не испугалась,— обращалась женщина к обидевшему ее сидельцу.

— Бросьте, Катечка, забудьте!— упрашивал Павел.— Я верю, вы горды, как испанская королева, и прекрасно. Давайте петь! Хорошие песни, хорошие песни!

— И не Катечка я, а Манечка. А петь нельзя: хозяин у меня дьявол, сапожник, пропащая душа,— не велит.

— Все равно, Катечка ли, Манечка ли. Ей-Богу, все равно,— это говорю тебе я, Павел Рыбаков, пьяница и развратник. Ведь ты меня любишь, моя гордая королева?

— Люблю. Только я не позволю называть меня Катечкой,— упрямо твердила женщина.

— Ну вот!— качнул головою Павел.— Будем петь! Будем петь хорошие песни, какие поют они. Эх, хорошую я знаю песню! Но ее так петь нельзя. Закрой глаза, Катенька, ты закрой глаза, закрой их и вообрази, будто ты в лесу, и темная-темная ночь...

— Не люблю я в лесу. Про какой ты мне лес говоришь? Говори так, а не про лес! Ну его к черту! Давай выпьем лучше, и не расстраивай ты меня,— не люблю я этого...— угрюмо говорила Манечка, наливая и расплескивая водку.

У нее, очевидно, была одышка, и дышала она тяжело и трудно, как будто плыла по глубокой воде. И губы у нее стали тоньше и слегка посинели.

— Темная-темная ночь!— продолжал Павел с закрытыми глазами.— И будто идут, и ты идешь, и кто-то красиво поет... Постой, как это? «Ты мне сказала: да,— я люблю тебя!...» Нет, не могу я, не умею петь.

— Не ори, хозяина разбудишь. Какого дьявола!

— Нет, не умею я петь. Не умею!— с отчаянием сказал Павел и взялся за голову.

Огненные ленты свивались и развивались перед его закрытыми глазами, клубились в причудливых и страшных узорах, и было широко, как в поле, и душно, как на дне узкой и глубокой ямы. Манечка через плечо презрительно смотрела на него и говорила:

— Пей, какого дьявола!

— Да, я люблю тебя... Да, я люблю тебя... Нет, не умею!

Он широко открыл глаза и скрытым огнем их опалил лицо женщины.

— Ведь есть же у тебя сердце? Ведь есть, Катечка? Ну так дай мне твою руку! Дай!— Он улыбнулся сквозь навернувшиеся слезы и горячими губами припал к враждебно сопротивлявшейся руке.

— Перестань дурить!— гневно сказала женщина и выдернула руку.— Расстроился, слюнтяй! Спать так спать, а не то!..

— Катечка! Катечка!— шептал он умоляюще, и слезы мешали ему видеть сонное и злое лицо, которое с отвращением уставилось на него.— Катечка, голубка моя миленькая, пожалей меня, пожалуйста! Я так несчастен, и ничего, ничего нет у меня. Господи, да пожалей же ты меня, Катечка!

Женщина резко оттолкнула его и, шатаясь, встала.

— Убирайся к дьяволу!— крикнула она, задыхаясь.— Ненавижу!.. Нализался как сапожник и ломается... Катечка! Катечка!— передразнила она, поджимая тонкие синеватые губы.— Знаю я, какую тебе Катечку нужно. Ну и убирайся к ней! Лижется, а сам: Катечка, Катечка! У-у, мальчишка, щенок, кукольное рыло! Тебя к женщине подпускать не стоит, а тоже: Катечка, Катечка!

Павел, опустив голову и покачивая ею, что-то шептал, и стриженый затылок его тихо вздрагивал.

— Слышишь, что ли?— крикнула женщина.

Павел взглянул на нее мокрыми и незрячими глазами и снова закачался с равномерностью человека, у которого болят зубы,— вправо, влево. Презрительно фыркнув, женщина подошла к кровати и стала оправлять ее. На ходу с нее соскочила бумазейная полосатая юбка, и она ногами отбросила ее.

— Катечка! Катечка!— говорила она, сердито комкая подушку.— Ну и иди к Катечке! А меня крестили Манечкой, и таких щенков, как ты, я, может, тысячу видала, да и то не испугалась. Эка! Думает, рубль дал, так я ему всякие фокусы показывать буду. У меня, может, у самой три рубля в шкатулке лежат. Ну иди спать, что ли!

Она легла поверх одеяла и с ненавистью глядела на Павла, на его стриженый и крутой затылок, вздрагивавший от плача.

— Ух! Надоели вы мне все, черти поганые! Измучили вы меня! Чего ревешь? Маменьки боишься?— говорила она с ленивою и злою насмешкою.— Драть мальчика будут? Боишься, а сладенькое любишь. Любишь... Да. Знаю я вас,

Процентов, дьяволов. Свое имя назвать-то стыдно, он и выдумывает. Процент! Чисто собака. А к Катечке своей сопливой пойдет, так уж, конечно, Васечкой велит звать: Васечка, душечка! А он ей: Катечка, ангелочек! Знаю я, хорош мальчик! Тоже — ручку позвольте поцеловать, а как этой самой ручкой да тебе по харе! Не смейся, щенок, не смейся!

Павел молчал и тихо вздрагивал.

— Ну иди, что ли, спать, тебе говорю! А то прогоню, Бог свят, прогоню! Мне двух целковых не жалко, а издеваться над собой я не позволю. Слышишь, раздевайся! Думает, два рубля дал, так всю женщину и купил. Эка, царь какой выискался.

Павел медленно расстегнул куртку и стал снимать.

— Не понимаешь ты...— тихо и не глядя, проронил он.

— Вот как!— злобно крикнула женщина.— Такая дура, что ничего и понять не могу! А если я к тебе подойду да по харе дам?

Из-за перегородки хриплый и раздраженный бас грозно окрикнул:

— Машка! Опять, сатана, за свое взялась? Не колобродь, а то живо у меня!..

— Тише ты, дрянь!— прошептал Павел, бледнея.

— Я дрянь?— сипела женщина, приподнимаясь.

— Ну ладно, ладно, ложись!— примирительно сказал Павел, не сводя горящих глаз с ее голого тела.— Я сейчас, сейчас...

— Я дрянь?— повторяла женщина, и задыхалась, и брызгала слюною.

— Ну будет, будет!— упрашивал Павел. Пальцы его дрожали и не находили пуговиц; он видел только тело — то страшное и непонятное в своей власти тело женщины, которое он видел в жгучих сновидениях своих, которое было отвратительно до страстного желания топтать его ногами и обаятельно, как вода в луже для жаждущего.— Ну будет!— повторил он.— Я пошутил...

— Убирайся вон!— решительно заявила женщина, отмахиваясь рукою.— Вон! Вон! Щенок!

Они встретились взорами, и взоры их пылали открытой ненавистью, такой жгучей, такой глубокой, так полно исчерпывающей их больные души, как будто не в случайной встрече сошлись они, а всю жизнь были врагами, всю жизнь искали друг друга и нашли — и в дикой радости боятся поверить себе, что нашли. И Павлу стало страшно. Он опустил глаза и пролепетал:

— Послушай же, Манечка. Пойми же наконец!..

— Ага!— обрадовалась женщина, оскалив широкие белые зубы.— Ага! Теперь Манечка стала! Вон! Вон!

Она соскочила с постели и, шатаясь, показывая Павлу свой толстый, волосатый затылок, начала поднимать его куртку.

— Вон! Вон!

— Слышишь ты, дьявол!— крикнул бешено Павел.

И тут произошло что-то неожиданное и дикое: пьяная и полуголая женщина, красная от гнева, бросила куртку, размахнулась и ударила Павла по щеке. Павел схватил ее за рубашку, разорвал, и оба они клубком покатились по полу. Они катались, сшибая стулья и волоча за собою сдернутое одеяло, и казались странным и слитным существом, у которого четыре руки и четыре ноги, бешено цеплявшиеся и душившие друг друга. Острые ногти царапали лицо Павла и вдавливались в глаза; одну секунду он видел над собой разъяренное лицо с дикими глазами, и оно было красно, как кровь; и со всею силою он сжимал чье-то горло. В следующую секунду он оторвался от женщины и вскочил на ноги.

— Собака!— крикнул он, вытирая окровавленное лицо.

А в дверь уже ломились, и кто-то вопил:

— Отворите! Дьяволы, анафемы!

Но женщина опять сзади накинулась на Павла, сбила его с ног, и они снова завертелись и закружились по полу, молча, задыхаясь, бессильные кричать от бешеной ярости. Они поднялись, упали и опять поднялись. Павел повалил женщину на стол, и под тяжелым телом ее хрустнула тарелка, а возле руки Павла звякнул длинный нож, облепленный хлебным мякишем. Левою рукою Павел схватил его, едва удержал и боком куда-то сунул. И тонкое лезвие согнулось. Он вторично сунул нож, и руки женщины дрогнули и сразу обмякли, как тряпки. Почти выбросив глаза из орбит, она закричала в лицо Павлу хрипло и пронзительно, все время на одной ноте, как кричат животные, когда их убивают:

— А-а-а-а!

— Молчи!— прохрипел Павел, и еще раз сунул куда-то нож, и еще. При каждом ударе женщина дергалась, как игрушечный клоун на нитке, и шире открывала рот с широкими и белыми зубами, среди которых вздувались пузырьки кровавой пены. Она уже молчала, но Павлу все еще слышался ее пронзительный, ужасный вой, и он хрипел:

— Молчи!

И, переложив нож из левой руки, мокрой и скользкой, в правую, ударил сверху раз, и еще раз.

— Молчи!

Тело грузно свалилось со стола и грузно стукнулось волосатым затылком. Павел наклонился и посмотрел на него: голый высокий живот еще вздымался, и Павел ткнул в него ножом, как в пузырь, из которого нужно выпустить воздух. Потом Павел выпрямился и с ножом в руке, весь красный, как мясник, с разорванною в драке губою, обернулся к двери.

Он смутно ожидал крика, шума, бешеных возгласов, гнева и мести,— и странное безмолвие поразило его. Ни звука не было, ни вздоха, ни шороха. В часах качался маятник, и не было слышно его движения; с острия ножа спадали на пол густые капли крови,— и они должны были звучать и не звучали. Как будто внезапно оборвались и умерли все звуки в мире и все его живые голоса. И что-то загадочное и страшное происходило с закрытою дверью. Она безмолвно надувалась, как только что проколотый живот, дрожала в безмолвной агонии и опадала. И снова надувалась она, опадала с замирающей дрожью, и с каждым разом темная щель вверху становилась шире и зловещее.

Непостижимый ужас был в этом немом и грозном натиске,— ужас и страшная сила, будто весь чуждый, непонятный и злой мир безмолвно и бешено ломился в тонкие двери.

Торопливо и сосредоточенно Павел отбросил с груди липкие лохмотья рубашки и ударил себя ножом в бок, против сердца. Несколько секунд он стоял еще на ногах и большими блестящими глазами смотрел на судорожно вздувавшуюся дверь. Потом он согнулся, присел на корточки, как для чехарды, и повалился...

В ту ночь, до самого рассвета, задыхался в свинцовом тумане холодный город. Безлюдны и молчаливы были его глубокие улицы, и в саду, опустошенном осенью, тихо умирали на сломанных стеблях одинокие, печальные цветы.

ВЕСЕННИЕ ОБЕЩАНИЯ

I

Кузнец Василий Васильевич Меркулов был строгий человек, и когда по праздникам он напивался пьян, то не пел песен, не смеялся и не играл на гармонии, как другие, а сидел в углу трактира и молча грозил черным обожженным пальцем. Грозил он и трактирщику за стойкой, и посетите-

лям, и слуге, подававшему водку и жареную рыбу; приходил домой и там продолжал грозить пустой хате, так как уже давно жил один. В споры и брань с ним не вступали, так как от смешной угрозы он легко переходил к жестокой и кровавой драке; при своих пятидесяти годах был очень силен, и узловатый черный кулак его падал на головы, как молот. И с виду он был еще очень крепок — худощав, но жилист и высок ростом; и ходил гордо: грудь выпирал вперед, а ноги ставил прямо, не сгибая колен, точно вымерял улицу циркулем.

Жил он, как и все в Стрелецкой слободе, не хорошо и не плохо, и никто не думал о нем и не замечал его жизни, так как у всякого была своя трудная и часто мучительная жизнь, о которой нужно было ежеминутно думать и заботиться. Новых людей мало приходило в слободу, заброшенную на край города, и все обитатели ее привыкли друг к другу и не замечали, что время идет, и не видели, как растет молодое и старится старое. Время от времени кто-нибудь умирал; его хоронили и день-два тревожно переговаривались об его неожиданной смерти, а потом все становилось так, словно никто и не умирал, и казалось, будто покойник продолжает еще существовать среди живых, или же что здесь совсем нет живых, а только покойники. Жили на Стрелецкой впроголодь, но принимали это покорно и за существование боролись равнодушно и вяло,— как больные, у которых нет аппетита, вяло и равнодушно переругиваются из-за лишней тарелки невкусного больничного супа.

Хата и кузница Меркулова стояли на краю слободы, там, где начинался берег реки Пересыханки. Берег был изрыт ямами, в которых брали глину и песок; река была мелкая, и летом через нее ездили вброд на тряских, пахнущих дегтем, телегах мужики из соседней деревни. Кузница Меркулова помещалась в землянке, и на землянку похожа была и хата, у которой кривые окна с радужными от старости стеклами дошли до самой земли. Около землянки стояли черные, закопченные столбы для ковки лошадей; и они были старые, бессильно погнувшиеся, а их глубокие продольные трещины походили на глубокие старческие морщины, проведенные долгой и суровой жизнью. Один столб уже два года качался. Меркулов, проходя мимо него пьяный, сурово грозил ему пальцем, но больше ничего не делал, чтобы укрепить его.

Пять месяцев в году Стрелецкая слобода лежала под снегом, и вся жизнь тогда уходила в черные маленькие хаты и судорожно билась там, придушенная грязью, темнотой

и бедностью. Сверху все было девственно бело, глухо и безжизненно, а под низкими потолками хат с утра плакали дети, отравленные гнилым воздухом, ругались взрослые и колотились друг о друга, бессильные выбиться из тисков жизни. И всем было больно. Так же нехорошо и темно было в занесенной хате Меркулова, и все в ней было кривое, черное, грязное той безнадежной грязью, которая въелась в дерево и вещи и стала частью их. Один угол покосился, и окно в нем стояло как-то нелепо, боком, а потолок был черный от копоти, и вместо всяких украшений на стене были наклеены цветные этикеты от бутылок: «Наливка киевская вишневая». Работы зимой было мало, и тяжелым сном проходила одинокая жизнь Меркулова среди кривых стен под черным низким потолком. Он спал, сколько мог, а когда сна не было, лежал и с суровым недоумением и вопросом вглядывался в свою жизнь. Бледными тенями проходило прошлое, и было оно простое и странное до ужаса, и не верилось тому, что в нем заключена вся жизнь его, а другой жизни нет и никогда не будет. Была жена и умерла от холеры, и лица ее не может вспомнить Меркулов, как будто никогда не существовала она в действительности, а только приснилась. Были и дети: один сын долго хворал, измучил всех и умер, другой пошел в солдаты и пропал без вести. Осталась одна дочь, Марья; она была замужем за пьяницей, сапожником на Стрелецкой, и часто прибегала к Меркулову жаловаться, что муж бьет ее: была она некрасивая и злая; тонкие губы ее дрожали от горя и злости, а один глаз, заплывший синяком, смотрел в узенькую щель, как чужой, печальный и ехидный глаз. Она кричала на всю улицу и бранила мужа; потом начинала бранить отца и называла его пьяницей, а соседские бабы и ребята заглядывали в окна и двери и смеялись. И это была вся его жизнь, а другой нет и никогда не будет.

И он лежал под черным потолком и думал, а на дворе тихо и покорно угасал короткий зимний день. В хате становилось темно, и Меркулов выходил на улицу: безлюдная и глухая, словно вымершая, она тихо лежала под снегом и была точно отражением безжизненного тусклого неба. И между ней и этим однотонно-серым и угрюмым небом быстро нарастала осторожная молчаливая тьма. На колокольне Михаила Архангела благовестили к вечерне, и казалось, что с каждым протяжным ударом на землю спадает мрак. Когда колокол без отзвука умолкал, на всей земле уже стояла покойная немая ночь. Мимо Меркулова, по направлению к реке, проехал на розвальнях мужик. На мину-

ту мелькнула лошаденка, потряхивавшая головой, мужик с поднятым воротом, привалившийся к передку саней,— и все расплылось в глухой тьме, и топота копыт не слышно было, и думалось, что там, куда поехал мужик, так же все скучно, голо и бедно, как и в хате Меркулова, и стоит такая же крепкая зимняя ночь. Вложив руки в карманы штанов, опершись на одну ногу и отставив другую, Меркулов с угрюмым вопросом смотрел на небо, искал на нем просвета и не находил. Был он высок и черен и в своей неподвижности напоминал один из черных столбов кузницы, до самой сердцевины изъеденных временем и жизнью.

Если случались деньги, Меркулов одевался и уходил в город, в трактир «Шелковку». Там он впивал в себя яркий свет ламп и такой же яркий и пестрый гул трактира, слушал, как играет орга́н, и сперва довольно улыбался, открывая пустые впадины на месте передних зубов, когда-то выбитых лошадью. Но скоро он напивался, так как был на водку слаб, начинал хмуриться и беспокойно двигать бровями и, поймав на себе чей-нибудь взгляд, многозначительно и мрачно грозил обожженным черным пальцем. Орга́н, торопливо захлебываясь и шипя, вызванивал трескучую польку; Меркулову казалось, что он не играет, а плюется разбитыми, скачущими звуками ненужного веселья, и от этого становилось обидно, грустно и беспокойно. Он грозил блестящим трубам и непреклонно бормотал:

— Не позволю, чтобы так играть. По какому праву? Нет у тебя права, чтобы так играть. Не позволю.

Когда в одиннадцать часов трактир запирали, Меркулов, покачиваясь и опираясь руками на заборы, долго и трудно шел домой и перед своей хатой останавливался в тяжелом недоумении и гневе.

— Моя хата,— говорил он, удивленно поднимая брови и пытаясь выше поднять отяжелевшие веки.— Не позволю, чтобы так криво стояла.

Потом, мотая головой на ослабевшей шее, блуждая взорами по окружающему, отыскивал на небе то место, куда смотрел вечером, тяжело поднимал руку и грозил согнутым пальцем, не в силах от хмеля распрямить его.

— Не позволю, чтобы так все. По какому праву?

И засыпал он с угрюмо сведенными бровями и готовым для угрозы пальцем, но хмельной сон убивал волю, и начинались тяжелые мучения старого тела. Водка жгла внутренности и железными когтями рвала старое, натрудивше-

еся сердце. Меркулов хрипел и задыхался, и в хате было темно, шуршали по стенам невидимые тараканы, и дух людей, живших здесь, страдавших и умерших, делал тьму живой и жутко беспокойной.

II

Началось это на третьей неделе великого поста, началось неожиданно и оттого особенно радостно. Утром Стрелецкая слобода проснулась в дымчатом, пахнущем гарью тумане, мягком и теплом, а когда туман рассеялся, воздух стал ясный и светлый, и ни на чем не было теней. И словно от земли, от крыш и домов отпало что-то железное, что давило и сковывало, и все начало пахнуть: снег, навоз и дома. У бондаря Гусева пекли хлеб, и по всей улице стоял домовитый приятный запах теплого хлеба. Как полированные, блестели по дороге широкие следы деревянных полозьев с крапинками золотистого лошадиного навоза, кричали выползавшие из хат ребята, и со звонким лаем носились собаки за тяжелым вороньем, грузно приседавшим над черными пятнами старых помоев. И дышалось легко и вольно.

Так в нерешимости несколько дней стояла Стрелецкая, а потом солнце взошло на чистом и глубоком небе, и снег начал плавиться с удивительной быстротой, как на огне. Во всех углублениях сбиралась пахучая снежная вода, и бабы перестали ходить на реку: в садах и огородах они выкапывали глубокие ямки, и на дне их, среди рыхлых снежных стенок, собиралась вода, прозрачная и холодная, как в ключах. Все меньше становилось снега и все больше воды; тепло и радостно светило солнце, и в лучах его блестел и сверкал тающий нежный покров. Блистала белым огнем каждая капелька воды, и если стать против солнца, то казалось, что вся земля зажглась в одном ослепительном сиянии, и больно было отвыкшим от света глазам. А в голубом небе было спокойно и торжественно ясно, и, когда Меркулов из-под руки смотрел на него, лицо его, еще пылающее жаром раскаленного горна, становилось трепетно-напряженным, и в редких усах безуспешно пряталась стыдливая улыбка. Он долго стоял на своих негнущихся ногах, смотрел и слушал и всем телом своим чувствовал то глубокое и таинственное, что происходило в природе. Не мертвый, как зимой, а живой был весенний воздух; каждая частица его была пропитана солнечным светом, каждая частица его жила и двигалась, и казалось Меркулову, что по старому, обожженному лицу его осторожно и ласково бегают крохотные детские пальчики, шевелят тонкие волоски на

бороде и в резвом порыве веселья отделяют на голове прядь волос и раскачивают ее. Он приглаживал волосы шершавой рукой, а прядь опять поднималась, и в督инах ее сверкало солнце.

И все, что было вокруг: далекое спокойное небо, ослепительное дрожание водяных капель на земле, просторная сияющая даль реки и поля, живой и ласковый воздух — все было полно весенних неясных обещаний. И Меркулов верил им, как верят весне все люди, молодые и старые, счастливые и несчастные. Пятидесятую весну встречал он, а была она нова и радостна, как первая весна его жизни. Весь великий пост Меркулов много работал, и новое чувство покорности и тихого ожидания не оставляло его. Он покорно принимал тяжелую работу, покорно принимал грязь, тесноту и мучительность своей жизни и в черную хату свою с кривыми углами входил, как в чужую, в которой недолго остается побыть ему. И как что-то новое, доселе невиданное, изучал он черные прокопченные потолки, паутину на углах, покатые полы с прогнившими половицами, изучал с серьезным и глубоким равнодушием постороннего человека. Все с тем же чувством кроткой покорности и смутного сознания, что нужно выполнить какой-то долг, Меркулов весь пост не пил водки, не бранился и питался только черным хлебом и водой. И в воскресенье не шел в трактир, как обычно, а с сосредоточенным и торжественным лицом сидел около своего дома на лавочке или журавлиным шагом прохаживался по Стрелецкой и смотрел, как играют ребята.

А детей было много на Стрелецкой, и нельзя было понять, куда прячутся они зимой, такие живые, громкие и неудержимые. Как мухи на солнце, они бегали, ползали, кружились, и каждый в своей живой подвижности походил на троих, а смех их был как неумолчное жужжание. И тут же вертелись собаки, расхаживали озабоченные куры, и на привалинке грелись белые тощие кошки, и все это жило шумной, беспокойной и веселой жизнью. На солнечной стороне под забором уже слегка зеленела трава, и по ней, без призора, катался крохотный круглый мальчишка, едва начавший ходить. Его уже испугала собака, потом воробей, он долго и громко плакал, но прилетело откуда-то белое и легонькое перышко и село поблизости, шевелясь и собираясь с силами для нового полета. И он старался накрыть его маленькой грязной рукой и задумчиво бормотал:

— Голубосек. Миленький. Подозди.

Но перышко поднялось и улетело, и он опять вспомнил страшного вертлявого воробья и заплакал. Подошла девоч-

ка немного побольше, чем он, в больших материнских башмаках, наклонилась, опершись ладонями на колени, и спросила:

— Мишка! Ты что плачешь?

— Кусается.

— Собака кусается?

— Собака кусается, и птичка кусается.

Девочка подумала и презрительно ответила:

— Дурак!

И опять Мишка остался один, ему хотелось есть, и дом был страшно далек, и не было возле близких людей,— все это было так ужасно, что он поднялся, всхлипнул и, опустившись на четвереньки, пополз куда глаза глядят. Меркулов поднял его и понес; Мишка сразу успокоился и, покачиваясь на руках, сверху вниз, серьезно и самодовольно смотрел на страшную и теперь веселую улицу и ни разу до самого дома не взглянул на незнакомого человека, спасшего его.

На страстной неделе Меркулов говел. Во все дни недели он неукоснительно посещал каждую церковную службу, простаивал ее с начала до конца, покупал тоненькие восковые свечи, гнувшиеся в его грубых руках, и чувство покорности и трепетного ожидания росло в его душе. Ранним утром, когда тени от домов лежали еще через всю улицу, он шел в церковь, хрустя тонким ночным ледком, и по мере того, как он подвигался вперед мимо сонных домов, вокруг него вырастали такие же темные фигуры людей, ежившихся от утреннего холодка. Как и Меркулов, они несли в церковь грехи и горе своей жизни, и много их было, и были они бедно и грязно одеты, с темными и грубыми лицами. Они шли быстро и молча, словно боялись пролить хоть каплю из глубокого ковша своей темной жизни, и Меркулов, оглушенный нестройным топотом их ног, охваченный лихорадкой массового неудержимого стремления, шагал все крупнее своими негнущимися журавлиными ногами. И чем ближе к церкви, тем быстрее и беспокойнее становились шаги идущего. Искоса поглядывая, не обгоняет ли кто его, Меркулов шумно входил в притвор, пугался глухого эха своих шагов по каменному звонкому полу и робко открывал тяжелую бесшумную дверь.

И за дверью встречали его холодная, торжественная тишина, подавленные вздохи и утроенное эхом гнусавое и непонятное чтение дьячка, прерываемое непонятными и долгими паузами. Смущаясь скрипом своих шагов, Меркулов становился на место, посреди церкви, крестился, ког-

да все крестились, падал на колени, когда все падали, и в общности молитвенных движений черпал спокойную силу и уверенность.

В пятницу перед исповедью Меркулов просил прощения у дочери своей, Марьи Васильевны, и у мужа ее, пьяницы Тараски. Не говевший Тараска торопливо дошивал сапоги, сосредоточенно шипя дратвой, но к тестю отнесся внимательно и на его низкий поклон ответил поклоном и покаянными словами:

— Что ж, папаша! Все мы, конечно, свиньи. Что там...

Марья Васильевна поджала тонкие губы и со взглядом в сторону неохотно ответила кланявшемуся отцу:

— Бог простит. Простите и нас, если в чем виноваты.

Злая она была и несчастная, и не прощать ей хотелось, а проклинать. Горько и обидно было ей смотреть на отца: что он так благообразен, умыт и причесан, а ей некогда лица сполоснуть; что он полон каким-то неизвестным ей и приятным чувством и завтра его будут поздравлять; что он просит у нее прощения, а сам считает ее ниже себя и даже ниже пьяницы Тараски. И совсем сердито она крикнула на отца:

— Ну, иди, иди! Видишь, люди работают.

Ночью Меркулов не спал и несколько раз выходил на улицу. На всей Стрелецкой не было ни одного огонька, и звезд было мало на весеннем затуманенном небе; черными притаившимися тенями стояли низенькие молчаливые дома, точно раздавленные тяготой жизни. И все, на что смотрел Меркулов: темное небо с редкими немигающими звездами, притаившиеся дома с чутко спящими людьми, острый воздух весенней ночи,— все было полно весенних неясных обещаний. И он ожидал — трепетно и покорно.

III

В обыкновенные дни, в праздники и будни, двери на церковные колокольни бывают заперты, и туда никого не пускают, но на Пасху в течение всей недели двери стоят открытыми, и каждый может войти и звонить сколько хочет — от обедни до самых вечерен. На белой колокольне Михаила-архангела, к приходу которого принадлежала Стрелецкая, толкалось в эти дни много праздного разряженного народа: одни приходили посмотреть на город с высоты, стояли у шатких деревянных перил и грызли семечки из-под полы, чтоб не заругался сторож; другие для забавы

звонили, но скоро уставали и передавали веревку; и только для одного Меркулова праздничный звон был не смехом, не забавой, а делом таким серьезным и важным, в которое нужно вкладывать всю душу. Как и все, он надевал праздничное и веселое платье: красную рубаху, новые блестящие сапоги, но лицо его с редкой бородкой и беззубым ртом оставалось по-великопостному строгим и замкнутым. Он не понимал, как можно на колокольне смеяться, и хмуро смотрел на скалящих зубы стрельцов, а мальчишек, которые шалили, плевали вниз, перегнувшись через перила, и, как обезьяны, лазали по лесенкам, часто гонял с колокольни и даже драл за уши.

Приходил он на колокольню самым первым, когда в церкви шла еще обедня и звонить нельзя было. Когда он еще только входил в низкую сводчатую дверь колокольни и сразу попадал во тьму и сухой холод каменных переходов, он чувствовал себя отрешенным от всего, что составляло его жизнь, и готовым к восприятию чего-то великого, радостного и таинственного, чего нельзя передать словами. На изогнутых ломаных лестницах было тихо той глубокой тишиной, которая копится сотни лет; и из темных углов, занесенных паутиной, от исщербленных кирпичей, из черных загадочных провалов глядело что-то старое, седое и важно задумчивое. Было жутко слышать скрип собственных шагов, и Меркулов переступал ногами осторожно и почтительно, а на промежуточных площадках вежливо отдыхал, хотя усталости не чувствовал. Выбравшись наверх, он степенно, как в церкви, оглядывался, вытирал лоб платком и со страхом перед ожидающим его неизмеримым блаженством застенчиво осматривал большой спокойный колокол — другие, маленькие колокола, он не уважал. И тут, на высоте, было тихо — живой тишиной нежного весеннего воздуха и плывущих в яркой синеве белых облаков. На краю площадки, за перилами, где железные листы были покрыты белым птичьим пометом, ходили и ворковали голуби, и их нежный любовный говор был громче и слышнее всех тех разрозненных, надоедливых звуков, что рождались землей и ползали по ней, бессильные подняться к небу.

Кончалась обедня. Как муравьи, поднявшиеся на задние ножки, расходились по улицам прихожане, и шумной ватагой, стуча деревянными ступеньками, как клавишами, на колокольню взбегали веселые стрельцы, прогоняли криком пугливых голубей, и кто-нибудь хватался за веревку большого спокойного колокола. В хвосте их, не торопясь и не волнуясь, как человек привычный, входил звонарь Семен; он

тоже был в красной рубахе, от него слегка пахло водкой, как от других стрельцов, и красное лицо его с окладистой ярко-рыжей бородой широко и благосклонно улыбалось. Он подмигивал Меркулову и говорил:

— Что, кум, позвоним?

— Звоните вы,— угрюмо отвечал Меркулов и недовольно отходил к стороне, жуя губами: от волнения у него пересохло в горле и что-то покалывало в спине. Уже несколько стрельцов отмотали себе руки и ушли, потирая загоревшимися ладонями, и ушел Семен, когда Меркулов решительно оттолкнул стрельца и взялся за веревку. Он боялся обнаружить свое волнение, но руки дрожали и безудержно шевелились губы, а большой спокойный колокол задумчиво смотрел на него всем своим огромным жерлом и терпеливо ждал. И медленно начинал раскачиваться тяжелый железный язык. Он поддавался с важной и плавной медлительностью, подходил все ближе к блестящему краю колокола, почти касался его, и легкий гул уже пробегал по медному туловищу. А потом раздавался удар, первый, робкий, сорвавшийся удар, прозвучавший нерешительно и слабо, со странной мольбой о милости и прощении. И вслед за ним — второй, мощный и гулкий удар сотряс пространство и трепетной дрожью пронизал каменную колокольню; и еще не умер он, как плавно выбежал за ним новый. И так шли они друг за другом, широкие и свободные, как закованные в железо богатыри, которых долго держали в бездейственной засаде, а теперь они выехали на сечу и железным ураганом несутся на дрогнувшего врага. Но хмурился недовольно Меркулов; в могучих и широких звуках он слышал голос холодной и жестокой меди, и не было в них того, что так нужно было его долго ждавшему, ненасытно жаждавшему сердцу. И все крепче тянул он податливую веревку.

А другие стрельцы разобрали веревки от остальных колоколов и подняли разноголосый пестрый звон, похожий на их красные, синие и желтые рубахи, и чуткий звонарь Семен издалека услышал их. Он обходил с причтом Стрелецкую, был немного пьян и очень весел и насмешливо покачивал головой, прислушиваясь к нестройному и точно пьяному звону.

— Глянь-ка, задувают-то! Чисто кота с кошкой венчают,— говорил он псаломщику, красному от быстрой ходьбы и угощений.

Меркулов не слышал и не чувствовал этой дикой неблагозвучности, на которую издалека отозвался Семен. Он весь ушел в борьбу с медным чудовищем и все яростнее колотил

его по черным бокам,— и случилось так, что вопль, человеческий вопль прозвучал в голосе бездушной меди и, содрогаясь, понесся в голубую сияющую даль. Меркулов слышал этот вопль, и бурным ликованием наполнилась его душа.

— Ага!— сквозь стиснутые зубы промычал он.— Ага!

И новый вопль, безумно-печальный, полный страданием, как море водой, огненный и страшный, как правда — новый человеческий вопль. Точно в ужасе перед силой человека, заставившей говорить человеческим языком его бездушное тело, частою дрожью дрожал снизу доверху гигантский колокол, и покорно плакал о чуждой ему человеческой доле, и к небу возносил свои мощные мольбы и угрозы. И, сами не зная почему, стали серьезны веселые стрельцы, бросили веревки своих беззаботно тилилинькавших колоколов и хмуро, с неудовольствием на свою непонятную печаль, слушали дикий рев колокола и смотрели на обезумевшего кузнеца. Лицо его налилось кровью; встревоженный, весь дрожащий воздух поднимал жидкие волосы на его голове, и в крепких его руках молотобойца, как перышко, ходил тяжелый железный язык.

Все мучительней и больнее становились человеческие вопли покорного колокола. Меркулов звонил руками, звонил сердцем, которое судорожно и часто ворочалось в его груди; звонил всей тоской и горем изболевшейся человеческой души, одинокой и всеми забытой. Он звонил всей своей жизнью и о всей своей темной жизни звонил он — и все яростнее и требовательнее бил он железом по медным бокам. Будто разбудить он хотел кого-то, кто находится в неведомой голубой дали и спит непробудно, и не слышит, как плачет и стонет земля.

— Отзовись, неведомый!— гудел и надрывался дрожащий колокол.— Отзовись, могучий и жалостливый! Взгляни на прекрасную землю: печальна она, как вдовица, и плачут ее голодные, обиженные дети. Каждый день всходит над землей солнце и в радости совершает круг свой, но весь великий свет его не может рассеять великой тьмы, которой полно страдающее сердце человека. Потеряна правда жизни, и во лжи задыхаются несчастные дети прекрасной земли. Отзовись, неведомый! Отзовись, могучий и жалостливый!

Руки кузнеца не знают устали. Все громче и громче бьет он по черным бокам, и бурно рыдает звенящая медь:

— Отзовись!

Стрельцы задумались и не смотрят друг на друга. Один отворотил полу поддевки, чтобы достать табаку, и так

и остался: рот его изумленно открыт, и глаза со страхом и надеждой следят за тяжело порхающим железным языком, а узкий листик газетной бумаги, приготовленный для цигарки, беспомощно треплется по ветру. Другой — руками и грудью лег на деревянные перила, глядит вниз, но не замечает ничего: ни плоских крыш, точно лежащих на земле, ни блестящей на солнце реки. Что-то знакомое слышит он в рыдающем голосе колокола, знакомое и печальное: так плакала мать когда-то, так плакал он сам. И теперь ему хочется плакать.

— Отзовись же! Отзовись!

В самом конце Стрелецкой прислушивается к колоколу Семен. Он склонил голову набок и неодобрительно покачивает ею. Потом нагоняет о. Андрея и говорит:

— Батюшка, а батюшка! А колокол-то с трещинкой. Давно уже вам говорил, а вы все не верите. Послушайте!

И, наклонив головы, они слушают, а веселое солнце бьет им прямо в глаза и зажигает огнем золотой наперсный крест.

IV

И всегда Меркулов не любил глядеть понизу, а во все дни светлой недели он носил голову немного назад и смотрел поверх лбов. И всю неделю он был трезв, каждое утро от обеден до вечерни звонил на колокольне Михаила-архангела, а после вечерни или сидел у звонаря Семена, или на десяток верст уходил в поле. И домой возвращался только ночью.

На третий день, незадолго до вечерни, на колокольню пришел Семен. Уставший Меркулов отдыхал, и звонил горбатый портной Снегирь, звонил бестолково и нудно, извлекая из колокола нерешительные, дребезжащие звуки.

— Пусти-ка!— сказал Семен.

Застенчиво улыбаясь, портной пустил веревку и стал в сторонке, заложив руки назад, под горб.

— Вот, кум, послушай: я тебе покажу, как надо звонить,— обратился звонарь к Меркулову.— Не по-вашему!

— Что ж, покажи,— высокомерно согласился Меркулов.

Семен забрал между пальцев веревки от маленьких колоколов, стал ногой на доску, приводившую в движение средний колокол, и приказал горбатому:

— Валяй, звони: пореже да покрепче. За совесть.

Слабосильный портной, улыбаясь и бледнея от натуги, еще раскачивал неподатливый язык, когда в руках Семена уже заговорили нежные и мягкие колокольчики. Они словно смеялись, как дети, торопливо бежали, кружились и разбегались, и с ними засмеялся теплый воздух, светло улыбнулась старая колокольня, и невольная улыбка прошла по сухому лицу Меркулова. Ясным, как небо, весельем дышали гармоничные звуки, и, путаясь среди их звонких голосов, как взрослый среди играющих детей, мягким баритоном поддакивал средний колокол.

— Да! Да! Да!

— Вот весело! Вот весело!— звенели дети.

— Да! Да! Да!— добродушно соглашался колокол.

И так это было красиво, так беззлобно и светло, что Меркулов хлопнул себя в восторге руками по бедрам, и непривыкшее к смеху лицо его превратилось в странный комок морщин, среди которых совсем пропали черные беспокойные глаза. Семен метнул в него косым пытливым взглядом и уверенно, со строгим и странно-холодным лицом, бросил в воздух такой яркий сноп вызывающе-радостных и певучих звуков, что по горбу слабосильного портного пробежала зыбкая дрожь, и внизу на площади остановились двое прохожих и подняли головы кверху. И большой колокол, который не принуждали больше издавать дикие страдальческие вопли, спокойно отдыхал в густых и мерных ударах, торжественно плывущих в голубую сияющую даль. И так говорили они, веселые колокола:

— Взгляни на прекрасную землю: радостна она, как молодая мать, и ликует под солнцем рожденное ею. Над далеким полем проносятся в вышине наши голоса, и в небе им отвечает жаворонок, а на земле блестящие ручьи. Ты слышишь их хрустальный звон? По межам, по оврагам бегут они и прорывают черные ходы под снегом и каскадом падают в реку. Вот одни из них маленькие, и жизнь их короткая, от бугорка до ближайшей ямы, робко и нежно звенят они, и много чистой радости в их нежном лепете. Вот другие по оврагам, глубокие, бурливые, они поднимают со дна желтую глину, подмывают черный снег и обломки его несут на вольный простор реки. Силой и буйной удалью звучат их голоса, и громкой песней освободившейся земли издалека перекликаются они. Взгляни на землю: прекрасна она, как молодая мать, и радуется под солнцем рожденное ею. Ты слышишь, как растет зеленая трава и лопаются весенние почки? Вот правда жизни.

Семен кончил. Задохнувшийся горбун прижимал к уродливой груди костлявые длинные пальцы и улыбался; внизу собрался народ и тянул головы кверху; и, победоносно вскинув рыжую бороду, звонарь обернулся к Меркулову. Тот стоял на своих длинных негнущихся ногах боком к колоколам — в позе непреклонного и гордого протеста — и смотрел поверх Семеновой головы.

— Вот как по-нашему,— сказал Семен.— Здорово, кум?

Меркулов пожевал беззубым ртом, обвел взором колокола, балки, на которых они висели, презрительно с ног до головы измерил горбуна и ответил:

— Конечно, вы мастер, Семен Савельевич. Однако настоящего звуку у вас нет.

— То-то у тебя есть,— покровительственно засмеялся Семен.— Словно баба палкой по дырявому чугуну бьет. Тоже!

После вечерни Меркулов не пошел домой, а остался у звонаря. Семен пил водку, которую из непонятного чувства долга ежедневно покупал ему Меркулов, потом дома пил чай и, когда солнце уже заходило, позвал молчаливого гостя посидеть на лавочке. Верх белой колокольни еще горел золотом весеннего заката, а внизу уже ложились прозрачные тени, и от каменных стен веяло холодом ночи. Оба молчали, оба курили и внимательно следили за дымом махорки; и дым этот, синий, пахучий, медленно волновался и таял и резче оттенял свежесть и запах весеннего воздуха. Семен не любил долго молчать, ему становилось скучно и вяло, слово за словом, он начинал рассказывать что-то неинтересное о своей службе в церкви, о восковых огарках и характере ктитора, купца Авдунова. О колоколах и звоне он ничего не говорил. Меркулов, чувствовавший позади себя безмолвную таинственную колокольню, хмурился и нетерпеливо ждал момента, когда Семен заговорит о настоящем, о чем нужно и интересно говорить. И, не в силах дождаться, перебивал звонаря:

— Хорошо вы звоните, Семен Савельич.

Когда Меркулов говорил с ним о житейском и обыкновенном, то называл его «ты» и «Семен», а когда разговор заходил о звоне и колоколах, переходил на «вы» и величал звонаря по отчеству.

— Звоню хорошо, это верно,— согласился Семен.— Но ведь и то сказать: наука.

— Не всякому оно дано.

— Конечно, не всякому,— подтвердил звонарь.— Ухо тоже надо иметь хорошее, чтобы понимать. А то такого кота пустит — ай папаша и мамаша.

Меркулов помолчал.

— Однако вы меня извините, но настоящего у вас нету,— заметил он.

— Звону?

— Звону.

Семен улыбнулся. Он мало думал о том, как он звонит, но знал от людей, что звон у него хороший и веселый; знал и то, что сердце у него радуется, когда он берется за веревку.

— Отец Андрей говорит: «Когда, говорит, Семен, ты звонишь, у меня на столе стаканы пляшут».

— А душа?— спросил Меркулов.

— Что душа?

— Вот, скажем, у меня дочь, Марья, Марья Васильевна. И муж ее ногой по пузу, а она и скинула. Это как же? Так и оставить?

Но Семену не хотелось продолжать скучного разговора о Марье. И он тихонько засвистал, подняв кверху рыжую бороду и обводя ищущими глазами светлое небо, на котором не умер еще день, но уже скоро должны были загореться серебряные звезды. Замолчал и Меркулов и долго сидел так, сердито жуя губами. Потом лицо его просветлело, и он сказал:

— Хорошо на заре звонить, когда все спят. Бухнуть, чтобы все с постелей повскакали.

Семен приостановил свист и, продолжая обыскивать глазами небо, равнодушно спросил:

— А ты слышишь, когда к утрене звонят?

— Нет.

— То-то. И никто не слышит.

Меркулов хотел возразить, но, посмотрев на Семена, на его рыжую бороду, равнодушно торчавшую кверху, сурово сказал:

— Прощай!

Когда Меркулов вышел за шлагбаум, на шоссе уже стало темнеть, и звезды, сперва большие и светлые, как серебряные пятачки, сделались острые и яркие и точно смотрели на землю. Отойдя версты две, Меркулов сел на круглый верстовой камень, торчавший из земли, и тяжело задумался — задумался без мыслей, без слов, той глубокой и странной думой всего тела, которая оковывает человека, как сон. Он тяжело вздыхал и не слышал своих вздохов;

доставал табак, делал папиросы и курил — и не замечал этого. Мимо него, сонно погромыхивая, проехала телега; по бокам шоссе, в невидимом поле дремотно звенели ручьи, отдыхавшие в холодке от дневной спешной работы,— он не видел телеги, не слышал ручьев. И когда он встал и изумленно оглянулся, не зная, зачем попал сюда, в его душе уже совершалась какая-то сложная, загадочная работа, и сердцу стало легко и радостно.

«Дурак Сенька, даром что Савельич!»— подумал он с усмешкой, бодро шагая к городу на своих негнущихся ногах. Он вспомнил, как рыдал сегодня в его руках большой спокойный колокол и в клочья раздирал голубую даль своим призывным страстным кличем — и так весело сделалось ему, что он не выдержал и засмеялся одиноким сухим смешком, странно прозвучавшим среди ночи и поля. Оно было здесь; оно было в нем и вокруг него, а все, что было раньше,— ушло куда-то, и его нет, и о нем не нужно думать. И так светло в его голове, как в церкви на Пасху, когда у каждого горит в руках восковая свечка.

— Дурак Сенька!— повторил он вслух и снова засмеялся.

В субботу Меркулов звонил в последний раз и, когда Семен почти насильно отнял у него веревку, был бледен от усталости и волнения, и колени его дрожали.

— Погоди, постой,— бессмысленно просил он звонаря, осторожно двумя пальцами касаясь его плеча.— Еще надо. Я разок. Потому, еще надо.

Звонарь молча, с неодобрением оттолкнул его, и Меркулов жадными глазами простился с колоколом и ушел. А в воскресенье утром проснулся радостный и бодрый и долго отказывался понять, что ему некуда и незачем идти. Как долго путешествовавший человек, у которого в пути было много приключений, он с любопытством и приязнью рассматривал кривые стены и черный потолок — и не нашел в них, чего искал. Потом пошел в кузницу, потрогал пальцем холодную золу на горне, зачем-то плюнул и с интересом рассматривал плевок, свернувшийся шариком в мягком пепле. Потом пошел и попробовал столб: один качался. Так целое утро слонялся он из хаты в кузницу; долго ходил по своему чахлому садику, где бесприютно торчали голые и как будто сухие прутья малины, и ходил на Стрелецкую смотреть, как дрались из-за гармонии две компании пьяных стрельцов.

А в два часа, когда от безделья он лег спать, его разбудил женский визг, и перед испуганными глазами встало

окровавленное и страшное лицо Марьи. Она задыхалась, рвала на себе уже разорванное мужем платье и бессмысленно кружилась по хате, тыкаясь в углы. Крику у нее уже не было, а только дикий визг, в котором трудно было разобрать слова.

— Ой, убил!

Меркулов кружился вместе с ней, но не мог схватить ее: у нее была ушиблена голова, она ничего не понимала и в диком ужасе царапалась ногтями и выла. Левый глаз у нее был выбит каблуком.

К вечеру Меркулов был пьян, подрался с зятем Тараской, и их обоих отправили в участок. Там их бросили на асфальтовый грязный пол, и они заснули пьяным мертвецким сном, рядом, как друзья; и во сне они скрипели зубами и обдавали друг друга горячим дыханием и запахом перегорелой водки.

НА СТАНЦИИ

Была ранняя весна, когда я приехал на дачу, и на дорожках еще лежал прошлогодний темный лист. Со мною никого не было; я один бродил среди пустых дач, отражавших стеклами апрельское солнце, всходил на обширные светлые террасы и догадывался, кто будет здесь жить под зелеными шатрами берез и дубов. И когда закрывал глаза, мне чудились быстрые веселые шаги, молодая песня и звонкий женский смех.

И часто я ходил на станцию встречать пассажирские поезда. Я никого не ждал, и некому было приехать ко мне; но я люблю этих железных гигантов, когда они проносятся мимо, покачивая плечами и переваливаясь на рельсах от колоссальной тяжести и силы, и уносят куда-то незнакомых мне, но близких людей. Они кажутся мне живыми и необыкновенными; в их быстроте я чувствую огромность земли и силу человека, и, когда они кричат повелительно и свободно, я думаю: так кричат они и в Америке, и в Азии, и в огненной Африке.

Станция была маленькая, с двумя короткими запасными путями, и, когда уходил пассажирский поезд, становилось тихо и безлюдно; лес и лучистое солнце овладевали низенькой платформой и пустынными путями и заливали их тишиной и светом. На запасном пути, под пустым заснувшим вагоном, бродили куры, роясь около чугунных колес, и не

верилось, глядя на их спокойную, кропотливую работу, что есть какая-то Америка, и Азия, и огненная Африка... В неделю я узнал всех обитателей уголка и кланялся, как знакомым, сторожам в синих блузах и молчаливым стрелочникам с тусклыми лицами и блестящими на солнце медными рожками.

И каждый день я видел на станции жандарма. Это был здоровый и крепкий малый, как все они, с широкою спиною, туго обтянутой синим мундиром, с огромными руками и молодым лицом, на котором сквозь суровую начальственную важность еще проглядывала голубоглазая наивность деревни. Вначале он недоверчиво и мрачно обыскивал меня глазами, делал недоступно строгое, без послаблений, лицо, и, когда проходил мимо, шпоры его звучали особенно резко и красноречиво,— но скоро привык ко мне, как привык он к этим столбам, подпирающим крышу платформы, к пустынным путям и заброшенному вагону, под которым копошатся куры. В таких тихих уголках привычка создается быстро. И когда он перестал замечать меня, я увидел, что этому человеку скучно — скучно, как никому в мире. Скучно от надоевшей станции, скучно от отсутствия мыслей, скучно от пожирающего силы безделья, скучно от исключительности своего положения, где-то в пространстве между недоступным ему станционным начальством и недостойными его низшими служащими. Душа его жила нарушениями порядка, а на этой крохотной станции никто не нарушал порядка, и каждый раз, когда отходил без всяких приключений пассажирский поезд, на лице жандарма выражались расстройство и досада обманутого человека. Несколько минут в нерешимости он стоял на месте и потом вялою походкою шел на другой конец платформы — без определенной цели. Дорогою на секунду останавливался перед бабою, ожидавшей поезда; но баба была как баба, и, нахмурившись, жандарм следовал дальше. Потом он садился вяло и плотно, как разваренный, и чувствовалось, как мягки и вялы под сукном мундира его бездеятельные руки, как в мучительной истоме безделья томится все его крепкое, созданное для работы тело. Мы скучаем только головою, а он скучал весь насквозь, снизу доверху: скучала его фуражка, с бесцельным молодечеством сдвинутая набекрень, скучали шпоры и тренькали дисгармонично, враздробь, как глухие. Потом он начинал зевать. Как он зевал! Рот его кривился, раздираясь от одного уха до другого, ширился, рос, поглощал все лицо; казалось, еще секунда — и в это растущее отверстие можно будет рассмотреть самые внут-

ренности его, набитые кашей и жирными щами. Как он зевал!

С поспешностью я уходил, но долго еще подлая зевота сводила мои скулы, и в слезящихся глазах ломались и прыгали деревья.

Однажды с почтового поезда сняли безбилетного пассажира, и это было праздником для скучающего жандарма. Он подтянулся, шпоры звякнули отчетливо и свирепо, лицо стало сосредоточенно и зло,— но счастье было непродолжительно. Пассажир заплатил деньги и торопливо, ругаясь, вернулся в вагон, а сзади растерянно и жалко тренькали металлические кружки, и над ними расслабленно колыхалось обессилевшее тело.

И порою, когда жандарм начинал зевать, мне становилось за кого-то страшно.

Уже несколько дней около станции возились рабочие, расчищая место, а, когда я вернулся из города, пробыв там два дня, каменщики клали третий ряд кирпича: для станции воздвигалось новое, каменное здание. Каменщиков было много, они работали быстро и ловко, и было радостно и странно смотреть, как вырастала из земли прямая и стройная стена. Залив цементом один ряд, они устилали следующий, подгоняя кирпичи по размеру, кладя их то широким, то узким боком, отсекая углы, примериваясь. Они размышляли, и ход их мыслей был ясен, ясна и их задача,— и это делало их работу интересною и приятною для глаза. Я с удовольствием смотрел на них, когда рядом прозвучал начальственный голос:

— Слушай, ты! Как тебя! Не тот кладешь!

Это говорил жандарм. Перегнувшись через металлическую решетку, которая отделяла асфальтовую платформу от работающих, он показывал пальцем на кирпич и настаивал:

— Тебе говорю! Борода! Вон тот положь. Видишь — половинка.

Каменщик с бородою, местами белевшей от извести, молча обернулся,— лицо жандарма было строго и внушительно,— молча последовал глазами за его пальцем, взял кирпич, примерил — и молча положил назад. Жандарм строго взглянул на меня и отошел прочь, но соблазн интересной работы был сильнее приличий: сделав два круга по платформе, он снова остановился против работающих в несколько небрежной и презрительной позе. Но на лице его не было скуки.

Я пошел в лес, а, когда возвращался назад через станцию, был час дня,— рабочие отдыхали, и было безлюдно, как всегда. Но у начатой стены кто-то копошился, и это был жандарм. Он брал кирпичи и докладывал пятый неоконченный ряд. Мне видна была только его широкая обтянутая спина, но в ней чувствовалось напряженное размышление и нерешительность. Очевидно, работа была сложнее, чем он думал; обманывал его и непривычный глаз, и он откидывался назад, качал головою и нагибался за новым кирпичом, стуча опустившейся шашкой. Раз он поднял палец вверх,— классический жест человека, нашедшего решение задачи, вероятно, употребленный еще Архимедом,— и спина его выпрямилась самоувереннее и тверже. Но сейчас же съежилась опять в сознании неприличности взятой работы. Было во всей его рослой фигуре что-то притаившееся, как у детей, когда они боятся, что их поймают.

Я неосторожно чиркнул спичкой, закуривая папиросу, и жандарм испуганно обернулся. Секунду он растерянно смотрел на меня, и внезапно молодое лицо его осветилось слегка просительной, доверчивой и ласковой улыбкой. Но уже в следующее мгновение оно стало недоступно и строго, и рука потянулась к жиденьким усам, но в ней, в этой самой руке, еще лежал злополучный кирпич. И я видел, как мучительно стыдно ему и кирпича этого и своей невольной предательской улыбки. Вероятно, он не умел краснеть — иначе он покраснел бы, как кирпич, который продолжал беспомощно лежать в его руке.

Стену возвели до половины, и уже не видно, что делают на своих подмостках ловкие каменщики. И опять мается по платформе и зевает жандарм, и, когда, отвернувшись, проходит мимо меня, я чувствую, что ему стыдно,— он меня ненавидит. А я гляжу на его сильные руки, вяло болтающиеся в рукавах, на его нестройно брякающие шпоры и повисшую шашку — и мне все кажется, что это не настоящее, что в ножнах совсем нет шашки, которой можно зарубить, а в кобуре нет револьвера, которым можно насмерть застрелить человека. И самый мундир его — тоже не настоящее, а так, нарочно, какой-то странный маскарад среди белого дня, пред апрельским правдивым солнцем, среди простых работающих людей и хлопотливых кур, собирающих зерна под заснувшим вагоном.

Но порою... порою мне становится за кого-то страшно. Уж очень он скучает...

ЖИЗНЬ ВАСИЛИЯ ФИВЕЙСКОГО

I

Над всей жизнью Василия Фивейского тяготел суровый и загадочный рок. Точно проклятый неведомым проклятием, он с юности нес тяжелое бремя печали, болезней и горя, и никогда не заживали на сердце его кровоточащие раны. Среди людей он был одинок, словно планета среди планет, и особенный, казалось, воздух, губительный и тлетворный, окружал его, как невидимое прозрачное облако. Сын покорного и терпеливого отца, захолустного священника, он сам был терпелив и покорен и долго не замечал той зловещей и таинственной преднамеренности, с какою стекались бедствия на его некрасивую, вихрастую голову. Быстро падал и медленно поднимался; снова падал и снова медленно поднимался,— и хворостинка за хворостинкой, песчинка за песчинкой трудолюбиво восстановлял он свой непрочный муравейник при большой дороге жизни. И когда он сделался священником, женился на хорошей девушке и родил от нее сына и дочь, то подумал, что все у него стало хорошо и прочно, как у людей, и пребудет таким навсегда. И благословил Бога, так как верил в него торжественно и просто: как иерей и как человек с незлобивой душою.

И случилось это на седьмой год его благополучия, в знойный июльский полдень: пошли деревенские ребята купаться, и с ними сын о. Василия, тоже Василий и такой же, как он, черненький и тихонький. И утонул Василий. Молодая попадья, прибежавшая на берег с народом, навсегда запомнила простую и страшную картину человеческой смерти: и тягучие, глухие стуки своего сердца, как будто каждый удар его был последним; и необыкновенную прозрачность воздуха, в котором двигались знакомые, простые, но теперь обособленные и точно отодранные от земли фигуры людей; и оборванность смутных речей, когда каждое сказанное слово круглится в воздухе и медленно тает среди новых нарождающихся слов. И на всю жизнь почувствовала она страх к ярким солнечным дням. Ей чудятся тогда широкие спины, залитые солнцем, босые ноги, твердо стоящие среди поломанных кочанов капусты, и равномерные взмахи чего-то белого, яркого, на дне которого округло перекатывается легонькое тельце, страшно близкое, страшно далекое и навеки чужое. И много времени спустя, когда Васю похоронили и трава выросла на его могиле, попадья все еще твердила молитву всех несчастных матерей: «Господи, возьми мою жизнь, но отдай мое дитя!»

Скоро и все в доме о. Василия стали бояться ярких летних дней, когда слишком светло горит солнце и нестерпимо блестит зажженная им обманчивая река. В такие дни, когда кругом радовались люди, животные и поля, все домочадцы о. Василия со страхом глядели на попадью, умышленно громко разговаривали и смеялись, а она вставала, ленивая и тусклая, смотрела в глаза пристально и странно, так что от взгляда ее отворачивались, и вяло бродила по дому, отыскивая какие-нибудь вещи: ключи, или ложку, или стакан. Все вещи, какие нужно, старались класть на виду, но она продолжала искать и искала все упорнее, все тревожнее, по мере того как все выше поднималось на небе веселое, яркое солнце. Она подходила к мужу, клала холодную руку на его плечо и вопросительно твердила:

— Вася! А Вася?

— Что, милая?— покорно и безнадежно отвечал о. Василий и дрожащими загорелыми пальцами с грязными от земли, нестрижеными ногтями оправлял ее сбившиеся волосы. Была она еще молода и красива, и на плохонькой домашней ряске мужа рука ее лежала как мраморная: белая и тяжелая.— Что, милая? Может быть, чайку бы выпила — ты еще не пила?

— Вася, а Вася?— повторяла она вопросительно, снимала с плеча словно лишнюю и ненужную руку и снова искала все нетерпеливее, все беспокойнее.

Из дома, обойдя все его неприбранные комнаты, она шла в сад, из сада во двор, потом опять в дом, а солнце поднималось все выше, и видно было сквозь деревья, как блестит тихая и теплая река. И шаг за шагом, цепко держась рукой за платье, угрюмо таскалась за попадьей дочь Настя, серьезная и мрачная, как будто и на ее шестилетнее сердце уже легла черная тень грядущего. Она старательно подгоняла свои маленькие шажки к крупным, рассеянным шагам матери, исподлобья, с тоскою оглядывала сад, знакомый, но вечно таинственный и манящий,— и свободная рука ее угрюмо тянулась к кислому крыжовнику и незаметно рвала, царапаясь об острые колючки. И от этих острых, как иглы, колючек и от кислого хрустящего крыжовника становилось еще скучнее и хотелось скулить, как заброшенному щенку.

Когда солнце поднималось к зениту, попадья наглухо закрывала ставни в своей комнате и в темноте напивалась пьяная, в каждой рюмке черпая острую тоску и жгучее воспоминание о погибшем сыне. Она плакала и рассказывала тягучим неловким голосом, каким читают трудную книгу

неумелые чтецы, рассказывала все одно и то же, все одно и то же о тихоньком черненьком мальчике, который жил, смеялся и умер; и в певучих книжных словах ее воскресали глаза его, и улыбка, и старчески-разумная речь. «Вася,— говорю я ему,— Вася, зачем ты обижаешь киску? Не нужно обижать, родненький. Бог всех велел жалеть: и лошадок, и кошечек, и цыпляток». А он, миленький, поднял на меня свои ясные глазки и говорит: «А зачем кошка не жалеет птичек? Вот голубки разных там птенчиков выведут, а кошка голубков съела, а птенчики все ищут, ищут и ищут мамашу».

И о. Василий покорно и безнадежно слушал ее, а снаружи, под закрытой ставней, среди лопуха, репейника и глухой крапивы, сидела на земле Настя и угрюмо играла в куклы. И всегда игра ее состояла в том, что кукла нарочно не слушалась, а она наказывала: больно вывертывала ей руки и ноги и секла крапивой.

Когда о. Василий в первый раз увидел пьяную жену и по мятежно-взволнованному, горько-радостному лицу ее понял, что это навсегда,— он весь сжался и захохотал тихим, бессмысленным хохотком, потирая сухие, горячие руки. Он долго смеялся и долго потирал руки; крепился, пытался удержать неуместный смех и, отвернувшись в сторону от горько плачущей жены, фыркал исподтишка, как школьник. Но потом он сразу стал серьезен, и челюсти его замкнулись, как железные: ни слова утешения не мог он сказать метавшейся попадье, ни слова ласки не мог сказать ей. Когда попадья заснула, поп трижды перекрестил ее, отыскал в саду Настю, холодно погладил ее по голове и пошел в поле.

Он долго шел тропинкою среди высоко поднявшейся ржи и смотрел вниз, на мягкую белую пыль, сохранившую кое-где глубокие следы каблуков и округлые, живые очертания чьих-то босых ног. Ближайшие к дорожке колосья были согнуты и поломаны, некоторые лежали поперек тропинки, и колос их был раздавленный, темный и плоский.

На повороте тропинки о. Василий остановился. Впереди и кругом, далеко во все стороны зыбились на тонких стеблях тяжелые колосья, над головой было безбрежное, пламенное июльское небо, побелевшее от жары,— и ничего больше: ни деревца, ни строения, ни человека. Один он был, затерянный среди частых колосьев, перед лицом высокого пламенного неба. О. Василий поднял глаза кверху,— они были маленькие, ввалившиеся, черные, как уголь, и ярким светом горел в них отразившийся небесный пламень,— приложил руки к груди и хотел что-то сказать. Дрогнули,

но не подались сомкнутые железные челюсти: скрипнув зубами, поп с силою развел их,— и с этим движением уст его, похожим на судорожную зевоту, прозвучали громкие, отчетливые слова:

— Я — верю.

Без отзвука потерялся в пустыне неба и частых колосьев этот молитвенный вопль, так безумно похожий на вызов. И точно кому-то возражая, кого-то страстно убеждая и предостерегая, он снова повторил:

— Я — верю.

А вернувшись домой, снова, хворостинка за хворостинкой, принялся восстановлять свой разрушенный муравейник: наблюдал, как доили коров, сам расчесал угрюмой Насте длинные жесткие волосы и, несмотря на поздний час, поехал за десять верст к земскому врачу посоветоваться о болезни жены. И доктор дал ему пузырек с каплями.

II

О. Василия не любил никто — ни прихожане, ни причт. Церковную службу отправлял он плохо, не благолепно: был сух голосом, мямлил, то торопился так, что дьякон едва успевал за ним, то непонятно медлил. Корыстолюбив он не был, но так неловко принимал деньги и приношения, что все считали его очень жадным и за глаза насмехались. И все окрест знали, что он очень несчастлив в своей жизни, и брезгливо сторонились от него, считая за дурную примету всякую с ним встречу и разговор. На свои именины, праздновавшиеся 28 ноября, он пригласил к обеду многих гостей, и на его низкие поклоны все отвечали согласием, но приходил только причт, а из почетных прихожан не являлся никто. И было совестно перед причтом, и обиднее всего было попадье, у которой даром пропадали привезенные из города закуски и вина.

— Никто и идти к нам не хочет,— говорила она, трезвая и печальная, когда расходились перепившиеся и развязные гости, не уважающие ни дорогих вин, ни закусок и все валившие как в пропасть.

Хуже всех относился к попу церковный староста Иван Порфирыч Копров; он открыто презирал неудачника, и после того как стали известны селу страшные запои попадьи, отказался целовать у попа руку. И благодушный дьякон тщетно убеждал его:

— Постыдись! Не человеку поклоняешься, а сану.

Но Иван Порфирыч упрямо не хотел отделить сан от человека и возражал:

— Нестóящий он человек. Ни себя содержать он не умеет, ни жену. Разве это порядок, чтобы у духовного лица жена запоем пила, без стыда, без совести? Попробуй моя запить, я б ей прописал!

Дьякон укоризненно покачивал головой и рассказывал про многострадального Иова: как Бог любил его и отдал сатане на испытание, а потом сторицею вознаградил за все муки. Но Иван Порфирыч насмешливо ухмылялся в бороду и без стеснения перебивал ненравившуюся речь:

— Нечего рассказывать, и сами знаем. Так то Иов-праведник, святой человек, а это кто? Какая у него праведность? Ты, дьякон, лучше другое вспомни: Бог шельму метит. Тоже не без ума пословица складена.

— Ну, погоди: задаст тебе ужо-тка поп, как руки не поцелуешь. Из церкви выгонит.

— Посмотрим.

— Посмотрим.

И они поспорили на четверть вишневки, выгонит поп или не выгонит. Выиграл староста: он дерзко отвернулся, и протянутая рука, коричневая от загара, сиротливо осталась в воздухе, а сам о. Василий густо покраснел и не сказал ни слова.

И после этого случая, о котором говорило все село, Иван Порфирыч укрепился во мнении, что поп дурной и недостойный человек, и стал подбивать крестьян пожаловаться на о. Василия в епархию и просить себе другого священника. Сам Иван Порфирыч был богатый, очень счастливый и всеми уважаемый человек. У него было представительное лицо, с твердыми, выпуклыми щеками и огромной черной бородою, и такие же черные волосы шли по всему его телу, особенно по ногам и груди, и он верил, что эти волосы приносят ему особенное счастье. Он верил в это так же крепко, как и в Бога, считал себя избранником среди людей, был горд, самонадеян и постоянно весел. В одном страшном железнодорожном крушении, где погибло много народу, он потерял только фуражку, засосанную глиной.

— Да и та была старая!— самодовольно добавлял он и ставил этот случай в особенную себе заслугу.

Всех людей он искренно считал подлецами и дураками, не знал жалости ни к тем, ни к другим и собственноручно вешал щенят, которых ежегодно в изобилии приносила черная сучка Цыганка. Одного из щенят, который покрупнее, он оставлял для завода и, если просили, охотно разда-

вал остальных, так как считал собак животными полезными. В суждениях своих Иван Порфирыч был быстр и неоснователен и легко отступался от них, часто сам того не замечая, но поступки его были тверды, решительны и почти всегда безошибочны.

И все это делало старосту страшным и необыкновенным в глазах запуганного попа. При встрече он первый с неприличной торопливостью снимал широкополую шляпу и, уходя, чувствовал, как чаще и лотошливее становятся его шаги — шаги человека, которому стыдно и страшно,— и путаются в длинной рясе жилистые ноги. Точно вся жестокая, загадочная судьба его воплотилась в этой огромной черной бороде, волосатых руках и прямой, твердой поступи, и, если о. Василий не сожмется весь, не посторонится, не спрячется за своими стенами,— эта грозная туша раздавит его, как муравья. И все, что принадлежало Ивану Порфирычу Копрову и касалось его, интересовало попа так, что иногда по целым дням он не мог думать ни о чем другом, кроме старосты, его жены, его детей и богатства. Работая в поле вместе с крестьянами, сам похожий на крестьянина в своих грубых смазных сапогах и посконной рубахе, о. Василий часто оборачивался к селу, и первое, что он видел после церкви, была красная железная крыша старостина двухэтажного дома. Потом среди завернувшейся от ветра серой зелени ветел он с трудом отыскивал деревянную потемневшую крышу своего домика,— и было в двух этих непохожих крышах что-то такое, от чего жутко и безнадежно становилось на сердце у попа.

Однажды на Воздвиженье попадья пришла из церкви вся в слезах и рассказала, что Иван Порфирыч оскорбил ее. Когда попадья проходила на свое место, он сказал из-за конторки так громко, что все слышали:

— Эту пьяницу совсем бы в церковь пускать не следовало. Стыд!

Попадья рассказывала и плакала, и о. Василий видел с беспощадною и ужасной ясностью, как постарела она и опустилась за четыре года со смерти Васи. Молода она еще была, а в волосах у нее пролегали уже серебристые нити, и белые зубы почернели, и запухли глаза. Теперь она курила, и странно и больно было видеть в руках ее папироску, которую она держала неумело, по-женски, между двумя выпрямленными пальцами. Она курила и плакала, и папироска дрожала в ее опухших от слез губах.

— Господи, за что? Господи!— тоскливо повторяла она и с тупою пристальностью смотрела в окно, за которым моросил сентябрьский дождь.

Стекла были мутны от воды, и призрачной, расплывающейся тенью колыхалась отяжелевшая береза. В доме еще не топили, жалея дров, и воздух был сырой, холодный и неприютный, как на дворе.

— Что ж с ними поделаешь, Настенька!— оправдывался поп, потирая горячие сухие руки.— Терпеть надо.

— Господи! Господи! И защитить некому!— плакалась попадья; а в углу сквозь жесткие спутанные волосы неподвижно и сухо горели волчьи глаза угрюмой Насти.

К ночи попадья напилась, и тогда началось для о. Василия то самое страшное, омерзительное и жалкое, о чем он не мог думать без целомудренного ужаса и нестерпимого стыда. В болезненной темноте закрытых ставен, среди чудовищных грез, рожденных алкоголем, под тягучие звуки упорных речей о погибшем первенце у жены его явилась безумная мысль: родить нового сына, и в нем воскреснет безвременно погибший. Воскреснет его милая улыбка, воскреснут его глаза, сияющие тихим светом, и тихая, разумная речь его,— воскреснет весь он в красоте своего непорочного детства, каким был он в тот ужасный июльский день, когда ярко горело солнце и ослепительно сверкала обманчивая река. И, сгорая в безумной надежде, вся красивая и безобразная от охватившего ее огня, попадья требовала от мужа ласк, униженно молила о них. Она прихорашивалась и заигрывала с ним, но ужас не сходил с его темного лица; она мучительно старалась снова стать той нежной и желанной, какой была десять лет назад, и делала скромное девичье лицо и шептала наивные девичьи речи, но хмельной язык не слушался ее, сквозь опущенные ресницы еще ярче и понятнее сверкал огонь страстного желания,— и не сходил ужас с темного лица ее мужа. Он закрывал руками горящую голову и бессильно шептал:

— Не надо! Не надо!

Тогда она становилась на колени и хрипло молила:

— Пожалей! Отдай мне Васю! Отдай, поп! Отдай, тебе я говорю, проклятый!

А в наглухо закрытые ставни упорно стучал осенний дождь, и тяжко и глубоко вздыхала ненастная ночь. Отрезанные стенами и ночью от людей и жизни, они точно крутились в вихре дикого и безысходного сна, и вместе с ними крутились, не умирая, дикие жалобы и проклятия. Само безумие стояло у дверей; его дыханием был жгучий

воздух, его глазами — багровый огонь лампы, задыхавшийся в глубине черного, закопченного стекла.

— Не хочешь? Не хочешь? — кричала попадья и в яростной жажде материнства рвала на себе одежды, бесстыдно обнажаясь вся, жгучая и страшная, как вакханка, трогательная и жалкая, как мать, тоскующая о сыне.— Не хочешь? Так вот же перед Богом говорю тебе: на улицу пойду! Голая пойду! К первому мужчине на шею брошусь. Отдай мне Васю, проклятый!

И страсть ее побеждала целомудренного попа. Под долгие стоны осенней ночи, под звуки безумных речей, когда сама вечно лгущая жизнь словно обнажала свои темные таинственные недра, в его помраченном сознании мелькала, как зарница, чудовищная мысль: о каком-то чудесном воскресении, о какой-то далекой и чудесной возможности. И на бешеную страсть попадьи он, целомудренный и стыдливый, отвечал такою же бешеной страстью, в которой было все: и светлая надежда, и молитва, и безмерное отчаяние великого преступника.

Позднею ночью, когда попадья уснула, о. Василий взял шляпу и палку и, не одеваясь, в старенькой нанковой ряске отправился в поле. Тонкая водяная пыль влажным и холодным слоем лежала над размокшей землей; черно было небо, как земля, и великой бесприютностью дышала осенняя ночь. Во тьме ее бесследно сгинул человек; стукнула палка о подвернувшийся камень,— и все стихло, и наступило долгое молчание. Мертвая водяная пыль своими ледяными объятиями душила всякий робкий звук, и не колыхалась омертвевшая листва, и не было ни голоса, ни крика, ни стона. Была долгая и мертвая тишина.

И далеко за селом, за много верст от жилья, прозвучал во тьме невидимый голос. Он был надломленный, придушенный и глухой, как стон самой великой бесприютности. Но слова, сказанные им, были ярки, как небесный огонь.

— Я — верю,— сказал невидимый голос.

Угроза и молитва, предостережение и надежда были в нем.

III

Весною попадья забеременела, целое лето не пила, и в доме о. Василия воцарился тихий и радостный покой. По-прежнему незримый враг наносил удары: то сдох двенадцатипудовый боров, приготовленный для продажи; то у Насти

пошли по всему телу какие-то лишаи и не поддавались лечению,— но все это выносилось легко, и попадья в тайниках души даже радовалась: она все еще сомневалась в своем великом счастье, и все эти неприятности казались ей платой за него. Казалось, что если сдохнет дорогой боров, поболеет Настя и произойдет другое печальное, то будущего сына ее никто не осмелится тронуть и обидеть. А за него не только дом и Настю, но и себя, и душу свою отдала бы она с радостью тому невидимому и беспощадному, кто требовал неустанных жертв.

Она похорошела, перестала бояться Ивана Порфирыча и в церкви, идя на свое место, гордо выпячивала округлившийся живот и бросала на людей смелые, самоуверенные взгляды. Чтобы как-нибудь не повредить ребенку, она перестала работать тяжелую домашнюю работу и целые дни проводила в соседнем казенном лесу, собирая грибы. Она очень боялась родов и по грибам загадывала, будут они благополучны или нет: большею частью выходило, что будут благополучны. Иногда среди прошлогодней слежавшейся листвы, темной и пахучей, под непроницаемым зеленым сводом высоких ветвей, она отыскивала семейку белых грибов; они тесно прижимались друг к другу и, темноголовые, наивные, казались ей похожими на маленьких детей и вызывали острую нежность и умиление. С той особенной, правдивой улыбкою, какая бывает у людей, когда у них хорошие мысли и они одни, она осторожно раскапывала вокруг корней волокнистую, серо-пепельную землю, садилась около грибов и долго любовалась ими, немного бледная от зеленых теней леса, но красивая, спокойная и добрая. Потом опять шла развалистой и осторожною походкой беременной женщины, и густой лес, в котором прятались маленькие грибки, казался ей живым, умным и ласковым. Один раз она захватила с собою Настю, но та прыгала, шумела, рыскала среди кустов, как развеселившийся волчонок, и мешала попадье думать,— и больше она ее не брала.

И зима проходила хорошо и спокойно. По вечерам попадья шила маленькие распашонки и свивальники, задумчиво расправляя материю белыми пальцами, озаренными ярким светом лампы. Она расправляла и разглаживала рукою мягкую ткань, точно ласкала ее, и думала что-то свое, особенное, материнское, и в голубой тени абажура красивое лицо ее казалось попу освещенным изнутри каким-то мягким и нежным светом. Боясь неосторожным движением спугнуть ее прекрасную и радостную думу, о. Василий тихо расхаживал по комнате, и ноги его в мягких туфлях ступа-

ли неслышно и нежно. Он посматривал то на уютную комнату, добрую и приятную, как друг, то на жену, и все было хорошо, как у людей, и от всего исходил радостный и глубокий покой. И душа его тихо улыбалась, и он не замечал и не знал, что во лбу его, где-то между бровями, безмолвно пролегает прозрачная тень великой скорби. Ибо и в эти дни покоя и отдыха над жизнью его тяготел суровый и загадочный рок.

На Крещенье, ночью, попадья благополучно разрешилась от бремени мальчиком, и нарекли его Василием. Была у него большая голова и тоненькие ножки и что-то странно-тупое и бессмысленное в неподвижном взгляде округлых глаз. Три года провели поп и попадья в страхе, сомнениях и надежде, и через три года ясно стало, что новый Вася родился идиотом.

В безумии зачатый, безумным явился он на свет.

IV

Прошел еще один год в тяжком оцепенении горя, и когда люди очнулись и взглянули вокруг себя — над всеми мыслями и жизнью их господствовал страшный образ идиота. Как прежде, топились печи, и велось хозяйство, и люди разговаривали о своих делах, но было нечто новое и страшное; ни у кого не стало охоты жить, и от этого все приходило в расстройство. Работники ленились, не делали, что приказывают, и часто без причины уходили, а новых через два-три дня охватывала та же странная тоска и равнодушие, и они начинали грубить. Обед подавался то поздно, то рано, и всегда кого-нибудь не хватало за столом: или попадьи, или Насти, или самого о. Василия. Откуда-то появилось множество рваного белья и одежды, и попадья все твердила, что нужно заштопать мужу носки, и как будто штопала, а вместе с тем носки всегда были рваные, и о. Василий натирал ногу. И по ночам все ворочались и мучились от клопов; они лезли из всех щелей, на глазах ползали по стене, и ничем нельзя было остановить их отвратительного нашествия.

И куда бы люди ни шли, что бы они ни делали, они ни на минуту не забывали, что там, в полутемной комнате, сидит некто неожиданный и страшный, безумием рожденный. Когда они выходили из дому на свет, они старались не оборачиваться и не глядеть назад, но не могли выдержать и оборачивались — и тогда казалось им, что сам деревян-

ный дом сознает страшную перемену: он точно сжался весь, и скорчился, и прислушивается к тому страшному, что содержится в глубине его, и все его вытаращенные окна, глухо замкнутые двери с трудом удерживают крик смертельного испуга. Попадья часто уходила в гости и целыми часами просиживала у дьяконицы, но и там не находила она покоя: как будто между идиотом и ею протягивались тонкие, как паутина, нити, и соединяли их прочно и навсегда. И если она уйдет на край света, скроется за высокими стенами монастыря или даже умрет — и туда, во мрак могилы, потянутся за нею тонкие, как паутина, нити и опутают ее беспокойством и страхом. И не были спокойны их ночи: бесстрастны были лица спящих, а под их черепом, в кошмарных грезах и снах вырастал чудовищный мир безумия, и владыкою его был все тот же загадочный и страшный образ полуребенка, полузверя.

Ему было четыре года, но он еще не начал ходить и умел говорить одно только слово: «дай»; был зол и требователен и, если чего-нибудь не давали, громко кричал злым животным криком и тянул вперед руки с хищно скрюченными пальцами. В своих привычках он был нечистоплотен, как животное, все делал под себя, на подстилку, и менять ее было каждый раз мучением: с злой хитростью он выжидал момента, когда к нему наклонится голова матери или сестры, и впивался в волосы руками, выдергивая целые пряди. Однажды он укусил Настю; та повалила его на кровать и долго и безжалостно била, точно он был не человек и не ребенок, а кусок злого мяса; и после этого случая он полюбил кусаться и угрожающе скалил зубы, как собака.

Так же трудно было кормить его,— жадный и нетерпеливый, он не умел рассчитывать своих движений: опрокидывал чашку, давился и злобно тянулся к волосам скрюченными пальцами. И был отвратителен и страшен его вид: на узеньких, совсем еще детских плечах сидел маленький череп с огромным, неподвижным и широким лицом, как у взрослого. Что-то тревожное и пугающее было в этом диком несоответствии между головой и телом, и казалось, что ребенок надел зачем-то огромную и страшную маску.

И, как прежде, стала пить измученная попадья. Пила она много, до потери сознания и болезни, но и могучий алкоголь не мог вывести ее из железного круга, в середине которого царил страшный и необыкновенный образ полуребенка, полузверя. Как прежде, искала она в водке жгучих и скорбных воспоминаний о погибшем первенце, но они не приходили, и тяжелая, мертвая пустота не дарила ей ни об-

раза, ни звука. Всеми силами разгоряченного мозга она вызывала милое лицо тихонького мальчика, напевала песенки, какие пел он, улыбалась, как он улыбался, представляла, как давился он и захлебывался молчаливой водой; и, уже казалось, становился близок он, и зажигалась в сердце великая, страстно желанная скорбь,— когда внезапно, неуловимо для зрения и слуха, все проваливалось, все исчезало, и в холодной, мертвой пустоте появлялась страшная и неподвижная маска идиота. И казалось попадье, что во второй раз похоронила она Васю и глубоко зарыла его; и хотелось разбить голову, в самых недрах которой нагло царит чуждый и отвратительный образ. В страхе она металась по комнате и звала мужа:

— Василий! Василий! Скорее сюда!

О. Василий приходил и молча усаживался в неосвещенном углу; и был так безучастен он и спокоен, как будто не было ни крика, ни безумия, ни страха. И глаз его не видно было, и под тяжелою надбровною аркою неподвижно чернели два глубоких пятна, от которых исхудавшее лицо казалось похожим на череп. Опершись подбородком на костлявую руку, он застывал в тяжелом молчании и неподвижности, пока успокоенная попадья с безумной старательностью загораживала дверь, за которой находился идиот. Она сдвигала столы и стулья, набрасывала подушки и платья, но этого казалось ей мало. И с силой пьяного человека она срывала с места тяжелый старинный комод и двигала его к двери, царапая пол.

— Стулья отодвинь!— запыхавшись, кричала она мужу, и тот молча вставал, освобождал место и снова садился в свой угол.

На минуту попадья успокаивалась и садилась, сдерживая рукой тяжелое дыхание, но тотчас же вскакивала и, откинув с уха распустившиеся волосы, с ужасом прислушивалась к тому, что грезилось ей за стеной.

— Слышишь? Василий, слышишь?

Два черных пятна неподвижно глядели на нее, и безучастный далекий голос отвечал:

— Там тихо. Он спит. Успокойся, Настя.

Попадья улыбалась радостно и светло, как ребенок, и нерешительно присаживалась на кончик стула.

— Правда? Спит? Ты сам видел? Не лги: лгать грешно.

— Да, видел. Спит.

— А кто же говорит там?

— Никого там нет. Это послышалось тебе.

И попадье становилось так весело, что она громко смеялась, шутливо покачивала головой и неопределенно отмахивалась — как будто хотел кто-то злой пошутить над нею и напугать, а она поняла его шутку и теперь смеется. Но без отзвука, как камень в бездонную пропасть, падал и тут же умирал одинокий смех, и еще кривился усмешкою рот, когда в глазах ее уже нарастал холодный страх. И такая тишина стояла, словно никогда и никто не смеялся в этой комнате, и с разбросанных подушек, с перевернутых стульев, таких странных, когда смотреть на них снизу, с тяжелого комода, неуклюже стоящего на необычном месте,— отовсюду глядело на нее голодное ожидание какой-то страшной беды, каких-то неведомых ужасов, доселе не испытанных еще человеком. Она оборачивалась к мужу,— в черном углу мутно серело что-то длинное, прямое, смутное, как призрак; она наклонялась ближе,— на нее смотрело лицо, но смотрело оно не глазами, сокрытыми черною тенью бровей, а белыми пятнами острых скул и лба. И, часто дыша громким дыханием страха, она тихо жаловалась:

— Вася! Я боюсь тебя. Какой ты, право! Иди сюда, к свету.

О. Василий покорно перешагнул к столу, и теплый свет лампы пал на его лицо, но не согрел его. Но оно было спокойно, на нем не было страха, и этого было достаточно для попадьи. Приблизив губы к самому уху о. Василия, она шепотом спросила:

— Поп, а поп! Ты помнишь Васю... того Васю?

— Нет.

— Ага!— обрадовалась попадья.— Тоже нет. И я нет. Тебе страшно, поп? А? Страшно?

— Нет.

— А зачем ты стонешь во сне? Зачем ты стонешь?

— Так. Нездоров.

Попадья сердито засмеялась.

— Ты? Нездоров? Это ты нездоров?— Она ткнула пальцем в его костлявую, но широкую и твердую грудь.— Зачем ты лжешь?

О. Василий молчал. Попадья злобно взглянула на его холодное лицо, давно не стриженную бороду, прозрачными клочками выступавшую из впалых щек, и с отвращением передернула плечами:

— У-ах! Какой ты стал! Противный, злой, холодный, как лягушка. У-ах! Разве я виновата, что он родился такой? Ну говори же. О чем ты думаешь? О чем ты постоянно думаешь, думаешь, думаешь?

О. Василий молчал и внимательным, раздражающим взглядом изучал бледное и измученное лицо попадьи. И когда смолкали последние звуки ее бессвязной речи, жуткая, ненарушимая тишина железными кольцами охватывала ее голову и грудь и словно выдавливала оттуда торопливые и неожиданные слова:

— А я знаю!.. А я знаю! Я знаю, поп.

— Что знаешь?

— Знаю, о чем ты думаешь. Ты...— Попадья остановилась и со страхом отодвинулась от мужа.— Ты... в Бога не веришь. Вот что!

И когда уже сказала, почувствовала она, как ужасно сказанное ею, и жалкая улыбка, просящая о прощении, раздвинула ее опухшие, искусанные губы, сожженные водкой и красные, как кровь. И обрадовалась, когда побледневший поп резко и наставительно ответил:

— Это неправда. Думай, что говоришь. Я верю в Бога.

И опять молчание, опять тишина,— но было в ней что-то ласковое, мягко обнимавшее попадью, как теплая вода. И, потупив глаза, она стыдливо просила:

— Можно мне, Вася, я выпью немного? Скорее засну потом, а то ведь поздно.

Она наливала четверть стакана водки, нерешительно добавляла еще и выпивала до дна, маленькими непрерывными глотками, как пьют женщины. В груди становилось горячо, хотелось какого-то веселья, шума и света, и людских громких голосов.

— Знаешь, что мы сделаем, Вася? Давай играть в карты, в дурачки. Позови Настю. Вот славно будет; люблю я играть в дурачки. Васечка, милый, позови! Я поцелую тебя за это.

— Поздно. Она уже спит.

Попадья топнула ногой.

— Разбуди!.. Ну, ступай.

Пришла Настя, тонкая, высокая, как отец, с большими руками, загрубевшими в работе; ей было холодно, она зябко куталась в короткий платок и молча проверяла засаленную колоду.

И молча садились они играть в веселую и смешную игру — в хаосе сдвинутых с мест и перевернутых вещей, среди глубокой ночи, когда давно уже спало все: и люди, и животные, и поля. Попадья шутила, смеялась, крала из колоды козырные карты, и ей чудилось, что все смеются и шутят; но, лишь замирал последний звук ее речи, та же ненарушимая и грозная тишина смыкалась над нею и душила.

И страшно было смотреть на две пары немых костлявых рук, бесшумно и медленно двигавшихся по столу, как будто только одни эти руки были живые и не было людей, которым они принадлежат. Вздрогнув, с пьяно-безумным ожиданием сверхъестественного она глядела поверх стола — два холодных, два бледных, два угрюмых лица одиноко выдвигались из темноты и качались в странной немой пляске — два холодных, два угрюмых лица. Что-то пробурчав, попадья выпивала водки, и снова бесшумно двигались костлявые руки, и тишина начинала гудеть, и кто-то новый, четвертый, появлялся за столом. Хищно скрюченные пальцы перебирали карты, потом двигались к попадье, бежали, как пауки, по ее коленям, подбирались к горлу...

— Кто тут?— вскрикивала попадья и вставала и удивлялась, что все уже стоят и со страхом смотрят на нее. И было их только двое: муж и Настя.

— Успокойся, Настя. Мы тут. Больше никого.

— А он?

— Он спит.

Попадья села, и на минуту все перестало качаться и твердо стало на свое место. И лицо у о. Василия было доброе.

— Вася! А что же будет с нами, когда он начнет ходить?

Ответила Настя:

— Сегодня я собирала ему ужинать и видела: он шевелил ножкой.

— Неправда,— сказал поп, но слово это прозвучало далеко и глухо.

И сразу в бешеном вихре закружилось все, заплясали огни и мрак, и отовсюду закачались на попадью безглазые призраки. Они качались и слепо лезли на нее, ощупывали ее скрюченными пальцами, рвали одежду, душили за горло, впивались в волосы и куда-то влекли. А она цеплялась за пол обломанными ногтями и кричала.

Попадья билась головой, порывалась куда-то бежать и рвала на себе платье. И так сильна была в охватившем ее безумии, что не могли с нею справиться о. Василий и Настя, и пришлось звать кухарку и работника. Вчетвером они осилили ее, связали полотенцами руки и ноги и положили на кровать, и остался с нею один о. Василий. Он неподвижно стоял у кровати и смотрел, как судорожно изгибалось и корчилось тело и слезы текли из-под закрытых век. Охрипшим от крику голосом она молила:

— Помогите! Помогите!

Дико-жалобен и страшен был одинокий крик о помощи, и ниоткуда не было ответа. Как саван, облипала его глухая и бесстрастная тишина, и был он мертв в этой одежде мертвых; нелепо задирали ножки опрокинутые стулья и стыдливо сверкали днищами; растерянно кривился старый комод, и ночь молчала. И все слабее, все жалобнее становился одинокий крик о помощи:

— Помогите! Больно! Помогите! Вася, миленький мой Вася...

Холодным и странно-спокойным жестом, не двигаясь с места, о. Василий поднял руки и взял себя за голову, как за полчаса перед тем попадья, и так же неторопливо и спокойно опустил руки, и между пальцами их дрожали длинные исчерна-седые нити волос.

V

Среди людей, их дел и разговоров о. Василий был так видимо обособлен, так непостижимо чужд всему, как если бы он не был человеком, а только движущейся оболочкою его. Он делал все, что делают другие, разговаривал, работал, пил и ел, но иногда казалось, что он только подражает действиям живых людей, а сам живет в другом, куда нет доступа никому. И кто бы ни видел его, всякий спрашивал себя: о чем думает этот человек? Так явственно была начертана глубокая дума на всех его движениях. Была она в его тяжелой поступи, в медлительности запинающейся речи, когда между двумя сказанными словами зияли черные провалы притаившейся далекой мысли; тяжелой пеленой висела она над его глазами, и туманен был далекий взор, тускло мерцавший из-под нависших бровей. Иногда приходилось по два раза окликать его, прежде чем он услышит и отзовется; другим он забывал поклониться, и за это стали считать его гордым. Так, не поклонился он однажды Ивану Порфирычу; тот сперва удивился, потом быстро нагнал медленно шагавшего попа.

— Загордели, батюшка! Кланяться не хотите,— насмешливо сказал он.

О. Василий с недоумением посмотрел на него, покраснел слегка и извинился:

— Извините, Иван Порфирыч: не заметил.

Староста строго, сверху вниз, хотел посмотреть на попа и тут впервые заметил, что поп выше его ростом, хотя сам он считался самым высоким человеком в округе. И что-то

приятное мелькнуло в этом открытии, и неожиданно для себя староста пригласил:

— Заходите как-нибудь.

И долго оборачивался и мерял глазами попа. Приятно стало и о. Василию, но только на мгновение: уже через два шага та же постоянная дума, тяжелая и тугая, как мельничный жернов, придавила воспоминание о старостиных добрых словах и на пути к устам раздавила тихую и несмелую улыбку. И снова он думал — думал о Боге, и о людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни.

И случилось это на исповеди: окованный своею неподвижною думой, о. Василий равнодушно предлагал какой-то старухе обычные вопросы, когда внезапно поразила его странность, которой не замечал он раньше: он стоит и спокойно расспрашивает о самых сокровенных помыслах и чувствах, а какой-то человек пугливо смотрит на него и отвечает правду — ту правду, которой не дано знать никому другому. И морщинистое лицо старухи сразу сделалось особенным и ярким, как будто кругом была ночь, а на него на одного падал дневной свет. И неожиданно, на полслове перебивая ее, он спросил:

— А ты правду говоришь, старуха?

Но что ответила старуха, он не слышал. Отпал туман от его лица, и блестящими, точно обмытыми глазами он изумленно глядел на лицо женщины, и оно было особенное — на нем была начертана какая-то и ясная и загадочная правда о Боге и о жизни. На голове у старухи под ситцевым платком о. Василий заметил пробор — серенькую полоску кожи среди тщательно расчесанных волос. И этот жалкий пробор, эта глухая забота о старой, некрасивой, никому не нужной голове были также правдой — печальной правдой о вечно одинокой, вечно скорбной человеческой жизни. И тут впервые на сороковом году своего бытия о. Василий Фивейский понял глазами, и слухом, и всеми чувствами своими, что, кроме него, есть на земле другие люди — подобные ему существа, и у них своя жизнь, свое горе, своя судьба.

— А дети у тебя есть?— быстро спросил он, снова перебивая старуху.

— Умерли, батюшка.

— Все умерли?— удивился поп.

— Все умерли,— повторила женщина, и глаза ее покраснели.

— Как же ты живешь?— с недоумением спросил о. Василий.

— Какая же наша жизнь,— заплакала старуха.— Кто милостыньку подаст, тем и живу.

Вытянув шею вперед, о. Василий с высоты своего огромного роста впивался в старуху глазами и молчал. И длинное, костлявое лицо его, обрамленное свесившимися волосами, показалось старухе необыкновенным и страшным, и руки ее, сложенные на груди, похолодели.

— Ну, ступай,— прозвучал над нею суровый голос.

...Страшные дни начались для о. Василия, и небывалое творилось в уме его. До сих пор было так: существовала крохотная земля, и на ней жил один огромный о. Василий со своим огромным горем и огромными сомнениями,— а других людей как будто не жило совсем. Теперь же земля выросла, стала необъятною и вся заселилась людьми, подобными о. Василию. Их было множество, и каждый из них по-своему жил, по-своему страдал, по-своему надеялся и сомневался, и среди них о. Василий чувствовал себя как одинокое дерево в поле, вокруг которого внезапно вырос бы безграничный и густой лес. Не стало одиночества,— но вместе с ним скрылось и солнце, и пустынные светлые дали, и плотнее сделался мрак ночи.

Все люди говорили ему правду. Когда он не слышал их правдивых речей, он видел их дома и лица: и на домах и на лицах была начертана неумолимая правда жизни. Он чувствовал эту правду, но не умел ее назвать и жадно искал новых лиц и новых речей. Исповедников в рождественском посту бывало немного, но каждого из них поп держал на исповеди по целым часам и допрашивал пытливо, настойчиво, забираясь в самые заповедные уголки души, куда сам человек заглядывает редко и со страхом. Он не знал, чего он ищет, и беспощадно переворачивал все, на чем держится и чем живет душа. В вопросах своих он был безжалостен и бесстыден, и страха не знала его родившаяся мысль. И уже скоро понял о. Василий, что те люди, которые говорят ему одну правду, как самому Богу, сами не знают правды о своей жизни. За тысячами их маленьких, разрозненных, враждебных правд сквозили туманные очертания одной великой, всеразрешающей правды. Все чувствовали ее, и все ее ждали, но никто не умел назвать ее человеческим словом — эту огромную правду о Боге, и о людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни.

Начал чувствовать ее о. Василий, и чувствовал ее то как отчаяние и безумный страх, то как жалость, гнев и надеж-

ду. И был он по-прежнему суров и холоден с виду, когда ум и сердце его уже плавились на огне непознаваемой правды и новая жизнь входила в старое тело.

Во вторник на последней неделе перед Рождеством о. Василий поздно вернулся из церкви; в темных холодных сенях его остановила чья-то рука, и охрипший голос прошептал:

— Василий, не ходи туда.

По страху в голосе он узнал, что это попадья, и остановился.

— Я уж час жду тебя. Замерзла вся!— Она ляскнула зубами от внезапной дрожи.

— Что случилось? Пойдем.

— Нет! нет! Слушай! Настя... я вошла, а она стоит перед зеркалом и делает лицо, как он, и руки, как он...

— Пойдем.

Он силой увел в комнаты сопротивлявшуюся попадью, и там, озираясь, дрожа от холода и страха, она рассказала. Она шла в комнату, чтобы полить цветы, и увидела: Настя стоит тихо перед зеркалом, и в зеркале видно ее лицо, но не такое, как всегда, а странно бессмысленное, с дико искривленным ртом и перекосившимися глазами. Потом так же тихо Настя подняла руки и, загнув напряженно пальцы, как у идиота, потянулась ими к своему изображению — и все кругом было так тихо, и все это было так страшно и так не похоже на правду, что попадья вскрикнула и уронила лейку. А Настя убежала. И теперь она не знает наверное, было ли это в действительности, или ей пригрезилось.

— Позови Настю и приходи сама,— приказал поп.

Пришла Настя и остановилась у порога. Лицо у нее было длинное, костлявое, как у отца, и стояла она, как обычно стоял он при разговоре: вытянув шею немного набок, с угрюмым взглядом исподлобья. И руки держала назади, как он.

— Настя! Зачем ты делаешь это?— сурово, но спокойно спросил о. Василий.

— Что?

— Мать видела тебя перед зеркалом. Зачем ты делаешь? Ведь он больной.

— Нет, он не больной. Он дерет меня за волосы.

— Зачем же ты делаешь, как он? Разве тебе нравится лицо, как у него?

Настя угрюмо смотрела в сторону.

— Не знаю,— ответила она. И со странной откровенностью взглянула в глаза отцу и решительно добавила:— Нравится.

О. Василий всматривался в нее и молчал.

— А вам не нравится?— полуутвердительно спросила Настя.

— Нет.

— А зачем же вы о нем думаете? Я бы его убила.

О. Василию показалось, что и сейчас Настя делает лицо, как у идиота: что-то тупое и зверское пробежало в скулах и сдвинуло глаза.

— Ступай!— резко сказал он.

Но Настя не двигалась с места и с тою же странною откровенностью смотрела отцу прямо в глаза. И лицо ее не было похоже на отвратительную маску идиота.

— А обо мне вы не думаете,— сказала она просто, как безразличную правду.

И тогда в нарастающей мгле зимних сумерек между ними, похожими и разными, произошел короткий и странный разговор:

— Ты дочь моя? Почему же я этого не знал? Ты знаешь?

— Нет.

— Пойди и поцелуй меня.

— Не хочу.

— Ты меня не любишь?

— Нет. Я никого не люблю.

— Как и я!— И ноздри попа раздулись от сдержанного смеха.

— А вы тоже никого не любите? А маму? Она очень пьет. Ее я тоже бы убила.

— А меня?

— Вас нет. Вы со мною разговариваете. Мне вас бывает жалко. Очень, знаете ли, тяжело, когда такой сын — дурачок. Он страшно злой. Вы еще не знаете, какой он злой. Он живых прусаков ест. Я ему дала десять штук, и он всех съел.

Не отходя от двери, она осторожно присела на краешек стула, как служанка, сложила руки на коленях и ждала.

— Скучно, Настя!— задумчиво сказал поп.

Неторопливо и важно она согласилась:

— Конечно, скучно.

— А Богу ты молишься?

— Как же, молюсь. Только по вечерам, а утром некогда, работы много. Подмети, постели убери, посуду помой, Ваське чаю приготовь, подай — сами знаете, сколько дела.

— Как горничная,— неопределенно сказал о. Василий.

— Что вы?— не поняла Настя.

О. Василий молчал, низко склонив голову; и был он огромный и черный на фоне тускло белевшего окна, и слова его казались Насте черными и блестящими, как стеклярус. Она долго ждала, но отец молчал, и робко она окликнула:

— Папа!

Не поднимая головы, о. Василий повелительно махнул рукой — раз и другой раз. Настя вздохнула и поднялась, и лишь только обернулась к двери, что-то прошумело сзади нее, две сильные костлявые руки подняли ее на воздух, и смешной голос прошептал в самое ухо:

— Обнимай за шею. Я отнесу тебя.

— Что вы! Я ведь большая.

— Ничего! Держись.

Трудно было дышать от рук, сжимавших ее, как железные обручи, нужно было нагибаться в дверях, чтобы не удариться головой, и она не знала, хорошо ей или только странно. И она не знала, послышалось ей или отец действительно прошептал:

— Жалей маму.

Но, уже помолившись Богу и укладываясь спать, Настя долго сидела на кровати и размышляла. Худенькая спина ее, с острыми лопатками и отчетливыми звеньями хребта, сильно горбилась; грязная рубашка спустилась с острого плеча; обняв руками колени и покачиваясь, похожая на черную сердитую птицу, застигнутую в поле морозом, она смотрела вперед своими немигающими глазами, простыми и загадочными, как глаза зверя. И с задумчивым упрямством прошептала:

— А я бы ее все-таки убила.

Позднею ночью, когда все спали, о. Василий тихо вошел в комнату, и лицо его было холодно и сурово. Не взглянув на Настю, он поставил лампу на пол и наклонился над тихо спящим идиотом. Он лежал навзничь, выпятив уродливо грудь, раскинув руки, и маленькая сжатая голова его запрокидывалась назад, белея маленьким срезанным подбородком. Во сне, под бледным отраженным светом, падавшим с потолка, с закрытыми веками, скрывавшими бессмыслие глаз, лицо его не казалось таким страшным, как днем. И утомленным было оно, как лицо актера, измученного трудною игрою, и вокруг огромного сомкнутого рта

лежала тень суровой печали. Как будто две души было в нем, и когда одна спала, просыпалась другая, всезнающая и скорбная.

О. Василий медленно выпрямился и с тем же строгим и бесстрастным лицом, не взглянув на Настю, пошел к себе. Шел он медленно и спокойно, тяжелым и мертвым шагом глубокой думы, и тьма разбегалась перед ним, длинными тенями забегала сзади и лукаво кралась по пятам. Лицо его ярко белело под светом лампы, и глаза пристально смотрели вперед, далеко вперед, в самую глубину бездонного пространства,— пока медленно и тяжело переступали ноги.

Была поздняя ночь, и уже пропели вторые петухи.

VI

Пришел великий пост. Одноцветно затренькал глухой колокол, и его серые, печальные, скромно зовущие звуки не могли разорвать зимней тишины, еще лежавшей над занесенными полями. Робко выскакивали они из колокольни в гущу мглистого воздуха, падали вниз и умирали, и долго никто из людей не являлся на тихий, но все более настойчивый, все более требовательный зов маленькой церкви.

К концу первой недели пришли две старухи, серые, мглистые, глухие, как самый воздух умиравшей зимы, долго шамкали беззубыми ртами и повторяли — бесконечно повторяли — глухие оборванные жалобы, не имевшие начала, не приходившие к концу. Как будто и слезы и слова тоже состарились на долгой службе и хотят покоя. Уже отпущены были их грехи, а они не понимали этого и все о чем-то просили — глухие и мглистые, как обрывки тяжелого сна. За ними потянулся народ; и много молодых, горячих слез, много молодых слов, заостренных и сверкающих, врезалось в душу о. Василия.

Когда крестьянин Семен Мосягин трижды отбил земной поклон и, осторожно шагая, двинулся к попу, тот смотрел на него пристально и остро и стоял в позе, не подобающей месту: вытянув шею вперед, сложив руки на груди и пальцами одной пощипывая бороду, Мосягин подошел вплотную и изумился: поп глядел на него и тихо смеялся, раздувая ноздри, как лошадь.

— А я тебя давно поджидаю,— сказал, усмехаясь, поп.— Зачем пришел, Мосягин?

— Исповедаться,— быстро и охотно ответил Мосягин и дружелюбно оскалил белые зубы, такие ровные, как будто они были отрезаны по нитке.

— Что же, легче станет, когда исповедаешься?— продолжал поп и усмехался весело и дружелюбно, как казалось Мосягину. И такой же улыбкой ответил он:

— Известно, легче.

— А правда, что ты лошадь продал, и овцу последнюю продал, и телегу заложил?

Мосягин серьезно и с неудовольствием взглянул на попа: лицо его было бесстрастно, и глаза опущены. И оба молчали. О. Василий медленно повернулся к аналою и приказал:

— Ну, сказывай грехи.

Мосягин откашлянулся, сделал служебное лицо и осторожно, грудью и головой подавшись к священнику, громким шепотом заговорил. И по мере того как он говорил, все недоступнее и суровее становилось лицо попа — точно каменело оно под градом больно бьющих, нудных слов мужика. И дышал он глубоко и часто, как будто задыхался он в том бессмысленном, тупом и диком, что называлось жизнью Семена Мосягина и обвивалось вокруг него, как черные кольца неведомой змеи. Словно сам строгий закон причинности не имел власти над этой простой и фантастической жизнью: так неожиданно, так шутовски нелепо сцеплялись в ней маленький грех и большое страдание, крепкая, стихийная воля к такому же стихийному, могучему творчеству — и уродливое прозябание где-то на границе между жизнью и смертью. Ясный умом и слегка насмешливый, сильный, как лесной зверь, выносливый настолько, как будто в груди его билось целых три сердца, и когда умирало одно от невыносимых страданий, другие два давали жизнь новому — он мог, казалось, перевернуть самую землю, на которой неуклюже, но крепко стояли его ноги. А в действительности происходило так: был он постоянно голоден, голодала его жена, и дети, и скотина; и замутившийся ум его блуждал, как пьяный, не находящий дверей своего дома. В отчаянных потугах что-то построить, что-то создать он распластывался по земле — и все рассыпалось, все валилось, все отвечало ему дикой насмешкой и глумлением. Он был жалостлив и взял к себе сироту-приемыша, и все бранили его за это; а сирота пожил немного и умер от постоянного голода и болезни, и тогда он сам начал бранить себя и перестал понимать, нужно быть жалостливым или нет. Казалось, что слезы не должны были высыхать на глазах этого человека, крики гнева и возмущения не должны были замирать на его устах, а вместо того он был постоянно весел и шутлив и бороду имел какую-то нелепо веселую, ог-

ненно-рыжую бороду, в которой все волоски точно кружились и свивались в бесконечной затейливой пляске. Ходил в хороводах наравне с молодыми девками и ребятами; пел жалобные песни высоким переливчатым голосом, и тому, кто его слышал, плакать хотелось, а он насмешливо и тихо улыбался.

И грехи его были ничтожные, формальные: то землемер, которого он возил на петровки, дал ему скоромного пирога, и он съел,— и так долго он рассказывал об этом, как будто не пирог съел, а совершил убийство; то в прошлом году перед причастием он выкурил папиросу,— и об этом он говорил долго и мучительно.

— Кончил!— весело, другим голосом сказал Мосягин и вытер со лба пот.

О. Василий медленно повернул к нему костлявую голову.

— А кто помогает тебе?

— Кто помогает-то?— повторил Мосягин.— Да никто не помогает. Скудно кормятся жители-то, сам знаешь. Между прочим, Иван Порфирыч помог,— мужик осторожно подмигнул попу,— дал три пуда муки, а к осени чтобы четыре.

— А Бог?

Семен вздохнул, и лицо его сделалось грустным.

— Бог-то? Стало быть, не заслужил.

От ненужных вопросов попа Мосягину стало скучно: он через плечо покосился на пустую церковь, осторожно посчитал волосы в редкой бороде попа, заметил его гнилые черные зубы и подумал: «Много, должно, сахару ест». И вздохнул.

— Чего ты ждешь?

— Чего жду-то? А чего ж мне ждать?

И снова молчание. В церкви темнело, и холодно было, и холод забирался под рубаху мужика.

— Так, значит, и будет?— спросил поп, и слова его звучали далеко и глухо, как комья земли на опущенный в могилу гроб.

— Так, значит, и будет. Так, значит, и будет,— повторил Мосягин, вслушиваясь в свои слова.

И представилось ему то, что было в его жизни: голодные лица детей, попреки, каторжный труд и тупая тяжесть под сердцем, от которой хочется пить водку и драться; и оно будет опять, будет долго, будет непрерывно, пока не придет смерть. Часто моргая белыми ресницами, Мосягин вскинул на попа влажный, затуманенный взор и встретился с его острыми блестящими глазами — и что-то увидели они друг

в друге близкое, родное и страшно печальное. Несознаваемым движением они подались один к другому, и о. Василий положил руку на плечо мужика; легко и нежно легла она, как осенняя паутина. Мосягин ласково дрогнул плечом, доверчиво поднял глаза и сказал, жалко усмехаясь половиною рта:

— А может, полегчает?

Поп неслышно снял руку и молчал. Белые ресницы заморгали быстрее, еще веселее заплясали волоски в огненно-рыжей бороде, и язык залопотал что-то невнятное и невразумительное.

— Да. Стало быть, не полегчает. Конечно, вы правду говорите...

Но поп не дал ему кончить. Сдержанно топнув ногой, он обжег мужика гневным, враждебным взглядом и зашипел на него, как рассерженный уж:

— Не плачь! Не смей плакать! Ревут, как телята. Что́ я могу сделать?— Он ткнул пальцем себе в грудь.— Что́ я могу сделать? Что́ я — Бог, что ли? Его проси. Ну, проси! Тебе говорю.

Он толкнул мужика.

— Становись на колени.

Мосягин стал.

— Молись!

Сзади надвигалась пустынная и темная церковь, над головой сердитый поп кричал: «Молись, молись!» И, не отдавая себе отчета, Мосягин быстро закрестился и начал отбивать земные поклоны. От быстрых и однообразных движений головы, от необычности всего совершающегося, от сознания, что весь он подчинен сейчас какой-то сильной и загадочной воле, мужику становилось страшно и оттого особенно легко. Ибо в самом этом страхе перед кем-то могущественным и строгим зарождалась надежда на заступничество и милость. И все яростнее прижимался он лбом к холодному полу, когда поп коротко приказал:

— Будет.

Мосягин встал, перекрестился на все ближайшие образа, и весело, с радостной готовностью заплясали и закрутились огненно-рыжие волоски, когда он снова подошел к попу. Теперь он знал наверное, что ему полегчает, и спокойно ждал дальнейших приказаний.

Но о. Василий только посмотрел на него с суровым любопытством и дал отпущение грехов. У выхода Мосягин обернулся: на том же месте расплывчато темнела одинокая фигура попа; слабый свет восковой свечки не мог охватить

ее всю, она казалась огромной и черной, как будто не имела она определенных границ и очертаний и была только частицею мрака, наполнявшего церковь.

С каждым днем все больше являлось исповедников, и перед о. Василием непрестанно чередовались морщинистые и молодые лица. Все так же настойчиво и сурово допрашивал он, и целыми часами входила в ухо его робкая неразборчивая речь, и смысл каждой речи был страдание, страх и великое ожидание. Все осуждали жизнь, но никто не хотел умирать, и все чего-то ждали, напряженно и страстно, и не было начала ожиданию, и казалось, что от самого первого человека идет оно. Прошло оно через все умы и сердца, уже исчезнувшие из мира и еще живые, и оттого стало оно таким повелительным и могучим. И горьким оно стало, ибо впитало в себя всю печаль несбывшихся надежд, всю горечь обманутой веры, всю пламенную тоску беспредельного одиночества. Соки сердца всех людей, живых и мертвых, питали его, и мощным деревом раскинулось оно над жизнью. И минутами, теряясь среди душ, как путник среди бесконечного леса, он терял все выстраданное им, суровой скорбью увенчавшее его голову, и сам начинал чего-то ждать — ждать нетерпеливо, ждать грозно.

Теперь он не хотел человеческих слез, но они лились неудержимо, вне его воли, и каждая слеза была требованием, и все они, как отравленные иглы, входили в его сердце. И с смутным чувством близкого ужаса он начал понимать, что он не господин людей и не сосед их, а их слуга и раб, и блестящие глаза великого ожидания ищут его и приказывают ему — его зовут. Все чаще, с сдержанным гневом, он говорил:

— Его проси! Его проси!

И отворачивался.

А ночью живые люди превращались в призрачные тени и бесшумною толпою ходили вместе с ним, думали вместе с ним — и прозрачными сделали они стены его дома и смешными все замки́ и оплоты. И мучительные, дикие сны огненной лентой развивались под его черепом.

На пятой неделе поста, когда весной пахнуло с поля и сумерки стали синими и прозрачными, с попадьей случился запой. Четыре дня подряд она пила, кричала от страха и билась, а на пятый — в субботу вечером потушила в своей комнате лампадку, сделала из полотенца петлю и повесилась. Но, как только петля начала душить ее, она

испугалась и закричала, и, так как двери были открыты, тотчас прибежали о. Василий и Настя и освободили ее. Все ограничилось только испугом, да и больше ничего быть не могло, так как полотенце было связано неумело и удавиться на нем было невозможно. Сильнее всех испугалась попадья: она плакала и просила прощения; руки и ноги у нее дрожали, и тряслась голова, и весь вечер она не отпускала от себя мужа и старалась ближе сесть к нему. По ее просьбе снова зажгли потушенную лампадку в ее комнате, а потом и перед всеми образами, и стало похоже на канун большого и светлого праздника. После первой минуты испуга о. Василий стал спокоен и холодно ласков, даже шутил; рассказал что-то очень смешное из семинарской жизни, потом перешел к совсем далекому детству и к тому, как он с мальчишками воровал яблоки. И так трудно было представить, что это его сторож вел за ухо, что Настя не поверила и не засмеялась, хотя сам о. Василий смеялся тихим и детским смехом, и лицо у него было правдивое и доброе. Понемногу попадья успокоилась, перестала коситься на темные углы и, когда Настю отослали спать, спросила мужа, тихо и робко улыбаясь:

— Испугался?

Лицо о. Василия сделалось недобрым и неправдивым, и усмехнулись одни губы, когда он ответил:

— Конечно, испугался. Что это ты надумала?

Попадья вздрогнула, как от внезапно пронесшегося ветра, и нерешительно произнесла, разбирая дрожащими пальцами бахрому теплого платка:

— Не знаю, Вася. Так, тоска очень. И страшно мне всего. Всего страшно. Делается что-то, а я ничего не понимаю, как это. Вот весна идет, а за нею будет лето. Потом опять осень, зима. И опять будем мы сидеть вот так, как сейчас,— ты в том углу, а я в этом. Ты не сердись, Вася, я понимаю, что нельзя иначе. А все-таки...

Она вздохнула и продолжала, не поднимая глаз от платка:

— Прежде я хоть смерти не боялась, думала, вот станет мне совсем плохо, я и умру. А теперь и смерти боюсь. Как же мне быть, Васенька, милый? Опять... пить?

Она недоуменно подняла на о. Василия печальные глаза, и была в них смертельная тоска и отчаяние без границ, и глухая, покорная мольба о пощаде. В городе, где учился Фивейский, он видел однажды, как засаленный татарин вел на живодерню лошадь: у нее было сломано копыто и болталось на чем-то, и она ступала на камни прямо окровавлен-

ной мостолыжкой; было холодно, а белый пар облаком окутывал ее, блестела мокрая от испарины шерсть, и глаза смотрели неподвижно вперед — и страшны были они своею кротостью. И такие глаза были у попадьи. И он подумал, что если бы кто-нибудь вырыл могилу, своими руками бросил туда эту женщину и живую засыпал землей,— тот поступил бы хорошо.

Попадья тщетно старалась раскурить дрожащими губами давно потухшую папиросу и продолжала:

— Опять же он. Ты понимаешь, о ком я. Конечно, ребенок, и жаль его, а вот скоро начнет он ходить — загрызет он меня. И ниоткуда нет помощи. Вот тебе пожаловалась, а что из этого? Как быть, и не знаю.

Она вздохнула и тихо развела ладонями. И вздохнула с нею вся низкая придавленная комната, и заметались в тоске ночные тени, бесшумною толпою окружавшие о. Василия. Они рыдали безумно, и простирали бессильные руки, и молили о пощаде, о милости, о правде.

— А-а-а!— длительным стоном отозвалась костлявая грудь попа.

Он вскочил, резким движением опрокинув стул, и быстро заходил по комнате, потрясая сложенными руками, что-то шепча, натыкаясь на стулья и стены, как слепой или безумный. И, натыкаясь на стену, он бегло ощупывал ее костлявыми пальцами и бежал назад; и так кружился он в узкой клетке немых стен, как одна из фантастических теней, принявшая страшный и необыкновенный образ. И, странно противореча безумной подвижности тела, неподвижны, как у слепого, оставались его глаза, и в них были слезы — первые слезы со смерти Васи.

Забыв о себе, попадья с ужасом следила за мужем и кричала:

— Вася, что с тобою? Что с тобою?

О. Василий резко обернулся, быстро подошел к жене, точно раздавить ее хотел, и положил на голову тяжелую прыгающую руку. И долго в молчании держал ее, точно благословляя и ограждая от зла. И сказал, и каждый громкий звук в слове был как звонкая металлическая слеза:

— Бедная, бедная.

И снова быстро заходил, огромный и страшный в своем отчаянии, как зверь, у которого отнимают детей. Лицо его исступленно дергалось, и прыгающие губы ломали отрывистые, беспредельно скорбные слова:

— Бедная. Бедная. Все бедные. Все плачут. И нет помощи! О-о-о!..

Он остановился и, подняв кверху остановившийся взор, пронизывая им потолок и мглу весенней ночи, закричал пронзительно и исступленно:

— И ты терпишь это! Терпишь! Так вот же...

Он высоко поднял сжатый кулак, но у ног его, охватив руками колена, билась в истерике попадья и бормотала, захлебываясь слезами и хохотом:

— Не надо! Не надо! Голубчик, милый. Я не буду больше!..

Проснулся и замычал идиот; прибежала испуганная Настя, и челюсти попа замкнулись, как железные. Молча и по виду холодно он ухаживал за женою, уложил ее в постель и, когда она заснула, держа его руку в обеих своих руках, просидел у постели до утра. И всю ночь до утра горели перед образом лампадки, и похоже было на канун большого и светлого праздника.

На другой день о. Василий был таким, как всегда,— холодным и спокойным, и ни словом не вспоминал о случившемся. Но в его голосе, когда он говорил с попадьею, в его взгляде, обращенном на нее, была тихая нежность, которую одна только она могла уловить своим измученным сердцем. И так сильна была эта мужественная, молчаливая нежность, что робко улыбнулось измученное сердце и в глубине, как драгоценнейший дар, сохранило улыбку. Они мало говорили между собой, и просты и обыкновенны были скупые речи; они редко бывали вместе, разрозненные жизнью,— но полным страдания сердцем они непрестанно искали друг друга; и никто из людей, ни сама жестокая судьба не могла, казалось, догадаться, с какой безнадежной тоскою и нежностью любят они. Уже давно, с рождения идиота, они перестали быть мужем и женою, и похожи были они на нежных и несчастных влюбленных, у которых нет надежды на счастье и даже сама мечта не смеет принять живого образа. И вернулись к женщине потерянная стыдливость и желание быть красивой; она краснела, когда муж видел ее голые руки, и что-то такое сделала с своим лицом и волосами, от чего стали они молодыми и новыми и в строгой печали своей странно-прекрасными. И когда приходил страшный запой, попадья исчезала в темноте своей комнаты, как прячутся собаки, почувствовавшие начало бешенства, и одиноко и молча выносила борьбу с безумием и рожденными им призраками.

И каждую ночь, когда все спало, попадья неслышно прокрадывалась к постели мужа и крестила его голову, отгоняя от нее тоску и злые мысли. Она поцеловать бы его

руку хотела, но не осмеливалась, и тихо уходила назад, смутно белея во мраке, как те туманные и печальные образы, что ночью встают над болотами и над могилами умерших и забытых людей.

VII

Все так же однозвучно и уныло вызванивал великопостный колокол, и казалось, что с каждым глухим ударом он приобретает новую силу над совестью людей; все больше собиралось их, и отовсюду тянулись к церкви бесцветные, как колокольный звон, молчаливые фигуры. Еще ночь царила над обнажившимися полями, и еще не начинали звенеть подмерзшие ручьи, когда на всех тропинках, на всех дорогах появлялись люди и строго печальной вереницею, одинокие и чем-то связанные, двигались к одной невидимой цели. И каждый день, с раннего утра до позднего вечера, перед о. Василием стояли человеческие лица, то ярко во всех морщинах своих освещенные желтым огнем свечей, то смутно выступавшие из темных углов, как будто и самый воздух церкви превратился в людей, ждущих милости и правды. Люди теснились, неуклюже толкаясь и топоча ногами, нестройным, разрозненным движением валились на колени, вздыхали и с неумолимою настойчивостью несли попу свои грехи и свое горе.

У каждого страданий и горя было столько, что хватило бы на десяток человеческих жизней, и попу, оглушенному, потерявшемуся, казалось, что весь живой мир принес ему свои слезы и муки и ждет от него помощи,— ждет кротко, ждет повелительно. Он искал правды когда-то, и теперь он захлебывался ею, этою беспощадною правдою страдания, и в мучительном сознании бессилия ему хотелось бежать на край света, умереть, чтобы не видеть, не слышать, не знать. Он позвал к себе горе людское — и горе пришло. Подобно жертвеннику, пылала его душа, и каждого, кто подходил к нему, хотелось ему заключить в братские объятия и сказать: «Бедный друг, давай бороться вместе и плакать и искать. Ибо ниоткуда нет человеку помощи».

Но не этого ждали от него измученные жизнью люди, и с тоскою, с гневом, с отчаянием он твердил:

— Его проси! Его проси!

Печально они верили ему и уходили, а на смену им надвигались новые серые ряды, и снова, как исступленный, повторял он страшные и беспощадные слова:

— Его проси! Его проси!

И несколько часов, когда он слышал правду, казались ему годами, и то, что было утром до исповеди, становилось бледным и тусклым, как все образы далекого прошлого. Когда последним он уходил из церкви, уже темнота царила, и тихо сияли звезды, и молчаливый воздух весенней ночи ласкался нежно. Но он не верил в спокойствие звезд; ему чудилось, что и оттуда, из этих отдаленных миров, несутся стоны, и крики, и глухие мольбы о пощаде. И так стыдно ему было, как будто он совершил все преступления, какие есть в мире, он пролил все слезы, он истерзал и изорвал в клочки человеческие сердца. Стыдно ему было придавленных домов, мимо которых он шел, стыдно было входить в свой дом, где безраздельно и нагло, силою зла и безумия, царил страшный образ полуребенка, полузверя.

И в церковь, по утрам, он шел так, как идут люди на позорную и страшную казнь, где палачами являются все: и бесстрастное небо, и оторопелый, бессмысленно хохочущий народ, и собственная беспощадная мысль. Каждый страдающий человек был палачом для него, бессильного служителя всемогущего Бога,— и было палачей столько, сколько людей, и было кнутов столько, сколько доверчивых и ожидающих взоров. Все были неумолимо серьезны, и никто не смеялся над попом, но каждую минуту он с трепетом ожидал взрыва какого-то страшного сатанинского хохота и боялся оборачиваться к людям спиною. Все дикое и злое родится за спиною человека, а пока он смотрит, никто не смеет напасть на него. И он смотрит, муча своим взглядом, и часто посматривает он на ту сторону, где за конторкой стоит Иван Порфирыч Копров.

Один он громко разговаривал в церкви, спокойно торговал свечами и дважды посылал сторожа и мальчиков собирать деньги. Потом звонко считал медяки, складывал стопочками и часто щелкал замком; когда все валились на колени, он только наклонял голову и крестился; и видно было, что он считает себя близким и нужным Богу человеком и знает, что без него Богу было бы трудно устроить все так хорошо и в таком порядке. Давно, с начала поста, он сердился на о. Василия, что тот так долго исповедует: он не мог понять, какие могут быть у этих людей интересные и большие грехи, о которых стоило бы долго разговаривать. И относил это к неумению о. Василия жить и обращаться с людьми.

— Ты думаешь, они это оценят?— говорил он благодушному дьякону, измученному, как и весь причт, тяжелой

великопостной работой.— Нипочем. Над ним же смеяться будут.

Но то, что о. Василий был суров, нравилось ему, как и его большой рост; настоящий священнослужитель казался ему похожим на строгого и честного приказчика, который должен требовать точного и верного отчета. Сам Иван Порфирыч говел всегда на последней неделе и задолго приготовлялся к исповеди, стараясь вспомнить и собрать все самые маленькие грехи. И был горд собою, что грехи у него в таком же порядке, как и дела.

В среду на страстной неделе, когда силы уже начали покидать о. Василия, было у него особенно много исповедников. Последним был негодный мужичонка Трифон, калека, таскавшийся на своих костылях по Знаменскому и окрестным селам. Вместо ног, когда-то давно раздавленных на заводской работе и отрезанных по самый живот, у него были коротенькие обрубки, обтянутые кожей; на приподнятых от костылей плечах глубоко сидела грязная, точно паклей покрытая голова, с такою же грязною, свалявшейся бородою и наглыми глазами нищего, пьяницы и вора. Он был отвратителен и грязен, как животное, пресмыкался в грязи и пыли, как гад, и такая же темная и таинственная, как души животных, была его душа. Трудно было понять, как он живет такой, а он жил, напивался пьян, дрался и даже имел женщин, каких-то фантастических, неправдоподобных женщин, так же мало похожих на человека, как и он.

О. Василию пришлось низко наклониться, чтобы принять исповедь калеки, и в открыто спокойном зловонии его тела, в паразитах, липко ползавших по его голове и шее, как сам он ползал по земле, попу открылась вся ужасная, не допустимая совестью, постыдная нищета этой искалеченной души. И с грозной ясностью он понял, как ужасно и безвозвратно лишен этот человек всего человеческого, на что он имел такое же право, как короли в своих палатах, как святые в своих кельях. И содрогнулся.

— Ступай! Бог отпустит твои грехи,— сказал он.

— Погодите. Еще скажу,— прохрипел нищий, задирая вверх побагровевшее лицо.

И рассказал, как десять лет назад он изнасиловал в лесу подростка-девочку и дал ей, плачущей, три копейки; а потом ему жаль стало своих денег, и он удушил ее и закопал. Так ее и не нашли. Десять раз десяти различным попам рассказывал он эту историю, и от повторения она стала казаться ему простой и обыкновенной и не относящейся к нему, как какая-нибудь сказка. Иногда он разнообразил рас-

сказ: заменял лето осенью и девочку представлял то белокуренькой, то смуглой,— но три копейки оставались неизменными. Некоторые ему не верили и смеялись над ним,— утверждали, что за десять лет в округе не было убито и не пропадало ни одной девочки; ловили его в бесчисленных и грубых противоречиях и с очевидностью доказывали, что всю эту страшную историю он выдумал спьяна, валяясь в лесу. И это приводило его в ярость: он кричал, божился, поминая черта так же часто, как и Бога, и начинал рассказывать такие отвратительные и грязные подробности, что самые старые священники краснели и негодовали. И теперь он ждал, поверит ли знаменский поп или нет, и был доволен, что поп поверил: отшатнулся от него, побледнел и поднял руку, как для удара.

— Правда это?— глухо спросил о. Василий.

Нищий быстро закрестился:

— Ну, ей-Богу, правда. Ну вот провалиться мне...

— Так ведь за это же ад!— крикнул поп.— Ты понимаешь, ад!

— Бог милостив,— угрюмо и обиженно пробормотал нищий.

Но по злым и испуганным глазам его видно было, что сам он ждет ада и уж свыкся с ним, как и с своею странною историей о задушенной девочке.

— На земле — ад, в небе — ад. Где же твой рай? Будь ты червь, я раздавил бы тебя ногой,— но ведь ты человек! Человек! Или червь? Да кто же ты, говори!— кричал поп, и волосы его качались, как от ветра.— Где же твой Бог? Зачем оставил он тебя?

«Поверил!»— с радостью думал нищий, чувствуя себя под словами попа, как под горячей водой.

О. Василий присел на корточки и, в унизительности необычайной позы черпая странную и мучительную гордость, зашептал страстно:

— Слушай! Ты не бойся. Ада не будет. Это я верно тебе говорю. Я сам убил человека. Девочку. Настя ее зовут. И ада не будет! Ты будешь в раю. Понимаешь, со святыми, с праведниками. Выше всех. Выше всех — это я тебе говорю!

В тот вечер о. Василий вернулся домой поздно, когда уже поужинали. Был он сильно утомлен и бледен, и до колен мокр, и покрыт грязью, как будто долго и без дорог бродил он по размокшим полям. В доме готовились к Пас-

хе, и попадья была занята, но, прибегая на минутку из кухни, она каждый раз с тревогою смотрела на мужа. И веселой она старалась казаться и скрывала тревогу.

А ночью, когда, по обыкновению, она пришла на цыпочках и, трижды перекрестив изголовье, хотела уходить, ее остановил тихий и испуганный голос, непохожий на голос сурового о. Василия:

— Настя! Я не могу идти в церковь.

В голосе был ужас и что-то детское и молящее. Как будто так огромно было несчастие, что нельзя уже и не нужно было одеваться гордостью и скользкими, лживыми словами, за которыми прячут люди свои чувства. Попадья стала на колени у постели мужа и взглянула ему в лицо: при слабом синеватом свете лампадки оно казалось бледным, как у мертвеца, и неподвижным, и черные глаза одни косились на нее; и лежал он навзничь, как тяжело больной или ребенок, которого напугал страшный сон и он не смеет пошевельнуться.

— Молись, Вася!— прошептала попадья, гладя его холодные руки, сложенные на груди, как у покойника.

— Не могу. Мне страшно. Зажги огонь, Настя!

Пока она зажигала лампу, о. Василий начал одеваться, медленно и неловко, как тяжело больной, давно не встававший с постели. Крючки на подряснике он не мог застегнуть сам и попросил жену:

— Застегни.

— Куда ты?— удивилась попадья.

— Никуда. Я так.

И медленно он начал ходить по комнате, ступая неуверенно и слабо подгибающимися ногами. Голова его тряслась еле заметною и ровною дрожью, и нижняя челюсть бессильно отвисла; с усилием он подбирал ее, облизывая языком сухие пересмякшие губы, но через минуту она падала снова и открывала черное отверстие рта. Надвигалось что-то огромное и невыразимо ужасное, как беспредельная пустота и беспредельное молчание. И не было земли, и людей, и мира за стенами дома — там был тот же зияющий, бездонный провал и вечное молчание.

— Вася! Неужели это правда?— спросила попадья, замирая от страха.

О. Василий взглянул на нее тусклыми, без блеска глазами и с минутным приливом силы замахал рукой:

— Не надо. Не надо. Молчи.

И снова заходил, и снова отпала бессильная челюсть.

И так ходил он медленно, как само время, а на постели сидела бледная женщина, замирающая от страха, и медленно, как время, двигались ее глаза и следили. И надвигалось что-то огромное. Вот пришло оно и стало и охватило их пустым и всеобъемлющим взглядом — огромное, как пустота, страшное, как вечное молчание.

О. Василий остановился против жены и, тускло глядя на нее, сказал:

— Темно. Зажги еще огонь.

«Он умирает»,— подумала попадья и трясущимися руками, роняя спички, зажгла свечу. И снова он попросил:

— Зажги еще.

И она зажигала, все зажигала, и уже много горело ламп и свечей. Как маленькая голубая звездочка, терялась лампадка в живом и смелом блеске огня, и было похоже на то, что уже наступил большой и светлый праздник. И медленный, как время, тихо двигался он в сияющей пустоте. Теперь, когда пустота светилась, увидела попадья и поняла на одно короткое, но ужасное мгновение,— что он одинок, не принадлежит ей и никому, и ни она и никто не может этого изменить. Если бы сошлись добрые и сильные люди со всего мира, обнимали его, говорили бы ему слова утешения и ласки, он остался бы так же одинок.

И снова подумала, холодея: «Он умирает».

Так проходила ночь. И когда уже близилась она к концу, шаги о. Василия стали тверже, он выпрямился, несколько раз взглянул на попадью и сказал:

— Зачем столько огня? Потуши.

Попадья потушила свечи и лампы и нерешительно заговорила:

— Вася!

— Завтра поговорим. Ну, ступай к себе. Нужно ложиться.

Но попадья не уходила и о чем-то умоляла его глазами. И, по-прежнему высокий и сильный, он подошел и, как ребенка, погладил ее по голове.

— Так-то, попадья!— сказал он и улыбнулся.

А лицо его было бледно прозрачной бледностью смерти, и вокруг глаз лежали черные круги: как будто притаилась там ночь и не хотела уходить.

Наутро о. Василий объявил жене: он снимает с себя сан, и осенью, собравши деньги, они уедут далеко — еще неизвестно куда. А идиот останется: он будет отдан на воспитание. И попадья плакала и смеялась, и в первый раз после

рождения идиота поцеловала мужа в губы, краснея и смущаясь.

Было в это время Василию Фивейскому сорок лет и жене его тридцать четыре года.

VIII

Три месяца отдыхала их душа; и снова вернулась в их дом потерянная надежда и радость. Всею силою пережитых страданий поверила попадья в новую жизнь, совсем новую и совсем особенную, какой нет и не может быть у других людей. Она смутно чувствовала то, что происходит в сердце ее мужа, но она видела его особенную бодрость, спокойную и ровную, как пламя свечи; видела особенный блеск его глаз, какого не было раньше, и верила в его силу. О. Василий пытался иногда говорить с нею о том, куда они уедут и как будут жить,— но она не хотела его слушать: точные и определенные слова отпугивали ее широкую и бесформенную мечту и как-то странно и страшно сближали будущее с мучительным прошлым. Одного только она хотела: чтоб это было далеко, за пределами знакомого ей и по-прежнему страшного мира. Как и раньше, случались запои, но проходили быстро, и она не боялась их: верила, что скоро перестанет пить совсем. «Там будет другое, там не нужно будет пить»,— думала она, озаренная светом неопределенной и прекрасной мечты.

Когда наступило лето, она снова начала на целые дни уходить в лес и поле, возвращалась в сумерки и поджидала у калитки, когда приедет с сенокоса о. Василий. Неслышно и медленно нарастала тьма короткой летней ночи; и казалось, что никогда не придет ночь и не погасит дня; и только взглянув на смутные очертания рук, лежавших на коленях, она чувствовала, что есть что-то между нею и ее руками, и это — ночь с своей прозрачною и таинственною мглою. И уже беспокоиться она начинала, когда приезжал о. Василий, высокий, сильный, веселый, окруженный резким и приятным запахом травы и поля. Лицо у него было темное от ночи, а глаза ласково светились, и в сдержанном голосе словно таилась необъятная ширь полей и запахов трав и радость продолжительной работы.

— Хорошо на земле,— говорил он и сдержанно смеялся загадочным и темным смехом, как будто насмехался он над кем-то или над самим собою.

— Ну, ну, Вася. Конечно, хорошо! — говорила попадья убедительно, и они шли ужинать.

После простора полей о. Василию казалось тесно в маленькой комнате; он стеснялся своих длинных рук и ног и так неуклюже и смешно двигал ими, что попадья весело шутила:

— Вот бы заставить тебя написать проповедь. Ты сейчас и пера не удержишь,— говорила она.

И они смеялись.

Но когда о. Василий оставался один, лицо его делалось серьезно и строго: наедине с мыслями своими не смел он шутить и смеяться. И глаза его смотрели сурово и с гордым ожиданием, ибо чувствовал он, что и в эти дни покоя и надежды над жизнью его тяготеет все тот же жестокий и загадочный рок.

Двадцать седьмого июля, вечером, о. Василий с работником возил с поля снопы.

Тень от ближнего леса стала косая и длинная, и по всему полю отовсюду шли такие же длинные и косые тени, когда со стороны Знаменского принесся жидкий и еле слышный звон, странный своею неурочностью. О. Василий быстро обернулся: там, где темнела среди ветел крыша его домика, неподвижно стоял густой клуб черного смолистого дыма, и под ним извивалось, словно придавленное, багровое, без свету, пламя. Пока побросали снопы с телеги, пока прискакали в село, уже темнело и пожар кончался: догорали, как свечи, черные обугленные столбы, смутно белела кафлями обнаженная печь, и низко стлался белый дым, похожий на пар. Он окутывал ноги тушивших мужиков, и на фоне догорающей зари они словно висели в воздухе плоскими смутными тенями.

Вся улица была запружена народом; мужики толкались в свежей грязи, образовавшейся от пролитой воды, возбужденно и громко разговаривали и внимательно присматривались друг к другу, точно не узнавали сразу ни знакомых лиц, ни голосов. С поля пригнали стадо, и оно тревожно металось. Коровы мычали, овцы неподвижно глядели стеклянными выпуклыми глазами, растерянно терлись между ног и шарахались в сторону от беспричинного испуга, дробно попыливая копытцами. За ними гонялись бабы, и по всему селу слышался однообразный призыв: кыть-кыть-кыть. И от этих темных фигур с темными, как будто бронзовыми лицами, от этого однообразного и странного призыва, от людей и животных, слившихся в одном стихийном чувстве страха,— веяло чем-то дикарским, первобытным.

День был безветренный, и сгорел один только поповский дом. Как рассказывали, пожар начался в комнате, где от-

дыхала пьяная попадья — вероятно, от зароненного огня с папиросы или от небрежно брошенной спички. Весь народ был в поле; и успели спасти только перепуганного идиота да кое-какие вещи, а сама попадья сильно обгорела, и ее вытащили чуть живою, без памяти. Когда рассказывали это прискакавшему о. Василию, ожидали от него взрыва горя и слез, и были удивлены: вытянув шею вперед, он слушал сосредоточенно и внимательно, с напряженно сомкнутыми губами; и был у него такой вид, точно он уже знал то, что ему рассказывают, и только проверял рассказ. Как будто в этот короткий сумасшедший час, пока он, стоя с разметавшимися волосами и прикованным к огненному столбу взглядом, бешено скакал на подпрыгивающей телеге, он догадался обо всем: и о том, отчего должен был произойти пожар, и о том, что все имущество и попадья должны были погибнуть, а идиот и Настя уцелеть.

Мгновенно он стоял молча с опущенными глазами — и, вскинув назад голову, решительно и прямо направился через толпу к дому дьякона, где нашла приют умиравшая попадья.

— Где она?— спросил он громко у молчавших людей. И молча ему указали. Он подошел, низко наклонился к бесформенной, глухо стонущей массе, увидел сплошной белый пузырь, страшно заменивший собой знакомое и дорогое лицо, и в ужасе отшатнулся и закрыл лицо руками.

Попадья глухо заволновалась; вероятно, она пришла в себя, и ей нужно было что-то сказать, но вместо слов из горла ее выходил глухой отрывистый хрип. О. Василий отнял руки от лица: на нем не было слез, оно было вдохновенно и строго, как лицо пророка. И когда он заговорил, раздельно и громко, как говорят с глухими, в голосе его звучала непоколебимая и страшная вера. В ней не было человеческого, дрожащего и в силе своей; так мог говорить только тот, кто испытал неизъяснимую и ужасную близость Бога.

— Во имя Божие,— слышишь ли ты меня?— воскликнул он.— Я здесь, Настя. Я здесь, около тебя. И дети здесь. Вот Василий. Вот Настя.

По неподвижному и страшному лицу попадьи нельзя было понять: слышит она что-нибудь или нет. И, еще повысив голос, о. Василий продолжал, обращаясь к бесформенной, обгоревшей массе:

— Прости меня, Настя. Безвинно погубил я тебя. Погубил. Прости, единая любовь моя. И благослови детей в сердце своем. Вот они: вот Настя, вот Василий. Благосло-

ви. И отыди с миром. Не страшись смерти. Бог простил тебя. Бог любит тебя. Он даст тебе покой. Отыди с миром. Там увидишь Васю. Отыди с миром.

Разошлись все, тоскуя и плача, и унесли заснувшего идиота. Один о. Василий остался с умирающей — на всю короткую летнюю ночь, в приход которой не верила попадья. Он стал на колени и, положив голову возле умирающей, обоняя легкий и страшный запах горелого мяса, заплакал тихими и обильными слезами нестерпимой жалости. Он плакал о ней, молодой и красивой, доверчиво ждущей радостей и ласк; о ней, потерявшей сына; о ней, безумной и жалкой, объятой страхом, гонимой призраками; он плакал о ней, которая ждала его в летние сумерки, покорная и светлая. Это ее тело, необласканное, нежное тело пожирал огонь, и оно так пахнет. Что она — кричала, билась, звала мужа?

О. Василий дико оглянулся помутившимися глазами и встал. Тихо было — так тихо, как бывает только в присутствие смерти. Он посмотрел на жену: она была неподвижна той особенной неподвижностью трупа, когда все складки одежд и покрывал кажутся изваянными из холодного камня, когда блекнут на одеждах яркие цвета жизни и точно заменяются бледными искусственными красками.

Умерла попадья.

В открытое окно дышала теплая и мягкая ночь, и где-то далеко, подчеркивая тишину комнаты, гармонично стрекотали кузнечики. Около лампы бесшумно метались налетевшие в окно ночные бабочки, падали и снова кривыми болезненными движениями устремлялись к огню, то пропадая во тьме, то белея, как хлопья кружащегося снега. Умерла попадья.

— Нет! Нет!— заговорил поп громко и испуганно.— Нет! Нет! Я верю. Ты прав. Я верю.

Он пал на колени, потом приник лицом к залитому полу, среди клочков грязной ваты и перевязок — точно жаждал он превратиться в прах и смешаться с прахом. И с восторгом беспредельной униженности, изгоняя из речи своей самое слово «я», сказал:

— Верую!

И снова молился, без слов, без мыслей, молитвою всего своего смертного тела, в огне и смерти познавшего неизъяснимую близость Бога. Самую жизнь свою перестал он чувствовать — как будто порвалась извечная связь тела и духа, и, свободный от всего земного, свободный от самого себя, поднялся дух на неведомые и таинственные высоты.

Ужасы сомнений и пытующей мысли, страстный гнев и смелые крики возмущенной гордости человека — все было повергнуто во прах вместе с поверженным телом; и один дух, разорвавший тесные оковы своего «я», жил таинственной жизнью созерцания.

Когда о. Василий поднялся, уже светло было, и солнечный луч, длинный и красный, ярким пятном лежал на окаменевших одеждах покойницы. И это удивило его, так как последнее, что он помнил, было темное окно и бабочки, метавшиеся вокруг огня. Несколько обожженных бабочек темными комочками лежало около лампы, все еще горевшей почти невидимым желтым светом; одна серая, мохнатая, с большой уродливой головой, была еще жива, но не имела сил улететь и беспомощно ползала по стеклу. Вероятно, ей было больно, она искала теперь ночи и тьмы, но отовсюду лился на нее беспощадный свет и обжигал маленькое, уродливое, рожденное для мрака тело. С отчаянием она начинала трепетать короткими, опаленными крылышками, но не могла подняться на воздух и снова угловатыми и кривыми движениями, припадая на один бок, ползала и искала.

О. Василий загасил лампу, выбросил в окно трепетавшую бабочку и, бодрый, как после крепкого сна, полный ощущением силы, новизны и необыкновенного спокойствия, отправился в дьяконский сад. Там он долго ходил по прямой дорожке, заложив руки назад, задевая головой низкие ветви яблонь и черешни, ходил и думал. Солнце начало пригревать его голову сквозь просветы дерев и на повороте огненным потоком вливалось в глаза и слепило; падали, тихо стукая, подъеденные червем яблоки, и под черешнями, в сухой и рыхлой земле, копалась и кудахтала наседка с дюжиной пушистых желтых цыплят,— а он не замечал ни солнца, ни стука яблок и думал. И чудны были его мысли — яркие и чистые они были, как воздух ясного утра, и какие-то новые: таких мыслей никогда еще не пробегало в его голове, омраченной скорбными и тягостными думами. Он думал, что там, где видел он хаос и злую бессмыслицу, там могучею рукою был начертан верный и прямой путь. Через горнило бедствий, насильственно отторгая его от дома, от семьи, от суетных забот о жизни, вела его могучая рука к великому подвигу, к великой жертве. Всю жизнь его Бог обратил в пустыню, но лишь для того, чтобы не блуждал он по старым, изъезженным дорогам, по кривым и обманчивым путям, как блуждают люди, а в безбрежном и свободном просторе ее искал нового и смелого пути. Вчерашний

столб дыма и огня — разве он не был тем огненным столбом, что указывал евреям дорогу в бездорожной пустыне? Он думал: «Боже, хватит ли слабых сил моих?»— но ответом был пламень, озарявший его душу, как новое солнце.

Он избран.

На неведомый подвиг и неведомую жертву избран он, Василий Фивейский, тот, что святотатственно и безумно жаловался на судьбу свою. Он избран. Пусть под ногами его разверзнется земля и ад взглянет на него своими красными, лукавыми очами, он не поверит самому аду. Он избран. И разве не тверда земля под его ногою?

О. Василий остановился и топнул ногой. Обеспокоенно закудахтала и насторожилась испуганная курица, сзывая цыплят. Один из них был далеко и быстро побежал на зов, но на дороге его схватили и подняли большие, костлявые и горячие руки. Улыбаясь, о. Василий подышал на желтенького цыпленка горячим и влажным дыханием, мягко сложил руки, как гнездо, бережно прижал к груди и снова заходил по длинной дорожке.

— Какой подвиг? Я не знаю. Но разве смею я знать? Вот знал я про судьбу мою, жестокой называл ее — и знание мое было ложь. Вот думал я родить сына — и чудовище, без образа, без смысла, вошло в мой дом. Вот думал я умножить имущество и покинуть дом — а он раньше меня покинул, сожженный огнем небесным. И это — мое знание. А она — безмерно несчастная женщина, оскорбленная в самом чреве своем, исплакавшая все слезы, ужаснувшаяся всеми ужасами? Вот ждала она новой жизни на земле, и была бы скорбной эта жизнь,— а теперь лежит она там, мертвая, и душа ее смеется сейчас и знание свое называет ложью. Он знает. Он дал мне много: он дал мне видеть жизнь и испытать страдание и острием моего горя проникнуть в страдание людей; он дал мне почувствовать их великое ожидание и любовь к ним дал. Разве они не ждут, и разве я не люблю? Милые братья! Пожалел нас господь, настал для нас час милости божией!

Он поцеловал пушистую головку цыпленка и продолжал:

— Мой путь. Но разве думает о пути стрела, посланная сильной рукой? Она летит и пробивает цель — покорная воле пославшего. Мне дано видеть, мне дано любить — и что выйдет из этого видения, из этой любви, то и будет его святая воля — мой подвиг, моя жертва.

Пригретый теплой рукой цыпленок заволок глаза и заснул,— и улыбнулся поп.

— Вот — стиснуть только руку, и он умрет. А он лежит в моих руках, на моей груди и спит доверчиво. И разве я — не в руке его? И смею я не верить в божию милость, когда этот верит в мою человеческую благость, в мое человеческое сердце.

Он тихо засмеялся, открыв черные, гнилые зубы, и на суровом, недоступном лице его улыбка разбежалась в тысячах светлых морщинок, как будто солнечный луч заиграл на темной и глубокой воде. И ушли большие, важные мысли, испуганные человеческою радостью, и долго была только радость, только смех, свет солнечный и нежно-пушистый, заснувший цыпленок.

Но вот сгладились морщинки, лицо сделалось строго и важно, и вдохновенно засверкали глаза. Самое большое, самое важное предстало перед ним, и называлось оно — чудо. Туда не смела заглянуть его все еще человеческая, слишком человеческая мысль. Там была граница мысли. Там, в бездонных солнечных глубинах, неясно обрисовывался новый мир, и он уже не был землею. Мир любви, мир божественной справедливости, мир светлых и безбоязненных лиц, не опозоренных морщинами страданий, голода, болезней. Как огромный чудовищный брильянт, сверкал этот мир в бездонных солнечных глубинах, и больно и страшно было взглянуть на него человеческим глазам. И, покорно склонив голову, о. Василий промолвил:

— Да будет святая воля твоя.

В саду показались люди: дьякон, его жена и многие другие. Они издалека увидели попа и, дружелюбно кивая головами, поспешно направлялись к нему, подошли ближе, замедлили шаги — и остановились в оцепенении, как останавливаются перед огнем, перед бушующей водою, перед спокойно-загадочным взглядом познавшего.

— Что вы так смотрите на меня?— удивленно спросил о. Василий.

Но они не двигались и смотрели. Перед ними стоял высокий человек, совсем незнакомый, совсем чужой, и чем-то могуче-спокойным отдалял их от себя. Был он темен и страшен, как тень из другого мира, а по лицу его разбегалась в светлых морщинках искристая улыбка, как будто солнце играло на черной и глубокой воде. И в костлявых больших руках он держал пухленького желтого цыпленка.

— Что вы так смотрите на меня?— повторил он, улыбаясь.— Разве я — чудо?

IX

Видимо, для всех о. Василий Фивейский поспешно сбрасывал с себя последнее, связывавшее его с прошлым и суетными заботами о жизни. Быстро списавшись с сестрою своею, жившей в городе, он отослал к ней Настю; и дня одного не промедлил он с отправлением дочери, боясь, что укрепится в сердце его родительская любовь и многое отнимет у людей. Настя уехала без радости и горя; она была довольна, что мать умерла, и жалела только, что не пришлось сгореть идиоту. Уже сидя в повозке, в старомодном платье, перешитом из материного, в криво надетой детской шляпке, больше похожая на странно наряженную некрасивую девушку, чем на подростка,— она равнодушно поглядывала на суетившегося дьякона своими волчьими глазами и говорила отцовским сухим голосом:

— Да бросьте, отец дьякон. Хорошо мне сидеть, и так доеду. Прощайте, папаша.

— Прощай, Настенька. Учись, смотри не ленись.

Телега дернулась, встряхнув Настю, но уже в следующее мгновение она снова стала прямою, как палка, и не покачивалась в стороны на колеях, а только подпрыгивала. Дьякон вынул платок, чтобы помахать отъезжавшей, но Настя не обернулась; и, покачав укоризненно головой, дьякон с долгим вздохом высморкался в платок и положил обратно в карман. Так уехала она, чтоб никогда больше не вернуться в Знаменское.

— А вы бы, отец Василий, и сынка бы отправили. А то ведь трудно вам будет с одной кухаркой. Глупая она у вас баба и глухая к тому же,— сказал дьякон, когда уже и пыль улеглась за скрывшейся телегой.

О. Василий задумчиво посмотрел на него.

— Чтобы я людям свой грех подкинул? Нет, дьякон. Мой грех — со мною ему и быть надлежит. Как-нибудь проживем, старый да малый,— так, отче?

Он улыбнулся ласково и приятно, с безобидной насмешливостью над чем-то, что знает он один, и похлопал дьякона по толстому плечу.

Пользование своею землею о. Василий передал причту, выговорив себе на содержание небольшую сумму, «вдовью», как он ее называл.

— А может, и этого брать не стану,— загадочно промолвил он, улыбаясь приятно, с безобидною насмешкою над тем, что знает он один.

И еще одно дело совершил он: определил пухнувшего от голода Мосягина в работники к Ивану Порфирычу. Последний сперва прогнал явившегося к нему с просьбой Мосягина, но, поговорив с попом, не только принял мужика, но и самому о. Василию прислал тесу на постройку дома. А жене своей, вечно молчаливой и вечно беременной женщине, сказал:

— Помни мое слово: наделает делов этот поп.

— Каких делов?— равнодушно спросила жена.

— А таких. Только как по тому случаю, что мое дело сторона, я и молчу. А то бы...— Он неопределенно посмотрел в окно, на дорогу в губернский город.

И неизвестно откуда — с загадочных ли слов старосты, или из другого источника — по селу, а потом и дальше пошли смутные и тревожные слухи о знаменском попе. Как дымная гарь от далекого лесного пожара, они двигались медленно и глухо, и никто не замечал их прихода, и, только взглянув друг на друга и на потускневшее солнце, люди понимали, что пришло что-то новое, необычное и тревожное.

К половине октября был отстроен новый дом, но совсем отделать и покрыть крышею успели только половину; другая половина без стропил и наката, с пустыми незарамленными окнами, прицеплялась к жилой части, как скелет к живому человеку, и по ночам казалась покинутою и страшною. Новой обстановки о. Василий заводить не стал: среди голых бревенчатых стен, на которых не успели еще затвердеть янтарные капельки смолы, во всех четырех комнатах стояли две некрашеные табуретки, стол да постели. Глухая, бестолковая кухарка печи топила плохо, в комнатах всегда пахло дымом, и часто болела голова от угара, сизым облаком ползавшего по грязному исслеженному полу. И холодно было. В сильные морозы стекла изнутри покрывались белым слоем пушистого инея, и в доме царил холодный белый полусвет; на подоконниках намерзли с начала зимы огромные куски льда, и от них по полу тянулись водяные потоки. Даже неприхотливые мужики, приходившие к попу за требами, смущенно и виновато косились на убожество поповского жилья, а дьякон сердито назвал его «мерзостью запустения».

Когда о. Василий впервые вступил в новый дом, он долго и радостно ходил по пустым и холодным, как амбар, комнатам и весело сказал идиоту:

— Важно заживем мы с тобою, Василий!

Идиот облизнул губы длинным, как у животного, языком и загугукал прыгающими, однообразными и громкими звуками:

— Гу-гу! Гу-гу!

Ему было весело, и он смеялся. Но уже скоро он почувствовал холод, одиночество и скуку заброшенного жилища, сердился, кричал, бил себя по щекам и пробовал сползти на пол, но падал и больно ушибался. Временами он впадал в состояние тяжелого оцепенения, похожего на странную кошмарную задумчивость. Подперев голову тонкими длинными пальцами, слегка высунув кончик языка, он неподвижно смотрел перед собою из-под узеньких звериных век. И тогда чудилось, что он вовсе не идиот, что он думает что-то особенное, не похожее на мысли всех людей; и что он знает что-то тоже особенное, простое и загадочное, чего не знает никто из них. И думалось, глядя на его приплюснутый нос с широкими вывернутыми ноздрями, на его срезанный затылок, животной линией переходивший прямо в спину, что, если бы дать ему крепкие и быстрые ноги, он убежал бы в лес и зажил бы там таинственной лесной жизнью, полной игр, жестокости и темной лесной мудрости.

И бок о бок с ним, вечно вдвоем, вечно наедине, то оглушаемый его злым, бесстыдным криком, то преследуемый окаменевшим загадочным взглядом, зажил о. Василий столь же таинственною жизнью духа, отрекшегося от плоти. Он чистым хотел быть для великого подвига и еще неведомой великой жертвы — и все дни и ночи его стали одною непрерывною молитвою, одним безглагольным излиянием. Со смерти попадьи он наложил на себя строгий пост: не пил чаю, не вкушал мясного и рыбного и в дни постные, в среду и пятницу, питался одним хлебом, размоченным в воде. И с непонятною суровостью, похожей на месть, такой же строгий пост возложил он на идиота, и тот мучился, как голодное животное: кричал, царапался и даже плакал скупыми собачьими слезами, но не мог добиться ни одного лишнего куска. Людей поп видел мало и только по необходимости, старательно сокращая время пребывания с ними, и все часы, с короткими перерывами для отдыха и сна, посвящал коленопреклоненной молитве. А когда уставал,— садился и читал Евангелие, Деяния святых апостолов и жития святых. Обычно церковная служба отправлялась только по праздникам — теперь он ежедневно совершал раннюю литургию. Престарелый дьякон отказался служить с ним, и помогал ему псаломщик, грязный

и одинокий старик, давно когда-то лишенный дьяконского сана за пьянство.

Еще затемно, дрожа от утреннего холода, о. Василий пробирался в церковь. Идти было недалеко, а времени уходило много: часто за ночь наносило сугробы снега, ноги утопали и расползались в сухой искристой массе, и каждый шаг стоил десяти. В церкви как следует не топили и холод стоял лютый — тот особенный, пронизывающий холод, какой свойствен нежилым зданиям зимою; при дыхании шел сильный пар, и до металлических вещей больно было дотронуться. Собственно для попа псаломщик, он же и сторож, растапливал одну печку, и у открытой дверцы ее, присев на корточки, о. Василий отогревал руки: иначе крест не держался в негнущихся, залубеневших пальцах. Тут, в эти десять минут, он шутил со стариком относительно холода и цыганского пота, и псаломщик угрюмо и снисходительно слушал его; от постоянного пьянства и от холода нос у псаломщика был багрово-синий, а щетинистый подбородок, который начал он брить после разжалования, равномерно двигался, точно при жевании.

Потом о. Василий облачался в старую ризу, на которой, в местах золотой вышивки, торчали обтертые нитки; в кадило бросалась крупинка ладана, и в полутьме, смутно различая друг друга, но двигаясь уверенно, как слепые в знакомом месте, они начинали служить. Два восковых огарка — один у псаломщика, другой на амвоне у образа Спасителя — только сгущали тьму; и острое пламя их медленно колыхалось в стороны, подчиняясь движению двух неторопливых людей.

Служили долго, служили медленно и крепко; и каждое слово дрожало и расплывалось в очертаниях своих, подхватываемое холодным эхом пустынной церкви. И было только эхо, и тьма, и двое служащих Богу людей; и постепенно разгоралось что-то в груди старого пьяного псаломщика. Подставив ухо, он бережно ловил каждое слово попа и задолго начинал двигать колючим подбородком; и уходила куда-то одинокая и грязная старость, и уходила вся неудачная, тоскливая жизнь,— а то, что являлось на смену, было необычно и радостно до слез. Часто на возглас псаломщика из алтаря долго не слышалось ответа; наступала долгая и строгая тишина, и неподвижно желтели острые язычки свеч; потом издалека приносился голос, налитый слезами и радостью. И снова уверенно двигались в полутьме две неторопливых фигуры, и пламя колыхалось, подчиняясь их неспешным, размеренным движениям.

Когда служба кончалась, уже светло становилось, и о. Василий говорил:

— Смотри, Никон, как потеплело-то.

А изо рта его шел пар. Морщины на щеках Никона розовели; строго и пытливо он взглядывал на попа и недоверчиво спрашивал:

— А завтра — будем? А то, может, нельзя?

— Как же, Никон, будем, будем.

Почтительно он провожал попа до дверей и шел к себе в сторожку. Там визгом и лаем его встречал десяток собак, взрослых и щенков; окруженный ими, как детьми, он кормил их и ласкал, а сам думал о попе. Думал о попе — и удивлялся. Думал о попе — и улыбался, не разжимая рта и отворачиваясь от собак, чтобы и они не видели его улыбки. И все думал, думал — до самой ночи. А наутро ждал — не обманет ли поп, и не сдастся ли перед тьмою и морозом. Но поп приходил, продрогнувший, но веселый, и снова от устья печки в самую глубину темной церкви уходила багрово-красная полоса, и по ней тянулась черная тающая тень.

Вначале, прослышав о странностях попа, многие нарочно приходили, чтобы посмотреть на него, и удивлялись. Иные из смотревших находили его безумным, иные умилялись и плакали, но были такие, и их было много, в сердце которых вырастала острая и непреодолимая тревога. Ибо в прямом, безбоязненно открытом и светлом взоре попа они уловили мерцание тайны, глубочайшей и сокровеннейшей, полной необъяснимых угроз и зловещих обещаний. Но скоро любопытные отстали, и церковь долго оставалась пустою в темные предутренние часы, и никто не нарушал покоя двух молящихся людей. Но прошло еще время — и на возгласы попа стали приходить из темноты церкви робкие, сдержанные вздохи; чьи-то колени глухо стучали о каменный пол; чьи-то уста шептали; чьи-то руки ставили цельную маленькую свечу, и среди двух огарков она была как молоденькая стройная березка среди порубленного леса.

И стала крепнуть тревожная, глухая и безлицая молва. Она вползала всюду, где только были люди, и оставляла после себя что-то, какой-то осадок страха, надежды и ожидания. Говорили мало, говорили неопределенно, больше качали головами и вздыхали, но уже в соседней губернии, за сотню верст от Знаменского, кто-то серый и молчаливый вдруг громко заговорил о «новой вере» и опять скрылся в молчании. А молва все двигалась — как ветер, как тучи, как дымная гарь далекого лесного пожара.

Позже всего дошли слухи до города — словно больно и трудно им было продираться сквозь каменные стены по шумным и людным улицам. И какие-то голые, ободранные, как воры, пришли они — говорили, что кто-то себя сжег, что открылась новая изуверская секта. В Знаменское приехали люди в мундирах, ничего не нашли, а домá и бесстрастные лица ничего им не сказали,— и они уехали обратно, позвякивая колокольцами.

А слухи, после этого посещения, стали еще упорнее и злее,— и каждое утро совершал служение о. Василий Фивейский.

X

Все долгие зимние вечера о. Василий проводил вдвоем с идиотом, как в одну скорлупу заключенный вместе с ним в белую клетку сосновых стен и потолка.

От прошлого он сохранил любовь к яркому свету — и на столе, нагревая комнату, белым огнем пылала большая лампа с пузатым стеклом. Замерзшие окна, запушённые инеем, светлели под огнем и искрились, были непроницаемы, как стены, и отделяли людей от серой ночи. Безграничным кольцом она облегала дом, давила на него сверху, искала отверстия, куда бы пропустить свой серый коготь, и не находила. Она бесновалась у дверей, мертвыми руками ощупывала стены, дышала холодом, с гневом поднимала мириады сухих, злобных снежинок и бросала их с размаху в стекла,— а потом, бесноватая, отбегала в поле, кувыркалась, пела и плашмя бросалась на снег, крестообразно обнимая закоченевшую землю. Потом поднималась, садилась на корточки и долго и тихо смотрела на освещенные окна, поскрипывая зубами. И снова с визгом бросалась на дом, выла в трубе голодным воем ненасытимой злобы и тоски и обманывала: у нее не было детей, она сожрала их и схоронила в поле, в поле...

— Метель,— говорил о. Василий, прислушиваясь, и снова опускал глаза на книгу.

Она нашла. Огонь большой лампы проточил кружок в пушистой броне, и заблестело мокрое стекло, и снаружи она прильнула к нему серым бесцветным глазом. Их двое, двое, двое... Ободранные голые стены с блестящими капельками янтарной смолы, сияющая пустота воздуха и люди. Их двое.

Склонив маленький и тесный череп, идиот клеил из картона коробочки: мазал клеем, держа кисть за кончик длинной ручки, и резал бумагу, и каждый лязг ножниц отчетливо и громко разносился по пустому дому. Коробочки выходили плохие, кривобокие, грязные, с торчащей и отклеивающейся бумагой, но он не знал этого и продолжал работать. Изредка он поднимал голову и неподвижным взглядом изпод узких звериных век смотрел в освещенное пространство комнаты. Там толклись, метались и кружились звуки. Шуршание, шорох, треск, протяжный вздох. Они вились над ним, паутиной пробегали по лицу и входили в голову — шуршание, шорох и протяжные, длительные вздохи. А человек против него был неподвижен и молчал.

— Бах!— стреляло высыхающее дерево, и, вздрогнув, о. Василий отрывал глаза от белых страниц. И тогда видел он и голые стены, и запушённые окна, и серый глаз ночи, и идиота, застывшего с ножницами в руках. Мелькало все, как видение — и снова перед опущенными глазами развертывался непостижимый мир чудесного, мир любви, мир кроткой жалости и прекрасной жертвы.

— Па-па,— бормотал идиот недавно узнанное слово и исподлобья сердито и тревожно смотрел на отца.

Но человек не слышал и молчал, и вдохновенным было светлое лицо его. Он грезил дивными грезами светлого, как солнце, безумия; он верил — верою тех мучеников, что всходили на костер, как на радостное ложе, и умирали, славословя. И любил он — могучей, несдержанной любовью властелина, того, кто повелевает над жизнью и смертью и не знает мук трагического бессилия человеческой любви. Радость, радость, радость!

— Па-па! Па-па!— еще раз пробормотал идиот, но не получил ответа и снова взялся за ножницы. Но скоро бросил их — и, уставившись неподвижными глазами, оттопырив большие уши, терпеливо ловил бегающие звуки. Шипение и шорох, визг и свист. И хохот. Она играла. Она садилась на бревна покинутого сруба, качалась и бахалась в снег, и тихо кралась в угол и рыла там могилу — для чужих, для чужих. И пела: для чужих, для чужих. И с радостью взметывала вверх и раскидывала широкие серые крылья, высматривая; камнем падала вниз и, кружась, проносилась в темные окна заиндевевшего сруба, с визгом и свистом. За снежинками гонялась она,— и, бледные от страха, вытянувшись вперед, они молчаливо бежали.

— Па-па!— громко кричал идиот.— Па-па!

Человек слышит и поднимает голову — с длинными исседа-черными волосами, как метель и ночь обволакивающими лицо. На минуту перед ним встают голые стены, и злобно-испуганное лицо идиота, и визг разыгравшейся вьюги — и наполняют душу его мучительным восторгом. Свершается — свершилось!

— Ну, что, Василий? Чего не клеишь — клей!

— Па-па!

— Что волнуешься? Метель? Да, да. Метель.

О. Василий прильнул к стеклу — глаз в глаз с серою ночью — и смотрит. И шепчет с ужасом:

— Отчего он не звонит? Что, если кто-нибудь блуждает в поле?

Она плачет: в поле, в поле, в поле!..

— Погоди, Василий. Я схожу к Никону. Я сейчас вернусь.

— Па-па!

Дверь хлопает, впуская звуки. Они жмутся у дверей,— но там нет никого. Светло и пусто. Один за другим они крадутся к идиоту — по полу, по потолку, по стенам,— заглядывают в его звериные глаза, шепчутся, смеются и начинают играть. Все веселее, все резвее. Они гоняются, прыгают и падают; что-то делают в соседней темной комнате, дерутся и плачут. Нет никого. Светло и пусто. Нет никого.

— Бо-о-м!— откуда-то сверху падает первый тяжелый удар колокола и разгоняет маленькие испуганные звуки.— Бо-о-м!— падает второй, глухой, вязкий и разорванный, точно захватило ветром широкую пасть колокола, он задохнулся и стонет.

Убежали маленькие звуки.

— Вот и я!— говорит о. Василий. Он весь белый и дрожит. Тугие красные пальцы никак не могут перевернуть белой страницы. Он дует на них, трет одну о другую, и снова шуршат тихо страницы, и все исчезает: голые стены, отвратительная маска идиота и равномерные, глухие звуки колокола. Снова безумным восторгом горит его лицо. Радость, радость!

— Бо-о-ом!

Она играет с колоколом. Она ловит его гулкие, толстые звуки, обвивает их шипением и свистом, рвет, разбрасывает — тяжело катит их в поле, зарывает в снег и прислушивается, склонив голову набок. И снова бежит навстречу новым звукам, неутомимая, злая и такая хитрая, как бес.

— Па-па!— кричит идиот и бросает на пол звякнувшие ножницы.

— Ну, что?.. Ну, успокойся.

— Па-па!

Молчание в комнате, свист и злое шипение метели и вязкие, глухие удары. Идиот туго ворочает головой, и тоненькие, безжизненные ноги его с согнутыми пальцами и нежной, не знающей земли подошвой слабо шевелятся, бессильно порываясь к бегу. И зовет:

— Па-па!

— Ну хорошо. Перестань. Слушай, что я прочту тебе.

О. Василий перевернул назад страницу и начал строгим и важным голосом, как в церкви:

— «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения...»

Он поднял руку и, бледнея, взглянул на Васю.

— Понимаешь! Слепого от рождения. Никогда не видел солнца, ни лиц друзей и близких. Явился в жизнь — и тьма объяла его. Бедный человек! Слепой человек!

Голос попа звучит крепкою верою и восторгом насытившейся жалости. Он молчит и смотрит тихо улыбающимся взглядом, точно не хочет он расстаться с этим бедным человеком, который был слеп от рождения, не видел лица друга и не думал, как близка к нему божественная милость. Милость — и жалость и жалость!..

— Бо-о-м!

— Ну, слушай же, сын. «Ученики Его спросили у Него: «Равви, кто согрешил: он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешили ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилось дело Божие».

Крепчает голос попа и наполняет всю обнаженную комнату своими раскатами. И его широкие звуки пронизывают тихое шипение, и шорох, и свист, и растянутый, разорванный, блуждающий гул задохнувшегося колокола. Идиоту весело от огненного голоса, от блестящих глаз, от шума, свиста и гула. Он хлопает себя по оттопыренным ушам, мычит, и густая слюна двумя грязными рукавами ползет по низкому подбородку.

— Па-па! Па-па!

— Слушай, слушай. «Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать».—«Доколе Я в мире — Я свет миру». Во веки веков, во веки веков!— посылает он в ночь и метель страстные торжествующие крики.— Во веки веков!

Зовет блуждающих колокол, и в бессилии плачет его старый, надорванный голос. И она качается на его черных

слепых звуках и поет: их двое, двое, двое! И к дому мчится, колотится в его двери и окна и воет: их двое, их двое!

И о. Василий смутно слышит ее и сурово спрашивает идиота:

— Ты что бурчишь там?

Но идиот молчит, и, еще раз с недоверием взглянув на него, о. Василий продолжает:

— «Я свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому — и сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силоам (что значит посланный). Он пошел и умылся и вернулся зрячим».

— Зрячим, Вася, зрячим!— грозно крикнул поп и, сорвавшись с места, быстро заходил по комнате. Потом остановился посреди ее и возопил:

— Верую, господи! Верую!

И тихо стало. И громкий скачущий хохот прорвал тишину, ударил в спину попа — и со страхом он обернулся.

— Ты что?— испуганно спросил он, отступая.

Идиот смеялся. Бессмысленный зловещий смех разодрал до ушей неподвижную огромную маску, и в широкое отверстие рта неудержимо рвался странно-пустой, прыгающий хохот: «Гу-гу-гу! Гу-гу-гу!»

XI

Под Троицу, под светлый и веселый праздник весны, брали красный песок, чтобы посыпать дорожки. Глубокие ямы, где знаменские крестьяне уже несколько лет добывали для себя песок, находились верстах в двух от села, среди невысоких и густых вырубок березы, осины и дубка. Еще было только начало июня месяца, а трава поднималась уже до пояса и до половины закрывала пышную и могучую зелень разметавшихся кустов с крупными влажно-зелеными листьями. И цветов много было в тот год, и пчела отовсюду налетела на цветы, и на дно глубокой выемки с осыпающимися и сползающими стенами вливалось ровное и жаркое жужжание и нежный простой аромат. И уже несколько дней все ждало грозы и чувствовало ее. Она была в раскаленном безветренном воздухе, в безросных душных ночах; ее звала измученная скотина и просительно мычала, задирая головы. И людям было и душно и хорошо. Неподвижный воздух давил и угнетал, а что-то беспокойное звало

к движению, к громким отрывочным разговорам и беспричинному смеху.

Работали двое: псаломщик Никон, бравший песок для церкви, и работник старосты, Семен Мосягин. Иван Порфирыч любил, чтобы песку у него было много и на улице перед домом, и на мощеном дворе, и Семен уже успел с утра отвезти одну телегу, а теперь накладывал другую, бойко швыряя полные лопаты золотистого, красивого песку. Ему было весело от жаркого жужжанья, от запаха и приятной работы; он задорно поглядывал на мрачного псаломщика, лениво ковырявшего песок щербатым скребком, и дразнил его:

— Эх, брат, Никон Иваныч, даром наша с тобой красота пропадает!

— Скажи другой раз,— отвечал псаломщик с ленивой и неопределенной угрозой, и, пока он говорил, курившаяся трубка свешивалась изо рта на седую щетину подбородка и постукивала.

— Гляди, соску уронишь!— предостерег Семен.

Никон ничего не ответил, и Семен, не обижаясь, весело продолжал копать. За полгода жизни у Ивана Порфирыча он стал гладкий и круглый, как свежий огурец, и легкая работа не могла взять всех его сил и внимания; он быстро долбил, подкапывал и бросал, и с ловкостью и быстротой подбирающей зерна курицы собирал рассеянные крупинки золотистого песку, шевеля лопатой, как широким и ловким языком. Но яма, из которой еще накануне брали песок, истощилась, и Семен решительно плюнул в нее.

— Ну, тут немного накопаешь. Разве там поковырять?— посмотрел он на низенькую полупещерку, подкопанную в непрочной стене и пестревшую красными и зеленовато-серыми пластами, и решительно направился к ней.

Псаломщик посмотрел на пещерку, подумал: «А ведь завалится»,— но ничего не сказал. Но Семен почувствовал эту мысль в виде смутной тревоги, похожей на внезапную и легкую тошноту, и остановился.

— Как думаешь, не завалится?— спросил он, обертываясь.

— А я почем знаю!— ответил сторож.

В темноте овального отверстия, напоминавшего открытый рот, было что-то предательское, выжидающее, и Семен колебался. Но сверху, где повис над ямою дубовый куст и резко вычерчивал на голубом небе свой резной трепещущий лист, пахнуло возбуждающим запахом листвы и цветов, и хотелось от этого запаха делать что-нибудь смелое

и веселое. Послюнявив ладони, Семен взял лопату, и когда только второй раз ткнул ею,— что-то слабо хрустнуло, вся стена беззвучно сползла вниз и накрыла его. И только удержавшийся на корнях дубовый куст слабо закачал листьями да ссохшийся круглый комочек песку подкатился к самым ногам побледневшего сторожа и остановился, такой простой и невинный. Через два часа Семена откопали мертвым. Широко открытый рот с чистыми и ровными, точно по нитке обрезанными зубами был туго набит золотистым песком; и по всему лицу — во впадинах глаз, среди белых ресниц, в русых волосах и огненно-рыжей бороде желтел тот же красивый, золотистый песок. И все так же завивались и плясали рыжие волосики, и диким глумлением отзывалась эта нелепо веселая, залихватская пляска вокруг бледного помертвелого лица.

С собравшимся народом прибежал сын погибшего Мосягина, Сенька. Его не взяли на лошадь, и во всю дорогу он бежал сзади едущих, так что слышно было его тяжелое дыхание; и, пока откапывали отца, стоял неподвижно в стороне, на куче глины, и так же неподвижны были его глаза, которыми впивался он в тающую песчаную гору.

Мертвеца положили на телегу, поверх накопанного им золотистого песку, прикрыли рогожей и тихим шагом повезли в Знаменское по корчеватой лесной дороге; позади враздробь тихо шли мужики, рассыпавшись между деревьями, и рубахи их под солнечными пятнами вспыхивали красным огнем. И когда проезжали мимо двухэтажного дома Ивана Порфирыча, псаломщик предложил поставить покойника к нему:

— Его работник — ему и хоронить.

Ни в окнах, ни около дома никого не было, и лавка была заперта висячим железным замком. Долго стучали в высокие ворота с большими черными шляпками железных гвоздей, потом дергали в большой звонок, и слышно было, как громко и резко звонил он где-то за углом, и заливались на дворе собаки, но никто не показывался. Наконец вышла старуха кухарка и сказала, что Мосягина хозяин велит везти домой и дает на похороны, не в зачет жалованья, десять рублей. А пока она объяснялась с толпою, сам Иван Порфирыч, злой и испуганный, смотрел из-за занавесок на страшную рогожу и шепотом говорил жене:

— Запомни мои слова: ежели поп миллион будет давать мне, руки не протяну, пусть лучше отсохнет. Страшный он человек.

И неизвестно откуда — с загадочных ли слов старосты и его отказа принять покойника, или из другого неведомого источника — по селу быстро заползали и всюду зашипели взъерошенные, жуткие слухи. Говорили о Семене, о его неожиданной и страшной смерти, а думали о попе, и сами не знали, почему о нем думают и чего от него ждут. Когда о. Василий шел на панихиду, бледный, отягощенный какою-то неясной думою, но веселый и улыбающийся, перед ним широко расступались и долго не решались стать на то место, где невидимо горели следы его тяжелых больших ног. Вспомнили пожар и долго говорили о нем; вспомнили сгоревшую попадью и сына ее, безногого дурачка, и за простыми, ясными словами забегали острые колючки страха. Какая-то баба заплакала от большой и смутной жалости и ушла; оставшиеся долго смотрели на ее вздрагивающую спину и молча, не глядя друг на друга, разошлись. Ребята, отражая волнение взрослых, собирались в сумерки на гумне и на задворках и рассказывали страшные сказки о мертвецах, чернея большими расширенными глазами; и уже давно звал их домой знакомый и приятно-сердитый голос, а они не решались высвободить из-под себя босые ноги и промчаться сквозь прозрачную пугающую мглу. И все два дня до похорон непрестанно ходили смотреть покойника, быстро синевшего и пухнувшего от жары.

И в обе ночи, прошедшие до похорон, земля дышала томительным жаром, и безросны оставались сухие луга, уже начавшие выгорать под жарким солнцем. Небо было чисто, но темно, и редкие звезды мерцали тускло; и над всем стоял неумолчный сухой треск кузнечиков. Когда после первой вечерней панихиды о. Василий вышел из хаты, уже темно было и огней не было на заснувшей улице. Томясь от духоты, тот снял широкополую черную шляпу и тихо шел, ступая беззвучно, как по мягкому и пушистому ковру. И скорее по усилившейся тревоге, не оставлявшей его, как и всех, нежели по слуху — догадался он, что сзади, в нескольких шагах, кто-то следует за ним. Он оглянулся — кто-то темный и высокий шел сзади, видимо, соразмеряя свои шаги с медленною поступью попа. Поп остановился — тот, сзади, не догадываясь об этом, сделал несколько шагов и тоже остановился, резко подавшись назад.

— Кто это?— спросил о. Василий.

Человек молчал. Потом внезапно повернулся и быстро, не сдерживая шага, пошел назад; и уже через минуту ночная тьма бесследно поглотила его.

На следующую ночь повторилось то же. Высокий и темный человек шел за попом до самой его калитки, и почему-то в походке и складе коренастой фигуры попу показалось, что это Иван Порфирыч, староста.

— Иван Порфирыч, это вы?— окликнул он.

Но человек не отозвался и отошел назад. А когда о. Василий уже раздевался для сна, кто-то тихо постучал в окно; поп вышел — и возле дома не было ни души. «Что это он мечется, как злой дух?»— с неудовольствием подумал о. Василий, становясь на долгую коленопреклоненную молитву. И в ней он забыл и старосту, и ночь, тревожно лежавшую над землею, и себя самого — об умершем молился он, о его жене и детях, о даровании земле и людям великой милости божией. И в бездонных солнечных глубинах неясно обрисовывался новый мир, и он уже не был землею.

А пока он молился, идиот сполз с постели, шумно ворочая оживающими, но все еще слабыми ногами. Он стал ползать с начала весны, и уже не раз приходилось о. Василию при возвращении находить его у порога, где неподвижно сидел он, как собака у запертых дверей. Теперь он направился к открытому окну и двигался медленно, с усилием, сосредоточенно покачивая головою. Подполз, закинул за окно сильные цепкие руки и, приподнявшись на них, угрюмо и жадно всматривался в темноту ночи. И слушал что-то.

Хоронили Мосягина в понедельник, на духов день, и начался он зловещий и странный, точно смуте среди людей отвечала тяжелая и бесформенная смута в природе. С утра сильно парило, и такая жара стояла, что трава на глазах почти свертывалась и блекла, как от сильного огня. И непрозрачное плотное небо низко и грозно висело над землею, и точно вся замутившаяся синева его пронизана была тонкими, кроваво-красными жилками — такое оно было багровое, звонкое, с металлическими отсветами и переливами. Огромное солнце пылало жаром, и так странно было, что светит оно ярко, а ни на чем нет определенных и спокойных теней солнечного дня, точно между солнцем и землею висела какая-то невидимая, но плотная завеса и перехватывала лучи.

И тишина стояла немая и тяжелая, как будто задумался безысходно кто-то большой, опустил глаза и молчит. Срезанные под корень молодые березки, с свернувшимися листьями, серыми рядами тянулись по деревне; печаль и непонятная тревога была в этом бесцельном шествии мо-

лоденьких серых деревьев, молчаливо погибавших от жажды и огня и не дававших тени, как призраки. Давно превратился в желтую пыль золотистый песок, усыпавший дорожки, и вчерашняя праздничная шелуха подсолнухов удивляла глаз; о чем-то мирном, простом и веселом говорила она, когда так сурово, так больно, так задумчиво и грозно было все в остановившейся природе.

Когда о. Василий облачался, в алтарь вошел Иван Порфирыч. Сквозь пот и красные пятна, которыми жара покрывала его лицо, пугливо смотрела серая землистая бледность; глаза запухли и горели лихорадочным огнем; наскоро причесанные, слипшиеся от квасу волосы местами высохли и торчали растерянными кисточками, как будто несколько ночей не спал этот человек, терзаемый нечеловеческим ужасом. Какой-то взмочаленный и растерянный был он; забыл тонкости обхождения с людьми, не подошел к попу за благословением и даже не поздоровался.

— Что это с вами, Иван Порфирыч? Вы нездоровы? — участливо спросил о. Василий, выправляя волосы из-под тугого ворота ризы, сам бледный, несмотря на жару, и сосредоточенный.

Староста попробовал улыбнуться.

— Так. Собственно, не важно. Поговорить с вами хотел, батюшка.

— Это вы вчера?..

— Я-с. И третьего дня — тоже я. Извините. Я без всякого намерения...

Он тяжело передохнул и, снова забыв все тонкости обхождения, ужасаясь, открыто, громко сказал:

— Боюсь. Отроду ничего не боялся. А теперь боюсь. Боюсь.

— Чего ж боитесь? — удивленно спросил поп.

Иван Порфирыч заглянул за плечо попа, как будто там прятался кто-то молчаливый и страшный, и выдохнул:

— Смерти.

Молча смотрели они друг на друга.

— Смерти. Пришла она во двор. Шальная, без рассудку, всех переберет. Всех! У меня, извините, курица и та без причины подохнуть не смеет: прикажу в щи зарезать, тогда и околеет. А это что же такое? Разве так можно? Извините. А я сразу и не догадался. Извините.

— Ты про Семена?

— А про кого же? Про Сидора и Евстигнея? Ты вот что, — грубо заговорил староста, шалея от страха

и злости,— ты эти дела оставь. Тут дураков нету. Уходи подобру-поздорову. Уходи!

Он энергично мотнул головой по направлению к двери и добавил:

— Живо!

— Да что ты? С ума спятил?

— Это еще неизвестно, кто спятил: ты или я. Ты зачем каждое утро тут выкидываешь? «Молюсь, молюсь»,— прогундосил он по-церковному.— Так не молятся. Ты жди, ты терпи, а то: «Я молюсь». Поганец ты, своеволец, по-своему гнуть хочешь. Ан вот тебя и загнуло: где Семен? Говори, где Семен? За что погубил мужика? Где Семен, говори!

Он резко дернулся к попу — и услышал короткий и строгий приказ:

— Пойди вон из алтаря, нечестивец!

Пунцовый от гнева, Иван Порфирыч сверху взглянул на попа — и застыл с раскрытым ртом. На него смотрели бездонно-глубокие глаза, черные и страшные, как вода болота, и чья-то могучая жизнь билась за ними, и чья-то грозная воля выходила оттуда, как заостренный меч. Одни глаза. Ни лица, ни тела не видал Иван Порфирыч. Одни глаза — огромные, как стена, как алтарь, зияющие, таинственные, повелительные — глядели на него,— и, точно обожженный, он бессознательно отмахнулся рукою и вышел, толкнувшись о притолоку толстым плечом. И в похолодевшую спину его, как сквозь каменную стену, все еще впивались черные и страшные глаза.

XII

Входили молча, опасливо ступая ногами, и становились, где пришлось — не на своем обычном месте, где хотелось и где привычно стоять, как будто нехорошо и неуместно было в этот жуткий, тревожный день придерживаться каких-то привычек, заботиться о каких-то удобствах. Становились и долго не решались повернуть голову, чтобы осмотреться. Уже трудно было дышать от тесноты, а сзади напирали все новые молчаливые ряды; и все молчали, и все сумрачно и тревожно ждали, и тесная близость не давала успокоения: локоть прикасался к локтю, а казалось, что человек стоит один в безграничной пустоте. Привлеченные странными слухами, приехали люди из дальних сел, из чужих приходов; они были смелее и говорили громко, но скоро умолкали и они, сердясь, удивляясь, но бессильные, как

и все, разорвать невидимые узы свинцового молчания. Все высокие стрельчатые окна были открыты для воздуха, и в них смотрело медно-красное, угрожающее небо; оно точно переглядывалось угрюмо из окна в окно и на все бросало металлические сухие отсветы. И в этом рассеянном, тяжелом, но ярком свете старая позолота иконостаса блистала тускло и нерешительно, раздражая глаз хаосом и неопределенностью бликов. За одним окном неподвижно и сухо зеленел молодой клен, и много глаз неотступно глядело на его широкие, слегка обвиснувшие листья: друзьями казались они, старыми спокойными друзьями среди этого молчания, среди этой сдерживаемой сумятицы чувств, среди этих желтых дразнящих обликов.

И над всеми обычными, спокойными запахами церкви, над благоуханием ладана и воска царил определенный, отвратительный и страшный запах тления. Труп быстро разлагался, и к черному гробу, обнимавшему эту расползающуюся массу гниющего и воняющего тела, больно и страшно было подойти. Только подойти, а там неподвижно, как самый гроб, стояли четверо: вдова покойного и трое детей. Быть может, они слышали запах, но не верили ему; быть может, они его не слыхали и думали и верили, что хоронят живого — как думают все люди, когда одного из них, такого близкого, такого родного, такого неотделимого берет неожиданная и быстрая смерть. Но они молчали — и молчало все, и медно-красное, угрожающее небо переглядывалось из окна в окно над головами толпы и сеяло сухие, растерянные блики.

Когда началась обедня, торжественно и просто, как всегда, и махнул на толпу кадилом толстый и благодушный дьякон, вздохнулось свободнее, стало веселее и легче. Кое-кто перешепнулся; кое-кто решительно и грузно переступнул затекшими ногами; некоторые, кто ближе к дверям, вышли на паперть отдохнуть и покурить. Но, куря и спокойно разговаривая о посевах, о грозящей засухе, о деньгах, они внезапно спохватывались и пугались, что без них произойдет в церкви что-то важное и неожиданное, бросали недокуренные цигарки и ломились в церковь, раздирая толпу плечами, как клиньями. И останавливались: торжественно и просто шло служение, мирно покряхтывал и откашливался перед началом слов старый дьякон, отыскивал в толпе разговаривающих и грозил им толстым, коротким пальцем. Те, кто вышли наружу перед концом обедни, заметили, что над лесом, со стороны солнца, поднималась дымная синеватая туча, слабо темневшая под солнечными лучами,— и радостно

перекрестились. Был среди них и Иван Порфирыч, бледный и как бы больной; он тоже перекрестился, увидев тучу, и тотчас же угрюмо опустил глаза вниз.

В короткий перерыв между обедней и отпеванием, когда о. Василий переоблачался в черную бархатную ризу, дьякон причмокнул губами и сказал:

— Эх! Хорошо бы ледку, а то очень уж смердит. Да где его возьмешь, льду-то. По-моему, на этот случай хорошо бы при церкви иметь запасец — скажите-ка старосте.

— Смердит?— глухо спросил поп, не оборачиваясь.

— А вы не слышите? Ну и нос же у вас. А я так просто изнемог. Теперь, по летнему времени, этого запаху за неделю не выкуришь. Вы послушайте: даже борода пахнет. Ей-Богу!

Он поднес к носу кончик седой бороды, понюхал и с неодобрением заключил:

— Экий народ, право!

Началось отпевание. И снова свинцовое молчание придавило толпу и каждого приковало к его месту, отделило от людей и отдало в добычу мучительному ожиданию. Читал старый псаломщик. Он видел смерть того, кто теперь пугал всех из черного гроба; ясно помнил он и невинный кусочек ссохшейся земли, и дубовый куст, качнувший резными листьями,— и старые, знакомые, омертвевшие слова оживали в его шамкающем рту, били метко и больно. И о попе он думал с тревогою и печалью, ибо в эти наступающие часы ужаса один он из всех бывших людей любил о. Василия стыдливою и нежною любовью и близок был его великой, мятежной душе.

— «...Воистину суета всяческая, житие же сень и соние: ибо всуе мятется всяк земнородный, яко же рече писание, егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, идеже вкупе царие и нищие. Тем же Христе Боже преставльшегося раба твоего упокой, яко человеколюбец...»

В церкви темнело — буро-синей беспокойной темнотою затмившегося дня, и все почувствовали ее, но долго не замечали глазом. И только те, кто неотступно смотрел на дружеские листья клена, видели, как позади их выползло что-то чугунно-серое, лохматое, взглянуло в церковь мертвыми очами и поползло выше, к кресту.

— «Где есть мирское пристрастие; где есть привременных мечтание; где есть злато и сребро; где есть рабов множество и молва — вся персть, вся пепел, вся сень...»— дрожали горькие слова в старческих дрожащих устах.

Теперь все заметили растущую темноту и обернулись к окнам. Позади клена небо было черно, и широкие листья перестали зеленеть: бледными сделались они, и уже не было в них, испуганных и оцепеневших, ничего дружеского и спокойного. На лица взглянули люди, ища успокоения, и все лица были серо-пепельные, все лица были бледные и чужие. И всю, казалось, темноту, молчаливым и широким потоком вливавшуюся в окна, впитали в себя черный гроб и черный священник: так черен был этот немой гроб, так черен был этот высокий, холодный и строгий человек. Уверенно и спокойно двигался он, и чернота одежд его казалась светом среди ослепленной позолоты, пепельно-серых лиц и высоких окон, сеявших тьму. Но минутами непонятное колебание и нерешительность овладевали им; он замедлял шаги и, вытянув шею, удивленно смотрел на толпу, точно неожиданным чем-то была эта онемевшая толпа в церкви, где привык молиться он один; потом забывал толпу, забывал, что он служит, и рассеянно шел в алтарь. Точно двоилось в нем что-то; точно ждал он слова, приказа или могучего, разрешающего чувства,— а оно не приходило.

— «...Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную, нашу красоту безобразну, бесславну, не имущу вида. О чудесе! Что сие, еже о нас бысть таинство; како предахомся тлению; како сопрягохомся смерти; воистину Бога повелением...»

Среди сгустившейся тьмы свечи горели ярко, как в сумерках, и уже бросали на лица красноватые отсветы, и многие заметили этот быстрый и необыкновенный переход от дня к ночи — когда все еще был полдень. Почувствовал тьму и о. Василий, но не понял ее: ему странно почудилось, что это — раннее зимнее утро, когда один он оставался с Богом, и одно великое и мощное чувство окрыляло его, как птицу, как стрелу, безошибочно летящую к цели. И дрогнул он, не видя, как слепой, но прозревая. Замедлили свой бешеный бег тысячи разрозненных, сцепившихся мыслей, тысячи незавершенных чувств: замедлили, остановились, замерли — мгновение страшной пустоты, стремительного падения, смерти,— и всколыхнулось в груди что-то огромное, неожиданно радостное, неожиданно прелестное. Еще строго и веско отбивало первые удары на миг остановившееся сердце, а он уже знал. Это оно! Оно — могучее, все разрешающее чувство, повелевающее над жизнью и смертью, приказывающее горам: сойдите с места! И сходят с места старые сердитые горы. Радость, радость! Он

смотрит на гроб, на церковь, на людей и понимает все, понимает тем чудным проникновением в глубину вещей, какая бывает только во сне и бесследно исчезает с первыми лучами света. Так вот оно что! Вот великая разгадка! О радость, радость, радость!

Закинув голову, подняв руки горе, как Моисей, узревший Бога, он хохочет беззвучно и грозно, короткими спадающими вздохами — видит внизу испуганное лицо дьякона, предостерегающе приподнявшего палец, видит съежившиеся спины людей, которые заметили его хохот и поспешно точат ходы в толпе, как черви,— и стискивает рот с неожиданной и трогательной пугливостью ребенка.

— Не буду!— шепчет он дьякону, а грозный восторг брызжет огнем изо всех пор его лица. И плачет он, закрывая лицо руками.

— Капелек бы! Капелек бы каких-нибудь, отец Василий!— растерянно шепчет на ухо дьякон и с отчаянием восклицает:— Ах, господи, вот не вовремя-то! Послушайте, отец Василий!..

Поп отымает слегка от лица сложенные руки и искоса, за их прикрытием, смотрит на дьякона — дьякон вздрагивает, на цыпочках, большими шагами отходит в сторону, налезает животом на решетку и, ощупью найдя дверцу, выходит.

— «Приидите, последнее целование дадим, братие, умершему, благодаряще Бога, сей бо оскуде от сродства своего, и ко гробу тщится, не к тому пекийся о суетных и о многострастной плоти. Где ныне сроднице же и друзи; се разлучаемся...»

В толпе движение. Некоторые потаенно уходят, не обмениваясь ни словом с остающимися, и уже свободнее становится в потемневшей церкви. Только около черного гроба безмолвно толкутся люди, крестятся, наклоняются к чему-то страшному, отвратительному и с страдальческими лицами отходят в сторону. Прощается с покойником вдова. Она уже верит, что он мертв, и запах слышит,— но замкнуты для слез ее глаза, и нет голоса в ее гортани. И дети смотрят на нее — три пары молчаливых глаз.

И тут заметили, что дьякон растерянно пробирается сквозь толпу, а о. Василий стоит на амвоне и смотрит. И те, кто увидели его в это мгновение, навсегда запечатлели в памяти своей его необыкновенный образ. Руками он с такою силою держался за решетку, что концы пальцев его побелели, как у мертвого; вытянув шею вперед, всем телом перегнувшись за решетку, он весь одним огромным взгля-

дом устремлялся к тому месту, где стояла вдова и дети. И странно: он точно наслаждался ее безмерною мукою — так весел, так ликующ, так дерзко-радостен был его стремительный взор.

— «...Кое разлучение, о братие, кий плач, кое рыдание в настоящем часе; приидите убо, целуйте бывшего вмале с нами, предается бо гробу, каменем покрывается, во тьму вселяется, с мертвыми погребается и всех сродников и другов ныне разлучается. Его же...»

— Да остановись же, безумец!— прозвучал с амвона стонущий голос.— Разве ты не видишь, что здесь нет мертвых!

И тут совершилось то мятежное и великое, чего с таким ужасом, так загадочно ожидали все. О. Василий отбросил звякнувшую дверцу и через толпу, разрезая пестроту ее одежд своим черным торжественным одеянием, направился к черному, молчаливо ждущему гробу. Остановился, поднял повелительно правую руку и торопливо сказал разлагающемуся телу:

— Тебе говорю, встань!

Было смятение, и шум, и вопли, и крики смертельного испуга. В паническом страхе люди бросились к дверям и превратились в стадо: они цеплялись друг за друга, угрожали оскаленными зубами, душили и рычали. И выливались в дверь так медленно, как вода из опрокинутой бутылки. Остались только псаломщик, уронивший книгу, вдова с детьми и Иван Порфирыч. Последний минуту смотрел на попа — и сорвался с места, и врезался в хвост толпы, исторгнув новые крики ужаса и гнева.

Со светлой и благостной улыбкой сожаления к их неверию и страху, весь блистая мощью безграничной веры, о. Василий возгласил вторично, с торжественной и царственной простотою:

— Тебе говорю, встань!

Но неподвижен был мертвец, и вечную тайну бесстрастно хранили его сомкнутые уста. И тишина. Ни звука в опустевшей церкви. Но вот звонко стучат по камню разбросанные, испуганные шаги: то уходит вдова и ее дети. За ними рысцой бежит старый псаломщик, на миг оборачивается у дверей, всплескивает руками — и снова тишина.

«Так лучше будет: нехорошо ему, такому, вставать при жене и детях»,— быстро, вскользь думает о. Василий и говорит в третий раз, тихо и строго:

— Семен! Тебе говорю, встань!

Он медленно опускает руку и ждет. За окном хрустнул кто-то песком, и звук был так близок, точно в гробу раздался он. Он ждет. Шаги прозвучали ближе, миновали окно и смолкли. И тишина, и долгий, мучительный вздох. Кто вздохнул? Он наклоняется к гробу, в опухшем лице он ищет движения жизни; приказывает глазам: «Да откройтесь же!»— наклоняется ближе, ближе, хватается руками за острые края гроба, почти прикасается к посинелым устам и дышит в них дыханием жизни — и смрадным, холодно-свирепым дыханием смерти отвечает ему потревоженный труп.

Он молча отшатывается — и на мгновение видит и понимает все. Слышит трупный запах; понимает, что народ бежал в страхе, и в церкви только он да мертвец; видит, что за окнами темно, но не догадывается — почему, и отворачивается. Мелькает воспоминание о чем-то ужасно далеком, о каком-то весеннем смехе, прозвучавшем когда-то и смолкшем. Вспоминается вьюга. Колокол и вьюга. И неподвижная маска идиота. Их двое, их двое, их двое...

И снова исчезает все. Потухшие глаза разгораются холодным, прыгающим огнем, жилистое тело наполняется ощущением силы и железной крепости. И, спрятав глаза под каменною аркой бровей, он говорит спокойно-спокойно, тихо-тихо, как будто разбудить кого-то боится:

— Ты обмануть меня хочешь?

И молчит, потупив глаза, точно ответа ждет. И снова говорит тихо-тихо, с той зловещей выразительностью бури, когда уже вся природа в ее власти, а она медлит и царственно нежно покачивает в воздухе пушинку:

— Так зачем же я верил? Так зачем же Ты дал мне любовь к людям и жалость — чтобы посмеяться надо мною? Так зачем же всю жизнь мою Ты держал меня в плену, в рабстве, в оковах? Ни мысли свободной! Ни чувства! Ни вздоха! Все одним Тобою, все для Тебя. Один Ты! Ну, явись же — я жду!

И в позе гордого смирения он ждет ответа — один перед черным, свирепо торжествующим гробом, один перед грозным лицом необъятной и величавой тишины. Один. Неподвижными остриями вонзаются в мглу огни свечей, и где-то далеко напевает, удаляясь, вьюга: их двое, их двое... Тишина.

— Не хочешь?— спрашивает он все так же тихо и смиренно и внезапно кричит бешеным криком, выкатывая гла-

за, давая лицу ту страшную откровенность выражения, какая свойственна умирающим и глубоко спящим. Кричит, заглушая криком грозную тишину и последний ужас умирающей человеческой души:

— Ты должен! Отдай ему жизнь! Бери у других, а ему отдай! Я прошу.

Обращается к молчаливо разлагающемуся телу и приказывает с гневом, с презрением:

— Ты! Проси Его! Проси!

И кричит святотатственно, грозно:

— Ему не нужно рая. Тут его дети. Они будут звать: отец. И он скажет: сними с головы моей венец небесный, ибо там — там сором и грязью покрывают головы моих детей. Он скажет! Он скажет!

Со злобою трясет черный тяжелый гроб и кричит:

— Да говори же ты, проклятое мясо!

Смотрит изумленно, остро — и в немом ужасе откидывается назад, выкинув для защиты напряженные руки. В гробу нет Семена. В гробу нет трупа. Там лежит идиот. Схватившись хищными пальцами за края гроба, слегка приподняв уродливую голову, он искоса смотрит на попа прищуренными глазами — и вокруг вывернутых ноздрей, вокруг огромного сомкнутого рта вьется молчаливый, зарождающийся смех. Молчит и смотрит и медленно высовывается из гроба — несказанно ужасный в непостижимом слиянии вечной жизни и вечной смерти.

— Назад!— кричит о. Василий, и голова его становится огромной от вздыбившихся волос.— Назад!

И снова неподвижный труп. И снова идиот. И так в чудовищной игре безумно двоится гниющая масса и дышит ужасом. И в диком гневе он хрипит:

— Напугать! Так вот же...

Но слов его не слышно. Внезапно, загораясь ослепительным светом, раздирается до самых ушей неподвижная маска, и хохот, подобный грому, наполняет тихую церковь. Грохочет, разрывает каменные своды, бросает камни и страшным гулом своим обнимает одинокого человека.

О. Василий открывает ослепленные глаза, поднимает голову вверх и видит: падает все. Медленно и тяжело клонятся и сближаются стены, сползают своды, бесшумно рушится высокий купол, колышется и гнется пол — в самых основах своих разрушается и падает мир.

И тогда с диким ревом он бежит к дверям. Но не находит их и мечется, и бьется о стены, об острые каменные уг-

лы — и ревет. С внезапно открывшеюся дверью он падает на пол, радостно вскакивает, и — чьи-то дрожащие, цепкие руки обнимают его и держат. Он барахтается и визжит, освободив руку, с железною силою бьет по голове пытавшегося удержать его псаломщика и, отбросив ногою тело, выскакивает наружу.

Небо охвачено огнем. В нем клубятся и дико мечутся разорванные тучи и всею гигантскою массою своею падают на потрясенную землю — в самых основах своих рушится мир. И оттуда, из огненного клубящегося хаоса, несется огромный громоподобный хохот, и треск, и крики дикого веселья. На западе еще светлеет голубая полоска, и, задыхаясь, он бежит к ней. Ноги его путаются в длинной коляной ризе, он падает, крутится по земле, окровавленный, страшный, и снова бежит. Улица безлюдна, как ночью — ни у домов, ни в окнах ни одного человека, ни одного живого существа: ни зверя, ни птицы.

«Все умерли!»— мелькает последняя мысль. Он выбегает за околицу на широкую торную дорогу. Над головой его черная клубящаяся туча бросает вперед три длинные отростка, как три хищно загнутые когтя; сзади что-то глухо и грозно рокочет — в самых основах своих рушится мир.

Далеко впереди на телеге возвращаются из Знаменского мужик и две бабы. Они видят быстро бегущего черного человека, на секунду останавливаются, но, узнав попа, бьют лошадь и скачут. Телега подпрыгивает на колеях, двумя колесами поднимается на воздух, но трое молчаливых, согнувшихся людей, охваченных ужасом, отчаянно настегивают лошадь — и скачут, и скачут.

О. Василий упал в трех верстах от села, посередине широкой и торной дороги. Упал он ничком, костлявым лицом в придорожную серую пыль, измолотую колесами, истолченную ногами людей и животных. И в своей позе сохранил он стремительность бега; бледные мертвые руки тянулись вперед, нога подвернулась под тело, другая, в старом стоптанном сапоге с пробитой подошвой, длинная, прямая, жилистая, откинулась назад напряженно и прямо — как будто и мертвый продолжал он бежать.

19 ноября 1903 г.

БЕН-ТОВИТ

В тот страшный день, когда совершилась мировая несправедливость и на Голгофе среди разбойников был распят Иисус Христос — в тот день с самого раннего утра у иерусалимского торговца Бен-Товита нестерпимо разболелись зубы. Началось это еще накануне, с вечера: слегка стало ломить правую челюсть, а один зуб, крайний перед зубом мудрости, как будто немного приподнялся и, когда к нему прикасался язык, давал легкое ощущение боли. После еды боль, однако, совершенно утихла, и Бен-Товит совсем забыл о ней и успокоился,— он в этот день выгодно выменял своего старого осла на молодого и сильного, был очень весел и не придал значения зловещим признакам.

И спал он очень хорошо и крепко, но перед самым рассветом что-то начало тревожить его, как будто кто-то звал его по какому-то очень важному делу, и, когда Бен-Товит сердито проснулся — у него болели зубы, болели открыто и злобно, всею полнотою острой сверлящей боли. И уже нельзя было понять, болел ли это вчерашний зуб, или к нему присоединились и другие: весь рот и голова полны были ужасным ощущением боли, как будто Бен-Товита заставили жевать тысячу раскаленных докрасна острых гвоздей. Он взял в рот воды из глиняного кувшина,— на минуту ярость боли исчезла, зубы задергались и волнообразно заколыхались, и это ощущение было даже приятно по сравнению с предыдущим. Бен-Товит снова улегся, вспомнил про нового ослика и подумал, как бы был он счастлив, если бы не эти зубы, и хотел уснуть. Но вода была теплая,— и через пять минут боль вернулась еще более свирепая, чем прежде, и Бен-Товит сидел на постели и раскачивался, как маятник. Все лицо его сморщилось и собралось к большому носу, а на носу, побледневшем от страданий, застыла капелька холодного пота. Так, покачиваясь и стеная от боли, он встретил первые лучи того солнца, которому суждено было видеть Голгофу с тремя крестами и померкнуть от ужаса и горя.

Бен-Товит был добрый и хороший человек, не любивший несправедливости, но, когда проснулась его жена, он, еле разжимая рот, наговорил ей много неприятного и жаловался, что его оставили одного, как шакала, выть и корчиться от мучений. Жена терпеливо приняла незаслуженные упреки, так как знала, что не от злого сердца говорятся они, и принесла много хороших лекарств: крысиного очищенного помета, который нужно прикладывать к щеке, острой настойки на скорпионе и подлинный осколок камня от разби-

той Моисеем скрижали Завета. От крысиного помета стало несколько лучше, но ненадолго, так же от настойки и камешка, но всякий раз после кратковременного улучшения боль возвращалась с новой силой. И в краткие минуты отдыха Бен-Товит утешал себя мыслью об ослике и мечтал о нем, а когда становилось хуже — стонал, сердился на жену и грозил, что разобьет себе голову о камень, если не утихнет боль. И все время ходил из угла в угол по плоской крыше своего дома, стыдясь близко подходить к наружному краю, так как вся голова его была обвязана платком, как у женщины. Несколько раз к нему прибегали дети и что-то рассказывали торопливыми голосами о Иисусе Назорее. Бен-Товит останавливался, минуту слушал их, сморщив лицо, но потом сердито топал ногой и прогонял: он был добрый человек и любил детей, но теперь он сердился, что они пристают к нему со всякими пустяками.

Было также неприятно и то, что на улице и на соседних крышах собралось много народу, который ничего не делал и любопытно смотрел на Бен-Товита, обвязанного платком, как женщина. И он уже собирался сойти вниз, когда жена сказала ему:

— Посмотри, вон ведут разбойников. Быть может, это развлечет тебя.

— Оставь меня, пожалуйста. Разве ты не видишь, как я страдаю?— сердито ответил Бен-Товит.

Но в словах жены звучало смутное обещание, что зубы могут пройти, и нехотя он подошел к парапету. Склонив голову набок, закрыв один глаз и подпирая щеку рукою, он сделал брезгливо-плачущее лицо и посмотрел вниз.

По узенькой улице, поднимавшейся в гору, беспорядочно двигалась огромная толпа, окутанная пылью и несмолкающим криком. По середине ее, сгибаясь под тяжестью крестов, двигались преступники, и над ними вились, как черные змеи, бичи римских солдат. Один,— тот, что с длинными светлыми волосами, в разорванном и окровавленном хитоне,— споткнулся на брошенный под ноги камень и упал. Крики сделались громче, и толпа, подобно разноцветной морской воде, сомкнулась над упавшим. Бен-Товит внезапно вздрогнул от боли,— в зуб точно вонзил кто-то раскаленную иглу и повернул ее,— застонал: «У-у-у»,— и отошел от парапета, брезгливо-равнодушный и злой.

— Как они кричат!— завистливо сказал он, представляя широко открытые рты с крепкими неболеющими зубами, и как бы закричал он сам, если бы был здоров.

И от этого представления боль освирепела, и он часто замотал обвязанной головой и замычал: «М-у-у...»

— Рассказывают, что Он исцелял слепых,— сказала жена, не отходившая от парапета, и бросила камешек в то место, где медленно двигался поднятый бичами Иисус.

— Ну конечно! Пусть бы Он исцелил вот мою зубную боль,— иронически ответил Бен-Товит и раздражительно, с горечью добавил:— Как они пылят! Совсем как стадо! Их всех нужно бы разогнать палкой! Отведи меня вниз, Сара!

Жена оказалась права: зрелище несколько развлекло Бен-Товита, а быть может, помог в конце концов крысиный помет, и ему удалось уснуть. А когда он проснулся, боль почти исчезла, и только на правой челюсти вздулся небольшой флюс, настолько небольшой, что его едва можно было заметить. Жена говорила, что совсем незаметно, но Бен-Товит лукаво улыбался: он знал, какая добрая у него жена и как она любит сказать приятное. Пришел сосед кожевник Самуил, и Бен-Товит водил его посмотреть на своего ослика и с гордостью выслушивал горячие похвалы себе и животному.

Потом, по просьбе любопытной Сары, они втроем пошли на Голгофу посмотреть на распятых. Дорогою Бен-Товит рассказывал Самуилу с самого начала, как вчера он почувствовал ломоту в правой челюсти и как потом ночью проснулся от страшной боли. Для наглядности он делал страдальческое лицо, закрывал глаза, мотал головой и стонал, а седобородый Самуил сочувственно качал головою и говорил:

— Ай-ай-ай! Как больно!

Бен-Товиту понравилось одобрение, и он повторил рассказ и потом вернулся к тому отдаленному времени, когда у него испортился еще только первый зуб, внизу с левой стороны. Так в оживленной беседе они пришли на Голгофу. Солнце, осужденное светить миру в этот страшный день, закатилось уже за отдаленные холмы, и на западе горела, как кровавый след, багрово-красная полоса. На фоне ее неразборчиво темнели кресты, и у подножия среднего креста смутно белели какие-то коленопреклоненные фигуры.

Народ давно разошелся; становилось холодно, и, мельком взглянув на распятых, Бен-Товит взял Самуила под руку и осторожно повернул его к дому. Он чувствовал себя особенно красноречивым, и ему хотелось досказать о зубной боли. Так шли они, и Бен-Товит под сочувственные кивки и возгласы Самуила делал страдальческое лицо, мо-

тал головой и искусно стонал,— а из глубоких ущелий, с далеких обожженных равнин поднималась черная ночь. Как будто хотела она сокрыть от взоров неба великое злодеяние земли.

НЕТ ПРОЩЕНИЯ

Курсистка. Молоденькая, такая молоденькая — совсем еще девочка. Нос тонкий, красивый, но по-детски еще незаконченный: не то он прямой, не то с горбинкой, не то просто вздернутый; и такие же незаконченные, пухлые губы, от которых как будто пахнет шоколадными конфетами и красной карамелью. И так щедры, так пышны тонкие волосы, густой и ласковой волной окутавшие голову, что при взгляде на них приходят мысли обо всем самом хорошем и светлом, что есть на земле: о золотом утре на голубом море, о весенних жаворонках, о ландышах и пахучей разросшейся сирени. Безоблачное небо и сирень, огромные, бесконечные кусты сирени и жаворонки над ними. Или вот еще вспоминается что. Когда в майский полдень проходишь под цветущими яблонями, то с них падают бело-розовые лепестки и нежно ложатся на плечо, на шляпу, на черный рукав — бело-розовые, нежные лепестки.

И глаза у нее были молодые, яркие, наивно-бесстрастные,— и, только приглядевшись, можно было заметить на лице легкие тени усталости, недоедания, бессонных поздних вечеров за разговорами в накуренных тесных комнатках, под иссушающим огнем ламп. Быть может, и слезы бывали на этих щеках — какие-то особенные, не детские, ядовитые слезы, и сдержанной тревожностью дышали движения: лицо было весело и чуть-чуть улыбалось, а нога в маленькой, забрызганной грязью калоше нетерпеливо притоптывала — как будто торопила медленную конку и гнала ее вперед, быстрее, быстрее.

Все это успел рассмотреть наблюдательный Митрофан Васильевич Крылов, пока прошла полстанции тягучая конка. Он также стоял на площадке, против девушки, и от нечего делать рассматривал ее, слегка брезгливо и враждебно, как очень простую и знакомую алгебраическую формулу, которая выведена мелом на черной доске и настойчиво лезет в глаза. Вначале ему стало весело, как и всякому, кто взглядывал на девушку, но ненадолго: были причины, убивавшие всякое веселье. Возвращался он из своей гимназии, после пятого урока, был утомлен и очень голоден, а вагон

был набит битком, и негде было присесть и почитать газету. И погода была скверная, ноябрьская, и город был надоевший, скверный, и дешевая жизнь — как коночный билет с надорванным углом. От дома до гимназии и обратно: все дни можно сосчитать по билетам, а сама жизнь похожа на клубок, из которого грязные пальцы вытягивают бумажную ленту и отрывают по билету — по дню. И уже скоро девушка опротивела ему, и он с радостью перестал бы на нее смотреть, но некуда было девать глаза.

«Недавно из провинции,— сурово отмечал он.— И какого они черта лезут сюда, я бы вот с радостью удрал в Чухлому, к дьяволу на рога. И тоже, конечно, всякие разговоры, убеждения, а тесемки на юбке подшить не может. До того ли! Обидно, главное, что такая хорошенькая».

Девушка заметила косой взгляд и смутилась — смутилась больше, чем полагается, из глаз ее исчезла улыбка, на молоденьком лице явилось выражение детского страха и растерянности, и левая рука быстро потянулась к груди и остановилась там, что-то придерживая.

«Ишь ты!— удивился Митрофан Васильевич, отводя глаза и делая равнодушное учительское лицо.— Это она моих синих очков испугалась. Думает, сыщик: под кофточкой-то, должно быть, бумажонки какие-нибудь. Прежде любовные записки на груди носили, а теперь какие-то там бюллетени. И название-то нелепое: бюллетени».

Он снова бросил осторожный взгляд, чтобы проверить впечатление, и отвернулся: курсистка во все глаза, как очарованная, глядела на него и крепко прижимала руку к левому боку. Крылов рассердился:

«Вот дурища! Раз очки синие, так непременно шпион. А что у человека от занятий глаза могут болеть, этого она не понимает. И этакая наивность, вся на виду: пожалуйте. Тоже ведь дело берутся делать, отечество спасают. Соску ей надо, а не отечество. Нет, не дозрели мы. Лассаль, например,— вот это голова! А то тоже: всякая козявка. Уравнения с двумя неизвестными решить не умеет, а туда же: финансы, политика, бумажки. Попугать бы тебя как следует,— тогда узнала бы, как надо!»

И еще не успел он окончить своей мысли, как внезапно вдохновение осенило его. От ноябрьского темного неба, с мокрых и грязных камней мостовой, из пустоты голодного и злого желудка пришло оно — это внезапное повелительное вдохновение. Каким-то чрезвычайно подлым жестом втянув голову в плечи, Митрофан Васильевич придал своей физиономии то особенное, хитро-пакостное выражение,

какое, по его мнению, должно быть у настоящего шпиона, и бросил такой косой взгляд, что чуть не вывернул глаза. И доволен остался: девушка вздрогнула и затрепетала неуловимым трепетом страха, и глаза ее тревожно забегали.

«Да, вот именно: а бежать-то и некуда!— толковал ее движения Митрофан Васильевич.— Попрыгай, попрыгай, голубушка, а мы еще жарку поддадим».

И, вдохновляясь все более и более, забывая о голоде и скверной погоде от творческой горделивой радости, он так искусно начал изображать шпиона, как будто настоящим был актером или действительно служил в сыщиках. Тело неуловимо извивалось скользкими змеиными изгибами, глаза сияли предательством, и правая рука, опущенная в карман, сжимала надорванный билет так энергично и сурово, точно это был не кусок бумаги, а револьвер, заряженный шестью пулями, или агентская книжка. И уже не одна девушка, а и многие другие обратили на него внимание: толстый рыжий купец, один занимавший треть площадки, как-то незаметно сжался, точно сразу похудел, и отвернулся. Высокий малый в фартуке поверх драпового пальто поморгал на Митрофана Васильевича кроличьими глазами и внезапно, толкнув девушку, соскочил и завертелся среди экипажей.

«Отлично!»— похвалил себя Митрофан Васильевич, радуясь глубоко и сосредоточенно, скрытной и злой радостью желчного человека. В отрешении от своей личности, в том, что он притворился именно такой гадостью, как шпион, и люди боялись и ненавидели его, было что-то острое, приятно-тревожное и захватывающее. В серой пелене обыденщины открывались какие-то темные, жуткие провалы, полные намеков и бесшумно реющих теней. Он вспомнил свой класс, опротивевшие физиономии учеников, их синие тетради, закапанные, грязные, исчерканные, полные нелепых, идиотских ошибок, от которых скучно становится жить и перестаешь любить математику,— и подумал:

«А в сущности, очень должно быть интересное это дело — шпионское. Шпион-то ведь тоже рискует, да еще как. Ой-ой как! Одного шпиона даже убили, рассказывал кто-то. Так и зарезали, как свинью».

На минуту ему стало страшно и захотелось перестать быть шпионом, но та учительская шкура, в которую подлежало вернуться, была так голодна, скучна, противна, что он внутренно махнул на нее рукой, даже плюнул, и дал лицу самое пакостное выражение, какое только мог. Курсистка уже не смотрела на него, но вся ее молодая фигурка, кон-

чик красного уха, выглядывавший из-под вьющихся волос, слегка наклонившийся вперед корпус и медленно и глубоко работающая грудь выражали страшное напряжение и одну сверлящую мысль о побеге. О крыльях, вероятно, мечтала она — о крыльях. Раза два она нерешительно переступила ногами, положила руку на столбик и слегка повела рукой к Митрофану Васильевичу,— но сбоку покрасневшей щекою почувствовала его пронизывающий взгляд и замерла. И рука ее так и осталась лежать на перилах, и черная перчатка, прорвавшаяся на среднем пальце, слегка дрожала. И стыдно было, что все видят прорванную перчатку и высунувшийся палец, такой маленький, такой сиротливый и робкий, но снять руку не было силы.

«Ага!— думал Митрофан Васильевич.— То-то вот! Уйти-то некуда. Вперед наука: будешь знать, как дела делать. А то словно на бал собралась; нет, брат, шалишь, не все тебе одни удовольствия. Попрыгай-ка теперь, да!»

Он представил себе жизнь преследуемой девушки — и она была такая же интересная, такая же полная и разнообразная, как и у шпиона. И было в ней что-то, чего не хватало в жизни сыщика, какая-то обидная гордость, какая-то стройная гармония борьбы, тайны, быстрого ужаса и быстрой мужественной радости. За ней гонятся — а разве нет в этом особенной, огневой радости, когда кто-то злой, враждебный и опасный простирает к горлу хищные руки, нить за нитью вьет убийственную веревку? Как бьется сердце, как ярка жизнь, как хочется жить!

Брезгливо, боком, Митрофан Васильевич оглядел свое поношенное, потертое на рукавах пальто, вспомнил пуговицу, внизу вырванную с мясом, представил себе свое желтое, кислое лицо, которое он так не любит, что бреет только раз в месяц, синие очки — и с ядовитой радостью нашел, что он действительно похож на шпиона. Особенно пуговица: у шпионов некому пришивать пуговиц, и у каждого из них обязательно должна быть одна такая надорванная, уныло обвисшая пуговица, на которую нельзя застегивать. И шевельнулось глухое чувство какого-то особенного, жуткого, шпионского одиночества, и грустно стало, и все — и небо, и люди, и жизнь — расцветилось черными, суровыми красками, стало глубоко, загадочно и содержательно.

Теперь он смотрел на все одними глазами с девушкой, и ново было все. Ни разу в жизни он не задумывался над тем, что такое вечер и ночь — эта таинственная ночь, родящая мрак, прячущая людей, безмолвная, неотвратимая,— теперь он видел ее молчаливое шествие, удивлялся загора-

ющимся фонарям, что-то прозревал в этой борьбе света с мраком и поражался спокойствием снующей по тротуарам толпы,— неужели они не видят ночи? Девушка жадно смотрела в пробегающие черные отверстия еще неосвещенных переулков — и он смотрел теми же глазами, и были красноречивы зовущие во тьму коридоры. Она с тоской глядела на высокие дома, камнем отгородившие себя от улицы и бесприютных людей,— и новыми казались эти тесные громады, эти злые крепости.

На остановке, где кончалась станция, Митрофану Васильевичу нужно было сходить, но девушка ехала дальше, и он громко сказал кондуктору:

— Позвольте мне билет и на эту станцию.

И очень был доволен, что удалось найти в кошельке пятачок: почему-то казалось ему, что у шпионов бывает только медь и старые, засаленные и даже склеенные бумажки — хорошими, красивыми деньгами нельзя платить шпионам, иначе они похожи будут на обыкновенных людей. И молчаливый кондуктор тоже понимал это: так гадливо-почтительно взял монету, что к удовольствию у Митрофана Васильевича прибавилось чувство обиды и возмущения.

«Брезгуешь, мерзавец!— подумал он, наводя синие очки, как пушки, на лицо кондуктора и медленно принимая билет.— А сам небось здорово поворовываешь. Знаю я вас! Жалованьишко-то маленькое, ну, а контролер тоже небось не дурак. Рука руку моет, да».

И он замечтался о том, как он выследит кондуктора и контролера, соберет точные данные, и в один прекрасный день — пожалуйте в управление. Вы воровать, а? Вот изумится-то! А он будет продолжать выслеживать других кондукторов, будет искоренять воровство...

«Где же эта, молоденькая? Слава Богу, еще тут... Хорош шпион!— добродушно упрекает себя Митрофан Васильевич.— Немножко бы — и выпустил птичку».

Пользуясь рассеянностью учителя, курсистка сняла с перил руку в разорванной перчатке — это сделало ее смелее,— и на углу большой улицы, где пересекались коночные пути, она соскочила. Тут слезало и садилось много публики, и какая-то худощавая женщина с огромным узлом загородила Митрофану Васильевичу выход. Он говорил: «Позвольте»,— и пробовал пролезать, но застревал и бросался к другой стороне. Но там закрывали дорогу кондуктор и давешний рыжий купец. Последний даже взялся обеими руками за поручни и точно не слыхал, как учитель сперва двумя пальцами, потом всей рукой теребил его за рукав.

— Да пустите же!— крикнул Митрофан Васильевич.— Кондуктор, что за безобразие! Я жаловаться буду!

— Они не слыхали,— кротко заступился кондуктор.— Господин, позвольте им пройти.

Купец, не оглядываясь, нехотя разжал пухлую руку, но не подвинулся, и Митрофану Васильевичу, с трудом пробиравшемуся в узкое отверстие, почувствовалось даже, что купец нарочно стискивает его и душит. Задыхаясь, он высвободился, прыгнул так неловко, что чуть не свалился, и погрозил кулаком вслед удаляющемуся красному огню.

Девушку Митрофан Васильевич настиг в маленьком глухом переулке, куда он завернул по догадке. Она быстро шла и оглядывалась, и, когда увидела преследователя, почти побежала, наивно открывая полную свою беспомощность. Побежал за ней и Митрофан Васильевич, и теперь в темном незнакомом переулке, где были они только двое, бегущие, он почувствовал себя совсем необычно, как-то уже слишком по-шпионски, даже страшно немного стало. «Нужно поскорее кончить»,— подумал он, быстро перебирая ногами и задыхаясь от этой неестественной рыси, но не решаясь почему-то на крупный шаг.

У подъезда многоэтажного дома курсистка остановилась, и пока дергала за ручку тяжелой двери, Митрофан Васильевич нагнал ее и с великодушной улыбкой заглянул в лицо, чтоб показать ей, что шутка кончилась и все благополучно. И, тяжело дыша, еле продираясь в полуотворенную дверь, она бросила в улыбающееся лицо: «Подлец!»— и скрылась. Сквозь стекло на площадке мелькнул еще ее силуэт — и все исчезло.

Все еще великодушно улыбаясь, Митрофан Васильевич с любопытством потрогал холодную ручку, попробовал приотворить, но в глубине подъезда, под лестницей, блеснул галун швейцара, и он медленно отошел. В нескольких шагах остановился и минуты две без мыслей пожимал плечами. С достоинством поправил очки, закинул голову назад и подумал:

«Как это глупо! Не дала слова сказать, и сейчас же ругаться. Девчонка, дрянь. Не могла понять, что это шутка. Для нее стараешься, и... Очень она мне нужна со своими бумажонками. Сделайте милость, ломайте шею сколько хотите. Теперь сидит небось и разным там студентам и лохматым рассказывает, как за ней шпион гнался. А они охают. Идиоты! Я сам университет окончил и тоже не хуже вас. Да. Не хуже».

После быстрой ходьбы ему стало жарко, и он распахнулся. Но вспомнил, что может простудиться, и застегнулся, с ненавистью дернув надорванную пуговицу.

«У, дьявол!.. Да, не хуже-с. А может быть, лучше. Поди-ка повози на шее восемь душ, да еще глухую бабку, черта-кочерыжку. Конечно, так оставить нельзя, нужно объяснить ей, что я окончил университет и тоже — против всего этого. Да где ее взять? Не до свету же тут шататься? Слуга покорный. Я еще не обедал».

Он потоптался на месте, безнадежно окинул глазами ряды освещенных и темных окон и продолжал:

«А лохматые небось и рады и верят. Дурачье. Я ведь тоже студентом лохматым был — вот какие волосища носил. Я и теперь стричься бы не стал, если бы не лезли волосы. Лезут, удивительно лезут, скоро лысый буду. Не могу же я, сами посудите, вытягивать волосы, когда их нет. Ex nihilo nihil fieri potest [1]. Не парик же мне носить, как ... шпиону».

Он закурил папироску и чувствовал, что это уже лишняя папироска: так горек и неприятен был ее дым.

«Войти и сказать: господа, это была шутка, просто шутка. Да нет, не поверят. Господи! Еще побьют».

Митрофан Васильевич быстро отошел шагов на двадцать и остановился. Делалось холодно. Пожимаясь в негреющем пальто, он почувствовал в боковом кармане газету — и стало так горько, так обидно, что захотелось плакать. От чего он отказался? Пришел бы домой, пообедал бы, чайку бы выпил, потом лег бы на диван и почитал газетку — на душе так мирно, безоблачно; тетрадки поправлены, завтра, в субботу, у инспектора винт. А там в своей комнатке сидит глухая бабушка и чулки вяжет — милая старушка, добрая, внимательная, ему две пары носков связала. «И лампадка небось у нее горит — я еще за масло ругался. А тут? Какой-то переулок. Какой-то дом. Какие-то лохматые студенты... Господи, этого еще недоставало!»

Из освещенного подъезда, громко хлопнув дверью, вышли два студента и решительно направились в сторону Митрофана Васильевича. Дальше — туман, обрывки улиц, фонари, какие-то темные фигуры, настойчиво загораживающие путь, длинный обоз, морда лошади над самым ухом и одно повелительное, невыносимое чувство страха. Опамятовался он где-то на бульваре и долго не мог узнать местности. Было пустынно и тихо. Накрапывал дождь. Студентов не было.

---

[1] Из ничего ничего не получится *(лат.)*.

Он выкурил две папиросы, одну за другой, и руки его, когда он зажигал спичку, дрожали.

«До чего добегался? Недостает только воспаление легких схватить, а потом чахотку. Слава Богу, что не догнали. А славно, кажется, гнались. Кто-то все время кричал: «Стой». И как страшно было, господи!»

На бульвар, шлепая калошами, вошли три студента. Митрофан Васильевич выкатил на них помутившиеся от страха глаза и куда-то зашагал. И, только пройдя бульвар и зарывшись в темноту кривого и горбатого переулка, сообразил, что тех студентов было двое, что нельзя бегать от всех студентов, какие встречаются на улице. Покружил по незнакомым переулкам, снова вышел на бульвар и долго разыскивал скамью, на которой сидел. Нужно было почему-то сесть именно на эту скамью. Тут, он думал, что-то очень утешительное.

«Нужно успокоиться и смотреть на дело трезво,— думал он.— Дело вовсе не так плохо. Черт с ней, с девчонкой! Думает, что шпион, ну и пусть думает. Знать-то она меня не знает. Да и те двое меня не видели. Воротник-то я — не дурак — поднял!»

Он было засмеялся от радости и даже рот раскрыл — и замер от ужасной мысли.

«Господи! А она-то видела! Ведь я нарочно целый час свою рожу демонстрировал. Встретит теперь где-нибудь...»

И Митрофану Васильевичу представился целый ряд ужасных возможностей: он человек интеллигентный, любит науки и искусства, бывает в театре, на всяких собраниях и лекциях, три раза был в университете на защите магистерской диссертации,— и везде он может встретиться с девушкой! Она, наверное, никогда не бывает одна, такие девушки никогда не бывают одни, а всегда с целой компанией таких же курсисток и дерзких студентов,— и что может произойти, когда она покажет на него пальцем: вот шпион!— подумать страшно.

«Необходимо снять очки и обриться,— думает Митрофан Васильевич.— Черт с ними, с глазами, да, может быть, доктор еще врет. Но разве что-нибудь изменится, если снять такую бороду? Разве это борода?»

Он почесал пальцем реденькую бородку и везде прощупал тело.

«Даже борода как у людей не растет!— подумал он с отвращением и тоской.— Но все это вздор. И то, что она может узнать, тоже вздор. Нужно доказать. Нужно спокойно и логично доказать, как доказывают теоремы».

Ему представлялось собрание лохматых, и он перед ними твердо и спокойно доказывает. Буквы ясны и круглы, одно выражение идет за другим, везде спокойные, торжествующие знаки равенства. «Таким образом, вы видите... что...»

Митрофан Васильевич с достоинством, строгим жестом поправляет очки и презрительно усмехается. Потом начинает доказывать — и убеждается с холодным ужасом, что все эти буквы, и логика, и равенства — одно, а жизнь его — другое, и в этой жизни нет логики, нет равенства, нет никаких доказательств, что он, Митрофан Васильевич Крылов,— не шпион. Пусть кто-нибудь, та же девушка, обвинит его в шпионстве,— найдется в его жизни что-нибудь определенное, яркое, убедительное, что мог бы он противопоставить этому гнусному обвинению? Вот смотрит она наивно-бесстрашными глазами,— говорит: «Шпион»,— и от этого прямого взгляда, от этого жестокого слова тают, как от огня, лживые призраки убеждений, порядочности. Пустота. Митрофан Васильевич молчит, но душа его полна криком отчаяния и ужаса. Что это значит? Куда ушло все? На что опереться, чтобы не упасть в эту черную и страшную пропасть?

— Мои убеждения,— бормочет он.— Мои убеждения. Все знают. Мои убеждения. Вот, например...

Он ищет. Он ловит в памяти обрывки разговоров, ищет чего-нибудь яркого, сильного, доказательного — и не находит ничего. Попадаются нелепые фразы: «Я убежден, Иванов, что вы списали задачу у Сироткина». Но разве это убеждения? Пробегают отрывки газетных статей, чьи-то речи, как будто и убедительные,— но где то, что́ говорил он сам, что думал он сам? Нету. Говорил, как все, думал, как все: и найти его собственные слова, его собственные мысли так же невозможно, как в куче зерен найти такое же ничем не отмеченное зерно. С другими счастливыми людьми случается, что они или нечаянно, не подумавши, или спьяна скажут что-нибудь такое резкое, что надолго останется в памяти у других; как-то несколько лет тому назад ихний учитель чистописания, скромный старичок, на обеде у директора после акта напился пьян и закричал: «Требую реформы средней школы!» И произвел скандал. И до сих пор все помнят этот случай и при встрече обязательно спрашивают у старичка: «Ну как насчет реформы?»— и искренно считают его скрытым радикалом. А он?— когда выпьет, тотчас же засыпает или плачет и лезет целоваться; раз даже со швейцаром поцеловался; заговариваться не заговарива-

ется и никогда ничего не требует. Другой человек бывает религиозный или не религиозный, а он...

— Постой, а есть Бог или нет? Не знаю, ничего не знаю. А я кто — учитель? Да и существую ли я?

Руки и ноги у Митрофана Васильевича холодеют. И на этот счет, существует он или не существует, у него нет твердых убеждений. Сидит кто-то на бульваре и курит папиросу. Какие-то деревья, мокрые, скользкие. Какой-то дождь. Какой-то фонарь мигает, и по стеклу бегут капли. Пусто, непонятно, страшно.

Митрофан Васильевич вскакивает и идет.

— Вздор, вздор! Нервы просто развинтились. Да и что такое убеждение? Одно слово. Вычитал слово, вот тебе и убеждения. Катет, логарифм! Поступки, вот главное. Хорош шпион, который...

Но и поступков нету. Есть действия — служебные, семейные и безразличные, а поступков нету. Кто-то неутомимо и настойчиво требует: скажите, что вы сделали?.. И он ищет с отчаянием, с тоской. Как по клавишам, пробегает по всем прожитым годам, и каждый год издает один и тот же пустой и деревянный звук — б-я-а... Ни содержания, ни смысла. «Я убежден, Иванов, что вы списали задачу у Сироткина». Не то, не то.

— Послушайте, послушайте же, сударыня...— бормочет Митрофан Васильевич, опустив голову и умеренно и прилично жестикулируя.— Как глупо, извините, думать, что я шпион. Я — шпион! Какой вздор! Позвольте, я докажу. Итак, мы видим...

Пустота. Куда девалось все? Он знает, что он делал что-то,— но что? Все домашние и знакомые считают его умным, добрым и справедливым человеком — ведь есть же у них основания! Ах да, бабушке ситцу на платье купил, и жена еще сказала: «Слишком уж ты добр, Митрофан Васильевич». Но ведь и шпионам свойственна любовь к бабушкам, и они покупают бабушкам ситцу,— наверное, такого же черного с крапинками, дрянного ситцу. А еще что? В баню ходил, мозоли срезывал. Нет, не то. Капову вместо двойки тройку поставил. «Я убежден, Иванов, что вы списали задачу...» Вздор, вздор!

Бессознательно Митрофан Васильевич проделывает обратный путь от бульвара к дому, где скрылась курсистка, но не замечает этого. Чувствует только, что поздно, что он устал и ему хочется плакать, как Иванову, уличенному в списывании.

Митрофан Васильевич останавливается перед многоэтажным домом и с неприятным недоумением смотрит на него.

— Какой неприятный дом! Ах, да. Тот самый.

Он быстро отходит от дома, как от начиненной бомбы, останавливается и что-то соображает.

«Лучше всего написать. Спокойно обдумать и написать. Имени, конечно, называть не буду. Просто: «Некий человек, которого вы, сударыня, приняли за шпиона...» По пунктам. Так и так, так и так. Дура будет, если не поверит, да».

Потоптавшись у подъезда, потрогав несколько раз холодную ручку, Митрофан Васильевич с усилием в два приема открыл тяжелую дверь и с решительным, суровым видом вошел. Под лестницей из дверей каморки показался швейцар, и лицо его выражало услужливость.

— Послушайте, дружище, тут недавно девушка-курсистка... в какой номер она прошла?

— А вам на что?

Митрофан Васильевич стрельнул очками, и швейцар понял: как-то особенно мотнул головою и протянул руку для пожатия.

«Хам!»— с ненавистью подумал Митрофан Васильевич и крепко пожал руку, прямую и твердую, как доска.

— Пойдем ко мне,— позвал швейцар.

— Зачем же?.. Мне только...

Но швейцар уже повернул к своей каморке, и Митрофан Васильевич, поскрипывая зубами, покорно последовал за ним. «Поверил! Сразу поверил! Мерзавец!»

В каморке было тесно, стоял один стул, и швейцар спокойно занял его.

«Хам! хам! Даже сесть не предлагает»,— с тоской думал Митрофан Васильевич, хоть в обычном состоянии сидеть не только в чужой швейцарской, но и в собственной кухне считал ниже своего достоинства.

«Хам!»— повторил он и добродушно спросил:

— Холостой?

Но швейцар не счел нужным ответить. Окинув учителя с ног до головы равнодушно-нахальным взглядом, равнодушно помолчал и спросил:

— Тут тоже третьего дня один из ваших был. Блондинчик с усами. Знаете?

— Как же, знаю. Этакий... блондин.

— А много, должно быть, вашего брата шатается,— равнодушно заметил швейцар.

— Послушайте,— возмутился Митрофан Васильевич.— Я вовсе не желаю. Мне нужно...

Но швейцар не обратил внимания и продолжал:

— А жалованья вам много идет? Блондинчик сказывал, пятьдесят. Маловато.

— Двести,— соврал Митрофан Васильевич и с злорадством увидел на лице швейцара выражение восторга.

«То-то, голубчик»,— подумал он.

— Ну? Двести. Это я понимаю. Папироску не желаете?

Митрофан Васильевич с благодарностью принял из пальцев швейцара папиросу и с тоской вспомнил о своем японском ящичке с папиросами, о кабинете, о синих милых тетрадках. Тошнило. Табак был едкий, вонючий, шпионский. Тошнило.

— А бьют вас часто?

— Послушайте...

— Блондинчик сказывал, что его ни разу не били. Да поди врет. Как можно, чтобы не били. Но ежели редко и с осторожностью, чтобы без членовредительства, так оно ничего. Деньги не малые. Верно, ваше благородие?

Швейцар дружески улыбнулся.

— Мне нужно...

— Способности только надо иметь и чтобы лицо подходящее. Без примет. А то видел я одного, вся рожа на стороне и глаза нету. Разве такой годится, сами посудите! Всю рожу так и свернуло, как от ветру, и глаза нет, одна дырка. Вот у вас...

— Да послушайте!— тихо закричал Митрофан Васильевич.— Мне некогда. Мне еще нужно!

Неохотно оставляя интересную тему, швейцар подробно расспросил, какова на вид девушка, и сказал:

— Знаю. Часто ходит. Номер семь, Иванова. Зачем папиросу на пол бросаешь? Вон печка. Мети тут за вами.

И последнее, что доносилось до слуха учителя, было:

— Шантрапа, понимаешь?

«Хам!»— мысленно ответил Митрофан Васильевич и быстро зашагал по переулку, отыскивая глазами извозчика. Домой, скорее домой! Господи, как он раньше об этом не вспомнил,— что значит растерянность. Ведь у него есть дневник, а в дневнике давно когда-то, еще студентом первого курса, он записал что-то очень либеральное, очень смелое, и свободное, и даже красивое. Он живо помнит и вечер тот, и свою комнатку, и рассыпанный табак на столе, и то чувство гордости, упоения, восторга, с каким набрасывал он энергичные, твердые строки. Вырвать странич-

ки и послать — и все тут. Она увидит, она поймет, она умная и благородная девушка. Как хорошо!.. Как хочется есть!

В передней Митрофана Васильевича встретила обеспокоенная жена:

— Где ты был? Что с тобой? Отчего ты такой?

И, поспешно сбрасывая пальто на ходу, он кричал:

— С вами не такой будешь! Полон дом народу, а пуговицу пришить некому. Черт вас знает, что вы тут делаете! Сто раз говорил: пришить. Безобразие, распущенность!

И зашагал в кабинет.

— А обедать?

— Потом. Не лезь! Не ходи за мной.

Было много книг, много тетрадей, но дневник не попадался. Попалась связка ученических тетрадей за первый год его учительства, сохраненная как воспоминание,— к черту! Сидя на полу, он выкидывал из нижнего отделения шкапа бумаги, книги, тетради, отчаивался и вздыхал, сердился на застывшие тугие пальцы — и наконец! Вот он, голубенький, немного засаленный переплет, еще не установившийся старательный почерк, засохшие цветы, старый кисловатый запах духов — как он был молод!

Митрофан Васильевич сел к столу и долго перелистывал дневник, но желаемое место не находилось. По середине между страницами был перерыв, и торчали коротенькие тщательные обрезки. И он вспомнил: пять лет тому назад, когда у Антона Антоныча был обыск, он очень испугался, вырезал из дневника все компрометирующие его страницы и сжег. Нечего искать, их нет — они сгорели.

Понурив голову, закрыв лицо руками, он долго, без движения, сидел над опустошенным дневником. Горела одна только свеча,— лампы он не успел зажечь,— в комнате было непривычно темно, и от черных бесформенных кресел веяло холодом, заброшенностью, скукой. Далеко, в тех комнатах, играли дети, кричали и смеялись; в столовой звенели чайной посудой, ходили, разговаривали — а тут было безмолвно, как на кладбище. Если бы заглянул сюда художник, почувствовал бы эту холодную, угрюмую темноту, увидел бы на полу груду разбросанных бумаг и книг, темную фигуру человека с закрытым лицом, в безнадежной тоске склонившегося над столом,— он написал бы картину и назвал бы ее «Самоубийца».

«Но ведь можно вспомнить,— с мольбой думает Митрофан Васильевич.— Можно вспомнить. Пусть сгорела бума-

га, но ведь то, что было, оно осталось где-то. Оно есть, оно существует, нужно только вспомнить».

И он вспоминает все ненужное: и формат страницы, и почерк, и даже запятые и точки, но то нужное и дорогое, то любимое, светлое, оправдывающее,— оно погибло навсегда. Оно жило и умерло, как умирают люди, как умирает все. Бесследно исчезло оно в огромной пустоте, и никто не знает о нем, никто о нем не помнит, и ни в чьей душе не осталось от него следа. Если бы он стал на колени, плакал, умолял вернуть его к жизни, грозил, скрежетал зубами,— огромная, безначальная пустота осталась бы безгласной, ибо никогда не отдаст она того, что раз попало в ее руки. Разве когда-нибудь слезы и рыдания могли вернуть к жизни умершего, убитого. Нет прощения, нет пощады, нет возврата — таков закон жестокой смерти.

Оно умерло, оно убито. Подлый убийца! Сам своими руками сжег лучшие цветы, что, быть может, раз в жизни в тихую святую ночь распустились в бесплодной, нищенской душе. К кому пойти, если сам себе не друг? Бедные погибшие цветы! Быть может, не ярки были они, и не было в них силы и красоты творческой мысли, но они были лучшим, что родила душа, и теперь их нет, и никогда не зацветут они снова. Нет прощения, нет пощады, нет возврата — таков закон жестокой смерти.

— Что же это? Позвольте,— шепчет бессмысленно Митрофан Васильевич.— Я убедился, что вы, Иванов, списали... Нет. Вздор. Нужно жену. Маша! Маша!

Пришла Марья Ивановна. Лицо у нее круглое, доброе; не завитые, по-домашнему, волосы кажутся жидкими и бесцветными. В руках у нее работа — детское платьице.

— Что, Митроша, обедать сказать? Перестоялось все.

— Нет, погоди. Мне нужно поговорить.

Марья Ивановна обеспокоенно откладывает работу и заглядывает мужу в лицо. Тот отворачивается и говорит:

— Сядь.

Марья Ивановна села, оправила платье, сложила руки на коленях и приготовилась слушать. И, как всегда бывало в этих случаях еще со школьной скамьи, лицо ее сразу приняло выражение бестолковости и готовности все перепутать.

— Я слушаю,— сказала она и еще раз оправила платье.

Но Митрофан Васильевич молчал и изумленно вглядывался в лицо жены. Чужое оно было и незнакомое, как лицо нового ученика, поступившего в класс; и странно было думать, что эта женщина — его жена, какая-то Марья Ива-

новна, Маша. И новая мысль ворвалась в его взбудораженный мозг, и шепотом, дрогнувшим голосом он сказал:

— Ты знаешь, Маша? Я шпион.

— Что?

— Шпион, понимаешь, да.

Марья Ивановна вся как-то оседает, как проколотое тесто, и, всплеснув тихо руками, произносит:

— Так я и знала, несчастная, господи ты Боже мой!

Подскочив к жене, Митрофан Васильевич машет кулаком у самого ее лица, с трудом удерживается от желания ударить и кричит так громко, что в столовой перестает звенеть посуда и во всем доме становится тихо...

— Дура! Дурища! Так и знала. Господи! Да как же ты могла знать? Двенадцать лет! Двенадцать лет! Господи! Жена — друг, все мысли, деньги, все...

Становится к печке и плачет. Марья Ивановна еще не сообразила, отчего он плачет: оттого ли, что он шпион, или оттого, что не шпион, но ей жалко мужа и обидно за ругань, она плачет сама и говорит:

— Ну вот. Сейчас же и ругаться. Всегда я виновата. Если дура, так зачем женился на дуре, брал бы умную.

Не оборачиваясь, прильнув лбом к холодной кафле, Митрофан Васильевич шепчет, захлебываясь:

— Так и знала! Господи! Двенадцать лет! Уже если и жена и та, так, значит, и вправду шпион. Так и знала! Дура, дурища!

— Да что ты в самом деле, я только и слышу: дура, дура,— рассердилась Марья Ивановна.— Сами выкидывают, а тут за них отвечай.

Митрофан Васильевич яростно обернулся:

— Что выкидывают? Что же, я шпион? Ну! Говори, шпион я или нет?

— А я почем знаю? Может, и шпион.

Горя ненавистью и гневом, оба обиженные, оба несчастные, они долго и бессмысленно бранились, в чем-то друг друга упрекали, плакали, призывали Бога, пока не охватила обоих глухая, тяжелая усталость и равнодушие. И тогда с полным спокойствием, совершенно забыв только что разыгравшуюся ссору, они сели рядом и заговорили, и снова зазвенела в столовой чайная посуда, и снова забегали и зашумели дети. Конфузясь и избегая некоторых подробностей, Митрофан Васильевич передал жене историю с курсисткой и свои опасения насчет случайной встречи.

— Эка!— беззаботно воскликнула Мария Ивановна.— А я думала, что. Стоит беспокоиться. Обрился, снял очки,

вот тебе и все. А в гимназии на уроке можно и очки надевать.

— Ты думаешь? Да разве это борода?

— Ну уж это ты оставь. Говори что хочешь, а бороду оставь. Всегда говорила, что хорошая, и сейчас скажу.

Митрофан Васильевич вспомнил, что гимназисты зовут его «козлом», и совсем развеселился. Если бы не было хорошей бороды, не звали бы «козлом», это верно. И в радости крепко поцеловал жену и даже, шутя, пощекотал за ухом бородой.

Часов в двенадцать, когда весь дом угомонился и жена легла спать, Митрофан Васильевич принес в кабинет зеркало, теплой воды и мыльницу и сел бриться. Пришлось, кроме лампы, зажечь две свечи, и было немного стыдно и от яркого света беспокойно, но он смотрел только на ту часть лица, которой касалась бритва, и полбороды снял благополучно. Но потом нечаянно взглянул себе в глаза и остановился. И прежде было тихо, а теперь наступила такая глухая и мертвая тишина, как будто раньше вся комната полна была крику и разговоров. Когда ночью человек один остается перед зеркалом, ему всегда бывает немножко жутко и странно от мысли, что он видит себя. И Митрофану Васильевичу стало жутко, и с суровым любопытством, как посторонний, он подумал: «Так вот ты какой!»

Дряблое лицо уже пожилого человека с морщинами, следами сошедших угрей и белой сухой кожей. На переносье красная полоска от очков, бесцветные, моргающие глаза; одна щека обрита и блестит лоснящейся кожей, другая покрыта мыльной пеной — так, вероятно, и шпионы совершают свой туалет, когда идут на работу. Что-то безнадежно-плоское, серое, застывшее — не лицо живого человека, а маска, снятая с покойника. Ни шпион, ни тот, кого шпионы преследуют.

— Так вот ты какой!— бормочет Митрофан Васильевич, и то лицо, в зеркале, странно шевелит губами и принимает выражение кислоты, растерянности и трусливой злобы. Кто дал ему это лицо? Кто смел дать такое лицо?

По щеке, бороздя мыльную пену, скатывается слеза. Стиснув зубы, Митрофан Васильевич бреет щеку, потом задумывается, намыливает усы — и снимает их. И снова глядит. Завтра над этим лицом будут смеяться. А когда-то, давно, другим оно было.

Решительно сжав бритву, Митрофан Васильевич запрокидывает голову — и осторожно тупой стороной бритвы два

раза проводит по шее. Хорошо бы убить себя — да разве он может?

— Трус, подлец!— говорит он громко и равнодушно. Но лицо в зеркале шевелит губами и остается плоским и серым. Да, его можно ударить, можно наплевать в него, а оно останется все такое же, и только глаза заморгают чаще. Завтра над ним будут смеяться — товарищи, ученики. И жена — она тоже будет смеяться.

Ему хочется прийти в отчаяние, заплакать, ударить зеркало, что-нибудь сделать,— но на душе пусто и мертво, и хочется спать. «Должно быть, оттого, что долго на воздухе был»,— думает он и зевает. И тот, в зеркале, тоже зевает.

Убирает бритвенный прибор, тушит лампу и свечи и, шаркая туфлями, идет в спальню. И скоро засыпает, уткнувшись в подушку бритым лицом, над которым завтра будут смеяться все: товарищи, жена и он сам.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Я плохо знаю моих восходящих родных: большинство из них умерло, либо безвестно затерялось в жизни, когда я был еще маленьким. Но насколько могу судить по тем немногим данным, которые дало мне наблюдение, мое влечение к художественной деятельности наследственно опирается на линию материнскую. Именно в этой стороне я нахожу наибольшее количество людей одаренных, хотя одаренность их никогда не поднималась значительно выше среднего уровня и часто, под неблагоприятными влияниями жизни, принимала уродливые формы. Бескорыстная любовь к вранью и житейскому вредному сочинительству, которой иногда страдают обитатели наших медвежьих углов, часто бывает неразвивавшимся зародышем того же литературного дарования. И пылкое фантазерство, не находившее себе границ в условиях скудной действительности, составляло характерную черту некоторых моих родственников, повторяю, уже умерших. В смысле обычной талантливости они, оставаясь самоучками, проявляли себя так: одни любили и умели рисовать, но не шли дальше лошадей и турок в фесках; другие имели склонность к музыке, но другого инструмента, кроме трехрядной гармоники, не знали. Покойный отец мой был человеком ясного ума, сильной воли и огромного бесстрашия, но к художественному творчеству в какой бы то ни было форме склонности не имел. Книги, однако, любил и читал много, к природе же относился с глубочайшим пониманием и той проникновенной любовью, источник которой находился в его мужицко-помещичьей крови. Был хорошим садоводом, всю жизнь мечтал о деревне, но умер в городе.

Чтобы покончить с вопросом о наследственности, скажу, что отец и мать поженились очень рано, оба были людьми здоровыми и очень крепкими, а отец, кроме того, отличался огромной физической силой. В городе отец умер рано, всего сорока двух лет, скоропостижно, от кровоизлияния в мозгу; в деревне он мог бы дожить и до ста лет.

Читать я начал шести лет и читал чрезвычайно много,

все, что попадалось под руку; лет с семи уже абонировался в библиотеке. С годами страсть к чтению становилась все сильнее, и уже с десяти—двенадцати лет я начал ощущать то известное провинциальному читателю чувство, которое могу назвать тоскою о книге. Моментом сознательного отношения к книге считаю тот, когда впервые прочел Писарева, а вскоре затем «В чем моя вера?» Толстого. Это было в классе четвертом или пятом гимназии; и тут я сделался одновременно социологом, философом, естественником и всем остальным. Вгрызался в Гартмана и Шопенгауэра и в то же время наизусть (иначе нельзя было) вызубрил полкниги «Учение о пище» Молешотта. К двадцати годам я был хорошо знаком со всею русскою и иностранною (переводною) литературою; были авторы, как, например, Диккенс, которых я перечитывал десятки раз. Вообще же любил и до сих пор люблю только толстые книги; и в библиотеке брал лишь такие, при которых цена была обозначена не меньше рубля.

Но о том, чтобы быть писателем, не думал, ибо чуть ли не с самого младенчества чувствовал страстное влечение к живописи. Рисовал много (первой учительницей была мать, которая держала карандаш в моих руках); но так как в Орле ни школ, ни настоящих учителей не было, то все дело ограничивалось бесплодным дилетантизмом. Бывали удачные рисунки и портреты, за которые меня хвалили, а учителя гимназии советовали немедленно ехать в академию (обычная форма совета была такова: чем сидеть на камчатке и протирать парту, поезжайте-ка... и т. д.), но еще чаще бывали неудачи, и во всем, что я рисовал, чувствовалось отсутствие школы, иногда простая неграмотность. Натуры я не любил и всегда рисовал из головы, впадая временами в комические ошибки: до сих пор вспоминаю лошадь, у которой по какой-то нелепой случайности оказалось всего три ноги. Все уже кончил, «оттушевал» бока, похожие на колбасу, а четвертую ногу позабыл. И только посторонний, критический взгляд открыл мне мою позорную забывчивость. И до чего было обидно, прекрасно оттушеванной колбасы никто не заметил, а над ногою все смеялись. Фантазировал я бесконечно: был у меня огромный альбом «рож», штук триста, и года два или три я провел в мучительных поисках «Демона».

О писательстве задумался впервые лет семнадцати. К этому времени относится очень характерная запись в моем дневнике; в ней с удивительной правильностью, хотя в выражениях и ребяческих, намечен тот литературный путь, которым я шел и иду поныне. Вспомнил о дневнике случайно, когда был уже писателем, с трудом нашел эту страничку —

и был поражен точностью и совсем не мальчишеской серьезностью сбывающегося предсказания.

В гимназии к моим «сочинениям» относился очень благосклонно директор, он же преподаватель русского языка И. А. Белоруссов.

Первый мой, однако, литературный опыт был вызван не столько влечением к литературе, сколько голодом. Я был на первом курсе в петербургском университете, очень серьезно голодал и с отчаянием написал прескверный рассказ «О голодном студенте». Из редакции «Недели», куда я самолично отнес рассказ, мне его вернули с улыбкой. Не помню, куда он девался. Потом были и серьезные попытки проникнуть в литературу: посылал я рассказы и в «Северный вестник», и в «Ниву», и уж не помню куда и отовсюду получал отказ, в общем совершенно справедливый — вещи были плохи. Но меня эти неудачи привели к тому, что к окончанию университета, т. е. к 27-ми годам, я уже совершенно не думал о литературе, серьезно решил стать присяжным поверенным.

Но здесь вмешалась в дело «случайность». Между прочим, сам я «случайности» не признаю и прибегаю к этому выражению только в целях упрощения рассказа. Дело заключалось в том, что один знакомый адвокат, знавший о моих попытках писательствовать и даже непосредственно знакомый с некоторыми из моих неудачных рассказов, предложил мне место судебного репортера в газете «Московский вестник». Как репортер я заслужил одобрение, месяца через два перекочевал в только что возникшую газету «Курьер», а дальше все уже пошло по-писаному: сперва репортаж, потом маленькие фельетоны, потом большие, потом робкая пасхально-праздничная беллетристика и так далее. Здесь мой путь, как мне кажется, ничем не отличается от пути всякого иного беллетриста, начавшего свою литературную деятельность в газете. Работал я очень много, но в деньгах нуждался: половину у меня черкала цензура, а за другую половину оставалось по тогдашней построчной плате не так уж много. Помню, что за рассказ «Большой шлем» я получил 18, не то 19 рублей. В редакции «Курьера» ко мне относились хорошо, чувствовал я там себя превосходно и, подпав под гипноз типографской краски, без всякого дела просиживал ночи в типографии с секретарем И. Д. Новиком. Благодарную память храню я и о редакторе нашей газеты Я. А. Фейгине.

Как первым моментом моего сознательного отношения к книге я считаю чтение Писарева, так пробуждением истинного интереса к литературе, сознанием важности и строгой

ответственности писательского звания я обязан Максиму Горькому. Он первый обратил серьезное внимание на мою беллетристику (именно на первый напечатанный мой рассказ «Баргамот и Гараська»), написал мне и затем в течение многих лет оказывал мне неоценимую поддержку своим всегда искренним, всегда умным и строгим советом. В этом смысле знакомство с Максимом Горьким я считаю для себя, как для писателя, величайшим счастьем, и если говорить о лицах, оказавших действительное влияние на мою писательскую судьбу, то я могу указать только на одного Максима Горького — исключительно верного друга литературы и литератора. Только известная сдержанность по отношению к нему заставляет меня удержаться от более горячего выражения чувства признательности и чувства глубокого, единственного уважения.

Постараюсь коротко ответить на некоторые вопросы второстепенного значения.

Первый мой рассказ «Баргамот и Гараська» написан под исключительным влиянием Диккенса и носит на себе заметные следы подражания.

Серьезных цензурных препятствий в моей беллетрической работе не встречал. Некоторые гонения испытывал уже после того, как вещь была напечатана или поставлена в театре.

Первый критический отзыв, который, я знаю, принадлежит А. А. Измайлову,— он очень доброжелательно отнесся к моему рассказу «Жили-были». Вообще до появления первого моего тома критических статей обо мне не было.

Сейчас я материально обеспечен.

Январь 1910 г.

КОММЕНТАРИИ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Архив А. М. Горького — Архив А. М. Горького. М., Гослитиздат, т. IV, 1954. Т. VI, 1957.

Библиотека Л. Н. Толстого — Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Т. 1, ч. 1. М., Книга, 1972.

Блок — Блок Александр. Собр. соч. в 8-ми томах. М., Гослитиздат, 1962, т. 5.

Брусянин — Брусянин В. В. Леонид Андреев. Жизнь и творчество. М., 1912.

Горький М. Полн. собр. соч. — Горький М. Полное собрание сочинений. Художественные произведения в 25-ти томах. Т. 16. М., Наука, 1973. Т. 24. М., Наука, 1975.

Дневник — неопубликованный дневник Л. Н. Андреева (1897—1900 гг.). Хранится в собрании И. С. Зильберштейна.

ЛА — Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. Институт русской литературы (Пушкинский Дом). М.— Л., Изд-во АН СССР, 1938—1953. Вып. 5, 1960.

ЛН — Литературное наследство. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. М., Наука. Т. 72 — Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. М., Наука, 1965. Т. 87— Из истории русской литературы и общественной мысли 1860—1890 гг. М., Наука, 1977. Т. 90, кн. 4 — У Толстого. 1904—1910. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. М., Наука, 1979.

Михайловский — Михайловский Н. К. Последние сочинения, т. 2. СПб., 1905.

Фатов — Фатов Н. Н. Молодые годы Леонида Андреева. М., Земля и фабрика, 1924.

ПССА — Андреев Леонид. Полн. собр. соч. СПб., издание товарищества А. Ф. Маркса, 1913, т. 1—8.

Рассказы, 1901 — Андреев Леонид. Рассказы. СПб., Знание, 1901.

Рассказы, 1902 — Андреев Леонид. Рассказы. СПб., Знание, 1902.

РЛ — «Русская литература» (журнал).

Сочинения — Андреев Леонид. Сочинения. Т. 1—4. СПб., Знание, 1901—1907.

Чехов. Письма.— Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Письма в 12-ти томах 1974—1982 гг.

АГ П-ка «Зн» — Архив А. М. Горького (Москва). Переписка «Знания».

ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва)

МГМ — Музей А. М. Горького (Москва).

ОРБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив (Ленинград).

В советское время издание многотомного Собрания сочинений Леонида Андреева осуществляется впервые. Из многочисленных переизданий произведений Л. Андреева после 1917 года наиболее полным является выпущенный в 1971 году к столетию со дня рождения писателя двухтомник его «Повестей и рассказов» (изд. «Художественная литература»). В 1959 году вышел сборник «Пьес» Л. Андреева в изд-ве «Искусство» (серия «Библиотека драматурга»), а в 1989 г. там же — «Драматические произведения» Л. Андреева в 2-х томах. В однотомники избранных произведений, выпущенных Волго-Вятским кн. изд-вом (г. Горький, 1979), Приокским кн. изд-вом (г. Тула, 1982), «Московским рабочим» (1983) и изд-вом «Правда» (1988) наряду с рассказами и повестями Леонида Андреева стали включаться и его фельетоны.

Начало Собрания сочинений Леонида Андреева положил первый сборник его «Рассказов», отредактированный М. Горьким и с посвящением М. Горькому (Пешкову) выпущенный в 1901 году в петербургском издательстве «Знание». Книга имела большой успех и неоднократно переиздавалась. В первое издание вошло десять рассказов: «Большой шлем», «Ангелочек», «Молчание», «Валя», «Рассказ о Сергее Петровиче», «На реке», «Ложь», «У окна», «Жили-были» и «В темную даль». Эти рассказы сначала были напечатаны в газете «Курьер», «Журнале для всех» и в журнале «Жизнь». В 1902 году вышло второе издание «Рассказов», дополненное шестью рассказами и с обозначением на титуле: «Том 1». Для тех читателей, которые уже приобрели книгу «Рассказов» Л. Андреева, изданную в 1901 году эти шесть рассказов были отпечатаны отдельной брошюрой («Новые рассказы»). Некоторые из новых рассказов Л. Андреева (все они печатались в журналах и газетах до выхода книги) вызвали острую полемику в печати («Бездна», «Набат», «Смех», «Стена», «В подвале», «Петька на даче»). В дальнейшем «том 1» Сочинений (на титуле «Рассказы») Леонида Андреева переиздавался «Знанием» по матрицам без изменений. Приняв

предложение М. Горького об издании своих лучших из опубликованных к тому времени рассказов в «Знании», Леонид Андреев предоставил отбор их М. Горькому. Выбранные М. Горьким-редактором рассказы расположены в книге не в хронологической последовательности, а таким образом, чтобы читателю стала понятна объединяющая эти «избранные» произведения молодого автора концепция: движение от мещанской бездуховности к высшему для Л. Андреева проявлению духовности — борьбе за освобождение человека — внутреннее и внешнее, наиболее полно проявляющееся в борьбе индивида за свободу и счастье других людей (замыкал сборник рассказ «В темную даль»). В 1906 году «Знание» выпустило второй том «Рассказов» Леонида Андреева. В него вошли произведения, опубликованные Л. Андреевым в 1902—1904 годах («Мысль», «В тумане», «Жизнь Василия Фивейского», «Призраки», «Красный смех»). В том же 1906 году в «Знании» вышел т. 3 Сочинений Л. Андреева — «Мелкие рассказы», составленный в основном из ранних рассказов («Баргамот и Гараська», «Защита», «Из жизни штабс-капитана Каблукова» и др.). Наконец, в 1907 году, «Знание» выпустило т. 4-й Сочинений Л. Андреева — «Рассказы и пьесы» («Вор», «Губернатор», «Так было», пьесы «К звездам» и «Савва»).

Уход Леонида Андреева из «Знания» в петербургское издательство «Шиповник» повлек за собой и перенос издания Сочинений Л. Андреева в «Шиповник». В 1909 году «Шиповник» выпустил три тома Собрания сочинений Леонида Андреева (нумерация томов продолжающаяся). Том 5: «Жизнь человека» (с вариантом пятой картины), «Иуда Искариот», «Елеазар», «Великан», «Тьма». Том 6: «Царь-голод», «Рассказ о семи повешенных», «Проклятие зверя», «Рассказ, который никогда не будет окончен». Том 7: «Мои записки», «Дни нашей жизни», «Любовь к ближнему», 5—7 тома Собрания сочинений Леонида Андреева представляли собой перепечатку его произведений из сборника «Знание», журнала «Современный мир», альманахов «Шиповника» и др.

30 декабря 1909 года Леонид Андреев заключил договор с владельцем петербургского книгоиздательства «Просвещение» Н. С. Цейтлиным. По этому договору Л. Андреев передал Н. С. Цейтлину за 100 000 рублей право на переиздание всех опубликованных Сочинений Л. Андреева и перепечатку последующих публикаций за тысячу рублей с листа. Новое Собрание сочинений Леонида Андреева в «Просвещении» (т. 1—13) стало выходить с 1911 года, завершилось в 1913 году. В небольшие по формату и объему книги вошли художественные произведения Леонида Андреева, отобранные им самим и написанные по 1912 год (по недосмотру издателя выпал рассказ «Правила добра»). В том 1 Собрания сочинений

автор впервые включил свои избранные фельетоны. Изданию предпослана вступительная статья М. А. Рейснера. Художественные произведения расположены в этом Собрании сочинений Л. Андреева в хронологическом порядке.

Договор с Н. С. Цейтлиным оказался для Леонида Андреева обременительным. В 1912 году Л. Андреев завел переговоры с товариществом А. Ф. Маркса, выпускавшим Полные собрания сочинений русских и иностранных писателей в качестве литературного приложения к журналу «Нива». По заключенному с Леонидом Андреевым договору товарищество А. Ф. Маркса получало право в течение одного 1913 года издать «Полное собрание сочинений» Л. Н. Андреева в восьми томах, в которое вошли бы все произведения Леонида Андреева, написанные и опубликованные по 1913 год включительно. Это «Полное собрание сочинений» Л. Н. Андреева (хотя оно фактически и не было «Полным»), будучи последним прижизненным изданием художественных произведений Л. Андреева по 1913 год, просмотренным автором, служит источником текстов для всех последующих изданий Собраний сочинений Леонида Андреева, в том числе и настоящего.

В подготовке Полного собрания сочинений Леонида Андреева для товарищества А. Ф. Маркса принимал участие К. И. Чуковский, предложивший распределить произведения по томам не по хронологии (или по жанровому признаку), а по темам. Л. Андреев с интересом отнесся к предложению К. И. Чуковского, принял его. В Полном собрании сочинений Л. Н. Андреева шире, чем в издании «Просвещения», представлена публицистика, фельетоны Л. Андреева, его статьи и очерки. При этом К. И. Чуковский (опять-таки с согласия автора), отбирая ранние фельетоны Л. Андреева (Джемса Линча) из «Курьера», объединял извлечения из разных фельетонов на одну тему. Новые заголовки для них, по-видимому, были придуманы Леонидом Андреевым. Частично эта работа уже была им проделана, когда он отбирал свои фельетоны для совместного с А. И. Куприным издания: «Юмористические рассказы», СПб., т. 1—2, 1909 (бесплатное приложение к журналу «Сатирикон» на 1909 г.; фельетоны Л. Андреева составили первый том). В «Полном собрании сочинений» Л. Андреев намеревался для автокомментария к «Рассказу о семи повешенных» перепечатать из американского издания этого произведения на английском языке (Нью-Йорк, 1909) факсимильно воспроизведенное его письмо переводчику Герману Бернштейну от 5(18) октября 1908 г. и — дополнительно — свою статью против смертных казней «Из письма», опубликованную в газете «Эпоха» (Петербург), 1908, № 1, 15 сентября. Это намерение Л. Андреева, надо полагать по цензурным причинам, осуществлено не было. Отказался Л. Андреев и от замысла проиллюстрировать «Полное собрание сочинений» своими рисунками,

когда узнал, что издательство по техническим причинам не может выполнить репродукции в цвете.

После выхода в 1913 году «Полного собрания сочинений» Л. Н. Андреева издание Сочинений писателя было перенесено из Петербурга в Москву.

В 1913 году в «Московском книгоиздательстве» вышел т. XIV, продолжавший нумерацию томов Собрания сочинений Леонида Андреева, выпускавшегося «Просвещением». В этом томе был напечатан роман Л. Андреева «Сашка Жегулев», отсутствовавший в издании «Просвещения», но уже напечатанный в «Полном собрании сочинений».

В 1915—1917 годах «Книгоиздательство писателей в Москве» выпустило в свет XV, XVI и XVII тома Собрания сочинений Л. Андреева. (Том XV одновременно вышел в изд-ве «Шиповник».) XVI и XVII тома целиком составлены из произведений, опубликованных Леонидом Андреевым после 1913 года и потому не попавших в его «Полное собрание сочинений».

На томе XVII («Иронические рассказы») издание Собрания сочинений Леонида Андреева прекратилось. В бумагах писателя сохранились наброски плана неосуществленного XVIII тома. Произведения Л. Андреева, напечатанные после 1913 года, включенные в т. XV, XVI и XVII и являющиеся их последними изданиями при жизни автора, сохраняют значение первоисточника для всех последующих переизданий.

Настоящее Собрание сочинений Леонида Андреева в шести томах содержит все художественные произведения писателя, включавшиеся им самим в Собрания его сочинений. Поздние произведения Леонида Андреева, оставшиеся за пределами тома XVII и написанные им позже, печатаются по первым публикациям. Это прежде всего роман «Дневник Сатаны», рассказ «Ночной разговор» и пьесы «Собачий вальс» и «Самсон в оковах», изданные посмертно.

Проспект издания составлен В. Н. Чуваковым.

БАРГАМОТ И ГАРАСЬКА

Стр. 43

Впервые — в газете «Курьер», 1898, 5 апреля, № 94.

Рассказ написан под ощутимым влиянием очерков Глеба Успенского: в Баргамоте проступают черты будочника Мымрецова, а в Гараське — пьяного портного Данилки, которого у Успенского только девушка из «заведения» называет по отчеству, и за это растроганный Данилка решает на ней жениться (очерк Гл. Успенского «Будка», 1868).

Герои рассказа Андреева имели реальных прототипов, хотя сюжет его, по-видимому, вымышлен. Фамилия городового Баргамотов, характеризующая его внешний облик, явно происходит от прозвища, а не наоборот. Баргамот (бергамот) — один из наиболее распространенных в России в прошлом веке сортов груш. Интересно отметить, что Иваном Акиндиновичем, как и городового Баргамота, звали известного в Орле в 1890-х гг. делопроизводителя воинского стола городской управы, бывшего станового пристава И. А. Боброва (см. его некролог в «Орловском вестнике», 1915, 21 июня).

Предложение написать для «Курьера» пасхальный рассказ Андреев получил от секретаря редакции газеты И. Д. Новика. 25 сентября 1898 г. Андреев вспоминал в дневнике, что рассказ им был написан и «после некоторого утюженья, отнявшего от рассказа значительную долю его силы, был принят, но без всякого восторга, что казалось мне вполне естественным, ибо сам я о рассказе был мнения среднего 〈...〉 Нельзя поэтому передать моего удивления, когда я являюсь в понедельник на Фоминой в Суд и редакцию и там только и слышишь «Баргамот и Гараська» (заглавие рассказа). Говорят, что рассказ украшение всего пасхального номера. Там-то его читали вслух и восхищались, здесь о нем шла речь в вагоне жел〈езной〉 дороги. Поздравляют меня с удачным дебютом, сравнивают с Чеховым и т. п. В три-четыре дня я поднялся на вершину славы».

Бывший сотрудник «Курьера» журналист Я. Земский вспоминал о начале работы Л. Андреева в этой газете: «Совсем еще юноша, едва переступивший первую ступень возмужалости, он сразу обратил на себя внимание... Мнения сотрудников о нем расходились: одни находили в нем просто талантливого беллетриста, другие пророчили ему славу Чехова. По мере того как появлялись в «Курьере» его рассказы, популярность его росла с необычайной быстротой. Руководители «Курьера» нянчились с ним, как с капризным ребенком» (Москва, 1910, № 67, 15 ноября).

«Баргамот и Гараська» растрогал и восхитил М. Горького, который сразу же после прочтения рассказа в «Курьере» 5 апреля 1898 г. написал в Петербург редактору-издателю «Журнала для всех» В. С. Миролюбову: «...вот бы Вы поимели в виду этого Леонида! Хорошая у него душа, у черта! Я его, к сожалению, не знаю, а то бы тоже к вам направил» (Горький М. Переписка в 2-х томах, т. 1. М., Художественная литература, 1986, с. 80). Позже в письме Андрееву от 20—25 апреля 1899 г. Горький обратил внимание и на художественные недостатки рассказа: «Лучший ваш рассказ «Баргамот и Гараська» — сначала длинен, в середине — превосходен, а в конце вы сбились с тона» (*ЛН*, т. 72, с. 66). М. Горький имел в виду заключительный эпизод рассказа (описание утрен-

него чаепития городового и поступившего к нему в работники Гараськи). Под влиянием критики М. Горького Андреев вычеркнул эту «сладкую» сцену, и в новой редакции «Баргамот и Гараська» был напечатан в журнале «Народное благо», 1902, № 15—16 и в коллективном благотворительном сборнике «Книга рассказов и стихотворений», М, изд. С. Курнина и К^0, 1902. «Баргамот и Гараська» переведен на многие иностранные языки (немецкий, английский, испанский, венгерский и др.).

АЛЕША-ДУРАЧОК

Стр. 51

Впервые, с подзаголовком «Очерк» и посвящением Э. В. Готье,— в газете «Курьер», 1898, 29 и 30 сентября, № 268 и 269.

Стр. 51. *Готье* Эдуард Владимирович (1859— ?), врач-терапевт, доктор медицины, профессор Московских высших женских курсов. Семья Готье оказывала молодому Андрееву материальную помощь. В 1918 г. Андреев писал матери Анастасии Николаевне: «Да, я очень памятлив, маточка, и если еще иногда забываю сделанное мне зло, то добра никогда не забываю. Разве, напр., я забуду когда-нибудь тех же Готье!.. (Андреев Вадим. Детство. М., Советский писатель, 1963, с. 212).

Стр. 55. *...швейцарским шале.*— Шале — небольшой сельский домик в Альпах.

...которые Митрофанушка называл «прилагательными»...— Речь идет о персонаже из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781).

...для контенансу.— Для виду, от фр. Contenance.

Стр. 56. *...шепнул я ментору.*— Ментор (книж.) — наставник.

Стр. 59. *...бушкнул...*— От местн. бушкаться — бодаться.

...кое-каких харбаров.— Харбары (орловск., местн.) — ветхая одежда, обноски.

ЗАЩИТА

Стр. 61

Впервые, с подзаголовком «История одного дня»,— в газете «Курьер», 1898, 8 ноября, № 308.

На следующий день Андреев записал в дневнике: «Вчера вышел мой рассказ «Защита», темой для которого, как видно из заглавия, послужила наша судейская жизнь. Сегодня в Суде наслушался

много разговоров по поводу рассказа. Порицаний не слышал, все хвалят в большей или меньшей степени. В рассказе выведены два молодых адвоката, и вот все ищут, с кого я рисовал их, и находят, к моему великому огорчению, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ в одном из них видят Малянтовича. Мне советуют не огорчаться, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ портреты сделаны «художественно». П. Н. Малянтович (1870—1939?) — московский присяжный поверенный; в 1897 г. предложил Андрееву заменить его в качестве судебного репортера в газете «Московский вестник» и рекомендовал Андреева в число сотрудников «Курьера». (В 1917 г. он стал министром юстиции в последнем составе Временного правительства.) В рассказе «Защита» П. Н. Малянтович изображен под именем преуспевающего помощника присяжного поверенного Померанцева.

Стр. 62. *...прасол...*— Скупщик мяса или рыбы для розничной распродажи, торговец скотом.

ИЗ ЖИЗНИ ШТАБС-КАПИТАНА КАБЛУКОВА

Стр. 69

Впервые — «Курьер», 1898, 25 декабря, № 355.

Этот рассказ, написанный Андреевым 7 декабря 1898 г., был прохладно принят издателем «Курьера» Я. А. Фейгиным, который нашел конец рассказа «невозможным». 27 декабря 1898 г. Андреев заметил в дневнике: «Велико мое изумление, когда мой рассказ выходит в фельетоне, без поправок, в то время, когда другие авторы, более почтенные, чем я, и не менее написавшие, чем я, выходят в столбце». 30 декабря 1898 г. Андреев добавляет: «Дошли первые отзывы о рассказе «Из жизни ш⟨табс⟩-к⟨апитана⟩ Каблукова» ⟨...⟩ Говорят, «очень хорош». Литературным предшественником рассказа Л. Андреева был прочитанный и прочувствованный автором рассказ Вс. Гаршина «Денщик и офицер».

Стр. 70. *...резаться в стуколку.*— Стуколка — азартная карточная игра.

ЧТО ВИДЕЛА ГАЛКА

Стр. 78

Впервые — в газете «Московский вестник», 1898, 25 декабря, № 354. Вторично в журнале «Народное благо», 1902, № 51—52, 25 декабря.

Рассказ написан 8 декабря 1898 г.

МОЛОДЕЖЬ

Стр. 82

Впервые — в газете «Курьер», 1899, 16 и 18 марта, № 74 и 76. С подзаголовком «Этюд».

Рассказ был написан Андреевым 10 января 1899 г. В дневнике (запись от 23 апреля 1899 г.) Андреев упомянул рассказ кратко: «Принят с большими похвалами». «Молодежь» перепечатывалась в «Детском альманахе. Хрестоматии для домашнего чтения, под ред. А. Н. Анненской» (СПб., 1910). В Полном собрании сочинений Л. Н. Андреева (1913 г.) рассказ помещен с неточной датой: 1898 г.

В рассказе «Молодежь» отразились воспоминания Андреева о времени его учения в Орловской классической гимназии, которую он закончил в 1891 г. В инспекторе гимназии чехе И. И. угадывается Иван Иванович Гавелько, окончивший Пражский университет и состоявший в должности инспектора Орловской гимназии с 1889 г. Директор гимназии Михаил Иванович в действительности Иван Михайлович Белоруссов (был директором гимназии с 1884 г.) — реакционер и карьерист, насаждавший среди гимназистов «религиозный дух» и доносительство.

Стр. 88. *...маркиз Поза!* — Герой драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1787), олицетворение гражданских добродетелей.

В САБУРОВЕ

Стр. 92

Впервые — в газете «Курьер», 1899, 18 апреля, № 107. Отдельным изданием рассказ выпущен в 1903 г. в Ростове-на-Дону издательством «Донская речь».

«18 апреля,— писал Андреев в дневнике,— вышел в «Курьере» пасхальный рассказ «В Сабурове». Похвалы крайние. Смысл их: «рассказ лучше всех бывших». Чехов приехал в Москву. Сегодня был у него (согласно его желанию). Отзыв: рассказ талантливый, техника (в частности «фраза») никуда не годна» (из записи от 23 апреля 1899 г., *ЛН*, т. 72, с. 20).

Задумав издание дешевого сборника рассказов для народа, Н. Д. Телешов 25 ноября 1901 г. обратился к М. Горькому с письмом, в котором он, в частности, попросил порекомендовать ему авторов, которые могли бы дать свои произведения для сборника.

М. Горький в ответном письме от 1—2 декабря 1901 г. поддержал замысел Н. Д. Телешова и предложил ему взять у Андреева для сборника рассказы «Баргамот и Гараська» и «В Сабурове». (См.: Горький М. Переписка в 2-х томах, т. 1. М., Художественная литература, 1986, с. 195). Это издание не осуществилось.

Стр. 98. *«Христос воскресе из мертвых»...*— Слова из пасхального тропаря (песнопения).

У ОКНА

Стр. 103

Впервые, с подзаголовком «Очерк»,— в газете «Курьер», 1899, 3, 5 и 7 августа, № 212, 214 и 216.

В рецензии на книгу «Рассказов» Андреева член нижегородской социал-демократической организации А. В. Яровицкий отмечал: «Как истинный художник Л. Андреев обладает наблюдательностью и уменьем в немногих словах сказать многое». Сославшись на рассказ «У окна», рецензент восклицал: «...разве мало таких людей вокруг, разве все эти Андреи Николаевичи, человеки в футляре, премудрые пискари, не покрывают веселую землю, как паразиты, как зловредные наросты на древе жизни, губящие в нем лучшие силы его...» (Яр⟨овицк⟩ий А. О рассказах Л. Андреева. «Нижегородский листок», 1901, 25 октября, № 292). Рецензент (подпись: Н. А-ч) в обзоре журнальной литературы в 1901 г. назвал «У окна» в числе произведений Андреева, которые «явно отдают влиянием чеховских настроений». По словам критика, «...меткость душевной психологической наблюдательности, оригинальный способ мыслить и новизна того общего уклада личности, который отражается во всех произведениях писателя, выделяют Л. Андреева из среды наших беллетристов» («Приазовский край», 1902, № 26, 28 января).

ВАЛЯ

Стр. 123

Впервые, под заглавием «Мать. Из мира детей»,— в «Журнале для всех», 1900, февраль, № 2. Под заглавием «Валя» включено в сборник *Рассказов* Андреева (1901). Авторская дата 14 сентября 1899 г. В 1905 г. двумя изданиями рассказ выпущен в Ростове-на-

Дону издательством «Донская речь», а в 1906 г. вышел в серии «Дешевая библиотека т-ва «Знание», № 54.

Стр. 123. *...звали Бовою.*— Имеется в виду повесть «О Бове Королевиче», известная на Руси еще в XVII в., вошедшая в русский фольклор и выдержавшая с конца XVIII в. множество лубочных изданий.

Стр. 124. *Его коротенький нос... строгой серьезности...*— Создавая портрет мальчика Вали, Андреев воспользовался своей детской фотографией. (Воспроизведена в кн.: Львов-Рогачевский В. Л. Две правды. Книга о Л. Андрееве. СПб., кн-во «Прометей» Н. Н. Михайлова, 1914, вкладной лист между с. 16 и 17.)

Стр. 128. *Валя жалел бедную русалочку...*— Речь идет о сказке Г.-Х. Андерсена «Русалочка».

ДРУГ

Стр. 134

Впервые, под заглавием «Собака» и с подзаголовком «Эскиз»,— в газете «Курьер», 1899, 13 ноября, № 314.

ПЕТЬКА НА ДАЧЕ

Стр. 140

Впервые — в «Журнале для всех», 1899, сентябрь, № 9. В 1903 г. «Петька на даче» был включен в сборник: Л. Андреев и Ив. А. Бунин. Восходящие звезды. Одесса, изд. С. С. Полятуса. Отдельными изданиями «Петька на даче» выпускался журналом «Народное благо» (М., 1903), в «Дешевой библиотеке т-ва «Знание», № 57 (СПб., 1906). В советское время переводился на многие языки народов СССР. Из всех произведений Андреева рассказ «Петька на даче» выдержал больше всего переизданий в сборниках, хрестоматиях.

Источником для «Петьки на даче» стали воспоминания о детстве однофамильца писателя — парикмахера Ивана Андреева, мастерская которого находилась неподалеку от редакции «Курьера». Иван Андреев дожил до глубокой старости, получил признание как один из самых модных парикмахеров Москвы, удостоенный наград и почетного диплома на конкурсах французских парикмахеров в Париже. Но картины тяжелого детства «без детства» сына крестьянина, мальчика, привезенного в Москву из деревни и отданного в ученики к цирюльнику, навсегда сохранились в его памяти. О

И. А. Андрееве рассказал Вл. Гиляровский в своей книге воспоминаний «Москва и москвичи» (1935).

20—25 апреля 1899 г. М. Горький писал Леониду Андрееву из Нижнего Новгорода: «Я телеграфировал вам из Ялты, чтоб вы послали рассказ Миролюбову — это редактор «Журнала для всех» — вы послали?» (*ЛН*, т. 72, с. 64). «Простите, что я так не скоро отозвался на любезное предложение работать в Вашем журнале, переданное мне Алексеем Максимович⟨ем⟩ — известил Андреев В. С. Миролюбова 30 июля 1899 г.— Виною тому была моя болезнь, вследствие которой я три месяца не брался за перо и начал работать только в июле. Прошу Вас, не отнеситесь строго к прилагаемой вещице, главное достоинство которой то, что она готова...» (*ЛА*, с. 72). Позже, в январе 1902 г., М. Горький рекомендовал Андрееву включить «Петьку на даче» в новое дополненное издание его «Рассказов» (изд. «Знание»).

БОЛЬШОЙ ШЛЕМ

Стр. 148

Впервые, с подзаголовком «Идиллия»,— в газете «Курьер», 1899, 14 декабря, № 345.

Возвратившись из поездки в Полтаву, где он присутствовал в качестве корреспондента «Курьера» на громком судебном процессе по «делу братьев Скитских», Андреев записал в дневнике 25 декабря 1899 г.: «В мое отсутствие вышел мой рассказ «Большой шлем», действительно хороший рассказ ⟨...⟩ И похвалы крайние, и почет, и заря славы...» Примечательно, что в романе М. Горького «Жизнь Клима Самгина» Самгин, находящийся у следователя Гудим-Чарнецкого, вспоминает: «Однажды Гудим и его партнеры играли непрерывно двадцать семь часов, а на двадцать восьмом один из них, сыграв «большой шлем», от радости помер, чем и предоставил Леониду Андрееву возможность написать хороший рассказ» (*Горький М. Полн. собр. соч.*, т. 24, с. 116).

«Лучший ваш рассказ — «Большой шлем...»,— писал М. Горький автору из Ялты 2—4 апреля 1900 г. (*ЛН*, т. 72, с. 69). Жена редактора «Нижегородского листка» А. Д. Гриневицкая вспоминала, что, прочитав «Большой шлем», М. Горький сказал: «Нарождается талант... Рассказ написан очень хорошо. Особенно одна деталь выявляет способности автора: ему нужно было сопоставить жизнь и смерть — Андреев сделал это очень тонко, одним штрихом» (там же, с. 69—70).

«Уже первым этим рассказом,— отмечал В. В. Воровский,— автор с недоумением остановился перед загадкой жизни: что ты и, главное, к чему ты? И почти в каждом своем рассказе заглядывал

он в тот или иной уголок жизни человеческого общества и всюду видел нелепость и бессмыслицу, зло и насилие» (Воровский В. В. Литературная критика. М., 1971, с. 272). «Большой шлем» одобрил Л. Н. Толстой, поставив автору после прочтения его на полях книги «Рассказов» Андреева отметку «4». См.: *Библиотека Л. Н. Толстого*, с. 21. В. Г. Короленко, отметив, что в ранних рассказах Андреева «чувствуется легкое веяние мистики», писал: «...припомните хотя бы превосходный и проникнутый глубоким юмором рассказ «Большой шлем», в котором, однако, в случайной игре карточных комбинаций как бы чувствуется чья-то таинственная сознательность, насмешливая и злая» (В. Г. Короленко о литературе. М., Гослитиздат, 1957, с. 364).

Стр. 148. *Большой шлем* — такое положение в карточной игре, при котором противник не может взять старшей картой или козырем ни одной карты партнера.

Стр. 150. *...он начинал говорить одну или две фразы о Дрейфусе.*— Речь идет об Альфреде Дрейфусе (1859—1935) — офицере французского генерального штаба, еврее, ложно обвиненном в 1894 г. реакционной французской военщиной в передаче Германии секретных документов. Несмотря на отсутствие доказательств, Военный суд приговорил Дрейфуса к пожизненной каторге. Под давлением общественности (открытое письмо «Я обвиняю» Э. Золя, адресованное президенту Франции) Дрейфус в 1899 г. был «помилован», а в 1906 г. полностью оправдан.

АНГЕЛОЧЕК

Стр. 157

Впервые — в газете «Курьер», 1899, 25 декабря, № 356 с посвящением Александре Михайловне Велигорской (1881—1906), ставшей в 1902 г. женой Андреева. Отдельным изданием выпущен в Ростове-на-Дону «Донской речью» (1904) и в «Дешевой библиотеке т-ва «Знание», № 52 (СПб., 1906).

З. Н. Пацковская, родственница Андреева, вспоминала: «Елка эта была у нас, и наверху был восковой ангелочек; Леонид все на него смотрел, потом взял его себе (моя мать ему его подарила), и когда лег спать, то положил его на горячую лежанку, и он, конечно, растаял. Было ему в это время лет 8. Но в рассказе кое-что переиначено. Там выводится мальчик из бедной семьи. Леониду же отец и мать делали обыкновенно свою роскошную елку» (*Фатов*, с. 212).

Интересны размышления А. Блока о рассказе «Ангелочек» в статье «Безвременье». Говоря о разрушении устоявшегося мира (статья писалась в 1906 г.), поэт сожалел об исчезнувшем «чувстве

домашнего очага». Праздник Рождества был «высшей точкой этого чувства». Теперь же он перестал быть «воспоминанием о Золотом веке». Люди погрузились в затхлый мещанский быт, в «паучье жилье». Это — реминисценция из Достоевского: Свидригайлов («Преступление и наказание») предполагал, что Вечность может оказаться не «чем-то огромным», а всего лишь тесной каморкой, «вроде деревенской бани с пауками по углам». «Внутренность одного паучьего жилья,— писал Блок,— воспроизведена в рассказе Леонида Андреева «Ангелочек». Я говорю об этом рассказе потому, что он наглядно совпадает с «Мальчиком у Христа на елке» Достоевского. Тому мальчику, который смотрел сквозь большое стекло, елка и торжество домашнего очага казались жизнью новой и светлой, праздником и раем. Мальчик Сашка у Андреева не видал елки и не слушал музыки сквозь стекло. Его просто затащили на елку, насильно ввели в праздничный рай. Что же было в новом раю?

Там было положительно нехорошо. Была мисс, которая учила детей лицемерию, была красивая изолгавшаяся дама и бессмысленный лысый господин; словом, все было так, как водится во многих порядочных семьях,— просто, мирно и скверно. Была «вечность», «баня с пауками по углам», тишина пошлости, свойственная большинству семейных очагов». Ал. Блок уловил в «Ангелочке» ноту, сблизившую «реалиста» Андреева с «проклятыми» декадентами. Это — нота безумия, непосредственно вытекающая из пошлости, из паучьего затишья» (Блок Александр. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М.— Л., Гослитиздат, 1962, с. 68—69). Образ «большого серого животного» из сна другого героя Достоевского — Ипполита (в романе «Идиот») Блок применил к этому безумному смрадному миру. «Ангелочек» дал заглавие сборнику рассказов Андреева, переведенных на английский язык Г. Бернштейном (Нью-Йорк, 1915).

НА РЕКЕ

Стр. 168

Впервые — в «Журнале для всех», 1900, № 5, май. Отдельным изданием рассказ вышел в «Дешевой библиотеке т-ва «Знание», № 55, (СПб., 1906).

В письме редактору-издателю «Журнала для всех» В. С. Миролюбову от 23 марта 1900 г. Андреев писал: «Посылаю Вам рассказ

«На реке» и прошу Вас судить его построже. Признаться, я предпочел бы еще немного поработать над внешней отделкой, которая во многих местах не удовлетворяет меня, но в настоящую минуту решительно не имею времени на это ⟨...⟩. Еще раз прошу Вас: судите строго и немилосердно. Не должно быть милости в литературном суде, а одна только правда» (*ЛА*, с. 74—75).

М. Горький, перечитав рассказы, включенные в первую книгу Андреева, писал ему из Нижнего Новгорода в Москву 25...27 сентября 1901 г.: «На реке» очень хорошо. Да, сударь мой! Мне ужасно приятно и весело, ибо — вы славная фигура!» (*ЛН*, т. 72, с. 96).

В 1909 г. Л. Н. Толстой в Ясной Поляне в беседе с писателем С. Т. Семеновым сказал об Андрееве: «Я недавно перечитывал его и нашел вещи чуть не первоклассные: «Жили-были», «Валя», «На реке», за исключением конца, очень хорошо» (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников в 2-х томах, т. 1. М., Гослитиздат, 1955, с. 358). Л. Н. Толстой читал «Рассказы» Андреева, ожидая приезда в Ясную Поляну автора. 7 октября 1909 г. после чтения С. А. Толстой вслух рассказа Андреева «Валя» Л. Н. Толстой заметил, что Андреев «большой талант, но в его рассказах надо отчеркнуть, где начинается фальшивая чепуха (и эту часть выпустить). В «На реке» — там, где начинается ненужная сцена на крыше дома» (*ЛН*, т. 90, с. 68); 9 октября 1909 г. он назвал рассказ «На реке» прекрасным, но отрицательно отнесся к писательской манере Андреева («преувеличенные чувства»; см.: т а м ж е, с. 72).

ПРАЗДНИК
Стр. 182

Впервые — в газете «Курьер», 1900, 9 апреля, № 22.

«Праздник» предназначался для пасхального номера газеты. «...Теперь принужден писать рассказ для «Курьера», причем ненаписание его грозит мне осложнениями. Времени остается всего неделя, а у меня даже и сюжета нет»,— сокрушался Андреев в письме В. С. Миролюбову 23 марта 1900 г. (*ЛА*, вып. 5, с. 75). 9 апреля 1900 г. Андреев записал в дневнике: «Первый день Пасхи. Нечто весьма торжественное и умилительное, судя по рассказам, которые напечатаны сегодня в газете «Курьер»,— так же и по моему рассказу, в этой газете помещенному и носящему название «Праздник». Людям бывает скучно и мерзко, но наступает Пасха (или Рождество), и они встречают добрую душу, после чего им становится весело. Так всегда бывает» (*Дневник*).

ПРЕКРАСНА ЖИЗНЬ ДЛЯ ВОСКРЕСШИХ

Стр. 192

Впервые, под заглавием «Впечатления» и подписью Л.-ев,— в «Курьере», 1900, 9 апреля, № 99.

В этом лирическом наброске, близком к стихотворению в прозе, отразились настроения Андреева, его размышления о жизни и смерти в связи с работой над большим «Рассказом о Сергее Петровиче». 8 апреля 1900 г. Андреев с братом Павлом совершил прогулку по Кремлю, а в первый день Пасхи, 9 апреля, посетил «с братьями» Ваганьковское кладбище. 11 апреля 1900 г. Андреев получил письмо от сотрудника «Курьера», искусствоведа и критика, С. С. Голоушева. «Не могу удержаться,— писал он,— чтобы не послать Вам своего горячего привета за Ваше «душевное кладбище» (пасхальные «Впечатления»). Это одна из лучших страниц, написанных Вами. Я их вырезал и вклеил в тетрадку, куда идут вещи мне дорогие...» (*Дневник*).

Рассказ в переводе на английский язык опубликован в сентябре 1910 г. в журнале «Current literature». Включен в сборники рассказов Андреева, вышедших в переводах С. Вермер на немецкий язык (Вена, 1904), С. Перовского на французский язык (Париж, 1908).

МОЛЧАНИЕ

Стр. 195

Впервые — в «Журнале для всех», 1900, № 12, декабрь; с посвящением Елизавете Михайловне Добровой (1871—1943) — сестре А. М. Велигорской. Отдельным изданием выпущен в «Дешевой библиотеке «Знание», № 53 (СПб., 1906).

В основу рассказа положено действительное событие: самоубийство дочери священника Андрея Казанского (1830—1903) из церкви Михаила Архангела (Успенской) в Орле. Андреевы были прихожанами этой церкви, и Казанский крестил 11 августа первенца — Леонида. По свидетельству жительницы Орла, родственницы Андреева С. Д. Пановой, причина самоубийства так и осталась невыясненной: «Девушка эта только что кончила гимназию. Дома был очень суровый режим; отец был очень строг. Об этом случае тогда много говорили» (*Фатов*, с. 203).

Сначала Андреев был о рассказе невысокого мнения и не торопился отдавать его в печать. Летом 1900 г., живя на даче в подмосковном Царицыне, Андреев узнал о литературном конкурсе,

объявленном петербургской газетой «Биржевые ведомости», и решил послать на конкурс «Молчание», предварительно обратившись за советом к М. Горькому. Письмо Андреева к М. Горькому неизвестно, но 17 августа 1900 г. в письме В. С. Миролюбову Андреев объяснил свое желание участвовать в конкурсе так: «...уж очень захотелось деньгу заработать, да и гордость обуяла» (*ЛА*, с. 76). Андреев тогда не придал значения тому, что «Биржевые ведомости» редактирует Иероним Ясинский, реакционный писатель, сотрудничество в одних с ним периодических изданиях литераторы демократического лагеря считали для себя зазорным. Об этом Андрееву напомнил в ответном письме В. С. Миролюбов, а раньше, в конце августа 1900 г., Андреев получил письмо от М. Горького: «Обидно и горько мне, что вы посылаете свой рассказ на конкурс «Биржевых ведомостей» (*ЛН*, т. 72, с. 72). От участия в конкурсе Андреев отказался и, вероятно, в начале сентября 1900 г., показал рукопись «Молчания» М. Горькому, приехавшему в Москву. С этим рассказом М. Горький и привел Андреева в первый раз на собрание литературной «Среды» у Н. Д. Телешова. «В десять часов, когда обычно начиналось у нас чтение,— вспоминал Телешов,— Горький предложил выслушать небольшой рассказ молодого автора.

— Я вчера его слушал,— сказал Горький,— и, признаюсь, у меня на глазах были слезы.

Но Андреев стал говорить, что сегодня у него болит горло, что читать он не может... Словом, заскромничал и смутился.

— Тогда давайте я прочитаю,— вызвался Горький.

Взял тоненькую тетрадку, сел поближе к лампе и начал:

— Рассказ называется «Молчание»... 〈...〉

Чтение кончилось. Горький поднял глаза, ласково улыбнулся Андрееву и сказал:

— Черт возьми, опять меня прошибло!

«Прошибло» не одного Алексея Максимовича. Всем было ясно, что в лице этого новичка «Среда» приобретала хорошего, талантливого товарища» (Т е л е ш о в Н. Избр. соч. в 3-х томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1956, с. 119—120).

Присутствовавший на чтении В. С. Миролюбов предложил опубликовать «Молчание» в «Журнале для всех», но, ошеломленный неожиданным успехом, Андреев теперь уже сам изменил свое отношение к этому рассказу и не дал окончательного согласия. Наконец в начале октября 1900 г. Андреев писал В. С. Миролюбову: «Только обалдением объясняю я себе мои дикие колебания относительно «Мол〈чания〉». Эти нелепые разговоры о «выгодности» до сих пор заставляют краснеть меня. Я прошу Вас взять этот рассказ с одним

обязательным условием: не сердиться на меня за прошлое» (*ЛА*, с. 79).

Л. Н. Толстой оценил «Молчание» высшим баллом: «5». См.: *Библиотека Л. Н. Толстого*, с. 238.

МЕЛЬКОМ

Стр. 206

Впервые, под заглавием «В ожидании поезда. Из дачных мотивов»,— в газете «Курьер», 1900, 13 июля, № 192. Вторично, под заглавием «Мельком»,— в «Нижегородском сборнике», СПб., Знание, 1905. Весь доход от сборника поступил в кассу Общества взаимопомощи учащихся Нижегородской губернии на устройство общежития для учительских детей.

В рецензии на «Нижегородский сборник» Ф. Белявский, назвав «Мельком» прекрасно написанным этюдом, продолжал: «Андреев дает живьем выхваченную с натуры картинку, главное место в которой отведено изображению свежего, невинного чувства молоденькой девушки, очевидно, курсистки к студенту 〈...〉 Весь очерк дышит свежестью и силою красок» («Слово», 1905, № 95, 15 марта). В. Буренин обрушился на «Нижегородский сборник» с грубой бранью. Помещенные в нем произведения М. Горького и Андреева назвал «хламом», который «стыдно писать и скучно читать» («Новое время», 1905, № 10450, 8 апреля).

Стр. 207. *Целовальник.*— Здесь: торговец в казенной винной лавке.

Стр. 208. *...вы и починяйтесь.*— Здесь в значении: успокоиться, привести себя в порядок.

Толцыте, и отверзе̑тся.— Евангельское изречение (Матф., гл. VII, ст. 7; Лука, гл. II, ст. 9). Употребляется в значении: упорством добиваться желаемого.

Стр. 209. *...кончила ты Каутского?* — Карл Каутский (1854—1938) — один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии. Работы Каутского 90-х гг. XIX — начала 900-х гг. XX века, написанные в целом с позиций революционного марксизма, пользовались популярностью в среде демократически настроенной молодежи.

Стр. 210. *«Бледный месяц плывет над рекою...»* — Искаженное начало романса «Чудный месяц плывет над рекою...» — См. примеч. к «Бездне» (с. 612).

Стр. 212. *Об одной тебе думу думаю...*— Романс Федора Соколо-

ва «Успокой меня» на тему вальса Йозефа Ланнера. Автор слов не установлен. Л. Андреев приводит их с некоторыми отступлениями от печатного оригинала (см.: Песни московских цыган, № 14. М., изд. К. И. Мейкова, 1869). Впоследствии в новой обработке романс издавался под заглавием «Моя душенька». См.: Умчалися года... Старинные романсы. М., Музыка, 1977.

ПЕРВЫЙ ГОНОРАР

Стр. 214

Впервые — в газете «Курьер», 1900, 10 и 12 октября, № 281 и 283.

В образе начинающего адвоката Толпенникова Андреев изобразил самого себя. Впервые в качестве защитника он выступил в Московском окружном суде 1 ноября 1897 г. Слушалось дело «о злостном банкротстве». «Дело было пустое,— заметил Андреев в дневнике 5 ноября 1897 г.,— но страху набрался я достаточно. Не могу сказать, была ли успешна моя защита, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ своей речи я не слыхал, а кого-нибудь из знакомых, кто мог бы сообщить мне о впечатлении, не было. Председательствующий, очень строгий и придирчивый старик, которого я трусил, сказал, между прочим, в своем резюме, что «защитник весьма добросовестно отнесся к своим обязанностям». Подробность рассказа, что Толпенников приходит в суд в чужом фраке, тоже биографична, Андреев вспоминал: «Собственного фрака у меня не было, и выступать на суде приходилось во фраках товарищей» (*Брусянин*, с. 57).

РАССКАЗ О СЕРГЕЕ ПЕТРОВИЧЕ

Стр. 226

Впервые — в журнале «Жизнь», 1900, № 10, октябрь.

В основу «Рассказа о Сергее Петровиче» положено подлинное происшествие: самоубийство в 1896 г. студента-естественника, орловца, товарища Андреева по Московскому университету — Григория Петровича Третьякова. В хранящемся в *ЦГАЛИ* черновом наброске рассказа он еще выведен под собственным именем. Прототипом студента Новикова, с которым Сергей Петрович полемизирует, был другой товарищ Андреева — Владимир Александрович Плотников, впоследствии видный советский химик, академик.

Об этом рассказе Андреев говорил М. Горькому при их первой

встрече в Москве на Курском вокзале 12 марта 1900 г., а в апреле — мае 1900 г. по просьбе Горького отослал ему рукопись на просмотр в Крым. Наступили томительные дни ожидания, писем от М. Горького не было. Наконец в начале июня 1900 г. Андреев сам поехал к Горькому в Ялту, но не застал его там: 28 мая М. Горький с А. П. Чеховым, художником В. М. Васнецовым и другими отправился путешествовать по Военно-Грузинской дороге, а затем, вернувшись в Ялту, когда Андреева там уже не было, вскоре уехал на Украину в село Мануйловку Полтавской губернии. «Ваш «Рассказ о Сергее Петровиче» мне понравился, хотя вы *можете и должны* писать лучше, образнее, ярче»,— написал он автору из Мануйловки 12...15 августа 1900 г. (*ЛН*, т. 72, с. 70). Рукопись он отослал в Петербург в редакцию журнала «Жизнь». Редактор журнала В. А. Поссе впоследствии вспоминал: «Беллетристические рукописи во время моей поездки в Крым просматривал Е. А. Соловьев. Он рассказ Андреева забраковал. «Это не художественное произведение, а какой-то протокол»,— сказал он мне, когда я спросил, почему рассказ Андреева не принят. «Это такой же протокол, как «Смерть Ивана Ильича» Толстого,— возразил я.— Во всяком случае, это протокол жизни, протокол, много дающий и много обещающий». (Поссе В. А. Мой жизненный путь. Дореволюционный период (1864—1917 гг.). М.— Л., Земля и фабрика, 1929, с. 163.)

Творческий замысел «Рассказа о Сергее Петровиче» проясняет запись в дневнике Андреева, сделанная 1 апреля 1900 г.: «...Написал рассказ «Сергей Петрович», который я считаю крупным относительно и моих прежних рассказов и относительно многого в текущей русской литературе. Это рассказ о человеке, типичном для нашего времени, признавшем, что он имеет право на все, что имеют другие, и восставшем — против природы, которая создала его ничтожным, и против людей, которые лишают его последней возможности на счастье. Кончает он самоубийством — «свободной смертью», по Ницше, под влиянием которого и рождается у моего героя дух возмущения» (*Дневник*).

Отношение к «Рассказу о Сергее Петровиче» критики было довольно прохладным. Н. К. Михайловский нашел, что рассказ растянут (*Михайловский*, с. 109). Явно не поняв авторских намерений, «Русские ведомости» (1900, 18 ноября, № 321), например, уверяли, что «Сергей Петрович взят без всякого отношения ко времени и пространству».

В письме к А. А. Измайлову от апреля — мая 1901 г. Андреев, не соглашаясь с критиками, утверждал: «На мой взгляд — я и сейчас держусь его,— этот рассказ хорош не столько по форме, которая, несомненно, должна была быть лучше, сколько по значительности и серьезности содержания» (*РЛ*, 1962, № 3, с. 195).

Прошло некоторое время, и справедливость авторской оценки

«Рассказа о Сергее Петровиче» подтвердилась. Сдержанный отзыв М. Горького после чтения рассказа Андреева в рукописи изменился на восторженный, когда перечитал его в книге «Рассказов» Андреева. 25...27 сентября 1901 г. он писал автору из Нижнего Новгорода: «Рассказ о Сергее Петровиче» — хорошая, умная и тонкая вещь,— представьте! Раньше это не нравилось мне, а теперь вот прочитал и сказал — ого!» (*ЛН*, т. 72, с. 96). Еще более восторженно отозвался об этом произведении В. В. Стасов в письме к Д. В. Стасову от 27 марта 1903 г.: «Возьми и прочитай поскорее в его «Рассказах» (посвященные Горькому) его «Рассказ о Сергее Петровиче». Это что-то невероятное для русского (кроме Льва Толстого, конечно, который в 100 000 раз, повторяю, выше). Этот «Сергей Петрович» — нечто вполне достойное «Sur l'eau» ⟨«На воде»⟩ и «Inutile beauté» ⟨«Бесполезная красота»⟩ Мопассана, особенно в страницах 94—100. В России так никто из авторов не писал и не думал» (Стасов В. В. Письма к родным, т. III, ч. 2. М., Музгиз, 1962, с. 183). Указанные страницы соответствуют с. 237—242 наст. изд.

Рассказ переводился на французский (журн. «Mercure de France», март, 1903) и др. языки.

В ТЕМНУЮ ДАЛЬ

стр. 251

Впервые — в газете «Курьер», 1900, 25 декабря, № 357. Отдельным изданием выпущен в Ростове-на-Дону издательством «Донская речь» (1904) и в «Дешевой библиотеке т-ва «Знание», № 60 (СПб., 1906).

М. Горький отметил в этом рассказе новые для Андреева ноты, свидетельствующие о дальнейшем сближении автора с революционным крылом русского освободительного движения. «В темную даль» — хорошо! — писал он Андрееву из Нижнего Новгорода 26—28 января 1901 г.— Очень хорошо. Эх, как вы можете писать и как надо бы вздуть вас! Чтоб ⟨...⟩ вы к себе относились серьезнее, чтобы кислоту из души выпаривали, сударь мой, хорошей работой мозга, чтоб смотрели вы в жизнь глубже. Все это вам подобает, ибо — если вы можете отправлять человека «в темную даль»,— стало быть, можете провидеть в ней и свет...» (*ЛН*, т. 72, с. 82). Предложив далее в письме Андрееву несколько тем, М. Горький снова вернулся к рассказу «В темную даль»: «Дело жизни по нынешним дням все в том, чтоб, с одной стороны, организовать здоровый, трудящийся народ — демократию; с другой — чтоб дезорганизовать усталых, сытых, хмурых буржуев. Бодрому человеку только намекни — он поймет, и улыбнется, и увеличит бодрость свою, больного скукой мещанина — ткни пальцем — и он начнет медленно разрушаться.

Хорош этот Николай, ушедший в темную даль! Он, действительно, орленок, хотя и пощипанный! Пускай пощипанный — это еще лучше — умеет наносить удары, ибо — был бит 〈...〉 В темной дали этой есть нечто чрезвычайно определенное и крепкое — в ней разрастается чувство человеческого достоинства, здоровое, упругое чувство! Вырастает человек новый — личность, ясно — хотя может быть и узко — сознающая свое право творить жизнь новую, жизнь яркую, жизнь свободную, и уже теперь эта личность умеет ненавидеть всей силою души жизнь теплую, жизнь сытую, жизнь скучную, жизнь уютно-мещанскую» (т а м ж е, с. 83). А. В. Луначарский в статье «О художнике вообще и некоторых художниках в частности», напротив, раскритиковал образ революционера Николая в рассказе «В темную даль» за схематизм и абстрактность: «Все черты крупного человека налицо, но чем занимается, что думает, что делает он — не видать» (Русская мысль, 1903, № 2, с. 62). Л. Н. Толстому рассказ Андреева понравился, и он оценил его высшим баллом: «5» (см.: *Библиотека Л. Н. Толстого*, с. 39).

СМЕХ

Стр. 264

Впервые, с подзаголовком: «Одна страничка»,— в газете «Курьер», 1901, 5 января, № 5. В 1904 г. рассказ вышел в Москве брошюрой (вместе со сказкой Л. Н. Толстого «Три вопроса»).

Рецензируя это издание, Мих. Бессонов отметил и «Смех» — «немного истеричный, но отмеченный печатью крупного психологического таланта рассказ», который, по мнению критика, представляет собой «безумственные» упражнения в подражание Метерлинку...». «Нам кажется,— продолжает Мих. Бессонов,— что «ничего доброго на стезе истерического символизма у Андреева не выйдет и что вообще художникам слова незачем прибегать к дерганью читательских нервов только затем, чтобы обрисовать чрезвычайно простые мысли о гнете жизни и разных социальных несправедливостях» («Волынь», 1902, № 93, 27 апреля). В 1903 г. перевод рассказа «Смех» напечатал болгарский журнал «Летописи» (№ 7). В 1907 г. опубликован первый перевод рассказа на румынский язык.

ЛОЖЬ

Стр. 268

Впервые — в газете «Курьер», 1901, 20 февраля, № 50.

Современная критика разных направлений отнеслась к рассказу «Ложь» неодобрительно. «Это,— писал Н. К. Михайловский,— что-то вроде монолога душевно больного, в котором беспорядочным вихрем носятся фантастические образы, переплетаясь с

реальною действительностью. ⟨...⟩ Но подлинного сумасшествия в «Лжи» так же мало, как и в «Записках сумасшедшего» ⟨Н. В. Гоголя⟩. ⟨...⟩ Я не знаю, что может значить эта «Ложь», кроме настроения отчаяния, вызванного невозможностью добиться правды» (*Михайловский*, с. 122). Впоследствии Н. К. Михайловский подарил Андрееву экземпляр своих сочинений с надписью: «Л. Андрееву от любящего, *несмотря* на «Ложь» и «Стену», автора» (цит. по кн.: Львов-Рогачевский В. Л. Две правды. Книга о Леониде Андрееве. СПб., кн-во «Прометей», 1914, с. 47). М. Чуносов ⟨И. И. Ясинский⟩ в рецензии на книгу «Рассказов» Андреева, напечатанной в издававшемся И. Ясинским журнале «Ежемесячные сочинения» (1901, № 12), в целом положительно оценивая творчество Андреева, осудил «Ложь» за «романтическую присочиненность». В. Шулятиков, отметив, что Андреева привлекают «драмы» одиноких душ», слишком замкнувшихся в своем одиночестве, чувствующих трепет ужаса перед непонятными, странными, таинственными явлениями жизни, называл автора «Лжи» психологом «во вкусе Эдгара По» (Курьер, 1901, № 278, 8 октября). Критик «Русского слова» (1901, 22 октября, № 291) утверждает, что «Андреев по преимуществу реалист», но испытал «веяния времени» и что рассказы его, примыкающие к символистическому направлению, «отличаются всего более невыдержанностью. Вы чувствуете в них искусственность, натянутость. Автор вдается здесь в мелодраматизм, придает мистическую окраску своим картинам, впадает в утрировку и сентиментальность». Анонимный рецензент «Русских ведомостей» (1901, 15 октября, № 285) обращает внимание на стилистическую близость рассказа «Ложь» рассказу Эдгара По «Молчание» ⟨«Тишина»⟩ и подчеркивает: «Собственное сильное чувство автора придает оригинальность тому, что в названных рассказах не представляется самостоятельным». Безоговорочно осудил «Ложь» Л. Н. Толстой, оценив этот рассказ «нулем» и приписав на полях книги: «Начало ложного рода» (*Библиотека Л. Н. Толстого*, с. 38).

ЖИЛИ-БЫЛИ

Стр. 276

Впервые — в журнале «Жизнь», 1901, № 3, март. Отдельным изданием рассказ выпущен в «Дешевой библиотеке т-ва «Знание», № 59 (СПб., 1906).

Рассказ написан в клинике профессора Московского университета М. П. Черинова, где Андреев лечился от неврастении с 25 января по 22 марта 1901 г. Сохранилась фотография, на которой Андреев изображен сидящим за столом с группой больных. На первом

плане дьякон заводской церкви с рельсопрокатного завода в Бежицах, послуживший Андрееву прототипом для дьякона Филиппа Сперанского в рассказе. Среди других больных на снимке трудно «опознать» богатого купца, выведенного Андреевым в «Жили-были» под именем Лаврентия Кошеверова, но зато отлично получился третий, правда, эпизодический персонаж рассказа студент Константин Торбецкий — сам Андреев. Андреев писал свой рассказ тайно от секретаря редакции «Курьера» И. Д. Новика, которому должен был из клиники М. П. Черинова отсылать свои новые фельетоны для газеты.

Рукопись «Жили-были» Андреев переслал в редакцию журнала «Жизнь», где с ней познакомился М. Горький. «А «Жили-были» — прекрасно! — писал он Андрееву 5...7 марта 1901 г. из Петербурга.— ⟨...⟩ У вас поднимается настроение» (*ЛН*, т. 72, с. 85).

Критика встретила рассказ с большим сочувствием, указывая на то, что это «наиболее правдивый и законченный из реальных рассказов г. Андреева» (Русское слово, 1901, 22 октября, № 3). Получив от Андреева в подарок «Рассказы», Л. Н. Толстой писал автору из Гаспры (Крым) 30 декабря 1901 г.: «Я уже прежде присылки прочел почти все рассказы, из которых многие очень понравились мне. Больше всех мне понравился рассказ «Жили-были», но конец, плач обоих, мне кажется неестественным и ненужным» (Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями в 2-х томах, т. 2. М., Художественная литература, 1978, с. 408).

Андреев сначала был удивлен тем, что критика предпочла «Жили-были» его «Рассказу о Сергее Петровиче». Он писал А. А. Измайлову в апреле — мае 1901 г. о рассказе «Жили-были»: «Его хвалят и читатели и критики, а я этих похвал не понимаю, и мне рассказ кажется неважным. Правда, форма его лучше, нежели у «Сер⟨гея⟩ Петр⟨овича⟩... (*РЛ*, 1962, № 3, с. 195). Однако позже в письме М. Горькому от 1...10 мая 1904 г. Андреев рассуждал: «Хорошо я пишу лишь тогда, когда совершенно спокойно рассказываю о неспокойных вещах и не лезу сам на стену, а заставляю стену лезть на читателя. «Большой шлем», «Жили-были» — вот мое настоящее» (*ЛН*, т. 72, с. 212).

ГОСТИНЕЦ

Стр. 295

Впервые — в газете «Курьер», 1901, 1 апреля, № 90. Под заглавием «Пасхальный гостинец» — в журнале «Народное благо», 1902, № 13-14, 14 апреля. Отдельным изданием рассказ выпущен в 1904 г. в Ростове-на-Дону издательством «Донская речь». Л. Н. Толстой читал «Гостинец» в т. 3 Сочинений

Л. Андреева («Мелкие рассказы»), выпущенном «Знанием» в 1906 г. В книге им отчеркнуто 19 строк со слов: «Вот и длинный корридор...» и на полях выставлена оценка: «5» (*Библиотека Л. Н. Толстого*, с. 40).

КУСАКА
Стр. 302

Впервые — в «Журнале для всех», 1901, № 9, сентябрь. Рассказ включен в «Книгу рассказов и стихотворений», изданную в Москве книжным магазином С. Курнина и К^{0}. Деньги от продажи сборника в 1905 г. были переданы забастовочному комитету работников почты и телеграфа.

В письме К. И. Чуковскому, написанном до 19 июля 1902 г., Андреев подчеркивал: «Мне не важно, кто «он» — герой моих рассказов: поп, чиновник, добряк или скотина. Мне важно только одно что он человек и как таковой несет одни и те же тяготы жизни. Более того: в рассказе «Кусака» героем является собака, ибо все живое имеет одну и ту же душу, все живое страдает одними страданиями и в великом безличии и равенстве сливается воедино перед грозными силами жизни» (Чуковский Корней. Из воспоминаний. М., Советский писатель, 1959, с. 270).

ИНОСТРАНЕЦ
Стр. 309

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1902, № 12.

Посылая рукопись «Иностранца» Н. К. Михайловскому, Андреев в сентябре 1902 г. писал: «Боюсь я насчет цензуры. Осторожно обходил я все камни, но на один все-таки наткнулся. Фраза: «А тебя, Райко, в Сербии — не пороли?» Чем заменить, не знаю, а если вычеркнуть — здорово напортит рассказ» (*ЛА*, с. 58). В опубликованном тексте этой фразы нет. В октябре 1902 г. Андреев ответил на полученное им письмо Н. К. Михайловского: «Очень, очень рад, что Вам понравился «Иностранец» — на этот раз наши вкусы совпали: мне рассказ не то чтобы нравится, а вызывает он во мне чувство какой-то весьма приятной теплоты. Отсюда не следует, однако, чтобы конец рассказа я так и оставил — в его несколько искусственном и излишне тенденциозном виде. Постараюсь исправить и исправленное пришлю Вам в конце Октября» (там же, с. 59). Однако своего обещания Андреев, сославшись на болезнь, не выполнил. В новом письме Н. К. Михайловскому он писал: «...Пусть

«Иностранец» останется как есть: нужны в конце только частичные поправки, для которых достаточно будет корректуры. Пожалуйста, пришлите ее, и в тот же день я отошлю обратно» (т а м ж е, с. 61). 28 ноября 1902 г. Андреев известил К. П. Пятницкого, что решил не посылать «Иностранца» в Германию для перевода на немецкий язык: «...чем больше я о нем думаю, тем меньше он мне нравится» (*АГ. П-ка «Зн».*, 2—4—34). Позже Андреев изменил свое решение. В 1903 г. в Берлине издательство Гуго Штейница выпустило книгу рассказов Андреева в переводе на немецкий язык (вошли рассказы «Иностранец», «В подвале», «В темную даль» и «Валя»). На перемену решения, возможно, повлиял отзыв об «Иностранце» М. Горького, написавшего Андрееву в первых числах января 1903 г.: «Тебя всякий хочет поставить рядом с собой, это очень понятно, но — ты этого не позволяй 〈...〉 Особенно теперь, когда у публики, ранее тебя отрицавшей, после «Иностранца» даже на спинах и ниже спин — сияет ярким заревом весьма румяный стыд за свою тупость» (*ЛН*, т. 72, с. 170).

23 ноября 1902 г. в Киеве, в зале купеческого собрания, намечался вечер в пользу нуждающихся студентов Киевского университета, на котором Андреев собирался прочитать своего «Иностранца». Чтение не состоялось, поскольку на запрос киевского генерал-губернатора Ф. Ф. Трепова о благонадежности Андреева последовала 17 ноября 1902 г. телеграмма московского обер-полицеймейстера Д. Ф. Трепова: «Андреев неблагонадежен». Внезапно «заболевшего» автора заменил на вечере актер И. Ф. Булатов, прочитавший «Иностранца» по рукописи, что и стало «гвоздем вечера» («Киевская газета», 1902, 25 ноября, № 326).

Отзывы критики об «Иностранце» были весьма сдержанными. Прежде всего рецензентов не удовлетворял образ положительного героя рассказа студента Чистякова: одни сетовали на художественную «тусклость и неопределенность» этого образа (Г е к к е р Н. «Одесские новости», 1903, 11 января, № 5855), другие утверждали, что рассказ, изображающий кутежи и безобразия студентов, мог бы быть напечатан в таких реакционных изданиях, как «Новое время» и «Московские ведомости» («Баку», 1903, 15 января, № 12), или полагали, что «Иностранец» свидетельствует якобы о тихой примиренности Андреева с жизнью (Ж у р н а л и с т 〈П. М. Пильский〉) — «Каспий», 1903, 25 января, № 21). Правда, рецензент газ. «Северный край» (Подпись Ф. С.) выражал уверенность: «Пройдет время, и Чистяковы, наверное, подвинутся вперед в смысле определенности. Их прекрасные стремления перейдут в дело» («Северный край», 1903, 5 февраля, № 33).

Стр. 311. ...*народ воздвиг два прекрасных памятника: Бьернсону и Ибсену, еще при жизни последних...*— Бьёрнстьерне Бьёрнсон (1832—1910), Генрик Ибсен (1828—1906) — писатели-классики

норвежской литературы, памятники которым при жизни поставлены в Христиании (ныне г. Осло). Андреев просил уточнить этот факт в письме И. А. Бунину летом 1902 г. (*ЦГАЛИ*, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 50, л. 10).

Стр. 318. *Покой-ной но-о-чи всем уста-а-вшим...*— Стихотворение украинского писателя Б. Д. Гринченко в переводе Ив. Белоусова. См.: Белоусов И. А. Из песен о труде. Стихотворения. М., 1897 (Библиотека «Детского чтения»), с. 48.

Стр. 322. *«Родина» «Прости меня!»* — Ассоциация со стихотворением Н. А. Некрасова «Неизвестному другу» (1867), завершающимся строками: «За каплю крови общую с народом // Мои вины, о родина! прости!».

СТЕНА
Стр. 322

Впервые — в газете «Курьер», 1901, 4 сентября, № 244.

М. Горький прочел «Стену» не сразу после ее опубликования. В письме Андрееву от 2...4 декабря 1901 г. он писал: «Стена», при всей ее туманности, внушает нечто большее» (*ЛН*, т. 72, с. 114). Андрееву очень хотелось включить «Стену» в дополненное издание его «Рассказов». 30 декабря 1901 г. Андреев просил Горького: «...и вот не знаю насчет «Стены». Мне она, ей-богу, нравится. Пошлю ее тебе, будь другом, просмотри еще раз — и реши. Мне думается, что она довольно ясна, и читатель ее уразумеет» (там же, с. 126). Не дождавшись ответа на свое письмо, Андреев обратился к К. П. Пятницкому 19 января 1902 г.: «Завтра посылаю вам «Стену». Алексей Максимович еще ничего определенного о ней не сказал, но пусть на всякий случай она будет у вас» (там же, с. 492).

Рассказ «Стена», как и следовало ожидать, произвел неоднозначное впечатление на читателей и критиков. Так, П. Ярцев в «Письмах о литературе» отмечал, что в «Стене» «чувствуется стремление к грандиозным образам, но нет теплоты вдохновения» и что «во всем проглядывает надуманность — притязательная и досадная» («Театр и искусство», 1903, № 40, 29 сентября, с. 726). Мих. Бессонов считал, что в «Стене» Андреев подражает М. Метерлинку («Волынь», 1902, 27 апреля, № 93). «Это не творчество, хотя бы декадентское,— уверял А. Скабичевский в статье «Литературные волки»,— а припадок какой-то психической болезни...» («Новости», 1902, 29 октября, № 298).

К Андрееву обращалось много читателей из молодежи с просьбой расшифровать символику «Стены». Широкое распространение

в списках получило письмо Андреева участнице освободительного движения А. М. Питалевой, датированное 31 мая 1902 г.

«Вы, вероятно, удивитесь тому, что я, автор, не в состоянии дать точного толкования различных подробностей рассказа «Стена» — но это так. Вполне определенными и строго ограниченными понятиями я не могу передать того, что представилось мне в виде образов живых и сложных, а потому не поддающихся регламентации.

Только в общих чертах, и притом с риском ошибиться, отвечу я на поставленный вами вопрос.

«Стена» — это все то, что стоит на пути к новой совершенной и счастливой жизни. Это, как у нас в России и почти везде на Западе, политический и социальный гнет; это — несовершенство человеческой природы с ее болезнями, животными инстинктами, злобою, жадностью и пр.; это — вопросы о смысле бытия, о Боге, о жизни и смерти — «проклятые вопросы».

Люди перед стеной — это человечество — в его исторической борьбе за правду, счастье и свободу, слившейся с борьбою за существование и узко личное благополучие. Отсюда то дружный революционный натиск на стену, то беспощадная, братоубийственная война друг с другом. Прокаженный — это воплощение горя, слабости и ничтожности и жестокой несправедливости жизни. В каждом из нас частица прокаженного.

Относительно голодного и повесившегося или повешенного я поясню примером. Много благородных людей погибло в Великую Революцию во имя свободы, равенства и братства, и на их костях воздвигла свой трон буржуазия. Те обездоленные, ради которых они проливали свою кровь, остались теми же обездоленными — тот умер за голодного, а голодному от него даже куска не осталось. Седая женщина, требующая от стены: отдай мне мое дитя — это мать любой из ваших подруг, или студента, сосланного в Сибирь, или покончивших с собой от тоски жизни, или спившихся — вообще так или иначе погибших в жестокой борьбе.

Смысл же всего рассказа в словах:

«...Нас много, и жизнь наша тягостна. Устелем трупами землю; на трупы набросим новые трупы и так дойдем до вершины. И если останется только один,— он увидит новый мир». Довольно верное и хорошее толкование дает «Стене» Геккер («Одесские новости», 1 мая). К его статье рекомендую вам обратиться. Очень буду рад, если мои объяснения удовлетворяют вас.

Леонид Андреев».

(«Звезда», 1925, № 2, с. 258.)

Объяснения Андреева не удовлетворяли читателей, порождали их новые вопросы к автору. «Для тех, кто чувствует стену, которую

на каждом шагу строит действительность, мои объяснения не нужны,— заявил Андреев в газетном интервью.— А тем, кто стены не чувствует или беззаботно торгует падающими с нее камнями, мои объяснения не помогут» («Биржевые ведомости», 1902, 13 ноября, № 310).

СЛУЧАЙ

Стр. 330

Впервые — в газете «Нижегородский листок», 1901, 16 октября, № 283 и «Журнале для всех», 1901, № 10, октябрь.

Сначала Андреев намеревался озаглавить свой рассказ «Держите вора!», так как у него уже был рассказ «Случай», напечатанный в «Курьере», 1899, 14 и 15 января, № 14, 15, впоследствии никогда не переиздававшийся. Под заглавием «Держите вора!» рассказ был вновь напечатан в газете «Утро» (14 июля 1908 г.) и включен в литературно-художественный сборник журнала «Жизнь» (СПб., 1908) и в сборник «Утренники» (М., 1906); в Собрании сочинений Андреев возвратил рассказу заглавие «Случай».

НАБАТ

Стр. 337

Впервые — в газетах «Нижегородский листок», 1901, 24 ноября, № 322 и «Курьер», 1901, 24 ноября, № 325. Отдельным изданием рассказ вышел в Дешевой библиотеке т-ва «Знание», № 51 (СПб., 1906).

Сам автор был невысокого мнения об этом рассказе :«Напечатал на днях 〈...〉 маленькую ерундицу...» — известил он Горького 24 ноября 1901 г. (*ЛН*, т. 72, с. 110). «Набат» — великолепно! Очень великолепно»,— живо откликнулся Горький в письме Андрееву из Олеиза (Крым) 1 декабря 1901 г. (т а м ж е, с. 114). «Набат» — отражение мною переживаемого»,— лаконично написал Андреев М. Горькому 17 декабря 1901 г. (т а м ж е, с. 118). По настоянию М. Горького Андреев включил «Набат» во второе, дополненное издание своих «Рассказов».

14 февраля 1903 г. Андреев читал рассказы «Набат» и «Смех» в Нижнем Новгороде на литературно-музыкальном вечере, сбор от которого, за вычетом расходов, пошел в фонд постройки дома для школьников (см. «Нижегородский листок», 1903, 15 февраля, № 45).

Антид Ото 〈Л. Троцкий〉 в рецензии на второе издание «Рассказов» Л. Андреева, отметив импрессионистичность рассказа «На-

бат», при чтении которого ему вспомнились «Колокола» Эдгара По, далее рассуждает: «Реалист ли Леонид Андреев? Да, реалист, если этим словом хотят обозначить не какие-нибудь специальные приемы, но лишь то, что автор не лжет против жизни. Да, реалист. Но его правда — не правда конкретного протокола, а правда психологическая. Андреев, употребляя выражение старой критики, «историограф души» и притом души преимущественно в моменты острых кризисов, когда обычное становится чудесным, а чудесное выступает, как обычное...» («Восточное обозрение», 1902, № 129, 5 июня.)

«Набат» и «Молчание» — первые произведения Андреева, переведенные на польский язык (журнал «Химера», 1902, № 2).

В ПОДВАЛЕ
Стр. 342

Впервые — в газете «Курьер», 1901, 25 декабря, № 356. Отдельным изданием рассказ выпущен в Дешевой библиотеке т-ва «Знание», № 56, СПб., 1906.

7 января 1902 г. в письме К. П. Пятницкому Андреев упоминает «В подвале» в числе рассказов, которыми он думает дополнить второе издание сборника своих *Рассказов* (1902). «Так плохо чувствую себя, что не в силах, как намеревался, переделать рассказ «В подвале» (*АГ, П-ка «Зн»*, 2—4—13). В письме ему же от 10 февраля Андреев просил: «Если корректуру получите поздно, то нельзя ли Вам собственноручно в рассказе «В подвале» исправить беленькое плечико ребенка на розовенькое». (*АГ, П-ка «Зн»*, 2—4—19). К. П. Пятницкий выполнил просьбу автора.

КНИГА
Стр. 351

Впервые — в сб. «Помощь», СПб., 1903 (второе, дополненное издание литературно-художественного сб. «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая». СПб., 1901).

Андреев-фельетонист часто писал в «Курьере» о жестокой эксплуатации «хозяевами» детского труда. Так, в фельетоне «Москва. Мелочи жизни» («Курьер», 1900, № 342, 10 декабря) он написал о подростке-разносчике, который тащил по улице непомерный по тяжести груз. Возможно, этот эпизод и припомнился Андрееву в рассказе «Книга». Между 10 и 17 декабря 1901 г. Андреев попросил в письме М. Горького: «Можно украсть у тебя для маленького рассказика:

Эх! ты судьба ли моя черная,
Ты как ноша мне чугунная?» (*ЛН*, т. 72, с. 118)

М. Горький ответил 23 декабря 1901 г.: «Бери у меня «судьбу» и всё, что тебе угодно» (т а м ж е, с. 122). Речь шла о русской народной песне «Седина ль моя сединушка...», использованной М. Горьким в повести «Трое», печатавшейся в 1900 г. в журнале «Жизнь».

Рассказ «Книга» предназначался Андреевым для «Журнала для всех», но рукопись его затерялась в бумагах Андреева после произведенного у него на квартире по предписанию московского оберполицеймейстера в ночь на 31 января 1902 г. обыска. Причиной обыска была связь Андреева с членами нелегального студенческого исполнительного комитета Московского университета (см. письма Андреева В. С. Миролюбову от 8 февраля и 24 марта 1902 г. (*ЛА*, с. 93).

БЕЗДНА
Стр. 355

Впервые — в газете «Курьер», 1902, 10 января, № 10.

Авторская дата: «Январь 1902 г.», по-видимому, имеет в виду окончательную редакцию этого рассказа, написанного еще в 1901 году. Писатель Е. Янтарев, вспоминая о начале своего знакомства с Андреевым, рассказывал, что Андреев однажды выразил желание побывать на одной из «суббот» в студенческой квартире. Участниками вечеров были начинающий тогда писатель Г. И. Чулков, приват-доцент А. С. Ященко, автор книги «Студенты в Москве» П. К. Иванов и др. Андреев заболел и за два дня до «субботы» прислал для прочтения рукопись «Бездны». Дней через десять Е. Янтарев посетил Андреева на его квартире. Собралось человек двадцать — начинающие авторы, сотрудники «Курьера», студенты. Начался обмен мнениями по поводу рассказа «Бездна». «Л. Н. отстаивал правдоподобие и реальность сюжета, придавал ему универсальный смысл и прямо заявлял, что, по его мнению, всякий человек, поставленный в те же условия, что и Немовецкий, независимо от степени его культурности и классового положения, сделал бы то же: упал бы в «бездну» («Голос», 1908, 14 апреля, № 8). В тот же вечер, по свидетельству Е. Янтарева, у Л. Андреева говорили о «последнем» его фельетоне по поводу постановки «Трех сестер» в Московском Художественном театре (Л и н ч Д ж е м с. Москва. Мелочи жизни. «Курьер», 1901, 21 октября). Это уточняет дату дискуссии о «Бездне» у Андреева и дату написания рассказа. 24 ноября 1901 г. Андреев известил М. Горького: «Бездну» продал «Курьеру» за 55 целковых» (*ЛН*, т. 72, с. 110). 28 ноября Андреев познакомил со своим новым рассказом «Среду». «Андреев,— писал Н. Д. Телешов И. А. Бунину,— читал вчера новую вещь (45 минут читал). Очень хорошо и сильно, хотя нужно сократить кое-что и

выправить вообще. Молодчина Андреев!» (*ЛН*, т. 74, кн. 1, с. 532). Сохранилось любопытное свидетельство и о чтении «Бездны» у М. Горького в Крыму 13 января 1902 г. «Когда мы жили в Олеизе,— вспоминала В. Н. Кольберг,— Андреев прислал свой рассказ «Бездна». После ужина собрались слушать его. Приехавший из Ялты доктор Средин, больной туберкулезом, тоже остался слушать. Алексей Максимович читал сам, впечатление от рассказа было очень сильное и страшно тяжелое» (*ЛН*, т. 72, с. 576). После чтения Горький отослал рассказ К. П. Пятницкому в Петербург для включения его в готовившееся дополненное издание книги «Рассказов» Андреева в «Знании».

Как и следовало ожидать, напечатание «Бездны», «эпатирующий» финал рассказа произвели ошеломляющее впечатление на читателей и критиков. «Читают взасос,— писал Андреев М. Горькому 19 января 1902 г.— номер из рук в руки передают, но ругают!! Ах, как ругают. В печати пока еще молчат, но из прилагаемой вырезки («Русские ведомости» — Игнатов) видно, какова будет речь» (там же, т. 72, с. 134). Андреев имел в виду статью «Литературные новости» И. Н. Игнатова («Русские ведомости», 1902, № 17, 17 января), в которой тот, не называя Андреева по имени, утверждал, что «молодой автор», следуя за Г. Мопассаном, создал в погоне за оригинальностью «образцовую гнусность», произвел выстрел по человеческой природе. Шум вокруг «Бездны» приобретал значение литературно-общественного скандала. Все это заставило Андреева выступить в печати с объяснением его намерений и идейного замысла произведения. «Можно быть идеалистом, верить в человека и конечное торжество добра,— писал Андреев,— и с полным отрицанием относиться к тому современному двухногому существу без перьев, которое овладело только внешними формами культуры, а по существу в значительной доле своих инстинктов и побуждений осталось животным ⟨...⟩ Чтобы идти вперед, чаще оглядывайтесь назад, ибо иначе вы забудете, откуда вы вышли и куда нужно вам идти ⟨...⟩ Пусть ваша любовь будет так же чиста, как и ваши речи о ней, перестаньте травить человека и немилосердно травите зверя. Путь впереди намечен людьми-героями. По их следам, орошенным их мученической кровью, их слезами, их пóтом, должны идти люди — и тогда не страшен будет зверь. Ведь все звери боятся света» («Курьер», 1902, № 27, 27 января).

В том же письме М. Горькому от 19 января 1902 г. Андреев излагает свой план «пустить «Бездну» во второй книжке вместе с *«Антибездной»,* которую он хочет «написать в целях всестороннего и беспристрастного освещения подлецки-благородной человеческой природы» (*ЛН*, т. 72, с. 135). «Антибездны» Андреев не написал, но, признавая неудачу «эпатирующего» финала рассказа, предоставил слово... герою рассказа студенту Немовецкому:

Милостивый государь
г. Редактор!

Прежде всего позвольте сказать, кто я. Я — герой «Бездны»... Да, да, герой той самой «Бездны», которую написал Леонид Андреев,— студент-техник Немовецкий.

И всё, что написал про меня Леонид Андреев, действительно было, хотя и не так, как он это написал. Я давно начал писать вам о том, что вы прочтете ниже, но затем бросил. Подумал: к чему писать? Того, что написал Леонид Андреев, не то что не уничтожишь пером, а не вырубишь и топором. Да и не один Леонид Андреев обо мне писал. Поносили меня и Буренин, и все кому не лень. Даже приличнейший г. Скабичевский и тот облил меня грязью и объявил, что я представитель той лжеинтеллигенции, которая только на словах что-то проповедует, а на деле оказывается отребьем человеческого рода.

Затем все это как-то затихло, а теперь опять... Нет. Это уж слишком... Я не могу допустить, чтобы это так продолжалось, и объявляю во всеуслышание, что никогда не был повинен в том, в чем меня обвиняет Л. Андреев. Никогда... Я повинен кое в чем, может быть, гораздо худшем, гораздо более гнусном, но не в том.

Теперь расскажу, как все было, расскажу все без утайки.

Сначала, действительно, все было, как описывает Леонид Андреев. Если же и было не совсем так, то у Леонида Андреева оно описано с такой яркостью и силой, что я и сам теперь уже не могу себе представить, чтобы это было как-нибудь иначе. Да, все это так и было. Зиночка бросилась бежать. Вслед за ней кинулись эти проклятые бродяги, а на меня набросился один из них, и через несколько мгновений я, избитый, полетел в овраг. В безумном страхе я искал ее и, неожиданно, наткнулся на ее тело. Я упал подле нее на колени и целовал ей руки, дул ей в лицо, тормошил ее и всячески старался привести в сознание. Я понимал, какому ужасному поруганию подвергли ее, и это сознание, как будто, рождало боль в моей душе. Но все это тонуло в каком-то отчаянии и страхе, что она не проснется, что она умирает. Сердце мое билось, и в мучительной тревоге мысли мои путались в какой-то пестрый хаос. Наконец она глубоко вздохнула и открыла глаза. О счастье, о радость! Она жива и будет жить. И, забыв все на свете, я целовал ее руки и чувствовал, как на них из моих глаз скатывались слеза за слезой. И я поднял ее и помог ей встать. Разорванное платье обнажало ее плечи и грудь, и я старался прикрыть их, насколько возможно. Она, очевидно, еще не вполне пришла в себя и как-то странно озиралась, даже не замечая своего разорванного платья и наготы своих плеч. И вдруг она все вспомнила и поняла... Глаза ее широко раскрылись, из груди ее

вырвался стон и, закрывая свою обнаженную грудь трясущимися руками, она с глухим рыданием прильнула ко мне и, точно ища защиты, спрятала свое лицо на моей груди. И вдруг я тоже все понял, понял уже не только умом, не только сознанием, но и всем сердцем, всем своим существом...

И тут-то свершился ужас, который гораздо страшнее всего, описанного Леонидом Андреевым. Я знал головой, что она, Зина, которую я любил, как мне казалось, больше жизни,— я знал, что она страдает и ждет от меня опоры, защиты и утешения. Я знал, что в этот момент я нужен ей, как никогда, и я хотел приласкать ее, пригреть, успокоить и ободрить, и вместо всего этого я чувствовал, как холод какого-то омерзения широкой волной накатывается на меня и леденит мое сердце. Она сделалась мне физически противной, отвратительной и совершенно чужой. Невольно я сделал движение, чтобы оттолкнуть ее, и, когда при этом рука моя коснулась ее обнаженного плеча, я почувствовал холод ее озябшего тела, и мне вдруг показалось, что это тело не просто холодно, а покрыто какой-то омерзительной холодной слизью. И я оттолкнул ее.

С тех пор мы больше не видались. Я слышал, что она была долго и тяжело больна, но к ней я не пошел.

Я знаю, что тогда заговорил во мне не человек, а зверь. От этого сознания в душе моей живет ненависть к самому себе. И все-таки она, Зина, которую я так любил даже за полчаса до всего, что совершилось, стала для меня чужой, жалкой, ненужной и даже физически противной...

Я вовсе не хочу оправдываться. Я думаю, что все, содеянное мной, много даже хуже того, что мне приписал г. Леонид Андреев. Если бы я совершил гнусность, которую он мне приписал, это был бы редкий и даже исключительный случай. Это было бы какое-то минутное затемнение рассудка животной страстью и только. То же, что совершилось со мной, именно потому и страшно, что оно не чуждо никому. С большей половиной человеческого рода произошло бы наверное то же. Разве не ревнуем мы наших жен ко всем их прежним увлечениям, и разве примиритесь вы хоть когда-нибудь с фактом, если узнаете, что ваша сияющая невинной чистотой невеста когда-то любила и принадлежала другому? Разве это воспоминание не будет отравлять вам каждой минуты восторга, который вы будете переживать вновь с ней? И, любя ее, разве не будете вы ее в то же самое время презирать и ненавидеть?..

А если ваша невеста подвергнется тому же, чему подверглась Зина, разве вы так, без колебаний, женитесь на ней?..

Все мы — звери и даже хуже, чем звери, потому что те, по крайней мере, искренни и просты, а мы вечно хотим и себя и еще кого-то

обмануть, что все звериное нам чуждо. Мы хуже, чем звери... мы подлые звери...

Вот все, что я хотел сказать в свое оправдание, а, может быть, и обвинение...

Немовецкий.

Примечание редакции. По наведенным справкам ни в одном техническом учебном заведении не оказалось студента с этой фамилией. Таким образом, письмо это является просто оригинальным приемом критики «Бездны». Помещаем его в виду интереса, который возбуждает теперь снова этот напечатанный нами год тому назад рассказ нашего уважаемого сотрудника («Курьер», 1903, № 8, 6 марта). Подражанием «Письму в редакцию» Немовецкого было также «Письмо в редакцию», подписанное именем Зинаиды Немовецкой, то есть героини, ставшей по воле автора «Письма» женой Немовецкого (автор — В. Жаботинский, напечатано в «Одесских новостях», 1903, № 5918, 17 марта); появилось и «письмо» босяков («Волынь», 1903, № 65, 10 марта, автор скрылся под псевдонимом Омега). В 1903 г. «Бездна» была напечатана в Берлине издательством Иоганна Рэде. Книга была дополнена статьей Л. Н. Толстого о Г. Мопассане и «письмами» героев рассказа.

Большим огорчением для Андреева стал отрицательный отзыв о «Бездне» Л. Н. Толстого, приведенный в корреспонденции из Ясной Поляны журналиста Ф. Г. Мускаблита: «Ведь это ужас!.. Какая грязь, какая грязь!.. Чтобы юноша, любивший девушку, заставший ее в таком положении и сам полуизбитый — чтобы он пошел на такую гнусность!.. Фуй!.. И к чему это все пишется?.. Зачем?..» («Биржевые ведомости», 1902, № 236, 31 августа). «Письмо» Немовецкого и явилось в известной степени объяснением Андреева с Л. Н. Толстым. 30—31 августа 1902 г. Андреев писал критику А. А. Измайлову: «Читали, конечно, как обругал меня Толстой за «Бездну»? Напрасно это он — «Бездна» родная дочь его «Крейцеровой сонаты», хоть и побочная. 〈...〉 Вообще попадает мне за «Бездну»,— а мне она нравится. Вот пойди тут-то. В ней есть одно драгоценное свойство: прямота. Оттого я некоторое время и боялся ее печатать, а теперь жалею, что не могу ее напечатать сто раз подряд» (*РЛ*, 1962, № 3, с. 198).

Примечательно, что позже автор «Литературных очерков» (псевдоним: Старый) обращал внимание на то, что «андреевская «Бездна» есть не что иное, как совершенно самостоятельный, оригинально разработанный вариант на ту же тему, что и «Власть тьмы» Л. Толстого, с неизбежной, конечно, разницей в силе между Л. Андреевым и Л. Толстым («Русское слово», 1904, № 186, 6 июля).

М. Горький в развернувшейся вокруг «Бездны» полемики встал на сторону Андреева, объясняя шум вокруг рассказа и яростные на него нападки читателей и критиков крайним раздражением на Андреева мещан. Не соглашаясь с М. Горьким, Вл. И. Немирович-Данченко писал ему 18 июня 1902 г.: «Прочел наконец и *«Бездну»* Андреева, о которой так много говорили ⟨...⟩ Я *не верю* финалу «Бездны». Это уродство, каких немало в человеческой жизни, а не бездна, как ее хочет понимать Андреев. Впрочем, я и в такое уродство не верю. Почему мне кажется, что Андреев не доверяет своему дарованию и *измышляет* сюжеты, точно подыскивает дерзко-курьезных? Положительно, он больше выдумывает, чем наблюдает (кроме природы, которую хорошо чувствует)» (Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма. Т. I. М., Искусство, 1979, с. 255). Впоследствии в пору разрыва с Андреевым М. Горький пересмотрел свою оценку и «Бездны».

Интерес к «Бездне» в критике вновь оживился после публикации рассказа Андреева «В тумане». «Андреев,— отмечала газета «Асхабад», 1903, № 56, 26 февраля,— правда, подчеркивает зоологичность происхождения человека и порой, как, например, в «Бездне», довольно искусственно ситуирует обстоятельства, но это сторицей окупается тем психологическим эффектом, который получается в результате: чувство отвращения, омерзения ко всему гадкому, благодаря именно этой искусственности построения рассказов, у читателя достигает крайних пределов, граничась с ужасом». «...В той гадливости, с которой каждый отвернется от Немовецкого, заключается уже много протеста против одной из самых темных сил, которые таятся в человеке» («Северо-западное слово», 1903, № 1553, 29 марта). «Андреев свою «Бездну» писал, несомненно, с ужасом перед этой бездной, с тоской перед ней, с надрывом. Такое чувство более «писательское», более достойное художника, более, так сказать, художественное,— и тем не менее в «Бездне» нет художественной правды, или, вернее, правда неполная, не выдержанная до конца, правда, смешанная с сочинительством» («Русское слово», 1904, № 144, 25 мая). В большой статье «Социально-психологические типы в рассказах Леонида Андреева» Л. Войтоловский писал, что в «Бездне» — «грубый, бьющий в глаза трагизм сопоставляется с незримой трагедией души». Назвав физиологическим абсурдом с медицинской точки зрения конец рассказа, Л. Войтоловский подчеркнул, что смысл его дать коллизию «идеального» (мысли) с реальным» («Правда», 1905, № 8, с. 138, 139). Еще одно суждение о рассказе: «То, что разыгралось в «Бездне», вероятно, невозможно в действительности, а если и возможно, то так исключительно, что в обыденном смысле слова не типично. Но сущность интеллигентской психологии, ее основная болезнь замечательно угадана художником. Задатки андреевской *бездны*

существуют в большинстве раздвоенных интеллигентских душ, и с внутренней точки зрения безразлично, проявятся ли они реально или нет» (К о л т о н о в с к а я Е. А. Новая жизнь. Критические статьи. СПб., 1910, с. 92).

Стр. 357. *«...и со мною снова та, кого люблю...»* — неточная цитата из стихотворения Скитальца (С. Г. Петрова) «Ночи». См.: С к и т а л е ц. Рассказы и песни. Т. I, изд. 2-е. СПб., «Знание», 1903, с. 142.

Стр. 359. *«Для тебя одного, мой любезный...»* — Романс А. П. Денисьева «Чудный месяц» (1896). См. «Ночи безумные». Сб. русских песен и романсов. М., изд. И. Д. Сытина, 1912, с. 28—29. Слова романса являются переделкой стихотворения Вас. И. Немировича-Данченко «Ты любила его всей душою» (1882).

ВЕСНОЙ

Стр. 367

Впервые с подзаголовком «Эскиз»,— в газете «Курьер», 1902, 14 апреля, № 103.

Рассказ носит автобиографический характер. Павел — это сам Андреев-гимназист, переживающий смерть отца, скончавшегося 19 мая 1889 г. Как и в «Празднике», его волнует проблема преодоления чувства одиночества, которое, по Андрееву, возможно на пути осознания личностью своего долга, своих обязанностей перед другими людьми. У Андреева «личность противопоставляется ⟨...⟩ в конечном результате чему-то абсолютно ценному и великому, в слиянии с которым она за пределами раздельностей может найти удовлетворение» (Г а н ж у л е в и ч Т. Русская жизнь и ее течение в творчестве Л. Н. Андреева. СПб., 1908, с. 47).

Андреев считал рассказ «Весной» не удавшимся. 10 апреля 1902 г. он писал М. Горькому: «Пасхального рассказа моего не читай. Дрянь, сделанная в одни сутки на заказ, чтобы вывезти «Курьер», у которого совсем нет беллетристики» (*ЛН*, т. 72, с. 143).

ГОРОД

Стр. 376

Впервые — в газете «Курьер», 1902, 21 апреля, № 109. С посвящением Аркадию Павловичу Алексеевскому (1871—1943) — журналисту, сотруднику «Курьера», впоследствии (1907, 1909—1917) редактору московской газеты «Утро России». Первый муж (в гражданском браке) старшей сестры Андреева Риммы Никола-

евны Андреевой. Письма к А. П. Алексеевскому Андреева 1910—1916 гг. см. в кн.: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., Наука, 1979. Воспоминания А. П. Алексеевского об Андрееве см. *ЛН*, т. 72, с. 559—562.

МЫСЛЬ

Стр. 382

Впервые — в журнале «Мир божий», 1902, № 7, с посвящением жене писателя Александре Михайловне Андреевой.

10 апреля 1902 г. Андреев сообщил М. Горькому из Москвы в Крым: «Кончил «Мысль»; сейчас она переписывается и через неделю будет у тебя. Будь другом, прочти ее внимательно и если что неладно — напиши. Возможен ли такой конец: «Присяжные отправились совещаться?» Художественным требованиям рассказ не удовлетворяет, но это не так для меня важно: боюсь, выдержан ли он в отношении идеи. Думаю, что почву для Розановых и Мережковских не даю; о боге прямо говорить нельзя, но то, что есть, достаточно отрицательно» (*ЛН*, т. 72, с. 143). Далее в письме Андреев просил М. Горького после прочтения «Мысли» переслать рукопись А. И. Богдановичу в журнал «Мир божий». М. Горький рассказ одобрил. 18—20 апреля 1902 г. он ответил автору: «Рассказ хорош ⟨...⟩ Пускай мещанину будет страшно жить, сковывай его паскудную распущенность железными обручами отчаяния, лей в пустую душу ужас! Если он все это вынесет — так выздоровеет, а не вынесет, умрет, исчезнет — ура!» (т а м ж е, т. 72, с. 146). Андреев принял совет М. Горького снять в рассказе последнюю фразу: «Присяжные заседатели удалились в комнату совещаний» и закончить «Мысль» словом — «Ничего». О выходе книжки «Мира божьего» с рассказом Андреева «Курьер» информировал читателей 30 июня 1902 г., назвав произведение Андреева психологическим этюдом, а идею рассказа определив словами: «Банкротство человеческой мысли». Сам Андреев в октябре 1914 г. назвал «Мысль» — этюдом «по судебной медицине» (см. «Биржевые ведомости», 1915, № 14779, утр. вып. 12 апреля). В «Мысли» Андреев стремится опереться на художественный опыт Ф. М. Достоевского. Доктор Керженцев, совершающий убийство, в известной степени задуман Андреевым как параллель Раскольникову, хотя сама проблема «преступления и наказания» решалась Андреевым и Ф. М. Достоевским по-разному (см.: Е р м а к о в а М. Я. Романы Ф. М. Достоевского и творческие искания в русской литературе XX века.— Горький, 1973, с. 224—243). В образе доктора Керженцева Андреев развенчивает ницшеанского «сверхчеловека», противопоставившего себя людям. Чтобы стать «сверхчеловеком» по Ф. Ницше,

герой рассказа встает по ту сторону «добра и зла», переступает через нравственные категории, отбросив нормы общечеловеческой морали. Но это, как убеждает читателя Андреев, означает интеллектуальную смерть Керженцева, или его безумие.

Для Андреева его «Мысль» была насквозь публицистическим произведением, в котором сюжет имеет второстепенную, побочную роль. Столь же второстепенно для Андреева решение вопроса — безумен ли убийца, или только выдает себя за сумасшедшего, чтобы избежать наказания. «Кстати: я ни аза не смыслю в психиатрии,— писал Андреев 30—31 августа 1902 г. А. А. Измайлову,— и ничего не читал для «Мысли» (*РЛ*, 1962, № 3, с. 198). Однако столь ярко выписанный Андреевым образ исповедующегося в своем преступлении доктора Керженцева затенял философскую проблематику рассказа. По замечанию критика Ч. Ветринского, «тяжеловесный психиатрический аппарат» «затмил идею» («Самарская газета», 1902, № 248, 21 ноября).

Н. К. Михайловский, которому Андреев послал «Мысль» еще в рукописи, возвратил ее при письме, в котором, по свидетельству Андреева, «говорил, что не понимает такого рассказа. Какой может быть в нем идейный смысл? Если же это просто клиническая картинка душевного распада человека, то он 〈Н. К. Михайловский.— *В. Ч.*〉 недостаточно компетентен, чтобы судить, насколько точно я рисую психологию больного. Тут нужно судить психиатру» (*Брусянин*, с. 63).

А. А. Измайлов отнес «Мысль» к категории «патологических рассказов», назвав ее по впечатлению самым сильным после «Красного цветка» Вс. Гаршина и «Черного монаха» А. П. Чехова («Биржевые ведомости», 1902, № 186, 11 июля). Первые рецензенты упрекали Андреева за отсутствие в его рассказе художественной правды («Смоленский вестник», 1902, № 163, 27 июля), находили «Мысль» вычурной и ненужной («Приазовский край», 1902, № 194, 23 июля), «отвратительным кошмаром» («Харьковский листок», 1902, № 805, 29 июля). Многие критики анализ социального содержания образа доктора Керженцева подменяли рассуждениями о том, каким видом душевного расстройства страдает герой рассказа Андреева: «Перед вами не здоровый человек, а несомненнейший параноик, находящийся еще пока в той стадии болезни, когда он способен рассуждать, логически мыслить и анализировать свои чувства 〈...〉 У него, очевидно, развилась мания величия 〈...〉 Не месть, не ревность побудили его к убийству, а окрепшая в больном мозгу бредовая идея» («Казбек», 1902, № 1393, 8 августа). «Как душевнобольной,— выносил приговор Керженцеву Н. Скиф,— он на месте в лечебнице и случайный гость на страницах художественного произведения» («Русский вестник», 1902, № 8, с. 617). Но были и другие отзывы. Например, Н. Геккера. «Доктор Кержен-

цев,— отмечал он,— не может быть типичным представителем своего поколения только потому, что в нем и его болезненных припадках весь душевный уклад его сверстников и способы реагирования на окружающее доведены до крайности, так сказать, до абсурда. Но по существу и по основным чертам своего типа он является выразителем того настроения, того индивидуалистического, можно сказать, антропоцентрического направления, которое известно у нас в разных формах его разветвления под названием ницшеанства, декадентства, индивидуализма и т. п.» (Г е к к е р Н. Леонид Андреев и его произведения. Одесса, 1903, с. 37). «Герой г. Андреева д-р Керженцев,— утверждал В. Мирский,— несомненно, займет видное место рядом с Поприщиным, Раскольниковым, Кирилловым, Карамазовым, и единственный недостаток «Мысли» в том, что автор слишком подчеркнул психиатрические особенности болезни своего героя, сделав его таким образом на некоторых страницах интересным только для докторов. Но *весь* этот больной человек интересен прежде всего для нас» («Журнал для всех», 1902, № 11, стб. 1381).

Критики сопоставляли «Мысль» с повестью В. Вересаева «На повороте»: «Герой рассказа г. Андреева во многих отношениях антипод героям повести г. Вересаева. Главное и существенное различие между ними состоит в том, что герои повести Вересаева хотят посвятить себя благу общему и в этом своем стремлении доходят до самоотвержения, а герой рассказа г. Андреева не знает другого Бога, кроме себя самого 〈...〉 По типу своему доктор Керженцев отчасти человек из подполья, только проявившийся в условиях 90-х годов, отчасти Раскольников навыворот. Характер Керженцева имеет две главные черты: самомнение, доходящее до мании величия, и злобность почти дьявольскую». И далее: «Только в обществе, преданном служению кумирам, преимущественно кумиру материального благополучия, гибнут люди с высокими идеалами и родятся странные нравственные уроды, идеалисты наизнанку, мечты которых идут не в вышину, а в бездну. Горе такому обществу 〈...〉 Вот в чем, по нашему мнению, смысл произведения г. Андреева, удивительного не только по глубине содержания, но и по художественности исполнения,— произведения, над каждым словом которого можно и нужно думать, потому что и сам автор его глубоко задумывается над жизнью (Ф. С. Журнальное обозрение. Идеалисты высот и идеалисты бездны.— «Северный край», 1902, № 206, 207, 6 и 8 августа).

Недовольство критики «Мыслью» Андреев объяснял художественными недостатками рассказа. В июле — августе 1902 г. он признался в письме В. С. Миролюбову о «Мысли»: «Мне она не нравится некоторою сухостью своею и витиеватостью. Нет великой простоты» (*ЛА*, с. 95). После одного из разговоров с М. Горьким Андреев

сказал: «...Когда я напишу что-либо особенно волнующее меня,— с души моей точно кора спадает, я вижу себя яснее и вижу, что я талантливее написанного мной. Вот — «Мысль». Я ждал, что она поразит тебя, а теперь сам вижу, что это, в сущности, полемическое произведение, да еще не попавшее в цель» (*Горький М. Полн. собр. соч.*, т. 16, с. 337).

Между тем среди читателей и критиков распространился слух, что и сам Андреев имел печальную возможность «познакомиться» с психиатрией в одной из специальных клиник. Слух этот повторил врач-психиатр И. И. Иванов в своем докладе о рассказе «Мысль», прочитанном в Петербурге на заседании Общества нормальной и патологической психологии. 21 февраля 1903 г. Андреев направил письмо в газету «Биржевые ведомости», в котором заявлял: «Никогда во всю мою жизнь я не страдал никакими психическими заболеваниями ⟨...⟩ Пока слух о моем бывшем и даже настоящем сумасшествии был достоянием улицы, я не считал нужным делать какие бы то ни было возражения. Но теперь он приводится в строгом научном докладе как факт и как таковой перепечатывается газетами — и ради интересов истины я прошу напечатать настоящее разъяснение. Оно тем более необходимо, что известная часть публики и критики питает склонность связывать сюжеты литературных произведений с личной жизнью их авторов...» («Биржевые ведомости», 1903, № 103, 27 февраля.) И. И. Иванов принес Андрееву извинения («Биржевые ведомости», 1903, № 107, 1 марта).

Рассказ Андреева «Мысль» привлек внимание специалистов-психиатров. См.: Аменицкий Д. А. Анализ героя «Мысли» Л. Андреева (К вопросу о параноидной психопатии).— «Современная психиатрия», 1915, № 5, с. 223—250; Д-р Янишевский А. Е. Герой рассказа Леонида Андреева «Мысль» с точки зрения врача-психиатра. Казань, 1913 (приложение к журналу «Неврологический вестник», 1903, ч. XI, вып. 2); Д-р мед. Шайкевич М. О. Психопатология и литература. СПб., 1910.

В 1913 г. Андреев завершил работу над трагедией «Мысль» («Доктор Керженцев»), в которой использовал сюжет рассказа «Мысль».

Стр. 391. *...плакал над «Хижиной дяди Тома».*— Роман американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу — поборницы освобождения от рабства американских негров.

Стр. 398. *...она удавилась в маленьком сарайчике...*— См. рассказ Андреева «Мебель» (1902), впервые опубликованный в кн.: Встречи с прошлым. Вып. I, изд. 2. М., Советская Россия, 1983.

Стр. 404. *...после Ласкера.*— Речь идет о немецком шахматисте Эмануэле Ласкере (1868—1941) — в 1894—1921 гг. чемпионе мира.

Стр. 412. *Так, раненный насмерть, я в цирке играл...*— Из стихо-

творения Генриха Гейне «Довольно! Пора мне забыть этот вздор!» в переводе А. К. Толстого. Перевод цитируется неточно.

Стр. 413. *...назвать сумасшедшим Нансена.*— Нансен Фритьоф (1861—1930) — знаменитый норвежский путешественник, исследователь Арктики. Портрет Нансена, выполненный Андреевым, Горький с другими картинами подарил Нижегородскому художественному музею (см. «Нижегородский листок», 1910, № 88, 1 апреля). В настоящее время местонахождение этого портрета неизвестно.

Стр. 418. *...Как средневековый барон...*— Теме раздвоения личности посвящена пьеса Андреева «Черные маски» (1908). См. наст. изд., т. 3.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Стр. 421

Впервые — в газете «Курьер», 1904, 24 октября, № 294.

«Леонидка, друг мой мрачный, ты — сатирик препорядочный! — писал М. Горький Андрееву из Нижнего Новгорода 25...27 октября 1902 г.— «Оригинальный человек» тебе удался безусловно. Болваны будут сердиться. Я — рад» (*ЛН*, т. 72, с. 163). Позже, 4 февраля 1904 г., в подтверждение своей правоты, М. Горький в письме Андрееву сослался на раздраженный отзыв об «Оригинальном человеке» в статье Н. А. Энгельгардта «Мысли кстати. Работа русского таланта».— «Новое время», 1904, № 10029, 4 февраля (т а м ж е, с. 190). Размышляя о своеобразии отображения действительности в творчестве Андреева, С. Плевако, приводя в качестве примера рассказ «Оригинальный человек», отмечал: «Андреев иначе концепцирует и иначе обрабатывает свои темы. Его настроения зиждятся на оригинальных интересных основаниях, на фундаменте, созданном исключительно его художнической мыслью, совершенно не считаясь с реальностью» («Крымский курьер», 1902, № 311, 1 декабря).

Рассказ переведен на испанский язык и вошел в сборник сочинений Андреева «Los espectros» (Мадрид, 1919).

ПРЕДСТОЯЛА КРАЖА

Стр. 429

Впервые с подзаголовком «Эскиз» — в газете «Курьер», 1902, 25 декабря, № 356.

В ТУМАНЕ

Стр. 435

Впервые — в «Журнале для всех», 1902, декабрь, № 12.

Над рассказом «В тумане» Андреев работал летом 1902 года на подмосковной даче в Царицыно. 21 июня 1902 г. в «Курьере» (№ 169) в отделе «Маленькая хроника» появилось сообщение об убийстве молодым человеком двух проституток. Неустановленный автор писал в этой связи: «Это не простое убийство, это не простое помешательство. Это громадная трагедия, тайная, глубокая и неясная...» Рассказ «В тумане» и стал ответом на предложенную тему: раскрытие тайны «не простого» убийства. «Завтра, послезавтра,— известил Андреев К. П. Пятницкого 18 августа 1902 г.,— я окончу рассказ «В тумане» размером в $1^1/_4$ — $1^1/_3$ печатных листа, предназначенный для «Журнала для всех». Миролюбов уже ждет его с нетерпением и гневом ⟨...⟩ Вопрос вот в чем: значителен ли этот рассказ ⟨...⟩ Этот вопрос я предоставляю решить вам и Максимычу, которому пошлю копию рассказа, ибо сам о рассказе *невысокого мнения*» (*ЛН*, т. 72, с. 159). В случае отказа В. С. Миролюбова Андреев предполагал поместить «В тумане» в «Русском богатстве» (см. его письмо Н. К. Михайловскому от августа — сентября 1902 г.— (*ЛА*, с. 56—57). Об окончании работы над рассказом Андреев сообщил В. С. Миролюбову в письме от 25 августа 1902 г.: «Читал его хорошим людям, говорят — хороший; да и самому мне кажется — ничего. Тема: гимназист, чистый и порядочный по существу малый, но внешне развращенный, как и все, болеющий венерической болезнью, убивает проститутку и себя» (т а м ж е, с. 95). Еще через несколько дней, 29—31 августа 1902 г. автор написал М. Горькому: «В одну неделю, работая до судорог в пальцах, я накатал рассказ «В тумане». Кажется, ничего штука — хотя тип, как и все, что я пишу, противен» (*ЛН*, т. 72, с. 159).

Рассказ, обращенный к молодежи и затрагивающий острые вопросы общественной этики и морали, был сразу же замечен, но даже Андреев был ошеломлен той полемической бурей, которую он вызвал. Как и следовало ожидать, первой набросилась на Андреева «за безнравственность» реакционная печать. Но помещенные в «Новом времени» 31 января 1903 г. (№ 9666) «Критические очерки» В. Буренина, написанные в обычном для него грубом, оскорбительном тоне, возможно, и не произвели бы такого резонанса, если бы 7 февраля 1903 г., тоже в «Новом времени» (№ 9673), не было помещено «Письмо в редакцию» С. А. Толстой. Жена великого писателя демонстративно протягивала руку В. Буренину и обвиняла Андреева в том, что он «любит наслаждаться низостью явлений порочной человеческой жизни». Противопоставляя произведениям Андреева сочинения Л. Н. Толстого, она призывала «помочь опом-

ниться тем несчастным, у которых они, господа Андреевы, сшибают крылья, данные всякому для высокого полета к пониманию духовного света, красоты, добра и... Бога».

11 февраля 1903 г. А. П. Чехов писал О. Л. Книппер-Чеховой из Ялты: «А ты читала статью С. А. Толстой насчет Андреева? Я читал, и меня в жар бросало, до такой степени нелепость этой статьи резала мне глаза. Даже невероятно. ⟨...⟩ Теперь кто нагло задерет морду и обнахальничает до крайности — это г. Буренин, которого она расхвалила» (*Чехов. Письма,* т. 11, с. 150). Письмо графини С. А. Толстой как «сенсация» обошло все русские газеты и было перепечатано за рубежом. Вопрос, только ли свое мнение выразила С. А. Толстая, или это было еще и мнение Л. Н. Толстого как о рассказе «В тумане», так и об общем направлении творчества Андреева, занимал читателей и критиков. Не удивительно, что все взоры были обращены к Ясной Поляне. Однако Л. Н. Толстой не счел необходимым для себя вмешиваться в полемику вокруг рассказа «В тумане». Несколько позже в разговоре с навестившим его в Ясной Поляне Е. Соловьевым-Андреевичем Л. Н. Толстой дал сдержанно-одобрительную оценку этому произведению. Он сказал: «Это вот следовало сделать. Андрееву ли, или кому другому, во всяком случае следовало указать на факт этой ранней похотливости и того отвратительного выхода, который она себе находит. У Андреева это сделано грубовато, но в общем хорошо» (*«Одесские новости»,* 1903, № 6030, 17 июля).

В острых дебатах, развернувшихся вокруг рассказа «В тумане», отчетливо определились две точки зрения. Консервативная пресса, сознательно акцентировала внимание читателей на художественных погрешностях рассказа, на отдельных натуралистических подробностях, всячески стремилась ослабить содержащуюся в рассказе критику социальных условий, буржуазной морали. Некий «Дебютант» в «Петербургской газете» (1903, № 44, 14 февраля) назвал Андреева «нехорошим выдумщиком». Озаглавив свою рецензию «Грязь и красота», Я. Абрамов писал: «При чтении рассказа невольно несколько раз принимаешься отплевываться. В конце концов, от рассказа остается в душе след чего-то скверного, и всего менее рассказ наводит на мысли о нравственной и общественной стороне изображаемого явления» («Приазовский край», 1903, № 49, 22 февраля). Демократически настроенная критика, напротив, утверждала: «С редким мастерством автору удается вместить в рамки уголовного случая ⟨...⟩ огромное содержание больного социального вопроса, в нашей литературе после «Крейцеровой сонаты», кажется, никем не затронутого» (Ветринский Ч.— «Самарская газета», 1903, № 7, 10 января). В основном эпизоде рассказа — убийство студентом проститутки — критика, отстаивающая правдивость изображенного Андреевым, не находи-

ла ничего невероятного. Подчеркивая связь сюжета «В тумане» с жизнью, критика отмечала, что подобные случаи происходили в Москве в 1901 году («Южный край», 1903, № 7690, 2 апреля), в Киеве («Нижегородский листок», 1903, № 50, 21 февраля). Рассказу «В тумане» посвятил статью критик А. Уманьский («Об ужасах жизни»). Он называл Андреева учеником Л. Н. Толстого, находил в рассказе некоторые совпадения с «Крейцеровой сонатой». «Рассказ г. Андреева,— писал А. Уманьский,— написан с большой психологической правдой и силой, хотя он и дробится местами излишней отрывочной передачей настроений героя ⟨...⟩ Произведение г. Андреева не только не порнографическое, но глубоко *нравственное*, протестующее против того уклада жизни, против которого протестовала и «Крейцерова соната». Вопреки утверждениям реакционных критиков о нетипичности героя рассказа, демократическая критика подчеркивала: «Павел Рыбаков не представляет какое-либо исключение, это обычное грустное явление в нашей жизни; его ни в каком случае нельзя назвать патологическим субъектом» («Крымский курьер», 1903, № 32, 4 февраля). Павел погиб, «как гибнут сотни и тысячи подобных «Рыбаковых» («Северо-западный край», 1903, № 113, 16 марта). «Рассказ поражает своей реальностью,— но эта реальность есть правда жизни, которую не спрячешь за рядами точек. Не смаковать с цинизмом произведение Андреева должны были бы критики и не вопить на всю Русь о его безнравственности, а, наоборот, указать на высокое художественное и нравственное значение рассказа» («Двинский листок», 1903, № 304, 26 марта). Газета «Казбек» (1903, № 1530, 23 февраля) писала, что рассказ Андреева «дает новое освещение и заставляет глубоко задуматься над вопросами воспитания молодого поколения и сохранения им чистоты как физической, так и духовной».

Особый интерес представляют отклики на рассказ простых читателей и — прежде всего — молодежи. Петербургская газета «Новости» в 1903 г. провела на своих страницах дискуссию по поводу рассказа Андреева. Некто Николай Кронеберг заявлял: «Андреевы не поднимают нас духовно, а растлевают многих из нас, молодежи ⟨...⟩, разве отдохнешь душою на подобных произведениях литературы» (№ 45, 14 февраля). Но примечательно, большинство участников заочной дискуссии поддерживало Андреева. Студент Петербургского университета Борис Палецкий сожалел, что С. А. Толстая — «советует закрыть глаза на темные стороны жизни молодежи» (№ 42, 11 февраля). Читательница, подписавшаяся «Русская женщина», имея в виду Андреева, восклицала: «Побольше бы таких здоровых борцов за нравственность» (№ 44, 13 февраля). Сходные по тону и содержанию отклики из номера в номер публиковала в феврале — марте 1903 г. и газета «Русские

ведомости». «Мы,— говорилось в одном из обращений,— несем наше сердечное молодое спасибо писателю, давшему силою своего таланта такую бездну человеческого падения и отчаяния, мы верим, что под влиянием его открытого, смелого изобличения пошлости и порока, может быть, многие Павлы Рыбаковы в *зачаточном состоянии* найдут и силы в себе, и веру в людей, свернут на другую сторону» («Волжский вестник», 1903, № 65, 21 марта). Студенты Юрьевского (Дерптского) ветеринарного института, принимая Андреева в почетные члены студенческого общества «Социетас», писали: «Ваши рассказы установили между Вами и нами крепкую связь 〈...〉 Вы смелой рукой рисуете ужасные, но правдивые картины и тем самым пробуждаете членов русского общества и заставляете их не так сонливо глядеть на то, что совсем близко около и в них совершается» (Исаков С. Г. Л. Н. Андреев — почетный член тартуского студенческого общества «Социетас» (1903).— Ученые записки Тартуского гос. университета. Вып. 266. Тарту, 1971, с. 227).

К рассказу «В тумане» с одобрением отнесся А. П. Чехов, который в письме Андрееву от 3 января 1903 г. писал: «И «Иностранец» и «В тумане» — это два серьезные шага вперед. В них уже много спокойствия, авторской уверенности в своей силе, в них мало авторской нервности. Беседа отца с сыном «В тумане» сделана спокойно, и за нее меньше не поставишь, как 5+» (*Чехов. Письма*, т. 11, с. 112).

В письме О. Л. Книппер от 1 февраля 1903 г. А. П. Чехов назвал рассказ Андреева «очень хорошей вещью» и отметил, что «автор сделал громадный шаг вперед» (*Чехов. Письма*, т. 11, с. 39). М. Горький предполагал написать специальную статью о рассказе «В тумане» — пояснить его основную идею (см. письмо Андреева к М. Горькому от 6...8 января 1903 г.— *ЛН*, т. 72, с. 174).

Особый интерес представляет подробная характеристика рассказа в письме Андреева к А. А. Измайлову от 11 февраля 1903 г.: «О «В тумане». Рассказ не нравится мне в художеств〈енном〉 отношении: длинен, в начале сух и искусственен, по языку как-то дробен, незначителен. Довольно слабо выражена и идея: женщина и мужчина, по существу друзья, в силу разных жизненных непорядков мучают друг друга, оскверняют и оба несчастны, становятся врагами. На воспитательное значение рассказ ни в коем случае на претендует. Одна умная дама заметила, что я в рассказе отношусь к читателю так же, как отец Павла к Павлу: не даю исхода. Это правда — но к счастью или несчастью — я не отец моих читателей. Кстати: отношения между П〈авлом〉 и его отцом не основа, а только подробность рассказа.

Также подробность и только подробность — болезнь П⟨авла⟩. Здесь погребена собака. Дело в том, что своею необычностью болезнь резнула непривычный глаз, стала как будто на место целого и для многих нарушила перспективу. Кривое дерево на опушке загородило самый лес. Поставьте подробность эту на свое место — вся картина изменится в Ваших глазах.

Положительно не согласен с Вашей характеристикой проститутки — моего отношения к ней. Во внешнем отсутствии жалости к ней больше к ней уважения и сочувствия, чем если бы я солгал и наделил ее ангельским зраком. Разве она так плоха? Она вся проникнута чувством самоуважения. «Не стану лакать кислого пива».— «Дал 2 р.— и думает, всю женщину купил».— «Не говори о лесе».— «Измучили вы меня».— «Процентик» и т. п.

Наконец, самая пощечина, к⟨отору⟩ю она нанесла П⟨авлу⟩ — великий знак презрения купленной, измученной женщины к купившему ее мужчине, мучителю. Не П⟨авла⟩ она ударила, а каждого из нас. Кто пользовался ее услугами, кто говорил ей о лесе, а сам... кто любит Катю, а для нее приносит свою болезнь. Смотрите: до сей минуты ни один из читателей не обратил внимания на то, что П⟨авел⟩ шел к женщине больной, неся заведомую для нее заразу. Так велико наше пренебрежение к этим женщинам!» (*РЛ*, 1962, № 3, с. 200—201).

Публикация рассказа «В тумане» навлекла на «Журнал для всех» репрессии Главного управления по делам печати. 16 января 1903 г. оно уведомило Петербургский цензурный комитет, что приказом министра внутренних дел В. К. Плеве цензору «Журнала для всех» М. С. Вержбицкому за разрешение опубликовать «В тумане» объявлен выговор (*ЦГИАЛ*).

Стр. 439. «Бокль. История цивилизации».— Бокль Генри Томас (1821—1862) — английский историк и социолог. Его основной труд «История цивилизации в Англии» (1857—1861) в русском переводе вышел в 1861 г.

ВЕСЕННИЕ ОБЕЩАНИЯ

Стр. 469

Впервые — в газете «Курьер», 1903, 4 и 7 марта, № 6 и № 9. Отдельное издание: Ростов-на-Дону, «Донская речь», 1905.

Писатель Ал. Вознесенский, приведя в своей статье выдержки из рассказа «Весенние обещания», писал о проникновении Андре-

ева в «тайну жизни» («Одесские новости», 1903, № 5912, 11 марта).

М. Горький вспоминал: «В одном из рассказов Леонида Андреева дано описание кузницы. Старый, опытный литератор сказал мне:

— Удивительно талантлив Андреев! Как ловко и верно, несколькими словами он дал картину кузницы!

Когда я передал Леониду эту похвалу, он, улыбаясь, сказал:

— А я, знаешь, никогда и не был в кузнице-то! Проходил мимо, видел — угли горят, черный человек стучит молотком по железу, вот и все» (*АГ*, с. 215).

НА СТАНЦИИ

Стр. 485

Впервые — в сборнике «Итоги». М., издание газеты «Курьер», 1903. Рассказ перепечатывался многими газетами и выпущен отдельным изданием «Донской речью» (Ростов-на-Дону, 1904 г.)

«На этот раз,— писал рецензент,— автор занят не вопросами личной психологии, а переходит в область общественной сатиры. Его герой, блюститель порядка, скучающий в глуши, достоин пера Щедрина-Салтыкова» («Новое обозрение», 1904, № 6570, 18 января).

Андреев сообщил в Петербург К. П. Пятницкому до 25 декабря 1903 г.: «Второго еду в Орел читать на студенческом вечере. Хотел прочесть «На станции», но губернатор строжайше воспретил» (*АГ. П-ка «Зн»*, 2—4—49). Вечер в пользу студентов-орловцев Московского университета состоялся в Орле 2 января. Андреев читал отрывки из своих произведений. «Благодаря участию на вечере Андреева сбор превзошел всякие ожидания» («Орловский вестник», 1904, № 4, 4 января).

Взявшись за редактирование сборника Общества взаимного вспомоществования учителям и учительницам Нижегородской губернии, М. Горький расширил состав его авторов. В письме Андрееву от 4 октября 1904 г. М. Горький просил его дать для сборника уже опубликованный рассказ «Жандарм» 〈«На станции»〉. См. *ЛН*, т. 72, с. 227. В 1905 г. «Нижегородский сборник» двумя изданиями вышел в «Знании» (СПб.). Андреев поместил в нем свои новые произведения.

ЖИЗНЬ ВАСИЛИЯ ФИВЕЙСКОГО

Стр. 489

Впервые, с посвящением Ф. И. Шаляпину,— в Сборнике товарищества «Знание» за 1903 год, кн. 1. СПб., 1904. В последующих изданиях посвящение снято. Отдельным изданием «Жизнь Василия Фивейского» выпущена в 1904 г. в Мюнхене издательством Ю. Мархлевского («Новости русской литературы») и позже, в 1908 г., в Петербурге издательством «Пробуждение» («Современные русские писатели»).

Толчком к созданию повести «о горделивом попе» стал для Андреева разговор в Нижнем Новгороде с М. Горьким «о различных искателях незыблемой веры». Во время разговора М. Горький познакомил Андреева с содержанием рукописной исповеди священника А. И. Аполлова, который под влиянием учения Л. Н. Толстого отказался от сана (см. Афонин Л. Н. «Исповедь» А. Аполлова как один из источников повести Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского».— «Андреевский сборник», Курск, 1975, с. 90—101). Новый творческий замысел захватил Андреева. «Он,— вспоминал М. Горький,— наваливаясь на меня плечом, заглядывал в глаза мне расширенными зрачками темных глаз, говорил вполголоса:

— Я напишу о попе, увидишь! Это, брат, я хорошо напишу!

И, грозя пальцем кому-то, крепко потирая висок, улыбался:

— Завтра еду домой и — начинаю! Даже первая фраза есть: «Среди людей он был одинок, ибо соприкасался великой тайне...»

На другой день он уехал в Москву, а через неделю — не более — писал мне, что работает над попом, и работа идет легко, «как на лыжах» (*Горький М., Полн. собр. соч.*, т. 16, с. 320).

В начале апреля 1902 г. Андреев известил Н. К. Михайловского: «Рассказ, предназначенный для «Р⟨усского⟩ Б⟨огатства⟩» (называется «о. Василий»), написан, остается отделать. Пришлю его к 15—20 апреля, а может быть, и раньше — как позволит газетная канитель» (*ЛА*, с. 52). Однако в дальнейшем работа замедлилась. Оставив на какое-то время свою повесть, Андреев начинает работать над первой своей пьесой «Закон и люди», и только 9 июня 1903 г. он вновь возвращается к своей повести, которая теперь озаглавлена «Встань и ходи». Андреев тревожится, что новое его произведение может быть запрещено цензурой, но главное, что задерживало его работу,— это временная размолвка с М. Горьким, прервавшая их встречи и переписку. 8 октября 1903 г. по возвращении из Москвы в Нижний Новгород М. Горький напи-

сал в Петербург К. П. Пятницкому: «Ура! Был у Леонида. Мирились. Чуть-чуть не заревели, дураки. Его «Отец Василий Фивейский» — огромная вещь будет. Но не скоро! — Лучше этого — глубже, яснее и серьезнее — он еще не писал. Очень, очень крупная вещь! Вы увидите!» (*Архив А. М. Горького,* т. IV, с. 138). В беседе с литератором П. М. Пильским Андреев сказал о М. Горьком: «Все время он умел меня только окрылять и бодрить. «Василия Фивейского» я писал долго; много работал над ним; наконец, он мне надоел и стал казаться просто скучным. Как раз приехал Горький, и я ему прочитал «Фивейского». Читаю, устал, не хочется языком ворочать, все знакомо. Наконец кое-как дошел до конца. Думаю: никуда не годится. Поднимаю голову — смотрю, у Горького на глазах слезы,— вдруг он встает, обнимает меня и начинает хвалить моего «Фивейского» — и так хвалит, что у меня снова — и вера в себя и любовь к этому надоевшему мне «Фивейскому»...» (Пильский Петр. Критические статьи, т. I. СПб., 1910, с. 22).

Конец ноября 1903 г. Андреев пишет М. Горькому в Петербург: «...посылаю рассказ — но дело вот в чем: последние четыре страницы набирать и посылать не нужно, так как хочу я их сильно переделать. Именно: меньше слез и больше *бунта.* Под самый конец Василий Фивейский распускает у меня нюни, а это не годится, и даже по отношению к этому человеку мерзко. Он должен быть сломан, но не побежден» (*ЛН,* с. 184—185). М. Горький передал рукопись К. П. Пятницкому, и тот немедленно выслал экземпляр ее издателю Юлиану Мархлевскому в Мюнхен для закрепления авторских прав Андреева за границей. К. П. Пятницкому удалось успешно провести «Жизнь Василия Фивейского» через цензуру, и уже 30 января 1904 г. обрадованный автор получил из «Знания» корректуру, а 16 марта того же года сборник «Знание» с включенной в него повестью Андреева поступил в продажу. Впечатление от произведения было столь велико, что некоторые рецензенты сборника «Знание» посвящали «Жизни Василия Фивейского» особые статьи. Внимание критиков было сконцентрировано на образе поднимающего бунт против бога сельского священника. Церковная печать, нападая на Андреева, принялась доказывать нетипичность образа Василия Фивейского. Так, Ф. Белявский в статье «Вера или неверие?» осуждал героя рассказа за «гордое настроение ума», несовместимое с христианским смирением верою», причину его несчастья Ф. Белявский усматривал не в социальной и общественной одинокости Василия Фивейского, а в «отсутствии духовной жизнеспособности» («Церковный вестник», 1904, № 36, 2 сентября, с. 1137). Православный миссионер Л. Боголюбов критиковал Андреева за «декадентство», а Василия Фивейского объявлял душевнобольным («Миссионерское обозрение», 1904, № 13, сентябрь, кн. 1, с. 420—434). Священник Н. Колосов 15 декабря 1904 г. в

Московском епархиальном доме выступил с лекцией «Мнимое крушение веры в рассказе Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского». По словам Н. Колосова, «тип о. Василия Фивейского есть тип уродливый и до крайности неправдоподобный. Такие типы среди духовенства, и в особенности сельского, могут встретиться разве только лишь как редкое исключение, как бывают люди с двумя сердцами или двумя желудками...» («Душеполезное чтение», 1905, январь, с. 593). С церковными публицистами солидаризировался Н. Я. Стародум, добавив от себя, что «Жизнь Василия Фивейского» это «надругательство над священником, над его саном, над его семейной жизнью, над его горем, над его сомнениями, над его горячею верою и над Верою вообще» («Русский вестник», 1904, кн. 1, с. 790). Иным было восприятие «Жизни Василия Фивейского» либеральной и демократической критикой. Н. Геккер отмечал, например, «несравненные» художественные достоинства произведения («Одесские новости», 1904, № 6291, 26 апреля), И. Н. Игнатов писал, что в «Жизни Василия Фивейского» Андреев изображает «общечеловеческие страдания», и хвалил превосходный язык произведения («Русские ведомости», 1904, № 124, 5 мая), С. Миргородский сравнивал Андреева с Эдгаром По и Шарлем Бодлэром, находил, что «Жизнь Василия Фивейского» написана с «излишней жестокостью», но добавлял, что в произведении много «психологических тонкостей» и «художественных перлов» («Северо-западное слово», 1904, № 1957, 22 мая). О глубине содержания «Жизни Василия Фивейского» рассуждал Л. Н. Войтоловский («Киевские отклики», 1904, № 158, 9 июня). Это только некоторые и самые первые газетные отклики на повесть Андреева.

За подписью «Журналист» в «Русском богатстве», в августе 1904 г., была напечатана статья В. Г. Короленко, посвященная сборникам «Знания». «В этом произведении,— писал он о «Жизни Василия Фивейского»,— обычная, уже обозначившаяся (например, в «Мысли») манера этого писателя достигает наибольшего напряжения и силы, быть может, потому, что и мотив, взятый темой для данного рассказа, значительно обще и глубже предыдущих. Это вечный вопрос человеческого духа в его искании своей связи с бесконечностию вообще и с бесконечной справедливостью в частности. Свою задачу автор ставит в подходящие условия, при которых душевный процесс должен развернуться в наиболее чистом и ничем не усложненном виде ⟨...⟩ ...Тема — одна из важнейших, к каким обращается человеческая мысль в поисках за общим смыслом существования». Указав далее на мистический тон повествования Андреева, В. Г. Короленко не согласился с субъективной концепцией Андреева относительно *преднамеренности* страданий Василия Фивейского и его упований на чудо. «...Я не признаю с Василием Фивейским преднамеренности страдания и не

стану вымогать благого чуда, но я не вижу также оснований на место доброй преднамеренности ставить преднамеренность злую. Я просто буду жить и бороться за то, что уже теперь *сознаю* своим умом и ощущаю чувством как несомненные элементы предчувствуемого мною великого, живого, бесконечного блага» (Короленко В. Г. О литературе. М., Гослитиздат, 1957, с. 360—361, с. 369).

«Жизнь Василия Фивейского» заинтересовала символистов. В рецензиях на первый сборник «Знания» в журнале «Весы» утверждалось, что, кроме этого рассказа, в сборнике «нет больше ничего интересного» и что «рассказ этот кое-где возвышается до символа» (М. Пант-ов; 1904, № 5, с. 52). Сопоставляя Андреева с А. П. Чеховым, другой рецензент отмечал: «Оба они тяготеют к символизму, за грани эмпирического, по ту сторону земной жизни, иногда, быть может, вполне бессознательно» (Ник. Ярков; 1904, № 6, с. 57). Специальную статью «Жизни Василия Фивейского» посвятил Вяч. Иванов. «Талант Л. Андреева,— писал он,— влечет его к раскрытию в людях их характера умопостигаемого,— не эмпирического. В нашей литературе полюс проникновения в характеры умопостигаемые представлен Достоевским, в эмпирические — Толстым. Л. Андреев тяготеет этой существенною своею стороною к полюсу Достоевского» («Весы», 1904, № 5, с. 47). На Валерия Брюсова «Жизнь Василия Фивейского» произвела впечатление «тяжелого кошмара». В. Брюсов тоже согласен, что это произведение — наиболее значительное в сборнике «Знания», но предъявляет автору серьезный, с его точки зрения, упрек. В обзоре русской литературы за 1904 г. для английского журнала «Атенеум» В. Я. Брюсов утверждал: «При внешнем таланте изображать события и душевные состояния, Л. Андреев лишен мистического чувства, лишен прозрения за кору вещества. Грубо-материалистическое мировоззрение давит дарование Л. Андреева, лишает его творчество истинного полета» (цит. по статье Б. М. Сивоволова «В. Брюсов и Л. Андреев» в кн.: «Брюсовские чтения 1971 года», Ереван, 1973, с. 384). В очерке «Памяти Леонида Андреева» (впервые — «Записки мечтателей», 1922, № 5) Александр Блок началом своей связи с Андреевым, задолго до их личного знакомства, называет «Жизнь Василия Фивейского»: «...я помню потрясение, которое я испытал при чтении «Жизни Василия Фивейского» в усадьбе, осенней дождливой ночью ⟨...⟩ ...Что катастрофа близка, что ужас при дверях,— это я знал очень давно, знал еще перед первой революцией, и вот на это мое знание сразу ответила мне «Жизнь Василия Фивейского»...» (*Блок*, с. 130—131).

В феврале 1904 г., воспользовавшись приездом в Москву А. П. Чехова, Андреев дал ему для прочтения еще не вышедший в свет рассказ «Жизнь Василия Фивейского» (см. письмо его

А. П. Чехову на визитной карточке, не позднее 15 февраля 1904 г.— *ОРБЛ*, ф. 331. А. П. Чехов. Карт. № 35, ед. хр. 32). Состоялся ли у А. П. Чехова разговор с Андреевым по поводу рассказа — неизвестно. Но позже О. Л. Книппер вспоминала, что после чтения «Жизни Василия Фивейского» в сборнике «Знание» в Ялте А. П. Чехов сказал ей: «Знаешь, дуся, как я сейчас напугался, ужас как страшно стало»,— а у самого выражение лица хитрое такое, веселое, и глаз один прищурился» (Запись в дневнике Б. А. Лазаревского. См.: *ЛН*, т. 87. М., Наука, 1977, с. 347). Повышенная экспрессия рассказа скоро стала восприниматься и Андреевым как его недостаток. 1...10 мая 1904 г. он писал М. Горькому: «Огромный недостаток рассказа — в его тоне. Не знаю, откуда это у меня явилось — но в последнее время сильно тянет меня к лирике и некоторому весьма приподнятому пафосу. Приподнятость тона сильно вредит «Василию Фивейскому», так как, по существу, ни к громогласной лирике, ни к пафосу я не способен. Хорошо я пишу лишь тогда, когда совершенно спокойно рассказываю о неспокойных вещах и не лезу сам на стену, а заставляю стену лезть на читателя» (*ЛН*, т. 72, с. 212).

В 1909 г. в издательстве «Шиповник» (СПб.) вышел литературный сборник «Италии» (в пользу пострадавших от землетрясения в Мессине). В сборнике помещен отрывок «Сон о. Василия», никогда не включавшийся автором в публикуемый текст «Жизни Василия Фивейского» и никогда впоследствии не переиздававшийся. В Архиве Гуверовского института (Станфорд, США) хранится рукопись ранней редакции «Жизни Василия Фивейского», датированная 11 ноября 1903 г. «Сон о. Василия» занимает место в шестой главе после слов: «И мучительные, дикие сны огненной лентой развивались под его черепом».

«СОН о. ВАСИЛИЯ»

Неизданный отрывок из «Жизни Василия Фивейского»

Как будто очень долго, с определенною и важною целью, от которой зависела жизнь, он шел, ехал по железной дороге и на огромных пароходах, снова шел по торным и широким дорогам, снова ехал — и, наконец, явился куда-то, где все было незнакомо, очень странно и чуждо, и вместе с тем уже видено раньше. Тут однажды уже произошло что-то очень важное, и должно было произойти опять, и все ждали. Было полутемно и совершенно тихо, как в сумерки; он стоял на горе среди редких черных деревьев, а напротив была другая гора с такими же редкими черными деревья-

ми, и за нею весь горизонт до половины неба был охвачен холодным и красным огнем. В нем неподвижно стояли огромные, немые, бесформенные тени с круглыми головами; и оттуда, от этого холодного огня, от этих заснувших теней должно было прийти то, чего все ждали.

И ждало все.

Высокие черные деревья, похожие на тополи, склонились, не сгибаясь, все в одну сторону к горизонту, и тихо прислушивались и ждали. Туда же, к холодному и мрачному огню, тянулась длинная, похожая на проволоку, трава и бесцветные, словно металлические, листья остриями своими неподвижно смотрели и ждали. На черном густом озере между горами застыли поднявшиеся волны; бока их были блестящи и красны, как кровь, и, склонив хребты, острыми верхушками своими они зорко присматривались и тяжело, упорно ждали. Людей не было видно, но они были где-то, между деревьями, и их было много, и все они боязливо и трепетно ждали. Возле о. Василия, плечом к плечу стоял кто-то невидимый, но давно известный; он шел с ним и ехал, и теперь стоял рядом — и тоже ждал. И тихо было, и сам неподвижный воздух прислушивался в немом и жадном ожидании.

И все страшнее становилось и хотелось бежать, когда Иван Порфирыч вынул из жилетного кармана толстые серебряные часы, посмотрел и сказал:

— Пора начинать.

И тогда зазвонил колокол тяжелыми отдельными ударами, как на похоронах. Звуков не было слышно, но они проносились в воздухе, как железные огромные листы, и проходили сквозь все тело, от пят до головы, и тело дрожало мелкою и страшною дрожью. И все всколыхнулось. Земля опускалась и поднималась, и деревья вышли из неподвижности. Не шевеля ни одним листом, прямые и черные, они склонялись направо и налево, и сходились вершинами и расходились; колыхалась трава, и волны печально и со страхом ложились гребнями, а колокол звонил раздельно и страшно. И зашевелились в холодном огне проснувшиеся чудовищные тени и всею своею клубящейся массою устремились на ожидавших. [И головы у них были круглые.]

— Смотрите, что вы наделали, — сказал Иван Порфирыч и побежал сказать сторожу, чтобы он перестал звонить. Побежал и о. Василий, и рядом с ним бежал кто-то, и это был идиот; и о. Василий удивился, как может он бегать, когда от рождения не владеет ногами.

И спросил его об этом, и идиот захохотал, и лицо его становилось все больше, все шире, и скоро закрыло небо и землю. И сердце о. Василия остановилось.

⟨*1903*⟩

Рассказ «Жизнь Василия Фивейского» переведен на немецкий (Берлин, 1906), польский (Варшава, Львов, 1903), эстонский (Ревель, 1908) и другие языки.

БЕН-ТОВИТ

Стр. 555

Впервые — в «Нижегородском сборнике», СПб., изд. «Знание», 1905.

В письме М. Ф. Андреевой от 12—13 января 1905 г. Андреев, жалуясь на зубную боль, писал: «У меня есть рассказ про некоего еврейчика, который проморгал распятие Христа, так как в этот день у него нестерпимо болели зубы...» (*ЛН*, т. 72, с. 256).

«Бен-Товит» переведен Г. Бернштейном на английский язык и вошел в сборник произведений Андреева «Раздавленный цветок» ⟨«Цветок под ногой»⟩ (Нью-Йорк, 1916 г.) На итальянском языке опубликован в книге Андреева «Елеазар и другие рассказы» (Флоренция, 1919). Переводчик К. Ребора.

НЕТ ПРОЩЕНИЯ

Стр. 558

Впервые — одновременно в газетах «Курьер», 1904, 1 и 2 января, № 1 и 2, и «Одесские новости», 1904, 1 января, № 6183.

Рассказ написан в декабре 1903 г.

12 января 1904 г. московский обер-полицеймейстер Д. Ф. Трепов направил конфиденциальное письмо председателю Московского цензурного комитета В. В. Назаревскому, в котором обратил внимание на то, что в рассказе Андреева «заключается крайне вредная тенденциозная характеристика розыскной деятельности агентов полиции, причем путем целого ряда возмутительных описаний понимание читателя злонамеренно направляется к выводу о неизбежности и похвальности насильственных действий против должностных лиц полиции, служебно-розыскной деятельности которых, по открытому заявлению автора», нет и прощения (*ЛН*, т. 72, с. 169). 17 января 1904 г. начальник Главного управления по делам печати известил В. В. Назаревского, что за напечатание рассказа Андреева «Нет прощения» министром внутренних дел «воспрещена

розничная продажа газеты «Курьер» (*ЦГИАЛ*, ф. 776, оп. 8, ед. хр. 772, л. 313). Объявление об этом появилось в «Правительственном вестнике», 1904, № 13, 17 января. Запрет оставался в силе до 20 марта, а с 4 июля издание «Курьера» прекратилось совсем.

Критика отнеслась к рассказу сочувственно. Так, рецензент тифлисской газеты «Новое обозрение» (17 января 1904 г.) отметил у Андреева «живой интерес к живой действительности нашей общественной жизни». Рецензент «Донской речи», посвятивший рассказу «Нет прощения» очерк, озаглавленный «Казнь Молчалина», назвал рассказ Андреева интересным образчиком соединения «нового искусства» с «основною чертой русской литературы — проповедью» («Донская речь», 1904, 1, 30, 1 февраля).

Стр. 559. *Лассаль* Фердинанд (1825—1864) — немецкий мелкобуржуазный социалист. Организованный им «Всеобщий германский рабочий союз» он стремился приспособить к антисоциалистическому режиму О. Бисмарка.

Вадим ЧУВАКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Андреев Л. Н.

А65 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 1. Рассказы 1898—1903 гг./Редкол. И. Андреева, Ю. Верченко, В. Чуваков; Вступ. статья А. Богданова; Сост. и подгот. текста В. Александрова и В. Чувакова; Коммент. В. Чувакова.— М.: Худож. лит., 1990.— 639 с.

ISBN 5-280-00977-6 (Т. 1)

В первый том собрания сочинений вошли рассказы 1898—1903 гг.

А $\frac{4702010101-138}{028(01)-90}$ Подписное

ББК 84Р1

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

Том первый

Редакторы

Е. ЖЕЗЛОВА, В. АВДЕЕНКО

Художественный редактор
Г. МАСЛЯНЕНКО

Технический редактор
Н. КОШЕЛЕВА

Корректоры

Б. ТУМЯН, Т. ФИЛИППОВА

ИБ № 5688

Сдано в набор 22.06.89. Подписано к печати 14.02.90. Формат 84 × 108[1]/[32]. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Тип. таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 33,60 + вкл. + альб. = 34,49. Усл. кр.-отт. 35,80. Уч.-изд. л. 37,95 + вкл. + + альб. = 38,61. Тираж 300 000 экз. Изд. № 11-3090. Заказ 180. Цена 5 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

5 р.